

# Русская литература

№ 1

Историко-литературный журнал

2005

*Издается с января 1958 года*

*Выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Н. Н. Скатов.</b> Всеведение пророка: к 190-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова . . . . .	3
<b>Е. В. Кардаш.</b> Критерий подлинности исторического знания в романтической культуре (метафора—сюжет—реальность) . . . . .	15
<b>И. А. Лобакова.</b> К проблеме фальсификации исторических источников (принципы создания легендарного сказания в творчестве А. Я. Артынова) . . . . .	28
<b>В. А. Кошелев.</b> Мифология «сада» в последней комедии Чехова . . . . .	40
<b>Т. М. Двигина.</b> Модернисты против академика: «Избранные стихи» И. А. Бунина в критике русской диаспоры . . . . .	53

## ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

<b>А. М. Березкин.</b> Когнитивные и прикладные аспекты современной текстологии . . . . .	67
---	----

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

<b>Е. В. Казарцев, М. А. Красноперова.</b> Ода Я. Штелина 1741 года в переводе М. В. Ломоносова (проблемы ритмики) . . . . .	81
<b>А. А. Костин.</b> «Галантный» Сократ. К проблеме бытования образа исторической личности в русской литературе конца XVIII века . . . . .	92
<b>Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822—1828)</b> (публикация Е. В. Лудиловой)	96
<b>Т. Б. Трофимова.</b> Лермонтовский «подтекст» в цикле И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» . . . . .	124

И. А. Кузьмина. С. А. Толстая, С. П. Хитрово и Фет: к истории отношений . . . . .	133
Переписка И. С. Аксакова и С. Ф. Шарапова (1883—1886) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко) . . . . .	149
С. Н. Доценко ( <i>Эстония</i> ). К проблеме дешифровки одного анекдота из мемуарной книги А. Ремизова «Кукха» . . . . .	179
«Революционное христовство»: З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и Б. В. Савинков в 1911 году (вступительная статья, публикация, примечания Е. И. Гончаровой)	187
А. Е. Недвига. Казак Крючков: историко-культурный комментарий к образу героя романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» . . . . .	213
Лидия Шёквист ( <i>Швеция</i> ). К вопросу об антропоморфности нарратора в романе А. Платонова «Чевенгур» . . . . .	222
Из писем Б. Л. Пастернака (публикация Е. В. Пастернак) . . . . .	230
О. И. Глазунова. Мотивы оледенения и конца жизненного пути в поэзии И. Бродского 80-х годов (о стихотворении «Эклога 4-я (зимняя)») . . . . .	241
Г. В. Стадников. Русский аргумент к гетевской концепции «мировой литературы» . . . . .	253

#### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

С. Н. Кистерев. Новое издание Новгородской летописи по списку П. П. Дубровского . . . . .	258
Ф. П. Федоров. Несколько мыслей по поводу комментария к «Мастеру и Маргарите» . . . . .	260
А. И. Рубашкин. Воспоминания о Викторе Конецком . . . . .	265
А. С. Явушкевич. Феномен Петера Тиргена: к 65-летию немецкого слависта . . . . .	267

#### ХРОНИКА

А. Е. Смирнова. XXVIII Малышевские чтения в Пушкинском Доме . . . . .	272
Т. Г. Иванова. Первые чтения, посвященные культурному наследию Философовых . . . . .	275
В. А. Прокофьев. К 110-летию М. М. Зощенко . . . . .	277
Письмо в редакцию . . . . .	286
Памяти А. И. Павловского . . . . .	287

Журнал издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

#### Редакционная коллегия:

*Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН* (зам. главного редактора),  
*А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА* (отв. секретарь редакции),  
*В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ,*  
*Ю. М. ПРОЗОРОВ, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.  
Телефон/факс (812)328-16-01  
e-mail:rusliter@mail.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам

## ВСЕВЕДЕНЬЕ ПРОРОКА: К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«Мне вспоминается, — писал в свое время поэт Владислав Ходасевич, — маленькое пророчество. Года два тому назад (т. е. году в 1912. — Н. С.) одна женщина, любящая поэзию Лермонтова <...> говорила: „Вот попомните мое слово, даже юбилея его не справят как следует: что-нибудь помешает... уж как-нибудь да случится, что юбилея Лермонтова не будет”.

Так почти и случилось. Столетний юбилей совпал с ужасами войны».  
Первой мировой.

Но «маленькое пророчество» переросло уже в прорицание еще более мрачное, когда очередной «юбилей» — год смерти нашего поэта — снова совпал с ужасами войны — 1941 год.

Поневоле думаешь о пророческих знаках, которыми отмечена вся судьба Лермонтова.

Сам Лермонтов в пророческом характере своей поэзии был убежден:

С тех пор как вечный судия  
Мне дал всеведение пророка...

И если один наш поэт-пророк Пушкин, в свои двадцать лет, еще даже никак не ставя себя в позицию пророка, все-таки уже прямо предсказал «рабство, падшее по манию царя», то другой — Лермонтов — в свои шестнадцать далеко его перекрыл:

Настанет год, России черный год,  
Когда царей корона упадет;  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен  
Низвергнутый не защитит закон;  
Когда чума от смрадных, мертвых тел  
Начнет бродить среди печальных сел...

Говорят, глаза — зеркало души. Как раз в связи с Лермонтовым князь А. В. Мецгерский отметил, что глаза и их выражение изобличают гениальные способности человека. Тем любопытнее сравнить глаза и их выражение двух наших поэтических пророков.

По всем многочисленным подтверждениям, что мужским, что женским, самое замечательное во внешнем облике Пушкина были чистые ясные голубые глаза. И никаких иных свидетельств мы, кажется, не знаем. И взгляд Лермонтова: глаза — угли, взгляд — пронзительно впивающийся в человека, взгляд — пронизывающий и тяжелый, ядовитый, презрительный и вме-

сте с тем сожалеющий. Умница Юрий Самарин чуть ли не с испугом отметил: «Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял».

Но понял прежде всего себя. Самых глубоких наших философов поражала сила проникновения в свою судьбу и в свою участь буквально пророческая, как она отзывалась в одном из многих «Снов» (1841):

В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я;  
Глубокая еще дымилась рана,  
По капле кровь точилась моя.

И ему уже в «мертвом сне» в свою очередь снится:

И снился мне сияющий огнями  
Вечерний пир в родимой стороне.  
Меж юных жен, увенчанных цветами,  
Шел разговор веселый обо мне.

И наконец, еще один, уже третий сон:

Но в разговор веселый не вступая,  
Сидела там задумчиво одна,  
И в грустный сон душа ее младая  
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;  
Знакомый труп лежал в долине той;  
В его груди, дымясь, чернела рана,  
И кровь лилась хладающей струей.

Вот такой трехслойный сон. «Лермонтов, — комментирует Владимир Соловьев, — видел не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна, — сновидение в кубе». Осторожно воздержимся от оценки заключений знаменитого философа, что такое могло быть «созданием только потомка великого чародея и прорицателя, исчезнувшего в царстве фей». Но, «во всяком случае, остается факт, что Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но прямо видел ее заранее. А та удивительная фантазмагория, которую увековечено это видение в стихотворении „Сон”, не имеет ничего подобного во всемирной поэзии <...>. Одного этого стихотворения, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовым врожденный, через голову многих поколений переданный ему гений».

Уже в советское время в своих записных книжках Илья Ильф однажды поёрничал: «Он за советскую власть, а жалуется он просто потому, что ему вообще не нравится Солнечная система».

О Лермонтове можно было бы сказать, что ему действительно не нравилась Солнечная система, впрочем, как и вся учрежденная Вседержителем вселенная, как и весь Божий миропорядок. Подобно библейскому Иову, он вступил в прямую полемику с Вседержителем. Кстати, никогда не усомнившись в абсолютности самого бытия Бога и в этом смысле избежав какого бы то ни было атеизма, но и исчерпав, казалось бы, всю доступную человеческому разуму и чувству аргументацию.

То есть, подобно Иову, испытав всю искусительность и тягость сомнений. В этой связи можно вспомнить, что сказал Господь Елифазу Феманитянину: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих (т. е. вроде бы доказывавших

правоту любых деяний Бога. — Н. С.) за то, что Вы говорили о Мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите семь тельцов и овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву, и раб Мой Иов помолится за вас».

А Лермонтов мог молиться как никто и — что характерно — от начала до конца. Недаром в своих письмах с Афона, говоря о православных христианских мотивах у наших светских поэтов, Константин Леонтьев отметил: «У Кольцова, у Пушкина их много, но у Лермонтова больше всех». Ничуть не преувеличивая, можно было бы сказать — и сильнее всех. Ибо Лермонтов обеспечил право на такого накала молитву-откровение, выстрадав ее, и обратился к Вседержителю подобно тому, как обратился к нему Иов: «Выслушай, *взывал* я, и я буду говорить, и что я буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Видимо, прямо под влиянием библейского текста и появилось лермонтовское:

Тогда смиряется души моей тревога,  
Тогда расходятся морщины на челе, —  
И счастье я могу постигнуть на земле,  
И в небесах я вижу Бога...

Но в то же время для него непременна и неизменна эта ось: земля — небо.

О Лермонтове часто пишут как о поэте сверхчеловечества. Во всяком случае, если и человечества, то — очень часто — человечества библейского. Отсюда еще из детства вынесенный и пожизненно оставшийся образ Кавказа как не только края гор, буйной природы, бурных страстей и экзотического быта (такой Кавказ стал достоянием прежде всего лермонтовской живописи и его рисунков), но вместе с тем, уже в лермонтовских поэмах, места, где разыгрываются действия почти или прямо мистериальные: «Демон», даже «Мцыри». А вот перевод такого лермонтовского Кавказа и его героев на язык русской живописи состоится уже только у Врубеля и в не очень близком будущем. Такой Кавказ часто выступает в лермонтовской поэзии и в роли некоего прабытия, праземли, праприроды, соревнуясь и даже уравниваясь в этом качестве с тоже устойчивыми мотивами, навеянными далекой библейской землей: «Три пальмы», «Ветка Палестины», даже «На Севере диком»... Смысловой центр того же *Восточного сказания* «Три пальмы» лежит совсем не в хищническом вторжении человека в мир природы, как было принято писать в наших школьных объяснениях, а в «роптании на Бога». Именно масштаб и характер разнообразных отношений с небом измеряют и оценивают для Лермонтова всю земную юдоль.

Как угодно напряженно и остро переживаемое общественное, политическое, житейское неустройство есть для него уже нечто производное и вторичное. Но в то же время именно в меру таких масштабов определялись и претензии к власти, к обществу, к человеку.

Кажется, что еще нигде, никто и никогда не приступал в таком возрасте с таким упорством и с такими вопросами, которые обрушил на себя юный гений, и вправду «до времени созрелый»: ничего подобного, например, пушкинскому развитию: последовательному, постепенному, поэтапному и в этом смысле тоже гармоничному.

Гений Пушкина действительно «во время созрел». Гений Лермонтова действительно оказался «до времени созрелым», «стариком без седины».

«Надо удивляться, — писал В. Белинский В. Боткину вскоре после смерти поэта, — детским произведениям Лермонтова — его драме, „Боярину Орше“ и т. п. (не говорю уже о «Демоне»), это не „Руслан и Людмила“, тут нет ни легкокрылого похмеля, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина, ни шалостей амура, нет, — это сатанинская улыбка, искривляю-

щая младенческие еще уста, это „с небом гордая вражда“, это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучий дух».

Вся основная «тематика» лермонтовских «дум» определилась сразу: избранничество и, следовательно, обреченность на одиночество, да и вообще ощущение обреченности, метафизика добра и зла, жажда могучего действия и опять-таки обреченность на бездействие, во всяком случае, на действие не в меру притязаний, «с небом гордая вражда» и желание и способность найти успокоение и отраду только в молитве. Все это в сотнях стихотворений, чуть ли не в десятках поэм, во многих драмах, да еще и в прозе.

Но такая зрелость пришла именно «до времени», раньше времени, прежде времени. А раз так, то до «времени» на публичный суд ничего и не выносится, ничего в печати не появляется, даже попыток что-то опубликовать не делается. Здесь Лермонтов явил, может быть, единственный пример столь многолетнего творческого молчания, вернее, столь уединенного и отъединенного творчества.

Кто может, океан угрюмый,  
Твои изведать тайны? Кто  
Толпе мои расскажет думы?  
Я — или Бог — или никто!

Он резко отделил быт, где мог повесничать, школьничать, предаваться разгулу, где создавались мадригалы, эпиграммы, довольно многочисленные стихи, любовные и гусарские (все это, конечно, не для печати, хотя и не без огласки), впадать, как в действительно страшные два года юнкерства с их юнкерскими поэмами, в цинизм, где был *со всеми*, и такие сферы, где «никто меня не понимает, я один».

Отсюда жажда понимания, поиск души родной.

Я молод, но кипят на сердце звуки,  
И Байрона достигнуть я б хотел;  
У нас одна душа, одни и те же муки, —  
О, если б одинаков был удел...

Но и здесь — что характерно — *достигнуть* совсем, или, вернее, не только в поэзии, а прежде всего в жизни, в этом все дело. Скажем, в поэтическом смысле юный Лермонтов отчетливо пытается достигнуть и Пушкина, и Шиллера, и Де Виньи, но в смысле человеческой жизни — только Байрона. Лермонтов, впрочем, почти сразу схватил себя за руку.

Нет, я не Байрон, я другой,  
Еще неведомый избранник.  
Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русскою душой.  
Я раньше начал, кончу ране,  
Мой ум немного совершит,  
В душе моей, как в океане,  
Надежд разбитых груз лежит.

Что же означало это — *русская душа*? В свое время по воспоминаниям современника, великий князь Михаил Павлович сказал довольно остроумно о лермонтовской поэме «Демон»: «Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло». И он же уже просто умно отметил: «Я

только никак не пойму, кто же кого создал: Лермонтов — духа зла или дух зла — Лермонтова». Умно — потому что здесь оказалась схвачена суть дела: слиянность духа Демона и души Лермонтова. Поэт от самых юных лет (1829) до уже вполне зрелых (1841) работал над своим «Демоном», и в этом смысле и впрямь трудно сказать, кто кого создал.

Отсюда пронзительный лиризм не только многих лермонтовских стихов, но и его поэм. Да и большей части всего его творчества. Скажем, Демон Лермонтова — это не объективированный Мефистофель Гете. Здесь страшная русская душа, ни перед чем не остановившаяся в уяснении природы зла, ничего не испугавшаяся, способная полюбить само зло, познавшая его прелестность, подавляющая его искусительности, смело объявившая о собственной к злу причастности, о своей в зло вовлеченности. Кажется, из наших великих нечто подобное позволил себе только Тютчев:

Люблю сей божий мир. Люблю сие незримо  
Во всем разлитое таинственное зло.

«Люблю зло», — сказал Тютчев. «Я счастлив, тайный яд течет в моей груди», — признался Лермонтов. Душа поэта не на чужом, а на собственном опыте исследовала зло, на самой себе ставила опаснейшие эксперименты. И в этом смысле приносила себя в жертву. *Страдающий* Демон и стал *русским* словом на фоне итальянских Вельзевулов, английских Люциферов, немецких Мефистофелей.

Это было и обращение к коренным началам страдальческой русской жизни и предсказало многие основы творчества русских писателей. Но не в виде умозрительной диалектики. «Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украшать себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мучение, его сила (...) Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли», — сказал о Лермонтове Герцен.

*Отважился* в связи с «общественной катастрофой», как назвала смерть Пушкина царская дочь Ольга. Вскоре Лермонтов написал стихотворение «Поэт».

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?  
Иль никогда на голос мщенья  
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,  
Покрытый ржавчиной презренья?

Но уже в стихах «Смерть поэта», хотя и содержался призыв-эпиграф «Отмщенья, государь, отмщенья!.. Будь справедлив и накажи убийцу», свой *клинок* был вырван, и *голос мщенья* раздался, и *жажда мщенья* оказалась удовлетворена. Иногда в мемуарной литературе пишут, что царь узнал о стихотворении «Смерть поэта» еще до того, как была написана заключительная его часть, и отнесся к нему не без сочувствия. Взывание же Лермонтова в этой заключительной части к Божьему суду выглядело как прямо направленное против государева суда: «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата». А слова «И вы не смаете всей вашей черной кровью» могли быть приняты за «призыв к революции», что и сообщили царю приславшие полный текст доброхоты. Государево отмщение и наказание все-таки последовало, но вопреки эпиграфу — пожеланию поэта наказать убийцу, оно обрушилось на самого поэта, который был арестован и в первый (но не в последний) раз сослан.

И первое не напечатанное, но публичное стихотворение «Смерть поэта» и первое напечатанное «Бородино» (поэма «Хаджи-Абрек» не в счет, ибо от ее публикации без имени и без разрешения автор пришел в ярость) показали, что ни о какой зрелости «до времени» уже и речи быть не могло. Ныне все свершилось «ко времени», в самый раз, в самую пору. В «Бородино» сам Лев Толстой видел зерно «Войны и мира»: вот какие зерна пророчески бросал в русскую литературную почву Лермонтов.

Понятно наше желание осваивать весь корпус лермонтовских стихов, но надо видеть и то, какие непреодолимые барьеры сам он поставил, часто пройдя, казалось бы, теми же самыми путями и обратясь, по-видимому, к тем же образам. В пору зрелости с теми же мотивами одиночества, гонимости, бегства *от людей* он впервые вышел *к людям* и рассказал о своих думах им, а не только себе или Богу.

Мы привычно говорим, что Лермонтов — наследник Пушкина, редко уточняя, где и как. Между тем, совершив стремительный марш-бросок, он в своих планах прямо вышел на позиции позднего Пушкина самым буквальным образом: желание отставки, учреждение своего журнала, создание исторической картины русской жизни.

Но, пройдя в пору обретаемой зрелости теми же путями, он выходил и на новые. Только на первый взгляд могут показаться неожиданными слова Гоголя, что в Лермонтове готовился будущий великий живописец русского быта. Сам великий живописец и знаток такого быта, Гоголь точно ощутил здесь ближайшего соратника именно в Лермонтове. Ведь что являл этот гоголевский быт прежде всего? Царство пошлости. Пошлость пошлого человека — его главная героиня.

Уходила героическая и постгероическая эпоха 1812 года и прямо с нею связанного 1825 года, уходили люди того времени («Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...») и прямо из него вышедшие: опять же можно вспомнить лермонтовские стихи, обращенные к поэту-декабристу Александру Одоевскому.

Дело не только в политической реакции и не только русской общественной жизни. Европейская жизнь тоже пережила свою героическую эпоху, столь наглядно воплощенную в великом императоре Франции, и предстала ныне в самом жалком виде.

Не так ли ты, о европейский мир,  
Когда-то пламенных мечтателей кумир,  
К могиле клонишься бесславной головою,  
Измученный в борьбе сомнений и страстей,  
Без веры, без надежд — игралище детей,  
Осмеянный ликующей толпою!

А русский большой свет все более терял — и так не слишком густой — дух аристократизма: «Нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там», — делится Лермонтов своим мнением на этот счет в письме М. А. Лопухиной.

Недаром пишут, что в лермонтовских сарказмах слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной великосветской жизни и страхом влияния *этой пошлости на прочие слои общества*, что пошлость, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, что пренебрежение к пошлости Лермонтов, по словам Н. М. Сатина, доводил до абсурда. Дело даже не в пренебрежении, а в ненависти, действительно могущей показаться по степени накала почти абсурдной.



Это, кстати сказать, бросает вполне ясный свет и на неслучайность последней дуэли Лермонтова. И. И. Панаев вспоминает: «Странно, — говорил один из его товарищей, — в сущности, он, если хотите, был добрый малый: покутить, повеселиться — во всем этом не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, — без этого он не мог быть покоен, — и, выбрав ее, он уже беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его».

Последний лермонтовский поединок часто рассматривается чуть ли не как результат стычки повздоривших по ничтожному поводу задорных молодых людей.

Нет, русское общество, так сказать, исторически нашло в мартиновском типе орудие расправы со своим поэтом. Это в случае с Дантесом можно было утешаться тем, что поэта убил хотя бы не русский. «На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке было грешно целить в Лермонтова» (П. Вяземский). «Не стало Лермонтова! Сегодня (26 июля) получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах; он убит, убит не на войне, не рукою черкесца или чеченца, увы, Лермонтов был убит на дуэли — русским» (А. Булгаков).

«Теперь другой вопрос, как поступить с убийцей нашей славы, нашей народной гордости, нашего Лермонтова... тем более, что он русский... нет, он не русский после этого, он не достоин этого священного имени» (А. П. Смольянинов). Увы, именно «на русское имя», по словам В. А. Соллогуба, кровавым пятном легла его смерть.

«Роковое совершилось, — писал уже биограф Лермонтова П. А. Висковатов, — Он пал под гнетом обыденной силы, ополчившейся на него, пал от руки обыденного человека, воплотившего собою ничтожество времени, со всеми его бледными качествами и жалкими недостатками».

Дело все в том, что «обыденный человек» воплотил именно ничтожество времени, уточним: времени пошлости.

Николай Соломонович Мартынов сопровождал в приятельстве всю жизнь нашего поэта, во всяком случае, начиная с юнкерского училища и даже с первых литературных опытов в рукописном училищном журнале. Сам Лермонтов определил тип такого приятельства и характер таких отношений в своем «Герое нашего времени» применительно к отношениям Печорина и Грушницкого: «Я его понял, и он за это меня не любит, хотя наружно мы в самых дружеских отношениях. Я его также не люблю». И прогнозировал: «Я чувствую, что мы когда-нибудь столкнемся на узкой дорожке, и одному из нас не сдобровать».

Видимо, именно в таком дружестве и пребывали постоянно Лермонтов и Мартынов. Конечно, Мартынов не Грушницкий ни по возрасту, ни в биографии, но и тот и другой покрывают *тип* обыденного человека, пошлость которого и проявляется в желании сыграть в необыденность и которая, конечно же, способна приводить в ярость поэта — друга, чья необычность располагается на уровне гениальности.

Поэт изливал яд своих насмешек и карикатур на приятеля Мартынова с тем большим *личным* раздражением и ожесточением, что Мартынов являл карикатуру на самого Лермонтова: в претензиях на необычность и первенствование, в притязаниях на избранничество и исключительность, даже и в своих литературных занятиях с кавказской *лермонтовской* «тематикой». То есть карикатуру, искажавшую самого поэта, покушавшуюся на самое в нем сокровенное. Может быть, тем самым помогавшую избавляться от демона.

Конечно, Лермонтов не хотел никакой дуэли, тем более кровопролития, и ни в коем случае сам стрелять не собирался. Скорее он предпочел бы ей огонь словесных пикировок и насмешек, в том числе обращенных на него самого и на которые, как рассказывают, стремился вызывать своих противников.

Но он просто *не мог* не реагировать на пошлость самым саркастическим образом, и здесь был беспощаден. В свою очередь пошлость, сознавая здесь свое бессилие, просила о снисхождении, чуть ли не о пощаде («Г. Лермонтов, я много раз просил Вас воздерживаться от шуток на мой счет, по крайней мере, в присутствии женщин». Это слова Мартынова, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, многими подтвержденные), прежде чем ответила ненавистью, потребовавшей крови, и здесь-то тоже была беспощадна. Друзья, как оказалось, были в сути смертельными врагами. Просто пошлость, как мировое явление и зло стремительно накатившегося буржуазного мира, скукожилась и проявилась не только, скажем, в гоголевском литературном майоре Ковалева, но и в реальном отставном майоре Мартынове. И если Пушкина погубил, по сути, космополитический заговор, то Лермонтова уничтожила именно российская пошлость.

Надо признаться, что не случайно же возникло, закрепляясь к 30-м годам XIX века во все более негативном значении в русской жизни и в русской литературе, это чисто русское слово «пошлость», смысл которого не передаваем никакими синонимами и которое не переводимо ни на какие языки.

«Становится страшно за Россию, — записал в своем дневнике 31 июля 1841 года Юрий Федорович Самарин, — при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей, в ее поэтах. За что такая напасть.... И что выкупают эти невинные жертвы... Да, смерть Лермонтова поражает незаменимой утратой целое поколение. Это не частный случай, но общее горе, гнев Божий, говоря языком Писания, и, как некогда, при казнях свыше, посылаемых небом, народ посыпал себя пеплом и долго молился в храмах, так мы теперь должны не быть безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя».

Кажется, уже наше время помогает особенно отчетливо уяснить всю эту сторону дела и вновь и вновь *строго допросить себя*. Ведь предшествующая эпоха была какой угодно: героической и жестокой, трагичной и мужественной, пафосной и лицемерной и часто лицемерной в самой пафосности. Но никто не решится сказать, что она была пошла. Пошлость, во всяком случае, ютилась где-то на задворках. Как сказал, хотя и по другому поводу, другой поэт: «Недуг не нов, но сила вся в размере». Сейчас она, как неперемное условие и неизменная примета внедряющегося со страшной силой буржуазного мира, царствует и распространяет влияние того, что теперь почти официально называют «светской жизнью», на прочие слои общества, особенно на массовую культуру.

Она выбрасывает из молодежных чтений роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, которого на Западе, по мнению Андре Жида, причислили бы к лику святых, и набрасывается на «Тихий Дон» Михаила Шолохова, она спускает целую стаю литературных шакалов на Александра Солженицына и опускает талантливую певицу, расплачиваясь с ней кличкой «Примадонна», она поднимает тучи фабричных звезд и, окрашиваясь в желто-голубые тона, сладострастно копается в куче гомиков и комиков. Наша российская пошлость не считает нужным прикрываться этикетно даже соблюдением каких-то внешних пристойностей, как это принято в «цивилизованных» странах.

Она стремится изъять все говорящее об ином трагическом и героическом времени, разрешая лишь пару ритуально-мемориальных напоминаний в год. Да что там героически-трагичное, она стремится изъять все сколько-нибудь человеческое. А это у нас прежде всего русская литература. «Вообще, мы просто любим русскую литературу по инерции, так любим слепо, а она столько много всего наворотила». Все это говорит современный образованный русский писатель. Кстати, «наворотившие» тоже названы: Горький, Чехов, Достоевский, Толстой.

Когда-то Мережковский писал о грядущем хае. Теперь можно говорить о хае пришедшем. Правда, пришедшем не совсем с той стороны. Невольно вспоминаешь слова Тютчева: «Но на то и интеллигенция, чтобы возвращать инстинкт (народа. — Н. С.)».

Сейчас период первоначального накопления пошлости завершается, и скоро, кажется, все мы станем свидетелями, да и участниками, окончательной ее победы.

И что же здесь Лермонтов? «Последнее мое впечатление от театра, — делится Николай Бурляев, — связано с постановкой Юрия Еремина „Из пламени (у Лермонтова — «Из пламя». — Н. С.) и света рожденное слово” о Лермонтове. Ушел после этого спектакля расстроенный. Помню, когда Мартынов убил омерзительного похотливого Лермонтова, то зал облегченно вздохнул и потом букеты цветов дарили ему».

Естественно, что рано или поздно Лермонтов должен обратиться к тому, кто страдал по-настоящему и уж, конечно, без тени пошлости, в чьих сказках, может быть не без запальчивости, находил поэзии больше, чем во всей французской словесности, в ком провидел родную душу. «Чуть лишь он коснется народа, — сказал Достоевский, — тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ... остался бы Лермонтов жить и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть и *истинно-го печальника горя народного*. Но это имя досталось Некрасову».

Итак, в Лермонтове готовился тот, кто должен был, по словам даже Николая I, заменить Пушкина, великий живописец русского быта, по убеждению Гоголя, истинный печальник народа, по мнению Достоевского, и в ком была сломлена, по словам В. Розанова, самая крона русской литературы, а не ее боковые сучья, ибо и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и Некрасов, все-таки по отношению к Лермонтову, как и к Пушкину, пусть могучие, но все-таки боковые сучья. А еще тот, кто уже прорывался в космос и умел сурово и благодатно говорить с Богом.

Именно в этом ряду стоит одно из самых великих произведений русской поэзии «Выхожу один я на дорогу...». К сожалению, русская музыка, как и в случае с другим мощным поэтическим откровением Пушкина «Я помню чудное мгновенье», отделилась романсами: конечно, прелестными. Тем закрепляя их в разряде собственно любовной лирики: еще академик А. И. Белецкий возражал против помещения стихов «Я помню чудное мгновенье» в составе стихов любовных. Да еще и прикрепляя к реальным лицам, скажем, у Пушкина — к Анне Петровне Керн. А потом мы удивляемся расхождению художественного образа с реальным прототипом. Между тем сам «прототип» у Пушкина иной. Это многолетне подготовленный (ситуация с Керн дала лишь эмоциональный толчок) образ Мадонны (можно уточнить — Сикстинской Мадонны), прямо навеянный поэту Жуковскому художником Рафаэлем и в свою очередь переданный поэтом Жуковским поэту Пушкину целой группой образов, вплоть до цитат: «Гений чистой красоты».

И если продлить, пусть могучие показаться произвольными, музыкальные сравнения, то «Я помню чудное мгновенье» можно сравнить с трехчаст-

ной бетховенской сонатой, а «Выхожу один я на дорогу» уподобить «Реквиему» Моцарта.

Вот в каком ряду располагается их возможная музыкальная адекватность.

Именно обращение к высшему началу прямо продиктовало обоим поэта́м, казалось бы, в небольших стихотворениях единые и единственные в данном случае «ключевые» слова: «чудное» — «чудно», «небесные» — «в небесах», «божество» — «Богу».

В то же время у Лермонтова, не говоря уже о Пушкине, это отнюдь не отлетающая от земли молитва, обращенная к Богу, и Константин Леонтьев в свое время напрасно посетовал: «Что же касается стихов „Выхожу один я на дорогу...“, надо изменить лишь одну строку (и, мне кажется, он сам изменил бы ее со временем, если был бы жив).

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,  
Мне про Бога (вместо про любовь. — Н. С.) сладкий голос пел».

Но такое изменение лишь одной строки вступило бы в противоречие и со смыслом всего стихотворения, представшего (в идеале) как разрешенное противостояние земного и небесного, чувственного и духовного, жизни и смерти, смерти и бессмертия, а строка о любви в данном случае, подчиняясь общему контексту этого стихотворения, конечно, имеет в виду любовь в самом обширном смысле, в том, который другой великий русский поэт определил словами: «Шел Господь пытатъ людей в любви».

А Господь и в любви много пытал нашего поэта. Но — неожиданно — в поэзии любви, в отличие от Пушкина, прежде всего сосредоточенного на своем чувстве во всем его богатстве, разнообразии и самодостаточности, Лермонтов в гораздо большей мере внимателен к ней — часто тоже испытуемой.

Как известно, литературоведы и биографы Пушкина прямо с ног сбились в поисках его скрытой, зашифрованной, потаенной и якобы *единственной* любви: скажем прямо, — в этом качестве просто не существующей.

С Лермонтовым гораздо проще. Даже при довольно многих увлечениях все или почти все «прототипы» гораздо узнаваемее. А прежде всего узнаваема Варенька Лопухина по особому к ней отношению, действительно единственному и почти не скрываемому.

Важно, однако, что́ эта единственность вызвала в поэзии, а вызвала она тоже единственные в своем роде благословляющие стихи, любовно-молитвенные стихи, так и названные «Молитва». Это не как будто бы подобные и тоже благословляющие пушкинские стихи:

Я Вас любил безмолвно, безнадежно,  
То робостью, то ревностью томим;  
Я Вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Но сопровождающее «Как дай вам Бог любимой быть другим» здесь не более чем полужитейский оборот. А дивные Мадонны Пушкина, им же и привитые русской литературе, располагаются все-таки вне глубинного народного мирозерцания, связанного с иконной Богородицей, как у Лермонтова:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою  
Пред твоим образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника в свете безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой заступнице мира холодного.

Лермонтов обратился к особо почитаемому в русском народном сознании образу (в прямом и переносном смысле) Богородицы, Матери Божией, заступницы, найдя здесь удивительное, действительно только к матери могущее быть приложенным слово: «теплой заступнице».

И стихотворение «Валерик», которое, по мнению критики, впервые выразило особый русский взгляд на войну, так углубленный Львом Толстым, тоже явилось в виде послания к Вареньке Лопухиной, да не просто ей посвященного, а в плотном контексте воспоминания о личных отношениях. А стихотворение «Ребенку», по мнению Висковатова, на наш взгляд беспорочному, тоже обращено к дитяте Вареньки Лопухиной (Бахметевой) и тоже возвало к молитве. Иначе говоря, у Лермонтова есть многочисленные образы любовных отношений, горьких и радостных, ревнивых и раздраженных, добрых и ироничных.

И только один образ, стоящий совсем в другом ряду абсолютных ценностей, подобных тем, о которых сам поэт сказал:

Люблю отчизну я, но странною любовью!  
Не победит ее рассудок мой.

Владимир Соловьев недоумевал по поводу того, что такую любовь Лермонтов почему-то называет «странной». А потому и называет странной, что при всей неопределенности никаким другим определениям она не поддается, существует необъяснимо, помимо логики и вопреки доводам «рассудка».

Но здесь-то и коренится подлинная любовь к Отечеству, настоящий, органический патриотизм, а не предрассудки патриотизма, о которых говорил еще Добролюбов как раз в связи с Лермонтовым. Недаром по поводу «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» В. Г. Белинский писал о *кровном* родстве духа поэта с народным духом. Все это вновь и вновь заставляет возвращаться (в последний раз это сделал М. Д. Эльзон) к одному из самых известных приписываемых Лермонтову стихотворений:

Прощай, немытая Россия,  
Страна рабов, страна господ,  
И вы, мундиры голубые,  
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа  
Сокроюсь от твоих пашей,  
От их всевидящего глаза,  
От их всеслышащих ушей.

Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж — бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском-то стихотворении такой степени политического радикализма. Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И. Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян.

Кстати сказать, речь в стихотворении о желании укрыться за «стеной Кавказа» в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, т. е. строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное — это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф как раз сохранился): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем».

Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна — встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать...

Такова Россия».

Посмотрим.

## КРИТЕРИЙ ПОДЛИННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РОМАНТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (МЕТАФОРА—СЮЖЕТ—РЕАЛЬНОСТЬ)

Постановка вопроса о подлинности в историографии правомерна не только в отношении источников и материалов исторического исследования: существует и проблема подлинности самого исторического знания, по-своему решаемая разными эпохами. Решение, предложенное в этом плане романтической культурой первой трети XIX века, интересно, в частности, тем, что оно обнаруживает своеобразную близость ряду мировоззренческих и методологических положений, формирующих смысловой план понятия «подлинности» в представлениях об истории и в настоящее время.

Одним из таких положений является, например, идея закономерности исторического процесса, целесообразность которого, как принято считать, определяется действием неких объективных сил, «управляющих» движением истории «через людей, но помимо их воли».<sup>1</sup> От историка в этой ситуации ожидают раскрытия «тайных пружин» совершившихся в прошлом событий, обнаруживающих, таким образом, в акте исторического познания свою недоступную непосвященным подлинную сущность. Другим источником понятия о подлинной истории оказывается вера в возможность воссоздания картины ушедшей в прошлое реальности в виде, максимально приближенном к «действительности». Представление об исторической подлинности связывается здесь с подлинностью факта или, в пределе, с подлинностью собственно человеческого бытия, живой конкретики «реального» существования.

Объединение этих двух внешне противоположных установок формирует и традиционное представление о самих задачах исторического исследования: целью историка становится наблюдение и выявление в историческом процессе неразрывного взаимодействия «объективных» сил и их «субъективного» выражения, слияния закономерности и факта, или, пользуясь языком историографии XIX века, взаимодействия в истории «жизни» и «истины». В самой культуре этого периода мысль об историческом познании как поиске и демонстрации подобного взаимодействия нашла воплощение в распространенной и популярной тогда словесной формуле, тем более любопытной, что она, по-видимому, органически вписывается и в обозначенный выше современный нам образ «подлинной» истории. Речь идет о «воскрешении действительности».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Лотман Ю. М. Клио на распутье // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997. С. 629.

<sup>2</sup> Ср. определение задач исторического исследования современным ученым: «Предметом истории является изучение законов общественного развития в их конкретных проявлениях. Ее задача — воспроизвести историческую действительность в единстве необходимого и случайного, *восстановить реально пройденный человечеством путь* во всех его зигзагах, во всем многообразии и неповторимости происшедших событий» (Гулыга А. В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 19; курсив мой. — Е. К.).

Историческая задача, метафорически именуемая в начале XIX века «воскрешением действительности», представляла собой, в первую очередь, декларацию непредвзятого и (в пределах возможностей, предоставляемых источниками) достоверного описания событий, идей и нравов ушедшей действительности. Основанием такого подхода служило, среди прочего, характерное для данной эпохи острое ощущение динамичности мирового устройства, глубоко и кардинально изменяемого ходом времени.<sup>3</sup> Одной из философских репрезентаций этой идеи являлась, в частности, значимая для исторического сознания первой трети XIX века концепция «мировых эпох» Шеллинга, предполагающая представление о времени как об «осуществляющемся различии», о «последовательности, в которой нет повторений», в которой «прошлое, настоящее и будущее расходятся, отличаются, отделяются друг от друга».<sup>4</sup> Об этом же писал Н. М. Карамзин, ужасавшийся мысли о возможности существования бесконечно возобновляющегося цикла исторических повторений: «Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен, действием какого-нибудь чудного и тайного закона, ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи взнесен на верх горы, собственною своею тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Горестная мысль! Печальный образ!.. <...> Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрестанно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особый нравственный характер, — погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз».<sup>5</sup>

Следствием подобной мысли была невозможность судить о реальности прошлого с точки зрения абстрактных или чуждых ей идеологических, политических или эстетических представлений. Именно поэтому культура начала XIX века обнаруживала принципиальный интерес к строгому воспроизведению ушедшего в прошлое мира во всей возможной полноте и объективности его фактических, этнографических, культурных и психологических деталей. Ценность исторического исследования и повествования полагалась, таким образом, в его способности служить отражением неопровержимой достоверности и правды «жизни», многогранности непосредственного человеческого бытия, «воскрешение» которого и являлось одной из основных задач историка первой трети XIX века.

«Мы разумеем здесь *Историю собственно*, — пишет в 1829 году Н. А. Полевой, — то есть такого рода творения, в которых стройною полною оживает для нас мир прошедший, где усилия ума человеческого, коими сей мир воссоздан, воодушевлен, скрыты в повествовании живом; творец такого только создания может называться *Историком* <...> от него требует человечество только верного, точного изображения прошедшего».<sup>6</sup> «Краски историка должны быть частны, — утверждает в опубликованном двумя годами ранее русском переводе сочинения французского историка Кузена, — ибо <...> цель их — оживить прошедшее и возродить действитель-

<sup>3</sup> См. об этом, например: *Тартаковский А. Г.* Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. С. 15.

<sup>4</sup> *Петц З.* [Введение] // Шеллинг Ф. В. Й. Системы мировых эпох. Мюнхенские лекции 1827—1828 гг. в записи Эреста Ласо. Томск, 1999. С. 11.

<sup>5</sup> *Карамзин Н. М.* Мелодор к Филалету // Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 249, 258.

<sup>6</sup> *Полевой Н. А.* История русского народа. М., 1829. Т. 1. С. XXII, XX.



ность; посему оне должны быть сильно проникнуты всем тем, что составляет действительность и жизнь». <sup>7</sup> Сходную мысль высказывает и Пушкин в отзыве на трагедию М. П. Погодина «Марфа Посадница», утверждая, что драматический поэт должен быть «беспристрастен, как судьба»: «Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно (...) говорить в трагедии, — но люди минувших дней, [их] умы, их предрасудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине». <sup>8</sup>

Метафорическое определение задачи исторического исследования как «воскрешения» приобрело, однако, особый смысл в рамках представлений, определяющих специфику восприятия изучаемой историком реальности прошлого. О характере подобных представлений упоминал, например, Б. А. Успенский в одной из работ, посвященных семиотике истории. «Когда мы говорим о прошлом „было“, — пишет исследователь, — это, в сущности, равносильно тому, чтобы сказать, что оно „есть“ применительно к иной действительности, которая недоступна при этом непосредственному восприятию. (...) Можно сказать, что история имеет дело с потусторонней реальностью, но потусторонность проявляется в данном случае не в пространстве, а во времени». <sup>9</sup> Подобная точка зрения в определенной степени соответствовала и основным установкам историографии начала XIX века, видевшей в действительности прошлого реальность небытия, или, точнее, инобытия — пространства загробного мира. История имеет дело с тем, что унесено течением времени, с тем, что уже мертво, — эта мысль неоднократно высказывается и подчеркивается в собственно исторических трудах или посвященных проблемам истории критических и философских работах рассматриваемого периода. Характерной иллюстрацией сказанному может служить, в частности, очерченный в предисловии к знаменитому труду Н. М. Карамзина аллегорический образ Истории: «Старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней Героя». <sup>10</sup>

Итак, историческая задача, связанная с познанием, осмыслением и описанием событий прошлого, зачастую представляла в историографических работах начала XIX века в образе «воскрешения» загробной реальности.

Одним из идеологических оснований этой устойчивой метафоры, по-видимому, было ключевое для романтического космоса представление о своеобразном «структурном» параллелизме «объективной» действительности и реальности внутреннего мира человека — так называемом «тождестве» бытия и знания, имевшем концептуальное значение для Шеллинга и его последователей. В рамках подобной концепции мысль о принципиальной возможности воспроизведения в реальности внутреннего мира человека феноменов «действительного» бытия приобретала характер очевидной истины. Не случайно процесс познания в историографии начала XIX века так легко поддавался описанию в терминах чувственного восприятия, а интеллектуальное приобщение событиям прошлых времен зачастую интерпретировалось как взгляд очевидца. «Мы должны сами видеть действия и действующих: тогда знаем Историю», <sup>11</sup> — утверждал Н. М. Карамзин. Сходным образом высказывался и Бестужев-Марлинский. «История была всегда, совершалась всегда, — писал он. — (...) Она буянила (...) разбивала царст-

<sup>7</sup> *Философия истории* (с франц.) // Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 6. С. 105—106.

<sup>8</sup> *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937—1949. Т. XI. С. 181.

<sup>9</sup> *Успенский Б. А.* История и семиотика. (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Успенский Б. А. Избр. труды. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 16.

<sup>10</sup> *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. М., 1989. Т. 1. С. 13.

<sup>11</sup> Там же. С. 17.

ва <...> но народы, после тяжкого похмелья, забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история <...> в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно».<sup>12</sup> Труд историка охотно сравнивают в это время с творчеством скульптора или художника: «воссоздаваемый» историческим знанием мир понимается как необходимо осязаемый и зримый.<sup>13</sup>

Важно, однако, что сущность постулируемого романтизмом «тождества» различных «измерений» бытия подразумевала, вместе с предствлением о подобии соотносимых реальностей, мысль об их обязательной различности и разграниченности. Идея разделяющей миры границы в работах Шеллинга находила, в частности, свое воплощение в образе зеркала: обуславливая взаимное подобие предмета и его отражения, зеркало не допускало возможности их смешения или пересечения. Именно такие отношения, по Шеллингу, и являли собой зримую модель космических взаимодействий, служащих основанием единства мироздания в его последнем, окончательном и «абсолютном» синтезе.<sup>14</sup>

Применительно к проблемам истории мысль о недопустимости и невозможности смешения, буквального отождествления связанных отношениями подобия «объективной» и «субъективной» реальностей в значительной мере соответствовала представлению о «разграниченности» «прошлого» и «настоящего» как сущности отличных друг от друга этапов исторического существования — не случайно историческое «бытие» и «знание» о нем в первой трети XIX века выделялись принадлежащими принципиально разным временным периодам.<sup>15</sup> Концептуально значимая для романтиков идея «границы» играла ключевую роль и в интерпретации идеи «воскрешения» историком ушедшего в прошлое мира в процессе его исследования и описания: реальная картина исторического бытия и реконструкция ее в рамках исторического знания связывались в пределах «формулы» «воскрешение действительности» как уподобленные друг другу, но одновременно и принципиально различные элементы *метафоры*.<sup>16</sup> Подчеркнуто метафорический

<sup>12</sup> [Бестужев-Марлинский А. А.] О романах и романтизме // Московский телеграф. 1833. № 15. С. 405.

<sup>13</sup> См., например, высказывание Н. Полевого об историке: «Он живописец, ваятель прошедшего бытия...» (*Полевой Н. А. История русского народа*. Т. 1. С. XX). Интересно в этом смысле высказывание высоко ценимого романтиками Гердера, который в наброске к сочинению «Пластика» (1778) подчеркивал принципиальную связь чувственного восприятия с реальностью настоящего: «Мир осязающего — это только мир непосредственного настоящего» (цит. по: *Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения // Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII—начало XIX в. Л., 1981. С. 99*).

<sup>14</sup> По словам Шеллинга, невозможно «представить себе нечто третье, в котором отражение в каких бы то ни было условиях может перейти в предмет или предмет в отражение, и <...> потому, что одно есть предмет, а другое отражение, они необходимо вечно и полностью разъединены»; однако немислимо при этом и «более полное единство, чем единство предмета и его отражения». Поскольку же предмет и его отражение никогда не пересекаются и не смешиваются «в чем-то третьем», то единство это осуществимо лишь в пределах «некоей высшей» реальности, где «то, благодаря чему отражение есть отражение, а предмет — предмет, а именно свет и тело, сами вновь едины» (*Шеллинг Ф. В. И. Сочинения*: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 508).

<sup>15</sup> Взятые в динамике исторического существования, отношения «бытия» и «познания» интерпретировались как последовательность первоначально совершающихся «действительных» событий и их позднейшего интеллектуального восприятия: ср., например, высказывание М. Погодина, писавшего, что «человек, государство, мир сперва действует, а потом познает свои действия» (*Погодин М. Исторические афоризмы*. М., 1836. С. 60). О принципиальности такой позиции свидетельствует и убежденность Погодина в неосуществимости и даже абсурдности идеи написания современной истории (см.: Разговор о скором выходе II-го тома «Истории русского народа» // Московский вестник. 1830. Ч. 3. № 11. С. 282).

<sup>16</sup> Мысль о том, что семантические отношения составляющих элементов метафоры подразумевают обязательность различения их в той же степени, как и взаимного уподобления, явля-

характер «формулы» в полной мере соответствовал в этом смысле обозначаемому ею комплексу методологических требований, предъявлявшихся в начале XIX века «подлинному» историческому исследованию. Так, например, утверждение необходимости пристального внимания к источникам, объективности и непредвзятости исторического повествования (т. е. принципиальные положения концепции истории как «воскрешения действительности») мотивировалось у Карамзина именно непреодолимостью границы между разными измерениями мира, невозможностью непосредственного и буквального взаимодействия с теми, кто уже находится за гранью смерти. «〈...〉 Непозволительно Историку, — писал Карамзин, — обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах», — и пояснял: «Нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых».<sup>17</sup>

Вместе с тем образ «воскрешения» ушедших времен в романтической культуре присутствовал не на одном лишь уровне «фигуры речи». Немыслимый в качестве элемента «действительной» реальности, он обретал право на существование в пространстве творческого вымысла и воображения, пробуждаемых вдохновляющим воздействием искусства. Именно об этом упоминал в одной из своих новелл Э. Т. А. Гофман: «Не правда ли, любезный читатель, ты с чувством особенного удовольствия и умиления бродишь по улицам тех немецких городов, где дома и памятники старинного немецкого искусства, красноречиво свидетельствуя о трудолюбии и благочестивой жизни наших предков, заставляют выступать перед тобой в живом виде картины прекрасного прошлого? 〈...〉 Но напрасно будешь ты искать того, что уже унесено колесом вечно вращающегося времени, и только в мечтах, навеянных памятниками, что с такой силой и благочестием создали старинные мастера, можешь ты воскресить прошлое 〈...〉 Рассматривая эти памятники, ты как будто сам переселяешься в то время и начинаешь понимать 〈...〉 его 〈...〉 Но увы! Если хочешь ты заключить в объятия эти видения прошлого, они ускользают, как ночная тень перед светом дня, и ты, со слезами на глазах, остаешься с настоящим, охватывающим тебя сильнее прежнего».<sup>18</sup> Сходная ситуация складывалась и в области историографии, где мысль о возможности вмешательства в создание исторического повествования творческой воли историка, своего рода исторического «вымысла» (присутствие которого, казалось бы, принципиально противоречило самой задаче «воскрешения действительности»), неожиданно придавала иной, гораздо более выпуклый характер представлению об этом «воскрешении»: предполагалось, что сам по себе труд историка пробуждает к жизни некие вполне действенные силы, способные оказывать влияние на непосредственное бытие людей, живущих в настоящем. Именно такой картина осуществляемого историей «воскрешения» предстает уже у Карамзина, формулировавшего в предисловии к «Истории Государства Российского» методологические принципы своего труда. «И вымыслы нравятся, — писал Карамзин, — но для полного удовольствия должно 〈...〉 думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства, и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собст-

ется общим местом теории метафоры (см., например: Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. Сб. ст. М., 1990. С. 18; Ричардс Айвор А. Философия риторики // Там же. С. 363).

<sup>17</sup> Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. 1. С. 18.

<sup>18</sup> Гофман Э. Т. А. Мастер Мартин-бочар и его подмастерья // Гофман Э. Т. А. Серапионовы братья. Минск, 1994. Т. 1. С. 322.

венного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим».<sup>19</sup>

Таким образом, трактовка исторического знания как «воскрешения действительности» имела принципиально метафорический характер в рамках методологии, ставящей во главу угла первостепенное внимание к источникам, фактическую точность, объективность и непредвзятость исторического описания; в области же, связанной с принципиально «субъективным» восприятием мира, данная метафора обнаруживала тенденцию к реализации, обретая сюжетную динамику в пределах исторического повествования, испытывавшего на себе воздействие воображения и творческой воли историка. Парадокс, однако, заключался в том, что именно этой воле стала отводиться роль основной созидающей силы в пределах историографической концепции, принятой и поддержанной следующим за Карамзиным поколением исследователей, работавших в конце 1820-х—начале 1830-х годов.

Начало 1830-х годов — это время, когда в русской историографии происходит смена приоритетов. Центральной задачей истории как науки становится не только и, пожалуй, не столько верное изображение совершившихся в прошлом событий, сколько поиск их смысла. «Происшествия для нас иероглифы, которых сокровенного смысла мы не постигаем, которых одни только наружные узоры нас прельщают, — писал об этом М. Погодин. — История для нас еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов...»<sup>20</sup>

Переключение внимания с «наружных узоров» исторического процесса на их содержание, разумеется, не уничтожило значимости мысли о необходимости достоверного и непредвзятого изображения событий; однако сама эта мысль во многом утратила свой прежний пафос. Приверженцам новой методологии, казалось, было тесно в пределах «повествовательного рода» истории, создателю которой отводилась роль наделенного критическим умом коллекционера фактов, призванного лишь отделять «зерна» от «плевел», «действительность» от «сказки».<sup>21</sup> «Простого» установления достоверной картины минувших событий было уже недостаточно: главным объектом исследования оказывались не факты сами по себе, но принципы их взаимосвязи, их глубинные взаимоотношения. Понимание их, как предполагалось, должно было открыть историку путь к постижению законов мирового существования, определяющих исторические судьбы народов и государств помимо и вне человеческой воли. «Внимательно рассматривая великие происшествия, видишь, что не одни люди действуют, — писал Погодин, — напротив, личность человеческая как будто исчезает, и дух какой-то носится и возбуждает (...), невольно рождается мысль о Промысле, Деснице путеводящей».<sup>22</sup>

Стремление проникнуть в тайны Промысла требовало от историка способности систематизировать и объяснять факты в свете теории, предполагающей присутствие стройной системы в сложном и подчас противоречивом течении исторических событий. Подобная постановка задачи неизбежно вносила в процесс исторического исследования значительный элемент субъективности. По замечанию Ю. М. Лотмана, декларируемая историографией

<sup>19</sup> Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. 1. С. 14.

<sup>20</sup> Погодин М. Исторические афоризмы. С. 63, 77.

<sup>21</sup> «Это простое повествование событий, возможно, красноречиво, но главное — верно изложенных, — пишет о такой истории Н. А. Полевой. — Здесь, собственно, нет историка: говорят события...» (Полевой Н. А. История Государства Российского, сочиненная Карамзиным // Московский телеграф. 1829. Ч. 27. № 12. С. 479).

<sup>22</sup> Погодин М. Исторические афоризмы. С. 48, 40.

начала 1830-х годов идея «создания организующей концепции», раскрывающей общий «смысл» человеческой истории, порождала стремление строить широкие и отнюдь не всегда основанные на проверенных данных обобщения, зачастую «пренебрегая фактами, в концепцию не укладывающимися». <sup>23</sup> Последовательное отстаивание этой позиции вело (в своем предельном варианте) к абсолютному нивелированию значения конкретных фактографических исследований: открытие глобальных законов исторического существования, как предполагалось, должно было давать историку возможность «угадывать» и «прозревать» события прошлого как элементы жесткой системы, принципы построения которой уподоблялись математическим. Ярким свидетельством тому может служить, например, высказывание Погодина, согласно которому подлинное историческое знание должно было предполагать полное отсутствие необходимости обращения к историческим источникам и неизбежной для исторического исследования опоры на «память». «Как трудно дойти до того, чтобы представлять себе живо Историю (...) без исторических выкладок, — писал Погодин, — знать, не прибегая к памяти, как был и что делал человек в Риме, Скифии, Эфиопии, во время греческого Сократа, сиракузского Тимолеона!». <sup>24</sup>

Такая позиция, внешне противоположная установкам историографии предшествующего поколения, казалось бы, должна была повлечь за собой и отказ от идеи «воскрешения действительности» как сути и конечной цели исторических изысканий. И тем не менее этого не произошло: именно возможность «воскресить» унесенную временем реальность продолжала оставаться в 30-е годы XIX века пробным камнем «подлинности» исторического знания. Сам образ подобного «воскрешения», впрочем, получал в новых условиях принципиально иную трактовку, сообщавшую исследовательской метафоре динамику элемента сюжета. Этим сюжетом был сюжет Апокалипсиса.

События Апокалипсиса представляли закономерным завершением истории человечества, понимаемой в начале XIX века прежде всего как история христианская. В контексте этой истории гибель мира во времени и воскрешение мертвых являлись событием, вводящим человечество в новый, качественно иной этап существования, новую «мировую эпоху» — эпоху бытия в вечности. К этой последней вехе и был направлен «вектор» человеческой истории, движимой силой Божественного Промысла, присутствие которого в реальном бытии человечества и стремились угадать историки: желанное знание было, говоря словами Погодина, попыткой осознания «путей господних» в жизни мира, стремлением «почувать Бога». <sup>25</sup>

Осуществляя подобную задачу, историк представал своеобразным «инструментом» самопознания человечества. Можно сказать, что в нем в определенном смысле была персонифицирована ключевая для романтиков грань между «бытием» и «знанием», совпадавшая в данном случае с пределом, отделяющим «бессознательное» бытие действительного мира от реальности внутреннего мира личности, способной осознать, эксплицитовать стержневые принципы этого бытия. <sup>26</sup> Стремление к выявлению этих принципов, однако, отнюдь не было выражением чисто академического или философского интереса: актуальность поставленной подобным образом задаче придавало

<sup>23</sup> Лотман Ю. М. Колумб русской истории // Лотман Ю. М. Карамзин. С. 585.

<sup>24</sup> Погодин М. Исторические афоризмы. С. 5.

<sup>25</sup> Там же. С. 21.

<sup>26</sup> Ср., например, высказывание М. Погодина: «Историк (...) есть венец народа, ибо в нем народ узнает себя (достигает до своего самопознания)» (Погодин М. П. Исторические афоризмы. С. 11).

ясное ощущение угрозы, которую несла с собой неосознанная или не до конца поддающаяся осознанию реальность прошлого.

Проблема здесь, возможно, заключалась, с одной стороны, в том, что принадлежащий ушедшим столетиям, «умерший» для «живой» действительности настоящего мир, являя собой картину подчиненного законам времени земного существования человечества, напоминал ныне живущему поколению о смерти как о неотъемлемой части самого этого существования. Прикасаясь к истории, человек сталкивался лицом к лицу с миром мертвых как прообразом собственной судьбы. «Ужасное пространство развертывается как пред моими глазами! Ужасное время перетекает в моем воображении! — писал о всеобщей истории Погодин. — Мне кажется, все веки, народы, гении, поднявшись из глубоких могил своих, собираются над головою моею и грозно спрашивают на всех языках Вавилонских: понимаешь ли ты нас?».<sup>27</sup>

Угроза, которую таила в себе ситуация возможного «непонимания» исторической реальности, была связана, с другой стороны, еще и с тем, что сама эта реальность, представавшая в сознании «созерцающего» ее историка как проявление путей Промысла, на уровне непосредственного существования подчинялась, как предполагалось, иным принципам — принципам «свободы». Это положение вписывалось в романтическую концепцию «двоемирия», в соответствии с которой сущность любого явления реальности была принципиально «двуплановой». «Каждое явление имеет два смысла, или лучше, имеет свою душу и свое тело, божественную идею и скучную форму, — писал об этом Погодин, — одною оно относится к высшим законам необходимости — другою к личностям человеческим, законам свободы».<sup>28</sup> «Повествовательный род» исторической науки, занимавшийся «коллекционированием» фактов и «восстанавливавший» ход событий прошлого в их причинно-следственных связях, таким образом, как предполагалось, имел дело с историей как проявлением «земного» принципа «свободы». Пути же человеческой истории, понимаемой как результат действия Божественного Промысла, находились в ведении истории «философской». Закономерно, однако, что ни один из этих двух подходов, взятый сам по себе, не позволял историку достичь полноценного знания о мире, проникнуть в суть движущих им сил, — т. е., иными словами, не мог служить основанием для создания «подлинной» истории. Философское знание, лишенное соприкосновения с живым бытием, являлось, в понимании романтиков, схоластической абстракцией.<sup>29</sup> Картина же исторического развития, движимого свободной волей человека и властью «обстоятельств», несла в себе опасность хаоса, зерно смерти. Подчиненная «бессмысленному» случаю жизнь таила в себе и угрозу столь же бессмысленной и случайной гибели. «Неужели все сии разнообразные явления происходят сами собою, то есть могут быть и не быть, заменяться другими, не имеют никакого единства, согласия? — писал Погодин. — Неужели люди зависят от случая и подвергаются опасности погибнуть в сию же минуту со всеми своими чувствами, мыслями, надеждами, историею? Рассудок невольно противится принять такое нелепое положение».<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Там же. С. 113—114.

<sup>28</sup> Там же. С. 97.

<sup>29</sup> Ср., например, высказывание М. П. Погодина: «От деяний человеческих можно отвлекать, (...) сокращать их как дроби, выражать их формулами более и более краткими, без имен людей, народов, мест, лет, (...) но ни одну из этих формул нельзя понять, уразуметь вполне, не узнав, из какой она сокращена, (...) вплоть до первого индивидуального, атомного, действительного исчисления летописей и преданий. Мы можем понимать общие идеи, формулы, суммы соответственно тому, как знаем слагаемые, подробности, частности» (там же, с. 80—81).

<sup>30</sup> Там же. С. 116.

«Подлинная» история, таким образом, должна была являть собой единство двух обозначенных выше принципов человеческого бытия. Однако действительное достижение подобного единства, случись это возможным, влекло за собой серьезные последствия. Оно предполагало переход человечества на качественно иной уровень существования, на котором реальное действие или событие, не утрачивая своей «стихийной», «случайной» природы, одновременно осознавалось бы как проявление божественной «необходимости». Одновременность проявления в реальности планов «бытия» и «знания» означала также слияние воедино ассоциирующегося с прошлым «исторического» существования и непосредственной, актуальной действительности сегоднешнего дня. Иначе говоря, осуществление этой задачи подразумевало завершение человеческой истории как линейной последовательности эпох, сменяющих друг друга во времени: последовательность уступала здесь место одновременности, время — вечности. «Чем дольше будет развиваться человечество, — писал Погодин, — тем деяния его будут яснее, проще, и наконец историею будет само настоящее время, т. е. человек будет вместе и действовать, и знать свои действия, или лучше, уже не будет Истории».<sup>31</sup> Концом же человеческой истории были именно события Апокалипсиса.

Таким образом, «философская» история начала 1830-х годов в определенном смысле продолжала почитать подлинность обретаемого ею знания подлинностью «действительного» человеческого бытия — будущего бытия мира в вечности. Постигание глобальных исторических законов интерпретировалось в этой ситуации как доказательство его осуществимости; соответственно именно историк должен был подготовить человечество к вступлению в новую — и последнюю — эпоху. «Каждая наука имеет свои таинства: таинство Истории — связь законов необходимости с законами свободы. (...) Это таинство — залог доказательства будущей жизни для ума, у сердца есть другие...» — писал Погодин. Сходные идеи несла в себе культура немецкого романтизма, на которую, собственно, и ориентировался Погодин. Так, например, в одном из произведений Новалиса история предстает «небесной утешающей и поучающей подругой, которая своими мудрыми речами мягко подготавливает человека к высшей, более широкой жизни и знакомит его с неведомым миром при посредстве понятий и образов».<sup>32</sup>

Очевидно, что в таких условиях окончательным критерием непреложной подлинности «понятий и образов», представляемых миру исторической наукой, могло быть только реальное осуществление перехода человечества на новый уровень бытия; до этого момента любое знание об этом способе бытия могло носить лишь умозрительный, гипотетический характер, а значит — неизбежно оставлять место сомнению в его подлинности. Об этом идет речь, например, в романе Бонаветуры «Ночные бдения», стержневой темой которого является проблема иллюзорности, а потому тщетности и бессмысленности человеческого самопознания. По мысли автора романа, человек никогда не может быть уверен в том, что именно он познает: свое подлинное «я» или одну из его бесчисленных личин, принадлежащих лишь сиюминутной действительности и вместе с ней уходящих в небытие. Сомнение в возможности познания своего «я» ведет к сомнению в реальности собственного существования. Пугающий призрак небытия, «Ничто», преследующий героев Бонаветуры, — это образ всеокрушающей смерти, перед лицом которой оказываются иллюзорны любые проявления духовной жизни

<sup>31</sup> Там же. С. 7.

<sup>32</sup> *Новалис*. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саусе. Новалис. Литературный этюд Т. Карлейля. СПб., 1995. С. 65.

человека — любовь, творчество, познание. Свидетельством их подлинной силы может стать только реальность Апокалипсиса — преодоление времени и гибели во времени, воскрешение мертвых, и финальная сцена романа, разворачивающаяся на кладбище, соединяет усилия влюбленного, поэта и алхимика в отчаянной, хотя и неудачной для каждого из них, попытке осуществления этого события. О том, что на решение той же задачи подспудно была направлена и творческая воля историка, свидетельствует и характерная метафора другого писателя и идеолога немецкого романтизма, Новалиса, вложенная им в уста героя его романа «Гейнрих фон Офтердинген». Уплодбляя поэта садовнику, способному силой своего искусства «оживлять мертвые семена растений», автор романа использует сходный образ, давая определение сути исторического знания как силы, способной пробуждать к жизни умерших: «Церковь — обиталище истории, — пишет Новалис, — и кладбище — ее символический сад».<sup>33</sup>

Итак, идея «воскрешения действительности» в первой трети XIX века имела серьезное значение как для «повествовательного», так и для «философского» «родов» истории, во многом выступая критерием и индикатором их «подлинности». В первом случае «воскрешение» представляло метафорическим определением идеи достоверного и фактически точного описания мира прошлого, во втором оно оказывалось элементом глобального завершающего события мировой истории, как считалось, осуществляемого в будущем. При этом если метафорическое «воскрешение» предполагало принципиально созерцательную позицию исследователя, не допускающего вмешательства его собственной творческой воли даже в акт познания, не говоря уже о процессе непосредственного человеческого бытия, то работа историка-«философа» в определенном смысле оказывалась направлена именно на преобразование актуальной действительности: окончательное и полное постижение историком путей Промысла в жизни мира делало ситуацию осознанного и вместе с тем свободного бытия человека в Боге реально осуществимой. Иначе говоря, создание «подлинной» истории могло в этой ситуации интерпретироваться как необходимая ступень к завершению человеческой истории, осознанный шаг к событиям Апокалипсиса.

Подобная идея, предполагающая активную роль исторического познания в жизни мира, должна была находить благодатную почву в пространстве именно русской мысли первой трети XIX века, склонной оценивать значимость науки с точки зрения возможности ее практического применения.<sup>34</sup> «Состояние русского общества не таково, — писал по этому поводу В. И. Туманский, — чтобы членам оного можно было погружаться в хаос мыслей, иногда исполинских, часто остроумных, но бесплодных в приложении. Нам нужны предметы, так сказать, осязательные».<sup>35</sup> В соответствии с этой тенденцией историческое познание, направленное на решение чисто академи-

<sup>33</sup> Там же. С. 24, 65.

<sup>34</sup> По словам И. М. Тойбина, «почва для сверхчувственных, слишком отвлеченных построений в России была мало благоприятной; русская действительность нуждалась в чем-то более осязательном, реальном, практическом» (Тойбин И. М. Пушкин и философско-историческая мысль в России на рубеже 1820 и 1830 годов. Воронеж, 1980. С. 9).

<sup>35</sup> Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 2. С. 72. Ср. также высказывание Н. В. Гоголя, по-видимому разделявшего данную точку зрения: «В наш век почти общим сочувствием была признана необходимость воплощения всякой мысли практической. Она всегда должна торжествовать, как прекрасную эпоху, это начинающееся соединение теории с практикою, следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова. Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так оглушительна своим величием (...) как когда облечена она [видимой формой], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром...» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.; М.], 1952. Т. 8. С. 204—205).



ческих или умозрительных философских задач, представало непозволительной роскошью; «подлинная» историческая наука должна была носить «положительный», прикладной характер. В этом смысле образ истории как своеобразного «инструмента» осуществления перехода человечества в новую мировую эпоху — события, предполагающего завершение бытия мира во времени и воскрешение его в вечности, — приобретал пугающе реалистический оттенок. Не случайно Погодин, критикуя «Историю» Карамзина, предрекал, что «великий художник-историк во всех отношениях явится между людьми, может быть, только накануне светопреставления».<sup>36</sup> И не лишнее ехидства замечание полемизировавшего с Погодиным Сомова: «Уж не хотел ли Г-н Критик, чтобы Карамзин, в угоду ему, ускорил своею Историею сие грозное событие?»<sup>37</sup> — было, по-видимому, совсем не далеко от истины.

Итак, образ «воскрешения» унесенного временем мира, который изначально имел характер исследовательской метафоры и находил сюжетное воплощение лишь в рамках художественного или исторического повествования (т. е. в пределах «метафорической» реальности познания, воспоминания и слова), обнаруживал вместе с тем тенденцию к реализации, в результате которой представление о восстановлении прошлого как о его исследовании и описании прочно ассоциировалось с апокалиптическим образом воскрешения мертвых. В силу этого вполне закономерной представляется та форма, которую идея истории как «воскрешения действительности» обрела за пределами романтической эпохи. Речь идет о философии «общего дела» Н. Ф. Федорова.

Федоровская концепция «общего дела» в ряде моментов коррелировала с ключевыми романтическими представлениями о мире. Так, например, Н. Я. Берковский отмечал своеобразную переключку некоторых базовых положений федоровской философии с идеями и образами романа Новалиса «Гейнрих фон Офтердинген».<sup>38</sup> В равной степени возможным представляется и близкое знакомство философа, в 50-е годы XIX века много и активно занимавшегося преподаванием истории и географии, с популярной историографической традицией предшествующих десятилетий. Так или иначе, именно значимое для этой традиции представление об истории как инструменте «воскрешения» ушедшей в прошлое реальности составило ключевой момент историографических рассуждений Федорова, понимавшего, однако, это воскрешение буквально — как непосредственно «физическое» воскрешение мертвых.

Осуществление буквальной реализации метафорического смысла в пределах федоровской концепции явилось, по-видимому, следствием гораздо более масштабной мировоззренческой установки, подразумевавшей, в частности, вполне определенное отношение автора теории «общего дела» к семантической реальности как таковой. Проблема заключалась в том, что в трактовке Федорова слово было лишено статуса «на самом деле» существую-

<sup>36</sup> [Погодин М.] Несколько объяснительных слов от издателя // Московский вестник. 1828. Ч. 12. № 23—24. С. 384. Об эсхатологических мотивах у Погодина см.: Виротайнен М. Н. «Сделаем себе имя». (Миф числа у Михаила Погодина и Велимира Хлебникова) // Виротайнен М. Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 432—433.

<sup>37</sup> Сомов О. Антикритика. I. Хладнокровные замечания на толки гг. критиков «Истории Государства Российского» и их сопричетников // Московский телеграф. 1829. Ч. 25. № 2. С. 244.

<sup>38</sup> «В романе Новалиса есть некоторые черты сходства с своеобразным философствованием Николая Федоровича Федорова, у которого тоже в великую картину общечеловеческого труда над матерью-землей включено безумное учение о воскрешении мертвых и политическая экономия мешается с мистикой загробной жизни» (Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 197).

щего элемента мира; словесная, смысловая реальность для него, собственно, не являлась «реальной». «Воскрешение» прошлого на уровне воспоминания, осознания и описания, т. е. «метафорическое» воскрешение,<sup>39</sup> представляло, таким образом, в интерпретации философа не более чем иллюзией. «История, как повесть о прошлом, есть воскрешение, но воскрешение только мнимое, — писал он, — а потому и не имеет смысла, и не будет его иметь, пока не станет действительным; действительное же воскрешение есть уже полная, всесторонняя история <...>; восстановленная только в слове, она есть не действительная, мнимая».<sup>40</sup>

Убежденность в иллюзорности словесной реальности сопровождалась в данном случае представлением о «не-действительной», мнимой природе психологической, мыслительной, духовной сфер человеческого бытия в целом. Нивелирование имматериальной ценности сознания, памяти (а в религиозном понимании — души) наводило на мысль об отсутствии в созданной Федоровым картине мира собственно метафизического измерения: на фоне христианского и связанного с ним романтического двоемирия мир Федорова был принципиально «одномерен». Об этой черте федоровской философии упоминал, например, Н. Бердяев, полагавший, что Федоров, стремясь к победе человечества над смертью, «не прозревает, что и смерть, и гибель может быть путем к иной, высшей жизни». «Трудно сказать, — писал Бердяев, — верил ли Федоров в бессмертие души. Когда он говорит о смерти и воскресении, то он все время имеет в виду тело, телесную смерть и телесное воскресение. Можно подумать, что для Федорова человек по преимуществу телесное, материальное, физическое существо, и без тела невозможна духовная жизнь. <...> Временами кажется, что он не признает ни духа, ни иного мира, а только этот мир, прикованный к физической телесности».<sup>41</sup> Примечательно, однако, что, несмотря на все вышеупомянутое, федоровская картина мира выстраивалась именно на основе и с учетом ключевых оппозиций («знание» и «действие», «сознательное» и «бессознательное» и т. д.), репрезентирующих основные «измерения» принципиально «двумерной» — «двумирной» — романтической реальности. Думается, таким образом, что было бы точнее говорить не об абсолютном отсутствии в рамках федоровской концепции свойственной романтизму идеи о существовании различных «измерений» мира (по-видимому, подспудно присутствующей в сознании автора и проявляющей себя в данном случае на уровне «языка описания»), но об утрате ключевого для романтиков представления о «границе» между этими измерениями как о конституирующем принципе «картины мира»: структурно соотносимые в рамках романтической теории уровни человеческого бытия — например сферы «знания» и «действия» — у Федорова перестают быть различны и различны. Исчезновение «напряжения различия» между подобными элементами реальности, по-видимому, и явилось возможной причиной того, что их первоначальная принципиально «метафорическая» эквивалентность оборачивается в системе рассуждений философа непосредственным тождеством. Это находит свое отражение, среди прочего, и в ситуации непосредственного воплощения смысла описанной выше историографической метафоры — ситуации, ставшей возможной в пределах «одномерной» реальности, сменившей в данном случае как романтическое, так и христианское «двоемирие». На вероятность этого указывает, в частности, и

<sup>39</sup> Ср. федоровское определение: «...для мыслящих история есть лишь словесное воскрешение, воскрешение в смысле метафоры» (*Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С. 196*).

<sup>40</sup> Там же. С. 197—198.

<sup>41</sup> *Бердяев Н.* Религия воскрешения. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова // *Русская мысль. 1915. Кн. 7. С. 116—117.*

тот факт, что окончательно и буквально поселивший историю на кладбище Федоров видел подтверждение правильности своей позиции именно в популярности идеи «воскрешения действительности» как исследовательской метафоры. «Когда (...) восстановление прошедшего в области мысли называют воскрешением, то говорят метафорически о знании как бы о действии, — писал Федоров. — Но в первобытном, в первоначальном значении слов заключается не обман, возвышающий нас, а выражается то, что должно быть».<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Федоров Н. Ф. Сочинения. С. 88—89.

## К ПРОБЛЕМЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

(ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО СКАЗАНИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ А. Я. АРТЫНОВА)

Севернорусская крестьянская культура XIX века не может рассматриваться как нечто однородное. Положение крестьян (крепостная зависимость или ее отсутствие), уровень сохранности традиционных форм фольклора (в том числе былинного эпоса), приверженность старой вере (или принятие никоновских реформ), сохранение и развитие традиций средневековой культуры (или возможность приобщения к культуре нового времени) были различными в разных губерниях и уездах. Формирование вкусов и пристрастий носителей крестьянской культуры определялось к этому времени уже не только исторически сложившимися социокультурными условиями, но и личным выбором и приложенными усилиями отдельного человека.

В Ярославской губернии одним из ярких представителей крестьянской культуры был Александр Яковлевич Артынов (1813—1896). Н. Н. Воронин писал: «Фигура Артынова и его труды заслуживают специального историографического или, скорее, источниковедческого и историко-литературного изучения (...) так как до сих пор сочинения Артынова, в особенности в глазах местных ростовских и ярославских краеведов, пользуются славой исторического источника, а сам Артынов идеализируется как „крестьянин-краевед“, „патриот“ и „основоположник изучения Ростовского края“».<sup>1</sup> Разумеется, рассматривать его сочинения как в какой-то мере отразившие не дошедшие до нас исторические источники нет никаких оснований. Авторитетные медиевисты откровенно называли его труды фальсификатами.<sup>2</sup> Едва ли возможно отрицать связь сочинений А. Я. Артынова с традицией литературных мистификаций.<sup>3</sup> Вспомним хотя бы ссылки на рукописи, послужившие, по утверждению крестьянского писателя, основой его записей. Так, называя в качестве своего источника сведений за 225 год «Хлебниковский летописец», сочинитель помещает в качестве сноски внизу рукописного листа следующую ссылку на «древний» текст: «На берегу ручья, впадающего в реку Ухтому, на том месте, где стоит ныне село Назорное (Ильицкой

<sup>1</sup> Воронин Н. Н. «Сказание о Руси и о вѣчем Олзѣ» в рукописи А. Я. Артынова. (К истории литературных подделок начала XIX в.) // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 175—198. Ныне только Ю. К. Бегунов в своих предисловиях и комментариях к изданным им сочинениям А. Я. Артынова (см.: Сказания Великого Новгорода, записанные Александром Артыновым. [Б. м.], 2000; Сказания Ростова Великого, записанные Александром Артыновым. [Б. м.], 2000) без каких-либо доказательств склонен видеть в них «источник истории». Научная оценка такой интерпретации творчества писателя дана В. А. Кошелевым: *Кошелев В. А.* Народный академик на ниве народознания // Новое литературное обозрение. 2002. № 56. Апрель. С. 351—357.

<sup>2</sup> См.: Розов Н. Н. Новые поступления из собрания А. А. Титова // Сборник Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1955. Вып. 3. С. 171—186; Воронин Н. Н. Указ. соч. Там же приведена полная библиография сочинений А. Я. Артынова.

<sup>3</sup> См.: Смирнов И. П. О подделках А. И. Сулакадзевым древнерусских памятников. (Мест мистификации в истории культуры) // ТОДРЛ. 1979. Т. 34. С. 200—219.

волости), по преданию старины будто бы стоял тут терем волшебницы-княгини Ахирезы Назорихи Муромской. Здесь она с дочерью своей волшебницей Всемилой-Бикань утопали в разврате. Современники терем этот вместо Назорнаго, как звали его княгини, прозвали „Зазорное место“. В последствии времени на развалинах этого терема насыпан был „Подзорной курган“, на котором князь Семен Дмитричь Приемков Большой построил свой терем. Здесь он на реке Ухтоме построил доселе невиданный корабль, на котором увез княжну Улиту, дочь князя Димитрича Бесчаснаго, и женился на ней» (с. 229).<sup>4</sup> Эта ссылка способна дать представление о «древности» источника А. Я. Артынова. Перед нами — топонимическая легенда, объясняющая название села «Назорное», однако легенда эта имеет ряд особенностей. Во-первых, объяснение каждого из вариантов (Назорный терем — Зазорное место — Подзорный курган) выходит за рамки истолкования конкретного названия, что в народной этимологии встречается крайне редко. Во-вторых, впечатляет весь предложенный автором ономастикон, но более всего — именование княгини: Ахиреза Муромская по прозвищу Назориха. Хотя в крестьянской среде часто называют женщин по социальному статусу мужа (стрельчиха, дьячиха, врачиха) или по его имени/фамилии (Савелиха, Ермолаиха, Вакулиха) с помощью словообразовательной модели «-иха», но встретить подобное при именовании княгини невозможно: летописные источники, как известно, называют жену князя либо по отцу (Ярославна, Мстиславна), либо по мужу (Андреева княгиня, Володимирья и пр.).<sup>5</sup> Не удалось также найти аналога «называнию» княгини (с использованием указанной модели) по месту жительства: Назорный терем — Назориха. Князь Бесчасный<sup>6</sup> назван по отчеству — Дмитрич, но вообще не имеет имени, что также не подтверждается традицией, зафиксированной письменными источниками. Вскользь оброненное А. Я. Артыновым замечание об увезенной с помощью «доселе невиданного корабля» княжне отсылает к известным сказочным сюжетам. Таким образом, можно утверждать, что сгоревший в пожаре «источник» исторических сведений крестьянского сочинителя, о котором никто не упоминал и которого никто (кроме А. Я. Артынова) не видел, — Хлебниковский летописец — мало чем отличается от основного авторского текста и, без сомнения, является результатом творчества самого писателя. «Фальсификации исторических источников — это создание никогда не существовавших документов либо поправки подлинных документов, что связано с целой системой различных приемов и способов. И в том и в другом случае налицо сознательный умысел, рассчитанный на общественное внимание, желание с помощью полностью выдуманных фактов прошлого или искажений реально существующих событий „подправить“ историю, дополнить ее не существовавшими деталями».<sup>7</sup> Ярославский сочинитель,

<sup>4</sup> Все ссылки в тексте статьи приведены по рукописи: РНБ. Собр. А. А. Титова. № 2200. Наследие угодничского крестьянина обширно — около 80 книг (общим объемом около 50 000 листов), но оно представляло собою постоянный процесс самопереписывания и саморедактирования: одни и те же сказания включаются в состав разных сборников. Потому любая его рукопись дает полное представление о творческих принципах автора (на издания Ю. К. Бегунова ссылаться невозможно, поскольку, по признанию составителя, он подверг «литературной стилистической обработке» свой источник).

<sup>5</sup> Впрочем, и в основном тексте А. Я. Артынова жена князя Ярослава Мудрого Ирина (дочь шведского короля Олафа Ингигерд) названа «княгиней Ингигердой Ярославихой», что свидетельствует о механическом переносе автором крестьянской словообразовательной модели в «оригинальный исторический» текст.

<sup>6</sup> Разумеется, он должен был именоваться Бесчастным (т. е. лишенным счастья), что вновь подтверждает влияние на текст А. Я. Артынова фольклорных источников.

<sup>7</sup> Козлов В. П. Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических источников XVIII—XIX веков. 2-е изд. М., 1996. С. 4. Исследователь на с. 211—212 дал краткую характе-

стремясь «удревнить» историю родного Ростовского края, написал тома своих сказаний, называя в качестве исторических источников никогда не существовавшие сборники.

История фальсификаций исторических источников насчитывает не одно столетие и не имеет границ.<sup>8</sup> На фоне богатой истории русских фальсификатов, подробно проанализированных В. П. Козловым (вставка в Хрущевский список Степенной книги; повествование о ереси Мартина Армена и Требник митрополита Феогноста в «Соборных деяниях»; «завещания» Петра Великого; подделки А. И. Бардина, А. И. Сулакадзева, Д. И. Минаева и мн. др.), труды А. Я. Артынова могут удивить лишь своим объемом. По точному наблюдению В. П. Козлова, «подделка — это тоже исторический источник, относящийся, однако, не ко времени, о котором в ней рассказывается, а ко времени ее изготовления».<sup>9</sup> Действительно, проведенный анализ творческих приемов А. Я. Артынова позволяет утверждать, что в сказаниях ярославского крестьянина обнаруживается значительное влияние книжной культуры конца XVIII—начала XIX века,<sup>10</sup> а именно «краеведческой» и историографической (в том числе генеалогической).

Разумеется, название «краеведческая» для литературы данного периода достаточно условно. Она сформировалась под сильным влиянием двух литературных традиций. К первой могут быть отнесены рукописные сборники, в которых читались тексты памятников (как правило, агиографического жанра), посвященные местным святым/святыням,<sup>11</sup> ко второй — произведения в жанре «путешествий» (морских и сухопутных), где основное внимание уделялось подробному описанию чужих земель, их исторических и топонимических легенд, традиций, обрядов, особенностей уклада жизни.<sup>12</sup> В сочинениях А. Я. Артынова ощутима связь с обеими традициями. Сказания его, как правило, повествуют о легендарной истории жизни правителей (или героев) двух великих центров Древней Руси: Новгорода и Ростовской земли. При этом очевидна связь между ними: в свои многочисленные сборники автор включал неизменное ядро, посвященное древнейшему периоду, и варьируемую часть, в которой читались местные легенды. Подобно путешественникам, сочинитель описывает свой край,<sup>13</sup> подробно рассказывая о причи-

ристику трудам А. Я. Артынова — «он не только вольно обращался с источниками, но и не останавливался перед весьма неуклюжей их подделкой» (с. 212), подробно разбирая «Сказание о Руси и о вечем Олзе». В. П. Козлов доказал, что автором текста Сказания был не А. И. Сулакадзева, как полагал Н. Н. Воронин, а Д. И. Минаев.

<sup>8</sup> О западноевропейских фальсификациях XVIII—XIX веков см.: *Уайтхед Д.* Серьезные забавы. М., 1986.

<sup>9</sup> *Козлов В. П.* Указ. соч. с. 9.

<sup>10</sup> Круг чтения А. Я. Артынова кратко охарактеризован Н. Н. Ворониным по материалам авторской рукописи 1831—1847 годов: М. В. Ломоносов, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, В. Г. Бенедиктов, Ф. Н. Слепушкин, М. Н. Загоскин, Н. Ф. Граматин, А. С. Пушкин и др. См.: *Воронин Н. Н.* Указ. соч. с. 176.

<sup>11</sup> Такие сборники могут быть условно разделены на несколько типов. Во-первых, сборники, посвященные конкретной обители и ее святым, например Троице-Сергиевой (в сборники включались Житие Сергия Радонежского и Житие Никона Радонежского); во-вторых, сборники, посвященные святым какого-либо города и окрестных монастырей, например Ростова (объединялись в разных сочетаниях жития Леонтия, Авраамия, Ионы, Исидора, Иринарха Ростовских), или Пскова (Жития Ольги, Всеволода-Гавриила, Никандра и Евфросина Псковских), или Казани (Жития Гурия, Варсонофия и Германа Казанских); в-третьих, сборники, включавшие сказания о местном явлении чудотворных икон/крестов. Однако в сборниках всех типов встречаются объяснения названий реальных мест, обычаев (с которыми, как правило, приходилось бороться святому) или традиций почитания святых.

<sup>12</sup> В настоящей статье не рассматривается вопрос о влиянии жанра хождений на формирование жанра путешествий.

<sup>13</sup> В частности, литература путешествий стала бесспорным источником именования А. Я. Артыновым местных жителей «туземными» (с. 509, например).

нах именованья многих деревень, речек, ручьев, источников, курганов и т. п. Так, например, А. Я. Артынов упомянул под 311 годом Сохатское болото, которое «заключает в себе пространство около 7 верст, лежит от г. Ростова на юг. Оно получило себе имя от великаго волшебника Сохата, сына князя Сары, внука князя Владимира, основателя Ростова. Близ бывшего терема волшебника Сохата стоит ныне Никольский погост» (с. 59, сн. 111). С точки зрения научной этимологии, название болота связано с устойчивой севернорусской традицией именованья «сохатым» лося. Лося предпочитают жить близ болот и могут подолгу находиться на зыбкой почве благодаря особенностям строения копыт. Болото, где в изобилии водились лося, вполне могло получить название Сохатского. Однако в народной этимологии большинство топонимов оказывается связанным с именами людей. Чтобы имя человека осталось в памяти потомков, он должен чем-то выделяться среди окружающих: происхождением (князь, потомок князей, царь) или особыми умениями (волшебник, колдун, разбойник и т. п.). Потому у нашего сочинителя появляется внук князя-основателя Ростова волшебник Сохат, по имени которого получило свое название болото. Впрочем, в краеведении до сего времени объяснения топонимов (часто с опорой на народную этимологию) и изложение легенд, с этими названиями связанных, занимают значительное место. Но в отличие от большинства краеведов-любителей, А. Я. Артынов не столько записывал местные легенды, сколько творил их сам.<sup>14</sup>

Однако и в этом его творчество опиралось на традиции историографии XVIII века.

Как правило, ученые, читавшие сочинения А. Я. Артынова, обращали внимание на имена его героев (Силоволь, Вихреслав, Громослав, Туросвет, Трудолоб, Гремисвет, Угода, Премила, Милолика, Звездосвета, Всемила и пр.), подчеркивая их фантастичность, выдуманность.<sup>15</sup> Отметим, однако, что данные Екатериной II имена княгиням языческой Руси в ее «Истории» (Прелеста, Умила и др.), безусловная связь которых с поэтическими именами в литературе XVIII века очевидна, могли стать для крестьянского писателя своего рода «изящными образцами». Правда, ярославский автор в области ономастики продвинулся значительно дальше государыни: список выдуманных им имен огромен, при этом почти все они совершенно не вписываются в то, что нам известно о языческих именованьях. Крайне затруднительно рассматривать в качестве действительно существовавшего имени такое, например, как Громослав. Гром — спутник грозы, в которой, как известно, во все времена (и языческие, и христианские) народ усматривал выражение божественного гнева. Потому возможность соединения понятий «гром» и «слава» в имени человека крайне сомнительна. Равно как Гремисвет (свет не производит каких-либо звуков, тем более не гремит) или Вихреслав (вихрь — разрушительная сила природы и славы принести не может) не вызывают сомнений в их искусственности.

<sup>14</sup> Это объясняет, как представляется, и тот факт, что А. Я. Артынов не смог профессионально записать ни одной легенды, сказки или былины. С одной стороны, он находился «внутри» крестьянской культуры, в то время как наличие дистанции (культурной, национальной, религиозной или социальной) — необходимое условие для записи. С другой стороны, писатели часто привносили в записываемый текст свои коррективы (вспомним, например, сказки братьев Гримм, в которых фольклорная основа заметно «христианизована» авторами).

<sup>15</sup> См.: *Воронин Н. Н.* Указ. соч. С. 179; *Кошелев В. А.* Указ. соч. С. 355. История выбора имени стала предметом исследований Ф. Б. Успенского. В частности, выявлению традиций, связанных с культом рода (т. е. архаических или дохристианских), определявших выбор имени для членов королевских семей Норвегии, Швеции, Дании в XI—XIII веках, посвящена работа: *Успенский Ф. Б.* Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М., 2001.

Все сказания А. Я. Артынова расположены в строгом хронологическом порядке: «Царевич Росс-Вандал. До Рождества Христова 1793 лето... За 700 лет до Троянской войны, воспетой Гомером. Эпоха первых письменных памятников в Египте, Месопотамии, Индии».<sup>16</sup> Конечно, подобные притязания на древность способны и удивить, и позабавить, но важнее то, что в сказаниях Артынова ощутима ориентация на летописную форму повествования: все они «привязаны» к датам. Вспомним, что и В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» использовал эту же форму: сочинение знаменитого историографа составлено в виде летописного свода, но является «уже не летописью, а историческим произведением, только составленным в виде летописи».<sup>17</sup> Впрочем, и содержание многих его записей большинству историков представляется недостоверным: основная масса «татищевских известий» (сведений, не находящихся подтверждения в известных источниках) отражает его собственные общественно-политические взгляды. При этом, как писал Я. С. Лурье, историограф «никого не собирался обманывать»:<sup>18</sup> «Конечно, Татищев не был вульгарным фальсификатором источников (...) В отличие от современных историков, Татищев излагал исторические события в летописной манере и не отделял при этом данные, заимствованные из источников, от собственных гипотез и догадок. Он считал допустимым впасть в уста исторических деятелей речи, которые они могли произносить, защищая свои позиции».<sup>19</sup> Как представляется, в использовании летописной модели повествования А. Я. Артынов следовал данной историографической традиции, хотя в попытках воссоздать историю Руси с XVIII века до н. э. предшественников у него не было.

Стремление связать родословие правителей Древней Руси с Гераклом, Александром Македонским, Демосфеном, Аларихом, Карлом Великим оказывается в том же ряду явлений культуры, что и возведение собственного рода к прославленным персонажам в русских (и не только русских) родословных сборниках. Семейные легенды (и действительно существовавшие, и созданные к моменту собирания сведений с целью «удревнить» историю рода) столь же определенно указывали на известных реальных и легендарных героев прошлого (от Августа Цезаря до Пруса, от Гаврилы Олексича и Пересвета до мурзы Чета или хана Юсуфа), а нередко и на знатное иноземное происхождение предка (из Скандинавии, Литвы, Золотой Орды, Италии, Византии и др.).<sup>20</sup> Напомним, что и сам крестьянин А. Я. Артынов писал, что ведет собственное происхождение от Торопки, уцелевшего при убийстве князя Бориса Владимировича на Альте (1015 год), получившего при возвращении в родные места прозвище Альтин, а затем с 1615 года, пос-

<sup>16</sup> Цит. по: Кошелев В. А. Указ. соч. С. 351.

<sup>17</sup> *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. 1. С. 261.

<sup>18</sup> *Лурье Я. С.* Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 55. В главе «Летописные известия в нарративных источниках XVII—XVIII вв.» ученый дал характеристику существующим взглядам историков на творчество В. Н. Татищева и изложил выводы своего исследования.

<sup>19</sup> Там же. С. 51.

<sup>20</sup> Со стремлением «объединить» несколько знатных линий в одну, как мне кажется, связаны двойные имена в сказаниях А. Я. Артынова: Буриовой-*Вайдевут* (ориентация на литовское Кейстут, например) или Всемила-*Бикань* (отсылка к тюркским корням). Хотя в летописных источниках мы встречаемся с наличием у князей двух имен, но пара всегда образована языческим и христианским именами (Ярослав-Георгий, Всеволод-Гавриил, Довмонт-Тимофей и др.). Этой проблеме посвящена специальная работа: *Гиппиус А. А., Успенский Ф. Б.* К вопросу о соотношении языческого и христианского имени — древнерусские антропонимические дубли в типологическом освещении // *Славяне и их соседи: (Славянский мир между Римом и Константинополем: христианство в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху раннего Средневековья): Тезисы XIX конференции.* М., 2000.



ле поимки атамана Заруцкого, родовое прозвание якобы поменялось: его предок начал именоваться по отчеству (!) «злодея» Мартыновым (буква «М» в начале слова была почему-то с течением времени утрачена). Согласимся, что по форме данная родословная легенда мало чем отличается от основной массы генеалогических преданий.

Каковы же основные принципы создания легендарного сказания в творчестве А. Я. Артынова?

Прежде всего, сочинитель активно вводит в свой текст реальные исторические названия (Египет, Афины, Рим, Сигтуна, Ростов), но все они в его сказаниях «хронологически единовременны».

Исторические герои оказываются связанными с персонажами артыновских сказаний родственными (или личными) связями. Так, скифский царь Ахей женат «на юной и прекрасной княжне Артаксии, младшей сестре матери знаменитого афинского оратора Демосфена» (с. 87). Бабка Демосфена по матери, возможно, по происхождению действительно была наполовину скифянкой<sup>21</sup> (его дед, высланный из Афин в Тавриду, женился там на дочери местного грека и скифянки), но сведений о ее знатном происхождении нет. Однако для автора невозможность прямых родственных связей Демосфена со скифскими царями менее важна, чем его собственная потребность придать противостоянию скифов и Александра Македонского дополнительный личный оттенок (великий афинянин, прославившийся своими филиппиками — речами против царя Филиппа, отца Александра Македонского, покончивший с собою после завоевания родного города, был племянником главной героини). Потому в сказании препятствия в любви «завоевателя полумира» к вдове скифского царя романтически преувеличены, а преодоление их должно возвеличить и самих героев, и их чувство.

Представления XVIII века о культуре античности заметно повлияли на творчество А. Я. Артынова. Сочинителем были включены в «Предания старины Ростова Великого» сказания об известных героях древнегреческих мифов: сказания так и называются — «Геркулес Алкид» и «Дедал-царевич». Одному из персонажей помогает крылатый конь — Пегас. У скифов, как пишет сочинитель, существовал обычай «увековечивать вид» героев (так, у царицы Артаксии был скульптурный портрет Александра Македонского, по которому его и узнают<sup>22</sup>). В покоях князя Куяна (VI век) находится картина «Венера и Марс» (влияние уже древнеримской мифологии). Т. е. быт древних князей Руси организован по «античному образцу», хотя действие неизменно происходит в «терамах» (от XVIII века до н. э. до XVIII века после Рождества Христова).

В сказаниях А. Я. Артынова можно увидеть элементы отдельных мифологических сюжетов. Например, в сказании о князе Ширяе и княжне Милоди (под 711 годом) в «свернутом виде» присутствует сюжет о Федре и Ипполите. Мачеха главного героя, не добившись любви своего пасынка, обвинила его перед мужем в преследовании ее «непозволительной страстью» и отправила в изгнание.

Большая часть произведений сочинителя испытала влияние фольклора и литературы, проявившееся на разных уровнях: словесных формул, моти-

<sup>21</sup> См. осторожное замечание об этом у Плутарха в 4-м разделе главы «Демосфен и Цицерон» // Плутарх. Избранные жизнеописания. М., 1987. Т. 2. С. 498.

<sup>22</sup> Живописный портрет Александра Македонского, как повествуется в «Александрии», находился в спальне амастридонской царицы Клеопилы Кандакии, которая по этому портрету собиралась узнать царя, часто ходившего послом к государям, земли которых он собирался завоевать. В сказании А. Я. Артынова о царице Артаксии и Александре Македонском имеется ряд параллелей с сюжетом повествования о Клеопиле Кандакии: попавший в плен сын царицы, помощь ему македонского царя, переход от враждебных отношений к союзническим.

вов или сюжетной схемы. Причем круг произведений, оказавших воздействие на творчество А. Я. Артынова, очень широк. Не претендуя на исчерпывающую полноту, попытаемся очертить наиболее существенные направления литературного влияния. Одним из основных источников творчества писателя является фольклор, главным образом волшебные сказки, некоторые былины, легенды о разбойниках. Вторым — древнерусская литература: летописание, «Слово о полку Игореве», «Александрия», «Сказание о князьях Владимирских», «Повесть об увозе Соломоновой жены», «Рукописание Магнуша», «Житие Евстафия Плакиды», апокрифы, духовные стихи, переводные рыцарские повести. К стати, знакомство нашего сочинителя с подавляющим большинством перечисленных произведений было не прямым, а опосредованным — в пересказе историков и писателей XVIII—XIX веков. Третьим источником творческих фантазий писателя послужила литература того же времени, представленная в основном именами Ломоносова, Фонвизина, Жуковского, Грамматина, Карамзина, Пушкина. При этом ни один из этих источников (фольклор, древнерусская литература, литература нового времени) не является изолированным от другого. Сказочный сюжет мог пересказываться «галантным» стилем XVIII века; мотив игры на гуслях для морского царя из былины о Садко включен в сложное повествование о добычании невесты, где среди героев названа Дева Озера (древнеанглийские легенды), великан Волот,<sup>23</sup> укрощенный перстнем царя Сезостриса,<sup>24</sup> дающего власть над нечистой силой (отголосок легенды о знаменитом кольце царя Соломона — Сулеймана-ибн-Дауда по восточным сказкам, — которое дарил владельцу власть над джиннами), и т. п. Иными словами, в творчестве А. Я. Артынова произошло эклектическое соединение источников на всех уровнях. Рассмотрим ряд примеров.

Так, под 100 годом читается сказание о царевне Мирославе и ростовском князе Мечиславе. Дочь царя Изатера Мирослава была просватана за «северного властелина», старого царя Фарнака. Встреча жениха и невесты должна была состояться на берегах Босфора (!), где в это время находилась ростовская дружина со своим князем. Во время купания царевна была похищена морским царем, а ее отец пообещал отдать свою дочь тому, кто сможет ее вызволить со дна морского. Однако «были охотники сражаться в чистом поле, а не в море, куда нет ни пути, ни дороги» (с. 77). Влюбленный Мечислав обретает помощника — волшебника по имени Жегуль, дочь которого Дельвора тоже оказалась в плену у морского владыки. Для того чтобы одержать победу над морским повелителем, князю необходим не один волшебный предмет или три (как обычно в сказках), а множество (несколько — чтобы добраться до волшебного хранителя предметов, несколько — для победы над царем, еще один — чтобы выбраться с морского дна). Перечислим несколько предметов из длинного списка: «личину Каинана-кощунника», «веретено Ноемы Прекрасной», «меч Азаила Хитрого», «молот Тезвулкана», «книгу Адды Всезнающего». Имена, разумеется, не случайны и, как пред-

<sup>23</sup> О. В. Творогов обратил мое внимание на заимствование имени Волот из сообщения о великанах — «волотах» в болгарском переводе Хроники Иоанна Малалы. Этимологическое толкование слова «волот» («велет») удовлетворительного объяснения, по замечанию Фасмера, не имеет. Предлагаются в качестве возможных вариантов два: 1) великан (от латинского «valeo» — я здоров); 2) владетель, государь (от праславянского «walo»).

<sup>24</sup> Собирательное имя египетских царей-завоевателей и создателей законов со времен античной литературы, откуда оно попало почти во все европейские. «Царю этого имени приписываются не только завоевание всей Азии, Европы до Фракии, Ассирии, Мидии, Эфиопии, скифов, Бактрии, но и различные законы... Иосиф Флавий видел в нем Сисака (Сускима) Библии фиванские авторы отождествляли его с Рамзесом II» (см.: Энцикл. словарь / Брокгауз и Ефрон 1900. Т. 29 (полутом 57). С. 314.

ставляется, содержат намеки на героев разных культур: Ноэма Прекрасная — вероятно, Ноэми, героиня кельтских легенд; книга Адды Всезнающего — возможно, сборник саг «Старшая Эдда», который воспринимался как сборник, названный по имени составителя;<sup>25</sup> Тезвulkan-ковач, видимо, слегка переделанное имя римского бога кузнечного ремесла Вулкана. Функция каждого волшебного предмета несколько «затемнена», его предназначение может оказаться неожиданным (в отличие от сказки, где сапоги-скороходы наделяют быстротой передвижения, где шапка-невидимка делает героя невидимым и т. д.). В частности, веретено Ноэмы надо бросить на пол горницы, когда придет морской царь. «Тогда он завертится, вот тогда-то и можно снять с него буйную голову» (с. 71). Перенасыщенность волшебными предметами и сказочными мотивами прозы А. Я. Артынова свидетельствует о некоторой механистичности его приемов. Стилистическая обработка сказочных сюжетов сохранила незначительное число фольклорных формул и более свидетельствует о пристрастии автора к литературе конца XVIII—начала XIX века. Спасенная Мечиславом царевна ведет себя подобно героиням исторических повестей Н. М. Карамзина. После того как царь поинтересовался, хочет ли Мирослава стать женой ростовского князя, она «вспыхнула вся, как маков цвет, потупила очи в землю, была несколько времени безмолвна, потом бросилась со слезами на шею своего родителя» (с. 75). В другом сказании А. Я. Артынова отец героя, наставляя сына перед дальней дорогой, к привычным «старых почитай, слабых не обижай, обиженным помогай» добавляет: «А пуще всего защищай слабый женский пол: такому быть богатырю на роду написано» (с. 83). Из богатырей, насколько нам известно по сохранившимся русским былинам, пожалуй, лишь Добрыня Никитич отличался «вежеством» по отношению к женщинам. Смысл наставления отсылает к русским переложениям рыцарских романов, но словесное оформление обусловлено знакомством автора с произведениями сентиментальной литературы.

Трансформируется вся привычная образная система. Так, меч-кладенец русских сказок, лишенный каких-либо деталей описания, под пером А. Я. Артынова превращается из символического образа в декоративную деталь: он весь «украшен дивными самоцветными камнями» (с. 157). Если сказочное время остается в переложениях крестьянского писателя неизменным — оно абстрагировано и лишено каких бы то ни было соотношений с историческим временем, — то пространство представляет собою сложное соединение сказочной беспредельности (по сути своей Босфор для ростовского князя Мечислава — такое же тридцатое царство) и конкретно-топонимических уточнений (герои действуют в пространстве, где каждое болото, каждый ручей имеют свое объясненное название). Более всего изменились модели поведения: в сказках их определяет функция персонажа (герой, злодей, помощник и т. п.), а в сказаниях А. Я. Артынова поведение героев соотносено с литературными образцами: сентиментальными (в плане изображения поведения героев и их переживаний) и романтическими (на уровне построения сюжетных коллизий)<sup>26</sup> и дополняется реально-бытовым

<sup>25</sup> Появление всех этих имен и некоторых мотивов очевидно связано с оссиановской темой в русской литературе. В творчестве А. Я. Артынова они возникли как результат его знакомства с поэтическими переложениями Н. Ф. Грамматина. Об «оссиановском направлении» см.: *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Конец XVIII—первая треть XIX века. Л., 1980.

<sup>26</sup> Данное замечание о «романтизации» основного конфликта в «древнем историческом источнике» может быть отнесено также к другому фальсификату — «Мемуарам» княжны Серафимы (после пострижения — Марии) Михайловны Одоевской, описывающей в качестве главной причины падения Новгорода Великого несчастную любовь к ней Назария, в гневе оговорившего город перед Иваном III. См. анализ этой фальсификации: *Козлов В. П.* Указ. соч. С. 221—231.

комментарием. Так, князь Вихресплав, спасая царевну Рему, стреляет из лука в чародея Тура, обратившегося в черного ворона (сказочный мотив, отразившийся в эпизоде спасения князем Гвидоном Царевны-Лебеди в сказке А. С. Пушкина), и вытаскивает девицу из болота. «Избавленная князем красавица от болота и волшебника озаботилась прежде всего в реке Устье смыть с себя болотную грязь. И приведя одежду свою в порядок, потом стала благодарить князя за его великодушный поступок» (с. 181—182). Князя Древней Руси в сказаниях А. Я. Артынова ведут себя в соответствии с этикетом поведения XVIII—XIX веков: «После обычной вежливости князь стал просить сестру свою познакомиться ево с княжной Светозарой» (с. 143).

Этот же принцип — реально-бытовых дополнений — наблюдается и в легендах, ориентированных на литературные произведения. Так, в сказании о князе Фрелафе и княгине Леве обнаруживается сильное влияние перипетий сюжета «Жития Евстрафия Плакиды». Несчастливая княгиня, жертва страсти своего мужа-варяга к злой волшебнице Всеславе, была брошена в темницу. А ее сыновья Пламид и Избор, детьми чудом спасшиеся от смерти, к которой их приговорила злая мачеха, потеряли друг друга, но, став взрослыми, оба выбрали путь воина. Когда братья Левы князя Любомир и Туросвет пришли «восстановить справедливость» в пределы варяжской земли, то они увидели, как самого Фрелафа, заключенного в темницу, сын Всемилы поволок на казнь, оскорбляя и унижая обесилевшего князя. Варяга отбили у неистового юноши. «Жестокая пощечина князя Туросвета раздалась по щеке буйного юноши, лишила его нескольких зубов, и повергла его на землю. Изверженные им с кровию зубы доказывали, что удар был от чистаго сердца» (с. 187—188). После натуралистических подробностей описания расправы автор вновь следует сюжетной схеме первоосновы Жития — эллинистической авантюрной повести: происходит всеобщее узнавание детей и родителей, сцена раскаяния Фрелафа, а затем описание всеобщего примирения. Таким образом, произведение, испытывавшее на сюжетном уровне влияние агиографического памятника, дополнялось, как и фольклорные тексты, бытовыми и литературными деталями.

Ряд сказаний А. Я. Артынова обнаруживает свою полную зависимость от литературных произведений. Один из наиболее ярких примеров тому — сказание об Алексее Богдановиче Мусине-Пушкине и княжне Ирине Луговской. Непосредственным источником данного сказания является повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь». Сюжетная схема повторяется в артыновском произведении практически полностью: жизнь героини в доме отца — ее основные занятия — знакомство в московской церкви с прекрасным незнакомцем — помощь влюбленным няни — увоз невесты — тихий брак в сельской церкви — история опального семейства мужа героини и его оправдание — мирная жизнь молодых — поиски любимой дочери отцом — сборы на войну против литовцев главного героя — выход в поход вместе с мужем героини под видом его младшего брата — воинский подвиг, переломивший ход сражения, — царская милость и награды — встреча героини с отцом, сопровождавшим царя, — превращение молодого воина на глазах у свиты в боярскую дочь — прощение отца — счастливая жизнь героев. Очевиден характер проведенных А. Я. Артыновым переделок. Прежде всего, наш сочинитель пересказал свой источник предельно кратко:

#### Н. М. Карамзин

«Наталья, по своему обыкновению, пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила

#### А. Я. Артынов

«Там, в церкви в день Покрова пресвятой Богородицы боярошня Ирина встретила с красивым, статным и мо-

глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий пронзительный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся покраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: „Вот он!..“ Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей показалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека...»<sup>27</sup>

лодым боярином. Огненный взор его, встретившись с ее, показывал в нем такого героя, о каком она часто днем и ночью мечтала» (с. 623).

В повести Н. М. Карамзина разработаны портретные характеристики героев (кожа Натальи блее «итальянского мрамора и кавказского снега», волосы как «темно-кофейный бархат», ресницы «черные и пушистые» и т. п.), в сказании Артынова описаний индивидуальных черт героев нет, лишь кратко сказано, например, что Ирина «имела замечательную красоту лица своего, могущую спорить с первыми красавицами белокаменной Москвы» (с. 621).

Диалог героев и их внутренняя речь в карамзинской повести занимают значительное место. Они не только драматизируют повествование (один из фрагментов даже имеет вид произведения драматического жанра<sup>28</sup>), но и определяют развитие действия. В обработке А. Я. Артынова диалогов очень мало, а внутренней речи нет вовсе.

Отсутствует в этом произведении А. Я. Артынова (как, впрочем, и в других) образ автора, столь характерный для прозы Карамзина. В «Наталье, боярской дочери» образ автора многогранен: серьезные рассуждения о прежних временах, «когда русские были русскими»; признание в любви к истории; размышления о вымысле перемежаются полными самоиронии замечаниями. Так, ссылаясь на то, что слышал свою историю «в царстве теней» от бабушки своего дедушки, писатель продолжает: «Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство... Ах, нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоём; итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неопisanного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей...»<sup>29</sup>

Кроме проведенных сокращений своего источника, А. Я. Артынов сделал некоторые добавления. Все они связаны с вопросами образования и вос-

<sup>27</sup> Цит. по: Карамзин Н. М. Бедная Лиза. Повести. Л., 1970. С. 50—51. (Серия «Народная библиотека»).

<sup>28</sup> Имеется в виду сцена, повествующая о решении Натальи ехать на войну вместе с мужем, выстроенная по законам драматической композиции: «А л е к с е й. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай. Н а т а л ь я. Какой же, мой друг? А л е к с е й. Ехать на войну...» и т. д. (Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 72—73).

<sup>29</sup> Карамзин Н. М. Указ соч. С. 41.

питания героини. Князь Михайло Кузьмич Луговской, отец Ирины, «по службе своей в Москве он имел частые сношения с иностранцами, находящимися на службе при царском дворе. Вследствие чего и дочь его Ирина имела образование не старинное, московских бояр, а современное — иностранное. Она имела у себя много подруг в иностранных семействах, близких знакомых к ее родителю» (с. 621). Представления крестьянского писателя об образованности княжны XVII века также неисторичны, как его рассуждения о ее воспитании: «...знаменитая красавица нраву пылкого, имела живую и предприимчивую натуру. Героиня прошлых веков: лихая наездница и смелая охотница» (с. 622).

По утверждению самого А. Я. Артынова, в этом произведении он основывался на воспоминаниях своих героев. Как становится понятным из сказания, именно Алексей Богданович и Ирина составили текст, который стал образцом для автора и одним из его основных источников сведений: «Стольник Алексей Богданович Мусин-Пушкин имел обширный ум и любил заниматься отечественной литературой, в чем немало помогала и супруга его Ирина. Труды их были собирать различныя сведения и из различных книг и рукописей о Ростове Великом. В его труды вошли и различныя иностранныя, библейския и классическия писатели. Для этого и написал он крупное и замечательное сочинение под названием „Книга о великих князьях русских, отколе произыде корень их“, которая славяно-русского народа корень выводит от праотца Иафета, сына Ноева, до великаго князя Рюрика в хронологическом порядке» (с. 625). Как видим, литературные герои А. Б. и И. М. Мусины-Пушкины, по утверждению А. Я. Артынова, первыми создали историческое сочинение, форма, концепция и основные идеи которого совпадают с авторскими. Таким образом, герои, созданные по литературному образцу (повесть «Наталья, боярская дочь» Н. М. Карамзина), сами, под пером А. Я. Артынова, становятся авторами исторического сочинения, послужившего образцом для самого крестьянского писателя.

В сказаниях А. Я. Артынова, как правило, знакомство сочинителя с произведениями литературы проявляется в образной системе (так, злой колдун — похититель прекрасной княжны Звениславы, подобно Черномору из «Руслана и Людмилы» Пушкина, появляется во время свадьбы, и так же, как злодей-карлик, может «лишить свою пленницу лишь свободы» — с. 111); в цитатах (например, из «Слова о полку Игореве»: «Тяжело голове без тела, тяжело и телу без головы»); в именах (Царь-Девица, Фрелаф-Фарлаф); в лексических штампах («удалиться от шума градов») и сюжетных (похищение ребенка в младенчестве и поиски его); в воспроизведении мотивов (увенчание победителя венком прекрасной дамой), описаний (пурпурный сарафан, золотой пояс, лазоревый плат и т. п.). Интересно, что устойчивой может оказаться и ошибка. Так, А. Я. Артынов несколько раз повторяет, что невесте «готовили в приданое вено». Но приданое — накопленное невестой добро и дары от ее рода, в то время как вено — более древний вид отношений родни жениха и невесты. Вено — это выкуп, который жених и его род давали за невесту. Узнав о слове «вено», крестьянский писатель не вполне понял его значение. Ни в одном историческом источнике подобного смешения семантики (приданое — вено) быть не могло.

А. Я. Артынов — «любопытная и по-своему интересная личность, во многом характерная для того типа исследователей-самоучек, которые, заболев однажды недугом познания прошлого, отдают своему увлечению немало сил и энергии, но так и не становятся профессионалами».<sup>30</sup> Безусловно, с на-

<sup>30</sup> Козлов В. П. Указ. соч. С. 211.

учной точки зрения, в трудах крестьянского писателя мы сталкиваемся с попыткой создать полностью фальсифицированный исторический свод, но простодушие автора, горячность его увлечения «ростовскими древностями» и слабость литературного дарования лишают артыновский фальсификат даже видимости достоверности.

Проведенный анализ принципов создания «исторического» текста сочинителем позволил определить, что он механически соединял сказочные сюжеты и романтические коллизии, фольклорные формулы, просторечные формы и романтические штампы, топонимические легенды и религиозные предания, наделяя свои сказания особым причудливостью, которая, однако, не приводит к разнообразию: происходит постоянное повторение освоенных им схем повествования. Метод А. Я. Артынова позволяет, во-первых, увидеть, как использовалось носителями крестьянской культуры литературное наследие (от фольклора до современной им литературы), во-вторых, определить ряд особенностей творчества крестьянского писателя, повлиявших на современное краеведение, в-третьих, обнаружить основные принципы создания легендарных текстов.

Необходимо отметить, что выявленные «технические приемы» могут быть раскрыты на материале и других сочинений, авторы которых связаны с традициями мистификаций и фальсификаций. Вполне корректным представляется вывод, что литературная форма любого фальсификата исторического источника ориентирована на современные ему литературные образцы (на уровнях модели поведения героев, системы мотивации, развития сюжета, набора коллизий, стилистического оформления), а содержание соотносимо с основным кругом проблем (исторических, политических, идеологических) своего времени. Некоторые из уже разоблаченных подделок могут вновь привлекать к себе внимание, служа основой «сенсационных открытий» авторов, чьи взгляды находят опору в идеях, продекларированных создателем подделки.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> См. об этом: Что думают ученые о «Велесовой книге». Сб. статей. СПб., 2004.

## МИФОЛОГИЯ «САДА» В ПОСЛЕДНЕЙ КОМЕДИИ ЧЕХОВА

И. А. Бунин, трепетно относившийся к Чехову как личности и признававший особенную «органичность» творений Чехова-прозаика, не любил чеховских пьес. Свои позднейшие «Воспоминания» (1950) он открыл иронической «заметкой», в которой доказывал бытовую несостоятельность последней чеховской комедии. «Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах-помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего „вишневого сада“, указил, по мысли Бунина, живые реалии русской поместной жизни.

«Я рос, — вспоминает Бунин, — именно в „оскудевшем“ дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз возле* господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопухину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: „Человека забыли...“».

Неизбежное превращение «сада» в персонаж драматической мифологии и вовсе, по Бунину, делает чеховскую комедию «просто несносной»: «Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: „Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!“ Дальше, — точно совсем из „Дяди Вани“, — истерика Ани: „Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!“ А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором роде „Буревестник“: „Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!“ Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 173—174.



В этой несвойственной Чехову откровенной манерности и фальшивости словесных речений его последней пьесы Бунин склонен усматривать глетворное влияние на художника поэтики театра вообще и Художественного театра в особенности. Даже и в названии Московского Художественного театра ощущается намеренная манерность: «Разве художественность не должна быть во всяком театре, — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров-художников?» В тех же воспоминаниях Бунин вкладывает в уста Чехова фразу о том, что «актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества».<sup>2</sup> От этой изначальной «глупости, лжи, манерности и фокусничества» Художественного театра как «вдохновителя» последней комедии Чехова привнесено в это создание столько «неврастенической чувствительности», органически чуждой писателю.

Все эти хлесткие бунинские рассуждения проще всего было бы объяснить известной «субъективностью» большого художника, оторванного от российских реалий, — как, в сущности, и делалось. Однако зададимся «нетрадиционным» вопросом: что заставило самого Чехова намеренно «презреть» некоторые реалии русской жизни и явить, хотя в условной, «театральной» форме, пресловутую «неискренность», «чувствительность» и «фразерство»?

\* \* \*

Символ «вишневого сада» появляется уже на первых страницах пьесы, причем символические черты этого образа изначально представлены в «житейском» облики. Вот начальное описание обстановки первого действия: «Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник».<sup>3</sup> Указание на «утренник» поддерживается репликой Епиходова, который «не одобряет нашего климата» и указывает на будущий неурожай вишни: «...мороз в три градуса, а вишня вся в цвету» (с. 198). Тут же, однако, сад обнаруживает иные качества: Аня выражает желание «побежать в сад» и мечтательно констатирует: «Птицы поют в саду» (с. 202).

В середине первого действия проясняются реальные «контуры» поэтического «сада». Когда Лопахин предлагает свой «проект» спасения имения, заключающийся, между прочим, в вырубке «вишневого сада», то попутно выясняется, что «сад» этот «очень большой» и по этой причине является достопримечательностью не только «всей губернии», но и России («в „Энциклопедическом словаре“ упоминается про этот сад» — с. 205). При этом сад является очень старым: Фирс вспоминает его «прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад», когда собирали богатые урожаи и «сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков» (с. 206). Теперь этот «сад» захирел: «Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает». Фирс, правда, вспоминает про забытый «способ» былого сушения вишни, — но этот мифологический «способ» безвозвратно утрачен. Современная хозяйственная ценность «сада», таким образом, оказывается практически нулевой.

Иное дело — духовная ценность, прямо выводящая на поэтические образы: «...какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют! <...> Сад весь белый. <...> О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной

<sup>2</sup> Там же. С. 175, 227.

<sup>3</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М., 1978. Т. 13. С. 197. Далее ссылки на этот том даются в тексте.

зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...» (с. 209, 210). Но дело в том, что воспринимать эти духовные и поэтические ценности способны далеко не все: приведенные реплики взяты из высказываний Вари, Гаева, Любови Андреевны... Лопехин не то чтобы не замечает подобной поэзии — она для него традиционна и неинтересна; его привлекает нечто новое и колоссальное, вроде «тысячи десятин» приносящего доход мака: «А когда мой мак цвел, что это была за картина!» (с. 244). Цветение традиционного «сада» для него неинтересно именно потому, что «традиционно»: новый хозяин жизни привык во всем искать новых поворотов — в том числе и эстетических.

Сопоставление разных систем ценностей — «хозяйственной» и «духовной» — казалось бы, выводит на глубинную проблематику пьесы. Это не просто «драматическая элегия», грустное сожаление об уходящих «дворянских гнездах», — но прямое сопоставление двух позиций, вечных в применении к прогрессу. Их конфликт, в сущности, того же плана, что часто возникают в других жизненных областях. Собирается, допустим, некий хозяйственный руководитель разрушить старый дом, чтобы на его месте, для удобства жителей, выстроить новый. Тут вмешиваются некие деятели культуры, которые говорят: нет, этот дом разрушать нельзя, он в «Энциклопедическом словаре» упомянут, в нем Чехов жил. А руководитель по-своему прав: что ему Чехов — дом-то старый; он разваливается, он мешает, он портит городской облик. А реставрировать просто невыгодно, да и незачем... Естественно, что в подобном конфликте чаще всего побеждает прагматизм, не предполагающий «поэтического» начала.

В самой конструкции пьесы *сад* — признанный знак этого «поэтического» начала бытия — становится таким образом *неизбежным символом*, связанным с традицией. И в качестве такового выступает на всем дальнейшем протяжении пьесы. Вот Лопехин в очередной раз напоминает о продаже имения: «Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться *вишневый сад*» (с. 227). Он недавно доказывал убыточность этого «сада» и необходимость его уничтожить. Купивши же «имение, прекрасней которого ничего нет на свете», он прямо отождествляет его с «садом»: «Боже мой, господа, *вишневый сад мой!*», «Идет новый помещик, владелец *вишневого сада!*» (с. 240, 241). Но ему как раз и не нужен «вишневый сад» — нужно место для постройки нетрадиционных «дач», провозвестниц «будущего». «Сад» обречен на уничтожение — и в этом смысле тоже становится *символом*, ибо результат этого уничтожения — не что иное, как обеспечение лучшей жизни для потомков: «Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь...» (с. 240).

И другая сторона конфликта воспринимает «сад» как символ. Подвыпивший «прохожий», выпрашивающий деньги, декламирует модные демократические призывы из стихов Надсона и Некрасова («Брат мой, страдающий брат... выдь на Волгу, чей стон...») — а «буревестник» Петя Трофимов в унисон ему заявляет: «Вся Россия наш *сад*» (с. 226, 227), — т. е. «вся Россия» неизбежно переживает тот же конфликт. Конфликт достаточно острый и личностный. Раневская ощущает, что «продают» ее самое «вместе с садом» (с. 233). А цитированная Буниным «истерика» Ани («Мы насадим *новый сад...*» — с. 241) — это, в сущности, переживание потери того же «неизбежного символа».

Но все снова не так просто: Чехов вполне ощущает то, что отметил наблюдательный Бунин: *неестественность* этого символа, которая становится обратной стороной его *неизбежности*. Эта неестественность символа проясняется в последнем акте. Лопехин, купивший «вишневый сад» и радо-

вавшийся этой покупке, как ребенок, уже как будто жалеет о ней и спешит прочь, на «всю зиму» в Харьков, потому что «замучился без дела». Непонятно зачем он — глубокой осенью — приказывает вырубать этот самый сад, в котором все равно в течение зимы ничего менять не будет; мог бы, как хозяин, рассчитывать хотя бы на возможный урожай вишни...

А другая сторона конфликта оказывается вовсе не так несчастна, как можно было бы предположить. И у Любови Андреевны нервы после продажи сада «лучше», и Гаев наконец-то пристроен хоть к какому-то делу. То обстоятельство, что люди лишились символа — «сада» — не особенно калечит их внешнюю судьбу. Грустно, конечно, — но не более того: «До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже» (с. 247).

При этом выявляется действенность других — будущих — «символов», далеких от традиции. Посеял Лопухин «маку» — и «заработал сорок тысяч чистого» (с. 244). А Симеонов-Пищик — тот и вовсе выкрутился из долгов чудесным образом: в его земле некие англичане нашли «какую-то белую глину» (с. 249). Старые, традиционные формы «дохода» почему-то не работают: вишню никто не покупает — а все новое, которое еще непривычно, оказывается неожиданно действенным: время-то идет! Кстати, в тексте пьесы Чехова вовсе нет того особенного «педалирования» по поводу гибели вишневого сада, которое было в спектакле Художественного театра, где все четвертое действие шло под аккомпанемент «стука топоров». Во время последнего прощания «топоры» стучат лишь один раз — и этот стук прекращается после напоминания Ани и приказа Лопухина (с. 246). Вообще четвертое действие «зеркальным образом» повторяет первое: даже погода на улице одна и та же: «градуса три мороза» (с. 198, 251).

Именно неестественность исходного символа комедии и определяет ее «перевернутость» — странную противоестественность действующих лиц, уже давно замеченную и литературоведами, и театроведами. Так, в последней монографии о театре Чехова (Б. И. Зингермана) отмечается «несколько загадочная пластичность» основных социальных амплуа персонажей «Вишневого сада»: «купец с тонкой и нежной душой артиста, степная помещица-парижанка, домоуправительница-монашка, косноязычный, малограмотный конторщик, с гитарой в руках рассуждающий о Бокле, лакей из мужиков — хам с замашками большого барина и парижского жуира, молодая горничная, недавно взятая из деревни, чувствительная и нервная, как бабышня».<sup>4</sup>

Среди персонажей «Вишневого сада», отмечал И. А. Бунин, «правдоподобен» только Фирс, многократно разрабатывавшийся в литературе «тип старого барского слуги».<sup>5</sup> Но Фирс — это не только застывший «анахронизм» («живая окаменелость»), это единственный во всей комедии хранитель символа вишневого сада, носитель мифа о вишневом саде.

\* \* \*

Случайно ли указание Гаева на то, что про их «вишневый сад» упомянуто в «Энциклопедическом словаре»? Чеховский персонаж может иметь в виду только «Энциклопедический словарь», издававшийся в конце XIX века Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном, подготовленный коллективом блестя-

<sup>4</sup> Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. 2-е изд. М., 2001. С. 392.

<sup>5</sup> Бунин И. А. Указ. соч. С. 174.

щих ученых и приобретший, сразу же по выходе его, огромную популярность во всей России. Этот словарь был в ялтинской библиотеке Чехова — и писатель активно им пользовался.

Естественно, что напрасно будем искать в этом «Энциклопедическом словаре» какое-то упоминание о конкретном «вишневом саде», расположенном, по всей видимости, в степной черноземной полосе России (возле географически обозначенных в пьесе Москвы и Харькова). О российском садоводстве говорится там в большой статье «Россия» (в сущности, специальном справочнике, занимающем два словарных тома), в главе, посвященной императорскому садоводству. Там упомянуты (но не перечислены) «парки при императорских и великокняжеских дворцах», «публичные парки в городах» и «частные питомники» с «плодовыми деревьями и кустарниками», которые «произрастают в России почти повсеместно». Вишня охарактеризована в этом же словаре как дикий «степной кустарник (*Prunus Chamaesagrus*), который, наряду с бобовником, караганом и таволгой, становится своеобразной „визитной карточкой” русской степи».<sup>6</sup>

В этом же словаре находим любопытную статью: «Вишеник, вишняк, степная или дикая вишня, невысокий кустарник из семейства розановых, один из обыкновеннейших кустарников в черноземной полосе России, образующий заросли (т. н. «вишневые садки» в Уфимской и Оренбургской губ.), приносящие владельцам иногда значительные доходы от продажи плодов вишни, которые употребляются в пищу и заготовляются впрок».<sup>7</sup> «Вишеник» зафиксирован и в словаре В. И. Даля как «вишневая роща, лесок, сад».

Чехов, выросший в степной полосе, без сомнения, имел представление о «вишениках» («вишневых садках»). Судя по обстановке третьего акта, вишневый сад Раневской расположен в южной степной России — скорее всего, в Новороссии. Не случайно в комедии многократно упоминается центр Новороссии — Харьков, город, в который раньше возили вишню, город, в который не терпится приехать соскучившемуся без работы Лопухину.

В пределах этого южнорусского топоса представление о «вишневых садках» связано прежде всего с идиллическим хронотопом:

Садок вишневий коло хати,  
Хруці над вишнями гудуть,  
Плугатарі з плугами йдуть,  
Співають ідучи дівчата,  
А матери вечерять ждуть<sup>8</sup>...

В этой поэтической картинке «садок вишневий» становится определенным художественным центром, вокруг которого только и возможна воссоздаваемая идиллия. Если же на месте «садка» возникает *сад* (к тому же «очень большой»), то идиллическая картинка неизбежно трансформируется. Контуры идиллии размываются до пределов «незаконного» мифа, а общая тональность идиллического хронотопа неизбежно приобретает комический характер.

В сущности, то *комедийное начало* чеховской пьесы, о котором много и по-разному писали литературоведы и театроведы,<sup>9</sup> основывается в первую очередь именно на мифологии *сада*.

<sup>6</sup> Энцикл. словарь / Брокгауз и Ефрон. 1899. Т. 27а. С. 240, 47.

<sup>7</sup> Там же. Т. 6. С. 124.

<sup>8</sup> Шевченко Т. Кобзар. Київ, 1968. С. 264.

<sup>9</sup> См.: Скафтымов А. П. О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» А. П. Чехова. Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 339—380; Ермилов I. Драматургия Чехова. М., 1954. С. 292—333; Ревякин А. И. «Вишневый сад» А. П. Чехова. М. 1960. С. 196—209; Балухатый С. Чехов-драматург. Л., 1936. С. 219—221; Паперный З. С. «Вс

\* \* \*

Как известно, Чехов очень долго «вынашивал» замысел своей последней комедии. Показательно, что замысел этот изначально определился у него как *комедийный* — и как достаточно «длительный». Первое упоминание о замысле будущей пьесы для Художественного театра содержится в письме к О. Л. Книппер от 22 апреля 1901 года: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Худож(ественного) театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 года».<sup>10</sup> Конкретных «очертаний» будущего замысла еще нет, есть только осознание, что это должна быть *комедия*, и непременно «смешная», и что с ней не следует спешить.

Чеховское упоминание об этом замысле в декабре еще более показательное: «А я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы черт ходил коромыслом».<sup>11</sup> Около этого же времени он признается Бунину: «Вот бы написать (...) *водевиль хороший*, тогда бы и умереть можно!»<sup>12</sup> «Хотелось бы водевиль написать...»,<sup>13</sup> — признается Чехов в письме жене от 12 декабря 1902 года, а через день впервые называет заглавие этого «водевиля»: «Когда сяду за „Вишневый сад“, то напишу тебе, собака».<sup>14</sup>

В определенном смысле заглавие задуманной комедии действительно «водевильное»: не *привычный сад* — но *вишневый сад*, т. е. такой, какового, в принципе, *не бывает* (это, по выражению Чернышевского, то же самое, что «сапоги всмятку»)! Во всяком случае, будущая пьеса, при начале работы над ней, рассматривается как *водевиль*, что подкрепляется общим представлением о движении русского театра: «У меня какое-то предчувствие, что водевиль скоро опять войдет в моду».<sup>15</sup>

В феврале 1903 года начинается работа над «водевилем», и в письме к К. С. Станиславскому Чехов сообщает о будущей пьесе в самых несерьезных тонах: «В голове она у меня уже готова. Называется „Вишневый сад“, четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях. Одним словом, Вишневский хохотать будет много...»<sup>16</sup>

В начале осени 1903 года, завершая работу над пьесой, автор констатирует: у него получилась *комедия*: «Пьесу назову комедией».<sup>17</sup> И — еще ярче — в письме к М. П. Лилиной от 13 сентября 1903 года: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...»<sup>18</sup> Эту «комедийность» он усматривает не в сюжетной ситуации новой пьесы, а в ее основной поэтической тональности: «Последний (акт. — В. К.) будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная».<sup>19</sup> В последующей переписке с руководством Художественного театра, когда начинаются подбор актеров для новой комедии и репетиции, Чехов озабочен одним: как бы не появилось характерное для постановок его прежних пьес «нытьё» и «плач». «А мне очень бы хотелось побывать

преки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. С. 217—226; Холодов Г. «Вишневый сад»: между прошлым и будущим // Театр. 1985. № 1. С. 148—187; Зингерман Б. Указ. соч. С. 341—406.

<sup>10</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1981. Т. 10. С. 15.

<sup>11</sup> Там же. С. 143.

<sup>12</sup> Бунин И. А. Указ. соч. С. 225.

<sup>13</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 11. С. 88.

<sup>14</sup> Там же. С. 91.

<sup>15</sup> Там же. С. 99.

<sup>16</sup> Там же. С. 142.

<sup>17</sup> Там же. С. 246.

<sup>18</sup> Там же. С. 248.

<sup>19</sup> Там же. С. 253.

на репетициях, посмотреть, — признается он в письме к В. И. Немировичу-Данченко от 23 октября. — Я боюсь, как бы у Ани не было плачущего тона (ты почему-то находишь ее похожей на Ирину), боюсь, что ее будет играть не молодая актриса. Аня ни разу у меня не плачет, нигде не говорит плачущим тоном, у нее во 2-м акте слезы на глазах, но тон веселый, живой. Почему ты в телеграмме говоришь о том, что в пьесе много плачущих? Где они?..»<sup>20</sup>

В конце концов Художественный театр поставил «Вишневый сад» по-своему; спектакль имел большой успех, пьеса получила всероссийскую популярность. Чехов молча смирился и только изредка недоумевал (письмо к О. Л. Книппер-Чеховой от 10 апреля 1904 года: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы».<sup>21</sup>

Итак, Чехов создавал «водевиль», «комедию, местами даже фарс», — а Художественный театр не понял ее существа и сделал из нее не то «драму», не то драматическую «элегию», причем «элегию» в буквальном прочтении этого термина: *песня грустного содержания*. Автор между тем видел в своем создании противоположное «содержание», вовсе не «грустное»...

Многие режиссеры трудились над тем, чтобы «восстановить» изначальный чеховский замысел. Искали, например, фарсовые ситуации в характерах и расстановке действующих лиц (Раневская — любовница Яши, Петя Трофимов — смешной фразер, ухаживающий за Аней, и т. п.), процировали некие «комедийные» ситуации, которые у Чехова не прописаны, усиливали «лирическую» струю последней чеховской комедии, неизвестно что понимая под этим «лиризмом». Однако «комедийность» авторского замысла, как кажется, восходит не столько к характерам или ситуациям, сколько к изначальной пародируемой мифологии «сада». Причем в этом пародировании Чехов отталкивался не столько от драматической, сколько от поэтической традиции.

\* \* \*

В русской поэтической традиции *сад* обыкновенно предстал в нескольких ипостасях — в прямой зависимости от характера его изображения.

Новый, разбитый сад становился символом прогресса, движения вперед, своеобразным венцом жизненного обновления. Воссозданный сад достойно увенчивает те труды человека, которые направлены на усовершенствование несовершенного мира. И какие бы на этом пути ни свершались противоречивые деяния — появление садов выглядит их оправданием:

В гранит оделася Нева,  
Мосты повисли над водами;  
Темнозелеными садами  
Ее покрылись острова...

(А. С. Пушкин.  
«Медный всадник»)

Сад, помимо всего прочего, оказывался символом жизненной крепости и спокойствия; его изначальная крепость становится своеобразным отраже-

<sup>20</sup> Там же. С. 283.

<sup>21</sup> Там же. Т. 12. С. 81. О расхождении Чехова с Художественным театром в понимании «Вишневого сада» см.: Полоцкая Э. А. «Вишневый сад»: жизнь во времени // Литературные произведения в движении эпох. М., 1979. С. 236—239.

нием извечной крепости бытия — поэтому часто поэтизируется именно «старый» («пышный») сад, древний, как средневековые замки:

Луна спокойно с высоты  
Над Белой Церковью сияет  
И пышных гетманов сады,  
И старый замок озаряет...  
(А. С. Пушкин. «Полтава»)

Представление о «домашнем» саде («сади́ке») оказывалось ярчайшим показателем идиллического хронотопа, отправлявшего к домашнему быту, к семье и к ее незамысловатым радостям:

Блажен, кто в шуме городском  
Мечтает об уединеньи,  
Кто видит только в отдаленьи  
Пустыню, садик, сельский дом...  
(А. С. Пушкин. Из письма)

Цветущий сад служил самой яркой иллюстрацией идеи о том, что жизнь не стоит на месте, а каждый год непременно возрождается и наполняется новой красотой и радостью:

Сад весь в цвету,  
Вечер в огне,  
Так освежительно-радостно мне!..  
(А. А. Фет)

Кроме того, сад оказывался еще и символом особенной, поэтической любви и светлой лирической грусти:

Тоска любви Татьяну гонит,  
И в сад идет она грустить...  
(А. С. Пушкин.  
«Евгений Онегин»)

Сияла ночь, Луной был полон сад. Лежали  
Лучи у наших ног в гостиной без огней.  
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,  
Как и сердца у нас за песнею твоей...  
(А. А. Фет)

В своем представлении о *саде* Чехов безжалостно разрушает все эти поэтические ассоциации. Это разрушение идет уже с самого начала — как будто даже в противоречии с теми творческими картинками, которые волновали Чехова на начальных стадиях работы над будущей «комедией». Одну из этих картин Чехов наметил в беседе с актерами Художественного театра осенью 1901 года: «Ветка цветущих вишен, влезавшая из сада прямо в комнату через раскрытое окно».<sup>22</sup> Это характерный поэтический символ:

И грудь дрожит от страсти неминучей,  
И веткою все просится пахучей  
Акация в раскрытое окно!  
(А. А. Фет. «Знакомке с юга»)

<sup>22</sup> См. комментарии Э. А. Полоцкой (с. 478).

В окончательной редакции «Вишневого сада» помета: «Окна в комнате закрыты» (с. 197). На протяжении пьесы они раскрываются единственный раз в конце первого действия, перед тем как отправиться «на покой».

Русская поэзия традиционно представляла разбиваемый *сад* венцом и оправданием прогресса. В чеховской комедии он играет противоположную роль: для того чтобы дать возможность развернуться новому носителю прогресса, *дачнику*, сад необходимо *уничтожить*. Лопухин, чувствуя новое время, делает по этому поводу вполне абсурдистское заявление: «...ведь может случиться, что на своей одной десяatine он (дачник. — В. К.) займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...» (с. 206). Гаев называет это заявление «чепухой» — и прав: как может стать «счастливым» то, что будет уничтожено?

Действие последней комедии Чехова только «ориентировано» на *сад* — но все ее герои предпочитают быть *в стороне* от этого сада, смотреть на него «издали»: то в окно дома, то из поля, даже с кладбища, как во 2-м акте. В описании места действия этого акта *сад* поневоле противостоит *городу* (который «неясно обозначается на горизонте») — но и *сад*, и *город* в сущности оказываются *в стороне* от самого действия. И даже когда Варя ищет потерявшуюся Аню, она бродит «где-то около тополей», обозначающих границу *сада*. А сама Аня предпочитает убежать от Вари не в сад, а «к реке» (с. 228). Герои «Вишневого сада», в отличие от героев «Дяди Вани», никогда не появляются *в саду*, представляя его, что называется, «со стороны». Отчего бы это?

Да и сами персонажи «идиллического» топоса как будто отличны от вполне «семейственных» обитателей усадьбы Серебряковых. Там из девяти действующих лиц пять — члены одной семьи (вне ее только два «заезжих» соседа-помещика, няня и «работник»). Здесь из 16 сценических персонажей собственно к «семье» принадлежат только трое: Раневская, Гаев и Аня. Все остальные «присутствуют» в самом неопределенном статусе: Варя — то ли «приемная дочь», то ли экономка; Симеонов-Пищик, на правах «соседа» появляющийся в самые ответственные моменты действия; «Конторщик» Епиходов, непонятно как справляющийся с «конторой»; двое «бывших» слуг — «бывшая» гувернантка Ани Шарлотта Ивановна, «бывший» шесть лет назад учителем утонувшего сына хозяйки студент Петя Трофимов; старый лакей Фирс и молодой лакей Яша; горничная Дуняша, отвыкшая «от простой жизни»; купец Лопухин, появляющийся у Раневской неизвестно зачем и постоянно уезжающий куда-то по очередным делам; почтовый чиновник и начальник станции, приглашенные на бал вместо прежних «генералов, баронов, адмиралов»... Словом, люди, соединенные между собою вполне случайными связями, не предполагающими не только «идиллии», но даже и понимания — не случайно они то и дело вовлекаются в «диалог глухих». А иногда просто и неприятны один другому, как Яша и Гаев, Варя и Трофимов. Для этого в прямом смысле слова «случайного семейства» никакой «садо-вишневый» как объединяющий топос попросту не нужен...

Собственно поэзия *сада* в разговорах персонажей возникает единственный раз — когда после долгого отсутствия Раневская оказывается у раскрытого окна. В ее репликах появляются знакомые мотивы русской поэзии: «О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...» (с. 210). Эти мотивы вызывают «ушедшие» образы: детство, призрак «покойной мамы» в белом платье — словом, «элегия» невозвратного, как в стихах Фета:

Приветствую тебя, мой добрый, старый сад,  
Цветущих лет цветущее наследство!



С улыбкой горькою я пью твой аромат,  
 Которым некогда мое дышало детство...  
 (А. А. Фет. «В саду»)

В сущности, то же самое в монологах Раневской: «О, мое детство, чистота моя!..» и т. д. Сад как будто призывает «погрузиться» в нечто давно прошедшее, в не воспринимаемый извне «элегический» мир.

В пределах этого «элегического» мира нет места для естественных человеческих чувств. И даже чувство любви, возникающее на фоне *сада*, здесь становится не только неестественным, но даже ущербным.

\* \* \*

Дополнительный оттенок этой мифологии придает и то обстоятельство, что воспетый писателем *сад* — «вишневый». Этот, достаточно сомнительный с бытовой точки зрения, символ помещичьего усадебного быта оказывается вовсе невозможным с точки зрения русской поэзии, в которой, по определению, не мог воспеваться «вишневый сад».

Русская «усадебная поэзия» отталкивалась в этом отношении от античной традиции, в русле которой ценность сада прямо связывалась с выполнением им прямой его функции — предоставлением *тени* и *прохлады*, символов «полуденной неги». В этом смысле «вишня» не может конкурировать с «мшистым дубом», «древним кленом», «липою густою»:

Луга веселые зелены!  
 Ручьи прозрачны, милый сад!  
 Ветвисты ивы, дубы, клены,  
 Под тенью вашу прохлад  
 Ужель вкушать не буду боле?..  
 (К. Н. Батюшков.  
 «Совет друзьям»)

Как здесь свежо под липою густою —  
 Полдненный зной сюда не проникал,  
 И тысячи висящих надо мною  
 Качаются душистых опухал...  
 (А. А. Фет)

Вишня — низкорослое полудерево-полукустарник — на этом фоне никак не могла претендовать ни на роль носителя «тени», ни на роль приюта «лесных певцов». Даже «цветение» вишни оказывалось чем-то «недействительным»: для этой роли более подходила роза или — из деревьев — акация...

«Вишня» чаще всего воспринималась не как «цвет», а как «плод», имевший некую особенную сакрально-поэтическую семантику. Этот «плод» — «сладка ягода» — наряду с «малиной» воспринимался как плод, связанный с «девичьими играми» и с соответственными любовными хлопотами:

Как заманим молодца,  
 Как завидим издали,  
 Закидаем вишеньем,  
 Вишеньем, малиною...  
 (А. С. Пушкин.  
 «Евгений Онегин»)

Во времена гимназического учения Чехова большое распространение получило приписывавшееся лицеисту Пушкину стихотворение «Вишня» (оно и до сих пор традиционно включается в пушкинские собрания в качестве «дубиального» текста). Начало этого стихотворения («Румяной зарею / Покрылся восток...») входило в хрестоматии для простого народа; эротическое продолжение уже к середине XIX столетия стало классикой «потаенной литературы». Особенную популярность эта «потаенная» классика приобрела как раз в гимназическом кругу: этот текст до сих пор передается школьниками «из уст в уста» по причине его замечательного по откровенной детской наивности юношеского эротизма. Этот текст, как нам представляется, сыграл весьма важную роль в символике чеховского «вишневого сада».

Сюжет стихотворения, приписываемого Пушкину-лицеисту, несложен. Героиня — «пастушка младая» — попадает «в вишенник густой» и, соблазнившись спелыми вишнями, залезает за ними на дерево, но неожиданно срывается с него, по несчастью задрав юбку. Проходивший мимо «пастушок» «всю прелесть узрел», а потом, освободив «пастушку», прижал ее к страстной груди:

И вииг зарезвился  
Амур в их ногах;  
Пастух очутился  
На полных грудях.  
И вишню румяну  
В соку раздавил  
И соком багряным  
Траву окропил.

«Вишня», становясь «гимназическим» эротическим символом, в данном случае определяет эстетическую устремленность юношеской любовной идиллии. В сущности, действие «Вишневого сада» происходит в том же «вишеннике густом», что и действие приписываемого Пушкину стихотворения. Но в людях, собравшихся в этом «вишеннике» (в переносном смысле слова это то же самое, что «малинник»), уже атрофированы те чувства, которые были естественны для «пастушка» и «пастушки». Поэтому они демонстрируют друг другу «неестественную» любовь.

«Хамское» чувство «парижанина» Яши к «нежной» Дуняше; «недотёпистое» чувство Пети Трофимова к Ане, которое, как утверждает Петя, «выше любви» (с. 233). И даже настоящая любовь Лопихина и Вари не может реализоваться на фоне «вишневого сада» именно потому, что «садовый» миф оказывается противопоставлен «вишневому» мифу. Как только наступает необходимость «объясниться», т. е. стать в позицию «пастуха и пастушки», — именно реалии *сада* вмешиваются и нарушают хрупкое равновесие. То это лопихинские рацеи о «дачниках», способных «возродить» сад, то известие о том, что Лопихин «купил» вишневый сад... Как в данном случае прикажете «раздавить вишню»? Никакое объяснение возлюбленных на этом «неестественном» фоне «садовой» мифологии невозможно.

Любовь Вари и Лопихина очевидна для всех окружающих — но Варя не «пастушка», а уже «монахиня», и Лопихин не «пастушок», а «деятель» — можно ли им соединиться? Любовь Андреевна создана для «любви» (и в этом смысле «грешна», как та «пастушка») — но ее житейские ощущения тоже отнюдь не идилличны и не пасторальны: «Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу» (с. 234).

Петя Трофимов в двадцать семь лет остался «смешным человеком», «гимназистом второго класса» — и Раневская из своего «вишенника» вполне естественно упрекает его: «...вы недотёпа. В ваши годы не иметь любовницы!..» (с. 235). И «парижский» хам Яша тоже отнюдь не «пастушок». Он подводит под эротическими играми вполне ханжескую мораль, упрекая «пастушку», раздавившую «вишню»: «Ведите себя прилично, тогда не будете плакать» (с. 247). В отличие от «пастушка» хам привык всегда «убегать» и оставаться «ни при чем».

Словом, мифология сада приобретает в последней комедии Чехова новые, не свойственные ей в русской поэзии черты. «Недействительной» предстает и мифология «вишенника». Именно это разрушение привычной для русской поэзии мифологии придает чеховскому произведению очень своеобразный литературный «подтекст». А этот литературный пласт, в свою очередь, создает определенность *водевиля, фарса, смешной комедии*, которые оказываются почти незаметны вне подобного прочтения. Художественный театр в своей первой постановке их как будто и не заметил. Да и до сих пор этот «литературный подтекст» не имел адекватного сценического воплощения.

\* \* \*

Именно наличие этого «литературного подтекста» провоцирует поиски ответов на «не отвеченные» в комедии вопросы. Сами эти вопросы кажутся вполне «детскими» — но ответа тем не менее требуют.

Вот вполне «бытовой» вопрос: кто является юридическим *хозяином* имения и, соответственно, вишневого сада? В начальной ремарке указано: «Действие происходит в имении Л. А. Раневской» (с. 196). Но ведь та фамилия «провинциальной актрисы», которую носит Любовь Андреевна, — это ее фамилия по мужу. Замуж она вышла, по всей вероятности, нарушив родительскую волю, ибо ее избранником оказался «присяжный поверенный, не дворянин» (с. 212). За этот поступок она навлекла на себя нелюбовь «ярославской тетушки» — и, конечно же, родительский гнев — тем более что муж ее «страшно пил» (с. 220). Рядом с нею рос ее брат.

Почему же тогда именно ей, дочери, да еще неудачно вышедшей замуж, было завещано старое «родовое гнездо»: «Ведь я родилась здесь, здесь жили мой отец и мать, мой дед..» (с. 233)? Почему же тогда владелицей имения оказывается она, а не Гаев?.. Между тем, если судить по деталям текста, хозяйкой здесь ощущает себя именно Раневская. Во всяком случае, именно у нее находится знаменитое портмоне, из которого она «сорит деньгами». И именно она считает себя вправе воспользоваться присланными деньгами «ярославской тетушки» для того, чтобы в очередной раз уехать в Париж, хотя и знает, что «денег этих хватит ненадолго» (с. 248). Но подобное положение очень уж расходится не только с российским законодательством, но и с российскими помещными обыкновениями. И как она, собственно, собирается «обналичить» на свое имя присланную бабушкой «доверенность» (с. 232)?

Еще бытовой вопрос: откуда у Раневской взялся этот набитый деньгами «портмоне»? По словам Ани, они «едва доехали» из-за границы, ибо «не осталось ни копейки» (с. 201). Варя мечтает о свободных деньгах: «Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей...» (с. 232). В то же время Раневская с легкостью отдает эти «сто рублей» («золотой») первому прохожему. Этого, кажется, не должно бы быть. Вишневый сад продается «за долги» — потому что нечем заплатить проценты в банке. Т. е. имение заложено

но — вероятно, даже и «перезаложено» (при вторичном закладе сумма процентов удваивалась и составляла обыкновенно 13—16 %), потому что тех пятнадцати тысяч, что прислала бабушка, «не хватило бы даже проценты заплатить» (с. 232). Нигде не указано, что Раневская (в отличие от Симеонава-Пищика) делает «частные долги», — откуда же у нее деньги, на отсутствие которых постоянно жалуются все остальные?

Почему столь непоследовательно ведет себя Лопухин? С одной стороны, он как будто бы реализует тип поведения богатого мужика, купившего усадьбу разорившегося помещика, — картину, подмеченную еще Некрасовым:

Разобран по кирпичику  
Красивый дом помещичий,  
И аккуратно сложены  
В рядочки кирпичи!  
Обширный сад помещичий,  
Столетиями взлелеянный,  
Под топором крестьянина  
Весь лег — мужик любит,ся,  
Как много вышло дров!..

С другой стороны, «мужичок» тянется к бывшим «господам» и остается с ними в нормальных отношениях даже и тогда, когда «вишневый сад» вырубается. Почему-то и ему, и им это положение оказывается не в тягость, хотя, собственно, это противоречит не только учению о классовой борьбе, но и житейским психологическим представлениям о взаимоотношении «владельцев» и «рабов», которых «не пускали даже на кухню» (с. 240). А если учесть еще расчет Лопухина на «дачников», каждый из которых вскорости будет трудиться на своей «десятине», то откуда в нем такая симпатия к людям, привыкшим

имя древнее,  
Достоинство дворянское  
Поддерживать охоту,  
Пирами, всякой роскошью  
И жить чужим трудом<sup>23</sup>...

Впрочем, живущие «чужим трудом» чеховские помещики недалеко ушли от «дачников». Во всяком случае, затеянный ими «некстати» бал мало походит на настоящие «балы» — не случайно же хранитель традиции Фирс жалуется: «Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут» (с. 235). А в самом деле: куда подевались бывшие «генералы, бароны, адмиралы»? Ведь есть же «очень, очень богатая» графиня-бабушка в Ярославской губернии...

Чехов как будто хочет показать «не настоящий», «кукольный» уровень современных «господ». И «помещики» — не настоящие. И «богатый мужичок» — не настоящий. И внесценическая «графиня-бабушка» как-то не похожа на аналогичных грибоедовских персонажей. И даже символ всего этого российского бытия — *сад* — тоже не настоящий, а «вишневый», способный защитить от палящего солнца бытия разве что кукол... А на «кукольном» уровне все неизбежные вопросы жизни просто ни к чему не ведут.

<sup>23</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 5. С. 82—83.

## МОДЕРНИСТЫ ПРОТИВ АКАДЕМИКА: «ИЗБРАННЫЕ СТИХИ» И. А. БУНИНА В КРИТИКЕ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ

В 1929 году в издательстве «Современные записки» вышел итоговый сборник Ивана Алексеевича Бунина «Избранные стихи». В него вошли 200 лучших, по мнению автора, стихотворений, наиболее точно представляющих его поэтический путь. Путь этот к 1929 году — и даже раньше, к началу 1920-х годов, — был практически завершен: впереди — окончание «Жизни Арсеньева», «Освобождение Толстого», «Темные аллеи» — и лишь несколько стихотворений-фрагментов, отточенных, но единичных.

В начале своего литературного поприща Бунин явно предпочитал стихи прозе. Как поэт он трижды получал Пушкинские премии<sup>1</sup> и как поэт был избран в Российскую (Императорскую) Академию наук по разряду изящной словесности (1909). В художественном сознании Бунина прозаическое и поэтическое начала существовали на равных, что отражалось и в составе его книг, включавших и стихи и прозу. Однако в глазах критика и читателя уже с начала 1910-х годов, т. е. с выходом в свет «Деревни», и чем дальше, тем больше, Бунин-поэт все заметнее уступал Бунину-прозаику. В то же время сам он ощущал себя прежде всего поэтом. Бунин «неизменно хотел, чтобы его в первую очередь считали поэтом», — вспоминает А. Бахрах;<sup>2</sup> «свое неприятие как поэта переживал болезненно», — подтверждает З. Шаховская.<sup>3</sup> Б. Нарциссов описывает свой разговор с Буниным в 1938 году: «На мой первый вопрос: „Кем Вы себя считаете: прозаиком или поэтом?“ ответ был „Поэтом“. И это после присуждения премии за прозу!»<sup>4</sup>

Таких заявлений в разговорах с самыми разными людьми Бунин сделал множество.<sup>5</sup> В них можно увидеть авторское самоопределение, а можно — вызов новой литературной эпохе. Эта эпоха пренебрегла, по мнению Бунина, теми качествами, которые были наиболее близки ему и им выражены. Осталась обида на непонимание современников, непонимание, которое странным образом уживалось с неизменно уважительными, хотя подчас несколько отстраненными, отзывами о бунинской поэзии.

Вероятно, Бунин вполне отдавал себе отчет в том, что его рассказам и повестям уже обеспечено место в литературе, и при этом желал привлечь внимание читателей на свое поэтическое творчество. К этому Бунина под-

<sup>1</sup> *Бабореко А. К.* И. А. Бунин: Материалы для биографии (с 1870 по 1917). 2-е изд. М., 1983. С. 139.

<sup>2</sup> *Бахрах А. В.* Бунин в халате. М., 2000. С. 220.

<sup>3</sup> *Шаховская З. А.* Бунин // Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 202—230.

<sup>4</sup> *Нарциссов Б.* Бунин-поэт // Новый журнал. 1974. Кн. 114. С. 206—219.

<sup>5</sup> См., например: *Седых А.* Далекие, близкие: [Воспоминания, рассказы]. М., 1995. С. 228; *Прегель С. Ю.* Из воспоминаний о Буине // Иван Бунин: В 2 кн. М., 1973. Кн. 2. С. 353—354; *Одоевцева И. В.* На берегах Сены. М., 1989. С. 251; *Берберова Н. Н.* Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 253.

талкивало и ощущение некоторого парадокса: в общем литературном развитии поэзия и проза, равноправные в творческом самоощущении Бунина, тяготеют к различным потокам: проза — к новаторскому, поэзия — к традиционному. И хотя сегодня вопрос о традиционности бунинской поэзии не кажется однозначно решенным, сама необходимость, или потребность, доказательств ее новаторства говорит о сложившейся читательской / критической инерции ее восприятия. В отношении прозы такой необходимости, по большому счету, не возникало, с тех пор как модернизм перестал отождествляться с символизмом и декадентством тем более.

Бунинская проза неизменно оказывалась «интереснее» его стихов. О том, что Бунин не только прозаик, в 1920-е годы стали понемногу забывать. Вот как вспоминал об этом Г. Адамович: «Иногда, в пору расцвета русской литературной жизни в Париже, при спорах о поэзии на каком-нибудь собрании дело доходило до того, что о Бунине, как о поэте, просто-напросто забывали, и случалось это не раз. Называли имена Блока, Анненского, Гумилева, Ахматовой, Ходасевича, Мандельштама, Пастернака, некоторых других, а о Бунине никто не упоминал. Бывало, он сидел тут же, в первых рядах, по привычке делая вполголоса с места иронические замечания, и все присутствующие, все спорившие знали, что это — большой русский писатель, гордость нашей литературы. Но забывали, что это и поэт».<sup>6</sup>

О том, что он «и поэт», Бунин и напомнил в 1929 году: предварительное подведение своих литературных итогов он начал — как и литературный путь — со стихов, а продолжил берлинским собранием сочинений 1934—1936 годов (изд. «Петрополис»), большую часть которого заняли тома прозы.

«Избранные стихи» вызвали серию самых различных откликов. Бунин — один из старейших и почетнейших литераторов (чтобы избежать жанрового определения) эмиграции — был вправе рассчитывать на уважительные, более того, хвалебные и, что немаловажно, многочисленные отзывы. И они появились: в парижской газете «Россия и Славянство» писал Константин Зайцев, будущий автор первой монографии о бунинском творчестве, в варшавской «За свободу!» — С. И. Налынич (псевдоним С. И. Шовгенова), в берлинском «Руле» — В. Сирич (Набоков), в софийской газете «Голос» — Г. Ф. Волошин, в рижской «Сегодня» — П. М. Пильский, в бухарестской «Наша речь» — А. М. Федоров, в парижских «Последних новостях» — М. Алданов, в «Возрождении» — В. Ф. Ходасевич, в «Современных записках» — Ф. А. Степун, в «Иллюстрированной России» — Н. А. Тэффи.<sup>7</sup> Общий тон этих откликов можно свести к названию статьи Тэффи: «По поводу чудесной книги».

«Бунин издал стихи, и теперь дело читателя и критика оценить и благоговейно сохранить принесенный нам поэтом дар» (Г. Волошин).<sup>8</sup>

«Поражает редкая четкость линий, бунинская строгость к себе и своим строкам, изумительная, придирчивая щепетильность к слову, ясность рисунка, продуманная, взвешенная уверенность» (П. Пильский).<sup>9</sup>

«Всякий читатель оценит необыкновенное благородство формы, красоту стиха, скупость в слове, в фигурах „остроту зрения“ знаменитого писателя» (М. Алданов).<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Адамович Г. В. Бунин-поэт // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. М., 1996. С. 151.

<sup>7</sup> Большая часть этих отзывов собрана Буниным и хранится в его архиве: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 150. Далее перечисленные статьи цитируются по этому источнику.

<sup>8</sup> Волошин Г. И. А. Бунин // Голос (София). 1929. 20 июня. Это предложение отчеркнуто на полях Буниным.

<sup>9</sup> Пильский П. Поэт Ив. Бунин // Сегодня (Рига). 1929. 25 июня.

<sup>10</sup> Алданов М. О новой книге Бунина // Последние новости (Париж). 1929. 18 июля.

«〈...〉 Тон же книги, вообще говоря, иногда прямо-таки — жреческий, так что автор, презирующий житейскую суетность и пошлость, часто поминующий о Боге, вечности, смерти и бессмертии, представляется порой как бы в некоем торжественном облачении» (А. Федоров).<sup>11</sup>

«Бунина-прозаика принято ставить выше Бунина-поэта. Я сам склонен был так думать. Сейчас, читая и перечитывая его „Избранные стихи“, только что изданные за границей и составляющие своего рода итог двадцатипятилетнего поэтического творчества нашего великого писателя, я впервые по-настоящему понял, какое огромное явление Бунин-поэт. И вместе с тем многое лучше и глубже понял в Бунине: лучше и глубже понял мирозерцание Бунина» (К. Зайцев).<sup>12</sup>

Мирозерцанию Бунина и соотношению в его творчестве прозаического и поэтического начал — какое из них первично и какое предпочтительно — посвятил свою статью Ф. Степун, наиболее уважаемый и любимый Буниным критик: «Стихи Бунина называли „стихами прозаика“. Это глубоко неверно. Конечно, между прозой Бунина и его стихами очень много общего (иначе ведь и невозможно: каждый большой художник всегда целостно присутствует в каждом своем создании), но это общее раскрывается в стихах совершенно иначе, чем в прозе.

Обще Бунинской прозе и Бунинским стихам: 1) стереоскопическая сверхрельефность описаний (в особенности описание природы), 2) ясность и точность смысловых содержаний, как отдельных слов, так и всех словесных построений (смысловая сущность (эйдема) Бунинских слов, фраз, периодов никогда не растворяется в напевности (фонема) его прикровенно мелодических стихов) 〈...〉 3) особая аристократичность — скупость на внешние эффекты, сдержанность слов и страстей, чувство меры и нелюбовь к педали. Этими тремя моментами сходство Бунинской прозы и Бунинских стихов, конечно, не исчерпывается, но меня сейчас интересует не столько сходство, сколько различие.

Оно есть и оно очень значительно. Чем пристальнее вчитываешься в стихи Бунина, тем глубже ощущаешь ту их пронзительную лиричность и глубокою философичность, которых в рассказах Бунина нет (которые вообще нерассказуемы).<sup>13</sup>

Степун предпринял одну из наиболее серьезных попыток воссоздания поэтического мироощущения Бунина. Доминанта этого мироощущения — трагическая, она связана с особым характером религиозности Бунина, а именно: постоянным сознанием присутствия *немого* Бога, *немоты* Бога, Бога, отделенного от мира и человека. О религиозном характере бунинской поэзии говорит и «предельное углубление памяти», которая неминуемо процируется в вечность и, следовательно, в божественную основу мира.

Возвращаясь в конце своей статьи к земным, историко-культурным координатам поэзии Бунина, Степун затрагивает второй постоянный аспект в спорах о бунинской поэзии: «Бунин типичный представитель русского аполлинизма. Его стихи до конца вняты уху, уму и сердцу. 〈...〉 В стихах Бунина нет „зауми“, „невнятицы“, нету хаоса, ворожбы и крутения мистиче-

<sup>11</sup> Федоров А. Ив. Бунин — Стихи избранные // Наша речь (Бухарест). 1929. 6 авг.

<sup>12</sup> Зайцев К. Бунин-поэт // Россия и Славянство. 1929 (дата не известна).

<sup>13</sup> Степун Ф. 〈Рец. на кн.: Ив. Бунин. Избранные стихи〉 // Современные записки (Париж). 1929. Т. 39. С. 527. В последнем тезисе Степуну возразил позже Глеб Струве, и многие критики были согласны с ним: «Думается, что тут Степун ошибается: в лучших вещах Бунина 〈...〉 именно есть „пронзительная лиричность“ и в этом скорее не различие, а сходство его стихов с прозой» (Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп.; Краткий биографический словарь русского зарубежья / Р. И. Вильданова, В. Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-Данилевский. Париж; М., 1996. С. 172).

ски-эстетической хлыстовщины (очень глубокой темы русского сознания), т. е. всего того, что так характерно для Блока и Белого, чем оба они и переключаются не только с Есениным и Пастернаком, но в известном смысле и с Гете второй части Фауста.

Указывая на это ограничение Бунинского дарования, я в конце концов указываю только на его совершенство, ибо вне определенных границ и гранией возможно, быть может, свершение, но невозможно совершенство».<sup>14</sup>

Итак, во-первых, соотношение поэзии и прозы (имманентное рассмотрение), во-вторых, место Бунина-поэта в современной поэзии (контекст) — вот темы, опять, как и в 1900—1910-е годы, в пору выхода основных поэтических книг Бунина, оказавшиеся в центре критического рассмотрения. В ряде откликов выражалось сожаление по поводу состава «Избранных стихов». И Сирин-Набоков, и Ходасевич, и Нальянч указывали на то, что отнюдь не самые лучшие стихи Бунина вошли в его поэтическое избранное (об этом ниже). Но ценность бунинской поэзии была неоспорима. Бунин — не только заслуженный (академик!), но и истинный мастер, глубокий лирик с собственными темами.

Наряду с этим группа рецензентов заявляла, что в стихах Бунина нет собственно поэтических достоинств. В самом нейтральном варианте эта позиция выглядит примерно так, как ее озвучил рецензент варшавской газеты «За свободу!», подписавшийся инициалами А. Л.: «Бунин — поэт несомненный. Поэт-лирик. Но есть в его стихах свойства, которые лишают их чар и власти лирики. Стихи Бунина мертвы (...). Они не трогают, не волнуют, они не вызывают никакого нового чувства, они... не нужны».<sup>15</sup>

Это противоречивое заявление еще содержит в себе необходимое признание: «Бунин — поэт несомненный» (хотя оно-то как раз и выглядит во всем отзыве наиболее чужеродным).

Следующий шаг делает критик пражской «Воли России» Алексей Эйсер:<sup>16</sup> он без каких-либо сомнений отказывает Бунину в праве называться поэтом. Можно заметить, что Эйсер как будто был спровоцирован на разгром бунинских стихов почти восторженной рецензией Сирина-Набокова, появившейся незадолго до того в берлинском «Руле». В ней Набоков писал: «Легко громить стихотворца, легко выуживать из его виршей смешные ошибки, чудовищные ударения, дурные рифмы. Но как говорить о творениях большого поэта, где все прекрасно, где все равномерно, как выразить прелесть и глубину его стиха, новизну и силу его образов, как выписывать цитаты, — когда за цитатой целиком тянется на бумагу и все стихотворение?»<sup>17</sup>

На это «все прекрасно» Эйсер отвечает «по пунктам».

Рассчитанная не в последнюю очередь на эпатаж, статья Эйсера представляет собой подробный разбор бунинской поэзии, итогом которого является вывод о Буине как неумелом, а учитывая 25-летний стаж его поэтической деятельности, безнадежно неумелом версификаторе, который по содержанию своих стихов может быть определен не как поэт, а как прозаик. Благожелательные и хвалебные отзывы, появившиеся после выхода «Избранных стихов», Эйсер объясняет исключительно «гипнозом имени» выдающегося прозаика и нежеланием признать в выдающемся прозаике неспособного поэта.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Степун Ф. Указ. соч. С. 532.

<sup>15</sup> А. Л. Новые книги: Ив. Бунин. Избранные стихи // За свободу! (Варшава). 1929. № 149. Цит. по: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 150.

<sup>16</sup> См. о нем прежде всего: Струве Г. Указ. соч. С. 58, 383 и др.

<sup>17</sup> Набоков В. В. (Рец. на кн.:) Ив. Бунин. Избранные стихи // Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 673.

<sup>18</sup> Статья Эйсера вышла с примечанием: «Редакция „Воли России“ не разделяет всех оценок автора настоящей статьи».



Для доказательства того, что стихи Бунина — не поэзия, Эйснер прибегает к двум определениям поэзии, и выбор этих определений как нельзя более характерен для его позиции. Первое, представляющееся Эйснеру «наиболее интересным», определение Р. О. Якобсона: «Поэзия есть слово в его эстетической функции».<sup>19</sup> Второе — «более академическое, но менее умное», как пишет Эйснер, — «поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке». Эта «аксиома» Колриджа была актуализирована в 1910-е годы Н. Гумилевым (например, в статье «Читатель»), хотя у Колриджа — «самые нужные слова в самом нужном месте».

И вот, считает Эйснер, ни по тому, ни по другому определению поэзия Бунина не выдерживает критики. Вот некоторые выдержки из этой статьи, которые могут дать представление и об аргументах, и о стиле полемики.

«Всеми размерами, всеми видами стиха Бунин владеет изумительно», — написал в рецензии на «Избранные стихи» Набоков. Эйснер будто выворачивает это положение наизнанку: «(...) Бунину прежде всего органически чужды внешние формы поэзии. И во-первых, — Бунину не дается стихотворный размер. К этой мысли приводит вовсе не однообразие метрических структур его стихов, вне зависимости от разнообразия содержаний. (...) Гораздо больше смущает бесконечная монотонность и сухость этого ямба, но еще больше ритмическая несамостоятельность во всех размерах. Целый же ряд ошибок слуха (...) грустно подтверждает эту истину. (...) невнимание к согласованию логических и метрических ударений, чуть ли не на каждой странице (...) еще больше чувствуется связанность Бунина в построении фразы, в размещении ее составных частей. (...)

Довольно часто(е) и приводящее в восторг Сирина повторение глаголов (старый прием, кстати сказать) есть не что иное, как заполнение многостопного размера. Небольшое же число стоп иногда заставляя Бунина так усекать фразу, что совершенно нельзя ее понять. (...)

Очень типично для прозаика Бунина то, что он больше верит в силу запятой, чем в непреодолимую силу музыки стиха и мощь цезуры его.

Но техническое слабосилие Бунина (...) еще более заметно в ритмике (...). Его стихи как будто совсем лишены каких-нибудь индивидуальных музыкальных основ. (...)

Еще более неблагополучно у Бунина с рифмой. Пусть он употребляет исключительно самые замученные и заезженные, пусть столбцами рифмует собственные имена, пусть во всей книге нет ни одной рифмы, которую услышишь, которая поразит ухо, — этого мало. Как и размеру, Бунин приносит ей слишком большие жертвы. Прежде всего, иногда затемняет смысл, вопреки пресловутой своей ясности. (...).<sup>20</sup>

Каждое из этих заявлений снабжено впечатляющим списком прокомментированных примеров. Неудачи в синтаксисе иллюстрируются строками из стихотворения «Огромный, красный, старый пароход...»: «*Мальчишка-негр в турецкой грязной феске висит в бадье, по борту, красит бак* (...)». «Это „по борту“, — пишет Эйснер, — чрезвычайно неуклюжее, вряд ли даже допустимое грамматически — совершенно невозможно тяжелоит поэтическую строку (...) тогда как по существу это едва ли не заполнение пустого места размера несущественной подробностью. Такой синтаксис, неверный и для прозы, недопустимо сложен для поэзии. Очень значительно здесь и прилагательное „турецкой“, относящееся к феске».

<sup>19</sup> См.: Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Подступы к Хлебникову // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.

<sup>20</sup> Эйснер А. Прозаические стихи // Воля России (Прага). 1929. № 12. С. 78—83.

Сегментированный синтаксис, лишаящий строчки смысла, Эйснер находит, например, в стихотворении «На пути под Хевроном...»: «„Поздней ночью я слышал / Плач ребенка — шакала“... Даже если оставить в стороне сияющую новизну самого сравнения, нужно сказать, что, хотя оно и должно подействовать на того, кто никогда не встречал его еще у Майн-Рида, — в таком виде, когда не совсем ясно, кто все-таки плакал: шакал как ребенок или ребенок как шакал, — оно вряд ли достигнет своей цели».

Вера в запятую, а не в цезуру подтверждается стихотворением «Феска». Здесь, ядовито замечает Эйснер, «размер не обязывает на слово „турецкая“», но «Бунин задает новую загадку: „Женщина, глян, проходя, сквозь сияющий шелковый газ / На золотые усы и на твердую красную феску!“ Если при чтении вслух не обозначить в воздухе пальцем все запятые, слушатель будет твердо уверен, что женщина проходит „сквозь сияющий шелковый газ“».

«Иногда, — продолжает Эйснер, — Бунин заполняет строку прямо какими-то парадоксами из жизни животных: „Рогатый вол, большой соловый бык, / Скользя в грязи и раздвоив копыто, / К воде ноздрями влажными приник“ (стр. 207).<sup>21</sup> Первый стих, где выясняется, что вол может одновременно быть и быком, не вызовет смущения только в самой наивной институтке. Очень значительны и дополнительные штрихи, доказывающие, что это странное животное обладает рогами и раздвоенным копытом».

О некоторых стихотворениях, вызвавших неудовольствие Эйснера, стоит сказать особо. Так, например, отдельная полемика развернулась по поводу несогласованности логических и метрических ударений на примере строки из стихотворения «Петух на церковном кресте» — первого «затактного» стихотворения сборника, единственного текста вне хронологического порядка. Ключевой характер текста должен был, видимо, подчеркнуть допущенную Буниным ошибку. Эйснер пишет о том, что в третьей строчке *Назад идет весь небосвод* 3 неударных слога рядом в 4-стопном ямбе вызывают к жизни некую «весну», о которой, впрочем, речи в стихотворении нет. Сирин-Набоков разгневался на «уши Эйснера» и предложил набрать сколько угодно таких примеров в небунинской поэзии. Дошло до того, что В. Лебедев, отвечавший за Эйснера Набокову, рисовал метрические схемы с вариантами двухстопного и трехстопного размеров.<sup>22</sup>

«Очень интересно и то, — пишет Эйснер, — что на стр. 176 „Дедушка в молодости“ — „глядел живыми / Сплошь темными глазами в зеркала“. Эти „сплошь темные глаза“ могут присниться. Надо утешаться, что слово „сплошь“ не для характеристики, а для размера».

<sup>21</sup> А. Эйснер и вслед за ним В. Лебедев цитируют стихи Бунина по изд.: *Бунин И. А. Избранные стихи*. Париж, 1929.

<sup>22</sup> Указание на подобные технические огрехи связано, возможно, с интересом к переразложению внутри строки, проявленным чуть ранее футуристами. Так, например, А. Крученых подобрал сотни примеров явления сдвига из самых разных поэтов, преимущественно из Пушкина (*Он стрепетом к княгине входит, Он слушал Ленского сулыбкой* — с пояснением от себя: «сулыбка — это маленькая, чуть-чуть заметная улыбка, подобие ее», *Зажар души доверчивой и нежной* — с указанием на то, что *зажар* образовано «по образцу „загар“, хорошее слово для обозначения степени поджаренности, например», *Узрюли русской Терпсихоры* — с комментирующим вопросом: «Узрюли — глазища?» и мн. др.), но также и из чтимых Эйснером Блока и Гумилева. См.: *Крученых А. Сдвигология русского стиха*. Трахат обижальный (Трахат обижальный и поучальный). М., 1922. С. 5, 26 и др.; Пушкин. 500 новых острот и каламбуров / Собрал А. Крученых. М., 1924. Однако множество небунинских примеров, причем из самых авторитетных авторов, можно привести как иллюстрацию и других указанных Эйснером ошибок. «Бунин иногда жестоко оскорбляет русский слух», — пишет критик и приводит строчку из «Листопада»: *В дворе последний мотылек, вместо во дворе (Эйснер А. Указ. соч. С. 79). Меня с слезами заклинаний Молила мать* — мог бы напомнить Набоков («Евгений Онегин», 8, XLVII), и ряд наверняка был бы продолжен.

Упрек справедливый, но в этом случае Набоков имеет и личный повод дать отпор критику. В своем рассказе 1924 года «Венецианка» он трижды повторяет в описании героини эту черту: *сплошь темные глаза*. Отвечая Эйснеру, Набоков указывает на то, что в них, в этих сплошь темных глазах, — «особая прелесть старых портретов», и это одно из самых ярких образных выражений у Бунина, несомненно удачное.<sup>23</sup>

Рассмотрение формальной стороны бунинской поэзии заканчивается так: «Если не претендовать на исчерпание бездонного колодца подобных достижений (...) совершенно достаточно уже приведенных, чтобы неотразимой была основная мысль, сводящаяся к тому, что Бунин не владеет стихотворной формой. И так как он работает над нею столько лет, и так как он, как строгий к себе художник, не выпустил бы в свет книги стихов, если бы видел ее недостатки, не исправив их, — остается сделать один вывод: поэзия в своих формах глубоко чужда и недоступна ему».<sup>24</sup>

Разобравшись с формой, Эйснер переходит к содержанию бунинских стихов: «(...) если в отношении формы Бунин характеризуется отрицательно, — как не поэт, то в отношении содержания он характеризуется положительно — как прозаик».<sup>25</sup>

Эйснер делит стихи Бунина на три группы. Первая группа — это попытка рифмованной и ритмически обработанной прозаической темы. Вторая группа — пейзажи, которые зачастую распадаются на многоотрочное описание и краткий лирический вывод. Описания губятся обилием ненужных, считает критик, по крайней мере в поэзии ненужных, деталей. Третья группа представлена в рецензии стихотворениями «Ритм», «В горах» и т. п., которые, как и многие другие бунинские тексты, двучастны: описание—вывод, в данном случае философский; при этом описание, по Эйснеру, «обязательное», а вывод — «надуманный», все вместе «вряд ли (...) хорошая философия. Во всяком случае (...) решительно плохая поэзия».<sup>26</sup> В целом поэтическое творчество Бунина сродни «Гансу Кюхельгартену» Гоголя и стихам (надо полагать, ранним?) Тургенева: это «нужная и полезная художественная гимнастика», которую не следует выдавать за поэзию.

Статья Эйснера вызвала пылкую полемику. Как писал Глеб Струве, «в критической оценке Эйснером Бунина как поэта было усмотрено „оскорбление величества“. В глазах „Воли России“ эта реакция иллюстрировала как нельзя лучше то, что журнал считал главными пороками литературы и критики: кумовство, неприкосновенность авторитетов и болезненную обидчивость писателей».<sup>27</sup> В берлинском «Руле» Эйснеру отвечал Сириг<sup>28</sup> (как было сказано выше, он уже написал до этого статью об «Избранных стихах»,

<sup>23</sup> Цит. по: *Набоков В. В.* На красных лапках // *Набоков В. В.* Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. С. 682. Любопытно, что в дальнейшем именно этими словами Бунин охарактеризует взгляд Софьи Андреевны Толстой в «Освобождении Толстого» (*Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 58).

<sup>24</sup> *Эйснер А.* Указ. соч. С. 78—85. Интересно сопоставить вывод Эйснера с тем, который делает гораздо более расположенный к Бунину В. Ходасевич: «Раз навсегда отвергнув неправды символизма, Бунин заодно отказался и от некоторых насущных правд и возможностей (его) (...) Я был бы неоткровенен, т. е. недобросовестен, если бы не указал на те строгие и, с моей точки зрения, не всегда справедливые ограничения, которым Бунин сознательно подверг свою музу. Но я не могу не воздать должного тому последовательному, суровому и мужественному аскетизму, которому Бунин подчинил свою поэзию ...» (*Ходасевич В. Ф.* О поэзии Бунина // *Ходасевич В. Ф.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 184, 187).

<sup>25</sup> *Эйснер А.* Указ. соч. С. 85.

<sup>26</sup> Там же. С. 88.

<sup>27</sup> *Струве Г.* Указ. соч. С. 61.

<sup>28</sup> Статья называлась «На красных лапках» (Руль (Берлин). 1930. 29 янв.), последний раз перепеч.: *Набоков В. В.* Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. С. 681—683.

и Эйснер в своем разборе отталкивался от него), затем Сирину — другой критик «Воли России», Вячеслав Лебедев, статьей с примечательным названием «О красных лапках, дедушкиных портретах и голом короле»,<sup>29</sup> затем Лебедеву опять Набоков — в статье, посвященной очередному номеру «Воли России».<sup>30</sup> В последней статье, в частности, значительное место отведено разбору напечатанных в этом номере стихов А. Эйснера (Из поэмы «Суд»), естественно, малоприятному для ниспровергателя Бунина («комизм эйснеровского стиха» — так выражается Набоков). Следы этой полемики можно найти и в выступлениях других эмигрантских критиков.<sup>31</sup>

«Красные лапки» появляются в названиях статей Набокова и Лебедева не случайно. Набоков вспоминает, как насмешил Пушкина тот критик, который в строчках «*На красных лапках гусь тяжелый / (Задумав плыть по лону вод) / Ступает бережно на лед*» услышал, что гусь задумал плыть на красных лапках, и сам же заметил, что на красных лапках далеко не уплы-вешь.<sup>32</sup> Однако и сам образ птичьих лапок проецируется на бунинскую поэзию. Так, Эйснер посмеялся над строчками из стихотворения Бунина «Все море — как жемчужное зеркало...» (в «Избранных стихах» под заглавием «После дождя»): *Вон чайка села в бухточке скалистой / Как поплавок. Взлетает иногда, / И видно, как струю серебристой / Сбегаем с лапок розовых вода.* Это, по мнению критика, один из тех многочисленных примеров, когда поэта сменяет прозаик, причем прозаик, смотрящий в бинокль. Увидеть, какого цвета вода стекает с лапок чайки, сидящей на другом конце бухты, — физически невозможно для человека и психологически невозможно для поэта. Как можно заметить, Эйснер передернул: у Бунина речь не о воде, а о лапках, — на это и не преминул указать Набоков. Лебедев отвечает за коллегу по журналу: неважно, о чем речь, о воде или о лапках, — дело не в деталях, все равно не разглядеть, а впрочем — именно в деталях, многочисленных и ненужных, мешающих цельности стихотворения, — черта, весьма характерная для Бунина-поэта и вполне уместная в Буinine-прозаике. В обилии бунинских подробностей, мелких деталей Лебедев усматривает механическую фиксацию, фотографический аппарат, не одушевленный живым лирическим чувством: «Обращать же высший дар человеческого духа в подобие механического прибора — не самая ли это страшная хула на Бога?»<sup>33</sup>

Последняя треть статьи Лебедева — перечисление грубых, с его точки зрения, неправильностей в бунинских стихах: «Вот стр. 89 — „...где крепко

<sup>29</sup> Лебедев В. О красных лапках, дедушкиных портретах и голом короле // Воля России (Прага). 1930. № 7—8. С. 656—661.

<sup>30</sup> Статья «Литературные заметки: О восставших ангелах» (Руль (Берлин). 1930. 15 окт.) последний раз перепеч.: Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. С. 684—688.

<sup>31</sup> Так, например, С. И. Нальянч укоряет Эйснера за то, что свой отзыв он построил исключительно на слабых стихотворениях Бунина, проигнорировав его лучшие стихотворения. Признавая, что «Бунин-поэт имеет множество недостатков, которых он лишен как прозаик», критик сетует на то, что поэт включил в сборник ряд неудачных стихотворений: «День памяти Петра», «Осенний день», «Одиночество» («Худая компаньонка-иностранка...»), «Феска», «Шипит и не встает верблюд...», — и не включил удачные, как «Песня» («Я — простая девка на баштане...»), «В поезде», «Февраль», «Хорват с шарманкой» (так Нальянч называет стихотворение «С обезьянкой»), «Мать» и др. (Нальянч С. И. Литературные заметки: О поэзии Бунина // За свободу! (Варшава). 1930. 30 мая). Этот недостаток отметил и Набоков. «Среди „избранных стихов“ Бунина, — писал он, — нет многих, которые хотелось бы перечесть» (Набоков В. В. <Рец. на кн.:> Ив. Бунин. Избранные стихи... С. 673). Нальянч тем не менее считает «Избранные стихи» «замечательной книгой, подтверждающей, что Бунин — один из крупнейших поэтов нашего времени», и выступает против мнения о нем как о «холодном живописце».

<sup>32</sup> Пушкин А. С. Опровержение на критики и замечания на собственные сочинения // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1949. Т. 11. С. 146.

<sup>33</sup> Лебедев В. Указ. соч. С. 657.

треплет свежий, соленый ветер листьями маслин”. „Треплет” листья, а не листьями; шуршит — это, действительно, чем? — листьями, но треплет — что? — листья маслин». Набоков отвечает: «Можно не только „трепать что” но и „чем”», например руками, крыльями, языком.<sup>34</sup> «На стр. 109 — „Замною девочка пристала — все касалась до плеча рукою”, девочка касалась просто — „плеча” а не „до плеча”». Набоков на это: «„касаться до” <...> допустимо вполне».<sup>35</sup> «Но истинный шедевр — это на стр. 108, где жестокий Бунин выпускает на сцену „девушку с раскрытой головой”. Читатель смутно догадывается, что, вероятно, с „непокрытой” головой была девушка, над которой безжалостный поэт произвел трепанацию черепа». Набоков: «Лебедев находит, что „девушка с раскрытой головой” — намек на трепанацию черепа, и, вероятно, понял бы слова „не раскрывайся — ветрено” за просьбу не совершать харакири на ветру».<sup>36</sup> «У Бунина достаточно часто встречаются и целые фрагменты, неправильно построенные или содержащие неправильное наблюдение или утверждение автора». «Я готов разъяснить Лебедеву при случае и все остальные его недоумения», — резюмирует Набоков,<sup>37</sup> — а недоумения у Лебедева такие: «На стр. 102 стихотв. „Холодная весна” — „...И соловьи всю ночь поют из теплых гнезд”. Оказывается, соловьи весной сидят в гнездах и распевают, как граммофон в мещанской квартире <...> На стр. 150 — „Как чайки на песках, опять вперед я стираю руки”. Прстирающие руки чайки, с которыми сравнивает себя автор, — существа, в природе не наблюдающиеся. Стр. 154 — „Вдруг сзади крик — и вижу: сзади несетя с гулом, полный клади, на дышле с фонарем, дормез”. Перестановка слов делает то, что дормез несетя на дышле, не говоря уже о неловком повторении слова „сзади” два раза в одной строчке. На стр. 119 — „спят пастухи. Бараны сбились в кучу, сверкая янтарями спящих глаз”. Трудно поверить, что бараны сверкают спящими глазами, а не прикрывают их веками. На стр. 123 — „Засуха в раю”, где „ища воды, кричат в тоске среброголосые олени и пожирают змей в песке”. Даже от жажды не будут олени есть змей. Не хотят. <...> Наконец, на стр. 146 в стих. „Цирцея” Бунин делает новые наблюдения над человеческим лицом: „На треножник богиня садится: бледно-рыжее золото кос, зеленъ глаз и трепещущий нос — в медном зеркале все отразится”. Этот трепещущий нос — очарователен».<sup>38</sup>

Где корни столь резкого, негативного отношения? Эйснер точно определяет самую болезненную точку: «Русской поэзии XX века для Бунина как будто вообще не существует. <...> Всем памятно его отношение к Блоку <...>».<sup>39</sup>

Примеры презрительного, даже оскорбительного отношения Бунина к Блоку многочисленны и хорошо известны. И пражские критики прежде всего не могли простить Бунину его отношение к их кумиру и, соответственно, ко всей «новой» поэзии, олицетворенной и для Бунина, и для молодого по-

<sup>34</sup> Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. С. 686.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Там же.

<sup>38</sup> Лебедев В. Указ. соч. С. 658—659. Список бунинских ошибок, приведенный Лебедевым, далеко не полный. Так, например, можно было бы продолжить ряд тех случаев, когда перестановка слов в стихе приводит к искажению смысла: в стихотворении «Тэмджид», где речь идет о мусульманском полночном гимне-молитве о всех не спящих, читаем: *На середине между ранним утром И вечерним сумраком встают Дервиши Джелвети и на башне Древний гимн, святой Тэмджид поют* (Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 221). Таким образом, гимн оказывается отнесен не к полночи, а скорее к полудню (*между ранним утром и вечерним сумраком*). Тавтологии отдельных слов, словосочетаний и целых строк в избытке представлены в бунинской поэзии, в них впору видеть не изъян, а сознательный прием, который может стать предметом отдельного рассмотрения.

<sup>39</sup> Эйснер А. Указ. соч. С. 77—78.

колениа в Блоке. «Его стихи как будто совсем лишены каких-нибудь музыкальных основ», — пишет про Бунина Эйснер,<sup>40</sup> — и это удар за пренебрежение музыкальностью Блока. А несколькими страницами ниже не приведенные в статье, но явно задевшие Эйснера высказывания Бунина о Блоке служат основанием для вывода о том, что Бунин «не знает, что такое поэтическая тема, (...) не подозревает, что у поэзии есть какое-то совсем свое содержание, отличное от содержания прозаической литературы, так же как и философии».<sup>41</sup>

Смягчая многие удары Эйснера, Лебедев в то же время замечает, что «в 1930 году, после Блока, Гумилева и даже Брюсова, стихи Бунина не могут уже претендовать на большое значение».<sup>42</sup>

Примечательно, что вторым поэтом эпохи здесь (и не только здесь) назван Гумилев: сопоставление с ним является другой показательной чертой в статьях-отзывах на «Избранные стихи». С. И. Нальянч пишет: «Во многом Бунин напоминает Гумилева, но сверх блестящего мастерства (оставим пока в стороне разногласия мнений о бунинском мастерстве. — Т. Д.) у Бунина бывают вдохновенные строки, неподдельный лиризм, задушевность и непосредственность, чего у Гумилева совсем нет».<sup>43</sup>

Далее предлагается сравнить картины моря у Гумилева и стихотворение Бунина «Бог», названное критиком одним «из лучших стихотворений русской поэзии вообще». Здесь сравнение в пользу Бунина. У Эйснера, естественно, наоборот. Он утверждает: «Своего голоса у Бунина нет. (...) Трудно не вспомнить „Песни Западных Славян“, читая „Молодого Короля“ (стр. 102). Невозможно не услышать и дыхание Блока в некоторых белых стихах, например в „Огне на мачте“ (стр. 29), в „Венеции“ (стр. 107), в „Одиночестве“ («Худая компаньонка, иностранка...». — Т. Д.) (стр. 122), — главным образом дыхания „Трех смертей“. Кто не ощутит также и мужественный гумилевский ритм в такой хотя бы строфе:

„Одинокaя пaльмa встaвaлa нaд ним  
 Нa холмe oпaхaлoм сoим,  
 И мeлькaли, свeрлили стрижид тишинy,  
 И дaлeкo я видeл стрaну“.<sup>44</sup>

В бунинском экземпляре этой статьи<sup>45</sup> приведенные строки решительно отчеркнуты и на полях красуются «!!» напротив упоминания Блока и «?» напротив упоминания Гумилева, и эти знаки легко можно объяснить. В 1907 году, когда Буниным были написаны эти строчки (стихотворение «Иерусалим»), Гумилев, в предыдущем году окончивший гимназию, был автором одного поэтического сборника и только готовился издать второй.

Для истории восприятия бунинской поэзии важно отметить, что критики «Воли России» не были первыми, кто осудил ее столь категорично.

В откликах на первый же поэтический сборник Бунина<sup>46</sup> прозвучали те же самые упреки, которые отозвались в рецензиях на последний. Так, анонимный критик журнала «Артист» еще в 1892 году высмеивал начинающего поэта Бунина, взявшего в качестве эпиграфа к своей дебютной книге строки

<sup>40</sup> Там же. С. 81—82.

<sup>41</sup> Там же. С. 85.

<sup>42</sup> Лебедев В. Указ. соч. С. 660.

<sup>43</sup> Нальянч С. И. Указ. соч.

<sup>44</sup> Эйснер А. Указ. соч. С. 82. Цитата из стихотворения Бунина «Иерусалим».

<sup>45</sup> РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 150.

<sup>46</sup> Бунин И. А. Стихотворения 1887—1891 гг. Орел, 1891. (Прилож. к газ. «Орловский вестник»).

Фета «Нет, не жди ты песни страстной, — Эти звуки — бред неясный...» и т. д. «А между тем, — замечал этот критик, — в стихотворениях г. Бунина ничего неясного, по нашему мнению, нет. Скорее напротив, все так ясно, так просто, что удивляешься, к чему было беспокоиться о каком-то размере и ритме», — и, приводя пример из стихотворения «Говорят, что вся клубника...», включенного в подборку «Из песен казанских татар»,<sup>47</sup> т. е. переводного, не оригинального текста, заключал: «Нет, лучше, по-нашему, совсем не писать стихов, чем облекать в них голую прозу. Что-нибудь одно: или проза, или поэзия. И на все есть своя форма. Быть может, г. Бунин — прекрасный прозаик. В таком случае пусть он поскорее покидает занятия поэзией».<sup>48</sup>

В одной из рецензий (также анонимной) на следующий сборник<sup>49</sup> Бунин был назван «хоть маленьким, но светлым оазисом» «среди мертвой пустыни всякой символической и не символической дребедени», причем одним из ограничений его «невеликого» таланта признавалась излишняя детализация описаний: «Так, в одном месте он говорит, напр(имер), о довольно сомнительном „теплом запахе талых крыш“, или в другом — о дремлющем на кочке кобчике, „покрытом пылью матовой росы“, которую вряд ли кто наблюдал на кобчике...»<sup>50</sup>

Вообще говоря, тон критики по отношению к Бунину прогрессировал от благосклонного к почтительному, и случавшиеся время от времени негативные оценки были тем заметнее и существеннее. Так же и обилие конкретных деталей в стихотворениях Бунина отмечалось практически всеми критиками при каждом удобном случае (выходе новой книги) и, как правило, воспринималось положительно. Тот же самый «теплый запах талых крыш» другим рецензентом был отмечен как удачный: «Таким образом из ничтожных и, по-видимому, прозаичных подробностей поэт создает цельную художественную картину».<sup>51</sup>

Здесь интересны три момента: во-первых, детализация (по мнению некоторых критиков, излишняя) была оборотной стороной той точности описаний, которой славился Бунин, ставший известным прежде всего «в качестве поэта русской природы» (цитата из приведенной рецензии); во-вторых, детализация могла восприниматься и, как видим, зачастую воспринималась как «прозаизация»; в-третьих, «прозаические» описания «русской природы» составляли полную противоположность тем художественным и мировоззренческим устремлениям, с которыми ассоциировали себя поэты модернистского толка, и их непонимание бунинской поэзии вполне объяснимо.

На третий том собрания сочинений Бунина (1906), одну из его ключевых поэтических книг,<sup>52</sup> открывшую новые страницы поэтической географии не только автора, но всей русской поэзии (Средиземноморье, Греция, Иудея, Египет, Константинополь, Дагестан, иранский и халдейские мифы, цикл «Ислам» и т. д.) на страницах «Золотого руна» откликнулся С. Соловьев. По тону и по упрекам его рецензия отчетливо перекликается с критикой Эйснера. При этом речь не идет о зависимости Эйснера от предшественника: выдвигаемые Бунину-поэту упреки — это некая константа в восприятии его

<sup>47</sup> См.: Иван Бунин: [Сб. материалов]: В 2 кн. 1973. Кн. 1. С. 214. (Лит. наследство. Т. 84).

<sup>48</sup> Б. п. (Рец. на кн.: Бунин И. А. Стихотворения, 1887—1891 гг. Орел, 1891) // Артист. 1892. № 20. С. 106.

<sup>49</sup> Бунин И. А. Под открытым небом. М.: Детское чтение, 1898.

<sup>50</sup> Б. п. (Рец. на кн.: Бунин И. А. Под открытым небом: Стихотворения. М., 1898) // Русское богатство. 1898. № 12. Отд. II. С. 46—47. Цитируются стихотворения Бунина «Бушует поляя вода...» и «Неуловимый свет разлился над землею...».

<sup>51</sup> Саводник В. Современная русская лирика // Русский вестник. 1901. № 9. С. 138.

<sup>52</sup> Бунин И. А. Стихотворения 1903—1906. СПб.: Изд. т-ва «Знание», 1906. (Собр. соч. Т. 3).

определенным кругом критиков, и С. Соловьев четко ее декларирует: «Бунина нельзя назвать поэтом. Он — стихотворец, и притом из плохих. Во всей его книге нет ни одного настоящего стиха. Иные строки просверкивают, но это — блеск фальшивого брильянта. <...>

На протяжении двухсот страниц стих Бунина предается упорной спячке. Видно, что Бунин не только не искусен в стихосложении, но даже не подзревает о законах метра, о разнообразии словесных средств изобразительности. То, что является азбукой для самого скромного французского поэта-парнасца, неведомо нашим гиперборейским парнасцам вроде Бунина. Их стихотворные изделия можно сравнить с дешевыми сапогами, от которых отваливаются подошвы через несколько дней после покупки. Непрактично, совсем непрактично.

В третьей книге стихов Бунин хочет взять географическим и этнографическим разнообразием. <...> Перемене места соответствует перемена рифм. Прежде было березам — навозом, а теперь: одра — Ра, Эски — пески и т. д. Но — увы! — никакие Ра не могут воздвигнуть с сонного одра стих Бунина, и на Восток принес он бесцветность своего языка, пошлую гладкость стиля. <...>

Однако есть у Бунина и красивые образы, напр<имер>: „... розовеет пепел небосклона” или „Расплавленной смолой сверкает черный киль”. Но что значат образы без звука! А напева у Бунина нет, нет и нет». <sup>53</sup>

Мнение С. Соловьева разделяли два самых влиятельных критика символистского лагеря — В. Брюсов и Н. Гумилев (его отзыв написан в 1911 году, т. е. до акмеизма), — так что можно думать, что их имена обладают в приведенной выше оценке Лебедева дополнительной мотивировкой.

В сентябре 1901 года Брюсов записывает в своем дневнике: «На скорпионовском вторнике я с ним (Буниным. — Т. Д.) поговорил крупно, сказал, что все его писания ни на что не нужны, главное, скучны, и т. д.». <sup>54</sup>

В рецензии на «Новые стихотворения» Бунина (1902) <sup>55</sup> Брюсов продолжает: «По-прежнему его (Бунина. — Т. Д.) стихи остаются вне его личности и вне его жизни <...> Образцы г. Бунина — это вчерашний день литературы». <sup>56</sup>

В более развернутом виде все эти упреки присутствуют в рецензии Гумилева на шестой том собрания сочинений Бунина (1910), <sup>57</sup> — показательный пример сознательного или интуитивного перенимания Гумилевым оценок своего учителя: «<...> стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, надо считать подделками, прежде всего потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно. Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу. Удачные детали пейзажей не связаны между собой лирическим подъемом. Мысли скучны и редко идут дальше простого трюка. В стихе и в русском языке попадаются крупные изъяны. Если же попробовать восстановить духовный облик Бунина по его стихам, то картина окажется еще печальнее: нежелание или неспособность углубиться в себя, мечтательность при отсутствии фантазии, наблюдательность без увлечения наблюдаемым и отсутствие темперамента, который единственно делает человека поэтом». <sup>58</sup>

<sup>53</sup> Соловьев С. (Рец. на кн.: Бунин И. А. Стихотворения 1903—1906. СПб.: Изд. т-ва «Знание», 1906. (Собр. соч. Т. 3)) // Золотое руно. 1907. № 1. С. 89. Цитируются стихотворения «Луна еще прозрачна и бледна...» (в рецензируемой книге под загл. «На даче») и «Штиль».

<sup>54</sup> Брюсов В. Я. Дневники. 1891—1910 / Пригот. к печати И. М. Брюсова. [М.], 1927. С. 106.

<sup>55</sup> Бунин И. А. Новые стихотворения. М., 1902.

<sup>56</sup> Брюсов В. Я. (Рец. на кн.: Бунин И. А. Новые стихотворения. М., 1902) // Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894—1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 71.

<sup>57</sup> Бунин И. А. Стихотворения и рассказы 1907—1909. СПб.: Книгоизд-во «Общественная польза», 1910.

<sup>58</sup> Гумилев Н. С. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 70—71.



При общей независимости оценок разных критиков надо заметить, что опорным текстом, на который могли ориентироваться критики 1929 года, была, по-видимому, эта рецензия Гумилева. По крайней мере, с высокой долей вероятности можно предположить, что Эйснер и Лебедев, в своей собственной поэтической практике ориентировавшиеся на «школу Гумилева»,<sup>59</sup> были с ней знакомы и не упустили случая подтвердить правоту своего «мэтра», его же поставив в пример скучному и неумелому «академику».

Но общего вывода это не меняет. На протяжении четырех десятилетий, с первых рецензий начала 1890-х до последних откликов 1929—1930 годов, мотивы неприятия бунинской поэзии оставались постоянными: скука, прозаичность, ошибки в языке, оторванность от душевной жизни автора, которая и сама по себе не представляется достойной внимания. Равно как и мотивы приятия, сведенные Сашей Черным к афористическому определению: «строгое и гордое служение красоте».<sup>60</sup>

Кстати, стоит отметить, что сравнение различных откликов на бунинские произведения может составить отдельную тему, особенно в тех случаях, когда повторяются не клише, а образные характеристики. Так, например, оказывается, что именно от Саши Черного зависим в своих высказываниях едва ли не главный защитник и апологет Бунина-поэта в эмиграции В. Набоков, писавший о себе: «Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той *парчовой прозе* (здесь и далее курсив мой. — Т. Д.), которой он был знаменит».<sup>61</sup>

До того образ *парчовой прозы* Бунина встречаем в рецензии Саши Черного на «Розу Иерихона» (1924): «О бунинском языке писали немало. Он завершен и сложен и цветист, как многокрасочная переливающаяся *парча*».<sup>62</sup>

Несколько позднее, в 1928 году, назвал художественную ткань Бунина (точнее, «Жизни Арсеньева») «литературной парчой» Ю. Айхенвальд.<sup>63</sup> Не исключено, что набоковское указание на «знаменитость» «парчовой прозы» связано именно с множественностью источников самого этого выражения.

В той же статье Саши Черного читаем: «Северянинско-брюсовские пути высокой музе Бунина чужды до отвращения. Тютчевский горный путь, строгое и гордое служение красоте, сдержанная сила четкой простоты и ясности — мало привлекательны для толпящихся вокруг Парнаса модников и модниц. Кому — оклеенный фольгой сезонный трон, кому — благодарное и неизменное утверждение зрячих».<sup>64</sup>

И имя Тютчева, и представление о красоте как о сдержанной силе, воплощенной в бунинской поэзии, и противопоставление высокой музыки Буни-

<sup>59</sup> Вполне возможно, что и пражский «Скит поэтов», в который входили Эйснер и Лебедев, своим прообразом считал «Цех поэтов» во главе с Н. Гумилевым и С. Городецким: принципы художественной критики и сама модель поведения «мэтра» (Эйснера) формировались по примеру первого «Цеха». См. об этом: То, что вспоминается. Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908—1982): В 2 т. / Под ред. Е. Н. и Д. Г. Андреевых. Т. 1. Таллин, 1996. С. 271—272 и др. Косвенным подтверждением этого может считаться то, что, отвечая Эйснеру, Набоков вспоминает Гумилева: «Не из желания смутить, а просто ради восстановления истины, обращаю его (Эйснера. — Т. Д.) внимание на то, что у Бунина рифма богаче, чем, скажем, у Гумилева (который, кстати, тоже рифмовал «гнезда» и «звезды», что Эйснер считает недопустимым)» (*Набоков В. В.* На красных лапках. С. 682).

<sup>60</sup> *Черный Саша.* «Роза Иерихона» // И. А. Бунин: Pro et contra: Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2001. С. 360. Первоначально: Русская газета (Париж). 1924. № 189. 29 ноября.

<sup>61</sup> *Набоков В. В.* Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 318.

<sup>62</sup> *Черный Саша.* Указ. соч. С. 358.

<sup>63</sup> См.: *Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // Руль. 1928. 14 марта. Об этом: *Долинин А.* Плата за проезд: Беглые заметки о генезисе некоторых литературных оценок Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. СПб., 1998. С. 6.

<sup>64</sup> *Черный Саша.* Указ. соч. С. 359—360.

на «модникам и модницам», его единственности — их множеству, их изменчивости — его постоянству повторяются в самой, возможно, хвалебной статье об «Избранных стихах» — В. Сирина-Набокова. Образный строй этого отрывка был важен и для собственного творчества Набокова: «Горный путь» — название его первого поэтического сборника (подсказанное, кстати, Сашей Черным). К тому же сам образ *горного пути*, видимо, был связан в поэтическом сознании Набокова с Буниным — по крайней мере, в посвященном Бунину стихотворении 1920 года «Как воды гор, твой голос горд и чист...». Набоков совмещает понятия *гордого*, как воды *гор*, голоса и своего *строгого пути* (ср. у Саши Черного «*строгое и гордое служение красоте*»); заканчивается стихотворение клятвой: «*Ни помыслом, ни словом / Не согрешу пред музою твоей*».<sup>65</sup> В рецензии же на «Избранные стихи», первой статье, написанной по их поводу (после нее были еще ответы Эйснеру и Лебедеву), Набоков пишет: «Стихи Бунина — лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха — развенчаны или забыты „слов кощунственных творцы“ (...); и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, — и странном кажется, что в те петербургские годы не всем был внятн, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева».<sup>66</sup>

Сопоставление различных откликов и мнений о поэзии Бунина можно завершить обращением к рецензии Г. Адамовича на 1-й (стихотворный) том 9-томного, уже московского, собрания сочинений Бунина:<sup>67</sup> «Все хорошо в этих стихах, все находчиво, образно, красочно, умно, зорко, правдиво — и все-таки нет в них чего-то такого, что придает иным, казалось бы, обычным словосочетаниям волшебную прелесть. Нет тех ритмов, тех звуков, которыми пленяет и околдовывает Блок. (...) Да, музыки в этих стихах маловато. Но в них множество других достоинств, иных, скажем, чем у Блока, но бесспорных, очевидных. Несправедливость (в оценке поэзии Бунина. — Т. Д.) возникла по вине символистов, приучивших главным образом вслушиваться в стихи, вникать в их напев и внушивших пренебрежение к их непосредственному, дословному содержанию. А ведь Пушкин, Лермонтов, Тютчев требуют того и другого. Можно возразить, что Бунин не столько их продолжатель, сколько один из талантливых эпигонов и что родословную его надо вести скорей всего от Майкова и Полонского. Это верно: *ничего нового в поэзии он не создал*. Но (...) Есть много шансов, что правдивые, скромные, духовно честные бунинские строчки переживут в нашей литературе иные пышные вычуры или словесные туманы, казавшиеся когда-то полными глубокого смысла».<sup>68</sup>

Весь этот отзыв как бы распадается на два голоса: в своих неявных упреках Бунину (выделенных здесь курсивом) Адамович едва не повторяет С. Соловьева, Гумилева и недружественных критиков из 1929 года, в своих явных похвалах — Набокова, и в соединении этих двух противоположных подходов вырабатывается самое распространенное на сегодняшний день представление о бунинской поэзии.

<sup>65</sup> Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 450—451.

<sup>66</sup> Набоков В. В. (Рец. на кн.:) Ив. Бунин. Избранные стихи. С. 672—673.

<sup>67</sup> Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т./ Под общ. ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, А. Т. Твардовского. М., 1965—1967.

<sup>68</sup> Адамович Г. В. Указ. соч. С. 151.

# ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

© А. М. Березкин

## КОГНИТИВНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТОЛОГИИ\*

Под *прикладным* аспектом текстологии обычно подразумевается оценка идентичности текста — связанной и цельной последовательности вербальных знаков, а также разработка способов отражения в форме текста последовательности поправок и дополнений в авторской рукописи.

Определение «когнитивный» применительно к областям знания обычно означает «относящийся к познавательным способностям». *Когнитивный* аспект изучения текста обращен, с одной стороны, к процессу создания его автором, с другой — к познавательной деятельности исследователя, изучающего творческий процесс. Объектом анализа может быть, таким образом, не только конкретное явление (целесообразная деятельность автора текста и ее результаты), но и способ его осмысления (цели и методы исследователя-аналитика).

Научное знание складывается преимущественно в ходе решения прикладных задач. Накопление информации требует ее обобщения не только в отношении изучаемых явлений, но и в отношении самого способа познания, его целей и методов. Науке необходима рефлексия, самоанализ, «общий взгляд» на самоё себя, позволяющий установить ограниченность или ошибочность устоявшихся представлений и выдвинуть новые познавательные задачи.

Отечественная текстология, заявившая о себе в первой трети прошлого века как о новой, относительно самостоятельной, хотя и прикладной дисциплине, складывалась на основе традиционной филологической критики текста и была ориентирована прежде всего на очищение опубликованных ранее текстов от множества накопившихся искажений. Быстрое развитие текстологии в российском постреволюционном обществе 1920—1930-х годов было в значительной степени обусловлено социально-политическими процессами, происходившими в стране.

Революционные события в России в начале XX века предоставили возможность преодолеть многие цензурные запреты и ввести в оборот обширный массив прежде утаивавшихся властями материалов. Фронтальное изучение рукописей, ставших доступными исследователям, и их сопоставление с печатными источниками привели к осознанию насущной необходимости новых, существенно исправленных изданий литературных, публицистических, обществоведческих, философских произведений. Выдвигаемые наукой задачи оказались в определенный момент созвучными политике новой государственной власти в области культурного строительства. На правительственном уровне было принято решение издать массовыми тиражами дореволюционные произведения прогрессивной направленности, т. е. содержавшие критику официальной идеологии и государственной политики самодержавной России. Именно эти произведения, прямо или косвенно подтверждавшие историческую прогрессивность осуществляемых новой властью социалистических преобразований, в свое время пострадали от разнообразных цензурных запретов и ограничений. Советская текстология

---

\* В основу статьи положен доклад, прочитанный 17 мая 2004 года на заседании Текстологической комиссии Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

1920-х—первой половины 1930-х годов была воодушевлена революционным, освободительным пафосом. Однако государственное строительство в постреволюционном обществе закономерно требует ограничения революционной инициативы «на местах» — в том числе и в различных областях знания. Укрепление власти предполагает усиление контроля и «введение единообразия».

Новое огосударствление культуры — подчинение культуры и науки задачам государства — поначалу благоприятно сказывалось на эдичионной практике, в которой были установлены обязательные государственные стандарты, предполагавшие тщательную проверку исправности текста, его соответствия выдвинутым наукой требованиям. В дальнейшем эти издательские стандарты — опять-таки закономерно — начали тормозить разработку новых форм представления источников текста, учитывающих специфику конкретного материала. (Во многом сходные процессы происходили при подготовке нормативных толковых словарей, справочников по правописанию, литературной правке и литературному редактированию для работников издательств, которые, с одной стороны, внедряли стандарт общей для всех грамотности, а с другой — ставили под сомнение все формы изложения, не предусмотренные стандартом или отступавшие от него.)

Некоторая парадоксальность ситуации состояла еще и в том, что значительные успехи советской текстологии были достигнуты не только *вопреки* идеологическому диктату, но и в некоторой степени *благодаря* ему, так как интеллектуальные силы общества, не находя себе применения в областях знания, поставленных под жесткий идеологический контроль (теория литературы, поэтика, многие аспекты истории культуры), перемещались в область филологической археологии, изучавшей и сохранявшей классическое наследие.

\* \* \*

В течение полувека представление о задачах текстологии постепенно эволюционировало в направлении большей самостоятельности ее как области знания. Вначале она уверенно определяется как «система филологических приемов», «практическая дисциплина, во многом являющаяся прикладной филологией» (Б. В. Томашевский).<sup>1</sup> Б. Я. Бухштаб в полемике с Д. С. Лихачевым, утверждавшим, что основная задача текстологии — изучение истории текста, настаивал на необходимости многоаспектного филологического анализа при «установлении текста произведения». «Основной пафос» работы текстолога Бухштаб видел «в раскрытии и постижении смысла текста — наиболее глубокого, точного и подлинного».<sup>2</sup> Тенденция к обретению текстологией более самостоятельного статуса хорошо вид-

<sup>1</sup> См.: *Томашевский Б. В.* Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. С. 30. (Книга написана в 1927 и впервые издана в 1928 году.) В оставшейся незавершенной «Литературной энциклопедии» текстология характеризуется как «прикладная филологическая дисциплина, изучающая приемы анализа текста литературных произведений в целях его критики (рецензии), исправления (эмендации) и издания (публикации)» (см.: *Б. Г.* Текстология // *Литературная энциклопедия*. М., 1939. Т. 11. Стлб. 224). Сходным образом, в соответствии с решавшимися прагматическими задачами, характеризовал текстологию Б. М. Эйхенбаум в 1953 году: «Текстология — практическая область литературоведения, теснейшим образом связанная с делом издания классиков. Основная цель и задача текстологической работы — подготовить к печати проверенный по первоисточникам и очищенный от всякого рода искажений и погрешностей авторский текст» (*Эйхенбаум Б.* Основы текстологии // *Редактор и книга*. Сборник статей. Вып. 3. М., 1962. С. 42).

<sup>2</sup> *Бухштаб Б. Я.* Что же такое текстология? // *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие. Избранные работы. СПб., 2000. С. 426—427. (Статья впервые опубликована в 1965 году.) Отстаивание Эйхенбаумом и Бухштабом (крупнейшими текстологами своего времени) филологического подхода, изначально сочетающего прагматическую конкретность и широту соотнесений, для решения практических задач уточнения текста, вероятно, было обусловлено также и стремлением сохранить возможность изучения истории культуры независимо от идеологических предписаний.

на, в частности, на примере сопоставления определений текстологии, данных А. Л. Гришуниным в 1972 и 1998 годах. В «Краткой литературной энциклопедии» речь идет об «отрасли филологии, изучающей произведения (...) в целях восстановления истории, критической проверки и установления их текстов для их дальнейшего исследования, интерпретации и публикации». <sup>3</sup> В своей итоговой монографии «Исследовательские аспекты текстологии» (1998) Гришунин дает значительно более широкое определение: «Текстология — это прежде всего филологическое прочтение и критический анализ текста на основе его понимания (...) В своей исследовательской функции текстология не требует еще обязательного издания текста. Издание служит только формой фиксации и аккумуляции некоторых результатов текстологического исследования, которые могут стать достоянием науки и без такой публичной, многотиражной фиксации». <sup>4</sup> Важнейшая мысль для Гришунина, солидаризовавшегося с Д. С. Лихачевым, состоит в том, что «текстология рассматривает текст прежде всего исторически» и «связь текстологии с философской категорией историзма» представляет первостепенную важность. <sup>5</sup>

\* \* \*

Современная текстология восходит к другой прикладной дисциплине — критике текста, являющейся, в свою очередь, одним из этапов филологического анализа. Естественно, в центре внимания текстологов оказывался текст, традиционно понимаемый как речевое произведение, обладающее свойством завершенности. Именно ради сохранения текста в его целостности и завершенности предпринимаются трудоемкие работы по выявлению и сопоставлению «источников», важнейшие из которых — сохранившиеся авторские рукописи. Долгое время они рассматривались преимущественно как отражение определенных этапов создания целого — произведения, текста. Так называемые «своды вариантов», приводимые в научных изданиях, «спроецированы» на завершенный, или окончательный, текст. Завершенность означает, в сущности, самую позднюю версию текста. Но очевидно, что текстология давно изучает не только тексты. Не все в рукописном наследии может быть признано текстом, обладающим свойствами явной связности и цельности — хотя бы относительной, не говоря уже о завершенности. Есть наброски и фрагментарные записи, не соотносимые с другими известными текстами автора.

Фронтальное включение разнородных записей в корпус академических изданий, строго говоря, требует или объявить любую последовательность слов текстом, или признать, что «полные собрания сочинений» академического типа являются, в сущности, «полными собраниями текстов (т. е. произведений и писем) и записей». Аббревиатурным обозначением академического издания стало бы ПСТЗ вместо традиционных ПСС и ПССП.

Последовательное изучение и издание писательских рукописей поставили в качестве специальной задачи анализ динамики творческого процесса как особого феномена, обладающего самостоятельной ценностью. В работах французских исследователей начала 70-х годов прошлого века состоялся переход от «критики текста» к так называемой «генетической критике», ставшей особой областью изучения литературного творчества.

Как правило, развитие конкретной области знания является не только имманентной эволюцией, но и обусловлено эпистемологически, <sup>6</sup> зависит от существующей в обществе на определенной стадии системы знаний и представлений. Задачи,

<sup>3</sup> Гришунин А. Л. Текстология // Краткая литературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7. Стлб. 453.

<sup>4</sup> Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. С. 35.

<sup>5</sup> Там же. С. 66.

<sup>6</sup> Термин «эпистема» в данном случае употреблен в соответствии с концепцией «археологии знания» М. Фуко.

которые ставит перед собой текстолог, в значительной степени социально обусловлены. Он испытывает воздействие со стороны господствующих в обществе представлений и художественных вкусов.

На одном этапе развития общества главной ценностью признается конкретный результат определенного процесса. Истина представляется вполне достижимой и конкретной. Общество стремится к долгожданному обретению окончательных, несомненных ценностей. Важнейшим критерием художественности признается прогрессивность идеалов и художественных исканий автора. Такое состояние общества побуждает текстолога к установлению наиболее точного, так называемого «дефинитивного», «окончательного», наиболее «правильного» текста. Редакции, предшествовавшие окончательной, представляются преимущественно в виде системы вариантов, тесно соотнесенной с окончательным текстом. Текстолог берет на себя всю полноту ответственности за представляемый читателям текст и немногословен в объяснениях по поводу принятых решений.

На другом этапе развития общества, в другом его состоянии преобладает убеждение в относительности и неполноте любых истин. Важнейшим критерием художественности оказывается многозначность. Основным путем постижения истины видится обретение полноты информации. Когнитивные возможности человека представляются не менее существенными, чем конкретные результаты духовной деятельности мыслителя и художника, оказывающиеся лишь ее этапами. В таком обществе, не боящемся сомневаться и рефлексировать, появляется потребность в подробных описаниях творческого процесса и особенностей документальных источников. Текстологи осваивают «динамические транскрипции», эдиционная практика все чаще обращается к факсимильным воспроизведениям.

Важнейшими тенденциями, влияющими на изучение художественного текста, в последней трети XX века стали, во-первых, представление о многозначности как критерии художественности и, во-вторых, стремление к максимальной полноте и достоверности информации.

Поначалу доступная история произведения изучалась как постепенное восхождение художника к вершине совершенного воплощения замысла. Затем осмысление произведения с точки зрения содержащейся в нем информации привело к восприятию промежуточных редакций и вариантов как возможностей, находившихся в поле зрения художника и им затем отвергнутых. Но отказ от использования конкретного приема, сюжетного хода, детали может рассматриваться, в свою очередь, аналитиком как *значимое отсутствие*. На этом соображении в значительной степени основывается так называемая генетическая критика, сформировавшаяся во французском литературоведении. Давно изучавшаяся филологами (и особенно советскими, сделавшими очерк творческой истории обязательным компонентом академического комментированного издания) творческая история конкретных произведений, отраженная в авторских рукописях, начала восприниматься «критиками-генетиками» как постижение «глубинного смысла текста», который «обнаруживается в самом процессе его возникновения, „в бесконечном количестве возможных изменений”, а вовсе не в конечном результате», как пишет Луи Э (Louis Hay), развивающий идеи Ролана Барта, Жака Пети и Юлии Кристевой.<sup>7</sup> Необходимо отметить, что возможности полномасштабного «генетического» дискурса ограничены по меньшей мере двумя существенными обстоятельствами. Во-первых, необходимо наличие рукописей, отражающих достаточно полно различные этапы работы над произведением. Во-вторых, поскольку рукописи, даже хорошо сохранившиеся, не могут дать исчерпывающего представления о процессах, происходящих в сознании художника (многое просто не отражается на бумаге), реконструкция истории создания произведения носит в значительной степени гипоте-

<sup>7</sup> Э Луи. Текста не существует // Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. С. 119.

тический характер, является вероятностным построением.<sup>8</sup> Если «критика текста», лежащая в основе текстологии, стремится к однозначной определенности результата (получение идентичного текста, максимально очищенного от искажений и учитывающего позднейшие авторские поправки), то «генетическая критика» довольствуется гипотетическими построениями, интерпретацией рукописных материалов. В то же время практика «генетических изданий» тяготеет к максимальной объективности и полноте.

Объектом «генетической критики» является не столько текст, сколько психология творческого процесса, нашедшая отражение в рукописях. Традиционная филология и следовавший за ней в ряде аспектов структурализм исходили из целостности заверщенного текста, смысл которого выявляется при изучении его внутренней структуры, с одной стороны, и межтекстовых (интертекстуальных) связей — с другой. «Генетическая критика» предприняла попытку осмысления диахронических связей внутри самого текста, полагая, что позднейшее может быть обусловлено предшествующим и включать его в себя в «снятом» виде.

Казалось бы, для традиционной текстологии, решающей прагматические, конкретные задачи, опыт «генетической критики» представляет частный интерес — как опыт анализа тех материалов, которые еще по тем или иным причинам не подверглись фронтальному текстологическому изучению. Однако «генетическая критика», зародившаяся в начале 1970-х годов, в поисках адекватных форм представления результатов своих изысканий, воспользовалась достижениями компьютерных технологий, реализовавших идею гипертекста — сведения разнородной информации в сеть узлов, связанных системой логически упорядоченных отсылок, позволяющей пользователю обращаться к конкретным материалам (документам) в соответствии с собственными потребностями. В отличие от традиционных академических изданий, генетические электронные издания компактны и многомерны: «Они позволяют выйти за пределы линейной схемы „текст + варианты + комментарии” и совместить эти и многие другие материалы в компьютерном пространстве и времени <...> Порядок указателей тоже вариативен и зависит от воли пользователя. Можно структурировать материал по времени (например, по хронологии создания вещи) или тематически, по мотивам, в принципе любой запрос — потенциальный повод для введения нового кода».<sup>9</sup> Разумеется, для «генетической критики» принцип гипертекста служит прежде всего установлению интерактивных связей между автором и читателем, однако для традиционной академической текстологии замена бумажного носителя информации на электронный означает возможность почти безграничного представления в рамках издания источников текста — от рукописных до печатных. Особый интерес «генетической критики» к промежуточным стадиям работы художника, «реабилитация» незавершенного, поиски новых форм отражения работы автора над текстом способны побудить текстологов к более широкой демонстрации тех материалов, которые лежат в основе их работы.

Выдвигая и решая задачи прикладные, текстология необходимо приходит к когнитивным, изучению мыслительного, творческого процесса.

<sup>8</sup> Ср.: «Письменный документ есть всего лишь ряд мимолетностей внутри ментального процесса, главное в котором по-прежнему ускользает от нас» (*Лебрав Жан-Луи. Гипертексты — Память — Письмо // Генетическая критика во Франции. С. 273*); «Сколько бы мы ни мечтали о всеобъемлющем исследовании, сколько бы мы ни стремились отыскать истоки, самый полный набор рукописей — не что иное, как видимая часть в тысячу раз более сложного когнитивного процесса: подлинный же исток, зарождение замысла в уме творца, остается нам недоступным» (*Грезийон Альмут. Что такое генетическая критика? // Там же. С. 50*).

<sup>9</sup> *Вайнштейн О.Б. Удовольствие от гипертекста (Генетическая критика во Франции) // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 386.* Жан-Луи Лебрав определяет гипертекст как «динамическую сеть, снабженную следующими качествами: не-линейность, не-иерархичность, гранулярность, взаимосвязанность, вариативность» (*Лебрав Жан-Луи. Гипертексты — Память — Письмо. С. 260*).

\* \* \*

Как уже отмечалось выше, важнейшей общественной потребностью является доступ к полной и достоверной информации. Источники текстов, публикуемых в академических собраниях сочинений, — рукописи и прижизненные издания — малодоступны читателям. Последние должны всецело полагаться на компетентность ученых-текстологов. Те же, у кого появится желание перепроверить или уточнить предлагаемые решения, будут пытаться найти доступ к документальным бумажным источникам, которые, несмотря на заботы архивохраниелей и библиотекарей, постепенно изнашиваются и ветшают. Возникает необходимость в копиях-посредниках, которые предлагаются пользователям в читальных залах (микрофильмы, микрофиши, фотокопии и т. п.). Электронные цифровые копии могут стать радикальным решением многих проблем доступа к информации. Еще одним позитивным следствием систематической работы по электронному копированию станет уменьшение физического износа рукописей и книг. В случае утраты оригинала удастся сохранить значительную часть содержащейся в нем информации. Так прежде публиковавшиеся факсимильные изображения страниц рукописей на вкладышах позднее, после утраты автографов, приобретали статус источников текста.

В ряде изданий, помимо традиционных иллюстраций, воспроизводящих фотографии страниц рукописей и прижизненных изданий, стали появляться специальные разделы «Фотокопии автографов», как например в новом собрании сочинений Е. А. Боратынского.<sup>10</sup> Полное репринтное воспроизведение публикации 1831 года «Повестей Белкина» открывает осуществленное ИМЛИ РАН издание пушкинского беллетристического цикла, содержащее, кроме того, и современную (т. е. приведенную в соответствие с современными нормами правописания) версию текста, и обширный историко-литературный комментарий.<sup>11</sup> В начатом 12-томном собрании сочинений Блока даются воспроизведения прижизненных поэтических сборников поэта.<sup>12</sup> Факсимильное воспроизведение «Капитанской дочки» по изданию 1837 года включено в состав книги А. Г. Битова «Предположение жить», посвященной последнему году жизни Пушкина.<sup>13</sup> Репринтным способом воспроизводятся прижизненные издания текстов, вошедших в академические, тщательно выверенные «Полные собрания сочинений». Например, относительно недавние репринтные издания «Евгения Онегина» и «Стихотворений» Лермонтова.<sup>14</sup> В качестве приложения к «Библиографии Федора Сологуба», подготовленной Т. В. Мисникевич, публикуются фототипические воспроизведения двух рукописных поэтических сборников Сологуба 1920 года — «Одна любовь» и «Стихи о милой жизни».<sup>15</sup> Отмечу

<sup>10</sup> См.: *Боратынский Е. А.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. Ч. 1. Стихотворения 1823—1834 гг. М., 2002. С. 323—406. Аналогичные подборки фотокопий имеются и в первом томе (М., 2002. С. 278—308), но там они еще не имеют статуса особого раздела.

<sup>11</sup> *Пушкин А. С.* Повести Белкина. М., 1999.

<sup>12</sup> См.: *Блок Александр.* Собр. соч.: В 12 т. / Сост., общая ред., предисл., коммент. С. С. Лесневского. М., 1995. Т. 1. В начале книги дается репринтное воспроизведение первого блоковского поэтического сборника «Стихи о Прекрасной Даме» (1905). В состав первой части второго тома, представляющего собой «книгу-альбом» (М., 1997), вошли репринтные воспроизведения сборников «Нечаянная радость» (1906) и «Земля в снегу» (1908). Предполагается, что вторую часть тома составит «книга вторая» «Стихотворений» Александра Блока «в ее каноническом составе».

<sup>13</sup> *Предположение жить. 1836* / Сост. Андрей Битов. М., 1999. С. 523—759. Воспроизводится издание: Романы и повести Александра Пушкина. СПб., 1837. Ч. 1.

<sup>14</sup> *Пушкин А. С.* Евгений Онегин. Роман в стихах / Послел. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович [Факс. воспроизв. текстов первых изданий глав романа: СПб.; М., 1825—1832]. Горький, 1989; Евгений Онегин. Роман в стихах. Соч. А. Пушкина. 3-е изд. [Факс. воспроизв. изд. 1837 г.]. М., 1993; Стихотворения М. Лермонтова [Факс. воспроизв. изд. 1840 г.] / Статья и примеч. И. Чистовой. Горький, 1984.

<sup>15</sup> См.: *Библиография Федора Сологуба. Стихотворения* / Сост. Т. В. Мисникевич; под ред. М. М. Павловой. Томск; М.: Водолей — Publishers, 2004. С. 235—279.



попутно, что обширный раздел «Приложения» академической «Летописи жизни и творчества С. А. Есенина» включает в себя, помимо традиционной иконографии, ряд хорошо читающихся фотокопий документов, часть которых приводится в издании только в этом разделе.<sup>16</sup>

Ставится под сомнение правомерность модернизации правописания классиков русской литературы XIX—начала XX века в соответствии с реформой 1917—1918 годов. Так, после академического тридцатитомного издания Достоевского начато новое, основная задача которого — максимально точно воспроизвести дореформенную орфографию и особенности пунктуации писателя.<sup>17</sup> Новое издание Е. А. Боратынского также дает тексты «с сохранением орфографии и пунктуации источников». <sup>18</sup> Прецеденты публикации в советский период текстов классиков по старой орфографии редки. Наиболее известные — это подготовленное Б. Л. Модзалевским и Л. Б. Модзалевским издание писем Пушкина<sup>19</sup> и выпущенные до Великой Отечественной войны тома дневников и писем Л. Н. Толстого.<sup>20</sup> Издания, в которых современный наборщик во многом механически воспроизводит дореволюционные написания, в ряде случаев уже подправленные в соответствии с нормами «гротовской» орфографии также современным текстологом, по-видимому, чреваты многими искажениями — они способны вызвать еще большее недоверие читателей и побудить их обратиться к подлиннику, источнику текста.

Издание автографа, особенно чернового, сопряжено со многими затруднениями. Текстолог вынужден искать, с одной стороны, вербальную форму его характеристики (палеографические особенности, последовательность заполнения, выделение слоев правки и т. п.), с другой же — изощряться в поисках наиболее адекватной формы представления (обозначение зачеркиваний и поправок по ходу письма и позднейших исправлений, разграничение редакций и т. д.). В настоящее время весьма обширный арсенал выделительных средств предоставляет компьютерный набор. Осуществленное в ИРЛИ научное издание повести А. П. Платонова «Котлован», близкое по своему характеру к генетическим изданиям, в качестве основной задачи выдвинуло «выявление динамики замысла, где становятся одинаково значимыми все слои правки и все варианты (в том числе и нереализованные или исключаяющие друг друга)». Выполненная И. И. Долговым «динамическая транскрипция» рукописи «Котлована» потребовала разработки условных графических обозна-

<sup>16</sup> См.: Летопись жизни и творчества С. А. Есенина / Под ред. Ю. Л. Прокушева. М., 2003. Т. 1. 1895—1916.

<sup>17</sup> В патетическом звучащем предисловии к 1-му тому издания — «Подлинный Достоевский» — В. Н. Захаров писал: «До 1917 года русская орфография хранила православный дух русского языка. Да, собственно, русский литературный язык и был православным». Далее утверждается, что созданные советскими литературоведами Полные собрания сочинений Пушкина, Гоголя, Достоевского «сегодня (...) не авторитетны (...) в авторскую орфографию была внесена политическая конъюнктурная правка, которая искажает смысл и дух творчества не только этих, но и всех русских писателей». По мнению Захарова, «реформа, начатая в 1917 году Временным правительством и завершенная большевиками», внесла «в грамматическую реформу политическую цель: уничтожение того, что составляло животворящую основу русского языка, — его православный дух». Кроме того, отмечается, что «для Достоевского пунктуация была ийгонационной и интуитивной (...) Читать тексты Достоевского по знакам его пунктуации — все равно что по нотам читать партитуру композитора» (см.: Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского: Издание в авторской орфографии и пунктуации под редакцией профессора В. Н. Захарова. Канонические тексты. Петрозаводск, 1995. Т. 1. С. 5—10). С 1995 по 2000 год выпущено четыре тома. Отмечу, что все тексты в основном корпусе набирались современными операторами в соответствии с прижизненными изданиями, что явно доставило составителям, непривычным к старой орфографии, немало затруднений. Так, на контртитule 1-го тома значится: «орфография», во 2-м томе, вышедшем через год, первое «ф» («ферт») уже заменено на «ф» («фиту»): «орфография».

<sup>18</sup> См.: Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 10.

<sup>19</sup> Пушкин. Письма. Т. 1—3. М.; Л., 1926—1935.

<sup>20</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 46 (М., 1934), 47 (М., 1937), 55 (М., 1937), 58 (М., 1934), 59 (М., 1935), 83 (М., 1938), 85 (М., 1935).

чений для неправленного, зачеркнутого, вставленного или вычеркнутого текста того или иного слоя правки, описок, вставок текста на отдельных листах, маргиналий и т. п. В качестве иллюстративного и в какой-то мере подкрепляющего построения текстолога материала дается подбор фотокопий отдельных листов рукописи (всего 16 страниц).<sup>21</sup>

Сопоставление с факсимильным (фототипическим) изображением показывает в ряде случаев, что издание рукописи обедняет или искажает содержащуюся в ней информацию. В качестве примера приведу первую публикацию не самого сложного для прочтения «замысла» Достоевского, напечатанного под условным названием «Ростовщик» в академическом собрании сочинений.<sup>22</sup> Случай этот показателен в том отношении, что текст записи опубликован по соседству с фотографией соответствующей страницы рукописи.<sup>23</sup> Группа записей озаглавлена публикатором как «Ростовщик», хотя этого заглавия в автографе нет. Первая строка записей, вначале располагавшихся столбцом, выглядит как «— Ростовщик». В издании в качестве следующей по времени записи дается: «Два дурака (взаимно застрелиться)», хотя в автографе следующая строка в том же столбце: «— Negro (артист)», а «— Два дурака...» — первая (и единственная) строка второго (правого) столбца, по-видимому, начатого позднее. При воспроизведении второго наброска, состоящего из нескольких предложений, опущено обозначение в виде тире с точкой («— . —»), обычно являющееся аналогом красной строки при желании пишущего сэкономить бумагу. Крупный знак («nota bene»), стоящий слева от второго наброска, придает ему некоторый особый статус и является, очевидно, более поздним, что незаметно в публикации. (Ранее, кстати, этот автограф, распадающийся на две группы набросков, воспринимался публикаторами и археографами как две разновременные записи.<sup>24</sup>) Возможно, второй (текстовый) набросок более поздний, а первый (строки, расположенные столбцом) более ранний. В этом случае появление правого столбца вызвано недостатком места в верхней части листа. Таким образом, публикация небольшого (всего 17 строк) и в основном разборчивого автографа при сопоставлении с подлинником оказывается не вполне адекватной. Составители академического издания Достоевского отказались от транскрипции записных тетрадей, извлекая из них группы записей, относящихся к конкретным произведениям или замыслам. Поэтому всыскательному читателю приходится обращаться или к другим изданиям, или опять-таки к рукописям.

Наконец, есть немало случаев, когда запись оказывается неразборчивой и вследствие этого вынужденно опускается в издании, претендующем на академическую полноту. Возможно, считают публикаторы, позднее другим исследователям удастся проникнуть в смысл написанного. Так, в преамбуле к новому собранию сочинений В. Хлебникова сообщается, что в него не вошло «довольно значительное число текстов из черновых рукописей, не поддающихся пока удовлетворительному чтению».<sup>25</sup> Публикаторы литературного наследия М. И. Цветаевой, по их собственному признанию, колебались в выборе оптимального решения: или отказаться пока от публикации так называемой четырнадцатой записной книжки Цветаевой 1932—1933 годов, ввиду ее неразборчивости («большинство записей — это скоропись с большим количеством сокращений: некоторые слова сокращены до одной-двух

<sup>21</sup> Платонов Андрей. Котлован: Текст, материалы творческой истории. СПб., 2000. С. 3, 165—168.

<sup>22</sup> См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 320—321.

<sup>23</sup> РГАЛИ. Ф. 212.1.5. Запись на с. 10 записной тетради Достоевского, относящаяся к февралю 1866 года.

<sup>24</sup> Ср.: Описание рукописей Ф. М. Достоевского / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957. С. 123—124.

<sup>25</sup> См.: Хлебников Велимир. Собр. соч.: В 6 т. / Под общ. ред. Р. В. Дуганова. М., 2000. Т. 1. С. 445.

букв. Карандашные записи полустерты и с трудом поддаются прочтению (...). Слишком отрывочные контексты некоторых записей не позволяют принять единственно правильное решение, отчего амплитуда расшифровок некоторых сокращений колебалась от 5 до 14 (!) возможных вариантов», или включить в том «факсимильное воспроизведение записной книжки № 14 без всякого текстологического вмешательства со стороны», подобно тому как было осуществлено многотомное издание записей («Cahiers») Поля Валери. В данном случае текстологи пошли более традиционным путем, решив «осуществить первый опыт прочтения, расшифровки и переводов этих записей», и отказались от факсимильного воспроизведения, которое, по их мнению, оказалось бы малополезным для читателя.<sup>26</sup> Аналогичные примеры можно привести и применительно к наследию других авторов. Текстолог может опубликовать запись, смысл которой для него неясен, но ему трудно сделать этот шаг, если текст неразборчив. Публикация хорошего факсимиле могла бы подключить к «расшифровке» новых исследователей из числа читателей издания. Однако в какой степени фотография способна заменить рукопись? Исследователи, имеющие опыт работы с фотокопиями и микрофильмами, предпочитают обращение к подлинной рукописи, сохранностью которой между тем постоянно озабочены хранители, стремящиеся по возможности ограничить доступ к подлинникам.<sup>27</sup>

В настоящее время появилась техническая возможность получения электронных копий, способных предоставить информацию значительно большего объема, чем фотокопии.

\* \* \*

Современные технологии обеспечивают быстрый ввод больших объемов информации и компактное ее хранение. Емкость накопителей электронной информации стремительно растет. Обычные широко распространенные компакт-диски CD-ROM могут содержать около 700 мегабайт. DVD-диски, находящиеся в массовом производстве, рассчитаны на емкость до 4.7 гигабайт. Новейшие конструкции DVD-дисков позволяют увеличить информационную емкость еще в несколько раз: двухслойный односторонний диск (информация записывается на каждом слое) — 8.5 гигабайт, двусторонний однослойный диск — 4.9 гигабайт, двусторонний четырехслойный диск — около 17 гигабайт.<sup>28</sup> Самый приближенный подсчет дает следующие результаты. Если определить площадь сканирования равной стандартному формату А4 (210×296 мм), принять в качестве основного режима сканирования разрешение в диапазоне от 150 до 200 dpi для цветного изображения (достаточное для последующего просмотра на экране монитора, хотя и недостаточное для подготовки «бумажного» издания), а графическим форматом определить растровый GIF (Grafic Interchange Format), то объем файла, содержащего изображение одной страницы, после применения алгоритма сжатия усредненно можно принять за 0.5 мегабайта, т. е. на одном стандартном компакт-диске может уместиться около тысячи страниц рукописей, на стандартном DVD-диске 6—8 тысяч страниц. (При этом если площадь автографа более А4, объем файла, естественно, возрастает, если менее А4 — соответственно уменьшается.) Двусторонние и двухслойные системы записи, кото-

<sup>26</sup> Цветаева Марина. Неизданное: Записные книжки: В 2 т. / Подг. текста и примеч. Е. Б. Жоркиной и М. Г. Крутиковой. М., 2002. Т. 2. С. 453.

<sup>27</sup> Особое место занимает фототипическое издание: А. С. Пушкин. Рабочие тетради. СПб.; Лондон, 1995—1997. Т. I—VIII. В некотором отношении эти альбомы дают более отчетливое по сравнению с оригиналами изображение благодаря тщательному подбору режима съемки и последующей работе графических корректоров.

<sup>28</sup> См.: Вуль В. А. Электронные издания. СПб., 2003. С. 228—231.

рые в ближайшее время появятся в массовом производстве и на рынке, обеспечат еще большую плотность записи.

Существенным преимуществом графического файла перед фотокопией (в том числе и цветной высокого качества) является возможность масштабирования (укрупнения или уменьшения) изображения при просмотре его на дисплее, простота получения изображения для оператора, имеющего возможность гибкого выбора режимов сканирования и сохранения файлов в зависимости от особенностей оригинала. Создание гипертекстовых электронных публикаций, позволяющих быстро переходить от одной части документа к другой, от одного документа к другому (текстовому или графическому), в настоящее время доступно широкому кругу пользователей компьютеров и может осуществляться в распространенных редакторах Microsoft Word (формат HTML — Hyper Text Markup Language) и Acrobat Reader (формат PDF — Portable Document Format). Наконец, в факсимильную часть издания могут быть включены снимки особо трудных для прочтения автографов, сфотографированных в специальной лаборатории в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, позволяющих выявить угасший текст или же слои правки. (Попутно отмечу, что современные промышленные сканеры — например, выпускаемые фирмой Fujitsu — имеют специальную опцию выявления стершегося карандашного текста.)

Электронный вариант академического собрания сочинений может строиться в соответствии со следующими принципами:

1. Базовым является текст издания, подготовленного для распространения на бумажных носителях (в традиционной книжной форме, желательно формата 22 сантиметра, в качестве примера которого можно указать новые академические собрания сочинений Л. Н. Толстого и А. А. Блока). Он включает в себя так называемый основной (дефинитивный) текст (который может выступать в виде отдельных редакций), свод разночтений-вариантов, подробный текстологический комментарий, дающий наряду с прочими сведениями палеографическое описание документа, историко-литературный комментарий и, наконец, систему указателей.

2. Электронный вариант включает в себя книжный, преобразованный в соответствующий формат (PDF или HTML), дополненный библиотекой графических изображений источников текста — рукописей и прижизненных изданий.

3. Все документы комплекса связаны гиперссылками, позволяющими быстро переходить к изображениям того или иного источника и соответствующим местам комментария, появляющимся в отдельных «окнах» (Windows). Пользователю, таким образом, оказывается доступна значительная часть информации, лежащая в основе проделанной текстологом работы, что позволяет не только оценить ее корректность, но и в некоторых случаях прийти к иным, новым заключениям.

Поскольку основные источники (рукописные и печатные) оказываются легкодоступными, можно, по-видимому, ограничиться традиционными способами представления текстов, допускающими их оформление в соответствии с современными нормами правописания: опускаются формально-грамматические черты оформления текстов, обусловленные прежним узусом, и сохраняются индивидуальные особенности написания. Читатель может, если пожелает, благодаря гиперссылкам, обратиться к соответствующему фрагменту источника текста. Таким образом, отпадает необходимость в *специальных* вариантах научно-массовых изданий (так называемых «малых академических») с дополнительно «осовремененным» правописанием. Впрочем, в некоторых случаях целесообразны уже осуществляемые понемногу включения факсимильных разделов в книжные публикации, о чем упоминалось выше. Теоретически говоря, возможен еще один вариант организации материала в книжном варианте: параллельное расположение подготовленного текстологом (так называемого «дефинитивного») текста и факсимильного воспроизведения соответствующих частей основного источника. Это наиболее удобно в том случае, когда известен лишь один основной источник и текст невелик по объему. Нельзя не прини-

мать во внимание того обстоятельства, что факсимиле усложняет работу полиграфистов, требует дополнительного расхода бумаги и в конечном счете значительно удорожает издание.

Предлагаемая форма организации материала представляет собой синтез двух типов издания: *телеологического* (дающего «наглядную картину рождения текста на любом его отрезке») и *дипломатического* («публикация всех транскрибированных листов рукописи», сопровождаемая полным факсимильным их воспроизведением).<sup>29</sup>

Электронная версия академического издания может быть в полном объеме подготовлена самими текстологами, имеющими некоторый опыт работы с компьютером, и не нуждается в посреднических услугах полиграфистов.

Такого рода издание (книжный вариант, сопровождаемый электронным) в некоторой степени облегчает бремя ответственности, обычно тяготеющее над текстологом, вынужденным предпочитать тот или иной вариант текста, памятуя о том, что его собственный выбор должен в то же время в наибольшей степени соответствовать авторскому замыслу. Текстолог, получивший возможность широкого представления источников текста в электронной форме академического издания, существенно меняет свой статус. Он оказывается не столько непрошеным адаптатором и толкователем написанного автором, сколько собирателем его творческого наследия и связанных с ним документов. Поскольку пользователю предоставлена возможность немедленного ознакомления с источниками, исследователь-публикатор получает право на гипотезу и в то же время освобождается от риска прослыть фальсификатором.

\* \* \*

Установление последовательности авторских записей в процессе создания поэтического текста, важнейшей особенностью которого является, с одной стороны, относительная целостность минимальных композиционных единиц — стихов, а с другой — их тесная взаимосвязь в составе произведения (и смысловая, и ритмическая, и фоническая), представляет особую сложность для исследователя. Исправление в начале текста может относиться как к началу работы, так и к значительно более позднему периоду: оно может быть обусловлено авторской работой над серединой или концом произведения.

Одна из сложнейших проблем текстологии — публикация набросков неосуществленных замыслов. Так называемые «транскрипции» передают отраженный в записи ход творческого процесса, который может оказаться и незавершенным, прерванным в силу собственно творческих или каких-либо внешних обстоятельств. У исследователя практически неизбежно возникает искушение выстроить на основе чернового наброска связный текст, имеющий художественное значение (эстетический подход).<sup>30</sup> Так, например, С. М. Бонди впервые представил в качестве связного шестистрочного текста назавершенный поэтический набросок Пушкина «Я возмужал [среди] печальных бурь...».<sup>31</sup> Знакомство с единственным автографом в пушкинской рабочей тетради ПД 846 (с. 23) показывает, что исследователь *выстроил* текст *на основе* пушкинской рукописи, объединяя записи верхнего слоя интенсивно

<sup>29</sup> Ср.: *Биази Пьер Марк де*. К науке о литературе // Генетическая критика во Франции. С. 84.

<sup>30</sup> С. М. Бонди видел главную задачу текстолога-пушкиниста в том, чтобы «дать» в издании «такой текст, который должен быть максимально соответствующим подлинным творческим намерениям Пушкина, с одной стороны, и историко-литературному значению данного произведения — с другой» (см.: *Бонди С.* Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. М., 1971. С. 75).

<sup>31</sup> См.: *Бонди С. М.* Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 30—33.

правившегося черновика с зачеркнутыми фрагментами, беря, правда, зачеркнутое (в соответствии с академической традицией) в квадратные скобки. Но все последующие (массовые) перепечатки этого текста, восходящие к академическому изданию, уже, естественно, не отмечают никаких зачеркиваний, и текст приобретает статус неоконченного пушкинского произведения. Значение его представляется тем большим, что в 1834 году, которым может быть датирована запись, Пушкиным было создано очень мало лирических произведений. Таких примеров придания относительной целостности пушкинским наброскам можно привести много.

Принятая в новейшем двадцатитомном академическом издании Пушкина система подачи вариантов учитывает фактическую невозможность адекватного воспроизведения всего творческого процесса в его полноте и признает вынужденную упрощенность предлагаемого описания: «...когда нельзя с уверенностью выделить связанную правку соседних стихов (а удаленных тем более. — А.Б.), варианты для каждого стиха расписываются отдельно, так, как если бы работа над текстом продвигалась постишно». Редакция заявляет вместе с тем о своем принципиальном отказе от гипотетических реконструкций — таких как «сводки последнего слоя чернового автографа», широко применявшиеся в предшествующем шестнадцатитомном академическом издании, так как «любая неавторская сводка чернового автографа является редакторским конструктором, дающим весьма гипотетическое представление о процессе создания стихотворения», а работа самого поэта над текстом могла складываться так, что «в окончательный текст стихотворений зачастую попадают самые ранние зачеркнутые пробы».<sup>32</sup>

По-видимому, стоит задуматься о статусе предпринимаемых текстологом (специалистом, изучающим текст) гипотетических реконструкций одного из этапов создания текста, когда исследователь, прибегая к конъектурам, представляющимся ему необходимыми, выстраивает на основе «сводки» (текста, на котором автор «остановился в данном черновике»<sup>33</sup>) некоторое подобие незавершенного произведения. Поскольку осмысление рукописи неизбежно ведет к гипотетическим построениям той или иной степени достоверности, представляется возможным включать их в академическое издание, но, разумеется, не в раздел «Другие редакции и варианты», а в состав текстологического комментария, в качестве одного из его аспектов (возможного, но не обязательного).

Тексты и сопровождающие их пояснения в академическом издании представляется целесообразным размещать следующим образом: 1) основной текст (полностью или частично заверченный) и его редакции; 2) свод вариантов; 3) подробное описание последовательности записей, включающее палеографические характеристики (материалы письма, характер почерка); 4) гипотетическая реконструкция, если автор комментария считает нужным к ней прибегнуть, тесно связанная в электронном варианте с факсимильными воспроизведениями автографов.

Отмечу попутно, что оплошность, допущенную в процессе подготовки текста, в электронном издании становится значительно легче выявить и исправить. Читатель уже не будет обречен на продолжительное (в течение нескольких десятилетий) пользование не вполне исправным текстом: возможно оперативное переиздание исправленных и усовершенствованных вариантов издания в качестве новых его версий, подобно тому как обновляются компьютерные программные продукты.

Стоит обратить внимание и на такой важный аспект эдиционной практики, как последовательность расположения текстов в собраниях сочинений. Особенно это существенно применительно к небольшим произведениям — прежде всего стихотворениям. Авторская компоновка прижизненных сборников произведений многое дает для выявления синтагматических художественных связей. Необходимость

<sup>32</sup> См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 126—127.

<sup>33</sup> См.: *Бонди С.* Черновики Пушкина. С. 169.

обращения к авторским сборникам нашла, в частности, отражение в ряде изданий, вышедших в академической серии «Литературные памятники». <sup>34</sup> Одно из важных направлений изучения поэтического творчества — реконструкция и издание скопированных автором, но не вышедших в свет сборников. <sup>35</sup> В собраниях сочинений в качестве специального приложения целесообразно давать росписи тех собраний произведений, которые готовились при участии автора или использовались им в дальнейшем в качестве основы для новых изданий. <sup>36</sup> В настоящее время определилась тенденция объединять в собраниях сочинений разнообразную вспомогательную информацию биографического характера. Предполагается, в частности, в последние тома новых «Полных собраний сочинений» Боратынского и Гоголя включить «Летописи жизни и творчества» писателей, все чаще говорится о необходимости публиковать двустороннюю переписку в полном объеме, не ограничиваясь извлечениями в комментариях.

Широкое представление источников в академических изданиях, отвечающее важнейшей потребности современного общества в полной и достоверной информации, приведет, по-видимому, к некоторой «демистификации» работы литературоведов. Развитие знания закономерно приводит к осознанию ограниченности любых познавательных моделей и недоверию к окончательным выводам самых влиятельных авторитетов. Опыт постструктурализма в критике и постмодернизма в искусстве, представлявшийся поначалу преимущественно деконструктивным, явился побудительным стимулом для новых исследований. В основе процесса познания лежит сомнение. Основанные на документальных источниках построения исследователей подлежат критическому осмыслению и требуют все новых обращений к документам, содержащим в себе значительное количество ранее не выявленной, не учтенной, не осмысленной информации. Разработка новых форм представления документальных материалов в академических изданиях закономерна и актуальна.

Происходящие в общественном сознании изменения влияют на формы дискурса, изложения фактов, представления документов. Господствовавшая ранее тенденция к выработке оптимальной концепции, ее предпочтение другим как наиболее близкой к истине (или же провозглашаемой истинной) уступают место иной тенденции — признания ценности самого познавательного процесса, а не только его конечного результата.

Первоочередное требование «выработки» текстологией так называемого *дефинитивного* (т. е. окончательного, наиболее исправного, в наибольшей степени отве-

<sup>34</sup> Например, издания, посвященные XIX веку: *Некрасов Н. А. Последние песни* / Изд. подг. Г. В. Краснов. М., 1974; *Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе* / Изд. подг. И. М. Семенов. М., 1977; *Фет А. А. Вечерние огни. 2-е изд.* / Изд. подг. Д. Д. Благой, М. А. Соколова. М., 1981; *Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы* / Изд. подг. Л. Г. Фризман. М., 1982 (воспроизведены композиции сборников «Стихотворения Евгения Баратынского» — 1835 и «Сумерки» — 1842); *Некрасов Н. А. Стихотворения. 1856* / Изд. подг. И. М. Подольская. М., 1987; *Стихотворения Александра Пушкина* / Изд. подг. Л. С. Сидяков. М., 1997 (воспроизведены композиции сборников 1829, 1832 и 1835 годов).

<sup>35</sup> Например: *Блок А. А. Изборник* / Изд. подг. К. М. Азадовский, Н. В. Котрелев. М., 1989 («Литературные памятники». Воспроизведен сборник избранных стихотворений, подготовленный в 1918 году для издательства М. В. Сабашникова); *Гумилев Николай. Carmina ab auctore selecta* / Подг. текста и послесл. М. Д. Эльзона. СПб., 1994 (реконструкция авторской антологии 1919—1920 годов); *Белый Андрей. Собрание стихотворений. 1914* / Изд. подг. А. В. Лавров. М., 1997 («Литературные памятники». Воспроизведено авторское собрание стихотворений, подготовленное в 1914 году для издательства «Сирин»).

<sup>36</sup> Компонировки авторских сборников легли в основу композиции первого тома нового собрания сочинений А. А. Фета: «Весь материал лирики Фета публикуется по прижизненным сборникам, подготовленным самим автором или при его ближайшем участии (...) Стихи, включавшиеся автором в несколько сборников, приводятся только в составе сборника, где они появились впервые, в последующих сборниках указывается только место, в котором это стихотворение было напечатано» (*Фет А. А. Соч. и письма*. СПб., 2002. [Т. 1]. Стихотворения и поэмы. 1839—1863. С. 416).

чающего «авторской воле») текста корректируется требованием представить текст не только выправленным, но и тесно связанным с отразившимися в нем многообразными, противоречивыми сторонами действительности. Все более осознается недостаточность привычной презумпции целостности, непротиворечивости текста. Так называемая «авторская воля», воспринимавшаяся, в сущности, как правовое понятие, предстает в ином качестве — как творческий, мыслительный процесс, отраженный в рукописи и в тексте.

Некоторые текстологические решения, внешне совпадающие с прежними, обретают иной смысл. Так, «сложнейшей текстологической проблемой» считается расположение при издании частей незавершенной некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо». <sup>37</sup> Помимо имеющихся авторских указаний («Пролог. Часть первая», «Из второй части...», «Из третьей части...»), художественных, эстетических и идейных моментов следует учитывать, что расположение частей в последовательности создания их автором, вступающее в некоторое противоречие с авторской нумерацией частей, семантически является более насыщенным. Создававшаяся позднее других глава поэмы «Пир на весь мир» является эмоциональной и идейной кульминацией повествования (истинно счастливым признается человек, посвятивший себя борьбе за народное счастье), однако авторское указание на то, что «Пир...» входит во вторую часть поэмы (при наличии третьей), соотносит мажорный экстатический финал:

Слышал он в груди своей силы необъятные,  
Услаждали слух его звуки благодатные,  
Звуки лучезарные гимна благородного —  
Пел он воплощение счастья народного!.. —

с предшествующим и последующим повествованием о драматизме крестьянской жизни. И этот контраст экстатического и повседневного подчеркивает невероятную сложность задачи радикального переустройства общества.

Необходимость обращения академической текстологии к форме электронных изданий, с небывалой ранее полнотой представляющей источники текста, отвечает важнейшим потребностям и техническим возможностям современности. Однако отечественным исследователям и особенно архивистам предстоит еще преодолевать сформировавшуюся в силу многочисленных причин боязливость по отношению к информационной открытости, требующей от человека мыслительной и социальной активности. Информация может оказаться противоречивой, неожиданной и даже удручающей, но «некомфортность» знания не является основанием для отказа от него: в конечном счете незнание не освобождает от ответственности. Информация в современном обществе предстает в двойственном освещении: она выступает в качестве товара на рынке услуг и в то же время является достоянием всех. Очевидно, информация, касающаяся социально-политической и культурной истории общества, должна быть максимально открытой и доступной. Наконец, воспроизведение в электронных изданиях документов, имеющих существенное культурное значение, будет способствовать сбережению и их самих как материальных объектов (рукописей, рисунков, редких печатных изданий), и той ценной информации, которая в них содержится.

<sup>37</sup> См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. V. С. 609—613.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

© *Е. В. Казарцев, М. А. Красноперова*

## ОДА Я. ШТЕЛИНА 1741 ГОДА В ПЕРЕВОДЕ М. В. ЛОМОНОСОВА (ПРОБЛЕМЫ РИТМИКИ)\*

В конце ноября—начале декабря 1741 года<sup>1</sup> М. В. Ломоносов осуществил перевод оды Я. Штелина «Всеподаннейшее поздравление для восшествия на Всероссийский престол... Елисаветы Петровны» (в дальнейшем будем условно называть эти произведения «оригинал» и «перевод»). Оба сочинения написаны 4-стопным ямбом (Я4). При рассмотрении важнейших показателей ритмического текста — статистики ритмических форм<sup>2</sup> и ударений на сильных местах (СМ) — можно заметить, что ритмика оригинала и перевода имеет определенное сходство. Прежде всего это проявляется в частотах наиболее употребительных форм: полноударной (I) и с пиррихием на третьем СМ (IV). Это приводит и к соответствию показателей ударности третьего икта (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Ритмика немецкого оригинала  
и русского перевода

Ритм. формы	Оригинал	Перевод
I	0.6250	0.6421
II	0.0729	0.0421
III	0.0833	0.1368
IV	0.1771	0.1684
VI	—	—
VII	—	0.0105
IX	0.0313	
X	0.0104	
Сумма <sup>3</sup>	1.0000	0.9999
СМ		
I	0.9271	0.9579
II	0.9063	0.8526
III	0.8229	0.8211
IV	0.9583	1.0000

\* Авторы благодарят Российский фонд фундаментальных исследований и Министерство образования РФ за финансовую поддержку настоящего исследования. Грант РФФИ № 01-06-80360, грант Минобразования № PD 02-3.17-115.

<sup>1</sup> Датировка, принятая в академическом собрании сочинений М. В. Ломоносова: в промежутке между 25 ноября и 8 декабря 1741 года (см.: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 887). Исследование оды Штелина проводилось по тексту: *Stälin J.* Allerunterthänigster Glückwunsch zum Antritt der erwünschten Regierung Ihro Majestät der Allerdurchlauchtigsten und Grossmächtigsten Kayserin Elisabeth Petrowna Beherrscherin aller Reussen am Frohen Gedächtniss-Fest der hohen Geburth Ihro Kayserl. Majest. St. Petersburg, gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften 18. December 1741.

<sup>2</sup> Ритмические формы русского и немецкого 4-стопного ямба представлены в табл. 1 Приложения.

<sup>3</sup> Значение суммы может отличаться от «единицы» на 0.0001. Это объясняется той степенью точности, с которой приводятся данные расчетов компьютерных программ: до десятичного показателя дроби.

Сходство ритмики перевода и оригинала отмечалось К. Ф. Тарановским, который полагал также, что перевод сыграл «несомненную» роль в развитии ямбического стиха Ломоносова.<sup>4</sup> Тарановский также обратил внимание на близость переводной оды и последующего сочинения Ломоносова — оды «На прибытие из Голстинии» (1742).<sup>5</sup> Описанные наблюдения служат основанием для двух предположений: 1) о зависимости ритмики русского перевода от немецкого оригинала; 2) о зависимости последующих сочинений Ломоносова от ритмики его перевода.

Известно, что в ранний период творчества, к которому относится создание перевода, Ломоносов уделял особое внимание «чистоте» ямба: «Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаясь тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают».<sup>6</sup> Одним из неотъемлемых свойств «чистого» ямбического стиха Ломоносов считает полноударность. Неполноударные стихи он называет «неправильными и вольными».<sup>7</sup> Поэтому одной из наиболее важных характеристик торжественного стиха Ломоносова данного периода следует признать соотношение полноударных и неполноударных строк.

Рассмотрим гипотезу о взаимосвязи перевода Ломоносова с оригиналом Штелина, исследуя позиционное соответствие/несоответствие этих строк в текстах. В оде Штелина всего 96 строк, 95 из них Ломоносов перевел Я4, одна строка переведена другим размером. Таким образом, для сравнения имеем 95 позиций по числу строк Я4 в русском стихе. Всего в оде Штелина наблюдается 36 неполноударных строк, в русском переводе их 34.<sup>8</sup> Остальные строки полноударны. Из всех полноударных строк позиционное соответствие обнаруживает 41 строка, из всех неполноударных строк только 16 встречаются в одних и тех же позициях в оригинале и в переводе.

<sup>4</sup> Тарановский К. Ф. Ранние русские ямбы и их немецкие образцы // XVIII век. Сб. 10. Л., 1975. С. 33. Представление о значительной роли перевода Ломоносова в истории развития русского стиха было усилено в работе М. И. Шапира. По мнению автора, при создании перевода Ломоносов «негласно пересмотрел свою теорию стиха» и «в корне изменил отношение к пиррихиям» (Шапир М. И. *Universum versus: Язык—стих—смысл в русской поэзии XVIII—XX вв.* М., 2000. С. 139). К этому его якобы побудила необходимость введения в одический лексикон нового слова — имени императрицы *Елисавета*, которое не только требовало пропуска ударения в стихе, но узаконило допустимость пиррихий в жанре торжественной оды (там же, с. 141, 144).

<sup>5</sup> Тарановский К. Ф. Указ. соч. С. 34.

<sup>6</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 15. В современном стиховедении тезис о «чистоте» ямба в основном был воспринят как указание на полноударность стиха, и понятие «чистый» ямб связывается с понятием «полноударный» ямб (Журмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха // Теория стиха. Л., 1968. С. 17; Шапир М. И. У истоков русского четырехстопного ямба: генезис и эволюция ритма (к социолингвистической характеристике стиха раннего Ломоносова) // *Philologica*. 1996. № 5—7. С. 70, 75—76). В действительности значение данного тезиса, по-видимому, шире. Говоря о «чистоте» ямба, Ломоносов, скорее всего, имеет в виду несмещение ямбической стопы (U-) с другими стопами — хореем, анапестом или пиррихией (см. «Письмо о правилах...»: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 14—15; см. также с. 788 (сноска 20)).

<sup>7</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 14.

<sup>8</sup> Из 36 неполноударных строк в немецком тексте 3 строки реализуют форму IX, с пропуском ударения на последнем CM: U-'U-'U-'U- (Da sich so viel Vollkommenheiten). В русском стихе данная форма исключена. Специальное исследование показало, что при осуществлении перевода Ломоносов мог воспринимать эту форму как неполноударную, несмотря на отсутствие ее аналога в русском стихе. Учет формы IX как полноударной (из-за того, что ее ритмическая конфигурация может быть соотнесена с формой I русского Я4) привел к противоречию: в этом случае получается, что по распределению полноударных и неполноударных строк в соответствующих текстовых позициях русский перевод не зависит от немецкого оригинала, в то время как по распределению отдельных неполноударных форм обнаруживается зависимость. Если допустить зависимость во втором случае (между показателями менее существенными для стиха Ломоносова, чем распределение полноударных и неполноударных строк), то естественно предположить ее наличие и в первом случае. Учет формы IX как неполноударной снимает указанное противоречие (см. ниже, а также: Казарцев Е. В. Ритм и язык в генезисе русской силлабо-тоники (на материале русского и немецкого стиха). Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2001. С. 194—195).

Предположим, что перевод в данном случае не зависит от немецкой оды, т. е. уровень его полноударности (метрической «чистоты») сформировался не под влиянием иностранного оригинала. Составим таблицу сопряженности признаков, вычисляя ожидаемую величину при условии независимости соответствующих показателей (табл. 2):<sup>9</sup>

Таблица 2

Ожидаемые и реальные показатели позиционных отношений полноударной и неполноударных форм

Ломоносов Штелин	Полноударность		Неполноударность	
	Ожидаемое	Реальное	Ожидаемое	Реальное
Полноударность	38.125	41	21.250	18
Неполноударность	22.875	20	12.750	16

Сравним ожидаемые и реальные величины с помощью критерия  $\chi^2$ .

Предыдущее исследование показало, что в системе отношений между текстами, сложившейся в рассматриваемый период, целесообразно принять 30%-й уровень значимости.<sup>10</sup> В данном случае отклонение оказывается значимым при более низкой ошибке, между 10 % и 20 %.<sup>11</sup> Значение  $\chi^2$  — 1.9036, критическая величина при 10 % — 2.706 (при 20 % — 1.642).

Следовательно, есть основание считать, что имеет место определенная зависимость ритмики русского перевода от иностранного оригинала. Этот вывод поддерживается также результатом сравнения двух текстов по распределению в них полноударных и неполноударных строк. Расхождение в данном случае оказывается небольшим ( $\chi^2 = 0.0602$ , т. е. отклонение было бы значимым, если допустить ошибку более 80 %),<sup>12</sup> что также укрепляет представление о связи ритмики перевода и оригинала. В целом полученные результаты склоняют к выводу о том, что использование неполноударных строк в переводе Ломоносова в заметной мере обусловлено

<sup>9</sup> Ожидаемая величина рассчитывается по формуле  $H_{ij} = N \cdot (li/N_1) \cdot (sj/N_2)$ , где  $N$  — общее число совместимых позиций,  $li$  ( $sj$ ) — количество строк в тексте Ломоносова (Штелина), содержащих данный признак ( $i, j = 1, 2$  — полноударность, неполноударность соответственно);  $N_1$  ( $N_2$ ) — общее количество строк в тексте Ломоносова (Штелина).

<sup>10</sup> Казарцев Е. В. Ритм и язык в генезисе русской силлабо-тоники... С. 197.

<sup>11</sup>  $\chi^2$  рассчитывается по формуле:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(N_{ij} - H_{ij})^2}{H_{ij}}$$

где  $N_{ij}$  — реальное количество позиционных совпадений рассматриваемых признаков в текстах Штелина и Ломоносова,  $H_{ij}$  — ожидаемое количество позиционных совпадений того же типа (см. сн. 8).

<sup>12</sup> В этом случае рассчитывался  $\chi^2$  для проверки однородности двух выборок:

$$\chi^2 = \sum \frac{(li - ni)^2}{ni} + \sum \frac{(sj - mj)^2}{mj}$$

где  $li$  — реальное количество строк, обладающих данным признаком в тексте Ломоносова ( $sj$  — в тексте Штелина),  $ni$  — количество строк, обладающих данным признаком, ожидаемое в тексте Ломоносова ( $mj$  в тексте Штелина) при условии их ритмической однородности ( $i, j = 1, 2$  — полноударность, неполноударность соответственно). Ожидаемые величины

$$ni = N_1^* (li + si) / (N_1 + N_2), \quad mj = N_2^* (lj + sj) / (N_1 + N_2),$$

где  $N_1$  ( $N_2$ ) — общее количество строк в тексте Ломоносова (Штелина).

ритмическими характеристиками иностранного оригинала, а не просто вызвано инициативой переводчика.<sup>13</sup>

Проверим гипотезу о независимости ритмики перевода и оригинала в позиционных распределениях неполноударных строк, совпадающих по типу слогуударной конфигурации. Всего в этих текстах неполноударные строки (за исключением формы IX)<sup>14</sup> встречаются в одинаковых позициях 13 раз. Из них 8 строк совпадают по типу слогуударной конфигурации: 3 строки формы III и 5 строк формы IV. Возникает вопрос: случайно ли данное распределение? Для ответа на этот вопрос вычислим ожидаемое количество совпадений при условии случайного распределения (см. табл. 3 Приложения)<sup>15</sup> и сравним его с реальным с помощью критерия хи-квадрат.<sup>16</sup>

Сравнение обнаружило значимое отклонение при малой ошибке, чуть более 5 %: величина отклонения составляет 3.307 при критическом для 5 %-го уровня значимости 3.841. Следовательно, гипотеза о независимости перевода и оригинала в данном случае отвергается. Таким образом, представленные результаты поддерживают и углубляют гипотезу о зависимости ритмики русского перевода от иностранного оригинала.

Проверим теперь гипотезу о зависимости ритмики последующих произведений Ломоносова от его перевода. Ограничим исследование периодом 1742—1743 годов, поскольку из работ К. Ф. Тарановского и других ученых известно, что в более позднем стихе Ломоносова, начиная с 1745 года,<sup>17</sup> уровень ударности существенно понизился и полноударность перестала быть для поэта столь же важным, как ранее, критерием версификации.

В период 1742—1743 годов Ломоносов написал 4-стопным ямбом шесть произведений. К ним относятся две оды 1742 года — ода «На прибытие из Голстинии» (начало 1742 года), ода «На прибытие Елисаветы» (по-видимому, конец 1742 года) — и четыре сочинения 1743 года — ода «На день Тезоименитства Петра Федоровича» (первая половина 1743 года), две духовные оды «Вечернее размышление о

<sup>13</sup> Полученный результат подвергает сомнению изложенную выше гипотезу М. И. Шапира о возникновении пирихийев в русском стихе благодаря введению в перевод Ломоносова имени императрицы (*Елисавета*, см. сн. 4). Добавим также, что в оригинале и в переводе это имя и его дериваты встречаются всего пять раз, из них только три случая совпадают по позиции. Данное распределение, очевидно, случайно. В целом употребление имени *Елисавета* в переводе создает чуть более 5 % пирихийев (по данным Шапира), что вполне соответствует количеству пропусков ударений на СМ в предшествующих одах Ивану Антоновичу (1741), которые считаются практически полноударными.

<sup>14</sup> В данном случае форма IX была исключена при анализе позиционных соответствий, так как в русском стихе она не имеет соответствия среди неполноударных форм.

<sup>15</sup> Ожидаемая величина позиционных совпадений определялась так: для каждой неполноударной формы рассчитывалось произведение ее относительных частот в оригинале и переводе. Затем вычислялась сумма полученных произведений (см. табл. 2 Приложения). Эта сумма умножалась на общее количество позиционных совпадений по неполноударности. Ожидаемое количество позиционных несовпадений равно в этом случае разности между общим числом совпадений по неполноударности и ожидаемым числом совпадений по типу неполноударной конфигурации.

<sup>16</sup> В этом случае рассчитывался  $\chi^2$  для проверки соответствия между вероятностью и частотой:

$$\chi^2 = (x - p^*n)^2 / p^*n + (y - q^*n)^2 / q^*n,$$

где  $x$  — реальное число позиционных совпадений по типу неполноударных форм,  $p^*n$  — ожидаемое количество подобных совпадений при условии их случайности ( $p$  — оценка ожидаемой вероятности совпадений такого типа, равная по величине сумме произведений относительных частот, описанной в сн. 15;  $n$  — общее количество позиционных совпадений по неполноударности);  $q = 1 - p$ ,  $y = n - x$ ,  $q^*n$  — ожидаемое количество позиционных несовпадений среди неполноударных форм.

<sup>17</sup> Не известны оды, написанные М. В. Ломоносовым в 1744 году.

Божием величестве» и «Утреннее размышление о Божием величестве» (вероятно, середина 1743 года),<sup>18</sup> а также переложение 143 псалма (конец 1743 года).

Мы провели статистическое обследование наиболее ранних из сохранившихся полных редакций этих текстов и проверили гипотезу об однородности их ритмики с переводом 1741 года по количеству полноударных и неполноударных строк.<sup>19</sup> Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Сравнение ритмики перевода и произведений 1742—1743 годов по распределению полноударных и неполноударных строк Я4

Произведения, сравниваемые с переводом	$\chi^2$	Процент ошибки при отвержении гипотезы об однородности
«На прибытие из Голстинии» (1742 год)	0.5889	Между 40 % и 50 %
«На прибытие Елисаветы» (1742 год)	0.7804	Между 30 % и 40 % (?)
«На день Тезоименитства» (1743 год)	5.8899	Между 2.5 % и 1 %
«Вечернее размышление» (1743 год)	3.3485	Около 5 %
«Утреннее размышление» (1743 (?) год)	12.9693	Менее 0.05 %
Переложение 143 псалма (1743 год)	3.0634	Около 5 %

Из табл. 3 видно, что ритмические характеристики од 1743 года расходятся с переводом сильнее, чем аналогичные показатели сочинений 1742 года. При этом отклонение от перевода каждого из четырех произведений 1743 года оказывается значимым при уровне значимости, близком к 5 % ( $\chi^2 = 3.841$ ) и ниже (наиболее резким является отклонение текста оды «Утреннее размышление»).

Таким образом, по результатам сравнения ритмики перевода и текстов од, относимых к 1743 году, мы вправе опровергнуть гипотезу об их однородности. В этих условиях сохраняет силу предположение о независимости ритмики этих од от перевода 1741 года. Однако интерпретация расхождений между переводом и одами 1742 года является не столь определенной. Исследуем вопрос об отношениях между ритмическими характеристиками этих произведений более подробно.

<sup>18</sup> Датировка «Утреннего размышления» была оспорена В. М. Жирмуном. По его мнению, это произведение было написано Ломоносовым в зрелый период творчества (1750-е годы), так как содержит высокий процент пиррихий, что не характерно для раннего периода (*Жирмунский В. М.* Оды М. В. Ломоносова «Вечернее» и «Утреннее размышление о Божием величестве» (к вопросу о датировке) // XVIII век. Сб. 10. С. 30). Положение о том, что «Утреннее размышление» было написано позже, поддержали и другие исследователи. Например, К. Ф. Тарановский полагал, что Ломоносов создал его во время работы над второй «Риторикой» во второй половине 1740-х годов (*Тарановский К. Ф.* Указ. соч. С. 35). Мы условно будем относить его к 1743 году в соответствии с датировкой полного собрания сочинений.

<sup>19</sup> Рассматривались следующие редакции текстов: ода «На прибытие из Голстинии» — по первому изданию 1742 года; «На прибытие Елисаветы» — по рукописи 1751 года; «На день Тезоименитства» — по рукописи 1751 года; «Вечернее размышление» — по рукописи 1747 года; «Утреннее размышление» — по рукописи 1751 года; переложение 143 псалма — по первому изданию 1744 года. Ритмические характеристики исследуемых произведений представлены в табл. 4 Приложения. Ранние редакции од «На прибытие из Голстинии» и «Вечернее размышление» исследовались по обнаруженным в архиве М. В. Ломоносова полным текстам этих редакций (ПФА РАН. Ф. 20. Оп. 7. Д. 23. Л. 5—6 об.; Оп. 30. Д. 49. Л. 104—105). В остальных случаях проводились реконструкции более ранних редакций путем восстановления первоначальных строк по соответствующим сноскам в полном собрании сочинений М. В. Ломоносова. Мы считаем целесообразным осуществлять реконструкцию только по данным о полных текстах, так как реконструкция с восстановлением наиболее ранних отрывков внутри более поздней редакции может привести к тому, что к исследованию будет привлечен никогда не существовавший текст.

Предположим, что перевод мог оказать принципиальное влияние на ритмику двух данных од. Сравним его с текстами од 1742 года по распределению трех основных ритмических форм: полноударной (I), с пиррихием на втором СМ (III) и формы с пиррихием на третьем СМ (IV). Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4  
Сравнение ритмики перевода 1741 года  
с одами 1742 года

Произведения, сравниваемые с переводом	$\chi^2$	Процент ошибки
«На прибытие из Голстинии»	0.3789	Между 80 % и 90 %
«На прибытие Елисаветы»	19.4767	Менее 0.05 %

Отклонения ритмических показателей перевода и рассмотренной редакции оды «На прибытие Елисаветы» (см. сн. 19) безусловно значимы. В этом случае гипотеза об однородности отвергается. Незначимым оказывается расхождение данных перевода и оды «На прибытие из Голстинии».

Ода «На прибытие из Голстинии» была создана, очевидно, в конце 1741—начале 1742 года, непосредственно вслед за переводом. В соответствии с представленными в табл. 4 результатами гипотеза о влиянии перевода на ее ритмику не отвергается.<sup>20</sup> При этом расхождение между одами 1742 года уже при сравнении изучаемых текстов по «двум параметрам» (распределение полноударных и неполноударных строк) оказывается значимым (табл. 5), что хорошо согласуется с предшествующим результатом и укрепляет его.

Таблица 5  
Сравнение од 1742 года  
по количеству полноударных/неполноударных строк

Оды 1742 года	$\chi^2$	Процент ошибки
«На прибытие из Голстинии» — «На прибытие Елисаветы»	3.8597	Менее 5 %

В целом можно заключить, что рассмотренная редакция оды «На прибытие Елисаветы» не однородна по своим ритмическим показателям ни переводу, ни непосредственно предшествовавшему сочинению. Она оказывается более близкой к оригиналу, но и при сравнении с ним по трем параметрам обнаруживаются значимые расхождения. Можно было бы предположить влияние оригинала на уровень полноударности этого произведения, так как по данному показателю тексты оказываются относительно близки (0.6250 и 0.5955) — см. табл. 1 в тексте и табл. 4 Приложения. Тем не менее соотношение трех параметров склоняет к тому, что это произведение, как и предполагал К. Ф. Тарановский, подверглось значительной переработке.<sup>21</sup> Влияние оригинала на ритмику последующих текстов, судя по имею-

<sup>20</sup> Напомним, что о близости ритмических показателей перевода и оды «На прибытие из Голстинии» говорил К. Ф. Тарановский.

<sup>21</sup> Переработка могла затронуть соотношение неполноударных форм, не отразившись существенно на уровне полноударности. Предположение о переработке поддерживается также результатами исследования М. А. Красноперовой с помощью языковых моделей размера. В соответствии с ними ритмика ранних четырехстопных ямбов Ломоносова лучше описывается с помощью языковых моделей зависимости, а зрелых — с помощью языковых моделей, постро-

щимся данным, исчерпывается, по-видимому, связью его ритмики с переводом и, может быть, с уровнем полнударности оды «На прибытие Елисаветы».<sup>22</sup>

Рассмотрим теперь предположение о том, что ода «На прибытие из Голстинии» была тем промежуточным звеном, посредством которого перевод оказал косвенное влияние на ритмику од 1743 года. Проверим гипотезу об однородности показателей полнударности/неполнударности в этом произведении и в каждой оде данного периода. Анализ привлекаемых текстов во всех случаях обнаруживает значимые расхождения (табл. 6). При этом ода «Утреннее размышление» и переложение 143 псалма показывают отклонения существенно более высокие, чем два других текста (ошибка отвержения гипотезы об однородности 0.05 % и около 1 %).<sup>23</sup> Следовательно, предположение о том, что перевод мог повлиять на ритмику последующих произведений Ломоносова посредством «промежуточного звена», также не получает поддержки.

Таблица 6

Сравнение ритмики од 1743 года  
и оды «На прибытие из Голстинии»

Произведения		Х <sup>2</sup>	Процент ошибки
Оды 1743 года	Ода 1742 года		
«На день Тезоименитства»	«На прибытие из Голстинии»	2.9878	Менее 10 %
«Вечернее размышление»		1.7016	Менее 20 %
«Утреннее размышление»		18.8184	Менее 0.05 %
Переложение 143 псалма		6.2885	Около 1 %

енных по принципу независимости ритмических слов. Анализируемый текст лучше описывается моделью второго типа (*Красноперова М. А.* 1) Модели лингвистической поэтики. Ритмика. Л., 1989. С. 55—68; 2) Основы реконструктивного моделирования стихосложения (на материале ритмики русского стиха). СПб., 2000. С. 106—156).

<sup>22</sup> Мы не считаем целесообразным проводить столь же подробное сравнительное обследование оригинала, как и перевода. Так как перевод имеет более высокую частоту полнударной формы, чем оригинал, то во всех случаях, когда его ритмика обнаруживает значимое расхождение данного показателя с текстом, где он еще выше, значимым будет и отклонение оригинала. В случае если в привлекаемом для сравнения тексте уровень полнударности оказывается более низким, чем в переводе, мы выносим суждение на основании результатов сравнения этого показателя с аналогичной характеристикой оды «На прибытие Елисаветы», где уровень полнударности ниже, чем в оригинале. Частота полнударной формы в оригинале выше, чем в этой оде, поэтому, если в привлекаемом для сравнения тексте она оказывается значимо ниже, чем в ней, мы предполагаем, что это имеет место и в отношении оригинала. Из двух текстов этого рода («Утреннее размышление» и переложение псалма 1743 года) более высокую частоту первой формы имеет второй, причем этот показатель здесь ниже, чем в данной оде, и обнаруживает значимое расхождение с ее аналогичной характеристикой. На основании этого мы предполагаем и значимость расхождения оригинала с ритмикой этих текстов (подробнее см. далее по основному тексту).

<sup>23</sup> Этот результат согласуется с другими литературоведческими данными и представлениями, свидетельствующими о том, что ритмику двух упомянутых сочинений не следует анализировать в составе основного корпуса текстов раннего творчества Ломоносова. Текст оды «Утреннее размышление» со значительной долей пиррихий, по-видимому, был создан не в 1743 году, а позже (см. сн. 18). Переложение 143 псалма по жанру отличается от остальных сочинений этого периода: это не торжественная ода, а песнь религиозного содержания, имеющая вполне определенную богослужебную функцию. Именно в песнях Ломоносов разрешал «неправильные стихи» с пиррихиями (*Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 14), которые в переложении псалма составляют 50 % всех строк (см. табл. 4 Приложения). Полученный результат находит дополнительную поддержку и в отношении оды «Вечернее размышление». Согласно данным Е. В. Казарцева, ритмика этого произведения могла испытать серьезное влияние оды «Богу» Й. К. Гюнтера (*Казарцев Е. В.* Ритмика первой духовной оды М. В. Ломоносова в контексте проблемы генезиса русской силлабо-тоники // Формальные методы в лингвистической поэтике. Сб. научн. тр., посвящ. 60-летию проф. СПбГУ М. А. Красноперовой. СПб., 2001. С. 37—47).

Итак, испытание гипотезы о прямом или косвенном влиянии перевода на соотношение полноударных и неполноударных строк в ранних ямбах Ломоносова дает основания к ее отрицанию в отношении всех рассмотренных произведений, кроме наиболее близкого по времени создания — оды «На прибытие из Голстинии».

При достаточной педантичности подхода можно рассматривать и гипотезу о косвенном влиянии оригинала на те же тексты. В отношении оды «На прибытие из Голстинии» оно могло проявиться через перевод. Другим, но априорно менее надежным, чем перевод, проводником влияния могла бы быть ода «На прибытие Елисаветы». Можно сразу отклонить гипотезу о влиянии ритмики изучаемого текста этого произведения на тексты с более высокой частотой полноударной формы («На день Тезоименитства» и «Вечернее размышление»), так как они признаются не однородными и переводу, более близкому к ним по этому параметру. Из двух произведений с менее высокой частотой полноударной формы («Утреннее размышление» и переложение 143 псалма) наиболее близким по данному показателю оказывается второе. Тем не менее оно дает значимое расхождение с рассматриваемым текстом оды «На прибытие Елисаветы» (ошибка отвержения гипотезы об однородности — между 10 % и 20 %). Так как ритмика этого текста еще дальше отстоит от аналогичных показателей ритмики «Утреннего размышления», гипотеза о его влиянии отклоняется для обоих произведений. В целом можно предполагать лишь локальное влияние ритмической организации оригинала: прямо — на перевод и, с большей осторожностью, на оду «На прибытие Елисаветы»; косвенно (через перевод) — на оду «На прибытие из Голстинии».

Остается, однако, вопрос о том, повлиял ли перевод (а может быть, и оригинал) на факт возникновения пиррихий в ямбе Ломоносова. Результаты наших предыдущих исследований позволяют выдвинуть серьезные аргументы в пользу того, что пиррихии появились уже в оде «На взятие Хотина», первом оригинальном силлабо-тоническом произведении поэта.<sup>24</sup> Эта ода написана в 1739 году, однако в стиховедении сложилось представление о том, что наиболее ранняя из ее сохранившихся

<sup>24</sup> Красноперова М. А., Казарцев Е. В., Мухин А. С. 1) Техника стихосложения в моделях размера (к вопросу о становлении русской силлабо-тоники) // Материалы ХХІХ межвуз. научно-методической конф. преподавателей и аспирантов. Секция структурной и прикладной лингвистики. СПб., 2000. С. 23—27; 2) К истокам ритмики русского силлабо-тонического стиха (проблема межъязыковой коммуникации) // Языки науки — языки искусства. М., 2000. С. 353—358. Более подробное изложение проблемы дано в работе: Казарцев Е. В., Красноперова М. А. «Ода... На взятие Хотина» 1739 года М. В. Ломоносова на фоне языковых моделей ритмики немецкого и русского стиха // Славянский стих VII: лингвистика и структура стиха. М., 2004. С. 33—46. Гипотеза о наличии пиррихий в первоначальной редакции «Оды на взятие Хотина» высказана М. А. Красноперовой в работе «Модель восприятия и порождения ритмической структуры стихотворного текста (в применении к классическим размерам русского стиха)» (Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980. С. 87). В более поздних исследованиях авторов настоящей статьи получены новые данные, касающиеся этой и связанных с ней проблем. Допуска наличие пиррихий в первой редакции Хотинской оды, следует признать также, что они возникли по недосмотру, так как Ломоносов утверждал, что созданная им ода написана «чистыми ямбическими стихами» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 15). Гипотеза о недосмотре становится еще более правдоподобной, если учесть информацию о том, что «чистыми» Ломоносов мог называть не только стихи без пиррихий, но и не смешанные с другими стопами (см. сн. 6). Подчеркнем также, что частота пиррихий относительно всех стоп будет значительно ниже, чем частота неполноударных форм относительно общего количества строк. В соответствии с реконструкциями механизма стихосложения Ломоносова, проводившимися ранее М. А. Красноперовой, поэт каждый раз охватывает вниманием окрестность не более чем двух СМ, причем первое из них находится в фокусе внимания, а второе — на периферии (Красноперова М. А. 1) Модели лингвистической поэтики. Ритмика. С. 55—66; 2) Основы реконструктивного моделирования стихосложения... С. 129—156). Это поддерживает представление о том, что поэт воспринимал пропуски ударений скорее как относительное количество безударных сильных слогов среди всех возможных, чем как относительную частоту неполноударных форм среди всех строк текста. Тем не менее механизм стихосложения, как он описывается в указанных работах, предопределяет частоту ритмических форм.



редакций (1751 года, местонахождение рукописи 1739 года неизвестно) представляет собой существенно переработанный текст, в который автор внес значительную по сравнению с его первоначальным видом долю пиррихийев. Эта точка зрения получила распространение после работы В. М. Жирмунского.<sup>25</sup> Согласно нашим данным, ритмика этого произведения могла сложиться изначально сходной с тем видом, который она имеет в наиболее раннем сохранившемся тексте оды, под влиянием ритмики немецкого языка, тем более что в момент ее создания поэт находился в немецкой культурной и языковой среде.<sup>26</sup>

Частота полноударной формы в изучаемом тексте оды «На взятие Хотина»<sup>27</sup> почти совпадает с аналогичным показателем оды «На прибытие из Голстинии», которая дошла до нас в редакции 1742 года (0.6964 и 0.6917 соответственно). Этот факт можно рассматривать как независимый признак того, что анализируемый текст Хотинской оды в наиболее важном показателе ритмики сохранил, как минимум, черты редакции гораздо более ранней, чем это принято считать.<sup>28</sup> Расхождение между ритмическими характеристиками этих текстов оказывается существенно ниже, чем аналогичный показатель для оды «На прибытие из Голстинии» и перевода (табл. 7).

Таблица 7

Ритмика оды «На прибытие из Голстинии»  
в сравнении с переводом и одой «На взятие Хотина»

Тексты	X <sup>2</sup>	Ошибка отвержения
«На прибытие из Голстинии» — Хотинская ода	0.0089	Более 95 %
«На прибытие из Голстинии» — перевод	0.5889	Между 40 % и 50 %

<sup>25</sup> В. М. Жирмунский, говоря о том, что как «одописец Ломоносов пытался сначала следовать своему „трудному“ учению» (*Жирмунский В. М.* О национальных формах ямбического стиха. С. 18), высказывает по существу мнение о существенной переработке оды, приведшей к возникновению большого количества пиррихийев в сохранившихся редакциях этого произведения. Подчеркивая мысль о более позднем происхождении пиррихийев, он приводит также строки из риторик 1744 и 1748 годов, которые, по его мнению, сохранились из первоначального текста Хотинской оды (там же, с. 19). В этих отрывках в ряде случаев используется полноударная форма там, где в редакции 1751 года дана неполноударная. Аналогичную точку зрения, но в более радикальной форме, высказал М. И. Шапир при обсуждении нашего доклада по данной теме на Стиховедческих чтениях 2002 года в РГГУ (см. также: *Шапир М. И.* У истоков русского четырехстопного ямба... С. 70—71). Мы считаем, что в данном случае неосторожно судить о целом тексте на основании отдельных строк, не составляющих в совокупности и пятой части его объема. Это тем более опасно, что приводимые строки носят иллюстративный характер и могли быть специально перестроены Ломоносовым в соответствии с его изначальными теоретическими установками.

<sup>26</sup> *Красноперова М. А., Казарцев Е. В., Мухин А. С.* 1) Техника стихосложения в моделях размера...; 2) К истокам ритмики русского силлабо-тонического стиха... См. также сн. 24. Один из принципиальных аргументов в защиту этого тезиса состоит в том, что важнейшие ритмические показатели текста Хотинской оды 1751 года обнаруживают соответствие не с русскими языковыми моделями и стихом соответствующего периода, а с немецкой языковой моделью зависимости (ЯМЗ). Авторы благодарят А. С. Мухина, составившего программы, необходимые для расчета моделей, использовавшихся в этом исследовании.

<sup>27</sup> Использовалась реконструированная по полному собранию сочинений М. В. Ломоносова редакция 1751 года (см. также сн. 19).

<sup>28</sup> Представление о близости по времени создания данной редакции Хотинской оды к оде «На прибытие из Голстинии» поддерживается еще и тем, что и та и другая описываются языковой моделью зависимости, в то время как тексты Ломоносова более позднего периода (во всяком случае с 1745 года) лучше описываются языковой моделью, построенной по принципу независимости ритмических слов (*Красноперова М. А.* 1) Модели лингвистической поэтики. Ритмика. С. 55—68; 2) Основы реконструктивного моделирования стихосложения... С. 106—156).

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что ритмика следующего за переводом сочинения Ломоносова имеет более тесную связь не с ним, а с одой «На взятие Хотина». Расхождение с ритмикой перевода в этом случае оказывается также гораздо большим, чем расхождение по тем же показателям между Хотинской одой и моделью, построенной из предположения о влиянии на нее ритмики немецкого языка (частота полноударной формы в соответствующей немецкой модели равна 0.6942, а в Хотинской оде — 0.6964). В описанных условиях гипотеза о том, что частота пиррихий в оде «На прибытие из Голстинии» обусловлена влиянием Хотинской оды, является вполне обоснованной. Это, в свою очередь, поддерживает результаты наших прежних исследований, согласно которым уровень неполноударности в оде «На взятие Хотина» был изначально близок к тому, который имеет место в дошедшей до нас редакции 1751 года.

Таким образом, результаты исследования не дают оснований считать, что русский перевод и его немецкий оригинал оказали принципиальное влияние на ритмику стиха Ломоносова. Получены серьезные свидетельства против того, что перевод был первым источником пиррихий в ямбическом стихе поэта и что ритмическая организация этого произведения достаточно заметно отразилась в последующих текстах этого размера. Это свидетельствует и против того, что пиррихии возникли в ямбе Ломоносова под влиянием немецкой оды Штелина и что ее ритмическая структура отразилась через перевод в оде «На прибытие из Голстинии». В соответствии с полученными данными можно говорить лишь о локальном влиянии ритмики оригинала на перевод<sup>29</sup> и, с особой осторожностью, на уровень полноударности в оде «На прибытие Елисаветы». На основании проведенного анализа можно предполагать, что на протяжении рассмотренного периода частота полноударной формы в четырехстопном ямбе Ломоносова циклически колебалась от менее высокой к более высокой, и наоборот, что свидетельствует о напряженном эксперименте по поиску надлежащей формы ритмической организации текста.

<sup>29</sup> Кажется уместным подчеркнуть в связи с этим, что перевод был подан не как произведение Ломоносова, а как представление от Императорской Академии наук. Так что Ломоносов в некотором роде «не отвечал» за пиррихии, которые были в этом тексте.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Ритмические формы русского и немецкого 4-стопного ямба\*

N	Тип конфигурации	Русский образец	Немецкий образец
I	U-‘U-‘U-‘U-(U)	Восторг внезапный ум пленил	Die Vorsicht, die die Zukunft sieht
II	U-U-‘U-‘U-‘(U)	Что протекала между ними	Und Catharinens hoechste Gunst
III	U-‘U-U-‘U-‘(U)	В долине тишина глубокой	Elisabethens langes Leben
IV	U-‘U-‘U-U-‘(U)	То род отверженной рабы	So jauchzt auch Wissenschaft und Kunst
VI	U-U-‘U-U-‘(U)	Елисавету возглашали	Aus dem besiegtten Orient
VII	U-‘U-U-U-‘(U)	Се царствует Елисавета	Ganz Bosnien, Seraglio
IX	U-‘U-‘U-‘U-(U)	Невозможна	Verlaesst Petrownens Grossmuth nicht
X	U-‘U-U-‘U-(U)	Невозможна	Der gnaedigste Elisabeth

\* «U» — СлМ, «-» — СМ, «’» — знак ударения, «(U)» — факультативный 9-й слог.

Таблица 2  
Частоты неполноударных форм

Ритм. формы	Оригинал	Перевод	Сумма произведений
II	7	4	0.0250
III	9	13	0.1043
IV	17	16	0.2424
VII	—	1	—
Сумма	33	34	0.3717

Таблица 3  
Ожидаемые и реальные показатели  
позиционных отношений неполноударных форм

Совпадения		Несовпадения	
Ожидаемое	Реальное	Ожидаемое	Реальное
4.8316	8.0000	8.1684	5.0000

Таблица 4  
Ритмика 4-стопного ямба М. В. Ломоносова 1742—1743 годов\*

	На прибытие из Голстинии (1742 год)	На прибытие Елисаветы (1742 год)	На день Тезо- именитства (1743 год)	Вечернее раз- мышление (1743 год)	Утреннее раз- мышление (1743 год)	Переложение псалма 1743 года
Р Ф	Издание 1742 года	Рукопись 1751 года	Рукопись 1751 года	Рукопись 1747 года	Рукопись 1751 года	Издание 1744 года
I	0.6917	0.5955	0.7857	0.7917	0.3095	0.5000
II	0.0250	0.0205	0.0214	—	0.0238	0.0333
III	0.1250	0.1386	0.0786	0.1042	0.2381	0.1167
IV	0.1583	0.2341	0.1071	0.1042	0.4048	0.3500
VI	—	0.0023	—	—	0.0238	—
VII	—	0.0091	0.0071	—	—	—
Сумма	1.0000	1.0001	0.9999	1.0001	1.0000	1.0000
СМ						
I	0.9750	0.9773	0.9785	1.0000	0.9524	0.9667
II	0.8750	0.8524	0.9142	0.8958	0.7619	0.8833
III	0.8417	0.7546	0.8857	0.8958	0.5714	0.6500
IV	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
К	120	440	140	48	42	60

\* Р — редакция, Ф — ритмические формы, К — количество строк.

## «ГАЛАНТНЫЙ» СОКРАТ. К ПРОБЛЕМЕ БЫТОВАНИЯ ОБРАЗА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII ВЕКА

Образ Сократа складывался в России XVIII века достаточно долго: с момента появления первого «Сократического диалога» Ж. Верне (Jacob Vernet, 1698—1789)<sup>1</sup> в «Ежемесячных сочинениях» в 1755 году до публикации первой оригинальной попытки осознать личность Сократа — отрывка из «Афинской жизни» Н. М. Карамзина — проходит 40 лет. За это время были напечатаны — часто в нескольких переводах — как важнейшие для Европы произведения сократического цикла (Платона, Ксенофонта, Ф. Фенелона, М. Мендельсона), так и второстепенные, приобретавшие, однако, в России особое значение. Основным источником сведений о Сократе являются сочинения двух его учеников — Платона и Ксенофонта. Разница между этими свидетельствами хорошо осознавалась в XVIII веке. Г. А. Полетика (1723 или 1725—1784) в предисловии к своему переводу «Воспоминаний» и «Оправдания Сократова» писал: «Платон и Ксенофонт, сделавшие наибольшую славу учению Сократову, были между собою такие два соперники, которых ревнованье почти до ненависти доходило (...) Платон еще при жизни Сократовой начал писать под именем его свои разговоры, но примешал во оные (...) странные и от себя вновь изобретенные мнения (...) Ксенофонт, чтобы защитить память и честь своего учителя, предпринял сочинение сих четырех книг (...) Что касается до верности его сочинений, то в том он пред Платоном такое получил преимущество, что как древние, так и новейших веков ученые люди в том только Платону верят, в чем он согласно с Ксенофонтом о Сократе пишет».<sup>2</sup> Здесь видно предпочтение «учеными» произведений Ксенофонта как основного источника сведений о Сократе. Однако ориентация на Платона или Ксенофонта объяснялась не только приведенной причиной. М. Монтуори, говоря о становлении образа Сократа в эпоху Просвещения, замечает, что в трудах ученых XVIII века о Сократе явно проявляется отказ от представления о Сократе-философе в пользу Сократа-человека.<sup>3</sup> Это различие Сократа — добродетельного человека и Сократа-мудреца обнаруживалось не только в научной литературе. Сократ-мудрец в XVIII веке — это прежде всего Сократ — сторонник учения о едином Боге и бессмертии; не случайно самым востребованным диалогом Платона в это время оказывается «Федон», а самым распространенным сюжетом, связанным с Сократом, — его смерть. Таким образом, на разных полюсах восприятия оказывается, с одной стороны, морализующий Сократ, Сократ-гражданин, а с другой — Сократ, проповедник истин, близких по духу рационалистическим религиозным исканиям XVIII века. При этом в первом случае более актуальным источником становится Ксенофонт, а во втором — Платон.

Первое оригинальное русское произведение, трактующее образ Сократа, появляется только в середине 90-х годов. Это уже названный отрывок из «Афинской жизни» Н. М. Карамзина, где Сократ предстает в рассказе Платона «величайшим из божественных смертных», отличавшимся прежде всего своими «идеями о Боге и Nature».<sup>4</sup>

Однако освоение образа происходит раньше и связано с некоторой аллегоризацией Сократа, когда его имя начинает означать скорее «добродетельнейшего чело-

<sup>1</sup> [Верне Ж.] Разговор о должностях человеческих между Сократом и Эвагором // Ежемесячные сочинения. СПб., 1755. Т. 1. С. 224—234.

<sup>2</sup> Ксенофонт. Ксенофонта О достопамятных делах и разговорах Сократовых четыре книги и Оправдание Сократово пред судиями. СПб., 1762. С. 11—13 нунум.

<sup>3</sup> Montuori M. Socrates. Physiology of a myth. Amsterdam, 1981. P. 19—25.

<sup>4</sup> Аглая. 1795. Кн. 2. С. 32—33.

века», чем историческую личность. Эта особенность бытования образа Сократа ярко отражена в характеристике, которую дает ему А. Н. Радищев в своей «Песни исторической»: «Сократ (иль добродетель воплощенна)».<sup>5</sup> Радищев здесь использует, несколько видоизменяя, формулировку, данную им ранее в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «вочеловеченная истина — Сократ».<sup>6</sup> Видоизменение заключалось в следующем. Говоря о «вочеловеченной истине», Радищев дает свою оценку деятельности Сократа: «Не он ли (афинский народ. — А. К.), в безумии своем, предал смерти, на незагладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину — Сократа»,<sup>7</sup> слово «истина» здесь оказывается в семантическом ореоле, связанном с представлением о едином Боге, «добродетель воплощенна» же — общая, лишенная критичности формулировка. В интересной статье Е. В. Свиясова<sup>8</sup> на более обширном материале (несколько десятков античных имен) показано бытование в России в XVIII веке подобной речевой фигуры, которую автор рассматривает как вид метонимии. Между тем привлекаемый мною материал восприятия образа Сократа свидетельствует о существовании случаев более сложных, чем метонимия, и склоняющихся к аллегории. В приводимых мною отрывках Сократ не теряет своей конкретной образности, его имя не становится простой заменой некоторого отвлеченного смысла, а только указывает на него.

Примеров упоминания Сократа только в качестве своеобразной речевой фигуры для конца XVIII века можно привести множество, однако еще явственнее обнаруживается освоение русской культурой того времени образа Сократа, когда он помещается в целом не свойственный ему содержательный контекст, в частности связанный с вопросами любви и женской (вообще внешней) красоты. Автор монографии об образе Сократа в XVIII веке Бенно Бём назвал этот элемент сократической традиции «галантно-сентиментальным».<sup>9</sup> Как показывает Б. Бём, в европейской литературе сложилась определенная традиция описания Сократа в данном ключе. Этого нельзя сказать о России, где, как было сказано выше, первые оригинальные произведения, посвященные собственно Сократу, появляются только в середине 1790-х годов. Однако отдельные примеры подобной трактовки Сократа можно найти и в русской литературе. Нескольким подобным эпизодам и посвящена данная статья.

В 1787 году в Петербурге иждивением П. И. Богдановича была издана книжка «Розы с шипами»,<sup>10</sup> представляющая собой сборник из пяти повестей о любви великих людей. Одна из повестей озаглавлена «Мудрость и красота, или Сократ». Как указывает раздел дополнений к «Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII века», источником для перевода послужили, по-видимому, 3-й и 5-й тома «Amusements de la compagne de la cour»,<sup>11</sup> причем последняя повесть — пересказ повести из 5-го тома, а первые четыре, по-видимому, перевод из 3-го.<sup>12</sup>

Мне удалось установить, что первые четыре повести также являются пересказом части книги «Любовные истории великих людей»<sup>13</sup> Мари-Катрин Ортанз Вильдье (ок. 1640—1683), салонной писательницы времен Людовика XIV. Книга впервые вышла в 1671 году, до 1712 года выдержала 8 изданий, а в 1721 и 1741 годах

<sup>5</sup> Радищев А. Н. Стихотворения. Л., 1975. С. 86.

<sup>6</sup> Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб., 1992. С. 84.

<sup>7</sup> Там же. С. 83—84.

<sup>8</sup> Свиясов Е. В. Пронимания как вид метонимии (на материале античных антропонимов) // Россия. Запад. Восток. Встречные течения. К 100-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. СПб., 1996. С. 109—153.

<sup>9</sup> Böhm B. Socrates im 18. Jahrhundert. 2 Aufl. Neumünster, 1966. S. 167—190.

<sup>10</sup> Розы с шипами. СПб., 1787.

<sup>11</sup> Amusements de la compagne de la cour, et de la ville, ou recreations historiques, anecdotes secretes et galantes. Amsterdam, 1739. Vol. 3; 1741. Vol. 5.

<sup>12</sup> Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725—1800). Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения. М., 1975. С. 120.

<sup>13</sup> Villedieu M.-C. H. Les amours des grands hommes. 2 vol. Paris, 1671.

была включена в состав собрания сочинений Вильдьё.<sup>14</sup> Мне не удалось непосредственно познакомиться с 3-м томом «Amusements», однако его содержание повторяет состав двух томов книги Вильдьё.<sup>15</sup>

Первые четыре повести из сборника «Розы с шипами» представляют собой очень вольный перевод первых четырех повестей книги Вильдьё. Перевод выполнен так, что сохранена преимущественно сюжетная канва, а все авторские отступления, в частности характеризующие произведение как игру, дающие ему шуточные оценки, опущены, как можно видеть, например, из следующей таблицы:

Розы с шипами. СПб., 1787.  
С. 133—134

Сократ ничему сему не внимал, но должен был терпеливо сносить скорбь свою, которая толико после в нем усилилась, что была единственною причиною, как некоторые повествуют, одного редкого бесстрастия, с каким он испил чашу смерти, уготованную ему коварством и суеверием. Алкивиад же скончался на руках прекрасныя своея Тимандры, как видно из преданий древних деесписателей.

Villedieu M.-C. H. Les amours des grands hommes. 2 vol. Amsterdam, 1688. P. 84

Ce fut pour cette mesme Timandre, qu'il mourat peu de temps après, comme l'historien de sa vie le temoigne; & si j'encroy mes Mémoires satyriques, ce fut le de plaisir que Socrate concent de cette aventure, qui lui fit supporter la mort avec tant de fermeté. (...) Je passeray aux amours de quelques grands Capitanes, qui puissent de lasser mon stile de la rectitude ou les Philosophes l'ont forcé dans ces deux premiers Histoires.

Перевод

Вот из-за этой-то Тимандры он и умер некоторое время спустя, как свидетельствует историк его жизни, и если верить моим сатирическим «Воспоминаниям»,<sup>16</sup> то Сократ с удовольствием согласился на это приключение, которое позволило ему принять смерть с такой твердостью. (...) Я перейду к любовным историям нескольких военачальников, которые, возможно, избавят мой стиль от той прямоты, к которой принудили его философы в первых двух историях.

Весьма вероятно, впрочем, что эти изменения были внесены в текст Вильдьё уже в одной из многочисленных французских перепечаток «Любовных историй».

Сюжет повести «Мудрость и красота, или Сократ» напоминает комедию ошибок. Это история любви Сократа и Алкивиада к прекрасной юной Тимандре, воспитаннице мудреца, удачная для ученика и неудачная для учителя. Здесь много передеваний, неузнаваний, писем, пришедших не тому адресату. Заканчивается повесть размышлениями Алкивиада о том, что невозможно бесстрастно рассуждать о любви, и уличением Сократа в тайной страсти к своей воспитаннице, после чего следуют приведенные выше слова со с. 133—134. Несмотря на контекст любовной истории, Сократ в повести предстает мудрецом, что видно особенно явно в заглавии повести: «Мудрость и красота, или Сократ», измененном относительно французского оригинала, где повесть названа просто «Сократ». Сократ появляется в русском издании не как историческое лицо, а как пример того, что «любовь находит способ владычествовать и над самою премудростию, и сердце, каким бы нравучением ни было от нее ограждено, она същезет всегда в нем место без обороны».<sup>17</sup> Несмотря на отказ от шуточного тона оригинала, сам сюжет, комический в своей основе, представляет нам Сократа-любовника смешным.

Откровенно комичным предстает Сократ в «Почте духов» И. А. Крылова. В первых письмах первой части Сократ изображается как наиболее обращающая на

<sup>14</sup> Villedieu M.-C. H. Oeuvres De Madame De Ville-Dieu. Vol. 5. Paris, 1721; 2-е изд.: Paris, 1741.

<sup>15</sup> Williams R. C. Bibliography of the seventeenth-century novel in France. New York, 1931. P. 222; Jones S. P. A list of French prose fiction from 1700 to 1750. New York, 1939. P. 61.

<sup>16</sup> Имеются в виду «Воспоминания о Сократе», или «Меморабилли», Ксенофонта.

<sup>17</sup> Розы с шипами. С. 1.

себя внимание жертва безумия Прозерпины, помешанной на французской моде. Только возвратясь в ад, Прозерпина говорит, как ей понравились новые моды, после чего «в минуту подхватила она близ ее стоящего Сократа и принудила его прыгать с собою *аглинские прогулки*; Диоген хохотал во все горло и говорил, что это прекрасная пара».<sup>18</sup> В следующем письме, описывающем продолжение событий в аду, сообщается о бале, устроенном богиней. Бал открывают Плутон с Прозерпиной, «потом Лукреция с Сократом танцевали менует: говорят, будто он уже за нею и машет».<sup>19</sup> Очевидна травестийность этого эпизода. Хохот во все горло возникает оттого, что совмещается несовместимое — «воплощенная добродетель», с одной стороны, и танцы и щегольское «машет», с другой. Здесь наиболее отчетливо выражена особенность идеального образа Сократа, сложившегося в России: помещение его в галантный контекст может быть оправдано только игрой и неизменно обладает комическим эффектом.

В 1792 году в «Московском журнале» была напечатана повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь». Завершая описание главной героини повести, автор делает шутовское замечание: «Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно верить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом и любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную)».<sup>20</sup> Интересно отметить возможный источник знакомства Карамзина с подобным суждением Сократа. Хотя вопрос об отношении души и тела и был одним из важных вопросов, интересовавших исторического Сократа, и в античных источниках (прежде всего — в Первой книге «Воспоминаний» Ксенофонта<sup>21</sup>) представлены его высказывания о предпочтении душевной красоты красоте тела, более близким источником для Карамзина мог служить диалог К. М. Виланда (1733—1813) «Тимоклея» (на русский язык он был переведен три года спустя после публикации «Натальи, боярской дочери»,<sup>22</sup> однако знакомство с ним Карамзина, хорошо знавшего творчество Виланда, вероятно). Темой диалога, происходящего при туалете молодой воспитанницы Сократа Тимоклеи, готовящейся к празднику, служит как раз проблема истинной красоты, и основная его идея в том, что красота человека определяется не внешностью, а добродетельностью души: «...ежели хотим говорить всегда правду, то должны назвать приятными тех только особ, в которых находим красоту души и соединенные с нею приятности».<sup>23</sup> Р. Ю. Данилевский заметил относительно русского перевода Виланда 1795 года: «...переводчик Николай Горчаков внес в текст мелкие изменения, стараясь создать у читателя впечатление о книге как назидательном чтении на тему о превосходстве духовной красоты над „красотою цветущего и приятными красками испещренного тела“».<sup>24</sup> Карамзин говорит о важной для Виланда гармонии внутренней и внешней красоты и вместе с тем подчеркивает некоторую комичность оценки Сократом красоты юной девушки. Между «принадлежностями красоты телесной», известными ваятелю, и непосредственной красотой девушки — значительное различие.

Наконец необходимо отметить, что существовала и устоявшаяся традиция упоминания Сократа в «галантном» контексте как собеседника и даже ученика во вкусе Аспазии (источником этой традиции является диалог Платона «Менексен»).

<sup>18</sup> Крылов И. А. Соч.: В 2 т. М., 1969. Т. 2. С. 15.

<sup>19</sup> Там же. С. 23.

<sup>20</sup> Московский журнал. 1791. Ч. 8. Кн. 1. С. 23.

<sup>21</sup> Ксенофонт. Ксенофонт О достопамятных делах и разговорах Сократовых...

<sup>22</sup> Виланд К. М. Разговор Сократа с Тимоклеею о мнимой и истинной красоте с кратким начертанием жизни сего великого правоучителя. М.: тип. И. Зеленикова, 1795.

<sup>23</sup> Там же. С. 30.

<sup>24</sup> Данилевский Р. Ю. Виланд в русской литературе // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 316.

В книге «Похвала Сократу, произнесенная в Обществе человеколюбцев» (1783),<sup>25</sup> интересной тем, что она затрагивает все проблемы, так или иначе возникавшие в XVIII веке в европейской литературе о Сократе, защищая Сократа от утверждающих, что мудрец «посещал женщин», автор сравнивает Аспазию и Диотиму (героиню диалога Платона «Пир») со «славными особами, которые начальствовали в судилищах вкуса, много споспешествовавших славе времен Людовика XIV».<sup>26</sup>

В середине 1790-х годов образ Аспазии — наставницы Сократа в своих стихотворных сочинениях упоминают Карамзин и Радищев.

В «Песни исторической» (1795—1796), давая краткое описание Афин периода Перикла, Радищев так говорит о правителе Афин:

Друг Аспазии любезной,  
Что Сократ (иль добродетель  
Воплощенна) в честь вменяет  
За учителя имети  
Себе славу Аспазию.<sup>27</sup>

А Карамзин в «Послании к женщинам» (1796) так обосновывает предпочтение Сократа всем прочим философам:

Скажите, отчего мудрец Сократ милее  
Всех прочих мудрецов? учение его  
Приятнее других, приятнее, сильнее  
Нас к мудрости влечет? Я знаю — оттого,  
Что граций он любил, с Аспазией был дружен.<sup>28</sup>

Для обоих писателей общение Сократа с Аспазией, конечно, не являлось определяющим для создания его образа. Карамзин, как говорилось выше, был автором первого оригинального русского описания Сократа, где главным достижением философа признано познание «истин о Боге и Натуре». Для Радищева Сократ — также человек, познавший божественные истины и осужденный легкоуправляемым афинским народом. Характерно, что у обоих авторов образ Аспазии — собеседницы Сократа появляется в связи с описанием не самого мудреца, а его «учителя» (ведь утверждение, что Сократ «с Аспазией был дружен», для Карамзина — средство возвысить представление о женщине вообще). Сократ при этом неизменно остается мерилом человеческой добродетели, некоей абстрактной фигурой речи.

<sup>25</sup> Похвала Сократу, произнесенная в Обществе человеколюбцев. М., 1783. Перевод книги «Éloge de Socrate, prononcé dans une Société de Philantropes» (Yverdon, 1777). Упомянутое в заглавии «Общество человеколюбцев» — «Société de Philantropes», основанное в Страсбурге в 1776 году. «Похвала Сократу» — одно из первых изданий общества. См.: Voss J. Die Straßburger «Société de Philantropes» und ihre Mitglieder im Jahre 1777 // Voss J. Deutsch-französische Beziehungen im Spannungsfeld von Absolutismus, Aufklärung und Revolution. Bonn; Berlin, 1992. S. 121—138.

<sup>26</sup> Там же. С. 18.

<sup>27</sup> Радищев А. И. Стихотворения. Л., 1975. С. 86.

<sup>28</sup> Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотв. Л., 1966. С. 176.

## ПИСЬМА А. И. КОШЕЛЕВА И. В. КИРЕЕВСКОМУ (1822—1828)

(ПУБЛИКАЦИЯ © Е. В. ЛУДИЛОВОЙ)

В Российском государственном архиве литературы и искусства, в фонде Киреевских, хранятся письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому. Первое из них написано летом 1822 года, последнее — 24 мая 1856 года, менее чем за месяц до смерти



Киреевского. Очевидно, эти письма остались не известны Н. П. Колюпанову, опиравшемуся в монографии о Кошелеве на материалы, переданные ему вдовой Кошелева Ольгой Федоровной,<sup>1</sup> но привлекли внимание В. Лясковского — биографа братьев Киреевских.<sup>2</sup> Современные исследователи обращались к ним в связи с публикацией и изучением «Записок» Кошелева.<sup>3</sup>

В настоящую публикацию включены письма 1820-х годов из деревни,<sup>4</sup> где Кошелев проводил лето, и Петербурга, куда он был переведен по службе осенью 1826 года. Сохранившиеся летние письма 1822—1826 годов дополняют наши знания о юношеских интересах, занятиях, планах и Кошелева, и Киреевского. Кошелев познакомился с Киреевским на уроках у А. Ф. Мерзлякова, которые оба брали частным образом, вероятно в 1821 году.<sup>5</sup> В «Записках» он вспоминает об этом времени: «Меня особенно интересовали знания политические, а Киреевского — изящная словесность и эстетика; но оба мы чувствовали потребность в философии».<sup>6</sup> В сентябре 1821 года Кошелев поступил в Московский университет, а на следующий год вышел из него, не подчинившись распоряжению Совета университета, которое обязывало студентов слушать лекции не менее восьми профессоров. О своих занятиях той поры, разделяемых не только с Киреевским, но и с Д. В. Веневитиновым, Н. М. Рожалиным, В. Ф. Одоевским, В. П. Титовым, С. П. Шевыревым и Н. А. Мельгуновым, Кошелев пишет: «Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы посвящали немецким любомудрам».<sup>7</sup>

Таково представление, сложившееся у мемуариста по прошествии многих лет, не совсем верно. Читая письма лета 1822 года, можно предположить, что в тот момент Кошелев был более всего увлечен историей. Он подробно рассказывает о работе над историей Петра Великого, отрывки из которой позднее читает на заседании кружка С. Е. Раича.<sup>8</sup> Вероятно, мысль об историческом сочинении занимает Кошелева и летом 1823 года. «Его „Историю” нельзя взять себе за образец», — пишет он о «Всеобщей истории» Ф. М. А. Вольтера.<sup>9</sup>

«Насколько можно судить по ранним письмам Кошелева, — отмечает Лясковский, — первую науку, обратившей на себя внимание И. В. Киреевского, была политическая экономия».<sup>10</sup> Упомянув в «Записках», что Киреевский брал уроки политиче-

<sup>1</sup> О судьбе архива Кошелева см.: *Герасимова Ю. И.* Архив Кошелевых. (Источники для истории правительственной политики 1850—1860) // ГБЛ. Записки отдела рукописей. М., 1974. Вып. 35. С. 5—6.

<sup>2</sup> *Лясковский В.* Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб., 1899. С. 11—12.

<sup>3</sup> См.: *Пирожкова Т. Ф. А. И.* Кошелев и его мемуары // Кошелев А. И. Записки (1812—1883 годы). М., 2002. С. 358—407; *Летягин А. Н.* «Записки» А. И. Кошелева как памятник отечественной мемуарной литературы. СПб., 1993.

<sup>4</sup> Кошелевы проводили лето в с. Ильинском Бронницкого уезда Московской губернии, купленном отцом А. И. Кошелева И. Р. Кошелевым в 1791 году (РГБ. Ф. 139. К. 25. Ед. хр. 1) и «предоставленном», согласно завещанию, его жене Дарье Николаевне «в пожизненное только владение» с тем, чтобы она сохранила имение «в наследие сыну... Александру» (Там же. Ед. хр. 6. Л. 1), и в родовом имении с. Смьково Сапожковского уезда Рязанской губернии.

<sup>5</sup> По мнению большинства исследователей, семья Киреевских переехала в Москву в 1822 году (см., например: [*Елагин Н. А.*] Материалы для биографии И. В. Киреевского // Киреевский И. В. Полн. собр. соч. / Под ред. М. О. Гершензона. М., 1911. Т. 1. С. 6). Но Колюпанов, имевший в своем распоряжении недоступные нам ныне материалы, приводит точную дату: 14 июля 1821 года (*Колюпанов Н. П.* Биография А. И. Кошелева. М., 1889. Т. 1. Кн. 2. С. 12).

<sup>6</sup> *Кошелев А. И.* Записки. С. 12.

<sup>7</sup> Там же. С. 13.

<sup>8</sup> См.: *Колюпанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 66.

<sup>9</sup> Сведения о занятиях Кошелева историей зимой 1822/23 года Колюпанов приводит на основании писем Ал. С. Норова Кошелеву (см.: Там же. С. 66).

<sup>10</sup> *Лясковский В.* Указ. соч. С. 11. Об увлечении Киреевского политической экономией свидетельствует также письмо его брата Петра Васильевича отчиму, цитируемое в статье Г. Н. Парилловой и А. Д. Соймоновой (см.: *Парилова Г. Н., Соймонова А. Д.* П. В. Киреевский и собранные им песни // Лит. наследство. 1968. Т. 79. С. 19).

ской экономии у профессора Московского университета Л. А. Цветаева, Кошелев добавляет: «...хотя и с небольшим успехом».<sup>11</sup> Но в 1820-х годах, как ясно из писем, к занятиям Киреевского политической экономией Кошелев относился вполне серьезно. В 1822 году он обстоятельно рассуждает о намерении Киреевского писать историю российской торговли. В 1823 году на предложение «привести в систему Адам Смита», сделанное ему Киреевским, он отвечает: «Нет, любезный Киреевский, это представляю тебе. Ты ею более занимался, более об ней писал и рассуждал». Заслуживает внимания сама формулировка поставленной Киреевским задачи: «привести в систему Адам Смита». Возможно, Киреевский считает необходимым определить общую основу двух знаменитых сочинений шотландского философа и экономиста — «Теории нравственных чувств» и «Богатства народов», осмыслить разыскания в области этики и в области политической экономии как отражение единого воззрения на мир.

К сожалению, письма Кошелева Киреевскому 1824—1825 годов до нас не дошли, и мы не можем проследить по ним, как преобладающим становится интерес к немецкой философии. О занятиях Кошелева летом 1825 года свидетельствуют письма к нему Веневитинова, копии которых сохранились в архиве М. П. Погодина.<sup>12</sup> Веневитинов полемизирует с Кошелевым о началах и целях философии, сообщает ему о своих переводах немецких философов-шеллингианцев Л. Окена и И. Я. Вагнера. В это же время Шеллинга и Окена читает и, вероятно, переводит Киреевский.<sup>13</sup> Публикуемое письмо Кошелева от 29 июня 1826 года позволяет предположить, что его «теперешние занятия», подсказанные, вероятно, только что прочитанной лекцией И. И. Давыдова «О возможности философии как науки...», касаются проблемы специфики философского познания. Упомянутое в этом же письме сочинение Киреевского о добродетели было задумано, как можно заключить из размышлений Кошелева, с точки зрения трансцендентального идеализма.

Тем не менее в 1827 году, излагая свой план реформирования «Московского вестника» и распределяя разделы журнала между сотрудниками, Кошелев оставляет за собой рассмотрение книг по истории и политике, а Киреевскому отводит разделы политической экономии и законодательства (см. письмо от 20 сентября 1827 года). Вероятно, в кругу участников «Московского вестника» политическая экономия считалась особенным увлечением, «специальностью» Киреевского. В. Ф. Одоевский, сообщая Киреевскому в ноябре 1827 года о знакомстве с Жуковским, пишет: «Он начал обвинением Киреевского и всей московской молодежи в привязанности к нем(ецкой) метафизике. Но какова же была моя радость, когда мне удалось убедить его (по крайней мере мне так кажется), что эта привязанность не только не исключает любви к другим наукам, но еще более побуждает углубляться в опыт и что Киреевский первый есть страстный охотник до политической экономии».<sup>14</sup>

Осенью 1826 года Кошелева переводят по службе в Петербург, он получает назначение в экспедицию, которой заведует граф И. С. Лаваль. Его письма Киреевскому конца 1826-го—начала 1827 года касаются преимущественно внешней стороны жизни. Вероятно, это происходит оттого, что первые месяцы по приезде в Петербург он, по собственному его признанию, «ничем не занимался, кроме службы» (см. письмо от 22 марта 1827 года). Киреевский же в этот период почти совсем не пишет, и даже на письмо о смерти Веневитинова и вызванной ею в Кошелеве перемене, вернувшей его к прежним занятиям, не отвечает более месяца (см. письмо от 27 апреля 1827 года). В рукописном отделе РГБ сохранилось письмо Титова Кошелеву с двумя приписками Киреевского, не отправленное Киреевским с 30 марта 1827 го-

<sup>11</sup> Кошелев А. И. Записки. С. 13.

<sup>12</sup> См.: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 346—358.

<sup>13</sup> См. письмо Веневитинова Кошелеву и Ал. С. Норову (конец августа — начало сентября 1825 года) и комментарий к нему М. А. Чернышева (Там же. С. 357, 552).

<sup>14</sup> См. письмо Одоевского Киреевскому от 28 ноября 1827 года (РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1).

да до 1 мая.<sup>15</sup> Наконец, в письме от 1 июля, предваряя расспросы о планах и рассуждения относительно «будущего поприща» Киреевского, Кошелев пишет: «Очень бы желал, чтобы возобновились между нами теперь сношения письменные, которые мы взаимно вели во время летних моих поездок в деревню». В ответном письме от 18 июля Киреевский анализирует произошедшее: «Твои холодные письма... а может быть и привычка к потерям, внушали мне самые грустные мысли. (...) Я думал: теперь Кошелев живет в свете; сделал много новых знакомств и, может быть, приобрел новых друзей... Я, с своей стороны, долгим молчанием дал ему право думать, что и я переменялся... Но твое письмо, милое, дружеское, разом уничтожило все сплетенье несправедливых предположений».<sup>16</sup> В последующие годы Киреевский, судя по упрекам Кошелева, продолжает писать редко, но переписка вновь становится живым обменом мыслей.

Из публикуемых писем Кошелева конца 1820-х годов наиболее интересны письма от 17 сентября, 20 сентября и 16 октября 1827 года, связанные между собой тематическим единством. Кошелев рассуждает о проблемах издания «Московского вестника», в том числе о назначении С. П. Шевырева соредактором журнала, на котором осенью 1827 года настаивали петербургские участники «Московского вестника» В. Ф. Одоевский и В. П. Титов.

В письме от 17 сентября 1827 года Кошелев сообщает Киреевскому о планах Титова и Одоевского издавать газету, а в письме от 16 октября — о судьбе этого замысла. Сведения о том, что в среде участников «Московского вестника» осенью 1827 года возник такой план, дошли до нас и из других источников. «На 1828 год они намеревались издавать политическую газету», — пишет автор «Извещения на „Московский вестник“ и его сотрудников» (30 декабря 1827 года).<sup>17</sup> То, что замысел издания газеты действительно существовал, подтверждают записки Титова к Одоевскому.<sup>18</sup>

Одна из них была послана вместе с проектом газеты, который не сохранился. «Вот тебе письмо и проект газеты, — пишет Титов, — буде все существенное с твоими мыслями согласно, подпиши и дай подписать Мальцову, призвав его и объяснив дело. Если бы он не подписал, письмо все годится, как мнение наше с тобою; о нем можем упомянуть, что он другого мнения».<sup>19</sup> Записка не датирована, но на основании других сведений, содержащихся в ней, можно предположить, что она была написана в конце августа — начале сентября 1827 года.<sup>20</sup>

Другая записка Титова к Одоевскому<sup>21</sup> касается осуществления планов издания и содержит просьбу переговорить с В-ским (вероятно, Матвеем Юрьевичем Виельгорским, состоявшим в 1827 году членом Театральной дирекции)<sup>22</sup> и добиться его помощи в хлопотах о «позволении печатать объявления о театре».<sup>23</sup>

<sup>15</sup> РГБ. Ф. 99. К. 7. Ед. хр. 49. Л. 1—2.

<sup>16</sup> Киреевский И. В. Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 8—9.

<sup>17</sup> Русская старина. 1902. № 1. С. 34.

<sup>18</sup> РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1063.

<sup>19</sup> Там же. Л. 38.

<sup>20</sup> Титов передает Одоевскому сообщение Погодина о числе рукописей, рассмотренных цензурой в 1824, 1825 и 1826 годах. Эти данные нужны были Одоевскому для работы над цензурным уставом, и он обратился к Погодину за справкой. 2 августа 1827 года Погодин посылает «известие, на первый случай... заимствованное из актов университетских», предполагая за недостающими сведениями обратиться в цензурный комитет (Русская старина. 1904. № 3. С. 706). В рассматриваемой записке Титов сообщает: «Погодин пишет, что наконец узнал в ценз(урном) комитете о числе рукописей» (РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1063. Л. 38), там же идет речь о приезде в Москву Шевырева, что, очевидно, произошло в конце августа 1827 года (см. письмо И. Киреевского С. А. Соболевскому от 30 августа 1827 года // РГАЛИ. Ф. 450. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 1).

<sup>21</sup> РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1063. Л. 47—48.

<sup>22</sup> См.: Щербакоева Т. Михаил и Матвей Виельгорские. Исполнители. Просветители. Мыслители. М., 1990. С. 71.

<sup>23</sup> В 1815 году появилось распоряжение министерства полиции, запрещавшее помещать какие-либо сведения об императорских театрах и статьи об игре актеров. После просьбы, пред-

Интересно, что замысел Титова и Одоевского об издании газеты совпадает с пребыванием в Петербурге Полевого, приехавшего в августе 1827 года просить о разрешении издавать, наряду с литературно-критическим журналом «Московский телеграф», ученый журнал «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы» и политическую газету «Компас». Разрешение не было дано, вероятно вследствие доноса, поступившего на Полевого 19, 21 и 23 августа.<sup>24</sup> Титов и Одоевский без сомнения знали как о приезде Полевого, так и о цели его визита. «Живот<sup>25</sup> привезут на днях, а с ним и Полевого, о которого приезде предуведомлен уже Блудов через Вязем(ского): вот каково иметь милостивцев-участников», — пишет Титов Одоевскому.<sup>26</sup> Упоминание Вяземского и Блудова не случайно. Автор доноса дает понять, что Вяземский, постоянный участник «Телеграфа» и покровитель Полевого, предполагал действовать в его пользу именно через товарища министра просвещения Блудова, бывшего члена общества «Арзамас».<sup>27</sup> Отношение Одоевского и Титова к проекту Полевого и его неудаче неясно, но, возможно, сама мысль об издании газеты подсказана именно Полевым.

Письма Кошелева Киреевскому, дополняя приведенные выше отдельные свидетельства, позволяют получить единое, хотя и неполное представление о замысле Титова и Одоевского. Прежде всего, становится ясен дальнейший ход событий. 17 сентября план, возникший в конце августа или начале сентября, деятельно разрабатывается: «Титов и Одоевский с Перцовым вздумали издавать газету», «Титов, Одоевский и Перцов не оставляют своего намерения. Собираются и толкуют». 16 октября «мысль о газете», по выражению Кошелева, «вышла из головы» Титова и Одоевского. В этом же письме от 16 октября Кошелев рассказывает о попытке Титова и Одоевского осуществить издание газеты, кратко очерчивая действия каждого из них.

В изложении Кошелева появляются новые сведения об участниках предполагаемой газеты. Титов в записке к Одоевскому упоминает И. С. Мальцова, постоянного сотрудника «Московского вестника», служившего в тот момент в Петербурге. По мнению Титова, Мальцов может подписать проект газеты, но нам не известно, как он отнесся к проекту на самом деле. Кошелев называет имя Перцова, «толкующего» с Титовым и Одоевским о планах издания. Вероятно, это Эраст Петрович Перцов, соученик С. П. Шевырева и Д. П. Ознобишина по Московскому благородному пансиону, входивший в основанный Шевыревым тайный «литературный кружок из троих», а затем — в «открытое литературное общество». Позднее, живя в Петербурге (1824—1834), он не оставлял литературных занятий, опубликовав в журналах и отдельными изданиями несколько сочинений различного характера. В 1828 году Перцов собирался поместить в «Московском вестнике» «китайскую сказку» «Обнаруженная клевета», которую, как ясно из письма Титова от 20 июня 1828 года, редакция журнала не торопилась печатать.<sup>28</sup> «В Перцове вы своею медленностью

---

ставленной в 1823 году министру внутренних дел московским генерал-губернатором кн. Д. В. Голицыным, о позволении редактору «Вестника Европы» М. Т. Каченовскому печатать театральные рецензии запрет был подтвержден (см. об этом: *Дризен Н. В.* Материалы к истории русского театра. М., 1913. С. 127).

<sup>24</sup> О проекте Полевого см.: *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 2. С. 381—394; Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х гг. / Ред., вступ. ст. и коммент. Вл. Орлова. Л., 1934. С. 465—473.

<sup>25</sup> Т. е. С. А. Соболевского.

<sup>26</sup> РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1063. Л. 36—37. Датирование записки августом 1827 года основано на упоминании Титова о «числе цензуруемых книг» (см. примеч. 20) и о просьбе Погодина, обращенной к Одоевскому, присылать «критики и статьи в роде „Дней досад“» (та же просьба в письме Погодина к Одоевскому от 2 августа 1827 года // *Русская старина*. 1904. № 3. С. 706—707).

<sup>27</sup> См.: *Сухомлинов М. И.* Указ. соч. Т. 2. С. 387—389.

<sup>28</sup> См.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 2. С. 191.

потеряли участника, который мог бы быть полезен», — писал Титов по этому поводу в редакцию «Московского вестника» 11 августа 1828 года.<sup>29</sup>

Самому Кошелеву Титов предложил стать соиздателем газеты. В письмах Киреевскому Кошелев подробно аргументирует свой тщательно обдуманый отказ, ссылаясь прежде всего на свое желание сотрудничать в «Московском вестнике», что, по его мнению, нельзя совместить с участием в газете.

Деятельное сотрудничество Кошелева в издании «Московского вестника» осенью 1827 года подтверждает Одоевский. По словам Одоевского, «Кошелев чудо как принялся» доставлять «статьи из английских книг и журналов» (письмо Киреевскому от 28 ноября 1827 года).<sup>30</sup> Наше представление о характере материалов, посылаемых Кошелевым в «Московский вестник», и способе работы над ними дополняет его собственное письмо редактору М. П. Погодину. Отправляя две статьи, «Чтение доктора Гренвиля в Академии наук»<sup>31</sup> и «Статистические известия о Северо-Американских Соединенных Штатах», Кошелев просит: «...если найдете нужным кой-что переменить в слог, то покорнейше прошу взять на себя сей труд. Я так спешил, что не успел почти перечесть».<sup>32</sup> Прямо в письме сообщает сведения о лекциях А.-Ф.-Г. Гумбольдта, начавшихся в Берлине в ноябре, и добавляет: «Поспешите, пожалуйста, помещением „Лекций“». Эта статья должна иметь достоинство свежести».<sup>33</sup> Погодин так и сделал, напечатав известие «Курс Г-на Гумбольда» в XXIII номере «Московского вестника», сразу после статьи о чтении доктора Гренвиля.<sup>34</sup> Что касается «Статистических известий о Северо-Американских Соединенных Штатах», то статья с таким названием была опубликована без подписи в № 1 «Московского вестника» за 1828 год.<sup>35</sup> В указателе содержания журнала она описана как анонимная.<sup>36</sup> На основании приведенного выше письма Кошелева к Погодину можно сделать предположение о принадлежности Кошелеву этой статьи.

Позднейшие публикации Кошелева в «Московском вестнике» неизвестны, хотя он, очевидно, предполагал продолжить сотрудничество в журнале. Стремясь заставить Кошелева писать, Киреевский напоминает ему в письме от 4 июля 1828 года: «...не забудь, что ты обещал Погодину».<sup>37</sup> Сам Кошелев летом того же года задумывает оригинальную статью, которую по приезду в Москву собирается показать Киреевскому. Но первая серьезная статья Кошелева появится только в 1847 году.<sup>38</sup> В известном письме от 1 октября 1828 года Киреевский размышляет о создавшейся ситуации: «Знаешь ли ты, от чего ты до сих пор ничего не написал? От того, что ты не пишешь стихов».<sup>39</sup>

Переписка Киреевского и Кошелева осенью 1828 года отражает то различие их природных склонностей, которое в начале 1830-х годов приведет к несогласию во взглядах на соотношение умственной деятельности и практической жизни.<sup>40</sup> Сооб-

<sup>29</sup> РГБ. Ф. 231/II. К. 47. Ед. хр. 118. Л. 6 об.

<sup>30</sup> РГАЛИ. Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1.

<sup>31</sup> Опубликовано в «Московском вестнике» (1827. Ч. 6. № XXIII. С. 367—371) под заглавием «Чтение доктора Гренвиля в Спб. Акад. Наук о египетских мумиях» за подписью «А. К.».

<sup>32</sup> Письмо от 23 ноября 1827 года // РГБ. Ф. 231/II. К. 46. Ед. хр. 30. Л. 1.

<sup>33</sup> Там же. Л. 2.

<sup>34</sup> Московский вестник. 1827. Ч. 6. № XXIII. С. 372—378. Подпись: «С.». В «Московском вестнике» (1827. Ч. 6. № XXIV. С. 464—481) опубликована также статья Кошелева «Взгляд на Персию, из записок одного путешественника по Востоку. Лондон, 1827» за подписью «А. К.».

<sup>35</sup> См.: Статистические известия о Северо-Американских Соединенных Штатах. (Из London Magazin) // Московский вестник. 1828. Ч. 7. № 1. С. 108—117.

<sup>36</sup> Попкова Н. А. «Московский вестник». Журнал, издаваемый М. Погодиным. 1827—1830: Указ. содержания. Саратов, 1991. С. 36.

<sup>37</sup> Киреевский И. В. Полн. собр. соч. 1911. Т. 2. С. 215.

<sup>38</sup> Кошелев А. И. Охота пуце неволи // Земледельческая газета. 1847. 12 дек.

<sup>39</sup> Киреевский И. В. Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 12.

<sup>40</sup> См. письмо Кошелева Киреевскому от 30 августа 1832 года (РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 20—32).

щая о своих занятиях в письме от 13 сентября 1828 года, Кошелев добавляет: «...теперь я слишком овеществился». Именно это, как считает он сам, делает для него, склонного к ясному и математически точному изложению идей, необходимым в настоящий момент обращение не к строгому Шеллингу, а к «согревающему душу» Гердеру. «Не испорченность ума, как ты думаешь, — возражает ему Киреевский в письме от 1 октября 1828 года, — но большая зрелость заставляет тебя предпочитать поэтическое изложение сухим выкладкам».<sup>41</sup> «Кошелев, пиши стихи», — несколько раз повторяет Киреевский. Ответное письмо Кошелева до нас не дошло, но известна сама суть ответа: «Не могу».<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Цит. по рукописи, так как в публикациях допущена неточность: пропущено слово «изложение» (РГБ. Ф. 99. К. 7. Ед. хр. 49. Л. 15 об.).

<sup>42</sup> См.: *Коллюпанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 264.

## 1

## Любезный мой Иван Васильевич!

Не пропускаю ни одной okazji, чтоб к тебе не писать. Об приключениях нашего путешествия расскажет тебе Александр Сергеевич.<sup>1</sup> Мне же позволь предложить тебе мои мысли о предмете, которым ты хочешь заняться.

Описать Историю Российской торговли есть предмет, который мне очень понравился и который, как мне кажется, достоин занять твоё внимание. Ты намерен до царствования Екатерины рассмотреть её вкратце. В этом я с тобою не согласен. Мне кажется, что необходимо нужно начать с самых отдаленных времен, с Рюрика или, по крайней мере, с Мирного или Торгового трактата, заключенного Олегом с императором греческим. — А вот почему. Подробное рассмотрение начала как народа, так и торговли распространяет новый свет на последующие происшествия. Что может быть приятнее и назидательнее, как видеть первые начала торговли, видеть, так сказать, как она рождается и первые её успехи. Что же касается до материалов, то, кроме Чулюкова об российской торговле, ты имеешь драгоценное творение Шлецера, Истолкование Нестора, имеешь Деяния Петра Великого, Екатерины II, её Записки, Манифесты и Указы с 1700 — до 1822 года<sup>2</sup> и пр., и пр. С строгою критикою и политическим духом из сих огромных и необделанных творений можем почерпнуть нужные материалы и составить стройную историю. Советую тебе напиться хорошенько Геереном<sup>3</sup> и взять его себе образцом.

Извини, любезный мой Киреевский, что я тебе даю советы. Зная твою ко мне дружбу, я надеюсь, что они тебе не наскучат. Прежде, нежели кончу письмо мое, не могу удержаться, чтоб тебе не сказать: любезный Киреевский, мужайся и начинай дело, которое ты предпринял.

Извини, что я так намарал, переписывать письмо поленился.

Я к тебе не посылаю Руссо, потому что мне нужно из него выписать страницы две. С следующею оказиею непременно к тебе его пошлю.<sup>4</sup>

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 12—13.

Письмо хранится среди писем А. С. Норова И. В. Киреевскому, вероятно, оно было послано из имения Кошелевых села Ильинское одновременно с письмом Норова от 25 июня 1822 года.

<sup>1</sup> Александр Сергеевич Норов (1798, по др. свед. 1797, — не позже дек. 1864) — брат Авраама Сергеевича Норова. Служил в Московском Архиве коллегии иностранных дел, но по состоянию здоровья «постоянно числился в отпуску» (*Коллюпанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 53). Автор поэтических произведений, большинство из которых не напечатано, член кружка С. Е. Раича. Родственник Кошелева по матери, урожденной Кошелевой, близкий друг Кошелева в юности. В 1820-х годах часто приезжал летом в Ильинское, находящееся в 45 верстах от имения Норовых сельца Надеждино. В письме Норова — подробное изложение «приключения» Кошелева и Норова по дороге в с. Ильинское, т. е. переправы через Москву-реку «по живому мосту», когда «начинало уже смеркаться» (РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1).

<sup>2</sup> Речь идет о книгах: Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции... СПб., 1781—1788. Т. 1—7; Schlözer A. L. Nestor. Russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache / Verglichen, übers. u. erkl. von A. L. Schlözer. Göttingen, 1802—1809. Vol. 1—5; Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1788—1789. Ч. 1—12; Колотов П. Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. СПб., 1811. Ч. 1—6; Екатерина II. Записки касательно российской истории. СПб., 1787—1794. Ч. 1—6. Кроме отдельных изданий указов и манифестов были изданы в 1777 и 1780 годах «Указы государя императора Петра Великого...», «Указы государыни императрицы Екатерины Алексеевны и государя императора Петра Второго...» и «Указы... Екатерины Алексеевны»; в 1796—1800 годах издавались «Указы... Павла I», в 1801—1812 годах — «Указы... Александра I»; указы печатались в «Санктпетербургском вестнике» (1778—1781), «Сенатских ведомостях» (1809—1827) и в «Журнале законодательства» (1817—1819).

<sup>3</sup> Геерен Арнольд-Герман-Людвиг (Heeren A.-G.-L.; 1760—1842) — немецкий историк, профессор философии и истории в Геттингенском университете. Разрабатывал проблему влияния развития торговли на государственный строй и общественный быт. Наиболее известно его сочинение «Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt» (Göttingen, 1793—1796). С трудами Геерена Кошелева познакомил Х. А. Шлецер, профессор университета по естественному праву и политике, у которого Кошелев брал уроки по политическим наукам (см.: Кошелев А. И. Записки. С. 10).

<sup>4</sup> В рукописи описка: «ее пишу».

## 2

Твое письмо, любезный мой Иван Васильевич, крайне меня обрадовало. С удовольствием я увидел, что ты здоров и что твои занятия идут все своим порядком. Но со мною, к несчастью, было совсем другое. Едва сюда приехал, как на меня напала лихорадка, которая меня всякий день<sup>1</sup> от утра до вечера. Но теперь, слава Богу, лихорадка прошла, и хотя кашель все продолжается, однако я начинаю читать Геерена, Робертсона<sup>2</sup> и Деяния Петра Великого. Все сии книги меня очень занимают. Посылаю тебе Руссо, тот том, где находится его Рассуждение о науках.<sup>3</sup>

Скажи, не нужен ли тебе Геерен. Скажи чистосердечно.

Опиши подробно мне все, что ты делаешь, чем занимаешься. Я бы сделал подобное, но слабость, которая была прежде в голове, теперь переселилась в руки, так что с трудом могу держать перо в руках.

Извини, что мое письмо так нескладно и дурно написано, но, право, голова и руки мои еще не оправились после болезни. В следующий раз надеюсь, что в состоянии буду к тебе написать письмо подлиннее этого.

Посылаю тебе при сем собачку, которую ты желал иметь. Желая, чтоб не была так зла, как ее мать, которая на всех кидается.

Крайне одолжишь, если дашь мне на несколько времени 6-ой том Российской истории, соч(иненной) Глинкою.<sup>4</sup>

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 10—10 об.

Письмо сохранилось среди писем А. С. Норова И. В. Киреевскому. Сообщение Кошелева о посылке щенка от своей собаки позволяет определить место и год написания письма (собака, названная матерью собаки Киреевского, упомянута в письме из Ильинского от 22 августа 1822 года). Письмо написано вскоре после приезда, т. е. после 25 июня (см. письмо 1).

<sup>1</sup> В рукописи пропущен глагол; «день» написано дважды.

<sup>2</sup> Робертсон Вильям (Robertson W.; 1721—1793) — шотландский историк. Настаивал на беспристрастности изложения, корректном обращении с источниками. Автор трудов: «History of Scotland during the reigns of Queen Mary and King James VI» (1759), «History of the reign of the emperor Charles V» (1769), «History of America» (1777).

<sup>3</sup> Речь идет о сочинении Ж.-Ж. Руссо «Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon, en l'année 1750, sur cette question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs». В ряде собраний сочинений Руссо XVIII века и в собрании, вышедшем в Париже в 1817 году в 18 томах, печаталось в первом томе.

<sup>4</sup> Речь идет о книге: Глинка С. Н. Русская история: В пользу воспитания. М., 1818. Ч. 6.

## 3

Письмо твое я получил, любезный Киреевский, за которое я тебя весьма благодарю, хотя с великим неудовольствием увидел я из оногo, что ты уже более не намерен писать Историю Рос(сийской) торговли. С нетерпением ожидаю следующего твоего письма, где ты обещал меня уведомить о вновь тобою избранном предмете для сочинения. Между тем позволь мне сделать одно возражение на твое мнение: ты говоришь, что торговля ни на какое государство, кроме Англии и Гишпании, не имела столь сильного влияния, как на Россию. В том-то я с тобою и не согласен. Конечно, торговля, как и на всякое другое государство, имела влияние и на наше отечество, но сие влияние не может сравниться с тем, которое она имела на Англию, Голландию, Францию, Гишпанию и Италию. Чтоб в сем увериться, нужно только бросить взор на торговлю сих государств и нашего отечества. Ибо нельзя сказать, чтоб торговля у нас находилась в цветущем состоянии; но можно сказать, что она приходит ежегодно в лучшее состояние. Следственно, российская торговля, не будучи довольно обширна, не могла и иметь великого влияния на силу и благосостояние государства. Притом можно видеть еще не вовсе цветущее состояние торговли и по малому числу купцов (хотя с некоторого времени оно и удивительно увеличилось). Между тем как во Франции, Голландии и Англии оно удивительно велико. Там все почти предаются спекуляциям. Но довольно об сем.

Ты хочешь, чтоб я написал тебе цель моей Истории Петра Великого. Цель моя есть написать верную и беспристрастную Историю Петра 1-го. Но я не имею никакой предначертанной идеи, сочиняю Ист(орию) Петра. Вольтер, который имел в предмете представить быстрое преобразование России, исполнил свою историю<sup>1</sup> натяжками и представил Россию прежде слишком грубую и потом слишком образованную. Т. е.: он в своей истории a fait de l'esprit, et l'a remplie de belles phrases.<sup>2</sup>

Что же касается до моего плана, то я его тебе напишу, но в другой раз, ибо теперь уже смеркается и я едва вижу. Но еще несколько слов.

Отдам тебе отчет в моих занятиях, относящихся до Ист(ории) Петра Великого, дабы ты не подумал, что я ленюсь, или что мое усердие охладело. С тех пор, как я сюда приехал, я уже прочел всю историю Польши и сделал из нее выписки, нужные для моей Истории Петра 1-го. Теперь начал читать Австрийскую историю, но выписок еще не делал, завтра намерен это начать. Потом прочту и выписки сделаю из истории Турции, потом из истории Швеции и, наконец, из Венецианской. После сего, наготовив таким образом нужные материалы, буду продолжать Историю Петра и постараюсь описать хорошенько союз России, Австрии, Польши и Венеции против Турков, войну ими ведомую и, наконец, взятие Азова.

Посылаю тебе Руссо Le Contrat Social.<sup>3</sup> С нетерпением ожидаю твоего письма, надеюсь, что ты не поленишься мне написать как можно более.

Прощай — преданный твой Александр Кошелев.

9 июля. Село Ильинское.

#### Приписка А. Норова

Очень благодарю вас, любезнейший Иван Васильевич, за ваше приятное письмо. Оно доставило мне много удовольствия, во-первых, известием, что вы здоровы, а во-вторых, описанием забавного и торжественного празднества в Университете.<sup>4</sup> Вы очень живо в нескольких словах описали портрет Шлецера и, читая про него, я готов был нарисовать его колоссальную фигуру на ораторской кафедре. — Но опасность, которой вы подвергались в собрании ученых мужей, превосходит ту, которая мне угрожала на *живом мосту*: я рисковал утонуть, а вы подвергали себя медленной смерти от тесноты, духоты и скуки. Хвала и слава гению, который извлек вас из сей пучины! Но я заставляю читать вас пустые шутки. Скажу что-нибудь подель-



нее: из письма Кошелева вы видите, как он прилежен. Он каждый день заставляет меня стыдиться самого себя. Я принялся также за свой труд, т.е. перевод известной вам комедии,<sup>5</sup> но в две недели продвинулся вперед только 49-ю стихами. Прощайте. Надеюсь, что не оставите меня уведомлением о себе. — Преданный вам А. Норов.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 115—116 об.

Приписка А. С. Норова позволяет определить год письма. Норов упоминает опасность, угрожавшую ему «на живом мосту» и уже описанную им в письме Киреевскому от 25 июня 1822 года (см. прим. 1 к письму 1).

<sup>1</sup> Речь идет о книге Ф. М. А. Вольтера: «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand», впервые изданной в Женеве в 1759—1763 годах и многократно переиздававшейся.

<sup>2</sup> блеснул остроумием и наполнил ее красивыми фразами (фр.). В рукописи описка: «a fait de l'esprit, en l'a remplie de belles phrases».

<sup>3</sup> Книга Ж.-Ж. Руссо «Le Contrat social» («Общественный договор»). Первое изд.: Amsterdam, 1762; позднее многократно переиздавалась, в том числе в Париже в 1820 и в 1822 годах.

<sup>4</sup> Вероятно, в письме Норову Киреевский описывал ежегодное торжественное собрание Московского университета, которое в 1822 году состоялось 4 июля (см.: [Речи, отчет и стихи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 4 июля 1822 г. М., 1822]. В издании приведена речь Х. А. Шлецера, выступавшего в этот день).

<sup>5</sup> Норов имеет в виду свою комедию «Фарисеев, или Лицемер» (перевод комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф»). В 1828 — 1829 годах Норов, как следует из его писем Кошелеву, пытался напечатать «Фарисеева» (РГАЛИ. Ф. 390. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 5 об., 41, 45—45 об., 53). В 1831 году комедия была поставлена в Петербурге.

#### 4

#### Любезный Иван Васильевич!

Я имел удовольствие получить твое письмо. Крайне сожалею, что до сих пор еще не отвечал, но Александр Сергеевич тебе скажет, мне мало было свободного времени: сестрицы пробыли здесь целый месяц, а теперь (т. е. с 15 августа) насел я на естеств(енное) и римск(ое) права и на прочию экзаменскую дрянь. Притом должен тебе признаться, что твое письмо меня рассердило: твоя чрезмерная скромность несносна. Как ты не хочешь ни в чем испытать своих сил. Я же очень доволен тем, что начал писать Историю Петра Вел(икого): я приобрел такой навык, что то, что прежде мог я написать только в два три дни, теперь в один. Притом я привык рассматривать происшествия и замечать их последствия. Слог же мой, кажется, ежедневно более и более обрабатывается, и мысли мои объясняются. Избрав себе предводителем Робертсона, я смело иду своим путем. Теперь я уже описал вступление России в общий союз Австрии, Польши и Венеции против Турции и состояние как союзных держав, так и Турции. Все сие я уже окончил, попотев над сим целых два месяца. Я хотел это хорошенько обработать, а особливо состояние государств. Теперь надобно мне приступить к описанию войны, в продолжении которой Азов был взят русскими, австрийцы завладели остальную часть Венгрии и Трансильванию, поляки — Подолию и Волынь и Венециане — Морею и Далмацию. Сия война, которая крайне ослабила Оттоманскую Порту и после которой Европа престала опасаться могущества Турции, требует искусного и прагматического описания.<sup>1</sup>

Мнения наши о торговле все еще не согласны. Я предвижу долгие и жаркие споры и посему оставляю о сем поспорить до первого нашего свидания.

Как мне грустно расстаться с Александром Сергеевичем. Мы уже так привыкли жить вместе, что не хочется и разлучиться. Мы вместе с ним занимались: я своим Петром Великим, а он своим Tartufe и Певцом Пустынником. Но я должен тебе пожаловаться на Александра Серг(еевича): он очень ленив. В два месяца, которые он у меня пробыл, только перевел одну сцену Фарисеева и сочинил куплетов 6 или 7 Певца Пуст(ынника).<sup>2</sup>

Через три недели мы увидимся, любезный Киреевский. В половине сентября мы намерены быть в Москве, но для чего? Отгадай. Для проклятого экзамена.<sup>3</sup> С половины сентября до конца ноября я посвящаю экзамену. Жаль, что так много времени пропадет понапрасно; mais il faut se soumettre a la destinée.<sup>4</sup>

Опиши мне подробно, любезный Иван Васильевич, что ты делаешь, каково идут твои экзаменские приготовления, что делает наш Цицерон и Гораций в одном человеке соединенные (т. е. Мерзляков).<sup>5</sup> Скажи также, что читаешь. Я же роюсь в Прокоповиче,<sup>6</sup> Голикове и подобном народе и иногда прибегаю и к твоему Геерену, скажи, не нужен ли он тебе.

Кроме сих книг, я читал еще (также для Петра) *Histoire de la Maison d'Autriche*.<sup>7</sup> По моему мнению, хорошая, и в ней видна тень робертсоновского гения.

Прощай, мое письмо уже и так довольно длинно.

Как я рад, милый Александр Норов еще остается на несколько дней по причине дурной погоды.

А прогос. Какое у нас случилось несчастье. Милка, мать твоей собаки, укушена бешеною собакою; теперь она у какой-то лекарки за 25 верст. Ожидаем успехов лечения.

Прощай, ожидаю от тебя длинного письма.

Истинно тебя любящий Алекс(андр) Кошелев.

22 августа 1822 года. Село Ильинское.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 1—2 об.

<sup>1</sup> Возможно, изучение участия России в войне Австрии, Польши и Венеции против Турции в ходе работы над «Историей Петра Великого» подтолкнуло Кошелева к написанию сочинения «О могуществе и упадке Турецкой империи», которое, согласно письмам А. С. Норова к нему, было завершено к февралю 1823 года. Сосредоточенность Кошелева на занятиях историей Турции обусловлена, по-видимому, тем, что в Архиве Коллегии иностранных дел ему был поручен разбор дипломатических сношений с Турцией (*Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 66—67).

<sup>2</sup> Сведений о произведении Норова «Певец Пустынный» найти не удалось.

<sup>3</sup> «Комитетский» экзамен, необходимый для поступления на службу по указу от 8 августа 1809 года, Кошелев и Киреевский сдавали в декабре 1822 года; указание Кошелева на 1824 год (*Кошелев А. И.* Записки. С. 13) ошибочно. Сохранились аттестаты «об испытаниях при Московском университете» Кошелева (ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 119. Д. 403) и Киреевского (Там же. Д. 404). Фрагменты аттестата, полученного Кошелевым 11 декабря 1822 года, приводит Колупанов (см.: *Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 18).

<sup>4</sup> но надо покориться судьбе (фр.).

<sup>5</sup> Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), с 1804 до 1830 года занимал в Московском университете кафедру российского красноречия и поэзии. Кошелев и Киреевский брали уроки у Мерзлякова и на его уроках познакомились (см.: *Кошелев А. И.* Записки. С. 12—13).

<sup>6</sup> Речь идет о книге: *Феофан Прокопович.* История императора Петра Великого, от рождения до Полтавской баталии... СПб., 1773.

<sup>7</sup> Кошелев имеет в виду книгу английского историка В. Кокса (Coxe William) «History of house of Austria» (1807). Французский перевод книги вышел в Париже в 1810 году.

## 5

Везде приятно получать письма от друзей своих, но в деревне, любезный Киреевский, вдвое чувствуешь это удовольствие. Вчера получил я от тебя письмо, и сердце деревенского жителя крайне порадовалось, что рассеянный москвитянин не позабыл его. Я очень рад, что ты занимаешься; надеюсь, когда отрывок твой будет готов, ты не замедлишь его ко мне прислать. Что касается до меня, то я здесь очень приятно провожу свое время. Встаю регулярно в 6 часов, занимаюсь до 12; обедаю в 2 часа, после обеда читаю, а в 7 иду гулять и в 10, возвратившись домой и поужинав, ложусь спать.

Что за разница между московским воздухом и деревенским! Теперь сижу я подле окошка, пишу к тебе, а между тем обоняние мое наслаждается ароматом синелей,<sup>1</sup> черемухи и др. Здешний воздух имеет какую-то свежесть, которая наполняет душу неизъяснимо приятными чувствами.

Теперь я читаю Вольтерову Всеобщую историю.<sup>2</sup> Прошлого года я ее было начал читать, но она мне очень не понравилась. Нынешний год перечитываю ее с великим удовольствием и нахожу тьму прекраснейших идей. В целом она нехороша. В ней нет ни порядка, ни связи. На каждой странице находишь насмешки, остро-ты, неблагопристойности, совсем неприличные для Истории. Но творение его кипит мыслями, и мыслями важными. Его Историю нельзя взять себе за образец, но очень приятно и полезно раза два ее перечитать.

Когда важное мне наскучит, я беру его Сказки, и с великим удовольствием читал я Задига, Микромегаса, Принцессу Вавилонскую, но другие наполнены гадостями и такими насмешками, которые исполняют читателя негодования к автору. Он слишком унижает человечество и осмеивает самые священные вещи. Можно им не верить, но зачем тем оскорблять других, которые в то имеют теплую веру.

Адам Смита я читаю каждый день по главе, и прочитав, об важных предметах пишу рассуждения. По утрам пишу Стрелецкий бунт, но что-то он тихо едет.

В дальнюю деревню не знаю когда едем, однако ж думаю, что через две недели нас уже здесь не будет.

Что делает Ходаковский?<sup>3</sup> Если его увидишь, поклонись ему от меня. Поклон Бекстеру.<sup>4</sup>

Посылаю к тебе Вауле.<sup>5</sup> Прощай! Не позабывай меня, пиши чаще и больше. Ответа на вопрос еще не приготовил, но к следующему разу непременно напишу. Ожидаю от тебя ответа на заданный вопрос.

Прошу засвидетельствовать мое почтение Авдотье Петровне<sup>6</sup> и Алексею Андреевичу.<sup>7</sup>

1823 года мая 22-го дня. Село Ильинское.

Р. S. Вауле не посылаю, ибо мужик, который едет в Москву, большой пьяница, то боюсь, чтоб его не пропил.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 6—7 об.

Письмо сохранилось среди писем А. С. Норова И. В. Киреевскому.

<sup>1</sup> Синель — сирень.

<sup>2</sup> Речь идет о книге Ф. М. А. Вольтера «*Essay sur l'histoire générale, et sur les mœurs et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours*» (первое изд.: La Haye, 1757. 7 vol.), издававшейся также под названиями: «*L'Histoire universelle depuis Charlemagne jusque'à Charlequin...*» и «*Essay sur l'histoire universelle depuis Charlemagne...*».

<sup>3</sup> Ходаковский — Доленга-Ходаковский, Зориан; наст. имя Адам Чарноцкий (1784—1825) — археолог и этнограф. С 1821 года изучал в Москве карты России по данным межевой канцелярии. Сведения о знакомстве Ходаковского с братьями Киреевскими, которые помогали ему разбирать материалы, собранные в археологическом путешествии по России, сохранились в дневнике проф. Московского университета И. М. Снегирева, дававшего уроки обоим братьям, и в неопубликованной переписке П. В. Киреевского (Дневник Ивана Михайловича Снегирева. М., 1904. Т. 1. С. 10; *Парилова Г. Н., Соимонова А. Д.* Указ. соч. С. 19).

<sup>4</sup> Вероятно, Бякстер Яков Николаевич (Baxster James; 1789—после 1855). Родился в Шотландии, с 1821 года жил в России. В 1820-х годах преподавал английский язык и английскую словесность в Московском университетском благородном пансионе и Московском университете, в последующие годы служил в Петербурге. В начале 1820-х годов Киреевский и Кошелев изучали английский язык (см.: *Колюпанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 16), что, возможно, и послужило причиной их знакомства с Бякстером. Сохранились письма Бякстера Киреевскому (РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 45).

<sup>5</sup> Бейль Пьер (Baule P.; 1647—1706) — французский философ, автор «*Dictionnaire historique et critique*», впервые изданного в Роттердаме в 1696 году и неоднократно переиздававшегося. В 1820 году был переиздан в Париже в 16 томах.

<sup>6</sup> Авдотья Петровна Елагина (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская; 1789—1877) — мать И. В. и П. В. Киреевских. Уже после смерти Киреевского Кошелев продолжал с А. П. Елагиной многолетнюю переписку (см.: *Колюпанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 13—14, 264—265).

<sup>7</sup> Алексей Андреевич Елагин (1790—1846) — отчим И. В. и П. В. Киреевских.

## 6

Село Ильинское Июня 4 дня 1823 года.

Не знаю как тебя благодарить, Любезный Киреевский, за три письма, которые ты ко мне написал, и чем заслужить прощение за мою лень. Признаюсь, я несколько дней совершенно изленился и ничем почти не занимаюсь. На сих днях я крайне был обрадован нечаянным приездом Александра Сергеевича. Он приехал проводить меня в дальнюю деревню. Грустно, очень грустно надолго расставаться с другом и каждый час, который мы проводим вместе, приближая минуту разлуки, уносит удовольствие нашего свидания.

Ты советуешь мне привести в систему Адам Смита, нет, любезный Киреевский, это предоставляю тебе. Ты ею более занимался, более об ней писал и рассуждал. Право, Киреевский, потрудись над этим. Я уверен, что ты отделаешь славно это дело, и если б я имел над тобою власть, то бы принудил тебя писать, ибо очень жалко, что с твоими способностями ты проводишь время в бездействии. Брось лень свою, бери перо, пиши о просвещении и присылай на суд Смыковского Зоила, Александра Ивановича Кошелева.

С нетерпением ожидаю от тебя отчета об книге о завоеваниях и деспотизме.<sup>1</sup> Я совсем не знаю этой книги. Что касается до меня, я читаю теперь кроме Волтеровою всеобщей Истории и Адам Шмита, я читаю *Principes philosophiques de Weiss*.<sup>2</sup> Прелесть что за книга. Откровенность, с которой он пишет, особенно заставляет его любить. Как натурально он говорит: «Сперва, когда я вышел из Университета, я почитал себя мудрецом, но вскоре узнал, что я человек весьма обыкновенный. Я испытал великие несчастья и сделался врагом человечества, почитаю их виновниками всего мною претерпеннаго. Вскоре я зачал думать: неужели я один несчастлив, меж тем как другие наслаждаются счастьем, начал учиться познавать людей и вскоре увидел, что они столько же несчастливы и столько же имеют неудовольствий, как я. Я начал разыскивать причины моих несчастий и нашел, что, по большей части, сам был виною оных. Посему в молодости я смотрел на людей как на братьев, в совершенных летах не терпел их как виновников моего несчастья, в старости смотрел на них с снисходительностью как на существа слабые, имеющие и пороки, и добродетели, о коих более надлежит жалеть, нежели на них негодовать».

Довольно! Я было так расписался, что готов был перевести всю книгу. Советую взять ее у Бувата<sup>3</sup> и прочесть.

Погода у нас прекрасная, хотя сначала было угрожала засуха, но дня с три шел дождь, а теперь опять солнце и прелестная погода.

Завтра едем в Смыково. Не знаю, когда оттуда возвратимся. Пиши, сделай милость, чаще, я же обещаю не быть столь ленивым и частыми посланиями наскучу тебе до смерти.

Отправляясь в дальнюю деревню, я беру с собою только томов двадцать. Беру: Адам Смита, из которого намерен там высосать все хорошее. Антенорово путешествие,<sup>4</sup> по причине Фукидида,<sup>5</sup> которого буду там переводить, 5 томиков *Etui bibliothèque*,<sup>6</sup> которые ты мне дал, 4 тома Волтера и друг. Обо всем, что буду читать, буду тебе отдавать подробный отчет.

Если будешь покупать Адам Шмита, то купи перевод *du Citoyen Blavet*. Он несравненно лучше и часто показывает, что прежний переводчик Roucher не понимал Адам Шмита. Притом, Blavet получил письмо от Шмита, который его благодарит за перевод его творения и говорит, что все прежние переводы не верны и дурны.<sup>7</sup>

Ну, любезный Киреевский, можешь ли теперь жаловаться на мою лень. Но боюсь, чтоб все же не стал жаловаться на плодovitость мою и поставишь меня на ряду с болтуном Ходаковским.<sup>8</sup>

Прощай.

Кошелев.

Вот мой адрес: *Рязанской губернии, в город Сапожек, а оттуда в село Смыково.*

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 3—4 об.

<sup>1</sup> Вероятно, книга, упоминаемая Кошелевым, написана под влиянием статей О. Тьери и разрабатывает «теорию завоеваний», согласно которой борьба сословий восходит к акту завоевания, к борьбе завоевателей и покоренных. Такова, например, книга Ф. Гизо «Du Gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère actuel» (1820), о которой Тьери говорит как о событии в развитии «теории завоевания» (см.: *Резов Б. Г.* Французская романтическая историография. Л., 1956. С. 179).

<sup>2</sup> Речь идет о книге Ф.-Р. Вейса «Principes philosophiques, politiques et moraux» (1785). На популярность книги указывает ее 8-е издание в 1819 году. Смысловые параллели между предисловием к книге и фрагментом письма позволяют заключить, что Кошелев пересказывает первые страницы предисловия.

<sup>3</sup> Буват (Bouvat J.) — содержатель кабинета для чтения в Москве, располагавшегося на Петровке в доме Решетникова (см.: Московский телеграф. 1827. Ч. XX. № 6. С. 245—246).

<sup>4</sup> Имеется в виду книга Э. Ф. Лантье «Voyages d'Anténor en Grèce et en Asie, avec des notions sur l'Égypte, manuscrit grec trouvé à Herculanum, traduit par É.-F. Lantier...», многократно издававшаяся в начале XIX века.

<sup>5</sup> В начале 1820-х годов Кошелев, читая «греческих классиков почти без лексикона», «перевел несколько книг Фукидидовой истории Пелопонесской войны» (см.: *Кошелев А. И.* Записки. С. 10).

<sup>6</sup> Кошелев упоминает издание «Etui-Bibliothek der deutschen Classiker», выходявшее в 1812—1818 годах в Ахене, затем в Гейльбронне, Цвиккау и Ронебурге. Название серии (Etui — футляр, портсигар), вероятно, подсказано размером книг — 10 см.

<sup>7</sup> Кошелев пишет об издании: *Smith A. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations: Traduit de l'anglais d'Adam Smith, par le citoyen Blavet. Paris, 1800—1801.* В предисловии Блаве критикует изданный в 1790 году перевод Руше и приводит полученное им самим благодарственное письмо от Адама Смита.

<sup>8</sup> О восприятии Ходаковского в семье Киреевского свидетельствует запись от 22 марта 1823 года в дневнике И. М. Снегирева: «...зашел к Киреевским поздравить И. В. с его рождением, они жаловались на долготерпение Ходаков(ского) и хвалились своим долготерпением» (Дневник Ивана Михайловича Снегирева. М., 1904. Т. 1. С. 10).

## 7

Село Смыково 1823 года июня 12.

Любезный Киреевский! После четырехдневного странствия мы приехали в Смыково. Пу(те)шествие это меня крайне позабавило. Очень интересно было для меня видеть по мере, как я удалялся от Москвы: невежество и унижение более и более увеличива(е)тся. Не доезжая до Смыкова верст за 20, в деревне Пустотине гр. Чернышева<sup>1</sup> я был поражен удивлением скотским состоянием мужиков. Спрашиваю у них, они ничего не отвечают и бегут от нас далее. Я думал, что я приехал в страну диких. Так нечистоплотны, что рубашки и лица их имели один цвет с землею. Я не мог вообразить себе, чтоб в России были бы такие твари, не могу сказать *люди*, ибо они не достойны сего имени. Еду далее и вижу опять мужиков как мужиков, спрашиваю, они отвечают и доволь(но) умно. Тут я узнал, от чего в Пустотине крестьяне в таком *abrutissement*.<sup>2</sup> Тут три завода, и гр. Чернышев так угнетает народ, что ежедневно гоняет на работу всех поголовно с 7-летнего возраста. Вообрази себе какое тиранство!!!

Сей раз пишу к тебе наскоро. С другой почтою получишь от меня предлинное письмо.

Прощай, не забывай того, который сердечно тебя любит.

Кошелев.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 7—8.

<sup>1</sup> Согласно данным фонда Главного выкупного учреждения Министерства финансов, село Пустотина Рязского уезда Рязанской губернии в середине XIX века принадлежало двум владельцам: Вере Григорьевне Пален (РГИА. Ф. 577. Оп. 32. Ед. хр. 2042) и Екатерине Никитичне Муравьевой, которой оно досталось от отца — Никиты Михайловича Муравьева (РГИА. Ф. 577. Оп. 32. Ед. хр. 1980). Н. М. Муравьев был женат на Александре Григорьевне Чернышевой — родной сестре Веры Григорьевны Пален, урожденной Чернышевой. Можно предполо-

жить, что владельцем с. Пустотина в начале 1820-х годов был их отец — обер-шенк Высочайшего двора Григорий Иванович Чернышев (1762—1831).

<sup>2</sup> отупение, огрубление (фр.).

## 8

Сего 29 июня 1826 года.

Чувствительно благодарю тебя, любезный Киреевский, за милое письмо твое и за намерение твое одолжить меня присылкою Донесения,<sup>1</sup> но теперь оно мне уже не нужно: был Норов, мне уже оно доставил.<sup>2</sup>

Очень больно мне было видеть в списке подвергающихся Уголовному суду имена тех, которых я люблю и почитаю. Каково будет осуждение? Без сомнения, весьма строгое, ибо будут судить по русским законам, которые, как известно, не шутят. Касательно донесения, я его читал и перечитывал, и чтение оно было для меня не без пользы. При свидании переговорим и сообщим друг другу сделанные замечания.

Норов обрадовал меня присылкою Рассуждения Давыдова о возможности философии как науки.<sup>3</sup> С большим удовольствием читал я оное: жар, с которым о(н) говорит о науке, глубокомыслие и полнота его мыслей обещают нам в нем самодумца и писателя, взирающего на любомудрие, как на творение свободы. Кой в чем я с ним не согласен. При свидании, а может быть, и в следующем письме, сообщу тебе мои замечания. Два места я не понял и очень бы желал, чтобы он мне их изъяснил, ибо не смысл темен для меня, но не понимаю, откуда он вывел эти понятия. Теперь не расположен расплодаться в сем письме, ибо после нескольких часов занятий хочется погулять, а через час едут в Москву.

С нетерпением желаю прочесть твое сочинение о добродетели. Предмет, еще мало обработанный с той точки, на которую поставил ее Трансцендентальный Идеализм, единственное любомудрие, могущее развернуть нам мысль добра.

Чувствительно ты бы одолжил меня, ссудив на три или четыре дни: Schelling's Über der Form der Philosophie überhaupt.<sup>4</sup> По теперешним моим занятиям она мне очень нужна. Мне кажется, что у тебя ее нет, то нельзя ли взять у кого. Через четыре, много пять, дней будет тебе в верности возвращена.

Скажи, отдал ли Титову Лаокоона?<sup>5</sup> Ты, чудак, пожалуй позабудешь.

Не знаю, когда буду в Москве: по службе не требуют, а по доброй воле, ты знаешь, что я не люблю оставлять своего уединенного угла. Пожалуй, пиши ко мне: сообщай свои замечания, открытия, слышанные новости (т. е. интересные и верные, ибо иначе Москва болтушка, и если б взял на себя труд писать все говоренное ею, то бы я тем лишился удовольствия иметь известия о твоём индивидуе, которому свидетельствуя мое почтение желаю здравие и многолетие).

Кошелев.

Если захочешь прислать мне книгу, о котор(ой) я тебя прошу, то с сею оказию, ибо она верная.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 5—6 об.

<sup>1</sup> Имеется в виду «Донесение Следственной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах его императорскому величеству» (СПб., 1826), прибавление к которому содержало «Список лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду, в силу Манифеста от 1-го числа июня сего 1826 года».

<sup>2</sup> Брат А. С. Норова В. С. Норов был арестован. Основываясь на материалах архива Кошелева, Коллюпанов пишет: «Когда в Москву присланы были 300 экземпляров донесения следственной комиссии, они были расхвачены в один день и Норовы слезно умоляли Александра Ивановича достать один экземпляр, чтобы прочесть все, касающееся арестованного В. С. Норова» (Коллюпанов Н. П. Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 174). Очевидно, Норовым удалось найти экземпляр «Донесения» прежде Кошелева.

<sup>3</sup> Кошелев имеет в виду лекцию «О возможности философии как науки», прочитанную И. И. Давыдовым 12 мая 1826 года. Считая, что «философия, в смысле науки принимаемая, есть психология, ведущая к открытию единства в знании и бытии», Давыдов подчеркивает самостоятельность своего определения (см.: *Давыдов И. И.* Вступительная лекция о возможности философии как науки, при открытии философских чтений в Московском университете... М., 1826. С. 42).

<sup>4</sup> Стремление обратиться к книге Шеллинга «О возможности формы философии вообще» (*Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt*. Tübingen, 1795), по-видимому, подсказано Кошелеву чтением лекции Давыдова. Размышляя о постановке проблемы, Давыдов ссылается на это сочинение Шеллинга (*Давыдов И. И.* Указ. соч. С. 11).

<sup>5</sup> Речь идет о трактате Г. Э. Лессинга «Laokoon, oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie» (Berlin, 1766), переиздавался в 1788 и 1805 годах.

## 9

Петербург, 29 октября.

Здравствуй, любезный Киреевский. Как давно мы с тобою не беседовали. Дороги, дела по службе и по хозяйству похищают все мое время.

Ты желал, чтобы мои письма сообщали бы тебе известия об моей особе, о том, как провожу время, что делаю, что думаю и пр. Я провожу время ни весело, ни скучно: много езжу, занимаюсь службою, делаю новые знакомства, одним словом, очень шумно и деятельно. Служу я у графа Лавала.<sup>1</sup> Занятие — редакция газеты для государя. Я думал, что это занятие очень скучно: напротив, я с удовольствием посвящаю ему свое время. Чтение двадцати или тридцати журналов, в различном духе написанных, доставляет полные и верные сведения о Европе и Америке. Первые дни я читал их медленно, но теперь уже читаю их довольно быстро.

Кроме службы читаю *Recueil de traités et actes publiés*.<sup>2</sup> Следовательно, я весь (нрзб.) ты видишь в политике.

Что ты делаешь? Какие твои планы? Не будешь ли сюда? Как в своем здоровье Авдотья Петровна и Алексей Андреевич?

Сделай одолжение чувствительно поблагодарить почтеннейшую матушку свою за участие, которое она принимала в горести моей. Истинно родственное ее расположение ко мне есть о(д)но из приятнейших воспоминаний и одна из сильнейших уз, привязывающих меня к Москве.

Скажу тебе несколько слов об Одоевском: мы друг другу очень обрадовались и обнялись, как сердечные друзья. Он со мной теперь совсем не так, как был в Москве: меж тем как он ненатурален и корчит философа с другими, он откровенен и мил со мною. Жена его очень мила. Ей лет 8 более его, но имеет лицо приятное и необыкновенно живые глаза.<sup>3</sup>

Сделай милость, милый друг, пиши ко мне! Окруженный людьми холодными, я с восторгом принимаю всякий звук, исшедший из души любящей. Не лишай меня удовольствия беседовать с тобою.

Мое почтение нижайшее матушке и батюшке твоему и усердный поклон прочему семейству.

Прощай

Весь твой Кошелев.

Вот мой адрес — в Галерной улице, в доме барона Раля, под № 214.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Л. 135—136 об.

Письмо относится ко времени начала службы Кошелева в Петербурге, что позволяет датировать его 1826 годом.

<sup>1</sup> И. С. Лаваль (1761—1846) управлял 3-й экспедицией особой канцелярии Министерства иностранных дел, в обязанности которой входило делать выписки из иностранных газет для императора. В первое время Кошелев занимался немецкими газетами, но с января 1826 года перешел на английские (см. об этом: *Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 175—176).

<sup>2</sup> Речь идет об издании: *Martens G. F. Recuei des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité... et plusieurs autres actes... depuis 1761 jusqu'à présent. Tiré des copies publiées par autorité, des meilleures coll. particulières de traités...* (Gottingue, 1791—1801) и его многочисленных продолжениях и дополнениях, выходявших в первой половине XIX века.

<sup>3</sup> Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — писатель, участник кружка Раича и председатель «Общества любомудрия», издатель альманаха «Мнемозина», сотрудник «Московского вестника». В июле 1826 года переехал в Петербург, где 17 сентября женился на Ольге Степановне Ланской (1797—1872). См.: *Турьян М. А. Странная моя судьба. М., 1991. С. 106—112.*

## 10

Петербург. 12 января.

Неужели раз в три месяца мы будем писать друг к другу, любезный Киреевский! Это досадно. Я писал к тебе тому назад месяц в ответ на письмо, где ты мне говорил о болезни Алексея Андреевича, но от тебя с тех пор не получил ни слова.

Я время свое провожу очень однообразно. Работаю, езжу изредка по скучным вечерам и гуляю по Английской набережной. Что-то ты делаешь?

Когда думаешь приехать к нам? Или не имеешь сего благого намерения? Скажи?

Мальцова<sup>1</sup> я еще не видел. С Веневитиновым<sup>2</sup> видимся в месяц раз, и то когда встретимся в обществах. Во время его болезни я был у него,<sup>3</sup> но он с тех пор как выздоровел лишь раз зашел ко мне и то не застал дома. Я очень занят и притом держусь правила, что дружественные сношения должны быть основаны на взаимности, и когда лишь одна сторона одного желает, то прочными они никогда быть не могут.

С некоторого времени я все пишу по-французски, и потому теперь как-то фразы русские не льются. Стыдно, но что делать: *avec les loups il faut hurler*.<sup>4</sup>

Скажи, любезный Киреевский, что Авдотья Петровна прикажет мне касательно 500 рублей, врученных мне господином Гонихманом.<sup>5</sup> Пересылать ли их к ней или отдать их здесь кому? Ожидаю ее приказаний.

Прошу засвидетельствовать мое нижайшее почтение твоей матушке и твоему батюшке. Тебя же прошу писать ко мне чаще и любить и жаловать истинно тебя любящего Кошелева.

Рожалину, Титову, Шевыреву, Алексею Веневитинову, Мельгунову,<sup>6</sup> и пр., и пр., и пр. усердный поклон.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 101—102 об.

Год определяется на основании содержания: упоминание о встречах с Дм. Веневитиновым, умершим 15 (27) марта 1827 года.

<sup>1</sup> Мальцов Иван Сергеевич (1807—1880) — дипломат, сослуживец Киреевского и Кошелева по Московскому архиву Коллегии иностранных дел. В марте 1827 года был переведен по службе в Петербург. Участвовал в издании «Московского вестника». О пребывании Мальцова в Петербурге в январе 1827 года см. письмо Д. В. Веневитинова к матери А. Н. Веневитиновой от 14 января 1827 года и его же письмо к М. П. Погодину от 18—22 января 1827 года (*Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980. С. 388—390*).

<sup>2</sup> Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, литературный критик, сослуживец Киреевского и Кошелева по Московскому архиву Коллегии иностранных дел, секретарь «Общества любомудрия», идеолог «Московского вестника». Как и Кошелев, осенью 1826 года (в ноябре) переехал в Петербург. О глубине общения Кошелева и Веневитинова в период их службы в Московском архиве свидетельствуют письма Веневитинова Кошелеву 1825 года (см.: *Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. С. 346—358*).

<sup>3</sup> О кратковременной болезни Веневитинова после приезда сообщает Ф. Хомяков в письме к брату, А. С. Хомякову, от 3 декабря 1826 года (Русский архив. 1884. № 5. С. 224).

<sup>4</sup> с волками нужно выть (фр.).

<sup>5</sup> Вероятно, Кошелев имеет в виду ветеринарного врача, титулярного советника Федора Ивановича Гонигмана, данные о котором приведены в книге С. Аллера «Руководство к отысканию жилищ по Санктпетербургу...» (СПб., 1824). О знакомстве с А. П. Елагиной свидетельствуют письма Федора Ивановича Гонигмана 1857—1858 годов (к этому времени, как ясно из писем, ветеринарным врачом становится его сын), адресованные близкому другу А. П. Елаги-



ной Г. С. Батенкову и содержащие упоминание о самой Авдотье Петровне и ее дочери Марии Васильевне (РГБ. Ф. 20. К. 11. Ед. хр. 5).

<sup>6</sup> Рожалин Николай Матвеевич (1805—1834) — переводчик, входил в кружок Раича и в «Общество любомудрия», близкий друг Д. Веневитинова, помощник редактора «Московского вестника» в 1826—1827 годах. Титов Владимир Павлович (1807—1891) — сослуживец Киреевского и Кошелева по Московскому архиву Коллегии иностранных дел и близкий друг обоих; член кружка Раича и «Общества любомудрия»; участвовал в альманахе «Мнемозина», входил в редакцию «Московского вестника»; впоследствии — дипломат, русский посланник в Константинополе. Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, литературный критик, историк литературы; служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, член редакции, а с осени 1827 года соредактор «Московского вестника». Веневитинов Алексей Владимирович (1806—1872) — брат Д. В. Веневитинова, переводчик, служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, дружил со многими участниками «Московского вестника». Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — писатель, переводчик, литературный и музыкальный критик, композитор; служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел.

## 11

Петербург. 22 марта.

Благодарю тебя, любезный Киреевский, за твое письмо. Наконец-то ты отвечаешь мне на три письма и ни слова не говоришь, получил ли ты их, равно как и книгу, которую я к тебе послал. Сделай милость, хотя несколько минут похитить у сна и дари меня, хоть изредка, письмами, которые бы сообщали мне известия о состоянии твоем, как нравственном, так и телесном. Если же мы будем так мало друг с другом сообщаться, то, ей-ей, раззнакоимся.

Печальное известие о смерти доброго Веневитинова живо поразило тебя. Смерть всякого человека трогает, но гибель таких талантов сокрушает всякого. Больно видеть уничтожение человека, столь много обещавшего. Не могу выразить тебе чувств моих при виде тела и во все время обедни отпевальной. Весь день я был как в землю зарытый. Ничем не мог заниматься, ни об чем не мог думать и принужден был рапортоваться по службе больным.

Теперь я начинаю приходить в себя и, чтоб отвлечься от этих печальных, мертвительных мыслей, расскажу тебе, какой переворот совершился во мне на этих днях.

Известно тебе, что с тех пор, как я в Петербурге, я ничем не занимался, кроме службы. Печаль о потере Веневитинова отторгнула меня от внешности и погрузила меня в самого себя. Я так почувствовал необходимость возвратиться в самого себя, что три дня не выходил из комнаты. Шеллинг, Окен, Вагнер<sup>1</sup> возвратились на мой стол, и я положил себе<sup>2</sup> жертвовать службе несколькими часами, но не покидать старых друзей, необходимых руководителей всей жизни. — Завтра сяду писать нечто, и если оное удастся, то будет доставлено в Москву для твоего рассмотрения.

На первый об этом довольно. Такие разные чувства волнуют меня, что едва могу писать.

Прощай.

Твой вечно. Кошелев.

Мое почтение твоей матушке и твоему батюшке, усердный поклон брату. — Титову — Рожалину — и пр.пр.пр.пр.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 103—104 об.

На основании содержания письма (переживание смерти Веневитинова) датируется 1827 годом. В дни предсмертной болезни Веневитинова Кошелев вместе с А. Хомяковым провёл «несколько суток в третьей комнате от больного, среди тревог и страхов...» (см. об этом: Кошелев А. И. Воспоминания о А. С. Хомякове // Кошелев А. И. Записки. С. 345).

<sup>1</sup> Окен Лоренц (Oken L.; наст. имя Ockenfuss было изменено самим философом; 1779—1851) — немецкий натурфилософ, последователь Шеллинга. Вагнер Иоганн-Яков (Wag-

per I.-J.; 1775—1834) — немецкий философ, последователь Шеллинга, утверждал преимущество математики перед другими науками. Из писем Веневитинова Кошелеву можно предположить, что Кошелев читал и Окена и Вагнера еще в 1825 году (см.: *Веневитинов Д. В. Стихотворения*. Проза. С. 348, 352).

<sup>2</sup> В рукописи описка: «тебе».

## 12

С. Петербург. 27 апреля 1827.

Неужели, любезный Киреевский, положено между нами писать друг к другу раз в три месяца. С месяца я написал к тебе письмо, в котором говорил я тебе о потере Веневитинова и о своем образе жизни, но ни слова от тебя в ответ. Меня начинает беспокоить: не случилось ли что с тобою? Не возобновилась ли болезнь батюшки твоего или не занемогла ли матушка твоя? Здоров ли ты сам? Или лень мешает писать тебе, в этом случае, признаюсь, крепко на тебя рассержусь, ибо жестоко так друзей своих позабывать.

Мне очень хочется знать твои занятия, твои проекты: неужели все остаешься в Москве, неужели безумствуешь по-прежнему и едешь в Одессу.<sup>1</sup> Приезжай сюда, любезный друг. Здесь ты достигнешь цель свою одесскую столь же хорошо, как если б ты был в пустыне африканской, или даже лучше, ибо если развлечение вредно для занятий, то совершенное уединение нисколько ему не полезно. Человек рожден, чтоб сообщаться, ему это столь же необходимо, как пить и есть. Я очень доволен своим пребыванием в Петербурге; я соединил уединение со светскостью. Много сижу дома; имею довольно свободного времени от службы; занимаюсь пристально; езжу сколь возможно реже на шумные сборы, но посещаю с удовольствием добрых приятелей. Мы часто собираемся у Одоевского. Хомяков (поэт),<sup>2</sup> Мальцов и я съезжаемся к нему и проводим в(м)есте приятные вечера. Я познакомился с Веланским;<sup>3</sup> но как я его еще мало знаю, то позволь удержаться от обсуждения его. С Одоевским я более сблизился и нашел в нем много хорошего. Его надобно узнать, надобно проникнуть сквозь несколько (нрзб.) внешностей, и в нем увидишь иного человека, нежели сперва полагал. Впрочем, здесь он совершенно переменялся. Он никого не корючит и вообще очень мил. Я его очень полюбил.<sup>4</sup>

Не буду говорить тебе о своих занятиях, ибо хочу сперва знать, жив ли ты. Я приобрел кой-какие книги, которых я давно тщетно искал. Но об них в другой раз. Скажу тебе лишь одно. Я читаю теперь бесценную книгу — Schelling's Religion und Philosophie.<sup>5</sup> Я достал ее случайно. Мне обещали другой экземпляр. В этом случае доставлю тебе его.

Прошу тебя засвидетельствовать мое нижайшее почтение твоей матушке и батюшке и уверить их, что я всегда с особенным удовольствием вспоминаю о милостивом, истинно родственном их расположении ко мне.

Прощай, любезный друг! Дай весточку о себе: ей-ей несносно быть столь долго без вестей.

Прощай еще раз.

Весь твой Кошелев.

Скажи мне, когда будет сюда Титов?<sup>6</sup> Очень желал бы его видеть. Усердно поклонись ему от меня и попроси его, чтоб не забыл меня, когда сюда придет.

Поклонись Алексею Веневитинову и Рожалину и крепко обними их за меня.

Поклонись тоже Шевыреву, Мельгунову и всем, кто обо мне помнит.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 105—107 об.

<sup>1</sup> О намерении Киреевского ехать в Одессу найти сведений не удалось.

<sup>2</sup> Речь идет об Алексее Степановиче Хомякове (1804—1860) — поэте, впоследствии богослове и философе. В 1827 году Хомяков был уже автором трагедии «Ермак» (1825).

<sup>3</sup> Велланский Даниил Михайлович (1774—1847) — профессор физиологии Медико-хирургической академии, один из первых в России распространитель натурфилософии Шеллинга; лекции, которые он читал начиная с 1805 года, пользовались огромным успехом. Среди слушателей его публичных лекций, прочитанных в 1830 году, был Кошелев. Первое впечатление о встрече с Велланским он описал в письме к матери от 15 марта 1827 года: «Велланский очень прост в обращении и очень любит, когда к нему обращаются молодые люди. Он очень сочувствует молодости и предсказывает ей очень лестное будущее» (*Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 201).

<sup>4</sup> Об изменении отношения Кошелева к Одоевскому после переезда их обоих в Петербург свидетельствует также письмо Кошелева к матери от 28 мая 1827 года: «Назад тому несколько времени я признался Одоевскому, что не любил его и он был даже мне противен, — я принимал его за человека гордого, пустого; теперь вижу, что это совсем другой — прекрасный человек» (Там же. С. 99).

<sup>5</sup> Кошелев имеет в виду книгу Шеллинга «Philosophie und Religion» (Tübingen; Gotta, 1804).

<sup>6</sup> В. П. Титов приехал в Петербург, вероятно, в самом конце апреля 1827 года. В альбоме, который Киреевский подарил Титову 28 февраля 1827 года, за посвящением Киреевского следует позднейшая запись самого Титова: «Написано в Москве Иваном Васильевичем Киреевским на 20-й день моего рождения... меньше двух месяцев до переезда моего оттуда в Петербург, куда меня отправили к Дм. Вас. Дашкову (дядя Титова — с 1826 года товарищ министра внутренних дел. — *Е. Л.*) для определения на службу в Азиатский департамент» (см.: Русский архив. 1895. Т. 1. С. 105—106). Между тем, как свидетельствует публикуемое письмо Кошелева, 27 апреля Титова еще не было в Петербурге.

## 13

1 июля СПб.

Письмо твое, милый Киреевский, очень меня обрадовало. Я начинал думать: неужели шестимесячное отсутствие уже изгладило меня из памяти твоей. Сколь ни грустна была сия мысль, едва, едва мог ее отдалить от ума моего. Очень бы желал, чтобы возобновились между нами теперь сношения письменные, которые мы взаимно вели во время летних моих поездок в деревню.

Чувствительно одолжишь, подробно описав свои занятия. Кой-что я уже знаю о твоих подвигах. По милости Титова я ведаю: ты рыцарствуешь верхом. Воображая тебя на коне, не могу воздержаться от смеха. Помню, как ты мужествовал на корде в манеже. Ты говоришь, что читаешь мало, да что же ты делаешь? Неужели все только куришь, пьешь кофе или какао и всходишь и нисходишь по своей лестнице. Это очень не идеально. Извини, я позабыл: ты пиитствуешь. Честь имею тебя поздравить с новою страстью. Желая, чтобы сия мания столь же скоро миновала, как и прочие безрассудные твои<sup>1</sup> предприятия.

На сих днях мы с Титовым много говорили о тебе. Пора бы тебе, любезный друг, перестать ребячиться, выбрать поприще и постепенно подвигаться на нем, не развлекаясь беспрестанно то в ту, то в другую сторону. Если б я не знал тебя, если б я не был уверен в благородности и возвышенности чувств твоих, то не дерзнул говорить тебе языком правды. Ты вообразил себе, что есть нечто пиитическое в пренебрежении судьбы своей и в предоставлении обстоя(тель)ства(м) направлять поступки твои.<sup>2</sup> Лень украшает мечты сии и соделывает их идолами твоими. Но будь уверен, что ты не нерешителен и не ленив. Ты сие лишь вообразил себе, и жизнь, которую ты доселе вел, не дав(ала) тебе случая испытать своего характера, ты думаешь, что бездейственность твоя стихия. Необходимо тебе выйти из того состояния ничтожества, в котором ты теперь губишь свои способности. Кабинет никогда тебя не образует. Человеку необходимо сообщение с людьми. Шеллинг действует на собратий своих литературою; Гете — искусством; Каннин<sup>3</sup> — государство управлением; различны средства, цель едина. Я испытал на опыте, что долгое удаление от людей притупляет способности, угасает рвение и предает лени. Итак, Киреевский, если ты хранишь ко мне дружбу, которую ты начал ко мне во время нашего сообще-

ния в Москве, скажи: решился ли на что-нибудь относительно будущего поприща. Или еще все в неизвестности. Я бы очень желал, чтобы приехал сюда и избрал род службы, который будет по тебе. Я уверен, что не только твоя матушка не против этого, но сильно поддержит меня. Я знаю ее любовь к тебе и уверен в ее самоотвержении.

Мы довольно часто видимся с Титовым. Он очень занят службою, и я радуюсь за него. Он сделан столоначальником и будет иметь тысячи полторы жалования. Истинно славный надежный малый.

Мальцова мы совсем не видим. Он занимается лишь одеянием, сделался франтом беспощадным. Бывает лишь на гуляниях и в театре и видится лишь с портными, сапожника(ми), парикмахерами, и пр. пр.

Одоевский живет в деревне. Мы к нему ездим часто. Славный он малый. Я его очень полюбил.

Вот тебе отчет о наших знакомых. О себе в следующем письме.

Весь твой, Кошелев.

Нижайшее почтение матушке и батюшке твое(му) и усердные поклоны брату и сестрице<sup>4</sup> тво(ей).

Мой адрес: В *Галерной* улице, в доме *Барона Шабо*, прежде бывшем г-жи *Алексеевой*, вход с *Крюкова канала*.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 110—110 об., 134—134 об.

В конце л. 110 об.: «Я бы очень желал, чтобы приехал сюда и избрал род службы, который будет по тебе». В начале л. 134: «Я уверен, что не только твоя матушка не против этого, но сильно поддержит меня». Датируется 1827 годом на основании ответного письма Киреевского от 18 июля 1827 года (РГБ. Ф. 99. К. 7. Ед. хр. 49. Л. 3—7 об.). Опубликовано без указания даты: Русский архив. 1909. № 5. С. 572—575; *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. / Под ред. А. И. Кошелева. М., 1861. Т. 1. С. 10—14; *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 8—11. Листы письма разъединены: л. 110 оказался между листами письма от 8 июня 1828 года. Но совпадение чернил и почерка (почерк Кошелева варьируется в письмах одного периода) заставляет рассматривать л. 110 и л. 134 как фрагменты одного текста. Это подтверждает смысловое единство восстановленного письма. Мысль о самоотвержении Авдотьи Петровны в начале л. 134 естественно воспринимается как аргумент в пользу переезда Киреевского в Петербург, о необходимости которого Кошелев рассуждает в конце л. 110 об.

<sup>1</sup> В рукописи: «...твои безрассудные твои предприятия».

<sup>2</sup> На эти упреки в письме от 18 июля Киреевский отвечал: «Вы (т. е. Кошелев и Титов. — *Е. Л.*) думаете... что я произвольно предоставил обстоятельствам направлять свои поступки по воле случая и оправдываю это состояние (которое ты справедливо называешь состоянием ничтожества) тем, что в нем есть нечто поэтическое. Но в самом деле не знаю я: есть ли поэзия в произвольной утрате самобытности; знаю только, что я не искал *такой* поэзии» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 9).

<sup>3</sup> Каннинг Джордж (Canning J.; 1770—1827) — английский государственный деятель; с 1827 года — глава кабинета. Проводил политику невмешательства, в результате которой Англия вышла из Священного союза. Позднее, вспоминая о разговорах в салоне Е. А. Карамзиной в конце 1820-х годов, Кошелев писал: «...важные события у нас и в Европе, особенно действия тогдашних великих государственных людей Англии Каннинга и Гускиссона, составляли чаще всего содержание наших оживленных бесед» (см.: *Кошелев А. И.* Воспоминания о А. С. Хомякове // *Кошелев А. И.* Записки. С. 346).

<sup>4</sup> Сестра И. В. и П. В. Киреевских — Мария Васильевна Киреевская (1811—1859).

С. Петербург 17 сентября.

Здравствуй, милый Киреевский!

Если еще к тебе не писал, то это не от того, чтобы я о тебе не думал: напротив, часто ты занимал ум мой, и наши последние разговоры не преставали возрождаться в памяти моей. Не буду тебе говорить ни об обществе моем в дилижансе, ни о том, как я здесь провожу время: одно слишком уже старо, а другое может быть отложено для следующего раза. Побеседуем о деле более интересном.

Приехавши сюда, мы много говорили с Титовым о Вестнике. Я очень был рад, что он уже написал и послал в Москву меморию<sup>1</sup> свою. Я думал, что много добра она сделает и что на будущий год соединенными силами дадим Вестнику и более живости и более самостоятельности. К крайнему моему сожалению, начинаю думать, что я обманулся: 1) Вестник теряет одного из ревностнейших своих сотрудников — Рожалина. В ответном письме его на меморию он говорит, что более не хочет быть сотрудником.<sup>2</sup> Не знаю отчего? Он выставил множество причин. Они дельны, но только в том случае, когда Погодин издатель журнала. Как скоро Шевырев соиздатель, и соиздатель, на котором будет возлежать главная редакция, то его причины — пусты. Для журнала же потеря его очень будет чувствительна. Сколь славных статей он поместил в нынешнем году.<sup>3</sup> Да и сверх того, больно видеть его остающимся дело, которое должно быть бы для нас точкою соединения и узом, всех нас соединяющим в одно семейство.

2) Титов и Одоевский с Перцовым вздумали издавать газету. Титов пришел мне предлагать быть соиздателем оной! Я еще ему не отказал, но обещал на другой день дать решительный ответ. Вечером и ночью я много думал о его предложении. Поутру написал к нему письмо, в котором я сперва рассматривал, с какою целию политическая газета (ибо иной быть не может) обыкновенно издается. Этой цели мы иметь никак не можем. Остается нам писать статейки о театрах, о концертах, о кривляниях и ломаниях, о пожарах и наводнениях и пр. пр. пр. То есть вся наша цель — забавляя, выманивать деньги. После того я доказывал ему: гораздо полезнее, оставив газеты, теснее соединиться с Вестником и сообщением самых свежих разборов иностранных книг, передов(ых) статей из француз(ских), нем(ецких) и английск(их) журналов сделать наш журнал более европейским. Я говорил ему и то, что газета поглотит ужасно много времени и что ее издание соделает его совершенным рабом. И потому Вестник решитель(но) потеряет Одоевского и Титова, ибо снабжать статьями два журнала есть дело невозможное, особливо для людей, занятых службою. Оканчивая письмо, я говорил, что я решительно отказываюсь от издания газеты, потому что: 1. не вижу никакой цели в газете; 2. служу в министерстве Иностранных дел, где потребна величайшая скромность, а газетчик должен быть болтлив; 3. чувствую себя неспособным писать такие статьи, какие могут сделать газету забавною; 4. не могу пожертвовать часы, остающиеся мне от занятий службы, сочинению или переводу статей, которые мне, кроме скуки, ничего не могут доставить; и 5. наконец, что я, решившись предложить свои услуги Вестнику, не могу в одно время участвовать в двух журнал(ах).

Желание мое быть сотрудником «Московского вестника» основано на следующем. 1. Всякая статья, которую сочиню, если только она хороша, может быть напечатана в Вестнике, ибо ничего, кроме скучного, не должно быть исключено из состава оного.<sup>4</sup> 2. Новые книги, которые я здесь читаю и которые я имею случай получать прежде весьма многих, могут мне доставлять интересные статьи. Я могу сообщать Вестнику отчеты об оных. 3. Я получаю много журналов и, между прочим, получаю английские, которых ни один журналист не имеет, ибо они стоят по 700 и 800 рублей каждый. 4. Могу доставлять переводы из книг вновь вышедших. Для опыта пришло на сих днях отрывок из Вальтер Скотта. Я должен на сих днях получить из Англии его Историю.<sup>5</sup> Я думаю, что она уже здесь, но мне ее еще не выдали. Она запрещена, но все-таки мы будем ее тискать.

Титов, Одоевский и Перцов не оставляют своего намерения. Собираются и толкуют. Два раза был на их беседах, но вчера не поехал. Больно видеть, как они теряют время. Меня утешает то, что им не позволят издавать газеты. Я бы очень тому был бы рад, ибо иначе боюсь, чтоб Вестник не был совершенно ими покинут. 156 листов, напечатанных по большей части мелким шрифтом, ежедневные толки с цензурою, чтение всех газет, посещение всех спектаклей и фигляров, корректура — все это отнимет у них много времени.

Сделай одолжение, мил(ый) Киреевский, скажи, что ты думаешь о Вестнике. Мне бы хотелось участвовать в издании оногo, но я бы желал знать ваши расположения и ваши распоряжения.

Я могу участвовать или просто как *посторонний* — присылкою собственных статей, или как *сотрудник* — присылкою статей, отчетов о иностранных книгах, которые мне *случится* прочесть, или как *сотрудник постоянный* — присылкою отчетов: всех книг иностранных, могущими быть занимательными для русских. Разумеется, в случае множества книг, буду иные присылать к вам для вашего разбора. Так же не берусь за разбор книг, касающихся до натуральной истории, физ(ики), химии, медицины и пр.

Но в сем последнем случае редакция должна ассигновать для покупки книг сих некоторую сумму, ибо я не могу на свой счет покупать все книги.

Делай, как хочешь. Если редакция не найдет возможным начесть деньги для покупки книг, то я обещаюсь не смотря на то доставлять статьи из *Quarterly Review*, *Edinburg<sup>6</sup> Review* и *Sun*.<sup>7</sup>

Сверх того отчеты о всех книгах, которые я для себя куплю.

С нетерпением буду ждать твоего ответа. Надеюсь получить его вскоре. Я надеюсь, как скоро получу Историю Наполеона, прочитав ее, написать Разбор оной.

Прощай! Мое усердное почтение твоей матушке и батюшке. Целую тебя

Кошелев.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1 Ед. хр. 86. Л. 120—125 об.

Тематически связано с двумя последующими письмами — от 20 сентября и от 16 октября: идет речь о «Московском вестнике» и газете, задуманной Титовым и Одоевским (см. об этом во вступительной заметке к публикации). Год всех трех писем — 1827-й — может быть определен на основании обсуждаемого в письме от 17 сентября вопроса о назначении С. П. Шевырева соредактором «Московского вестника», поднятого осенью 1827 года петербургскими участниками журнала Титовым и Одоевским.

<sup>1</sup> Кошелев имеет в виду письмо Титова, вероятно не дошедшее до нас, в котором, как ясно из контекста, идет речь о соредакторстве Шевырева. Наиболее полным изложением требований Титова и Одоевского, касающихся постановления Шевырева на должность соредактора журнала, принято считать их письмо от 13 октября 1827 года — «ультиматум». Но в «ультиматуме» упомянуто предшествующее послание на ту же тему: «Мы послали к вам, господа, письмо, где довольно ясно означены причины, почему хотели мы соредакторства Шевырева» (*Барсуков Н. П.* Указ. соч. Кн. 2. С. 132). «Ультиматум» предстает дополнением к предшествующему письму изложением доказательств, «кроме приведенных причин в нашей промемории». Можно предположить, что Кошелев и авторы «ультиматума» ссылаются на одну и ту же «меморию», которую, как очевидно из письма Кошелева, Титов «написал и послал в Москву» до 17 сентября 1827 года.

<sup>2</sup> Ответное письмо Н. М. Рожалина на «меморию» Титова не сохранилось. Н. М. Рожалин, с момента основания «Московского вестника» занимавший должность соредактора журнала, находил ее обременительной и вообще тяготился журнальной работой (см.: *Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 120—121). Между тем письмо Рожалина С. А. Соболевскому от 13 сентября 1827 года свидетельствует о совершенно ином отношении к предложениям Одоевского и Титова, чем то, о котором пишет Кошелев: «Сообщили ли тебе свои планы Титов и Одоевский? Я их одобряю, и они непременно будут выполнены; тогда дела наши пойдут очень хорошо» (*Майков Л.* Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 341).

<sup>3</sup> Рожалин поместил в «Московском вестнике» за 1827 год три перевода из Геерена (№ 4, 15 и 16), «„Вот где был предатель!“ Эпизод из Гетева романа „Странствования Вильгельма Мейстера“» (№ 5, 6) и «Сравнение романов китайских с европейскими. Из предисловия г. Абель-Ремюза к роману: Ю-Киао-Ли, или Двоюродные сестры» (№ 9).

<sup>4</sup> Парафраз замечания Вольтера: «Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux» («все жанры хороши, кроме скучного») из предисловия к комедии «Блудный сын».

<sup>5</sup> Речь идет о только что вышедшей книге В. Скотта «Life of Napoleon Bonaparte», имевшей успех в Европе, но запрещенной в России. Несмотря на это, фрагменты сочинения были переведены Мальцовым и опубликованы в № 16 «Московского вестника». Предваряя публикацию в статье «Несколько слов об Истории Наполеона Бонапарте, сочиненной Вальтером Скоттом», Мальцев отмечал: «Сочинение Вальтера Скотта о Наполеоне... известно нам до сих пор по одним отрывкам, помещаемым в английских и других иностранных изданиях. Мы надеемся, что прилагаемые отрывки, заимствованные из одной английской газеты, по разнообразию сво-

его содержания способны будут дать нашим соотечественникам, на первый раз, довольно полное понятие о творении Скотта» (Московский вестник. Ч. 4. № 15. С. 311). Редактор «Московского вестника» М. П. Погодин, замыслив отдельное издание «Жизнеописания Наполеона», просил Титова и Одоевского прислать саму книгу (см. письмо Погодина Одоевскому от 2 августа 1827 года: Русская старина. 1904. № 3. С. 707); о конфликте Погодина и Н. А. Полевого по поводу издания указанного сочинения см.: Барсуков Н. П. Указ. соч. Кн. 2. С. 176—178.

<sup>6</sup> В рукописи «Edinburgh».

<sup>7</sup> Кошелев упоминает английские периодические издания — «Edinburg Review, or critical journal» (издавался с октября 1802 года по октябрь 1929), «Quarterly Review» (издается с февраля 1809 года) и газету «Sun» (издавалась с 1 октября 1792 года по 25 февраля 1871).

## 15

С. Петербург. Сент. 20.

Вчера написал к тебе, любезный Киреевский, три листа, ныне еще беру бумаги.

Мне пришла в голову мысль прекрасная: сделать критику одним из главнейших отделов нашего журнала. Состояние просвещения в России содействует необходимым действовать на умы разбором сочинений. Умозрение напрасно будет стараться возбудить в умах любовь к наукам, к изящному и доброму. Глас его будет раздаваться в пустыне. В критике прекрасное средство, воплощая мысли, делать их для всех понятнее и осязательнее. Потому мое мнение разделить между сотрудниками всю область литературы, и всякой должен непременно сообщать отчет о всех книгах, выходящих по его отделению. Таким бы образом наш журнал бы 1. извещал о всем, делающемся в Европе, 2. заохочивал бы читать книги, о которых бы иначе они бы, может быть, и не слышали и 3. для каждого из нас оно было бы очень полезно.

Таким образом я примерно разделю между сотрудниками поле словесности:  
*Титову*: 1. философию и 2. Путешеств(ия).

*Кошелеву*: 1. историю и 2. политику.

*Киреевскому*: 1. политическую экономи(ю) и законодательство.

*Рожалину*: восточную словесно(сть) и романы.

*Погодину*: древности, географию, статистику, грамматику, хронологию и пр.

*Одоевскому*: эстетику, прозаическую изящную словесность и музыку.

*Шевыреву*: эстетику и все стихотворные произведения.

Хорошо бы найти восьмого для естественных наук.

Каждому бы назначить по 500 руб. на покупку книг. (У Грефа<sup>1</sup> на 500 руб. можно иметь на 600 руб. книг).

Если бы сей план мой был приведен в исполнение, то было бы прекрасно. Какая бы приманка для подписчиков: здесь все сочинения, печатаемые в Европе. А романы. Дамы бы разорились: мужьев бы приучили и принудили подписаться на наш журнал.

Прощай, с нетерпением жду ответа твоего.

Пиши.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 126—127 об.

Письмо 1827 года (см. коммент. к письму 14).

<sup>1</sup> Грефф Вильгельм — петербургский книгопродавец, комиссионер Императорской Публичной библиотеки и Академии наук; лавка его помещалась на Невском пр. напротив Адмиралтейства. Согласно сохранившейся переписке, участники «Московского вестника» обращались к Греффу постоянно (см., например, письма Титова в редакцию журнала «Московский вестник» от 11 и 21 августа 1828 года: РГБ. Ф. 231/II. К. 47. Ед. хр. 118. Л. 5 об.—6).

С. Петербург. 16 октября.

Таков-то ты, Киреевский? С отъезда моего ни слова ты ко мне не написал. Видимо, ты все тот же, хотя торжественно обещал перемениться и быть верным переписчиком: все на воде пишешь обещания. Титов мне показывал твою приписку в письме Рожалина. Как будто ты хочешь быть деятельным: слова ли это или нет? Рожалин меңя не известил даже, получил ли он Люцинду.<sup>1</sup> Пусть напишет: принужденная переписка, как я ему говорил в своем письме, — мука, и я отнюдь ее не требую, но скажи хоть два слова: *письмо с книгою получил*.

У вас жестокие распри. Скажите, кто из богов поселил между вами семена несогласия. Подражайте нам; мы все одного мнения, и все одного желаем,<sup>2</sup> а особливо с тех пор как мысль о газете вышла из головы моих любезных Титова и Одоевского. Титов жарко принялся, и если б он захотел, то бы газета состоялась, но вскоре увидел, что его намерение безрассудно, и, оставив на произвол и попечение Одоевского, тайно желал, чтобы предприятие не удалось. Теперь признался сам, что рад, что все так кончилось. Одоевский метался, как угорелая кошка, планов написал кучу и результат все и — ничего. Нет. Он в горе, но завтра утешится.

Это известие, сообщенное мне вчера Титовым, очень меня обрадовало, и вам оно — добрая весть.

Ни об чем говорить с тобой не хочу, ибо скучно болтать наедине. Отвечай, и я буду к тебе писать.

Прощай.

Весь твой. Кошелев.

Нижайшее почтение матушке и батюшке твоему. — Целую Рожалина и всех, кто обо мне помнит.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 132—133 об.

Письмо 1827 года (см. коммент. к письму 14).

<sup>1</sup> Кошелев имеет в виду роман Ф. Шлегеля «Lucinde» (Berlin, 1799).

<sup>2</sup> Возможно, несогласие, о котором пишет Кошелев, касается назначения Шевырева редактором «Московского вестника»; ср. в «ультиматуме» Титова и Одоевского от 13 октября 1827 года: «Вчера вы соглашались на наше предложение, сегодня не соглашаетесь! Мы постоянно вас: мы держимся своего мнения» (*Барсуков Н. П.* Указ. соч. Кн. 2. С. 132).

С. Ильинское. Июня 8-го дня.

Любезный друг Киреевский!

Вчера я писал к Титову и между прочим говорил ему о необходимости сохранить между нами единомыслие. Зная и любя друг друга, мы верно никогда не будем взаимно чужды; но довольно ли сего? Что составляет отличительную черту нашей дружбы? Любовь наша друг к другу запечатлена одинакостью мыслей, чувствований и целей жизни. В юности связи легко составляются, но редко время оставляет их неприкосновенными. Разделенные обстоятельствами, друзья детства едва под старость вспоминают друг о друге. Новые узы расторгают прежние. Связи по службе, женитьба изменяют человека по большей части до того, что его едва узнать можно. И мы можем испытать подобную участь. Тяжело человеку одному устоять против переменчивости, его окружающей. Союз между людьми, друг в друге уверенными, может один обезопасить нас противу действий обстоятельств. Твердейшею опорю дружбы должно быть единство жизненной цели. Нам нетрудно положить основанием нашей дружбы единомыслие. Доселе мы можем называться *братьями*



по мыслям. Стоит только печься о сохранении сего бесценного залога нашей дружбы. Лучшее, единственное средство утвердить наше единомыслие состоит в постоянной мене мыслей. Надлежит положить законом писать друг к другу в известные времена. Это взаимное обязательство должно быть свято исполнено. Оно должно быть угловым камнем нашей дружбы. Я уверен, что попечение друг о друге, знание, что все, что я делаю, отзовется в душе, мною любимой, как в моей собственной, уверенность в помощи друга, — все это укрепит меня, и многое, что, может быть, отвратило бы меня от предположенного пути, послужит, напротив, к утверждению в моем намерении, когда я подумаю, что не один я, что я имею друзей, что все мы действуем заедино. Ты, верно, уже испытал, как деятельность усыпает часто в нас, когда мы воображаем, что мы одни. Надзор дружбы бесценен. Несколько людей, одною мыслью одушевленных (и со способностями обыкновенными), могут сделать много. Что ж, если счастливые дарования, удвоенны нашим союзом, предположат себе одну цель и неусыпно будут стремиться к достижению оной.

Я знаю, что благородная душа твоя с жаром примет всякое бескорыстное предложение; но подумай, что составление планов хотя дело доброе, но исполнение оных есть дело лучшее. Время, любезный друг, быть нам людьми. Избрав цель, с настойчивостью станем ее преследовать. Вспомним, что нам уже 22 года. Пит<sup>1</sup> был уже первым министром, а Шеллинг уже гремел в Германии и Трансцендентальным идеализмом утверждал на прочном основании славу свою.<sup>2</sup> Ты рожден не для того, чтобы изжить век, не оставив по себе никакого памятника. Жизнь государственная, искусство и науки представляют обширное поле для пожатия лавров. Ты избрал литературу. Прекрасно. Но будь постоянен, неутомим и упрямо пожелай жезл умственного могущества.

Норов прочел мне своего *Узника*. Ты помнишь, он тебе читал несколько отрывков. Они тогда тебе понравились. С тех пор он совершенно создал новую поэму. *Очарованный узник* теперь у меня. Не могу его начитать. Что за цельность, что за чувство, что за сила, что за оригинальность! До сих пор талант Норова был окован сперва Ламартином, а потом Байроном. В поэме сво(ей) он является самим собою. Я уверен, что *Узник* приобретет ему славу отличного поэта. С собою везу первую часть сей поэмы и напечатаю ее в Петербурге.<sup>3</sup> Когда приеду в Москву, я тебе дам ее прочесть. Не сомневаюсь в выгодном твоём о ней отзыве.

Погодин, говоришь ты, хочет писать о *политическом равновесии*.<sup>4</sup> Пусть пишет. Это мнение не у него одного в голове бродило. Писатели отличные его защищали, и теперь один француз (имени его не помню) доказывает оное и на теории и на практике. Мы со своей стороны напишем *разбор* и надеемся расцелкать его порядочно.

Ты советуешь мне теперь менее читать, но более думать и писать. Именно это-то я и делаю.<sup>5</sup> К приезду моему непременно приготовлю для прочтения тебе оригинальную статью.

С тех пор как выздоровел,<sup>6</sup> я себя очень хорошо чувствую и прилежно занимаюсь.

Прощай, бесценный Киреевский.

Вечно твой Кошелев.

Усерднейшее почтение матушке и батюшке твоему. Поклон брату.

Князей Хованских получил,<sup>7</sup> благодарю. Спроси у твоего человека, отдали ли ему платок, который я у вас брал.

Не забудь Погодину сказать о книгах Одоевского.

Сейчас еду в Рязань. Если б ты на сих днях написал ко мне, очень бы одолжил. Вот мой адрес: *Рязанской губернии в город Сапожек, а оттуда в село Смыково.*

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 108—109 об., 112—113 об.

В конце л. 109 об.: «Я знаю, что благородная душа твоя с жаром примет всякое бескорыстное предложение; но подумай, что составление планов хотя дело доброе, но исполнение оных есть дело лучшее». В начале л. 112: «Время, любезный друг, быть нам людьми». На л. 110—111 — начало письма от 1 июля 1827 года. Совпадение чернил и идентичность почерка на л. 109 об. и 112 (почерк меняется от начала письма к концу, но указанные страницы написаны совершенно одинаково), а также единство развиваемой Кошелевым мысли (об избрании цели, к которой надлежит стремиться друзьям) заставляют предположить, что перед нами одно письмо. В конце письма (о Погодине и о совете «менее читать, но более думать и писать») Кошелев отвечает на письмо Киреевского от 4 июля 1828 года (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 2. С. 215—216), что позволяет датировать публикуемое письмо 1828 годом, хотя число, обозначенное в начале письма на л. 108: «июня 8 дня», противоречит дате, указанной в письме Киреевского: 4 июля. Вероятно, либо Кошелев, либо Киреевский неверно указывают месяц.

<sup>1</sup> Питт Вильям (Pitt W.) Младший (1759—1803) — английский государственный деятель. В 1782 году стал канцлером казначейства.

<sup>2</sup> В 22 года Шеллинг стал известен изложением своей натурфилософии, опубликовав «*Ideen zu einer Philosophie der Natur*» («Идеи к философии природы»; 1797). «*System des transzendentalen Idealismus*» («Система трансцендентального идеализма») вышла позднее — в 1800 году.

<sup>3</sup> Поэма Норова «Очарованный узник» упомянута в дневнике М. В. Киреевской в 1826 году (запись от 4 мая) (Лит. наследство. Т. 79. С. 23). О работе над поэмой Норов неоднократно пишет Кошелеву в 1828—1829 годах (РГАЛИ. Ф. 390. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 7, 20 об., 25 об., 53 об.). В письме от 9 мая 1828 года он сообщает о завершении поэмы в ближайшее время, добавляя: «надеюсь, что скоро получишь» (Там же. Л. 20 об.). В начале лета, как следует из публикуемого письма, Норов читает поэму Кошелеву, а позднее, вероятно, в сентябре, — Киреевскому, который пишет Кошелеву 1 октября 1828 года: «Я уговорил его не печатать ее, не сделавши некоторых поправок; а поправки я ему задал такие, что, надеюсь, будет работы по крайней мере еще на год. Мне того только и хотелось, ибо в поэме много хороших мест, но вся она никуда не годится. Чем больше он будет поправлять ее, тем лучше. Я знаю, ты другого мнения» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 13). Отрывки из «Очарованного узника» были опубликованы в № 23/24 «Московского вестника» за 1828 год. Упомянутое Кошелевым влияние А. Ламартина на поэзию Норова отразилось в стихотворных песнях «Бессмертие» (Новости литературы. 1824. Кн. 9. Окт.) и «Храм» (альманах «Уrania». М., 1826), которые являются вольными переводами из Ламартина. Суждение о самостоятельности «Очарованного узника» неточно, так как опубликованный в «Московском вестнике» отрывок из поэмы «имеет ряд точек сопосконовения с „Шильонским узником“ Байрона» (*Вацуро В. Э.* Комментарий к «Отрывку из фантазии „Очарованный узник“» // Поэты 1820—1830 гг. Л., 1972. Т. 1. С. 724).

<sup>4</sup> В письме Кошелеву от 4 июля 1828 года Киреевский пишет: «Кстати к Погодину; он задумал пресмешную вещь: хочет писать особенную брошюрку о том, что политическое равновесие Европы принадлежит к числу тех мыслей, которые вместе с поверьями о колдунах, привиденьях и чертях суть порождения невежества и суеверия, и в наш просвещенный век должны вывестись и исчезнуть при свете истинного мышления. Сколько я не толковал ему, а переубедить не мог, ибо для этого нужно понять, что такое политическое равновесие, а здесь-то и запятая» (см.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 2. С. 215—216). В статье «О политическом равновесии в Европе» (Московский вестник. 1829. Ч. 3. С. 5—18) общепринятому пониманию политического равновесия как «соразмерного распределения сил в Европейских государствах, при котором они не опасны одно другому» (Там же. С. 6), М. П. Погодин противопоставляет свое, обусловленное влиянием философии Шеллинга. По его мнению, истинный «вес» каждого государства определяется совокупностью физических и моральных сил народа, а истинное политическое равновесие наступит «только тогда, как уравновесится душа с телом в человеке, — и государства лишатся телесной возможности колебаться...» (Там же. С. 16—17). Разбор Кошелева статьи Погодина «О политическом равновесии в Европе» неизвестен.

<sup>5</sup> Ответ на замечание в письме Киреевского от 4 июля 1828 года: «Мне бы хотелось, чтобы во время твоей поездки в Рязань ты ограничил бы свои занятия одним мышлением, т. е. не стараясь прибавить к понятиям новых сведений из новых книг, уже полученные прежде переоглял бы через кубик передумывания и водку мыслей передвоил бы в спирт» (см.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 2. С. 215).

<sup>6</sup> О болезни Кошелева — крапивной лихорадке — см. в упомянутом выше письме Киреевского (Там же. Т. 2. С. 215).

<sup>7</sup> «Князя Хованские» («*Die Fürsten Chawansky*») — пьеса немецкого драматурга Э. В. Раупаха (Raupach E.; 1784—1852). Написана в 1811 году, в период жизни Раупаха в Петербурге

(1804—1822); впервые опубликована в Лигнице в 1818 году; в течение 1820-х годов неоднократно переиздавалась, в том числе в Вене в 1828 году, которым датируется публикуемое письмо. О том, что Киреевский в юности пережил увлечение творчеством Раупаха, и об изменении его отношения к трагедиям немецкого драматурга можно заключить на основании писем Киреевского родным из Берлина от 20 февраля (4 марта) и от 14/26 марта 1830 года (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 29, 35).

## 18

С. Петербург. Сентября 13 дня.

Здравствуй, любезный друг Киреевский!

До нынешнего дня я не был расположен писать к тебе. После двухмесячного отсутствия должен был посвятить несколько дней пустым, хотя необходимым, делам. Сегодня я все утро, равно как и вчерашний вечер, провел умно. Я с жадностью прочел первые семь лекций Кузена, полученные здесь по оказии из Парижа. Книга его скоро поступит в продажу. Предмет курса: всеобщая история философии как введение в историю платонической философии.<sup>1</sup> Хорошо бы было перевести сие творение. Я было хотел вместе с Титовым предпринять сей труд, но мы оба отдумали. Хотя книга прекрасная: изложением особенно она отличается (завиден способ выражения сего профессора), но во многом я с ним согласиться не могу. Притом выводы его часто произвольны. Кто читал Шеллинга, тот приучился к математической последовательности и точности. Кузень, зная расположение своих слушателей, характер их ума, часто должен был, принаравливаясь к их духу, говорить, чего бы, верно, не сказал в беседе с людьми, привыкшими к отвлеченным занятиям. Вообще же книга прекрасная.<sup>2</sup> Она много принесет пользы, в том нет сомнения. На сих же днях начал я читать *Гердерову Философию истории*. Я знаю, что ты некогда перевел это творение.<sup>3</sup> До сих пор я знал его только по словам других. Не знаю, какое действие произведет все сочинение, но первые главы меня восхитили. Я был в таком расположении духа, в котором именно надобно читать Гердера. Я чувствовал нужду в занятии, которое бы согрело мою душу. Года два бы тому назад я взял бы Шеллинга и божественный огонь его любомудрия проник бы всего меня; но теперь я слишком овецествился. Мне нужно было беседовать с автором, коего бы чувство окрыляло ум. Гердер в эту минуту явился мне гением благодетельным. Как пламенно любил этот человек вселенную!<sup>4</sup> Как горячо он пишет! Едва могу покинуть книгу: все бы хотелось читать.

Чтение Гердера возобновило в уме моем все прежние мои мысли об Истории человечества.<sup>5</sup> Если счастливое расположение духа, в котором я теперь нахожусь, продолжится, то, может быть, набросаю хоть главные мысли моего большого сочинения о сем предмете, которое, может быть, никогда написано не будет.

С нетерпением жду обещанного твоего письма. Надеюсь найти в нем много подробностей о твоих занятиях. Я еще не был у Василья Андреевича Жуковского. Двор бывает то в Павловском, то в Гатчине, и потому я предпочел явиться к нему, когда он возвратится в Петербург. Ожидают весь двор к 15 сего месяца, т. е. к послезавтрашнему дню.

Титов, Шевырев и Одоевский усердно тебе кланяются. От первого ты получишь на днях весьма интересное письмо. Мы получили письмо от Рожалина из Теплица.<sup>6</sup> Он весьма недоволен немцами и особенно немками.

Прощай! Пиши более и чаще.

Мое глубочайшее почтение твоей матушке.

Весь твой Кошелев.

РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 117—118 об.

Год (1828) определяется на основании ответного письма Киреевского от 1 октября 1828 года (см.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 11—14).

<sup>1</sup> Кошелев пишет о курсе лекций, читавшемся французским философом В. Кузеном в Парижском университете летом 1828 года («Cours de philosophie de M. Victor Cousin. Introduction à l'histoire de la philosophie»). В «Московском телеграфе» в 1828 году сообщалось: «Кузен... нынешний год возобновил свой курс и читает общее обозрение истории философии, которое кончит к новому году. В будущем году будет он читать историю Платоновой философии» (Московский телеграф. 1828. Ч. XXIII. С. 97). Курс печатался отдельными тетрадками «листа по два и по три печатных», которые раздавались «дня через три после каждой лекции» (Там же. С. 96).

<sup>2</sup> В письме от 1 октября 1828 года Киреевский пишет: «Твоим мыслям о Cousin я очень рад. Что ты говоришь об его лекциях, я тоже думал об его Fragments philosophiques» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 14).

<sup>3</sup> Речь идет о книге И. Г. Гердера «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» (1784—1791). Перевод Киреевского из «Философии истории» неизвестен.

<sup>4</sup> Взгляд на Гердера сформировался у Кошелева, вероятно, под влиянием его учителя А. Ф. Мерзлякова. В записке В. Ф. Одоевскому (записка не датирована, но относится к периоду жизни Кошелева в Петербурге) Кошелев замечает: «Мерзляков говорит о Гердере: у него одна мысль и эта мысль — вселенная» (РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 638. Л. 34). Формулировка Кошелева вызвала у Киреевского возражение: «...для меня не понятно то, что ты говоришь о пламенной любви Гердера ко вселенной. Что такое любовь ко вселенной? Ты что-то не то хотел сказать» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 14).

<sup>5</sup> Возможно, имеется в виду сочиняемое Кошелевым в 1822 году «введение в историю» (*Колупанов Н. П.* Указ. соч. Т. 1. Кн. 2. С. 66).

<sup>6</sup> В конце мая 1828 года Рожалин уехал в Германию в качестве воспитателя детей П. С. Кайсарова.

© Т. Б. Трофимова

## ЛЕРМОНТОВСКИЙ «ПОДТЕКСТ» В ЦИКЛЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ»

В современном литературоведении проблема интертекстуальности привлекает все больше внимания. Такой подход к изучению творчества художника в любой области искусства, по сути, не сводится к поиску различных видов реминисценций как таковых. Интертекстуальная проблема включает в себя исследование глубинного, «скрытого» смысла произведения, творческой эволюции одного автора в процессе «диалога» с другим. Текст анализируемого произведения, оказавшийся в сопоставлении с иным контекстом, может проявить свои новые, невидимые ранее, свойства, расширится его связь с внетекстовой действительностью.

Давно известно, что творчество Лермонтова было близко и дорого Тургеневу. Этой теме посвящены многочисленные работы, в которых рассматривается влияние поэзии Лермонтова на раннее творчество писателя и, особенно, образа Печорина на многих тургеневских героев.<sup>1</sup> Анализу же лермонтовского реминисцентного подтекста в цикле «Стихотворения в прозе» посвящены только две работы.<sup>2</sup> Имя поэта упоминается в произведениях и письмах Тургенева достаточно часто и остается с ним до конца жизни. Лермонтов в восприятии Тургенева — поэт громадный. По мнению писателя, его стихам свойственна «красивая сжатость и энергия», в них отсутствует «риторическая фразеология, освященная байроновской традицией». Творческий мир Тургенева неотделим от творческого мира Лермонтова. Эта связь определяется не количеством цитат, аллюзий, ассоциаций или образов, а той общ-

<sup>1</sup> Петров С. М. И. С. Тургенев. М., 1961. С. 57; Назарова Л. Н. О лермонтовских традициях в прозе И. С. Тургенева // Проблемы теории и истории литературы. М., 1971. С. 261—269; Лисенкова Н. А. Тургенев и Лермонтов (К проблеме творческой преемственности) // Вопросы стиля и метода в русской и зарубежной литературе. Пенза, 1970. С. 37—56 и др.

<sup>2</sup> Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914. С. 439—441; Трофимова Т. Б. Тургенев и Лермонтов (К проблеме реминисценций в цикле «Стихотворения в прозе») // Спасский вестник. 2002. № 9. С. 98—104.

ностью тем, к которым обращались оба художника, сходством их раскрытия, совпадением взглядов на искусство или пропагандой своих идеалов, хотя наличие в тургеневских текстах явных или «скрытых» лермонтовских реминисценций играет существенную роль.

Имя поэта часто встречается на страницах писем Тургенева в 60—70-е годы. Именно в это время писатель начинает работать над созданием цикла «*Senilia*». В 1864 году он вместе с Проспером Мериме переводит на французский язык поэму «Мцыри». С предисловием Тургенева этот перевод был опубликован в «*Revue moderne*». Рекомендую читателям поэму Лермонтова, писатель указывал на ее «необыкновенную силу» как художественного произведения. В 1865 и 1868 годах при участии Тургенева были изданы два альбома романсов Полины Виардо на стихи русских поэтов, среди которых были «Русалка», «Утес», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная песня». В 1875 году выходит перевод «Демона» на английский язык. Переводчиком был английский дипломат, атташе английского посольства в Петербурге в 1877—1878 годах Александр Конди Стивен. В письме от 8 (20) марта 1877 года Тургенев рекомендовал его баронессе Ю. П. Вревской: «Это очаровательный молодой человек, хорошо знающий русский язык (он опубликовал отличный перевод «Демона» Лермонтова)».<sup>3</sup> Свой труд Стивен посвятил Тургеневу: «Dedicated to Ivan Sergeievitch Tourgueneff, with feeling of affection and esteem» («Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу с чувством признания и уважения»). Тургенев откликнулся на перевод «Демона» заметкой, опубликованной в «Санкт-Петербургских ведомостях» в августе 1875 года. Писатель обратил особое внимание на то, что перевод сделан стихами, а это «составляет подвиг немалый, особенно если принять в соображение красивую сжатость и энергию лермонтовского стиха», но «г. Стифен — в целом — удачно разрешил свою задачу, хотя он и был вынужден в иных местах своего переложения несколько расплыться в ширину и прибегать к риторической фразеологии, освященной байроновской традицией».<sup>4</sup> Сам же «Демон» полностью был опубликован только в 1857 году в Карлсруэ. При жизни Лермонтова поэма не была напечатана, но стала известна современникам по многочисленным спискам. На одном из последних в его жизни литературных вечеров в Париже в 1881 году Тургенев выступил с чтением «Пророка» Пушкина и «Пророка» Лермонтова.

К реминисценциям, встречающимся у Тургенева в «Стихотворениях в прозе», относятся прямые, иногда *слегка* измененные цитаты, которые автор использует как названия стихотворений, тем самым сразу определяя тему и настроение данной миниатюры. Другой вид реминисценций, используемый Тургеневым, представляют собой литературные аллюзии, ассоциации, скрытые и измененные цитаты и т. п. Это наиболее трудный для изучения вид «чужого» слова. Отсюда возникает необходимость в догадках, предположениях, иногда оказывающихся спорными и зыбкими, в гипотетических решениях. Исследование скрытых реминисценций тесно связано с текстологией и с восприятием художественного произведения с точки зрения интуиции и эстетических позиций автора.

Стихотворение в прозе «Разговор» написано Тургеневым в феврале 1878 года и, на наш взгляд, в определенной степени связано с творчеством Лермонтова. Эта миниатюра — самостоятельное и законченное произведение, несущее в цикле свою смысловую нагрузку. При его чтении перед глазами читателя рисуется следующая картина: гора Юнгфрау и гора Финстерааргорн беседуют между собой. Смысл миниатюры в том, что за время этой краткой беседы у подножия гор началась, прошла и закончилась вся история человечества. Возникает тема: «ничтожность» человека

<sup>3</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1966. Т. XII. Кн. 1. С. 118.

<sup>4</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 10. С. 271. Далее ссылки на этот том приводятся в тексте.

и «величие» природы, мгновенность человеческого бытия в сравнении с вечностью, которую олицетворяют горы. «Разговор» — философское раздумье писателя о судьбе человечества, о его значимости и горький вывод: вся жизнь людей с их страданиями, муками, счастьем, любовью, поисками истины, смертью — всего лишь несколько минут в жизни горных вершин. Л. Семенов пытался обосновать предположение о зависимости тургеневского стихотворения в прозе от лермонтовского «Спора»,<sup>5</sup> но у Лермонтова в данном стихотворении одной из главных тем была судьба России, ее прошлое, настоящее и будущее, а также наступление цивилизации на природу и гибель последней. Лермонтов, решая эту проблему, приходит к выводу, что развитие человечества, прогресс цивилизованного общества неизбежно связан с разрушением «природного мира». Тургенев же в стихотворении в прозе «Разговор» ставит, по нашему мнению, совсем другие проблемы. Скорее всего, возможен факт заимствования лермонтовского художественного образа «говорящих гор».

Отметим, что для поэтики Тургенева одной из характерных особенностей является наличие в тексте своеобразных слов-сигналов, слов-знаков, слов-образов, помогающих читателю на ассоциативном уровне определить, хотя бы приблизительно, источник реминисценции, «вплетенной» в текст. Как правило, явных указаний на чужое произведение искусства Тургенев старался избегать. На наш взгляд, описание Юнгфрау и Финстерааргорна как двух громад, двух великанов, которые «вздыхают по обеим сторонам небосклона», — образная реминисценция из лермонтовского стихотворения «1831-го января»: «Редеют бледные туманы / Над бездной смерти роковой. / И вновь стоят передо мной / Веков протекших великаны. / Они зовут, они манят, / Поют...».<sup>6</sup> Лермонтовское олицетворение вечности ассоциируется у читателя с чем-то огромным, недоступным человеческому разуму. Возможно, поющие «веков великаны» у писателя превратились в «говорящие» горы, символизирующие собой один из ликов вечности. Другое стихотворение «1831-го июня 11 дня» еще созвучнее тургеневскому «Разговору», его пессимистическому настрою: «И мысль о вечности, как великан, / Ум человека поражает вдруг (...) // Что на земле прекрасней пирамид / Природы, этих гордых снежных гор? / Не переменил их надменный вид / Ничто: ни слава царств, ни их позор; / О ребра их дробятся темных туч / Толпы, и молний обвивает луч / Вершины скал; ничто не вредно им. / Кто близ небес, тот не сражен земным» (курсив здесь и далее в цитатах мой. — Т. Т.) (т. 1, с. 172). Разговор горных вершин продолжается всего лишь несколько минут. На земле за этот миг проходят сотни лет. Мысль о бренности человеческого бытия, о трагической участи всего живого была близка и Лермонтову, и Тургеневу. Размышления над этими вопросами были в основном источником того глубокого пессимизма, который особенно присущ тургеневскому циклу «Senilia». Поэзия Лермонтова наполнена безмерной печалью и также проникнута настроением «космического пессимизма». Для многих его стихотворений характерно чувство полета в надзвездных сферах, ощущение бесконечности пространства и времени. Строка из стихотворения в прозе «Разговор»: «проходят несколько тысяч лет — одна минута», на наш взгляд, измененная цитата из поэмы «Демон». Сравним у Лермонтова: «Вослед за веком век бежал, / Как за минутой минута, / Однообразной чередой» (т. 2, с. 374—375). Создавая свою миниатюру, Тургенев, возможно, вспомнил лермонтовского Демона. То же ощущение нескончаемости и беспредельности Вселенной, которое возникает при чтении «Демона», должно было овладеть читателями «Разговора». Естественно, человек не может быть свидетелем разговора гор. Некто, от лица которого ведется рассказ, должен быть вечным и еще более мо-

<sup>5</sup> Семенов Л. Указ. соч. С. 439—441.

<sup>6</sup> Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 4 т. Л.: Наука, 1979. Т. 1. С. 165. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

гущественным, чем горные вершины, еще более равнодушным. Мы видим горы глазами бессмертного Демона, который после неудавшейся попытки полюбить, делать добро, прощать людей переселился «на хребет пустынных гор»: «Как часто на вершине льдистой / Один меж небом и землей (...) Сидел он мрачный и немой, / И белогривые метели, / Как львы, у ног его ревели» (т. 2, с. 175). На своем неподвижном троне, среди снежной пустыни горных вершин, «уныл и мрачен», он слушает горы и наблюдает за жизнью земли: «Бесконечность / Его тревожить не могла, / Он хладнокровно видел вечность, / Не зная ни добра, ни зла» (т. 2, с. 439). «Ничтожность» людей, каких-то «двуножек и козьяков» не интересует его: «Что люди? что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут...» (т. 2, с. 393).

Реминисценции из поэмы «Демон» усиливают пессимизм «Разговора», помогают еще ярче показать «ничтожность» людей в сравнении с вечностью. Трагизм судьбы человека заключается и в том, что ему не на кого рассчитывать. Бог «занят небом, не землей», — скептически замечает Демон. «Над горами бледно-зеленое, светлое, *немое* небо», — соглашается с ним Тургенев (с. 127). Но у Лермонтова, несмотря на его пессимизм, еще была надежда, что природа все-таки не совсем равнодушна к человеку. Человеческая душа может соединиться с природой, раствориться в ней. Окружающий мир все-таки не столь враждебен людям. У лермонтовской природы есть «душа», которая отзывается на чувства, и часто происходит слияние природной и человеческой «душ», образуя некое единство. Особенность лермонтовского мировоззрения состоит и в том, что поэт признает личностное начало в природе. Каждое ее явление или предмет обладают у Лермонтова индивидуальным характером: «плачет утес», «ландыш серебристый приветливо кивает головой» и т. д. Для лермонтовского героя, обреченного на сиротство, одиночество и скитания, не нашедшего понимания среди людей, всегда найдется созвучная «душа» в мире природы. Это может быть и облако, и дерево, и парус, и туча, и т. п., причем не просто облако или туча, а именно *это* облако и *эта* туча. У Тургенева же природа абсолютно равнодушна. В письме к Полине Виардо от 29, 30 мая (10, 11 июня) 1849 года он писал: «Это (реакция крестьянина на то, что град уничтожил весь его урожай. — Т. Т.) было последним движением умирающего Сократа; последний и безмолвный протест человека против бездушия себе подобных или жестокого *равнодушия природы*. Да, она такова: она равнодушна, — *душа существует только в нас и, может быть, немного вокруг нас...* это слабое слияние, которое вечная ночь неизменно стремится поглотить. Но это не мешает злодейке-природе быть восхитительно-прекрасной...».<sup>7</sup> Он обратится к данной теме в другом стихотворении в прозе «Природа», где эта тема прозвучит еще более мрачно. А в «Разговоре» горные вершины так же, как и в лермонтовской поэзии, наделены человеческими чувствами, вернее, писатель «одушевляет» их. У гор есть имена: мужское — Финстерааргорн и женское — Юнгфрау. Они называют друг друга «стариками» и устают от продолжительного разговора. Желание поболтать сменяется желанием отдохнуть и подремать. Но за этот недолгий сон человечество исчезнет с лица земли: «спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над *навсегда замолкшей землей*». Бесследное исчезновение людей никак не влияет на состояние гор (вечности). Горы, олицетворяющие вечность (природу), даже «одушевленные», абсолютно равнодушны к судьбе «козьяков и двуножек». Отметим, что параллель «мошки—люди» встречается и у Лермонтова. Например, она присутствует в стихотворении «Кладбище»: «Над головой / Жужжа со днем прощаются игрой / Толпящиеся мошки, как народ / Сущест<sup>в</sup> с душой, уставших от работ!..» (т. 1, с. 118). Лермонтовские реминисценции, введенные в контекст «Разговора», усиливают трагизм и безнадежность авторского вывода о «ничтожности» человечества в сравнении с вечным и бесконечным Космосом. Использование «чужого» слова помогает писателю ярче проявить

<sup>7</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 1. С. 287, 406—407.

свою творческую оригинальность и самостоятельность, более точно выразить свою точку зрения на ту или иную проблему. «Лермонтовское» слово, вплетенное в текст миниатюры «Разговор», дает возможность полнее и глубже определить отношение Тургенева к проблеме «человек и природа».

Стихотворение в прозе «Два четверостишия» написано в апреле 1878 года одновременно со стихотворением в прозе «Услышишь суд глупца...». Оба произведения связаны между собой темой «поэт и толпа». Действие миниатюры происходит в условном античном городе, похожем на Рим. «Поэт и толпа» — одна из главных тем пушкинской поэзии. На наш взгляд, образ «толпы холодной» в тургеневской миниатюре и отношение ее к Юнию, герою миниатюры, берут свое начало в стихотворении «Ответ анониму» Пушкина: «Холодная толпа взирает на поэта, / Как на заезжего фигляра: если он / Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон, / И выстраданный стих, пронзительно унылый, / Ударит по сердцам с неведомою силой, — / Она в ладони бьет и хвалит, иль порой / Неблагодарно кивает головой».<sup>8</sup> Образ пушкинской «толпы» почти совпадает с образом «толпы» тургеневской. И в том, и в другом произведении возникает мотив недоброжелательности толпы, ее враждебности к поэту. У Пушкина антитеза «поэт — толпа» разрешается так: одинокий художник — сам себе «высший суд». У Тургенева эта тема осложняется конфликтом между поэтами-соперниками и восприятием их творчества толпой «любителей поэзии». Молодой поэт Юний решил прочитать свое стихотворение, но толпа, выслушав его, «сердито заревела», «все глаза сверкали злобой», руки, сжатые в кулаки, угрожающе поднимались. Однако не успел Юний добежать до дома, как услышал хвалебные возгласы и клики. Вернувшись на площадь, он увидел молодого поэта Юлия, которого славил все та же толпа. Он повторил перед народом чуть измененные стихи Юния, но теперь их приняли радостно. Так, на наш взгляд, возникает еще одна тема — тема поэта-пророка. Тургенев подчеркивает, что Юний произносит свои стихи с *амвона*. Как известно, амвон — возвышенное место перед средней частью иконостаса в православном храме, с которого читаются тексты из Евангелия и произносятся проповеди. В то же время действие в тургеневском стихотворении происходит в античном городе. В текст «Двух четверостиший» «вплетаются» реминисценции из лермонтовских стихотворений и появляется образ поэта-пророка. Именно враждебное отношение толпы к поэту характерно для поэзии Лермонтова. В стихотворении «Поэт», написанном в 1838 году, речь идет о назначении поэта, о его месте в обществе. Герой стихотворения — поэт, «могучие слова» которого жадно ловит толпа, но постепенно все меняется: теперь «скучен нам простой и гордый твой язык, — / Нас тешат блестящие и обманы; / Как ветхая краса, наш век привык / Морщины прятать под румяны...» (т. 1, с. 408). В стихотворении «Журналист, читатель и писатель», написанном в 1840 году, запечатлен образ поэта, творчество которого не находит отклика и понимания у «толпы холодной»: «К чему толпы благодарной / Мне злость и ненависть навлечь, / Чтоб бранью назвали коварной / Мою пророческую речь?» (т. 1, с. 435). В лермонтовском «Поэте» возникает образ «осмеянного пророка», который получит свое развитие в стихотворении «Пророк». «Шумный град» встречает поэта-пророка насмешками, не понимает его поэзии, в которой «провозглашать» он «стал любви / И правды чистые ученья: / В меня все ближние мои бросали бешено камень» (т. 1, с. 491). Лермонтовский поэт пробирается через город, слыша за спиной угрожающие и оскорбительные возгласы. Образ Юния и часть стихотворения в прозе «Два четверостишия», связанная с ним, — фактически развернутая реминисценция из лермонтовского «Пророка». С другой стороны, все та же «толпа» благосклонно принимает стихи поэта Юлия, который немного упростил слова Юния и выдал их за свои. Раздумьями о нравственном долге художника, о его достоинстве навеяно это стихотворение Тургенева.

<sup>8</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 3 т. М., 1937. Т. 1. С. 460.



Использование пушкинских и лермонтовских реминисценций в «Двух четверостишиях» важно для нашего восприятия тургеневского текста. Они дают возможность глубже понять душевное состояние писателя в те моменты, когда его романы «Отцы и дети» и «Новь» подвергались несправедливой критике, когда он не был понят современниками, когда все отворачивались от него и «бросали бешено камнями». Образ поэта Юния, как и свойственно художественному произведению, обобщенный образ. Это и сам Тургенев, которого впоследствии называли «пророком», «осмеянный» современниками как создатель Базарова и героев «Нови». Писатель тоже сказал «свое слово», но слишком рано, не вовремя. «Холодная толпа» еще не могла осознать то новое, что пытался показать в своих романах Тургенев.

Стихотворение в прозе «Лазурное царство» написано в июне 1878 года одновременно с «Разговором». На наш взгляд, эта миниатюра тоже связана с лермонтовской поэзией.

«Лазурное царство» — это сон, золотой сон поэзии: «О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне» — так начинает писатель свое, пожалуй, одно из самых поэтических и музыкальных стихотворений в прозе.

Известно, что мотив сна принадлежал к числу главных мотивов в творчестве Лермонтова.<sup>9</sup> Интерес Тургенева к темам «жизнь-сон» и «сон-смерть» также обращал на себя внимание литературоведов.<sup>10</sup> При создании «Лазурного царства» в памяти писателя могли возникнуть поэтические ассоциации, образы, связанные с поэзией Лермонтова. Отметим, что это произведение — не сон-воспоминание. «Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я! Да я и не замечал их», — пишет Тургенев (с. 152). Герой-рассказчик весь растворен в царстве «блаженной тишины», соединяясь в одно целое с небом, землей, товарищами; у них даже сердца полны *единой гармонии*: лодкой «правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая» (с. 153). Возникающие мотивы счастья, свободы и покоя пронизывают «Лазурное царство». «Лебединой грудью вздымался *белый парус* (...) Я видел кругом одно *безбрежное лазурное море*, всё покрытое мелкой рябью *золотых чешуек*, а над *головой такое же безбрежное, такое же лазурное небо* — и по нем, торжественно и словно смеясь, *катилось ласковое солнце*» (с. 152) — это, по сути, развернутая реминисценция лермонтовских строк: «Белеет парус одинокой / В тумане моря голубом!.. / Что ищет он в стране далекой, / Что кинул он в краю родном?.. // Под ним струя светлей лазури, / Над ним луч солнца золотой...» (т. 1, с. 347). Близость двух отрывков сразу ощущается в цветовой гамме: лазурь (голубой, синий цвет), золотой, белый, серебристый, жемчужный и т. д. — у Лермонтова; лазурное царство, белый парус, золотые чешуйки, жемчужная пена, белые розы и лилии — у Тургенева. На наш взгляд, связывает эти два стихотворения и ощущение безграничного пространства, в котором лодка, парус одинокий оказываются в «промежуточном положении» между «землей» (морем) и «небом». Лермонтовский парус «счастья не ищет», так как для него счастья нет нигде: ни в гармонии с окружающим миром, ни в буре. Красота природы, в которой все уравновешено, не привлекает «парус». Он не может существовать в гармонии с самим собой и с природой, не может уравновесить свой внутренний мир с внешним. У Тургенева в его стихотворении счастье недостижимо так же, как оно недостижимо и для Лермонтова: ведь «лазурное царство» счастья всего лишь сон.

<sup>9</sup> Асмус В. Круг идей Лермонтова // Лит. наследство. Т. 43—44. М. Ю. Лермонтов. 1941. С. 83—128; Максимов Д. Е. О двух стихотворениях Лермонтова. «Родина», «Выхожу один я на дорогу» // Русская классическая литература. Разборы и анализы. М., 1969. С. 121—141 и др.

<sup>10</sup> Маевская Т. П. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. Киев, 1978. С. 23—49, 164—169; Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. С. 127—181 и др.

Но у Тургенева, в отличие от Лермонтова, парус и герой стихотворения находятся в состоянии покоя и счастья, в состоянии гармонии и с собой, и с окружающим миром. Однако действительно ли счастье достигнуто? Вот здесь и появляется другая тема — тема «сон-смерть», которая характерна для поэзии романтизма и, в частности, для поэзии Лермонтова. Тургенев рисует прекрасный мир, в котором «птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользлившей вдоль гладких боков нашей лодки. Вместе с цветами, с птицами прилетали *сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыбельная паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило о любви, о блаженной любви!*» (с. 153). По своему эмоциональному тону тургеневские строки напоминают описание природы в поэме «Мцыри»: «Кругом меня цвел божий сад; / Растений радужный наряд / Хранил следы небесных слез, / И кудри виноградных лоз / <...> К ним птиц летал пугливый рой. / И снова я к земле припал, / И снова вслушиваться стал / К волшебным, странным голосам; / Они шептались по кустам, / Как будто речь свою вели / О тайнах неба и земли; / И все природы голоса / Сливались тут» (т. 2, с. 412—413). Словосочетание «сладкие звуки», встречающееся еще у Пушкина в стихотворении «Чернь», особенно характерно для поэтики Лермонтова как устойчивый словообраз его поэтического языка. Например: «Что за звуки! неподвижен внемлю / *Сладким звукам я;* / Забываю вечность, небо, землю, / Самого себя...» (т. 1, с. 261). Тургенев часто вспоминал и цитировал стихотворение «Не верь себе»: «Еще неведомый и девственный родник, / Простых и *сладких звуков* полный, — / Не вслушивайся в них, не предавайся им» (т. 1, с. 411). Для поэтического миропонимания Лермонтова имеет большое значение мысль о том, что в человеке живет бессмертная душа, прежде обитавшая на небесах. Она тоскует по неведомому миру, живущему в «небесных» звуках. Душа томится, и «звуков небес заменить не могли / Ей скучные песни земли» (т. 1, с. 213). У Тургенева эмоциональную нагрузку в стихотворении в прозе «Лазурное царство» несут художественные образы, составляющие ткань описания последней части миниатюры: «*сладкие, сладкие звуки*», в которых чудятся женские голоса, поющие о любви. Не исключено, что это реминисценция из поэмы «Демон»: «И кущи роз, где соловьи / Поют красавиц, безответных / *На сладкий голос их любви*» (т. 2, с. 376). Но, вероятнее всего, это измененная цитата из известного стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...»: «Чтобы власть этого сна дала ему свободу и покой. То же самое мы видим и в «Лазурном царстве» — царстве лазури, света, молодости и счастья. Не случайно Яков Пасынков, герой одноименной повести Тургенева, видит похожий сон на грани жизни и смерти, в состоянии предсмертных грез. Такое состояние «умирания-засыпания» испытывает «под говор чудных снов» Мцыри, слушая песню зеленоглазой рыбки. Созданная воображением полужемная-полунебесная природа обещает покой. Но абсолютный покой совпадает со смертью. Свобода, сон, смерть, покой сливаются в некое состояние, в котором есть и смерть, и жизнь. Смерть — это погружение в сон, в котором человек «приобщается» к «вечной жизни» природы, но этот сон — трагический: человек теряет свое «я», сливаясь с окружающим

Написанное в 1841 году, стихотворение стало своеобразным итогом творчества Лермонтова, объединив в себе сквозные темы и мотивы, характерные для его поэзии. Это и тема «сон-смерть», и мотивы одиночества человека, его скитальчества, свободы, покоя. Оно наиболее созвучно по своему настроению тургеневскому «Лазурному царству». Образные совпадения связаны с общностью тем двух произведений. Герои и Лермонтова, и Тургенева стремятся куда-то в «неувядаемый рай», в «блаженную» высь, о которой они мечтали, растворяются в «космической безмятежности». Близки эти стихотворения и своей музыкальностью. «Выхожу один я на дорогу...» — своеобразное воплощение посмертной драмы, сна-смерти; герою хочется, чтобы власть этого сна дала ему свободу и покой. То же самое мы видим и в «Лазурном царстве» — царстве лазури, света, молодости и счастья. Не случайно Яков Пасынков, герой одноименной повести Тургенева, видит похожий сон на грани жизни и смерти, в состоянии предсмертных грез. Такое состояние «умирания-засыпания» испытывает «под говор чудных снов» Мцыри, слушая песню зеленоглазой рыбки. Созданная воображением полужемная-полунебесная природа обещает покой. Но абсолютный покой совпадает со смертью. Свобода, сон, смерть, покой сливаются в некое состояние, в котором есть и смерть, и жизнь. Смерть — это погружение в сон, в котором человек «приобщается» к «вечной жизни» природы, но этот сон — трагический: человек теряет свое «я», сливаясь с окружающим

миром, растворяясь в нем. Тема смерти — одна из главных тем в цикле «Стихотворения в прозе». Используя лермонтовские образы, ассоциации и аллюзии, Тургенев более мягко и лирично раскрывает эту тему. «Лазурное царство» — сон-утешитель, сон-мечта, сон-смерть.

Стихотворение в прозе «Роза» датировано апрелем 1878 года. В черновом автографе эта миниатюра называлась «Роза в грязи», в перечне «Сюжеты» белой рукописи — «Роза (павшая в грязь)». В черновом автографе Тургеневым сделано много перемен, связанных с тем, что сначала это событие происходило летом, в жаркий вечер июня, а потом писатель перенес его ближе к осени, на август, что больше подходило к настроению стихотворения. Интересно предположение И. В. Чуприны, что в этом стихотворении гаятся «отзвуки былого, память о мыслях и чувствах, вызванных когда-то личностью и историей жизни А. С. Долгорукой. (...) Отголосок истории Ирины (героини романа «Дым». — Т. Т.) и ее прототипа слышится в стихотворении о розе, упавшей в грязь» (ср. выражение Литвинова «грязью осквернены твои белые крылья»). (...) Уподобление этой запачканной розе и видящая своё сходство с ней героиня стихотворения, прекрасные глаза которой, „засияв от слёз“, „в то же время смеются дерзостно и счастливо“, напоминают А. Долгорукую в изображении Тургенева».<sup>11</sup>

Символика розы в истории культуры настолько многообразна, что об этом можно писать многотомные труды. Использование этого цветка в произведении искусства встречается так часто, что постепенно становится литературным штампом. Анализируя образ розы у Пушкина и Тургенева, Н. Л. Дмитриева отмечает, что роза в произведениях Тургенева, как правило, символ любви, особенно красная роза. Сравнивая «пушкинскую» и «тургеневскую» розы, автор исследования приходит к выводу, что роза Пушкина оказывается многограннее тургеневской.<sup>12</sup> Но, на наш взгляд, «тургеневская» роза все-таки не менее многогранна и содержательна.

В тургеневской миниатюре «Роза» действительно присутствует традиционная литературная параллель: судьба розы и судьба девушки. Такое же использование образа цветка мы видим и в стихотворении в прозе «Как хороши, как свежи были розы...», хотя и здесь смысловое содержание этого образа увеличивается. Роза не только олицетворяет молодую девушку, но становится символом уходящей жизни и печальных воспоминаний о прошлом. Тема розы возникает в стихотворении «Роза» в середине текста. Автор повествования находит на дорожке сада цветок, который, «алея даже сквозь разлитую мглу», как будто «вспыхивает» из тьмы, освещая судьбу героини. Цветок определяет композиционный центр тургеневской миниатюры: «то была молодая, чуть распутившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди» (с. 145). Вспомним фетовскую розу: «За вздохом утренним мороза, / Румянец уст приотвора, / Как странно улыбнулась роза / В день быстролетный сентябрь! (...) // Расцвеств в надежде неуклонной, — / С холодной разлучась грядой, / Прильнуть, последней, опьяненной, / К груди хозяйки молодой!»<sup>13</sup> У Тургенева образ розы, олицетворяющий судьбу «хозяйки молодой», делит жизнь героини и стихотворение в прозе на две части. Сначала роза была чиста и покоилась на груди молодой девушки, потом она упала в грязь, ее лепестки стали измятыми и запачканными. Судьба розы предопределяет судьбу тургеневской героини и ее любви. Сначала «она» чиста, потом «измята и запачкана», потом «сожжена», как и роза в камине. Уже известен трагический финал этой истории, хотя «прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо» (с. 145). Но поче-

<sup>11</sup> Чуприна И. В. О реальной основе некоторых произведений И. Н. Крамского и И. С. Тургенева. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1994. С. 75.

<sup>12</sup> Дмитриева Н. Л. Роза у Пушкина и Тургенева // Русская литература. 2000. № 3. С. 101—105.

<sup>13</sup> Фет А. А. Вечерние огни. М.: Наука, 1981. С. 374.

му из текста ясно, что девушка будет «сожжена» любовью? Как нам кажется, в этой миниатюре проявляется мастерство Тургенева, тонкого художника, и свойственная ему «тайнопись» творчества. В текст произведения писатель настолько незаметно «вплетает» лермонтовскую реминисценцию из романа «Герой нашего времени», что в первый момент ее трудно обнаружить. Роман Лермонтова особенно был любим Тургеневым. Современники отмечали внешние черты «печоринства» в поведении молодого Тургенева. Да и писатель в своих произведениях создает целую галерею типов «лишних людей», генетически связанных с лермонтовским героем.<sup>14</sup>

Лермонтов, создавая идеальный образ женщины, часто обращается к звукам, краскам и образам, взятым из окружающего мира, прибегает к традиционным символам, но они в его поэзии обретают черты оригинальности. В поэтическом мире Лермонтова «цветок» — символ хрупкости, ранимости, нежности, женственности. Так, например, поэт говорит: «Не плачь, не плачь — не все гроза бушует, / Проглянет солнце, и цветок, измятый / Порывом ветра, встанет обогреться». Или: «Она / свежа, как южная весна, / И, как пустынный цвет, горда». Или: «Один меж них приметил я цветок, / Как будто перл, покинувший восток, / На нем вода блистаючи дрожит, / Главу свою, склонивши, он стоит, / Как девушка в печали роковой» (т. 1, с. 94).

В тургеневской миниатюре «Роза» образ цветка, брошенного на дороге, явно ассоциируется со словами Печорина: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она *как цветок*, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, *бросить на дороге*: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути» (т. 2, с. 265). Так, благодаря введенной в контекст произведения лермонтовской реминисценции, расширяются границы тургеневской миниатюры. Перед читателем возникает третий герой стихотворения в прозе «Роза», который вполне может сказать о себе: «Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?» (там же). Вот почему тургеневская героиня будет «сожжена». Она больше не в силах сопротивляться своему чувству, в душе ее происходит мучительная, хотя и недолгая борьба. Но она любит его, властителя своей души, и к нему после недолгих раздумий уходит. Сад «горит и дымится». Он залит «пожаром зари», на него «с упорной задумчивостью» смотрит молодая девушка. «Пожар» в душе героини и «пожар» сада совпадают: «она в тот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить». Это — первая часть стихотворения в прозе. Во второй части миниатюры девушка, «обернувшись к камину, бросила цветок в *умиравшее пламя*», и автор-рассказчик «понял, что и она была „сожжена”». Сюжет стихотворения в прозе развивается в «огненном» обрамлении. Героиня уходит, охваченная «пожаром», и возвращается «сожженной». Не переставая быть живым цветком, роза становится символом, придающим особую поэтическую и психологическую значительность происходящему.

Стихотворение в прозе «Роза» о любви-страсти, но и в этой маленькой миниатюре Тургенев «спрятал» тему смерти. Слова-сигналы напоминают читателю, что в этом мире «всё преходяще». События, рассказанные автором, происходят накануне осени, в августе, когда природа постепенно начинает увядать, готовясь к зимним холодам. Зима — олицетворение смерти природы, хотя и смерти временной. Поги-

<sup>14</sup> Лисенкова Н. А. Указ. соч. С. 37—56; Назарова Л. Н. Указ. соч. С. 261—269 и др.

бают роза в огне, причем в *умирающем* пламени. Смерть цветка и смерть самого огня символизируют в этой миниатюре смерть любви, а может быть, и гибель самой девушки. Любовь сжигает человека, как и огонь сжигает розу. Не случайно и сама роза — алая. Красные розы в христианской традиции нередко связывались с огнем костров, на которых горели мученики за веру и любовь к Богу. Роза алого цвета в тургеневском стихотворении в прозе не только символ прекрасной любви и молодой девушки, но, на наш взгляд, и символ мучений и страданий, которые сопровождают это чувство, символ смерти. Образ героя печоринского склада, скрытый в подтексте данной миниатюры, свидетельствует и о том, что мотив «любви-рабства», характерный для всего творчества Тургенева, считавшего, что в любви нет равенства, был одним из главных и в этом стихотворении в прозе. Один — всегда «раб», другой — «господин». Образ розы наполняется различными значениями. Роза превращается в символ.

Изучение реминисценций, так называемого «чужого» слова, в оригинальном тексте дает возможность полнее рассмотреть творчество писателя во всем литературном контексте, точнее проанализировать его произведения с точки зрения преемственности литературного процесса. Повторяемость сюжетов, образов или коллизий, как известно, отнюдь не свидетельствует о слабости таланта или зависимости писателя от творчества другого художника. Ведь еще Гете так характеризовал положение творца: «В наши дни вряд ли возможно сыскать ситуацию безусловно новую. Новой может быть разве что точка зрения на искусство ее изображения и обработки».<sup>15</sup> Обращаясь к творчеству Лермонтова, Тургенев обогащал тексты своих стихотворений в прозе, придавая им глубокий философский смысл.

<sup>15</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 597.

© И. А. Кузьмина

## С. А. ТОЛСТАЯ, С. П. ХИТРОВО И ФЕТ: К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ

Вдове А. К. Толстого, Софье Андреевне Толстой (урожденной Бахметевой, в первом браке Миллер; 1825—1892), и ее племяннице Софье Петровне Хитрово (урожденной Бахметевой; 1848—1910) А. А. Фет посвятил несколько своих произведений 1880-х годов: перевод второй части «Фауста», поэму «Студент», а также стихотворения «Я опоздал — и как жалею!..», «Где среди иного поколенья...». В архиве поэта сохранились письма С. А. Толстой и С. П. Хитрово, которые представлены в настоящей публикации. Вместе с давно известными письмами Фета к Толстой они образуют переписку, охватывающую 1880-е годы и свидетельствующую о теплых отношениях корреспондентов.

Познакомился Фет с Софьей Андреевной, а возможно, и с Софьей Петровной еще при жизни А. К. Толстого. В «Моих воспоминаниях» (так озаглавлены первые два тома фетовских мемуаров) он рассказывает о считанных встречах с автором «Князя Серебряного», отзываясь о нем и его жене с неизменным восхищением и симпатией (чувства эти, при всей их искренности, как известно, не распространялись на поэзию Толстого, за которой Фет признавал лишь одно достоинство — виртуозность). Первый эпизод с участием Толстых включен в череду событий 1864 года. Описывая свое пребывание в Петербурге, куда он приехал в сопровождении В. П. Боткина, Фет вспоминает: «Однажды (...) Василий Петрович встретил меня

словами: „Здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобою познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил”».

Письмо это дошло до наших дней, приводим его полный текст:

Многоуважаемый Афанасий Афанасьевич,

Не пеняйте на Боткина за то, что он придет к Вам не ранее 2-х часов пополудни. Виною тому *мы*. И теперь даже мы отпускаем его только с тем условием, чтобы он вернулся к нам 24-го числа с *Вами*. Надеюсь, что Вы не откажете мне и жене моей в удовольствии угостить Вас по-деревенски перед нашим отъездом в Малороссию. Ожидаю Вас с нетерпением и остаюсь искренно Вас почитающий

Ал. Толстой.

22 августа 1864.<sup>1</sup>

Фет припоминает, что оказался в Пустыньке «в назначенный день»,<sup>2</sup> следовательно, первая встреча его с Толстыми произошла 24 августа 1864 года. Тогда же он познакомился с А. М. Жемчужниковым, «главным вдохновителем несравненного поэта Пруткина». Вероятно, среди обитателей Пустыньки была и любимая племянница графини, юная Софья Бахметева, — она воспитывалась в доме Толстого с девятилетнего возраста.<sup>3</sup>

По словам Фета, граф и графиня «несказанной приветливостью и истинно высокой простотою» сумели с первого свидания поставить его в самые дружеские к себе отношения. Тем не менее завязавшееся в Пустыньке знакомство не имело продолжения, пока в конце 1868 года Фет случайно не встретил Толстого в Орле.<sup>4</sup> После этого поэты стали переписываться, а в июне-июле следующего года Фет вместе со своим зятем И. П. Борисовым провел несколько дней в Красном Роге, черниговском поместье Толстого.<sup>5</sup> Там его вновь очаровала хозяйка дома. «...Графиня умела оживить свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце, или каком-либо историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерской игрою и пением заставить слушателя задышать лучшейею жизнью», — читаем в «Моих воспоминаниях».

О племяннице Толстой Фет ничего не сказал и на этот раз, зато упомянул ее мужа: «Из посторонних мы в доме застали блестяще образованного молодого человека Х-о, занимающего в настоящее время весьма видное место в нашей дипломатии». Речь идет о М. А. Хитрово (Софья Бахметева вышла за него осенью 1868 года).<sup>6</sup> Первое время супруги проживали в Одессе, где служил Михаил Александро-

<sup>1</sup> Печатается по автографу (РГАЛИ. Ф. 515. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 1). Слова, выделенные здесь и далее курсивом, в оригинале подчеркнуты.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: *Фет А. А. Воспоминания*: В 3 т. [М.], 1992. Т. 2. С. 25—28.

<sup>3</sup> С. П. Хитрово оставила воспоминания о своем детстве (отрывки из которых сохранились в копиях), где, в частности, пишет: «Толстой и Софа были для меня недостижимым идеалом доброты, от них исходило все для меня, они мне давали ответы на все мои сомнения и стремления...» См.: *Лосев А. Владимир Соловьев и его время*. М., 1990. С. 51—56; *Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы*. Материалы к биографии: В 3 т. М., 1990. Т. 2. С. 237—238; Т. 3. С. 242—243; РО ИРЛИ. Ф. 325. Оп. 1. Ед. хр. 710.

<sup>4</sup> *Фет А. Воспоминания*. Т. 2. С. 180—181.

<sup>5</sup> Там же. С. 185—187.

<sup>6</sup> Михаил Александрович Хитрово (1837—1896) за годы службы в МИД занимал посты дипломатического чиновника при новороссийском и бессарабском губернаторе (с 1868), генерального консула в Константинополе (1871—1876); в качестве начальника дипломатической канцелярии главнокомандующего сопровождал балканскую армию от Кишинева до Сан-Стефано; по окончании войны с Турцией был генеральным консулом в Салониках (с 1878), далее — русским представителем в международной дунайской комиссии (1880), дипломатическим агентом и генеральным консулом в Болгарии (с 1881) и Египте (1886); затем был посланником в Румынии (с 1886), Португалии (с 1891), Японии (с 1892).

вич. Судя по опубликованным письмам Толстого, они и в самом деле гостили в Красном Роге тем же летом, что и Фет.

В дальнейшем Фет и Толстой не виделись, переписка между ними постепенно угасла. Что же касается отношений Фета с Софьей Андреевной, то они возобновились много лет спустя. Вскоре после смерти Толстого его вдова поселилась в Петербурге, под одним кровом с вернувшейся из Константинополя С. П. Хитрово. С осени 1877 года родственницы снимали квартиру в доме № 30 по Миллионной улице.<sup>7</sup> Именно с этим адресом связан расцвет литературного салона Толстой, который пришелся на конец 1870-х — начало 1880-х годов: В. С. Соловьев и Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров и Я. П. Полонский были тогда завсегдатаями гостиной Софьи Андреевны.<sup>8</sup>

По свидетельству знакомых, Толстая отличалась острым умом и энциклопедической образованностью, много читала, следила за современной литературой. Была она чуткой к художественному слову — не только А. К. Толстой, но и другие писатели ценили ее «строгую и тонкую критику».<sup>9</sup> При этом мемуаристы особо выделяют еще одну грань личности Толстой: у нее была «бездна обаяния, удивительно ласковая приветливость и умение сразу расположить к себе».<sup>10</sup>

Племянница Толстой, жившая с ней рядом, в письмах и мемуарах большинства современников если и упоминается, то вскользь. Тем не менее имя С. П. Хитрово хорошо известно литературоведам, в первую очередь благодаря стихам В. С. Соловьева, который едва ли не до конца своих дней питал к ней глубокое чувство. «С. П. Хитрово при жизни графини С. А. Толстой несколько тушевала — поцелуешь руки, и все. Но потом она развернулась, — рассказывал С. М. Лукьянову князь Э. Э. Ухтомский. — Человек остроумный, наблюдательный, огромный „charme“, сосредоточила в себе всю поэзию толстовского дома. Внешность с резкими чертами лица, какая-то татарская. (...) Что-то кошачье, звериное и тем не менее — очаровательное, влекущее к себе. Большая простота в обращении: не было желания казаться не тем, что есть на самом деле». Ухтомский коснулся и причин, побудивших молодую женщину вернуться к тетке: «Семейная жизнь С. П. Хитрово сложилась неблагоприятно. Ее муж — блестящий, интересный человек, величавый барин, дипломат старой школы, писал хорошие стихи, не думал о завтрашнем дне; при всем том — большой Дон-Жуан. Выпла за него Софья Петровна замуж не столько по любви, сколько под влиянием родных. Супруги жили то вместе, то врозь, то сближались, то снова расходились».<sup>11</sup>

Дар литературного критика, о котором говорили все современники, способствовал возобновлению общения С. А. Толстой с Фетом. Вот как это произошло. В конце декабря 1880-го — начале января 1881 года Фет побывал в Петербурге. Афана-

<sup>7</sup> Указанный дом и поныне значится под № 30, до настоящего времени он дошел в перестроенном виде (Башмаков А. И. От Лебяжьей канавки до Дворцовой площади // Я иду по Миллионной. СПб., 2002. С. 86). Срок аренды предыдущей квартиры Толстой и Хитрово, в доме № 18 по Шпалерной улице, истек к маю 1877 года.

<sup>8</sup> См. письмо Н. Н. Страхова к С. А. Толстой, жене Л. Н. Толстого, от 7 апреля 1880 года (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894 // Толстовский музей. СПб., 1914. Т. II. С. 252).

<sup>9</sup> Посвящая Толстую в свое намерение опубликовать речь о Пушкине, Достоевский писал: «Тогда и пришла ее Вам, глубокоуважаемая Софья Андреевна, на Вашу строгую и тонкую критику, которой не боюсь и которую всегда люблю, будь она даже мне неблагоприятна» (цит. по: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1996. Т. 15. С. 635). По утверждению двоюродной сестры А. К. Толстого, «Тургенев высоко ценил Софью Андреевну как критика и часто присылал ей свои рукописи для прочтения» (Матвеева Е. Несколько воспоминаний о гр. А. К. Толстом и его жене // Исторический вестник. 1916. № 1. С. 172).

<sup>10</sup> Из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов» / Публ. П. Р. Заборова // Русская литература. 2002. № 2. С. 187—188.

<sup>11</sup> Материалы к биографии Вл. Соловьева (из архива С. М. Лукьянова) / Публ. А. Н. Шаханова // Российский архив. М., 1992. Т. II—III. С. 401.

сий Афанасьевич был поглощен исправлением частностей законченного в целом обширного труда, перевода первой части «Фауста», читал его «знатокам» и просил их высказывать критические замечания. В связи с этим он вспомнил о графине Толстой, но не осмелился нанести ей визит. Однако чуть позднее, в Москве, Фет познакомился с В. С. Соловьевым и под его влиянием все же обратился к Софье Андреевне — письменно. «Мне сказали в Петербурге, что вы неохотно принимаете, и я не решился беспокоить вас посещением» — такими словами открывается первое письмо Фета к Толстой, написанное 22 января 1881 года, вскоре после возвращения в Воробьевку (курское имение). Далее поэт переходит к цели своего послания: «Я перевел первую часть „Фауста“, и Влад. Сергеевич Соловьев пояснил мне, — уже в Москве, — что превосходной формой и оконченностью отделки, напр. в „Бог и Баядера“ покойный граф Алексей главным образом обязан вашей критике. (...) Если бы дело шло обо мне, и я смотрел бы на свой перевод как на личный товар, то, конечно, не решился бы прибегнуть к вашей помощи. Но дело идет о русском переводе „Фауста“, которого до сих пор удовлетворительного нет. Я бы хотел добиться такого, и вопрос в том, угодно ли вам будет помочь этому делу некоторыми замечаниями...»<sup>12</sup>

Толстая ответила с дружеской сердечностью — ее письмо прилагается ниже. Скажем несколько слов о характере дальнейшей переписки Фета и Толстой. Как видно из письма от 10 февраля 1881 года, Фет был готов к интенсивному диалогу с Софьей Андреевной, желая сделать предметом обсуждения не только «Фауста», но и другие волновавшие его вопросы. Этого, однако, не произошло, эпистолярное общение между ними свелось к относительно редкому обмену короткими письмами, происходившему от случая к случаю. Причина, думается, заключалась в том, что в отличие от Фета, который с удовольствием поддерживал регулярную переписку с обширным кругом лиц, Толстая явно не любила писать; все богатство своих мыслей и впечатлений она приберегала для устных бесед, оставляя перу по преимуществу деловую сферу. Таким образом, не переписка задавала тон в отношениях Фета и Толстой, а личные встречи, случавшиеся время от времени в Петербурге и Москве. Заметим, что в том же 1881 году в жизни Фета, до тех пор редко покидавшего деревню, произошли важные изменения: он купил себе дом на Плющихе и стал проводить зимние сезоны в первопрестольной. Толстая и неразлучная с ней тогда Хитрово заезжали в Москву обычно весной — по пути из Петербурга в Красный Рог —

<sup>12</sup> Письма к графине С. А. Толстой Ив. Серг. Тургенева, Влад. Соловьева, Ф. Достоевского, Шеншина-Фета, гр. В. Соллогуба, Я. П. Полонского и др. [Вступительная заметка] г. X-о // Вестник Европы. 1908. № 1. С. 222—223. Материалы Пушкинского Дома доказывают, что криптоним скрыл авторство С. П. Хитрово (она, как известно, унаследовала архив Толстых). «Я приготовила несколько писем и маленькое вступление, которое я бы очень желала бы, чтобы вы напечатали в „Вестнике Европы“, — писала Хитрово М. М. Стасюлевичу 25 апреля 1907 года. — Письма Тургенева, Достоевского, Фета (Шеншина), Полонского к моей тете, графине Соф(ии) Андр(еевне) Толстой...». Позднее Хитрово пыталась заинтересовать редактора «Вестника Европы» письмами к А. К. Толстому «от извест(ных) лиц, как то: Тургенев, Шеншин-Фет, Костомаров, Полонский, граф Уваров, Ауэрбах и т. д.» (письмо от 9 января 1908 года). В том же году, 18 февраля, она повторила свое предложение: «Несмотря на то, что вы мне уже писали, что вы не хотите больше печатать писем, я все-таки решаюсь послать вам список писем к моему дяде. — Мне не хочется печатать что-нибудь касающееся до него в каком-либо журнале, кроме „Вест(ника) Европы“, и потому решаюсь *поверить* вашему гневу и опять спросить вас, не хотите ли вы их напечатать в вашем журнале? Многие мне пишут и говорят с интересом о письмах к моей тете, графине С. А. Толстой. Я считаю эти письма как намеченные тропинки для серьезных биографов, и некоторые уже заявили мне благодарность» (РО ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. Ед. хр. 1529. Л. 16, 19—20). В настоящее время местонахождение автографов писем Фета к С. А. Толстой неизвестно, также неизвестны письма Фета к С. П. Хитрово и А. К. Толстому, которые никогда не публиковались. Согласно давним разысканиям Б. Я. Бухштаба, одно письмо Толстому хранится в Гос. Историческом музее (*Бухштаб Б. Я. Судьба литературного наследия А. А. Фета // Лит. наследство. 1935. Т. 22—24. С. 599*).



и осенью, возвращаясь обратно. Останавливались они, по давней традиции, в гостинице «Славянский Базар».

Софья Андреевна и Софья Петровна любили поэзию Фета, а кроме того, были душевно расположены к самому поэту, стремились к общению с ним; сохранился ряд записок-приглашений от них (без дат), адресованных Афанасию Афанасьевичу или, реже, — Марье Петровне, его жене.

«Если возможно вам и Марье Петровне быть у нас в четверг и пятницу вечером, очень будем тому рады, если нельзя, то ожидаем вас в четверг. — Кланяемся вам от всей души. — До свидания. — С. Толстая».

«Не придете ли вы к нам обедать сегодня: в пять — 1/4 шестого? Мы так рады были вчера вас видеть. Когда приведется еще, в другой раз. Если нельзя, то завтра, Боткина<sup>13</sup> в час. Пишу также Леонтьеву,<sup>14</sup> чтоб пришел обедать. До свидания. — С. Толстая». На конверте: «Афанасию Аф(анасьевичу) Шеншину. На Плющихе, в собственный дом».

«Говорят, вы нездоровы и не выезжаете, а я очень хотела бы вас видеть — приехать к вам? Я и вам знакомая моя племянница — если жена ваша нас<sup>15</sup> примет. До свидания, а если зайдете к нам, очень буду рада. — Гр. С. Толстая».<sup>16</sup>

Или: «Афанасий Афанасьев(ич). — Я поручила Владим(иру) Сергеевичу зайти к вам и сказать вам, что ваши слушатели очень просят, чтобы завтра (вторник) было бы чтение, если возможно. И Александра Николаев(на) Бахметева,<sup>17</sup> и Философ(овы), и Долгоруки<sup>18</sup> — все свободны завтра вечером. Соловьев заходил к вам 2 раза и не застал. — Пожалуйста, ответь(те) мне и скажите, что вам удобно. Они все очень желают вас послушать. — Кланяйтесь очень Марье Петровне. — До свидания. — София Хитрово. — „Слав(янский) Базар”. — Понедель(ник)».<sup>19</sup>

«Милая Марья Петровна. — Мы так рады, что вы оба здесь, и надеюсь, что вы приедете сегодня вечером в 9 ч(асов). У нас чтение будет, и мы так желали бы вас видеть у нас. — До свидания. — София Хитрово».<sup>20</sup>

И все же со стороны Фета посещения Петербурга были редкими и кратковременными. Вероятно, и петербурженки чаще всего оказывались в Москве проездом и на длительный срок там не задерживались, но однажды обстоятельства сложились иначе.

В письме В. С. Соловьева к А. А. Кирееву, посланном из Москвы в Петербург в конце ноября — начале декабря 1883 года (датировка наша), находим следующие строки: «Хотя гр. С. А. и говорила мне, что писала Вам два раза, но так как она не всегда пишет с достаточной определенностью, то вот Вам требуемые сведения о С. П. (Хитрово. — *И. К.*). За границу она не поедет. Больна она общим невритом

<sup>13</sup> Одна из родственниц жены Фета, урожд. Боткиной.

<sup>14</sup> Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ и публицист, выдающийся представитель консервативной мысли. С женой М. А. Хитрово, своего друга детства, познакомился, видимо, в начале 1870-х годов, в Турции; его впечатления от С. П. Хитрово «константинопольского периода», в расцвете ее молодости, вылились в яркий портрет («В ней» соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное *косноязычие* и ясный, твердый ум»), который можно сравнить с позднейшей характеристикой, содержащейся в письме к Губастову от 1891 года: «Небо дало ему (М. А. Хитрово. — *И. К.*) (...) жену весьма умную, ловкую в высшей степени, изящную донельзя» (Автобиография К. Леонтьева «Моя литературная судьба» / Комментар. С. Дурьлина // Лит. наследство. 1935. Т. 22—24. С. 435, 475).

<sup>15</sup> В оригинале описка: вас.

<sup>16</sup> РО ИРЛИ. Ед. хр. 20291. Л. 25—34. Все записки печатаются без деления на абзацы, начало нового абзаца отмечено знаком тире.

<sup>17</sup> Бахметева Александра Николаевна (урожд. Ховрина; 1823—1901) — автор книг для детей исторического и религиозного содержания. Подробнее о ней см.: Тютчев в Мюнхене (из переписки И. С. Гагарина с А. Н. Бахметевой и И. С. Аксаковым) / Вступ. статья А. Л. Осповата // Лит. наследство. 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 39.

<sup>18</sup> Какие именно Философовы и Долгорукие имеются в виду, установить не удалось.

<sup>19</sup> РО ИРЛИ. Ед. хр. 20294. Л. 1—2 об.

<sup>20</sup> Там же. Ед. хр. 20321.

или невритами, по свидетельству здешнего архимедика Захарьина.<sup>21</sup> «...» Болезнь не опасная, но может быть очень продолжительной и требует неподвижности».<sup>22</sup> Приблизительно месяц спустя, в конце декабря, уже сама Софья Андреевна писала Стасюлевичу: «Благодарю Вас Михаил Матвеевич, за письмо за ваши добрые желанья, дай Бог чтоб всем был легче этот грядущий год. У меня еще не изменилось ничего к лучшему, племянница моя все еще больна, и доктора говорят на всю зиму — нервная тяжкая болезнь». После подписи — адрес: «М(алая) Дмитровка, д(ом) Мансурова». Следующее письмо Толстой, отправленное (либо, может быть, полученное) 10 января 1884 года, столь же безрадостно: «...а у меня все нехорошо — и племянница моя все больна, и я в большой горести».<sup>23</sup> Адрес здесь не указан, однако очевидно, что это послание, подобно предыдущему, писалось в Москве.

Воспоминания Ф. Д. Батюшкова отчасти проясняют ситуацию. Впервые он увидел Толстую «в роскошной квартире» на Миллионной, а «потом с ней встретился уже при совсем иной обстановке, в бедно обставленной мебелированной комнате, в неизвестности чем и как жить после допущенных ею „неосторожностей“, как тогда говорили, с предоставленной ей арендой...».<sup>24</sup> Весной 1883 года родственницы еще проживали в Петербурге, на прежней квартире, собираясь в ближайшие дни выехать в летнюю резиденцию (см. письмо Хитрово к Фету от 8 марта, где адрес «Миллионная, 30» появляется в последний раз). Поэтому рискнем предположить, что проблемы, о которых сообщает Батюшков, возникли осенью 1883 года;<sup>25</sup> они-то, возможно, и заставили Толстую и Хитрово отказаться от зимнего сезона в столице и переселиться на время в Москву.

Дом Мансурова, что стал их пристанищем в Москве, находился на углу Малой Дмитровки и Пименовского переулка (современный адрес — Малая Дмитровка, 21/18).<sup>26</sup> Это было деревянное строение,<sup>27</sup> судя по сохранившимся домам, двухэтажное. На другой стороне переулка стояла церковь Пимена Великого, и окрестные обыватели иногда добавляли к своим адресам для большей ясности: «у Старого Пимена». Кстати, видный историк Д. И. Иловайский (1832—1921), герой автобиографического очерка М. Цветаевой «Дом у Старого Пимена», был соседом Мансурова, его дом располагался на смежном по переулку участке.

Итак, не позднее ноября 1883 года Толстая и Хитрово обосновались на новом месте. Некоторые подробности их московской жизни содержатся в письме К. Н. Леонтьева к О. А. Новиковой от 1 января 1884 года: «Хитрово здесь с теткой гр. Толстой. У нее у бедной неврит, лежит уже давно и пролежит еще. Жгут ей спину железом. — 4-го, однако, у них чтение в пользу 2-х бедных семейств, читают: Фет, Чаев, И. С. Аксаков, князь Цертелев и я».<sup>28</sup>

<sup>21</sup> Захарьин Григорий Антонович (1829—1897) — профессор факультетской клиники Московского университета, считался лучшим в Москве терапевтом.

<sup>22</sup> Соловьев В. С. Письма: В 4 т. СПб., 1909. Т. 2. С. 103.

<sup>23</sup> М. М. Стасюлевиц и его современники в их переписке: В 5 т. СПб., 1912. Т. 2. С. 394. Письма Толстой опубликованы с указанием только года, более точные даты даны по обнаруженным на автографах пометам: «отв. 4/1 84»; «10/1» (РО ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. Ед. хр. 1440. Л. 27, 29).

<sup>24</sup> См. прим. 10.

<sup>25</sup> Примечательно, что как раз в 1883 году — точная дата неизвестна — Толстая была вынуждена продать Н. М. Жемчужникову имение Погорельцы (Стафеев Г. И. Сердце полно вдохновенья. Тула, 1973. С. 91).

<sup>26</sup> В московских адрес-календарях за 1883—1884 годы домовладельцем числится Борис Павлович Мансуров, тайный советник (бывший на самом деле уже действительным тайным советником), с 1885 года — его жена, Мария Николаевна Мансурова, урожд. кн. Долгорукова. Местоположение дома показано в более поздних изданиях, см., например: Адресная и справочная книга города Москвы за 1894 год. М., 1894. Ч. 1. Ст. 94 (Малая Дмитровка), 245 (Пименовский переулок).

<sup>27</sup> Мансуровым принадлежали деревянный дом в Москве и каменный в Петербурге (Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е февраля 1884 года. СПб., 1884. С. 58).

<sup>28</sup> Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854—1891) / Подг. Д. В. Соловьев. СПб., 1993. С. 277.

Из приведенного отрывка следует, что 4 января ожидался литературный вечер с участием Фета. Укажем, что датой «1884 года, 4-го января» помечен карандашный набросок Е. С. Селивачевой, запечатлевшей Афанасия Афанасьевича за чтением своих произведений.<sup>29</sup> Получается, что художница рисовала Фета у С. А. Толстой, в доме на Малой Дмитровке. Рисунок этот хранится ныне в Мурановском музее, а вот когда и каким образом попал туда — неизвестно. Если допустить, что Селивачева в тот же вечер подарила свою работу одному из названных в письме Лентьева гостей, И. С. Аксакову, то ответ на поставленный вопрос станет очевидным: аксаковский архив был перевезен в Мураново в 1889 году.<sup>30</sup>

Скорее всего, Толстая и Хитрово прожили в Москве до весны. Дом их, как и в Петербурге, был открыт для знакомых, несмотря на болезнь Софьи Петровны, и Фет, вероятно, часто посещал его. По нашей версии, именно в тот период он написал поэму, которая через несколько месяцев появилась в печати с посвящением С. П. Х-о, — речь идет, конечно, о «Студенте».

17-й номер петербургского еженедельника «Нива», где впервые был напечатан «Студент», вышел в свет 28 апреля 1884 года. В Хронологическом указателе Никольского поэма замыкает перечень произведений 1883 года, предшествует ей стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...», датированное 31 декабря.<sup>31</sup> Согласно вступительной статье «От редактора», произведения 1880-х годов помещены в указателе в той последовательности, в какой были написаны. В таком случае местоположение «Студента» означает, что работа над ним была завершена 31 декабря или, при более осторожной интерпретации, — в конце декабря 1883 года. Основания датировки Никольского, впрочем, неизвестны, и судить о ее достоверности трудно. Должно быть, поэтому научные издания Фета, выпущенные в Большой серии «Библиотеки поэта», игнорируют данные Хронологического указателя, сообщая только год первой публикации «Студента».

Зато обстоятельства, при которых возник замысел этого произведения, обрисованы самим автором:

Гляжу на вас я, умница моя,  
Как на своем *болезненном* вы ложе (курсив наш. — И. К.)  
Откинулись, раздумие тая,  
А против вас, со сказочником схоже,  
И бормочу и вспоминаю я  
О временах, как был я молод тоже,  
Когда не так казалась жизнь пуста, —  
И проснутся октавы на уста.<sup>32</sup>

Итак, общение с обаятельной и умной С. П. Хитрово побудило Фета окунуться в воспоминания о юношеском романе, воплотившиеся вскоре в поэму. Нельзя не признать весьма вероятным, что беседа, давшая импульс к рождению поэмы, произошла зимой 1883/1884 года, когда Софья Петровна, во-первых, жила в Москве, а во-вторых, долго болела. Такой вывод согласуется с Хронологическим указателем и отчасти его подтверждает, позволяя принять конец декабря 1883 года в качестве предположительной датировки «Студента».

В одной из записок Толстой упоминается некая новая поэма, которую можно отождествить со «Студентом» (жанр поэмы представлен в позднем творчестве Фета

<sup>29</sup> См.: Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 239. («Лит. памятники»). Надпись на нижнем поле рисунка, сделанная, кажется, самим поэтом, сообщает, что читал он «5-ый акт „Фауста“ и новые стихотворения».

<sup>30</sup> Родовой архив Тютчевых в Муранове. Обзор Н. М. Михайловой // Лит. наследство. 1989. Т. 97. Кн. 2. С. 649.

<sup>31</sup> Фет А. А. Полн. собр. стихотв.: В 3 т. / Под ред. Б. В. Никольского. СПб., 1901. Т. 3. С. 396.

<sup>32</sup> Вступление к поэме «Студент». Цит. по: Фет А. А. Полн. собр. стихотв. Л., 1959. С. 589. (Б-ка поэта, Большая сер.).

единственным произведением). Вот текст этой записки, по вышеизложенным сообщениям предположительно датируем ее началом января 1884 года:

«Слышала я, милый Афанасий Афанасьевич, что вы хотите приехать к нам завтра и поэма новая с вами. Нельзя ли лучше приехать сегодня, здесь гр(аф) Кутузов<sup>33</sup> и так желает вас видеть и слышать. Пожалуйста, пожалуйста, так сделайте, ждем вас и Марью Петровну всегда с самой большой дружбою. — С. Толстая. — Если можно, пораньше — в 8».<sup>34</sup>

Зимний сезон 1883/1884 года был, пожалуй, периодом наибольшего сближения Фета с Толстой и Хитрово, далее контакты между ними вновь обрели эпизодический характер, хотя не прекращались, по крайней мере, до конца десятилетия. В последнем своем письме, от 24 декабря 1889 года, Фет поздравил Толстую и ее племянницу с предстоящими праздниками, добавив, что хотел бы побывать у них и послушать их «ласково-приветливые голоса». К письму прилагалось посвященное Софье Андреевне новое стихотворение — «Где среди иного поколенья...». Неизвестно, осуществилось ли желание Фета: для самого Афанасия Афанасьевича предпринятая в марте 1889 года поездка в Петербург оказалась последней, так что если он и встречался с Толстой либо Хитрово в начале 1890-х годов, то в Москве.

Фет скончался 21 ноября 1892 года, Толстая — в том же году, 9 апреля. Последние месяцы жизни Софьи Андреевны прошли вне России: в январе 1892 года Соловьев писал брату Михаилу, что графиня Толстая «опасно больна в Париже»,<sup>35</sup> а умерла она в Лиссабоне, на руках у племянницы (муж Софьи Петровны был тогда посланником в Португалии). Примечательно, что свойственный Толстой интерес к событиям культурной жизни не оставил ее до самого конца. По словам Э. Э. Ухтомского, минут за двадцать до последнего вдоха, узнав о приезде в Лиссабон какого-то выдающегося писателя или ученого, она произнесла: «Ах, нельзя ли его пригласить ко мне? Il aurait peut-être pu me dire quelque chose d'intéressant».<sup>36</sup>

\* \* \*

Рукописный отдел ИРЛИ располагает автографами шести писем к Фету С. А. Толстой и четырех — С. П. Хитрово (ед. хр. 20291, 20294; для сравнения напомним, что в «Вестнике Европы» напечатано 11 посланий Фета, причем все они адресованы одной Софье Андреевне). Публикуемые письма, дополняя кратко изложенную нами историю отношений Фета с Толстой и Хитрово, заслуживают внимания прежде всего как материал для комментария к литературному и эпистолярному наследию поэта. В особенности это относится к письмам Хитрово, которые к тому же окажутся полезны и биографам В. С. Соловьева.

<sup>33</sup> Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф (1848—1913) — поэт.

<sup>34</sup> РО ИРЛИ. Ед. хр. 20291. Л. 22—23. Из семи записок Толстой и Хитрово к Фету и его жене, находящихся в ИРЛИ, в настоящую публикацию не вошла одна — Толстой к М. П. Шеншиной (ед. хр. 20320; без даты).

<sup>35</sup> Соловьев В. С. Письма. Пб., 1923. [Т. 4]. С. 124—125. В письме к Леонтьеву от 7 мая 1891 года Соловьев сообщил о разрыве между С. П. Хитрово и графиней Толстой и полном расстройстве их дел (Там же. С. 177).

<sup>36</sup> Он бы мог, возможно, рассказать мне что-нибудь интересное (*франц.*). Материалы к биографии Вл. Соловьева... С. 398.

## 1

С. А. Толстая

5 февраля 1881. Петербург

5 февраля

И рассказать вам не умею, как мне было прискорбно, что вы не захотели зайти ко мне в Петербурге, хотя и знали, где я живу. Я никогда ничего не забываю — того особенно, что связано с тем прошлым временем. Увидеть вас было бы мне большою радостью.

Спасибо вам за ваше желание, чтобы я прочла вашего «Фауста», я исполню это с самым великим удовольствием, вниманием и даже педантизмом, скажу вам со всеми подробностями, что мне нравится и что не удовлетворит меня. Но  $\langle$ мне $\rangle$ <sup>1</sup> до сих пор еще не передал рукописи В. С. Соловьев, он отдал ее переписать.<sup>2</sup> У себя ее не задержу и напишу вам сейчас же.<sup>3</sup>

Мне этот труд очень близок, несколько раз Толстой думал о нем и даже начал его. Много мы о нем говорили — я рада, что вы, именно вы взялись за него.

Еще раз благодарю вас, помню вас с великой дружбой. Пришлю вам письмо Толстого о вас, я уверена, что вам приятно будет прочесть, как он высоко вас ставил и любил вас.

Не отвечала вам сейчас же по получении вашего письма. Очень горевала и горю о смерти Достоевского. Он мне был близким, любимым человеком.<sup>4</sup>

Прощайте, будьте здоровы и не забудьте, когда вы еще раз будете в Петербурге, что искренно, душевно я буду вам рада.

С. Толстая.

Миллионная, 30.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Московско-Курская ж(елезная) д(орога), станция Будановка.

Почтовые штемпели: С. Петербург. 7 февраля 1881; Москва. 8 февраля 1881.

Письмо является ответом на письмо Фета, опубликованное с датой «22 января (начало 80-х годов?)», см.: Письма к графине С. А. Толстой... // Вестник Европы. 1908. № 1. С. 222—224. Далее при ссылках на это издание будут указываться только страницы. Ответ Фета на письмо 1 опубликован с датой «10 февраля (1880 г.?)», с. 218—221.

<sup>1</sup> В оригинале описка: я.

<sup>2</sup> Первое упоминание о работе Фета над «Фаустом» относится к октябрю 1880 года, а уже в декабре один из списков перевода трагедии находился в Петербурге, у Н. Н. Страхова. Тем временем автор продолжал вносить в текст поправки; конец декабря — январь (до 20-х чисел) он провел в Петербурге и в Москве, где читал «Фауста» знакомым. «Что касается до перевода „Фауста“, — писал Фет племяннику П. И. Борисову 25 января 1881 года, — то он производит громадное впечатление, о чем можешь судить по Владимиру Соловьеву (вот память!). Я прочел ему в 2 вечера свой перевод и просил просмотреть для сделанья замечаний. Он прочел его в одну ночь, и, когда зашла речь о петербургском списке у Страхова, в котор(ом) нет позднейших поправок, то Соловьев сказал: „Не беспокойтесь, я их восстановлю по памяти. Я всю ночь не мог оторваться от перевода и знаю его теперь *наизусть*“ (...). „Фауст“ удался мне вполне. Знаюки говорят, что вполне впечатление немецкого. Лучшей похвалы не желаю» (РО РГБ. Ф. 315. Оп. 2. К. 2. Ед. хр. 41. Л. 1—1 об.). См. также письмо Фета к С. В. Энгельгардт от 5 февраля 1881 года (Фет А. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988. С. 387—390). Одобрение аудитории укрепило автора в намерении издать перевод как можно скорее; книга вышла из печати к началу 1882 года (Фауст. Трагедия Гете / Перевод А. Фета. М.: тип. А. Гатцука, 1882. Ч. 1. Дозволено цензурой 21 декабря 1881).

<sup>3</sup> 18 августа 1881 года Соловьев писал Фету: «...графиня Толстая (краснорожская) не по одному отсутствию энергии не исполнила своего обещания, но, главным образом, потому, что все лето должна была ухаживать за своею племянницей, опасно заболевшей». Несколько ранее, 10 марта, он же сетовал: «...помощь графини сколько ценна, столько же и трудно добываема» (Соловьев В. С. Письма. СПб., 1911. Т. 3. С. 107—108). Направляется вывод, что участие Толстой в редактировании «Фауста» было невелико.

<sup>4</sup> Ф. М. Достоевский скончался 28 января 1881 года. О его взаимоотношениях с Толстой см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 376—378; Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 176—179.

## 2

С. А. Толстая

*Не позднее 1 ноября 1882. Петербург*

С самой дружелюбной и искренней благодарностью принимаю ваше желание назвать меня при издании такого труда, как ваш.<sup>1</sup> — Но милый, добрый Афанасий Афанасьевич, убедительно прошу вас исключить из слишком лестного для меня вашего письма слова ваши о моем будто бы влиянии на стихи Толстого.<sup>2</sup> Вы знаете сами, по себе, как во всем существе и на какой глубине лежит именно форма стихов ваших и как никто и ничто не может изменить этого осязательного выражения мысли или чувства. Простите, что я вам это говорю, но мне было бы очень больно и прискорбно принять это, мне вовсе не принадлежащее влияние на стихи Толстого.

Все ваши слова мне очень дороги, и от всей души благодарю вас за каждое из них. Может быть, я сама скоро буду в Москве и буду рада видеть вас и еще раз благодарить вас за вашу дружбу. Поклонитесь от меня Марье Петровне. И я, и племянница моя радуемся, что увидим вас в Петербурге. До свидания, милый мой Афанасий Афанасьевич. Насколько возможно, вычеркните все слишком для меня лестные выражения; это не скромные фразы, а самое искреннее сознание, что они мне не принадлежат. Будьте здоровы и до скорого свидания, надеюсь.

С. Толстая.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Плющиха, собственный дом. Москва. Почтовые штемпели: С. Петербург. 1 ноября 1882; Моск. почт. центр. отд. 2 ноября 1882.

Письмо является ответом на письмо Фета, опубликованное с датой «29 октября (начало 80-х годов?)», с. 224.

<sup>1</sup> Имеется в виду перевод второй части «Фауста», который в январе 1883 года вышел в свет с посвящением С. А. Толстой (Фауст. Трагедия Гете / Перевод, предисловие и примечания А. Фета. М.: тип. А. Гатцука, 1883. Ч. 2).

<sup>2</sup> Первоначальный вариант посвящения неизвестен. В опубликованной редакции, где имя А. К. Толстого не упоминается, Фет обращается к Толстой со следующими словами: «Несколько тонким указанием Вашим на красоты 2-й части „Фауста“ и совету испытать над ним мои силы, — перевод обязан своим появлением».

## 3

С. П. Хитрово

*8 марта 1883. Петербург*

Мы все очень рады были получить ваше письмо,<sup>1</sup> милый и добрый Афанасий Афанасьевич. Дмитрий Цертелев<sup>2</sup> очень вас благодарит за все вами высказанное насчет его. Он вам посылает свои стихотворения и надеется вас увидеть летом. Может быть, если вы позволите, он с графиней к вам заедет в Воробьевку.<sup>3</sup> Графиня и я, мы очень надеемся доехать до вас и теперь уже завидуем вам, что вы в деревне. Уезжаем мы дней через 10 отсюда прямо в Кр(асный) Рог.<sup>4</sup> Соловьев сегодня едет в Москву. Очень жалеет, что вас там уже более нет.

Ваше ночное стихотворение было нами всеми прочтено поочередно и всеми вместе. Ваши стихотворения двойное впечатление производят — и оттого вдвойне долго их помнишь и любишь. — Но простите, простите Афанасий Афанас(ьевич), но музыкальный строй в последнем стихотворе(нии) мне портит слово «понемногу».<sup>5</sup> Простите, что я решаюсь вам это говорить, простите и забудьте, и, чтобы совесть не мучила меня за мою дерзость антипоэтическую, напишите мне — слово прощения.

А в ваших стихах и горячо и светло и звуки самые вечные звучат. — А мы все без вас слушаем звуки и стуки самые незвучные, но интересные — *medium'a*

Kate Fox.<sup>6</sup> Конечно, верить в спиритуализм трудно — по-ихнему, — но стуки не объяснить. Много размышлений, убеждений и верований слушаешь. При этом и все не то.

Второй раз прошу вас меня простить: вы, вероятно, не любите читать писаное. А я вам 2-ой лист пишу.

И еще хочу вам сказать, с каким удовольствием мы на днях провели несколько часов за вашим «Фаустом». И так много хорошего, и такие горы затруднений вы поборили.

До свидания.

Очень кланяемся и благодарим Марью Петровну за ее большое приглашение. Спасибо, что написали, и за Дмитрия Цертелева, и от всех нас.

София.

Миллионная. 30.

8 марта.

Петербург.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Московско-Курская ж(елезная) д(орога), ст(анция) Коренная Пустынь, с(ело) Воробьевка.

Почтовые штампы: С. Петербург. 9 марта 1883; Москва, Южн. ж. д. 10 марта 1883.

<sup>1</sup> Это письмо неизвестно; ему предшествовала поездка Фета в Петербург и свидание с Толстой и Хитрово. «Заезжал к Вам, многоуважаемый Николай Николаевич, — писал Соловьев Страхову 18 февраля 1883 года, — чтобы звать Вас сегодня вечером на Миллионную 30, где, во 1-х, будет Фет, а, во 2-х, я, может быть, прочту свою испугавшую Аксакова статью о католичестве» (Соловьев В. С. Письма. СПб., 1908. Т. 1. С. 14).

<sup>2</sup> Цертелев Дмитрий Николаевич, князь (1852—1911) — поэт, автор монографии «Философия Шопенгауэра» (СПб., 1880); давний приятель Соловьева и родственник Толстой. Впоследствии издал еще несколько своих работ по философии, важнейшие из которых посвящены творчеству Шопенгауэра, перевел «Фауста» Гете и «Манфреда» Байрона, выступал как публицист, отстаивая консервативные взгляды; в 1890—1892 годах редактировал журнал «Русское обозрение», где опубликовал более двух десятков стихотворений Фета, а также письма к Фету В. П. Боткина, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого.

<sup>3</sup> Воробьевка — имение Фета в Щигровском уезде Курской губернии; обычно поэт жил там с марта по сентябрь.

<sup>4</sup> Красный Рог — родовое имение Перовских (Мглинского уезда, Черниговской губернии). Согласно завещанию А. К. Толстого, находилось в пожизненном владении его вдовы.

<sup>5</sup> Речь идет о стихотворении «Молятся звезды, мерцают и рдеют...» (вариант второй строки: «Молятся месяц, плывя понемногу», см.: Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 471). Письмо 3 содержит самое раннее из выявленных упоминаний этого стихотворения. Интересно также, что Фет учел замечание Хитрово: окончательная редакция второй строки: «Молятся месяц, плывя по лазури».

<sup>6</sup> С именами сестер Фокс связывают появление и распространение спиритизма: с 1848 года Маргарет, Кэт и Ли демонстрировали сначала в США, а потом в Европе свои способности медиумов. 17 февраля 1883 года К. Фокс, по мужу Дженкен (в России ее называли Иенкен), прибыла в Петербург (Ребус. 1883. 20 февр. № 7. С. 72) и, судя по сообщениям прессы, в течение месяца выступала со спиритическими сеансами. Об увлечении спиритизмом С. А. Толстой см.: Фет А. А. Воспоминания. Т. 2. С. 26—28.

#### 4

С. П. Хитрово

1 июля 1885. Пустынька

Пустынька<sup>1</sup>

1 июля

Очень давно мы ничего не знаем про вас, милый Афанасий Афанасьевич, как вам живется и что делает добрая Марья Петровна. Пожалуйста, не забывайте нас. Мы часто думаем и говорим о вас и очень желаем скорее опять встретиться с вами. Где мы будем зимой — еще не знаю, теперь мы между Пустынькой и Кр(асным) Рогом. Мне рассказывал Соловьев, как много и неутомимо вы работаете, и чи-

тал мне ваши последние стихотворения, т(о) е(сть) весенние, теперь уже, вероятно, есть новые... И сколько переводов!<sup>2</sup> Очень я жалею и плачу, что нам не пришлось побывать у вас в Воробьевке — при вас<sup>3</sup> — и посмотреть, как вы живете, с кем вы играете на бильярде и кто наслаждается вашими розанами, дубами и фонтаном.

Красный Рог и Пустынька — цветут цветами, но, к несчастью, не процветают ради множества управляющих, которые очень нас угнетают и именно от которых я стараюсь теперь отстраниться и поэтому еду обратно в Кр(асный) Рог, где меня ждет графиня. А в Пустыньке оставляю детей<sup>4</sup> и m-me Маркевич,<sup>5</sup> которая очень убедительно меня просит передать вам ее горячую просьбу к вам: написать четверостишие на памятнике ее мужа.

Она совершенно убита горем, и все мысли и желания ее — все о нем, и Боле-слав Михайлович — вас считал нашим лучшим поэтом,<sup>6</sup> и она, жена его, говорит, что на памятнике ее мужа могут быть только ваши стихи. Если вам это не слишком неприятно, laissez-vous inspirer par la compassion pour son chagrin et faites cela pour elle.<sup>7</sup> Я просила Вл(адимира) Сер(геевича) вам тоже об этом написать, так как она так убедительно просит вас об этом и не может успокоиться. Я ей обещала вам передать ее желание и просьбу, но на успех не надеюсь, и можно только вашего ответа ждать. Маркевича вы, кажется, мало знали, и не знаю даже, был ли он вам симпатичен.<sup>8</sup> Наш Толстой очень его любил и был ему близкий друг, и считал его — хорошим, честным и талантливым человеком, слепо преклоняв(шимся) всему изящному и художественному. Я не знаю, рассердитесь ли вы на эту просьбу, издали — может быть. Но если бы вы видели искреннее и подавляющее горе m-me Markevitch и ее надежды, что ваш стих может один осветить памятник ее мужа, вы, вероятно, пожалели бы ее, и из жалости к ней родился бы и стих.<sup>9</sup> Ну да довольно вас мучить, простите меня и не сердитесь, и до свидан(ия), и не забывайте нас, пожалуйста.

София Хитрово.

### Пустынька.

Если вы скоро ответите, то — в Кр(асный) Рог.

Приписка на полях: Очень и очень кланяюсь Марье Петровне и вам.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Коренная Пустынь, Мос(ковско)-Кур(ская) ж(елезная) д(орога), село Воробьевка.

Почтовые штемпели: Почтовый вагон. 3 июля 1885; Москва. 4 июля 1885.

<sup>1</sup> Пустынька — имение в Шлиссельбургском уезде Петербургской губернии, приобретенное матерью А. К. Толстого. С. А. Толстая унаследовала Пустыньку после мужа, завещав ее в свою очередь С. П. Хитрово.

<sup>2</sup> Весной 1885 года Соловьев гостил в Воробьевке; ему адресованы два из трех написанных тогда Фетом стихотворений: «Ты изумляешься, что я еще пою...», «Пусть не забудутся и пусть...». Как видно из текста последнего стихотворения, в то время Фет переводил Катулла; ранее, зимой, он подготовил к печати русское издание элегий Тибулла. Вообще, с начала 1880-х годов работа над переводами составляла большую часть творческой деятельности Фета; объектом его внимания были главным образом сочинения древнеримских поэтов.

<sup>3</sup> В начале июня 1882 года Толстая и Хитрово приезжали в Воробьевку, но не застали хозяйина дома. Этому происшествию посвящено стихотворение, напечатанное в первом выпуске «Вечерних огней» под заглавием «С. П. Х-о» («Я опоздал — и как жалею!...»).

<sup>4</sup> У Хитрово было трое детей: Елизавета (домашнее имя Вета; 1870-?), Георгий (Рюрик; 1875 — между 1915—1917) и Андрей.

<sup>5</sup> Маркевич Александра Карловна (урожд. Зейфорт; 1840—1893) — вдова Б. М. Маркевича (1822 — 6 ноября 1884), популярного романиста, публициста и литературного критика, известного также в качестве единомышленника и ближайшего сотрудника М. Н. Каткова. «С самого раннего возраста помню Болеслава Михайловича Маркевича в нашем доме, — отмечает С. П. Хитрово в своих записках. — (...) Маркевич обожал Толстого и очень дорожил его дружбой и высоко ценил ум моей тети. Писал он свои романы часто летом, гостя у нас в Красном Роге или Пустыньке; он описал дом Красного Рога и даже описал имена книг, находящихся на полке у моей тети в кабинете. (...) Толстой крестил сына Маркевича. Маркевич был в Красном Рогу при смерти Толстого. Хотя Толстой не соглашался с мнением Маркевича ни в искусстве, ни — главное — в политике, он любил с ним спорить» (Лукьянов С. М. Указ. соч. Т. 3. С. 242—243).



<sup>6</sup> Восторженное отношение Маркевича к творчеству Фета отразилось в его письме от 27 февраля (1866) года: «Нет, милейший мой Толстой, нет, — ни я, ни Боткин (Василий Петрович. — И. К.) не состарились, и не далее как вчера, в сельскохозяйственном (попросту, в картофельном) клубе, у нас на тарелке простыл превкусный рагу, пока мы угощали друг друга стихами из Фета, к великому удивлению наших положительных и прозаических соседей» (Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щербальскому и друг. СПб., 1888. С. 105).

<sup>7</sup> Почерпните вдохновение в сочувствии к ее горю и сделайте это для нее (*франц.*).

<sup>8</sup> Фет встречал Маркевича в доме Каткова, однако близкого знакомства между ними не было. Возможно, Маркевич сыграл какую-то роль в рождении сплетни, которую Тургенев использовал как повод для разрыва отношений с Фетом (Воспоминания. Т. 2. С. 302—303). О Маркевиче-беллетристе Фет был невысокого мнения, в письме к Н. Н. Страхову от 16 января 1879 года он высказался следующим образом: «Критик Русск. Вест. возводит Маркевича в Тургеневу лучшей поры последнего, а Авсеенко в Теккеря и т. д. *Risum teneatis!*.. (латинское выражение, означающее «Удержись от смеха!» — И. К.) — Оказывается, что людей со вкусом и обонянием и т. д. совершенно нет» (Из переписки. Письма графа Л. Н. Толстого, А. Фета и Н. Н. Страхова // Русское обозрение. М., 1901. Вып. 1. С. 87). В то же время, как явствует из сочиненного по просьбе Хитрово стихотворения (см. прим. 9), Фет одобрял общественно-политическую позицию Маркевича.

<sup>9</sup> Четверостишие «К памятнику Маркевича» было написано 6 июля 1885 года и, судя по упоминанию о благодарственном отклике Хитрово в письме 5, отправлено по назначению и получено адресатом. Вот его текст: «Любил он истину, любил он красоту / И дружбой призванных ценителей гордился, / Раздутой фразы он провидел пустоту / И правду говорить в лицо ей не страшился» (цит. по: *Фет А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 532. (Б-ка поэта. Большая сер.)). Воспользовалась ли вдова Маркевича подарком Фета? Содержащий сведения о могиле Маркевича «Петербургский некрополь» (СПб., 1912. Т. 3. С. 43) об эпитафии на ней не сообщает. Осмотр могилы (семейный участок Маркевичей находится на Никольском кладбище Александро-Невской лавры) также не принес положительного результата: надгробная плита не сохранилась, на памятнике — кресте из черного гранита — выбиты только имена Маркевича и его жены.

## 5

### С. П. Хитрово

*Не позднее 6 сентября 1885. Ревель*

Екатериненталь<sup>1</sup>  
Ревель, дача Бурхардт

Милый и добрый Афанасий Афанасьевич.

Мы так много странствовали этот год, что я не знаю, доходят ли наши письма. Получили ли вы мое благодарственное письмо? Хочется мне знать, что вы, где вы? И как здоровье ваше и Марьи Петровны? Что ваша огромная деятельность, кою вы теперь предприняли?<sup>2</sup>

Я всю зиму остаюсь в Ревеле, так как мои два мальчика ходят в здешние немецкие гимназии. Графиня в эту минуту со мной, но, кажется, зимой поедет в Афины, а теперь будет проездом в «Слав(янском) Базаре» — вы ее, верно, увидите.

Вы знаете Ревель? Очень красиво и старо, но человеческие отношения ужасны, все кого-то притесняют и презирают, и не разберешь, кто прав, кто виноват, во всяком случае, — очень неладно живут. А крыши, церкви, двери — прекрасны!! А море — еще лучше. Я очень довольна гимнази(ями) немецкими, но, думаю, буду страшно тосковать в немецком уединении. Будьте добры, напишите и осветите мне мой однообразный серый ревельский день — милым письмом и дружеским словом. Очень, очень кланяюсь вам и Марье Петровне, которой на днях я другой мешок пришло, так как тот, должно быть, состарился? А что урожай у вас? У нас очень плохо.

София Хитрово.

Владимир Серг(еевич) у меня здесь был, и ему тоже очень понравился Ревель, кроме эстонцев.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Москва, Плющиха, собств(енный) дом.

Почтовый штемпель: Ревель, губ. почт. конт. 6 сентября 1885.

<sup>1</sup> Екатериненталь — местность под Ревелем (Таллином), у залива, где в окружении векового парка располагался императорский летний дворец, были и частные дачи.

<sup>2</sup> Возможно, имеются в виду планы, связанные с приближавшимся 100-летием со дня рождения А. Шопенгауэра (1788—1860). Фет, горячий почитатель немецкого философа (по-видимому, как раз летом 1885 года он переводил его труды — «О четверном корне закона достаточного основания» и «О воле в природе»), близко к сердцу принял идею поставить Шопенгауэру памятник в России. Из письма Соловьева от 21 августа 1885 года следует, что, убедившись в неосуществимости подписки на монумент, Фет предполагал устроить в Москве неофициальный сбор средств (Соловьев В. С. Письма. [Т. 4]. С. 230).

## 6

С. А. Толстая

*Не позднее 27 января 1887. Петербург*

Милый, добрый Афанасий Афанасьевич.

Очень, очень вас благодарю за ваше письмо, и это правда, всякие мои права на какую бы то ни было собственность я передала и ничем не распоряжаюсь и не владею; я очень и сама рада, что «К(нзя) Серебряного» читают и любят, и знаю, что будет новое очень дешевое издание, — пожалуйста, передайте это от меня гр(афу) Толстому.<sup>1</sup>

Получила вашего Овидия.<sup>2</sup> Какие вы до меня добрые, буду его читать и пересматривать в его новой одежде. — Передайте также, пожалуйста, Л. Н. Толстому, что существует много изданий «Серебряного» и в переделках, и в самых дешевых изданиях и я никогда, конечно, не протестовала, хотя очень мне было прискорбно, что его исказали.

Я думаю, буду в Москве в марте. Надеюсь увидеть вас, дай Бог, здоровым. Читала ваше письмо к в(еликому) к(нзю) Конст(антину) К(онстантиновичу) и очень одобряла.<sup>3</sup>

От души кланяюсь Марье Петровне, до свидания, и еще раз, и много раз спасибо вам.

С. Толстая.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Плющиха, собственный дом № 481. Москва.

Почтовые штемпели: С. Петербург. 27 января 1887; Москва. 28 января 1887.

Письмо является ответом на письмо Фета, опубликованное с датой «21 января 1888 г.», с. 225—226.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой задумал выпустить серию книг для народа (см. его письмо к В. Г. Черткову от 19—21 января 1887 года) и через Фета обратился к наследнице авторских прав А. К. Толстого с вопросом, не найдет ли она возможным подарить роман «Князь Серебряный» народному изданию. Изложив в письме свои соображения по этому поводу, Фет добавил: «Ввиду же ваших личных интересов, я тотчас же, обещая Толстому написать вам, сказал ему: „Не знаю, будет ли графиня в состоянии исполнить ваше желание, так как мне кажется, что «Князь Серебряный» на значительное количество экземпляров продан Стасюлевичу“. Таким образом, я, на случай несогласия вашего, приготовил вам удобный предлог к отказу».

<sup>2</sup> По выходе в свет каждой из своих книг Фет дарил несколько десятков экземпляров друзьям и знакомым. В данном случае речь идет о следующем издании: Публия Овидия Назона XV книг Превращений / В переводе и с объяснениями А. Фета. М.: тип. А. И. Мамонтова и К', 1887.

<sup>3</sup> Романов Константин Константинович, великий князь (1858—1915) — внук Николая I, второй сын великого князя Константина Николаевича; поэт, публиковавшийся под криптонимом К. Р. С Фетом был в переписке с декабря 1886 года (см.: Смирнова И. Поэзия и дружба в эпистолярном наследии «К. Р.» и «А. Ф.» // Русский архив. М., 1993. № 3. С. 56—96; К. Р. Избранная переписка / Сост. Л. И. Кузьмина. СПб., 1999). К концу января 1887 года Фет успел послать К. Р. три письма. Толстая, также знакомая с великим князем, посещавшим ее приемы, несомненно, имела в виду наиболее содержательное письмо, от 27 декабря 1886 года, в котором Фет высказывает свои мысли о поэзии.

## 7

С. А. Толстая

*Не позднее 28 февраля 1887. Петербург*

И слов таких не знаю, какими просить у вас извинения, скажу только, что я была вполне уверена, что давно, когда я вам писала в последн(ий раз), все уже давно исполнено и деньги отосланы.<sup>1</sup> Мне так, так совестно — приеду летом в Воробьевку, чтобы еще раз просить не помнить моей вины.

Когда вы уезжаете из Москвы, я в марте собираюсь в Красный Рог, может быть, еще застану вас? Как ваше здоровье, милый Афанасий Афанасьевич? Кланяюсь милой Марье Петровне, и ей скажите, что я очень смущена моей виной перед вами.

Есть ли что новое в вашей записной книжке? И очень ли хорошо, как всегда?

До свидания.

С. Толстая.

На конверте: Денежное, со вложением ста рублей. Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Москва, Плющика, собственный дом.

Дворцовая набереж(ная), дом № 34. Граф(иня) С. А. Толстая.

Почтовые штемпели: С. Петербург. 28 февраля 1887; С. Петербург. 1 марта 1887; Москва, 1 эксп. 2 марта 1887.

Ответ Фета на письмо опубликован с датой «3 марта 1888 г.», с. 228.

<sup>1</sup> Письмо появилось вследствие обращения Фета к Д. Н. Цертелеву, двоюродному племяннику Толстой. «Восьмого марта я выезжаю в деревню и нимало не скрываю от вопрошающих о причине раннего отъезда, что уезжаю по самой простой причине — неимения денег, — писал ему Фет 23 февраля 1887 года. — А как во время последнего моего свидания с графиней Софьей Андреевной прилива в мою кассу ниоткуда не предвиделось, то, при самом искреннем моем желании угодить дамам, я бы вместо 25-ти рублей, которыми они стеснялись, не был бы в состоянии выслать в гостиницу — сто. Но так как дамы объявили мне, что, по приезде в Петербург, немедленно вышлют мне деньги, то, имея на руках небольшую опекунскую кассу моего племянника, я подумал, что чужая касса не пострадает оттого, что сто рублей кратковременно проедутся до Петербурга и обратно, доставив мне возможность сделать дамам удобное.

Только подобным соображением объясняется вручение ста рублей вместо двадцати пяти.

К восьмому марта я поставлен в необходимость окончательно разрешить вопрос: сбудутся ли мои вышеприведенные соображения начет кассы Борисова, или же, за свою готовность угодить дамам, я неизбежно должен пополнить недостающие в чужой кассе сто рублей?

Хотя это дело лично до Вас не касается, но, зная Вашу любезность, решаюсь просить Вас почтить меня (по адресу в заголовке этого письма) парой строк об окончательной судьбе этих несчастных ста рублей и вывести тем меня из сомнения» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 24 133. Л. 1—2 об.).

## 8

С. А. Толстая

*Не позднее 10 января 1888. Петербург*

Простите, что так долго не отвечала, милый Афанасий Афанасьевич, была в Пустыньке и теперь только прочла ваше письмо. Если вы напишете к(нязю) Гагарину,<sup>1</sup> я попрошу гр(афа) Игнатьева<sup>2</sup> передать ему и ваше дело, и письмо, я уверена, что он не откажется объяснить ему ваши желания. Вы пришлите мне, и я найду наилучшее средство передать к(нязю) Гагарину в чем дело; я сама так мало понимаю, что могу только передать бумагу, но не смысл ее.

Стихи — вот это совсем другое, и я всегда так счастлива, когда увижу ваше имя, в котором уже заранее вижу и слышу знакомый любимый свет, и цвет, и звук. Будьте здоровы, очень поклонитесь милой Марье Петровне и верьте в самую глубокую, настоящую мою дружбу.

Какие есть великолепные места в Энеиде!<sup>3</sup>

С. Толстая.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Плющиха, собственный дом. Москва. Почтовый штемпель: С. Петербург. 10 января 1888.

Письмо является ответом на письмо Фета, опубликованное с датой «3 января 1888», с. 224—225. Ответ Фета на письмо 8 опубликован с датой «12 января 1888 г.», с. 225.

<sup>1</sup> 14—22 декабря 1887 года Фет находился в Петербурге, занятый хлопотами по какой-то тяжбе. В связи с этим он просил Толстого свести его с князем Константином Дмитриевичем Гагариным, товарищем министра внутренних дел, однако из-за болезни (в последние годы жизни поэта мучили тяжелые приступы бронхиальной астмы) был вынужден вернуться в Москву, не дождавшись обещанной встречи. «Если бы вам угодно было и теперь не отказать замолвить слово князю Гагарину, — писал Фет Толстой 3 января 1888 года, — то, изложив ему кратко свое безобразное дело в письме, я бы еще лучше познакомил его с ним, чем в словесной передаче».

<sup>2</sup> Игнатъев Николай Павлович, граф (1832—1908) — генерал от инфантерии; выдающийся дипломат, заключивший, в частности, Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор (1878); в 1881—1882 — министр внутренних дел. Вероятно, Игнатъев хорошо знал С. П. Хитрово по Константинополю, где до русско-турецкой войны был послом. Впоследствии он посещал салон Толстой в Петербурге.

<sup>3</sup> Фет прислал Толстой свою новую книгу: Энеида Вергилия / Перевод А. Фета, со введением, объяснениями и проверкою текста Д. И. Нагуевского, ординарного профессора Императорского Казанского университета. М.: тип. А. И. Мамонтова и К<sup>о</sup>, 1888. Ч. 1. I—VI. Дозволено цензурой 9 декабря 1887.

## 9

С. А. Толстая

*Не позднее 5 февраля 1888. Петербург*

Милый Афанасий Афанасьевич, не думайте, что я не исполнила вашего поручения. Бумага давно у к(нязя) Гагарина, я недавно просила справиться о ней и посылаю вам карточку, по которой вы увидите, что к(нязь) Гагарин ей занимается.<sup>1</sup>

Как ваше здоровье, милый Афанасий Афанасьевич, и не собираетесь ли к нам в Петербург, когда минуют эти страшные холода? О последней книжке вашей<sup>2</sup> так много слышу хорошего, и всегда хочется пересказать вам все это слышанное. Будьте здоровы, спасибо вам за все ваши добрые, дружественные слова, вы и не знаете, как они мне дороги.

В Москве я буду, вероятно, в марте и увижу вас.

София Пет(ровна) все еще в Бухаресте, я ей послала «Вечерние огни». Милой Марье Петровне кланяюсь от всей души.

С. Толстая.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Плющиха, собственный дом. Москва. Почтовые штемпели: С. Петербург. 5 февраля 1888; Москва. 6 февраля 1888.

Ответ Фета на письмо опубликован с датой «Февраля 7, 1888 г.», с. 226—227.

<sup>1</sup> В письме к Я. П. Полонскому от 18 февраля 1889 года Фет просил прислать ему адрес С. А. Толстой, пояснив: «Мне Толстому надо поблагодарить за хлопоты о деле: тяжбе, которая тем не менее прошла обычным путем — но к моему удовольствию» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 11 843 б. Л. 53—53 об.).

<sup>2</sup> Вечерние огни. Выпуск третий неизданных стихотворений А. Фета. М.: тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1888. Дозволено цензурой 18 ноября 1887.

## 10

С. П. Хитрово

*9 января 1889. Петербург*

Понедельник

Если бы вы знали, как мы испугались, узнав, что у вас случилось.<sup>1</sup> Пожалуйста, если вы не можете, попросите кого-нибудь нам написать о здоровье Марьи Петровны и о вашем.

Так давно ничего не знаю о вас и не видала вас, и очень горюю об этом.

Жизнь сложилась иначе, чем думала, и длинные мои пребывания за границей очень отдаляют меня от вас, а так бы хотелось опять обедать в комнате с розовыми занавесками и с милыми людьми. Очень сердечно целую Марью Петровну и желаю вам и ей много-много здоровья, и спокойствия, и радостей.

Не знаю, передавала ли вам графиня, как я тронута была вашим воспоминанием обо мне, — я тогда была за границей. Теперь я возвращаюсь из Афин, где мне Королева<sup>2</sup> и Сергей Александрович<sup>3</sup> часто говорили об вас более чем сочувственно. Я ничего не знаю, что вы написали последнее время. Очень бы хотелось весною вас повидать. Бог знает, как все будет, а теперь еще раз примите все мои искренние пожелания.

До свидания. Моя дочь Вета очень кланяется вам и Марье Петров(не) и надеется, что вы ее помните.

София Хитрово.

Царицын луг. 7.

На конверте: Афанасию Афанасьевичу Шеншину. Плющиха, собств(венный) дом. Москва. Почтовые штемпели: С. Петербург, 1 эксп. 10 января 1889; Москва. 11 января 1889.

<sup>1</sup> Возможно, Хитрово стало известно содержание письма Фета к Я. П. Полонскому от 7 января 1889 года, где говорится: «Накануне Нового года я жестоко простудился и по сей день никуда не выхожу из дому; а вечером жена моя вернулась с семейного обеда у брата Дмитрия с левой рукою, переломленной наехавшим на ее сани извозчиком» (цит. по: Фет А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 344). Согласно воспоминаниям С. А. Толстой, жены Л. Н. Толстого, несчастье с Марьей Петровной произошло 5 января (*Толстая С. А. Моя жизнь // Новый мир. 1978. № 8. С. 73*).

<sup>2</sup> Королева Греции Ольга Константиновна (1851—1926) — дочь великого князя Константина Николаевича, с 1867 года жена короля Греции Георга I. По словам ее младшего брата, великого князя Константина Константиновича (К. Р.), увлекалась поэзией. Фет переписывался с К. Р. и оказывал знаки внимания его близким: «королеве эллинов» он посвятил шесть стихотворений, дарил свои книги.

<sup>3</sup> Романов Сергей Александрович, великий князь (1857—1905) — пятый сын Александра II, двоюродный брат К. Р. (с которым был в дружеских отношениях). Впоследствии, в мае 1891 года, будучи уже московским генерал-губернатором, встречался с Фетом (см.: К. Р. Избранная переписка. С. 355, 357).

## ПЕРЕПИСКА И. С. АКСАКОВА И С. Ф. ШАРАПОВА (1883—1886)

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © О. Л. ФЕТИСЕНКО)

В библиотеке Пушкинского Дома хранится книга в кожаном переплете с золотым обрезом и золотым тиснением: «Ивану Сергеевичу Аксакову. Первый оттиск». В таком виде была преподнесена одна из ранних работ С. Ф. Шарапова — «Будущность крестьянского хозяйства» (М., 1882. Ч. 1).<sup>1</sup>

В начале 1890-х годов публицист и издатель Сергей Федорович Шарапов (1855—1911)<sup>2</sup> писал, подводя итоги первой половины своей жизни: «Я имел счастье (или несчастье, смотря по взгляду) смолоду попасть в живое духовное общение с такими исключительно духовного мира людьми, как покойные И. С. Аксаков, Н. П. Гиляров, И. Н. Павлов,<sup>3</sup> К. Н. Леонтьев и другие. Изломанный духовно безобразным воспитанием 60-х и начала 70-х годов и лишь немного излеченный дерев-

<sup>1</sup> Издание с автографом есть и в собрании Российской национальной библиотеки.

<sup>2</sup> Биографические сведения о С. Ф. Шарапове см. во вступительной статье и примечаниях к переписке с ним К. Н. Леонтьева (*Русская литература. 2004. № 1. С. 110—144*).

<sup>3</sup> Павлов Ипполит Николаевич (1839—1882) — критик, переводчик, сотрудник газеты «Русь».

ней, я не мог не прилепиться всей душой к этому миру с его высоким и светлым строем и мировоззрением, с его убеждениями, если и не у всех тождественными, то у всех искренними, глубокими и несокрушимыми, с его верой, способной двигать горами...»<sup>4</sup>

С Аксаковым Шарапов познакомился в начале 1880-х годов, стал сотрудником «Руси» (писал главным образом на темы экономики) и преданным учеником, постигавшим в общении с учителем основы славянофильского воззрения. Ненадолго Шарапов «изменил» своему наставнику, видимо, пожелав большей самостоятельности — стал помощником редактора новой газеты «Голос Москвы» (1885),<sup>5</sup> но отношения ученичества всецело сохранились, что отчетливо видно в публикуемых письмах. Сохранялось и сотрудничество: в январе — начале февраля 1885 года в «Руси» были напечатаны две его статьи, подписанные хорошо известным читателям аксаковской газеты псевдонимом «Талицкий».<sup>6</sup> Последняя из них завершилась в том номере, которым на полгода было прервано издание газеты.

Основная часть публикуемой переписки относится ко времени лечения Аксакова в Ялте.<sup>7</sup> Шарапов советовался с Аксаковым в сложных ситуациях (например, в случае со статьями Вл. С. Соловьева «Церковные дела»), посылал ему свои статьи. Так, в начале марта 1885 года он отправил Аксакову статью «Письмо из деревни без подписи», опасаясь, что она может быть искажена в «Голосе Москвы» осторожным издателем Н. В. Васильевым. Мнение Аксакова, высказанное в письме от 15 марта, было особенно важно автору статьи, поскольку он собирался открыть, по его выражению, целый «политический поход» — т. е. начать серию статей, посвященных обострению отношений России и Англии в связи с афганским вопросом и подозреваемой британцами «русской угрозой» Индии. Публикация состоялась 8 марта (письмо было включено в передовую), и редакторская правка оказалась очень щадящей, тем не менее, учитывая важность темы, малую известность газеты, в которой сотрудничал Шарапов, а также и то, что Аксаков сохранил рукопись в своем архиве, мы приводим статью по автографу в Приложении (правка редактора показана в примечаниях).

Одно из писем Шарапова посвящено тому, что принято называть «духовными исканиями». (Он переживал в то время кризис, завершившийся уже после смерти Аксакова возвращением в Церковь, произошедшим не без помощи К. Леонтьева.) Чрезвычайно любопытны в этом письме суждения о А. С. Хомякове, Ф. М. Достоев-

<sup>4</sup> *Шарапов С.* Вместо предисловия (Отрывок из письма к «Рцы») // Шарапов С. Соч.: В 3 кн. СПб., 1892. Кн. 1. С. VI. Многолетняя помощница Н. П. Гилярова-Платонова по «Современным известиям» А. М. Гальперсон, критически настроенная к Шарапову, очень язвительно оценила это предисловие в своем письме к кн. Н. В. Шаховскому от 6 июля 1893 года: «Шарапов не страшен. Предисловие к его сочинениям — сплошное фанфаронство, и вред от него может быть только для самого автора». Она заметила, как бы от лица воображаемого читателя, что Шарапов «никогда ничьим учеником не был, не будет и быть не может» (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 106. Л. 8—8 об.).

<sup>5</sup> Примечательно, что об этом факте Шарапов не упомянул в своей автобиографии, написанной в 1900 году. В одном из писем Шарапов говорит о своем уходе от Аксакова в 1883—1884 годах. В то время он покинул Москву, надолго поселившись в своем имении Сосновка, а соответственно — не мог уже быть «правой рукой» Аксакова в редакции. Статья же он изредка присылал (см.: *Талицкий* [Шарапов С. Ф.] Деревенские мысли о золотой ренте // Русь. 1884. 1 янв. № 1. С. 13—21; 15 янв. № 2. С. 29—36; *Шарапов С.* Вяземский земский анекдот // Русь. 1884. 1 фев. № 3. С. 56—58; *Шарапов С.* Осенние мотивы // Русь. 1884. 15 нояб. № 22. С. 39—45; 1 дек. № 23. С. 59—63). Что касается большей самостоятельности — она действительно была получена Шараповым, но ценой анонимности: он стал автором передовых и редакционных статей.

<sup>6</sup> Высокий курс и высокий процент // Русь. 1885. 5 янв. № 1. С. 15—17; 12 янв. № 2. С. 11—13; Как разоряются государства (Нормальный государственный бюджет. Кабинетные принципы и действительность. Н. Х. Весселя. «Русский вестник». 1884. XI и XII) // Русь. 1885. 26 янв. № 4. С. 13—14; 2 фев. № 5. С. 12—14; 9 фев. № 6. С. 15—16.

<sup>7</sup> 18 февраля 1885 года А. М. Гальперсон писала кн. Н. В. Шаховскому: «Аксаков болен (...) его отсылают в Крым и газета на время закрывается» (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 104. Л. 7 об.).

ском (которого Шарапов называет «мучеником своего стремления веровать») и характерные для поколения «восьмидесятников» сопоставления с «цельными» людьми сороковых годов.

Переживания о здоровье учителя и расхождения с издателем «Голоса Москвы» подвигли Шарапова к готовности оставить свое «генеральство» и снова стать простым «солдатом» — сотрудником аксаковской газеты, что и произошло в августе 1885 года. Все как будто вернулось на круги своя. Шарапов-Талицкий вновь писал статьи об экономическом кризисе в России,<sup>8</sup> но эта радость возвращения в строй под аксаковское знамя была очень непродолжительной.

27 января 1886 года Аксаков скончался. «Вы знаете, как почувствовала вся Россия эту смерть? Все инстинктивно поняли, что скончался не великий мыслитель только, а угас яркий центр, средоточие подлинной русской мысли. (...) Гиляров, великий особняк, великий ум, не был в силах по своему мягкому складу характера заменить железного Аксакова. У Леонтьева, стоявшего еще более особняком, был блестящий, но своенравный и дикий, не знающий никакой дисциплины ум и в вожди он не был пригоден, как фанатик собственной мысли, готовый отправить на костер всех разномыслящих. (...) Я готов был думать, что с Аксаковым умерла вся духовная Русь, что дальше пустота, небытие. Едва ли [не] в первый раз тогда я серьезно задумался над смертью...»<sup>9</sup>

В первые же дни по кончине вождя славянофилов возник вопрос о преемстве. Первым по праву преемником Аксакова мог стать Н. П. Гиляров-Платонов (который, впрочем, ненадолго его пережил). Кн. Н. В. Шаховской, прочитав телеграмму о смерти Аксакова, писал 28 января из Ревеля Гилярову-Платонову: «Умер лучший русский человек и с ним угасло честное русское направление. Семья Аксаковых блеснула для русской исторической жизни своими талантами и высокими душевными качествами, блеснула и погасла. Без Ив(ана) Сер(геевича) сиротство будет чувствоваться долго. Самородки, люди крепкие духом и независимые уходят. Кто явится к ним на смену?? Страшно становится от этого оскудения. Однако же надо подумать об том, чтобы общипанное, истерзанное ненавистниками, но все же доблестное и честное знамя, которое высоко держал Иван Сергеевич, не было сдано в архив исторических памятников. Ведь на этом знамени начертано: Православие, самодержавие, народность. Материал, из которого было сделано знамя: любовь к отечеству и его славе, правдивость, искренность, честность. Такое знамя нельзя передать в чьи-либо шаткие, неопытные, неизвестные руки. „Русь“ не должна погибнуть. Иначе погибнет традиция, преемство, т. е. то, чем держится и живет известное начало. Нельзя же так-таки похоронить незабвенного Ивана Сергеевича с тем, что он носил в своем сердце. Ив(ан) Сер(геевич) не был мыслитель, он жил и думал одним сердцем, а сердце не умирает, не должно умирать... Дорогой Никита Петрович — я убежден, что Вы один в силах поднять опять падающее знамя и дать ему большой авторитет. При Вашем уме, Ваших познаниях и Вашем сердце Вы это делаете» (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 721. Л. 4 об.—5 об.).<sup>10</sup>

В этом призыве к редактору-издателю «Современных известий» речь идет о преемстве духовном, возможно, о роли некоего объединителя славянофилов, но су-

<sup>8</sup> См. прим. 3 к письму Аксакова от 26 июля 1885 года. Статьи, написанные для «Руси», стали основой книги Шарапова «Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве», сопровождающей примечаниями Аксакова (М., 1886).

<sup>9</sup> Шарапов С. Указ. соч. С. VII. См. также: с. 94—100.

<sup>10</sup> Отметим, что кн. Шаховского возмущали попытки Шарапова «монополизировать» память об Аксакове. Ср. в письме к Гилярову-Платонову от 26 сентября 1886 года: «Обратили Вы внимание на последнюю статью Шарапова по поводу издания II тома соч. Аксакова на тему „замалчивания“ будто печатно взглядов и мыслей Ив(ана) Сер(геевича). Как он подло эксплуатирует эту мысль, имея очевидно в виду одного себя, ибо Аксаковских взглядов никто не замалчивает, но напротив все органы упоминали об них, ови вели с ними борьбу, ови защищали. Замалчивал один Катков» (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 721. Л. 8—8 об.).

ществовал еще и более «земной» аспект — вопрос о судьбе аксаковской газеты, и здесь первым претендентом на роль того, кто поднимет «упавшее знамя», явился молодой и деятельный Шарапов. Узнав о том, что «Русь» не будет возобновлена, он решил основать свое издание.<sup>11</sup>

«Помню, как многие удивлялись моей дерзости тотчас же, чуть не на другой день после смерти Аксакова, основать „Русское Дело“. Тогда я не мог себе объяснить, как следует, моего настроения и меня очень обижало (оттого, что чувствовалась горькая правда) услышанное мною выражение „суррогат Аксакова“. Теперь я это пережил и понял. Поймите и Вы.

Да, суррогат Аксакова! Я это смутно сознавал в глубине души, но формулировать не мог. Написав мое воззвание об издании, я снес его к покойному Гилярову. Тот прочитал и улыбнулся: „До чего это напоминает Аксакова“. „Где, как?“ „Жаль, нет под руками его первого объявления о „Руси“; даже фразы и обороты есть одинакие“. „Даю Вам слово, я об этом объявлении даже забыл совсем“. „Верю, верю, это вы настроены так были и невольно попали в тон“.

Действительно, нравственный удар был так велик, что я, во-первых, услышал внутри меня непреодолимый, повелевающий призыв поднять аксаковское знамя, во-вторых, чувствовал до полной иллюзии как бы совершившееся перевоплощение. Моя личность словно пропала, и во мне начала работать только шестилетняя сумма впечатлений от Аксакова, его статей и бесед, сливавшихся в стройное целое в моей душе и совершенно мое личное „я“ исключавших. Повторилось то же, что с пророком Елисеем. Пророка Илию уносили огненные кони, тот сбросил с себя милоть, ученик схватил ее и сделался пророком.<sup>12</sup>

Но то было чудо, а здесь, хоть и не совсем обычное, но весьма объяснимое физиологическое явление».<sup>13</sup>

О своих статьях в «Русском деле» 1886 года Шарапов выразился так: «...собственно не я их писал, а писала бледная Аксаковская тень, жившая во мне в то время». «У меня сохранилась целая коллекция писем от читателей покойного Аксакова, которые так и писали: „Мы думали, что незабвенный Иван Сергеевич умер, — в Вас он воскрес“.

Мало того: я и сам был почти в этом уверен».<sup>14</sup>

Сравним с оценкой этого ученического следования Аксакову в письме К. Н. Леонтьева Т. И. Филиппову от 19 сентября 1886 года: «На Шарапова плоха надежда:<sup>15</sup> у него и средств нет и *настоящего* ума еще не видно; он, видимо, хочет идти по старой либерально-славянской дорожке Аксакова, забывая, что это выдохшееся и несвоевременное направление держалось не само собою, а только силой Аксаковского характера и веса!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 36). В письме от 11 декабря издатель «Русского дела» помянут в том же контексте: «В Шарапове я также разочаровался до того, что не читаю „Русского Дела“. Хочет пребывать на пережитом уже Аксаковском духе... *Quod licet Jovi non licet bovi!*»<sup>16</sup> (Там же. Л. 50). Вероятнее всего, именно Шарапова Леонтьев подразумевал, когда писал весной 1887 года о славянофилах «аксаковского стиля».<sup>17</sup> «Аксаковское» в его понимании означало «либерально-славянофильское».

<sup>11</sup> См.: Русская литература. 2004. № 1. С. 112—113.

<sup>12</sup> См.: 4 Цар. 2: 11—15. С пророком Шарапов сравнил Аксакова в речи на его погребении 1 февраля 1886 года: «Он переставал быть трибуном и публицистом, он становился пророком, осененным Божественным вдохновением, одаренным сверхчеловеческой силой возносить и оживлять сердца. (...) Как библейский пророк оплакивал он наше бессилие и нравственные падения, громил властным словом опутавшую нас гниль, будил наш дух к грядущей борьбе, требовал покаяния и нравственного очищения» (Русь. 1886. 13 фев. № 32. С. 14).

<sup>13</sup> Шарапов С. Указ. соч. С. VII—VIII.

<sup>14</sup> Там же. С. VIII.

<sup>15</sup> То есть надежда на возможность печатать статьи в «Русском деле».

<sup>16</sup> Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

<sup>17</sup> См.: Русская литература. 2001. № 2. С. 158; Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2004. Т. 6. Кн. 2. С. 24.



Верность этому «аксаковскому стилю» Шарапов старался сохранить и после неудачи, постигшей газету «Русское дело». Вопрос о том, насколько в действительности он был наследником аксаковского дела, требует специального рассмотрения и остается за рамками этой статьи.

Посылая первый номер «Русского дела» Е. М. Феоктистову, который вначале покровительствовал новому изданию, Шарапов писал 8 апреля 1886 года: «Мое направление не либеральное, т. е. *не разрушительное*, в этом нет сомнения, но и не консервативное, т. е. *не охранительное*. Как говаривал Иван Сергеевич, охранять нам нечего.<sup>18</sup> Идеи самодержавия, народности, веры слишком прочны и в охранении не нуждаются, ибо их хранит русский народ, — сила побольше газетной; наша несчастная современность, которую всеми силами охраняют „консерваторы“ — да куда же она годится? Эта современность ведет страну прямо к застою и разложению. Вы сами видите, до чего бессильно правительство, уж не говоря про *творчество*, но в борьбе само с собой! В М(инистерст)ве Ф(инансо)в грабеж, в М(инистерстве) П(утей) С(ообщени)я совсем разбой, все наименеегоднейшие элементы хозяйничают в этих ведомствах как дома — и кому же приходится вести борьбу? Самим же охранителям, девиз которых: „правительство непогрешимо“. Какая нелогичность! А публика, хорошие элементы государства, забыты и испуганы. Граждан, смело говорящих правду, нет. Все изолгались, исподличались, всякая зиждательная работа приостановилась и вся государственная машина разваливается. (...) Мне дорого Самодержавие, дороже, смею думать, чем многим из наших охранителей (...). Мое начало — *зиждательное*. Фундамент есть: Царь, народ, русское начало (культурное). Задача моей газеты — расчищать весь тот хлам, который навален на этом фундаменте, и строить на нем русскую жизнь. Характер газеты будет практически, разумеется, иной, чем „Руси“, при безусловно одних и тех же началах. У Аксакова преобладала духовная сторона и молчала практическая — иногда он впадал здесь в ужасные ошибки и *всегда* недоговаривал из опасения этих ошибок. У меня духовная сторона не так развита, хотя я ее и понимаю, но я прежде всего практик. Практика эта будет выражаться в том, что по каждому вопросу я буду стараться дать точно формулированный *выход*, что именно нужно делать. (...) Если придется идти против известного мероприятия, или системы, я буду идти с любовью и преданностью к России и Государю, имея в виду дать прежде всего *Ему* благой совет, уяснить *Ему* то, что иногда стремятся скрыть перед Ним или облечь в фальшивую форму во имя какого-нибудь личного блага, или попросту, хищения. Мне можете верить, я слишком долго стоял около Аксакова, чтобы изменить взятому от него знамени...» (ИРЛИ. 9076. Л. 3—4).

Такая позиция, мягко говоря, «не встретила понимания» в сферах государственного управления, и все издательские и политические проекты Шарапова рано или поздно пресекались. Впрочем, часто виной тому был его собственный характер. Публикуемые письма знакомят со становлением публициста, мечтавшего «истину царям с улыбкой говорить», и, с другой стороны, — с одним из небезынтересных эпизодов последнего года жизни Ивана Аксакова, чье эпистолярное наследие еще далеко не собрано и не изучено. Особое внимание следует обратить на обсуждение в переписке политических вопросов. Помимо упомянутого выше «афганского» эпизода в этом эпистолярном диалоге обсуждалась и польская тема, всегда важная для славянофилов. В будущей деятельности Шарапова эта тема оставалась одной из ведущих.

Важно отметить и еще один аспект: публикуемые письма позволяют лучше представить Аксакова-руководителя, стиль его отношений с сотрудниками «Руси», его «издательскую политику».

<sup>18</sup> Думается, что Аксаков мог вкладывать в эти слова несколько иной смысл, чем тот, что раскрывает далее Шарапов. Следует, впрочем, помнить, что его письмо обращено к начальнику Главного управления по делам печати, а это объясняет особую расстановку акцентов.

Письма Аксакова печатаются по автографам (Государственный архив Смоленской области. Ф. 121. Оп. 1. Д. 78),<sup>19</sup> письма Шарапова — по автографам, хранящимся в ИРЛИ (Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 686). Одно из писем Аксакова было впервые опубликовано Шараповым в «Русском деле» (1887. 3 апр. № 1. С. 7). Там же Шарапов напечатал недатированную записку Аксакова, автограф которой нам неизвестен.<sup>20</sup> Вероятно, это одна из множества деловых записок, адресованных редактором «Руси» своему помощнику. Републикуем ее по тексту «Русского дела».

<sup>19</sup> Благодарим сотрудников архива и его директора Н. Г. Емельянову, выявивших, по нашему запросу, эти письма и приславших их ксерокопии для публикации.

<sup>20</sup> Записка И. С. Аксакова к С. Ф. Шарапову по поводу Д. А. Агренева-Славянского // Русское дело. 1887. 2 мая. № 5. С. 6. Шарапов опубликовал эту записку в номере, посвященном 25-летию юбилею художественной деятельности певца, собирателя народных песен, дирижера, создателя смешанного хора «Славянская капелла» Дмитрия Александровича Агренева-Славянского (1836, по другим сведениям 1834—1908). См. включенную в передовую статью речь Шарапова на юбилейном акте 26 апреля 1887 года (Там же. С. 1—2; Шарапов С. Ф. Указ. соч. С. 101—103) и статью «Юбилей Славянского» (Русское дело. 1887. № 5. С. 6). Публикация письма сопровождалась вводным текстом редактора: «Перед отправлением Д. А. Агренева-Славянского в последнее заграничное путешествие, покойный И. С. Аксаков прислал нам следующую записку» (Там же).

## 1

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

(Без даты, не позднее 1883 года)<sup>1</sup>

Любезнейший С. Ф.!

Посылаю Вам билет на концерт, доставленный в редакцию Славянским.<sup>2</sup> Другой отослал Давидовичу.<sup>3</sup> Непременно побудьте и дайте отчет в «Руси»,<sup>4</sup> а Славянскому от моего имени наговорите всяких хороших вещей и пожелайте полного успеха, который в сущности будет наш национальный успех. Сам я завален работой.

Ваш Ив. Аксаков.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию: с лета 1883 года Шарапов жил в своем имении, в Москве бывал наездами, в 1885 году он уже был сотрудником «Голоса Москвы».

<sup>2</sup> Славянский — псевдоним Д. А. Агренева (см. прим. 20 к вступительной статье).

<sup>3</sup> Антон Дмитриевич Давидович — с 1883 года секретарь редакции «Руси»; см. два его письма к И. Аксакову (16 и 28 апреля 1885); ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 176.

<sup>4</sup> В настоящее время не выявлено.

## 2

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

(24 декабря 1883 года)

Почтеннейший Сергей Федорович.

Ни в каком случае до выпуска 1-го №, следовательно в 1883 г., я из Москвы не отлучусь.<sup>1</sup> Во-1-х моя передовая не готова,<sup>2</sup> во-2-х, с переменой Секретаря,<sup>3</sup> пока он не попривык, мне приходится его руководить, и т. д. Теперь же время подписки. Итак, надеюсь Вас видеть еще в Москве.

Описание Ваше соблазнительно, но не полно. Во-1-х, какой дом? Деревянный или каменный? Во-2-х, из чего состоит 1-й этаж, и как высок, сколько ступеней до 2-го? В-3-х, как сходят из бельэтажа в сад или парк? По каменной террасе или иначе, по парадной лестнице? В-4-х, как течет река Вязьма, между Комягиным и Но-

вым Селом, т. е. приходится ли переезжать реку едучи от Комягина или нет, и в первом случае есть ли мост? Спрашиваю потому, что в ростепель пожалуй и не доедешь... Я очень охотно посетил бы Вас, но согласитесь, что вояж предстоит не из легких. В 2 часа ночи приезжать на станцию, с перспективой сделать в сутки в 4 приема — 50 верст в санях по такой мятели и холодному ветру как сегодня!

Вообще сообщение железнодорожное оказывается неудобным. Может быть, весной поезда переменятся, может быть, курьерский поезд, когда будет ходить, согласится высаживать в Комягине, — а то это представляет в перспективе важное неудобство. Соблазняет меня парк, мебель в доме, — пугают пустые этажи внизу и надо мной, которые придется запереть, и пустынные залы в бельэтаже: уютности не будет.

Надо бы хорошенько разузнать о сырости или сухости места. Для этого следует хитростью завести разговор со священником: «Что мол, батюшка, есть у вас места для охоты?» И вдруг получится ответ: «Как же! Отличные места, кругом болота!..» Но Вы пристрастны и такого хитрого вопроса предложить не сумеете! До свидания.

Ваш Ив. Аксаков.

24 Дек⟨абря⟩ 83

<sup>1</sup> Аксаков отвечает на предложение Шарапова купить или снять на лето дом в Вяземском уезде Смоленской губернии. Местонахождение этого письма нам неизвестно.

<sup>2</sup> Передовая «Москва, 1 января» (Русь. 1884. 1 янв. № 1. С. 2—13). Ее ведущая тема задана первой фразой: «„Мы глупы и бедны“, говаривал покойный князь В. А. Черкасский...» (С. 2).

<sup>3</sup> См. прим. 3 к предыдущему письму.

### 3

С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

⟨7 марта 1885 года⟩<sup>1</sup>

Добрейший Иван Сергеевич

Решительно был в отчаянии, что не мог Вас проводить.<sup>2</sup> Посылаю Вам капитальную мою статью о войне с Англией.<sup>3</sup> Она, вероятно, будет изуродована в Гол⟨осе⟩ Москвы. Обратите внимание на передовую и фельетон № 63 «Г⟨олоса⟩ М⟨осквы⟩»<sup>4</sup> и ради Бога скажите Ваше мнение.

Позвольте Вам писать.

Преданный Вам всей душой

С. Шарапов.

<sup>1</sup> Записка, написанная синим карандашом, сопровождала посылаемую в Ялту статью.

<sup>2</sup> Речь идет об отъезде И. С. и А. Ф. Аксаковых в Ялту.

<sup>3</sup> «Письмо из деревни без подписи». См. Приложение. Опубликовано в передовой: Голос Москвы. 1886. 8 (20) марта. № 67. С. 1—2. Сопровождалось вводным текстом редактора: «Мы получили сегодня из деревни письмо по предмету нынешних политических осложнений. Оно несколько странно по своей форме и едва ли можно согласиться с такою постановкой вопроса, какую делает почтенный автор; но оно интересно как русский искренний голос. Вот это письмо» (Там же. С. 1). Всего через десять дней русские войска атаковали позиции афганских войск по берегам реки Кушки.

<sup>4</sup> Передовая «Москва, 3 марта» (Голос Москвы. 1885. 4(16) марта. № 63. С. 1—2); *Садко* [Шарапов С. Ф.] Письма из центра (Там же). Передовая была посвящена отношениям Англии и Германии, и особенно движению Германии на Балканский полуостров. Фельетон предсказывал крах не названной здесь Кахановской комиссии. См. прим. 6 к письму 4.

## 4

С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

Леонт(ьевский) пер.<sup>1</sup> д. Раузер кв. 10.

Москва 7 марта 1885 (года)

Добрейший Иван Сергеевич!

Я поистине в отчаянии, что не удалось Вас проводить и попрощаться с Вами. Мошенник Давыдович<sup>2</sup> сказал мне об этом слишком поздно, когда уже Вы уехали. Решаюсь писать к Вам, думая, что мои сообщения не будут Вам безынтересны, питаясь также надеждой, что Вы от времени до времени не откажете мне в поддержке в моем трудном деле.

Препровождаю статью,<sup>3</sup> которая появится завтра, может быть, в смягченном виде. Вы видите, какими приходится заниматься вопросами: я оглядываюсь на Вас постоянно и думаю: одобрит ли И. С. мой тон и мысль? Так ли я понимаю положение? Так ли сказал я, напр(имер) в № 63, которым думаю открыть политический поход?<sup>4</sup> (Кстати: Васильев<sup>5</sup> в этих делах суший младенец и всю политику взял я.)

Буду с нетерпением ждать от Вас хоть строчки, а теперь передам Вам кое-что, хотя правда и небольшое сравнительно.

Кахановская комиссия не закрыта, как телеграфировали в «Моск(овские) Вед(омости)», но только пришиблена. Ей велено окончить работы и сдать их М(инистерст)ву В(нутренних) Д(ел).<sup>6</sup> Затем, думают, что по разработке дела здесь опять соберут сведущих людей.<sup>7</sup> Однако надежды мало.

Немцы в Петерб(урге) очень агитируют против «Голоса Москвы».<sup>8</sup> Они уже успели сообразить, чего от него можно ждать. Кружок Воейкова<sup>9</sup> рассылает усердно №№ газеты разным «лицам» и это производит впечатление.

К нам прислал Соловьев статьи за подписью Варсонофий Петров о Болгарской и Греческой церковной распре.<sup>10</sup> Пока папой не пахнет, но я предупреждал Васильева, что нечаянно явится и Папа, если он обяжется печатанием. Уже в первой статье проводится мысль, что мы должны не праздновать св. Мефодия, а сокрушаться, ибо *тогда* еще не было разделения церквей, что прославить св. Мефодия можно соединением этих церквей вновь.<sup>11</sup> Я не знаю, что мне делать?

Тяжело мне, уважаемый Иван Сергеевич, после Вас попасть в газету Васильева, хотя мое влияние и власть достаточно велики; но утешения в этом мало! Я проклиная себя, что ушел от Вас в 83—4 годах, иначе я убежден, что Вы смело решились бы доверить мне «Русь» на время Вашего отсутствия. Жестоко слово сказанное Вами, что «Русь» Ваш личный орган!<sup>12</sup> Неужели же в самом деле после Вашего отъезда вся сила русских честных людей должна выразиться одной только газетой, да и то *полудурацкой*, хотя несомненно честной — «Голосом Москвы». Ведь «Моск(овские) Вед(омости)» совершенно верно охарактеризованы Щедриным в «Вестн(ике) Евр(опы)» № 3.<sup>13</sup> Ведь это та же лавочка, но торгующая на миллионы. Или «Новое время»? Но ведь Суворин в вопросах экономических служит явно антирусским интересам. Ваше заявление обнаруживает чудовищную пустоту в русской печати, придавая несправедливо силу газете, не имеющей на это права. Ведь «Г(олос) М(осквы)» все-таки издается на купеческие деньги<sup>14</sup> и, как он ни вертись, а против купцов напечатать ничего не осмелится.

Ведь не каламбур это будет, а сущая правда, если я скажу, что Вы увезли в Ялту всю русскую печатную честность и силу. Это мимовольно выходит так, и над этим жестоко издеваются. Вы посмотрите, что осталось!

Попрошу Вас следить за этим несчастным Голосом Москвы. Я мимовольно вношу в него то, что хотелось бы обратить совсем по другому адресу. Теперь, когда Вас нет, я мог почувствовать, чему я от Вас научился, и Васильев ползает передо мной, буквально ползает, но, поверьте, завидного я в этом ничего не вижу! Вижу только,

что создаю газету, тогда как не следовало бы создавать, ибо хамского образа хамских расшаркиваний Вы с нее никогда не смоете. Если б Вы знали, до чего это тяжко!

Простите, Иван Сергеевич, мои, быть может глупые, но искренние излияния. Когда Вы уехали, я почувствовал, что в моей душе наступила ужасная пустота — я не мог предполагать раньше в себе такой глубокой привязанности к Вам. Эта привязанность определилась теперь и, конечно, останется навек. Теперь, кажется, я начал понимать, в чем была Ваша сила надо мной — а ведь Вы в самом деле все создали во мне. Я был, поступая к Вам, вполне легкомысленным субъектом без всяких убеждений, без всякой веры! Теперь я верю, я вжился в Ваши мысли и воспринял их, но не машинально, а сознательно....

Однако, сверх ожидания письмо растянулось. Снова прошу у Вас извинения, прошу передать мой поклон Анне Федоровне<sup>15</sup> и желаю Вам прежде всего здоровья и силы для будущей работы.

Безгранично преданный Вам С. Шарапов.

<sup>1</sup> В этом же переулке находилась типография М. Н. Лаврова (с середины 1884 года — М. Г. Волчаникова), где печаталась газета «Русь».

<sup>2</sup> См. прим. 3 к письму Аксакова от 24 декабря 1883 года.

<sup>3</sup> См. прим. 3 к предыдущему письму.

<sup>4</sup> См. прим. 4 к предыдущему письму.

<sup>5</sup> Васильев Николай Васильевич — в 1885 году редактор-издатель газеты «Голос Москвы»; с 1860-х годов — сотрудник «Московских ведомостей»; в 1870-е годы — бухгалтер и библиотечарь Практической академии коммерческих наук.

<sup>6</sup> Особая Комиссия для составления проектов местного управления была учреждена 20 октября 1881 года под председательством статс-секретаря Михаила Семеновича Каханова (1833—1900), по имени которого и стала называться в прессе «Кахановской». По словам современника, она была создана «для исследования состояния умов, настроения провинции и нужд населения, в пределах возможного» (Князь Мещерский. Воспоминания. М., 2001. С. 537). При министре внутренних дел гр. Д. А. Толстом в комиссию вошли представители дворянства и земств. Любопытно, что министр тихо «победил» мало симпатичную ему «либеральную» комиссию тем, что ввел в нее А. Д. Пазухина (1845—1891), чьи идеи стали базой последовавшей через несколько лет земской реформы (введение земских начальников и т. п.). (Об отношении Шарапова к этой реформе см.: Русская литература. 2004. № 1. С. 121, 129.) Аксаков уделял в своей газете большое внимание анализу деятельности Кахановской комиссии. В 1882 году была заведена даже специальная «рекомендательная» рубрика, открывшаяся статьей Шарапова (*Шарапов Сергей*. К сведению Комиссии статс-секретаря Каханова: основы уездного переустройства // Русь. 1882. 15 мая. № 20. С. 15—18; 22 мая. № 21. С. 13—16; 29 мая. № 22. С. 11—13). Последняя по времени перед отъездом Аксакова в Крым статья «Руси» о работе комиссии: *Н. Б. Наш status quo* // Русь. 1885. 5 янв. № 1. С. 9—14. Упомянутая в письме Шарапова телеграмма, содержащая ошибочные сведения: «ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. Открыта в нынешнем своем составе Кахановская комиссия и дело ее передано министру Внутренних Дел» (Московские ведомости. 1885. 4 марта. № 62. С. 2). Кахановская комиссия была закрыта только 1 мая 1885 года. Впрочем, появление опережающей события телеграммы могло быть вызвано известиями о резолюции Императора на докладе гр. Толстого от 22 февраля. Государь отметил безрезультатность работы комиссии и заключил: «Не пора ли подумать, каким образом прекратить ее деятельность?» (Цит. по: Дневник государственного секретаря А. А. Половцова: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 479). Во втором «Письме из центра», напечатанном под псевдонимом «Садко», Шарапов писал: «Ну, мог ли я ожидать, чтобы мое первое письмо стало Requiem'ом для Кахановской Комиссии? Однако, — увы! — это было так. В то время когда вы его печатали, уже пронеслись зловещие слухи, а когда оно пришло к нам, Комиссия лежала уже пришибленной» (Голос Москвы. 1885. 18 (30) апр. № 105. С. 1). Шарапову, возможно, принадлежит передовая статья, посвященная концу Кахановской комиссии (3 (15) апр. № 90. С. 1—2).

<sup>7</sup> Начиная с 1881 года практиковались совещания «сведущих людей» — консультантов, представителей дворянства, земства, промышленности и т. п. Наиболее известное совещание — по вопросу «питейной реформы» (1881—1882).

<sup>8</sup> Вероятно, имеются в виду круги высшей бюрократии — «остатки прошлого царствования» (Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. Т. 1. С. 95).

<sup>9</sup> Воейков Дмитрий Иванович (1843—1896) — публицист, постоянный автор «Руси» и «Московских ведомостей» (псевдонимы «Д. В.», «Сельский житель»); действительный статский советник, в 1881 году — директор канцелярии министра внутренних дел Н. П. Игнатьева.

<sup>10</sup> *Варсонофий Максимов* [Соловьев Вл. С.]. Церковные дела // Голос Москвы. 1885. 14 марта. № 73. См.: Владимир Соловьев (из несобранного). Церковные дела. Письмо первое. Разы-

скания Н. В. Котрелева // Вестник РХД. 1990. № 158. С. 147—159. Поводом к написанию статьи послужила подготовка к широкому всероссийскому празднованию 6 апреля дня св. Мефодия, просветителя славян. В это же время — в связи с изменением политической ситуации в Болгарии — вновь осложнились отношения Русской Церкви и Вселенской Патриархии. См. также: *Фетисенко О.* Вл. Соловьев в «Голосе Москвы» (новые материалы) // Минувшее и непреходящее в жизни и творчестве В. С. Соловьева. Материалы международной научной конференции 14—15 февраля 2003 года. СПб., 2003. С. 388—395. Н. В. Котрелевым остроумно объяснен выбор псевдонима Варсонофий Максимов: «Но красноречив, кажется, и псевдоним, ибо „Варсонофий Великий“ из письма к Леонтьеву перекликается с ним обеими частями имени» (Вестник РХД. № 158. С. 154—155). (Речь идет о впервые опубликованном здесь же письме Вл. Соловьева к К. Н. Леонтьеву.) Получается, правда, при этом, что псевдоним и понять мог быть только Леонтьевым. Откуда же взялся в письме Шарапова «Варсонофий Петров»? Возможно, «сработала» литературная ассоциация: гробовщик Варсонофий Петров из некрасовского цикла «О погоде». Шарапов мог ошибиться, припомнив этого Варсонофия Петрова и не разглядев в Варсонофии Максимове (скорее, Максимове) — Варсонофия Великого. Из публикаций «Голоса Москвы» о празднике см., например, передовую статью (1885. 6 (18) апр. № 93. С. 1—2), а также: *Б. Заслуги Свв. Кирилла и Мефодия и их значение для Славянского мира* // Там же. С. 1—2; *Празднование дня памяти Св. Мефодия* // Там же. 7 (19) апр. № 94. С. 1; *Н. К.-ъ* [Коншин Н. Н.] Шестое апреля в Москве // Там же; *В-мар.* 6 апреля 1885 года // Там же. 10 (22) апр. № 97. С. 1; *К празднованию тысячелетней годовщины Свв. Славянских Апостолов* // Там же. № 99. 12 (24) апр. С. 4.

<sup>11</sup> Ср. в статье В. Соловьева: «...День Св. Мефодия должен быть для нас днем скорби и печали по невозвратно потерянном единстве» (Вестник РХД. № 158. С. 154).

<sup>12</sup> Подразумевается обращение «От редактора-издателя „Руси“ И. С. Аксакова»: «Редактор „Руси“ болен, и так как „Русь“ была и есть его личный орган, — то с внезапным перерывом деятельности редактора приостанавливается, по необходимости, и самое издание „Руси“». Никому так не прискорбна, так не досадна эта неожиданная помеха, как самому редактору, разумеется, который положил на свое дело столько труда и сил, — но врачи единогласно настаивают на *неотложном*, полном и притом довольно продолжительном отдыхе — по крайней мере до сентября» (Русь. 1885. 9 февр. № 6. С. 1). Следующий, седьмой номер «Руси» вышел 17 августа 1885 года.

<sup>13</sup> Речь идет о «Пестрых письмах» Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова) (Вестник Европы. 1885. № 3. С. 148—171). (В издании 1886 года — «Пестрые письма. V».) В «Пошехонском Воротиле» и его редакторе «Подхалимове высшего ранга» (в позднейшей редакции — «Пошехонские куранты» и Скоморохов) были узнаваемы «Московские ведомости» и М. Н. Катков. «Публичность, которую мы пользуемся, достаточно-таки скудна. Вся она сосредоточивается в печати, а печать, по обстоятельству, всецело эксплуатируется Подхалимовыми. Все, что мы знаем о нашей стране — все выходит из этого источника. Подхалимов высшего ранга — явно лжет и подтасовывает; Подхалимов низшего ранга — неизвестно чему веселится и скачет с штандартом. Первый под видом защиты принципов порядка и устойчивости бессовестно пользуется ими в качестве полемиического приема, чтоб зажать рот своим противникам. Второй — от всяких принципов отшучивается...» (Вестник Европы. 1885. № 3. С. 171; ср.: *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т. 16. Кн. 1. С. 321).

<sup>14</sup> Финансировали газету крупные предприниматели, главным образом Т. С. Морозов (см. прим. 25 к письму Шарапова от 29 марта 1885 года).

<sup>15</sup> Аксакова Анна Федоровна (урожд. Тютчева; 1829—1889) — жена И. С. Аксакова (с 1866 года).

## 5

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

15 марта <18>85 <года>  
Ялта.

Любезнейший Сергей Федорович.

Я замедлил несколько ответом на Ваше теплое письмо, выжидая «Голоса Москвы», который теперь получаю исправно. Мы здесь устроились хорошо, на даче — за чертой города, но у самого города, так что от меня до противоположного конца города всего каких-нибудь 35 минут. Устроиться хорошо — это значит иметь дачу с печами, хотя бы только железными и топить их ежедневно, иногда по два раза. Мы, жители Севера, дети вьюг, снегов, морозов — оказываемся очень *зябкими* сравнительно с черномазыми детьми Юга. Вообще в марте м(еся)це еще на Юг

ехать Северянину не следует. Правда, земля здесь не замерзала, а потому нет и таяния, и всю зиму держалась травка, хотя и весьма тощая; правда, фиалки, желтофиоли — все это цветет, равно и миндали, — но южный ветер с моря дует на вас насыщенный холодными парами; так как море согревается только к июню, — раньше июля купаться нельзя. Конечно, когда небо ясно (а в марте оно часто не ясно; через горы, защищающие от Севера, переваливаются облака то и дело, сползают, покрывают море туманом), — когда небо ясно, *на солнце* днем жарко, так что в толстом пальто ходить жарко, — но ветер, хотя бы и южный, холоден, — но взойдете в комнату (а дома здесь каменные и топят их прескверно), и как раз — простуда. По ночам все-таки не более 5 град(усов) тепла. Оно можно восхищаться тем, что вот, мол, на дальнем Севере теперь 10 град(усов) мороза, но там я на мороз выхожу в шубе, а в комнате у меня 15 гр(адусов) тепла. Но дышать пятиградусной теплотой не особенно умирительно. Одним словом — воздух наружный и комнатный не пришел еще в равновесие или соответствие с солнечным упёком, — и я с нетерпением жду жаров. На Юге я хочу потеть, а не зябнуть. А пока мы б(ольшей) ч(астью) зябнем, глядя на розовый цвет миндаля, на вечнозеленые лавры и кипарисы (очень сожалею о том, что сии классические деревья\* того и гляди утратят для меня пиитическую прелесть и т(ак) с(казать) опошлеют). Впрочем, в перспективе — несомненная и скорая прелесть: яркая синь неба, прозрачный сияющий воздух, теплое морское веяние, — все это будет, как дважды два четыре, но едва ли раньше апреля. Мы заплатали, как истые Северяне, должную дань Югу, — я насморком, охрипlostью, а Анна Федоровна — даже лихорадкой.

Из моего прекрасного далёка я словно из другого мира смотрю на вашу суету, возню и муравьиное труженическое копошенье, — равнодушный к толкам и пересудам. Точно, как я уже писал одному приятелю, машина, действовавшая на всех парах — остановилась, пар выпустили, печь остыла; — а маленьким количеством дровец она не легко растапливается.<sup>1</sup> Другими словами — я способен не то что обломиться, но впасть в безделье, пробавляясь чтением газет, журналов — но с чувством, вовсе не горьким, отставного, сидящего на пенсии.

Вы — другое дело. Вы молоды, и весело мне читать Ваше живое письмо, полное такого горячего\*\* интереса ко всему, Вас окружающему. «Борьба», «деятельность», «общее благо» — этими словами я жил, не головой только, а всем существом своим, — может быть, и опять буду жить, — и желаю ими *жить* практически всякому, — но знаете (как я тоже на днях писал одному человеку<sup>2</sup>) — глядя здесь постоянно на море, — эту первобытную, нерукотворную, непобедимую мощь, эту свободную, ничьей власти не подчиняющуюся стихию, — мне сдается, что наша Россия — это тоже своего рода целая стихия, вольная и таинственная, или точнее полная тайны, сокровенных сил и законов. И самого себя, как деятеля, уподобляю я человеку, который бы вздумал дуть на море, отталкивать волны руками, сечь море хлыстом!

Вы не смущайтесь моими словами: это только ощущение, а не правило жизни. Правило же жизни: *fais ce que dois*.<sup>3</sup> Однако же следует себе дать точный отчет в том, в чем заключается это *dois*. Здесь критериум самый верный — *нравственный*, заставляющий вас прежде всего признать права русской народной стихии на свободу исторического развития, на самостоятельность жизни,<sup>\*\*\*</sup> и вообще сообразовать свою деятельность, свои стремления с высшими требованиями и идеалами нравственной правды. Впрочем, об этом распространяться в письме неудобно: мало напишешь — выйдет или общее место, или неясно.

Статья Ваша политическая — очень жива, остроумна и вообще верна, но я едва ли бы ее напечатал. Я не охотник обнаруживать как бы страх перед Германией со

\* Зачеркнуто: грозят дл(я).

\*\* Зачеркнуто: живого.

\*\*\* Зачеркнуто: впрочем об этом.

стороны России. И потом — в Германскую Империю я не верю. Опасен *Немец* — как племя сильное, легко себе подчиняющее,\* ассимилирующее. В Австрии немца маленькая пропорция — всего 8 миллионов на 35 м(иллионов), а ведь эти славяне более или менее онемечены, хотя и кичатся славянщиной! Затем, — знайте, что при первом столкновении России с кем бы то ни было в Европе, Англия нападет на нас из Азии. Афганистан буфером быть не может. В случае войны России с Англией они или с нами, или с Англией. Англии даже через Афганистан наше соседство страшно, — страшно наше обаяние в Азии, колеблющее верность их индийских вассалов и подданных, — не наши замыслы и даже не наши войска. Поверьте, что Бисмарк<sup>4</sup> помирится с англичанами на наш счет. Я не верил в войну России с англичанами в настоящую минуту: слишком она невыгодна для англичан. Флота военного, который бы уничтожить было выгодно, у нас нет, торгового также. А нам стоит только во главе небольшого отряда послать в Азию Черняева,<sup>5</sup> так одно его имя всколышет весь Индостан. Популярность его в Азии необычайна. Англичане подождут, пока не образуется против России целая европейская коалиция, и присоединятся к ней. Россия в Европе никому не своя, никому не нужна, всех теснит, всему мешает, и как умрет Император, коалиция тотчас образуется. Тогда шансов для успеха англичан будет больше над нами даже и в Азии. Франция же нам не поможет. Она не обнажит меча, пока *мы* не нанесем какого-либо *поражения Германии*; это мне говорили сами французы — из серьезных и сведущих. Я уверен, что Бисмарк и отсоветовал англичанам, чрез своего сына,<sup>6</sup> начинать войну с нами и склонил их на уступки. Ему нет расчета доставлять нам лишнее торжество и обессиливать врага России — Англию. Лучше ее припречь — в союзе с Германией — в ту лигу мира,<sup>7</sup> которая в сущности есть лига будущего похода на Россию, — ибо Россия всем поперек горла.

Я не мог не улыбнуться, читая ваши строки о том, что я мог бы смело передать «Русь» Вам. Дело тут ведь не в одной честности и независимости. Мудрено несколько быть Вам *представителем* славянофильского направления, когда Вы не прочли ни одной строчки Хомякова, Константина Сергеевича, Юрия Самарина<sup>8</sup> и т. д. — их богословских, исторических и политических писаний! Тем менее согласился бы я *передать* «Русь» Воейкову и его кружку: они склонны к разным компромис(с)ам. Так оно и нужно на практике, но при этом заслоняется нередко чистота и даже забывается сущность принципа. Я же относительно принципов — ригорист. Знаю, что это ослабляет значение моей газеты, но уж таков характер моей деятельности, практик я по природе плохой, — по природе я лирик, — оттого и называю «Русь» личным органом. Никому я не мешаю создавать и издавать органы одного со мною направления. О партии я не забочусь. Да и что ж у нас за партии! В нашем направлении журнал или газета никогда не приобретет\*\* большого числа подписчиков. Моя партия, как я отвечаю шутя всем, кто меня об этом спрашивает, — вся масса тех, которые даже и *не подозревают* о моем существовании, — десятки миллионов Русского народа.

Прощайте, благодарю Вас за все выражения дружеского участия и признательности. Жена благодарит Вас за память.

В(аш) Ив. Аксаков.

Пожалуйста, не выражайтесь так о Давидовиче. Я Вашего мнения о нем не разделяю. Он только несколько обидчив и петушлив.

\* «Легко себе подчиняющее» вписано над зачеркнутым «ассимилирующее».

\*\* Зачеркнуто: слиш(ком).



<sup>1</sup> Адресат этого письма Аксакова не установлен.

<sup>2</sup> Адресат не установлен.

<sup>3</sup> Делай, что должно (*фр.*). Часть пословицы «Делай, что должно, и будь что будет».

<sup>4</sup> Отто-Эдуард-Леопольд Бисмарк фон Шёнхаузен (1815—1898), рейхсканцлер Германской Империи в 1871—1890 годах.

<sup>5</sup> Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), русский военный и общественный деятель, генерал-лейтенант; в 1876 году возглавил командование сербской армии. Во время русско-турецкой войны прославился своими отрядами летучей кавалерии. В 1882 году был назначен генерал-губернатором Туркестанского края, но в 1884 году отставлен с назначением членом Государственного совета. См.: *Шарапов С. М. Г. Черняев*. СПб., 1898.

<sup>6</sup> Граф Герберт Бисмарк (1849—1904), старший сын О. Бисмарка, был послан в Англию «с целью уладить недоразумения» (Современные известия. 1885. 24 фев. № 53. С. 2) по египетскому и суданскому вопросам. «...И в Германии не менее нежели где-либо были удивлены неожиданной поездкою в Лондон графа Герберта Бисмарка. (...) направленную против лорда Гранвилля речь канцлер произнес в рейхстаге 2 марта, а на другой день граф Герберт Бисмарк уже выехал из Берлина; 4 марта он прибыл в Лондон и вечером уже говорил с Гранвиллем. (...) нам кажется, всего вернее принять, что граф Герберт получил поручение дать понять английскому кабинету, каков может быть дальнейший ход дел...» (Московские ведомости. 1885. 1 марта. № 59. С. 4; даты в этой статье даны по принятому в Европе григорианскому календарю). См. также: Современные известия. 1885. 28 фев. № 57. С. 1; Московские ведомости. 1885. 2 марта. № 60. С. 3 (о совещании Г. Бисмарка с английскими политиками 9 марта н. ст.).

<sup>7</sup> Лигой, или союзом, мира называли союз Германии и Австро-Венгрии. Из публикаций аксаковской газеты на эту тему см.: *Чайковский М. (Садък-паша)*. Центральный союз Европы, так называемый союз мира // Русь. 1884. 1 марта. № 5. С. 54—59. Чайковский писал о европейской политике «союза мира»: «Привлекают Италию и Испанию к этому союзу, чтоб отклонить их от Франции и настроить против Франции. Привлекают Румынию, Сербию и даже Болгарию, чтоб отклонить их от России и подготовить против нее» (С. 56). В то же время «лигой мира» германские газеты называли знаменитое свидание трех императоров (Александра III, Франца-Иосифа и Вильгельма I) в Скерневицах 3 (15) — 5 (17) сентября 1884 года: «...Немецкие газеты прямо заявляют, что это свидание — „лига мира“, т. е. именно *соумышление* держав на ограждение международного мира» (Русь. 1884. 15 сент. № 18. С. 3).

<sup>8</sup> А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин.

## 6

### С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

29 марта 1885 (года). Москва

Глубокоуважаемый Иван Сергеевич!

Истинным подарком к празднику было мне Ваше большое чудесное письмо! Я еще и сейчас не могу себе дать точного отчета, что больше говорит моей душе в нем: Ваша ли чудесная лирика, Ваши ли политические мысли, или Ваше *fais ce que dois*. Верьте, что я до сих пор не могу разобраться в напущенной Вами массе хороших, благородных ощущений, от которых ужасно отвыкаешь, будучи прикован ко всяким статьям, корректурам, газетам и т. п. Но зато как только послышатся призывающие звуки, вся эта мелочь сваливается с души и начинаешь вновь переживать прежнюю почти забытую поэзию. Я испытал многое из того, о чем Вы говорите, бродил у моря, взбирался на совершенно дикие вершины, человеком не заполненные (лучшее в этом роде у меня осталось — Босния,<sup>1</sup> где я между прочим испытал единственное в своем роде чувство — сознание полной независимости, первобытной свободы без законов, правительств и т. п.), оглядывался на людской муравейник с иронией — «эк их копошатся там!» Даже Ваше интересное чувство *жалости*, что лавры и кипарисы могут опошлиться — и это я отлично помню. Припоминаю даже характерную мелочь: когда я увидел в первый раз лавры в Италии, я ужасно расчувствовался в самом хорошем смысле. В душе расцветали Гётевские стихи.<sup>2</sup> И в то же время рука мимовольно протянулась к дереву, сорвала листок, я его машинально потер и понюхал. Меня это мое же машинальное движение ужасно обидело тогда. Лист лавра превратился в лавровый лист, поэзия в печатную книж-

ку стихов. Я считаю эту мелочь очень характерной; с Вами, например, ничего подобного бы не случилось; это принадлежность нашего поколения, прошедшего преподающую школу и совершенно утратившего ту цельность души, чувства и мысли, которая ставит Ваше поколение так недостижимо высоко.<sup>3</sup> У Вас средний даже человек был вполне цельным, а если выдавался талант, то овладевал прямо сердцами. У нас есть таланты несомненно, и крупные, но цельности ни признака, а потому не только мы не можем владеть сердцами, но наших талантов не хватает даже на яркий фельетон. И фельетонистов-то нет! И знаете что? Самыми жалкими в нашем поколении будут чистые, или очистившиеся люди. Они будут смешны, ибо не имея ни той веры, которая движет горами<sup>4</sup> (я отлично понимаю силу *этой* веры, хотя увлы сам ее не имею), ни специального современного нахальства и заносчивости, они обречены на совершенное бесплодие, или если уж талант особенно силен, на творчество неискреннее, деланное, лишенное повелевающей силы. Не знаю почему, но эту деланность я вижу даже в Достоевском (вследствие неполноты веры и несомненной примеси скептицизма и анализа). Для меня страшная загадка — действие его слов «смирись гордый человек!»<sup>5</sup> Откуда у него взялась именно та вера, которая повелевает горами? Он был не *верующий* человек, как Вы например, а *мученик стремления своего веровать*: таков тон всех его писаний, даже самых по-видимому убежденных. У меня болезненно поднимается в душе мой основной, коренной вопрос: неужели же в самом деле стремление веровать дает силу настоящей веры? Или Достоевский *веровал*? Наконец, можно ли получить опять утраченную веру, так чтобы она стала в душе цельной силой? Что для этого нужно? Вы говорите о нравственном критерии, вот я и чувствую, что без веры он способен иссякать и наполняться лишь минутами, силой какого-то вдохновения; а затем, тоска, тоска и апатия. У Вас их нет, да им и взяться неоткуда! Какая бы ежедневная мелочь Вас ни окружала, Ваш критерий бьет себе как ключ, и Вы никогда не дойдете до такого позорно-угнетенного состояния, как мы, т. е., как добросовестнейшие из нас. Один мой задушевный друг<sup>6</sup> и очень теплый (но без Вашего критерия человек) сказал мне про себя очень метко: «я сам к себе поступил в чиновники». Это значит, что он относится к своим бессильным и бесплодным душевным порывам, как к канцелярскому «делу». Душа сделала «запрос», он ответил ей «отношением». Само собой, что у него водворилось известное спокойствие в его нравственном быту. Ужасный конец, но это еще лучший для нашего поколения, это почти идеал, доступный самым чистым и свежим людям. У меня душа и ее порывы не из таких, чтобы их можно [было] успокоить канцелярской отпиской; и если я не нахожу ответа на что-нибудь, или по крайней мере высшего юмора над запросом души, я нравственно болею и теряю тогда всякую силу для дела. Боль превращается в чисто физическое ощущение — «сердце ноет», я стремлюсь веровать — вера не дается, а в душе словно шепчет кто-то: «ломаный, ломаный». Спасает меня тогда какая-нибудь новинка, свежая народившаяся мысль, увлекательная своим моментом зарождения, своею девственностью, своим тут же совершающимся развитием. Вот пока мое единственное лекарство — но ведь это тоже своего рода опиум. И чем больше его дозы, тем меньше, тем кратковременнее действие; душа устает и требуется мысль крупнейшего и крупнейшего калибра, чтобы ее оживлять.

Однако, прерву мои жалобы — боюсь отчасти, что ими Вам надоем, боюсь еще более Вашего строгого приговора, что мы слишком *узки* и *мелки*. Это было бы не совсем справедливо. Мы только несчастные: нас ограбили....

Относительно передачи мне «Руси» Вы улыбались, улыбаюсь теперь и я. Да, Вы правы. Хомякова я не читал, остальных вождей славянофильства отчасти читал, отчасти знаю понаслышке. А Хомякова боюсь и читать: его я попросту берегу как последнее прибежище: я хочу в нем найти ширину взгляда, которая смутит мой дух и затем заставит верить. Как Вам это ни покажется странным, я читал многое духовное, кое-что даже увлекало меня, как стройная система, но веры мне не давало. Напр(имер), такая красота мысли, как у В. Соловьева. И все-таки меня это

не повергало в прах, а нужно именно это. Я и здесь изломан и испорчен. Сидя в Венгрии,<sup>7</sup> я напал на забытую библиотеку и в течение 8 месяцев прочел от доски до доски 104 тома Вольтера в издании Beuchot.<sup>8</sup> Мне было тогда 20 лет и я, несмотря на всю Добролюбовщину и Писаревщину, которую прошел, чувствовал в душе живой русский инстинкт. Какой-то внутренний юмор заставлял меня смеяться над нашими нигилистами, тот же юмор спас меня и от бессмысленного вольтерианства — я не увлекся им и во многих случаях получалось от чтения гадливое чувство, но «Histoire du Christianisme»<sup>9</sup> произвела на меня невольно ужасное впечатление, именно неведомой мне дотоле глубиной и шириной взгляда. Вера была совсем подорвана, и только в деревне около народа я опять вылечился.<sup>10</sup> Я увидел в православии высшую красоту и начал его любить, но увьи! скорее как философскую систему, чем как религию. Работая у Вас, я проникался Вашим русским чувством и могу сказать, что это чувство, основы которого у меня очень глубоки, необыкновенно очистилось и укрепилось под Вашим влиянием. Экзамен зрелости на русского человека выдержу. Но я сам понимаю, что русский человек без православия немислим. Он не будет цельным. Вполне убежден, что только на почве глубокой и чистой религиозности можно говорить и о мировом призвании России и о новом слове, которое мы имеем сказать миру<sup>11</sup> — эти-то слова Хомякова я знаю! Но найду ли я у Хомякова то, что меня сначала как бы сказать? сожжет, а потом воздвигнет в новом виде? Вот почему я и боюсь его читать..... А все-таки читать буду: сочинения Хомякова у меня уж намечены, скоро я их куплю,<sup>12</sup> куплю, что можно К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина<sup>13</sup> и в мае, или около того рассчитаюсь с Васильевым и уеду в свою Сосновку.<sup>14</sup> На мне начинают сильно ездить, и мне ужасно надоел и храм (а все-таки храм!) и его поп.<sup>15</sup> А главное, повеяло весной, на моем окне дерутся воробы и кричат «дурак, дурак сидит в городе и марает бумагу!» А дома теперь какая прелесть, право не хуже, чем у Вас в Ялте. У Вас море, а у меня живое море. Вы слушаете прибой волн и чувствуете перед ним ничтожество человека. В самом деле: взять хлыстик и хлопать по этому прибору — замечательный образ! Мое море еще более неразгаданное, еще более стихия. Я издали прислушиваюсь например к бесконечной сходке, производящей такой же равномерный звук, как прибой. Но эта стихия не давит так: чувствуешь ее силу, ее безбрежность, а на душе поднимается неведомый голос: «эх, кабы всколыхнуть эту стихию!» И голос этот законный. Стихия колыхнется иногда от него, и Вы сами это пробовали.

Поеду в деревню с книгами и опять стану вплоть до Вашего возвращения в сентябре плуги строить. Если б Вы знали, какая глубокая поэзия в этом деле. Приходит мужик, долго, долго смотрит на плуг, переворачивает и ощупывает его, затем уносит. В этом плуге есть кусочек моей души. Я провожаю уходящего глазами и чувствую, что этот кусочек моей души оторвался от меня и слился со стихией. Это похоже на посев, но зерно севец только подержал в руках и не придал ему ничего своего, он лишь вершитель таинства. А здесь простой кусок железа облекся в форму, создавшуюся у меня, я ее творец, и эта форма и самая идея уходят далеко, иногда на самый конец России, и живут там неразрушимо, долго, долго, создавая мне нравственное общение с неведомыми мне людьми.

Буду опять сам пахать — в этом тоже громадное наслаждение. Пусть их воют, коли на то пошло! Кстати, там уже воюют... Я задаю себе вопрос: как применить здесь «fais ce que dois»? и решаю, что надо все-таки ехать в деревню, пока Вы не приедете. Надо запастись силами и ждать команды. Искренно говорю Вам: страхнул я с себя свое генеральство. В солдатстве тоже есть чудная поэзия, и я буду до поры до времени Вашим солдатом.

---

Думаю, что хорошие дни настали и у Вас и Ваше желание «париться» исполняется. А то не стоило бы и ездить. Насморки раздаются щедрой рукой и здесь. До-

вольна ли поездкой Анна Федоровна? Ей, должно быть, на первых порах было тяжелее, чем Вам, вследствие сырости климата и туманов. Мне не приходилось бывать в Ялте, но я нигде так не мерз, как в благословенном Неаполе<sup>16</sup> в конце марта. Розы цветут и зубы стучат. А ночью просто нестерпимо. В комнате 4° и *никаких* печей. На теле перина, а голову не знаешь, куда девать, приходилось заворачивать в платок. А потом жар — сразу, да такой, что и летнее пальто тяжело. Дам Вам, кстати, один совет: когда начнутся жары, носите теплую фуфайку, и все время, пока Вы на юге, не снимайте ее. И чем жарче, тем она нужнее, как единственное спасение от быстро меняющейся температуры. Я испытывал такое ощущение: идешь по солнечной стороне (в Афинах,<sup>17</sup> в июне) и жарко до дурноты. Заходишь на теневую сторону, — озноб. Не будь фуфайки, вернейшая лихорадка. Вообще, Вы глубоко правы: наша северная кожа совсем иначе устроена, чем у черномазых южан. Вот почему Анна Федоровна и получила лихорадку. Надеюсь, что уже теперь она здорова? В Ваше-то здоровье я и без того верю. Ведь Ваше сложение поистине богатырское, и я уверен, что все дурное, что с Вами сделалось в Москве, произошло от недостатка мускульных упражнений. Вам бы надо вот какое движение.

Вероятно, в молодые годы Вы пробовали столярничать и знаете, какая масса самых разнообразных движений в этой работе. Я бы не смел рекомендовать Вам токарный станок — он очень избит и однообразен, а главное, от него болит спина и никакого удовольствия. А вот когда Вы вернетесь, отделите небольшую комнатку и купите себе столярный инструмент — он стоит с верстаком совсем у Киргофа<sup>18</sup> 28—30 руб. полный комплект. Затем, утром, когда встанете, чтобы к Вам на один час (не больше!) приходил столяр, и Вы, строго приказав никого не принимать, займитесь с ним. Столяр нужен затем, чтобы точить Вам инструмент и доделывать то, что Вами начато. Если Вы будете работать только для моциона, Вам, как всякому хорошему русскому человеку, бесплодное дело скоро отошнет. Наоборот, если Вы будете делать что-нибудь путное, напр(имер), стул, табуретку и т. п., и потом возьмете и кому-нибудь подарите — это Вас будет занимать.

Для груди и рук нет лучше движений. При продольной строжке фуганком весь человек занят от шеи и головы до пяток. Другое движение вертикальная пилка обеими руками. Усилие небольшое, но знаете, что на первых порах Вы, что называется, трех резов не сделаете, ибо страшно устанете. А столяр самый слабый делает без передышки 200 резов. Я очень слаб, а делаю 30 резов свободно, затем отдыхаю. Потом сверленье, теска, все это самые ультрагимнастические движения.....

Простите за Давидовича! Я его, впрочем, не хотел ругать, а это слово, которое у меня вырвалось, имеет почти поощрительный характер. А Вы его все-таки защищаете напрасно. Мой инстинкт верен! Он слишком мелок и зол, а это гадко. В Давидовиче нет ни искорки той чудной сердечной теплоты, которая светится иногда из самого скверного человека и делает его симпатичным. Любить кур мало. Он любит их так же, как Скотинин свиней, но оба ненавидят людей.<sup>19</sup> Давидович помешан на том, что он попович, и в нем развита необыкновенная цепетильность вместе с гадливостью. У всякого есть свои струны. Троньте их и они зазвенят. У Д. есть пиццики, а на пицциках трудно сделать гармонию. Вы его мало знаете — он при Вас и с Вами очень кроток; я смотрю на него и думаю, что из него, будь он немножко покрупнее, вышел бы инквизитор. А пока это только моська косматая и злая. Она не умеет кусаться, но будет пронзительно и злобно лаять без передышки, пока на нее не топнут ногой. Тогда она ляжет и будет коситься и ворчать. Миросозерцание Давидовича возмутительно узко. Он знает массу фактов и, не будучи в силах их связать в убеждения, зол даже на самые факты. Я уверен, что он зол на Каина, убившего Авеля, зол на сатану-соблазнителя, зол даже на Бога, недостаточно наказавшего прародителей.

Давидович в «Руси» был для меня всегда злой шуткой судьбы. Менее подходящего для Вас помощника, кажется, и на Аракчеевскую премию не сыщешь. Его великое достоинство — сдержанность и осторожность я охотно признаю, но грешен, каюсь! Мне от них клопом пахнет;<sup>20</sup> а уж это нервное, дворянское если хотите; и непреодолимое! Простите меня, добрейший Иван Сергеевич! Вы знаете, что я человек очень уживчивый и если бы это не «Русь», я бы никогда и не заикнулся о Давидовиче! Как ни тепло у меня на душе, но я могу любить в человеке только человеческое, а не мосько-петушьи чувства! Еще раз простите меня, но спокойно говорить я не могу о сем предмете.

Благодарю Вас за политические указания, которые я принял к сведению и, как говорится, «к руководству». Но писать ничего не могу. Воздух не тот, да и Васильев мой (это доброе и милое создание, но ужасно мелкое) очень моего Пегаса путает. Написал было я ему 2-е письмо из центра (читали ли Вы в № 63 первое?),<sup>21</sup> в котором *au pendant*<sup>22</sup> к Поляковскому проекту<sup>23</sup> сочинил очень злую карикатуру: *проект переустройства судебного ведомства в России на началах акционерной Компании* — человек даже испугался, ибо там есть пародия на Катковские филиппики против судов,<sup>24</sup> хотя, разумеется, Катков и не назван.

Мне все это ужасно надоело и я душой уже давно в деревне. Попробую творчества вольного, пока волен сам, пока наш храм сиротеет. К стати: «Русь» будет иметь огромный успех по возобновлении, мне это говорят со всех сторон.

В субботу первое заседание Морозовского общества.<sup>25</sup> Я скажу вступительную речь, и она будет затем в «Голосе Москвы»,<sup>26</sup> где Вы ее и найдете. Затем общество разъезжается на целое лето.

До свидания, дорогой, добрейший Иван Сергеевич! Лечите скорей тело, дух Ваш здоров. У меня наоборот: глупое тело играет, а дух хромает — поеду лечиться и я. А в сентябре берите меня опять на работу.

Анне Федоровне передайте мой искренний поклон, да не забывайте глубоко и горячо преданного Вам

Сергея Шарапова.

<sup>1</sup> В 1875 году Шарапов отправился добровольцем в Боснию. См.: Русская литература. 2004. № 1. С. 156.

<sup>2</sup> Возможно, вспоминается четвертый стих песни Миньоны из романа Гете «Годы странствий Вильгельма Мейстера» («Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn...»): «Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht».

<sup>3</sup> Ср. в письме к Аксакову К. К. Толстого, цитируемом в «Примечании Редактора» к опубликованной в «Руси» статье «Этюды господствующего мировоззрения»: «Сердце тянуло в одну сторону, а ум, сбитый с толку, в другую. Вы, И. С., родились и жили в таком кружке, в котором не было разлада между сердцем и головою. Поэтому вы не можете оценить той муки, которою этот разлад сопровождается. Только путем долгой борьбы с самим собою, борьбы дорого стоящей и не дающей *жить*, можно дойти наконец до уважения к своим природным стремлениям — понять, что в этих стремлениях гораздо больше правды, чем в тех логичных с виду измышлениях, во имя которых приходилось извращать свою душу» (Русь. 1884. 15 авг. № 16. С. 52).

<sup>4</sup> Аллюзия на Мк. 11: 23. Ср. с цитатой из предисловия Шарапова к изданию его сочинений, приведенной в начале вступительной статьи.

<sup>5</sup> Слова из Пушкинской речи Достоевского (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 139).

<sup>6</sup> Речь, вероятнее всего, идет об Иване Федоровиче Романове (1858—1913), публицисте, писавшем под псевдонимом «Рцы».

<sup>7</sup> В 1876 году Шарапов был захвачен «в Загребе венгерскими властями, препровожден на место жительства в г. Ясберень, затем в г. Кечкемет» (Русская литература. 2004. № 1. С. 156).

<sup>8</sup> Речь идет об издании: *Voltaire. Les mêmes Oeuvres nouvelle édition ... par M. Beuchot.* Paris, 1829—1834. Однако оно состоит не из 104, а из 70 томов.

<sup>9</sup> Имеется в виду книга Вольтера: «Histoire de l'établissement du christianisme» (1777).

<sup>10</sup> Подразумевается возвращение Шарапова в свое имение в 1878 году и основание мастерской для изготовления плугов. См.: Русская литература. 2004. № 1. С. 156.

<sup>11</sup> А. С. Хомяков полагал, что Русь — как хранительница православия, «принявшая чистое христианство издревле, по благословению Божию и сделавшаяся его крепким сосудом, может быть, в силу того общинного начала (...) без которого она жить не может», «спасшая эти начала для самой себя (...) должна теперь явиться их представительницею для целого мира». «Таково ее призвание, ее удел в будущем» (Хомяков А. С. <По поводу Гумбольдта> // Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 203).

<sup>12</sup> Речь идет о собрании сочинений А. С. Хомякова, изданном в 1861—1878 годах И. С. Аксаковым и Ю. Ф. Самариним в Москве и Праге.

<sup>13</sup> Три тома незавершенного Полного собрания сочинений К. С. Аксакова вышли с большими перерывами в 1861, 1875 и 1880 годах. Сочинения Ю. Ф. Самарина в 10 томах были изданы его братом Д. Ф. Самариним в 1877—1896 годах. Некоторые тома этих собраний были труднодоступны в России.

<sup>14</sup> Имение Шарапова в Вяземском уезде Смоленской губернии.

<sup>15</sup> Речь идет о газете «Голос Москвы» и Н. В. Васильеве.

<sup>16</sup> В Италии Шарапов побывал весной 1877 года после освобождения из австро-венгерского плена.

<sup>17</sup> Путешествие в Грецию, а затем в Константинополь Шарапов также совершил в 1877 году.

<sup>18</sup> Речь идет о магазине московского купца Александра Любимовича Кирхгофа.

<sup>19</sup> Аллюзия на пьесу Д. И. Фонвизина «Недоросль».

<sup>20</sup> Вероятно, это расхожее выражение, применявшееся к выходцам из семинаристов. Ср.: Н. Г. Чернышевского в компании В. П. Боткина и И. С. Тургенева называли «пахнувший клопами».

<sup>21</sup> Эта статья не была напечатана. Получившее позднее номер II «Письмо из центра» было посвящено закрытию Кахановской комиссии (Голос Москвы. 1885. 18 (30) марта. № 105. С. 1). См. прим. 6 к письму Шарапова от 7 марта 1885 года.

<sup>22</sup> В дополнение (фр.).

<sup>23</sup> Поляков Самуил Соломонович (1837—1888) — крупный предприниматель, строитель и концессионер Харьковско-Азовской, Курско-Харьковской и Фастовской железных дорог. Вероятно, подразумеваются его предложения к рассматриваемому в начале 1885 года проекту Общего устава железных дорог.

<sup>24</sup> Возможно, речь идет об откликах «Московских ведомостей» на представленные министром юстиции Д. Н. Набоковым и утвержденные 25 февраля 1885 года «Временные правила о некоторых изменениях в судоустройстве и судопроизводстве в губерниях Тобольской, Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае».

<sup>25</sup> Московское отделение Общества для содействия русской промышленности и торговле было открыто 30 марта 1885 года. Возглавил его Тимофей Саввич Морозов (1823—1889). Шарапов был избран секретарем Московского отделения. (Председателем Общества был гр. Н. П. Игнатьев.)

<sup>26</sup> В «Голосе Москвы» была напечатана только речь Т. С. Морозова (см.: Первое заседание Общества для Содействия Русской Промышленности и Торговле // Голос Москвы. 1885. 2 (14) апр. № 89. С. 2).

## 7

## И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

<Без даты, конец апреля 1885 года><sup>1</sup>

*Секретно*

Пишу Вам только два слова, любезнейший Сергей Федорович. В случае объявления войны, я тотчас же возобновлю «Русь», но возобновление не будет иметь смысла, если газета не будет иметь дельных, талантливых корреспондентов с театра войны. Вот чем я озабочен. У «Нов(ого) Времени» станут писать Немирович-Данченко, Молчанов и пр., у Каткова — Крестовский.<sup>2</sup> Я уже писал в Петербург к знакомым Генеральн(ого) Штаба, но особенного успеха не ожидаю, слишком высокопоставлены.<sup>3</sup> Увы! все мои сверстники, течением лет, в высоких чинах! Пожалуйста, имейте это в виду (не говоря ни слова Васильеву, ведь он и сам себе будет их искать). В крайнем случае придется послать нарочно корреспондента. Приходила мне мысль пригласить Вас в эту экспедицию, но Вы будете мне нужны и в Москве, при возобновлении «Руси»... Одним словом, примите к сердцу мое поручение.

Не знаю, что делал бы и что станет делать без Вас Васильев? Вы одни придавали и придаете «Голосу Москвы» некоторый цвет, характер и значение. Благодарю Вас за постоянную память обо мне, не только во глубине сердца, но и на кончике Вашего пера. «Голос Москвы» я постоянно читаю.

Нужно будет иметь корреспондентов: 1) с азиатского театра войны; 2) с берегов Черноморья: это я попытаюсь устроить в Севастополе. 3) С Западно-Австрийской границы, для наблюдения за поляками и Австрией вообще.

Не отвечал на Ваши письма потому, что я здесь здорово ленился и, кажется, выздоровел к деятельности.

Ваш Ив. Аксаков.

К 15 мая я и без войны буду в Москве.

<sup>1</sup> Впервые опубликовано Шараповым (Русское дело. 1887. 3 апр. № 1. С. 7) с примечанием: «Письмо это было написано в конце апреля 1885 г. в момент афганских замешательств». Речь идет об угрозе войны с Англией.

<sup>2</sup> Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/1845—1936) — прозаик, поэт, журналист, один из первых военных корреспондентов в России; во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов был корреспондентом газеты «Наш век», а после ее закрытия — «Нового времени», в 1879 году — газеты «Русский курьер». Молчанов Александр Николаевич (1846 — после 1916) — журналист; с 1878 года был корреспондентом «Нового времени»; в 1885—1886 годах — корреспондент в Лондоне. Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1895) — писатель, журналист; первый в России, официально прикомандированный к штабу действующей армии, корреспондент «Правительственного вестника» и автор очерков о русско-турецкой войне в «Русском вестнике».

<sup>3</sup> Корреспонденты Аксакова не установлены.

## 8

### С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

Леонт(ьевский) пер. д. Раузер кв. 10

30 апреля 1885. *Еще Москва,*

«Рады стараться!» мог я воскликнуть по получении Вашего долгожданного письма, добрейший Иван Сергеевич! Только будем ли мы воевать? Кажется, трубят отбой, и наш почтенный друг Никита Петрович<sup>1</sup> уже говорит о Берлинском трактате (впрочем, у англичан Рандольф Черчилл<sup>2</sup> тоже называет поведение Англии Берлинским трактатом!). Я склонен думать, что воевать мы не будем, ибо англичане несомненно умны и увидали в чем дело. Однако, в то время, когда Вы писали письмо, пахло очень войной, и кто знает, когда Вы получите это письмо, быть может, запахнет опять (если повалят Гладстона<sup>3</sup>). Поэтому будем говорить о *наших* военных операциях.

Вы, конечно, сейчас же возобновите «Русь», я, конечно, сейчас же брошу всех Васильевых, плуги и прочее и явлюсь под Ваш стяг. Но!... я задаю себе вопрос — зачем Вам корреспондент с театра войны? Добро бы «Русь» была ежедневной, или по крайней мере с ежедневными приложениями, но для «Руси» еженедельной это совсем по-моему лишний балласт. Пусть гг. Молчановы, Немировичи-Данченки и даже Крестовские преуспевают у гг. Сувориных и врут там (или как говорит Гладстон «*руководствуются собственными взглядами*») без всякой совести, *лишь бы было интересно и легко читалось* (подлинные слова Суворина в его ко мне отеческом наставлении от 1877 года<sup>4</sup>) — такова уж их зоологическая специальность — Тряпичкиных-очевидцев, но Вы знаете, что этот тип «нашего собственного корреспондента» слишком скомпрометирован, чтобы ему было место в «Руси». Да и технически это невыполнимо. Нужен разве особенный *состав* для души и рук подобного корреспондента, чтобы он мог *блестеть* в еженедельной газете. 1) Сила мысли и наблюдения. 2) Сила одушевления и искренности. 3) Краткость и красота языка.

4) Беззаветное служение истине, полное священнодействие. Где же Вы найдете такого человека? В нашей литературе такой тип давно вывелся, а если кто такой и есть, так тому и на Олимпе вакансий довольно, ибо и на этом Олимпе царит величайшая мерзость.

А вот что Вы упомянули о корреспонденте с Запада, с австрийской границы, вот это насущное, кровное дело для «Руси». Все сражения и прочее могут быть чудесно изложены в художественном специальном «обзрении», а вот на западной границе, где ярких событий не будет пока, а будет нечто подпольное, едва уловимое, там нужен человек, и даже не в виде корреспондента, а в виде прямо *agent diplomatique*<sup>5</sup> от газеты, живой кусочек ее души. Ой, сколько животрепещущего можно вынести оттуда, чего и не снилось никаким Молчановым, ни Русским Странникам!<sup>6</sup> Туда нужно ехать *с идеей* и не только корреспондировать, но и *делать* там славянское дело. Нужно во что бы то ни стало поворачивать поляков, силком поворачивать в нашу сторону, вырывать их у Немца. Если б Вы знали, как я был зол на гг. ораторов Варшавского обеда<sup>7</sup> за то, что они упустили случай бросить полякам слово любви и вместе осуждения за их преступное поведение не против нас, а против *самих себя*. Еще больше я был зол на Васильева (ах, какой он каплуи!) за то, что он не напечатал моего окончания к Варшавскому обеду.<sup>8</sup> Посылаю Вам это окончание.<sup>9</sup>

Мне ужасно грустно, дорогой Иван Сергеевич, что во все время моего служения «Руси» ни разу не мог я по душе побеседовать с Вами о польском вопросе. Я знал только одно: что из Вашей славянской души Вы не исключаете поляков; после узнал я из «Дня» (1864), что Вы даже горячо симпатизировали будущности польского народа (по поводу 19 февраля).<sup>10</sup> Я жалею, что Вы не успели узнать моих взглядов и наблюдений по этому делу, а потому к моему полонофильству относились с полным недоверием! Между тем я убежден, что Вы вполне бы одобрили мои чувства и воззрения, ибо они честны и искренни. Я был долго в польском обществе и имел близких друзей в молодежи. У них я нашел то же, что у нас: мы одурели от доктрин и глупого либерализма и не можем их с себя стряхнуть; эта гадость заглушает в нас чувство свежести и любви, делает злыми. У них есть другое: у них туман католичества (которое они — молодежь — так же в душе не уважают, как мы либерализм, ибо и *искренно*) и основанных на нем политических бредней. Стряхнуть этого тумана они не в силах, и этим нравственно больны. И наши и ихние боги давно уже калеки, но их питает зло, нет той могучей любви, которая опрокинула бы этих богов. Когда я был в польском крае, я был еще юнцом, стало быть, при бедности головы мог брать только чутьем, кроме того у меня у самого было вволю тогда всякого тумана, но вот в чем я убедился — в необыкновенном могуществе честного, сердечного порыва, в силе любви; мои поляки после долгих и глупых споров мало-помалу освобождались от своего зла (души-то все были молодые), которое старательно насаждают их мерзавцы-попы, прикрываясь тенью великой Польши (это ужасное оружие!), и показывали и свои сердечные движения. Я видел иную народную душу, чем наша, с иным складом, но прекрасную душу, чудно гармонирующую с нашей. Очистите Вы эту душу и ее можно любить. Здесь Славянский аккорд труднее в тысячу раз наладить, но и прекраснее, и музыкальнее он, чем простенькие, существующие славянские тоны (помните сербов, которые все денег просят?).

Вот в силу чего я искренно ненавижу польские политические шляхетские бредни и польский злой туман. Они больше нашего страдают от него, ибо их общество цельнее, власть кагала крепче. У них не явится И. С. Аксаков с параллельными «Руси» идеями, ибо дисциплина. Но тряхнуть этим туманом ой как можно! Можно так дать по морде этим ихним богам, во имя славянской любви и во имя *настоящего* спасения польского племени, что всколыхнется целое польское общество и сразу заговорят голоса, которым не дает теперь говорить кагал. Я чувствую это всегда и особенно резко почувствовал в последнее путешествие в Одессу по юго-западной дороге, где пришлось сидеть в полном вагоне интеллигентных поляков.



Близка смерть их старых богов, и мы обязаны помочь их добить. Если бы я знал, что будет *такой* обед в Варшаве, я, право, поехал бы с тем, чтобы сказать там политическую речь в духе того, что Вам пишу, и верю, что эта речь произвела бы впечатление. Разумеется, ни уступок, ни заигрываний никаких — неужели Вы в этом усомнитесь?

Однако я отвлекусь, хотя говорю все это, чтобы выяснить роль западного корреспондента «Руси». Если найдете удобным и одобрите мое *направление*, посылайте меня туда, но ненадолго. Я огляжу все и найду Вам там корреспондента.

А затем все-таки, паче всего и прежде всего у Вас и около Вас. Если войны не будет (пожалуй, не будет), Вы раньше сентября «Русь» не возобновите. А тем временем является вот какая комбинация. Т. С. Морозов<sup>11</sup> с компанией собирались было организовать экспедицию в Лодзь, Сосновицы и Варшаву в тамошний мануфактурный район и говорили об этом со мной.<sup>12</sup> Я говорил им, что поеду с удовольствием и сделаю пользу, ибо говорю по-польски *без акцента*, говорю и по-немецки, а также знаю несколько мануфактурное дело. Пусть бы дали мне в помощь специалиста-хлопчатника — прикащика, и я бы им все разузнал. Кстати же подготовил бы кое-что и для «Руси». Они на все согласны, но своей медлительностью и косностью выводят меня из терпения и положительно не сделают ничего без палки. Воздействуйте на них, если можно, а то лето пропадет даром. Мне довольно месяца, чтобы всех увидеть и объехать прусскую и австрийскую границы. Ну скажите, что стоит для этих господ раскошелиться на 500—600 рублей. Как же, дожидайтесь! У них хватило совести назначить мне 50 рублей за секретарство и при этом первый месяц приходилось ездить из Леонтьевского переулка к Морозову за Покровку два раза почти в неделю, так что рублей 15 из этого извел на извозчиков. Но, впрочем, Господь с ними. Я не жалуюсь; они говорят, что увидят мою работу: но какой же им работы, коли они сами ничего не хотят делать; если б Вы знали, о каких пустяках в организации отделения толковали они, да как толковали? — все лысины в поту, словно невесть какое государственное дело!...

Радуюсь, что Вы здоровы, сожалею, что не упомянули о здоровье Анны Федоровны. Надеюсь, что ее лихорадка прошла. Купаться, вероятно, и не начинали? Пожалуйста, дорогой Иван Сергеевич, не поленитесь в день Вашего выезда, а еще лучше *за день* послать мне телеграммочку о дне *прибытия* Вашего в Москву по следующему адресу:

Мещерск, Московско-Брестской — Шарапову

Прошу Вас телеграфировать в деревню, ибо не знаю еще, где буду к 15 мая, но если в Москве, то телеграмму передадут мне сюда в тот же день, и я непременно постараюсь Вас встретить. О многом накопилось у меня с Вами поговорить, радуюсь Бог знает как тому доверию, которым Вы меня подарили, и надеюсь вполне его оправдать.

Преданный Вам всей душой

С. Шарапов.

Р. С. Воейков очень хлопочет о влитии новой жизни в *Голос Москвы* и недавно послал ко мне Цветкова<sup>13</sup> (знаете Вы сие ископаемое?) с целью создать триумvirат из нас под своей эгидой. Толковали мы с Цветковым, но он утверждает совершенно справедливо, что *Голос* безнадежен, а у него есть идея основать торгово-политическую еженедельную газету «Охрана».<sup>14</sup> Вымолвил он это слово и сразу заразил воздух.....

Р. С. Читали Вы мою статью о дворянстве<sup>15</sup> (в № 108)? Она сильно испорчена и где — Вы догадаетесь — где заметно кастрирование редакторским ланцетом \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) — редактор газеты «Современные известия». Речь идет о его «Дневном обозрении», посвященном идее предоставления улаживающей англо-русского конфликта международному третейскому суду. Приведем большой фрагмент статьи: «...Мистер Гладстон говорит в парламенте иное: он объявил палате, что когда начнутся в Лондоне совещания, то будет обсужден вопрос и о том, „не должны ли быть отодвинуты передовые посты русских войск“. Это лишь деликатный способ выражения, а в сущности это означает (...) вот что: что из уважения к неудовольствию Англии, русские войска подадутся назад, не дожидаясь даже размежевания. Об афганских войсках британский премьер умалчивает. Но пустого места нельзя же оставить; афганцы поубрались, до Герата чисто. Следовательно выражение мистера Гладстона означает, что русские войска добровольно сойдут со своих позиций, из которых между прочим одна куплена кровью; а на место русских придут афганские, разбитые и прогнанные. И это еще ранее фактического разграничения! Если слова мистера Гладстона действительно то означают, чем они кажутся, то его можно поздравить с победою, которой он (...) и ожидать не смел: получилось повторение Берлинского конгресса, в других размерах, конечно: Россия также отдаёт себя под суд, и русские войска также повергаются к ногам неприязненной дипломатии плоды своей победы. Воображаем, если так, какое пойдет хвастовство и в печати английской и в палатах; повторится нахальное слово, сказанное тогда в палате Биконсфильдом ли или Салисбюри: „мы сказали: ни шага далее! и Россия остановилась“. Теперь видеоизменяет похвальбу: „мы сказали: *назад!* и Россия отступила“» (Современные известия. 1885. 28 апр. № 99. С. 2). «Берлинским трактатом» завершилась русско-турецкая война 1877—1878 годов. События весны 1885 года Аксаков воспринял как очищение от позора и «деморализующего воздействия» Берлинского трактата. Об этом он написал в передовой от 17 августа, подводящей политические итоги полугодия, когда не выходила «Русь»: «...Берлинский трактат — это нравственное падение России как государства, и непосредственным его результатом было совершенное ослабление доверия к административному Петербургу. (...) внезапное проявление в правительстве достоинства и твердости по отношению к Англии, точно электрическая искра, пробежавшая по всему нашему организму, тотчас же оживило и придоняло дух (...)». Даже перспектива войны никого не смугтила» (Русь. 1885. 17 авг. № 7. С. 2).

<sup>2</sup> Черчилль Рэндольф (1849—1895) — граф, английский политический деятель; в кабине Солсбери (сменившем Гладстона весной 1885 года) стал статс-секретарем по делам Индии.

<sup>3</sup> Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 годах.

<sup>4</sup> В 1877 году Шарапов посылал корреспонденции с Балкан в газету «Новое время».

<sup>5</sup> Дипломатического агента (*фр.*).

<sup>6</sup> Русский Странник — псевдоним публициста Евгения Львовича Кочетова (1845—1905), которым подписаны его корреспонденции из Польши, печатавшиеся в «Новом времени» с лета 1884 года.

<sup>7</sup> Обед в варшавском Русском Собрании, «данный в честь идеи всеславянской» 22 апреля 1885 года. См.: Варшавский дневник. 1884. 23 апр. (5 мая). № 92. С. 1—2.

<sup>8</sup> В «Голосе Москвы» появилась перепечатка из «Варшавского дневника»: Славянский обед в Варшаве // Голос Москвы. 1885. 1 (13) мая. № 118. С. 11—12.

<sup>9</sup> Местонахождение рукописи неизвестно.

<sup>10</sup> Речь идет о передовой «Москва 5 марта» (День. 1864. 5 марта. № 9. С. 1—3). «Развитию польской народности положено на днях *Россией* такое новое широкое основание, которого до сих пор не могла выработать вся тысячелетняя история Польши. Четыре указа, изданные 19 минувшего февраля (...) об устройстве крестьян в Царстве Польском, вносят новую историческую идею, вводят новый элемент в политическую и общественную жизнь Польши (...) элемент престолярный или крестьянский. (...) Не имя только польского народа воскрешает теперь Россия, но, расчищая от наносных слоев непочатые, глубоко сокрытые в почве, свежие родники польского народного духа, упочищает самое бытие польской народности, которому безумная, выродившаяся польская шляхта грозила искажением и извращением, гибелью и смертью...» (Там же. С. 1). «День» 1864 года Шарапов читал, готовя подборку высказываний Аксакова о русском дворянстве. См.: И. С. Аксаков о дворянстве // Голос Москвы. 1885. 21 апр. (3 мая). № 108. С. 1—2; 23 апр. (5 мая). № 110. С. 1—2.

<sup>11</sup> См. прим. 25 к письму Шарапова от 29 марта 1885 года.

<sup>12</sup> Дело было улажено только в начале июня. Экспедиция в Лодзинский и Сосновицкий округа состоялась в июне-июле 1885 года. Шарапов должен был «собрать на месте некоторые статистические сведения, касающиеся непомерного развития там иностранной промышленности, которая за последнее время, благодаря исключительным местным и законодательным условиям, стала сильно теснить промышленность Московского и Владимирского округов» (Русь. 1885. 31 авг. № 9. С. 7). См. также прим. 11 к письму Аксакова от 15 июля 1885 года.

<sup>13</sup> Цветков К. В. — секретарь редакции «Русского вестника» в 1870-е годы.

<sup>14</sup> Замысел не состоялся.

<sup>15</sup> Речь идет о передовой статье (Голос Москвы. 1885. 21 апр. (3 мая). № 108. С. 1—2), посвященной 100-летию юбилею жалованной грамоты дворянству. Шарапов связывал этот исторический документ с «земской» проблемой: «Актом мудрой Государыни положены сто лет

назад основания русской сословной организации и начала местного самоуправления» (С. 1). Сам манифест был перепечатан в «Голосе Москвы» накануне юбилея. См.: Грамота на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства, данная 21 апреля 1785 года // Голос Москвы. 1885. 20 апр. (2 мая). № 107. С. 1—2. Кн. В. П. Мещерский вспоминал, что в преддверии этого юбилея «среди московского и петербургского дворянства возбуждался вопрос о представлении Государю адреса с изложением желаний дворянства» (Князь Мещерский. Воспоминания. С. 561). (Перечисление этих «желаний» см.: Там же. С. 561—562.)

## 9

С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

2 мая 1885 (года). Москва.

Добрейший Иван Сергеевич!

В дополнение к моему письму от 30 апреля могу Вам сообщить, что если паче чаяния война будет и если Вы все-таки пожелаете отправить туда *our own*,<sup>1</sup> таковой имеется в виде нашего сотрудника Ив. Ив. Зарубина,<sup>2</sup> исколесившего довольно среднюю Азию. Чтобы дать Вам о нем понятие, укажу на его фельетон в № 119 *Голоса Москвы*.<sup>3</sup> Он пишет недурно, азиатов знает, доктор медицины, литератор, ну а еще... что бишь еще? Наивен как дитя (по части политики). К нему, когда он читает газеты, можно приложить стих:

«Для Вас ведь камни эти немы!»

но по части изложения мастер и факты будет описывать художественно.

Но... знаете ли Вы, какая цена сему товару? *Пятьсот рублей в месяц и десять коп. от строки*. Цены сии установлены еще Сувориным<sup>4</sup> и К°. Еженедельной газете платить эту сумму денег немислимо. Есть еще вот какая комбинация. «Русь» может вступить в компанию с... напр., с «Петербургскими Ведомостями»,<sup>5</sup> и тогда на нашу газету падет около 1/3 этого жалованья. Но я предвижу здесь некоторые неудобства. Вы, конечно, этого не пожелаете. Впрочем, ведь спрос не беда!

Натурально при этом *our own* должен быть препровожден и туда и обратно на счет редакции, что составит 300 руб. в один конец.

Если даже и не будет войны, услугами Зарубина, если желаете, «Русь» может пользоваться. Посему сочту долгом представить Вам сего юношу, когда захотите.

---

*Варсонофий Максимов* прислал 2-е письмо о церковных делах, которое Васильев совершенно не может печатать.<sup>6</sup> Вот что доказывается там:

Старообрядческая иерархия<sup>7</sup> несомненно церковно-апостольская, благодатная, но не правая, как бы незаконная (извне). Одному архиерею никто не мешает рукоположить другого в архиереи, и это рукоположение будет благодатным. Если тот или другой уклонился от истины, церковь может лишить его внешних церковных прав, признать незаконным, но не в силах лишить благодати, которая в свою очередь передается далее по апостольскому преемству.

*Пример:* бабка крестит ребенка — крещение действительно, но не церковно, не право, а только благодатно.<sup>8</sup> *Пример:* священник, совершающий евхаристию после принятия пищи: Евхаристия незаконна, но тоже благодатна (для мирян, а ему во осуждение). *Пример:* Ребенок, родившийся вне брака, незаконен; но факт, что он человек — полный.

Такова и старообрядческая иерархия. Она идет от греческого епископа, рукоположившего Амвросия,<sup>9</sup> и несомненно полно-благодатна. Церковь может отрицать право, но не смеет называть поповское согласие *безблагодатным*. Это было упущено оо. собеседователями в д. Шумова.<sup>10</sup> Но это признание сразу поставило бы спор на иную почву и кончило *злобу*.

Таково содержание статьи. Она написана очень увлекательно. Печатать ее, разумеется, нельзя, страха ради синодска. Я сообщаю это Вам просто как интересную мысль. Увы! Сам я ничего не могу сказать по этому поводу вследствие моего полного невежества в самом существе дела.

Сейчас приехал Воейков. Он едет из деревни в Петербург. Я сообщил ему только, что Вы будете около 15 мая в Москве.

Снова и убедительно прошу Вас, дорогой Иван Сергеевич, телеграфировать мне о дне приезда в Москву.

Просит передать Вам поклон Ваш старый работник Н. А. Ганчеков, бывший у Вас корректором все время в «Москве» и «Москвиче».<sup>11</sup>

Прошу Вас от меня передать поклон Анне Федоровне.  
Искренно Вам преданный

С. Шарапов.

<sup>1</sup> Нашего собственного [корреспондента] (англ.).

<sup>2</sup> Зарубин Иван Иванович (? — после 1917) — врач, публицист, издатель. В «Голосе Москвы» печатались его записки о путешествии в Туркестан «По белу свету (Из воспоминаний путешественника)» (1885. 6 (18) марта. № 65. С. 1—2; 16 (28) марта. № 75. С. 1—2; 31 марта (12 апр.). № 87. С. 1—2; 9 (21) апр. № 96. С. 1—2; 12 (24) апр. № 99. С. 1; 13 (25) апр. № 100. С. 1; 16 (28) апр. № 103. С. 1; 17 (29) апр. № 104. С. 1—2). В августе 1885 года (с конца мая газета была приостановлена) Зарубин стал издателем «Голоса Москвы» (Васильев оставался редактором), а со 174-го номера — издателем-редактором, превратившим газету в близкий и заурядный орган и поведшим дела так, что «Голос Москвы» в 1886 году закончил свое существование. Н. В. Котрелев писал об этом превращении: «„Голос Москвы“ стал другой газетой. Всякая тень серьезности покинула его, все затопило бульварное чтиво, а церковный отдел просто исчез» (Котрелев Н. В. Указ. соч. С. 157). В начале 1890-х годов Зарубин переехал в Петербург, где стал практикующим врачом. В 1894—1899 годах он издавал популярный журнал «Будьте здоровы!», а в 1900 году — журнал «Здоровье» с рядом бесплатных приложений к нему.

<sup>3</sup> Зарубин Ив. Вперед или назад? // Голос Москвы. 1885. 2 (14) мая. № 119. С. 1—2. Темы этой статьи: временное политическое затишье и толки о войне с Англией.

<sup>4</sup> Шарапов, по-видимому, вспоминает собственные условия с издателем «Нового времени».

<sup>5</sup> Газеты в то время часто нанимали одного корреспондента. Об этом в сентябре 1882 года писал Т. И. Филиппову Н. П. Гиляров-Платонов (РНБ. Ф. 847. Ед. хр. 496. Л. 5—6).

<sup>6</sup> Статья Вл. Соловьева утрачена. Поводом к ее написанию стали московские собеседования со старообрядцами. Отчеты об этих собеседованиях (со стенограммами прений) регулярно помещались в «Голосе Москвы». См.: Котрелев Н. В. Указ. соч. С. 148—149. См. также прим. 10.

<sup>7</sup> Белокриницкая старообрядческая иерархия, установленная в 1846 году.

<sup>8</sup> Крещение, совершенное, в случае нужды, мирянином, должно быть восполнено совершением таинства миропомазания и воцерковлением.

<sup>9</sup> Амвросий, митрополит Боснийский, отставленный с кафедры Вселенским Патриархом, стал старообрядческим митрополитом Белокриницким. Т. И. Филиппов писал о нем: «Поповское согласие сманило к себе в 1846 г. недостойного православного митрополита и способами, всем известными, восстановило в своей среде, через сего странного священноначальника, высшую иерархическую ступень, которой ему недоставало и которая явилась источником нужного для сего согласия священства» (Филиппов Т. И. Современные церковные вопросы. СПб., 1882. С. 245—246).

<sup>10</sup> В собеседованиях, проходивших в доме И. С. Шумова на Таганке, участвовали епископ Михаил Можайский и московские священники В. Каптерев, И. Виноградов, И. Звездинский (отец епископа Серафима Звездинского), И. Петров и др.

<sup>11</sup> «Москва», «Москвич» — газеты, издававшиеся Аксаковым в 1867—1868 годах. Сведений о Н. А. Ганчекове не имеем.

## 10

С. Ф. Шарапов — И. С. Аксакову

2 июня 1885 (года).

Почт(овая) ст(анция) Рославец,  
Смол(енской) Губ(ернии)

Добрейший Иван Сергеевич!

Спасибо Вам! Письмо Ваше воздействовало. Сердце Тимофея<sup>1</sup> смягчилось, и он решил окончательно послать меня в Лодзь. Я представил ему очень полную программу вопросов, которую ужасно хотелось бы показать Вам. Затем хочется зайти к Вам, чтобы переговорить о политической стороне дела, да кстати надо увидеть М. Г. Черняева<sup>2</sup> и взять у него инструкцию насчет наблюдений военного свойства. Пусть по крайней мере не даром съезжу.

Можно будет побывать у Вас 11-го, или 12-го. Найду ли Вас и где: на даче, или в Москве? Только эти дни и свободно. А. Ф. мой поклон.

Преданный Вам

С. Шарапов.

<sup>1</sup> Речь идет о Т. С. Морозове.

<sup>2</sup> М. Г. Черняев приехал в Москву 24 мая 1885 года, «остановился в собственном доме, в Гранатном переулке» (Голос Москвы. 1885. 25 мая (6 июня). № 141. С. 2). В Гранатном переулке размещалась и контора «Руси» (в доме кн. Урусова).

## 11

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

(5 июня 1885 года)

Я думаю, любезнейший Сергей Федорович, что Вы вернее всего застанете меня на даче, 12 июня, выехавши из Москвы в 12 ч. 15 м. и возвратившись в Москву к 7 час(ам) вечера (по жел(езной) д(ороге)). Впрочем, лучше всего справиться Вам накануне в Конторе «Руси». Не вижу никакой надобности брать от М. Г. Черняева инструкций по военной части. Он совсем не знаком с Западною нашею границей. У меня по этой части есть там свои люди. Да и дело это «секретное», а как вверять секреты человеку столь юному сердцем, что он не может писать на простой почтовой бумаге, как наш брат, человек зрелый, а украшает ее затейливым рисунком своего имени и отчества!<sup>1</sup> Не мог я не рассмеяться новой штуке, явленной Вами в Вашем письме! А еще хотите, чтоб я чуть не совсем передал Вам «Русь», да с своим именем!

Для маленького почтового листочка Ваша буква *Ш* слишком крупна, а потому и не красива, да и читается: «Шарапов Федорович Сергей»! До свидания.

В(аш) Ив. Акс(аков).

5 июня 85.

С. Спасское

<sup>1</sup> Речь идет об именном бланке, на котором было написано письмо Шарапова.

## 12

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапов

(15 июля 1885года)

От души благодарю Вас за письмо,<sup>1</sup> любезнейший Сергей Федорович (разумею письмо большое, содержащее разговор с Свентоховским<sup>2</sup>). Я о нем уже слышал. Очень много верного он говорит, но увлекаться этим очень не следует. Где для нас гарантия их искренности? *Nous sommes payés pour ne pas leur croire.*<sup>3</sup> Возродили имя Польши, дали им Конституцию и войско... Измена! Бунт!<sup>4</sup> В 1862 г. опять бунт!<sup>5</sup> Закордонная печать бунтует и теперь. Партия Свентоховского — наверное, партия, ищущая сближения с крайними нациями<sup>6</sup> и хохломанами, федералистами и сепаратистами.\* Думаю, что массе народа она так же чужда, как чужд народу вообще атеизм. Во всяком случае это очень интересно; жду от Вас продолжения. Ни Павлова,<sup>7</sup> ни Самарина<sup>8</sup> нет теперь в Москве и возвратятся они не скоро.

А что же готовите вы к 1-м(у) № «Руси»? Мне вот нужно бы статью против отмены оброчной подати с Государств(енных) крестьян и замены ее выкупными платежами!<sup>9</sup> Нужно бы статью относительно новых питейных правил.<sup>10</sup>

Нельзя ли от той работы, которую Вы готовите по поручению Общества, Вас пославшего, выделить что-нибудь мне?<sup>11</sup>

Я посылаю Вам 100 р., однако ж вовсе не для того, чтоб облегчить Вам сотрудничество у Васильева, который, впрочем, еще не возвестил, когда начинает новую свою газету.<sup>12</sup>

Я полагаю, что Щебальский<sup>13</sup> мог бы с своей стороны многое Вам уяснить и составить некоторый противовес — или контрфорс Вашей способности увлекаться.

Письмо о Свентоховском удерживаю пока у себя.

Ваш Ив. Аксаков.

15 июля 85.

\* От одного из хохлов я и слышал о Свентоховск(ом).

<sup>1</sup> Местонахождение письма нам неизвестно.

<sup>2</sup> Свентоховский Александр (1849—1938) — польский писатель, драматург, публицист, общественный деятель; с 1881 года издавал еженедельник «Prawda».

<sup>3</sup> Нам заплатили, чтобы мы не верили (фр.).

<sup>4</sup> Речь идет о польском восстании 1830—1831 годов.

<sup>5</sup> Подразумевается восстание 1863 года.

<sup>6</sup> Газета «Русь» постоянно следила за «украинофильским» движением. См., напр.: Г. Кулиш и «украинофильство» // Русь. 1884. 1 февр. № 3. С. 47—50; Пуле М., де. Украинофильство в его позднейшей формации // Русь. 1884. 1 марта. № 5. С. 36—41; 15 марта. № 6. С. 21—28; 1 апр. № 7. С. 19—25.

<sup>7</sup> Павлов Николай Михайлович (1835—1906) — публицист, критик, беллетрист, сотрудник аксаковских изданий «День», «Москва», «Русь».

<sup>8</sup> Самарин Дмитрий Федорович (1831—1901) — младший брат Ю. Ф. Самарина, публицист, общественный деятель.

<sup>9</sup> В первом по возобновлению номере «Руси» Аксаков напечатал письмо о законе 28 мая 1885 года из Белгорода: *Н. Бл.* Оброк или выкуп? Письмо к редактору из провинции // Русь. 1885. 17 авг. № 7. С. 9—11. «Начала выкупной операции, столь неумело проведенные Общим Положением в молодую жизнь крепостного населения, проводятся наконец и в жизнь государственных крестьян. Радоваться нечему! По счету это уже вторая попытка расшатать русскую общину, а с ней и всю организацию деревни. Первая сделана была в 1866 году Положением о бывших государственных крестьянах» (С. 10).

<sup>10</sup> Шарапов не написал статьи об измененном весной 1885 года «питейном уставе». Вместо него это сделал постоянный корреспондент «Руси» и «Современных известий» (позднее перешедший и в шараповское «Русское дело») единоверец из с. Вичуга Александр Федорович Морокин. См.: Морокин А. О новом питейном уставе // Русь. 1885. № 7. С. 6—9. По мнению автора статьи, новыми правилами «дан полный простор спаивать народ на все манеры» (С. 6).

<sup>11</sup> С 31 августа в «Руси» печаталась статья Шарапова «Из экскурсии к западной границе. Листки из записной книжки» (Русь. 1885. 31 авг. № 9. С. 7—10; 7 сент. № 10. С. 7—10; 21 сент. № 12. С. 12—14; 5 окт. № 14. С. 6—10; 26 окт. № 17. С. 11—13; 23 нояб. № 21. С. 9—12). Особым прибавлением к № 25 «Руси» (21 декабря) была издана лекция Шарапова, в которой анализировались итоги его поездки: Почему Лодзь и Сосновицы побеждают Москву? Публичная лекция, читанная в Москве 1-го и 8 декабря в зале Городской Думы и 15 декабря в г. Иваново-Вознесенске секретарем Московского Отделения Общества для Содействия Русской Промышленности и Торговле С. Ф. Шараповым. М., 1885. Существует отклик на эту работу: По поводу брошюры С. Ф. Шарапова. Лодзь, 1886. См. также: *Шарапов С.* Речь о промышленной конкуренции Лодзи и Сосновиц с Москвою // *Шарапов С. Ф.* Сочинения. Кн. I. С. 70—93.

<sup>12</sup> Это намерение не осуществилось.

<sup>13</sup> Щебальский Петр Карлович (1810—1886) — публицист, историк, сотрудник «Русского вестника».

## 13

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

(18 июля 1885 года)

Вот что мне пришло в голову, любезнейший Сергей Федорович, перечитывая Ваш разговор с Свентоховским. Предложите ему и его единомышленникам, жалуюсь на местную русскую цензуру, присылать статьи ко мне, хоть по-польски.<sup>1</sup> Я буду их помещать в переводе, — конечно, с примечаниями редакции, если потребуются.

Сейчас слышал, что Асаф Баранов<sup>2</sup> беспокоится о судьбе своего техника. Вы встревожили Баранова телеграммой с вопросом: где же его техник. Он отвечал, что техник в той же гостинице, где и Вы, но эту телеграмму Баранову возвратили за выездом адресата. Он и не знает, обрелся ли техник и где он и Вы.

Ваш Ив. Аксаков.

18 июля

85

<sup>1</sup> В передовую от 31 августа Аксаков включил и сопроводил своими пояснениями письмо «одного поляка, не принадлежащего ни к партии белых, ни к партии фанатиков католицизма, нисколько не пылающего симпатиями к России, но однако ж пришедшего к убеждению, что ввиду невозможности самостоятельного существования Польши, лучше уже для последней искренно соединиться с Россией, при сохранении своей польской национальности, чем с немцами, которые их проглотят» (Русь. 1885. 31 авг. № 9. С. 3).

<sup>2</sup> Баранов Асаф (Иоасаф) — московский промышленник, инженер-технолог, основатель Соколовской мануфактуры, мануфактур-советник, председатель Александровского уездного училищного совета.

## 14

И. С. Аксаков — С. Ф. Шарапову

(26 июля 1885 года)

В письме, не дошедшем до Вас, любезнейший Сергей Федорович, я писал Вам следующее:

Предложите Свентоховскому и лицам их партии писать статьи; хоть по-польски, прямо в «Русь», под псевдонимами, пожалуй, если бояться выставить имена. Я буду их помещать в переводе, разумеется, со своими примечаниями и возражениями.

Затем писал я Вам еще о том, что Асаф Баранов, получивший от Вас депешу с вопросом: «где же техник?», отвечал Вам телеграммой же, что он там же, где Вы, в Саксонской Гостинице. Но телеграмму ему возвратили за выездом адресата, и затем он не имел сведений: сошлись ли Вы с техником, где Вы, что Вы, и присылал, через

Васильева, ко мне узнать — не известно ли мне что-нибудь про Вас. Я советовал Вам телеграфировать или написать Асафу.

Письмо Ваше получил.<sup>1</sup> Приезжайте не позднее 7 или 8-го. Цифровую работу Вашу дайте ко мне.<sup>2</sup> Работы будет Вам много.<sup>3</sup>

Ваш Ив. Аксаков.

26 июля 85

<sup>1</sup> Местонахождение нам неизвестно.

<sup>2</sup> См. прим. 11 к письму от 15 июля 1885 года.

<sup>3</sup> Шарапов вновь возглавил экономический отдел «Руси». В том же номере, где была начата публикация большой статьи об экспедиции в Польшу, был помещен отклик на январскую статью Шарапова (Талицкого), сопровождаемый его примечаниями: *Рымкевич А.* По поводу статьи г. Талицкого: «Высокий курс и высокий процент». С примечаниями Талицкого // Русь. 1885. 31 авг. № 9. С. 15—16. Полным именем были подписаны статьи: «Экономические заметки» (12 окт. № 15. С. 9—10; 9 нояб. № 19. С. 8—10), «Законы ли виноваты? По поводу шестого „Письма из деревни“ г-на Гласного от крестьян» (2 нояб. № 18. С. 10—12), «Опись селения Соновки» (30 нояб. № 22. С. 15). Возможно, ему принадлежат и «Экономические заметки», вышедшие без подписи (21 дек. № 25. С. 3—5; 1886. 4 янв. № 27. С. 13—14; 11 янв. № 28. С. 8—10). Под псевдонимом «Талицкий» Шарапов опубликовал статьи: «Что нужно прежде всего для нашего экономического возрождения?» (7 сент. № 10. С. 1—3; 21 сент. № 12. С. 4—6), «Об избыточности для нас войны в экономическом отношении» (6 дек. № 23. С. 9—11; 14 дек. № 24. С. 9—13), «Государственная роспись 1886 года» (1886. 11 янв. № 28. С. 4—6; 18 янв. № 29. С. 7—9; 25 янв. № 30. С. 4—7).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

С. Ф. Шарапов

### ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ БЕЗ ПОДПИСИ\*

Я читаю в деревне газеты и отказываюсь верить своим глазам. Да неужели же правда, что готовится война с Англией? Не сон ли это, или здравый смысл ушел одинаково из Лондона и из Петербурга?<sup>1</sup>

Тон газет как наших, так и английских, сделался зловецим. Так говорят только перед войной.<sup>2</sup> Озlobляется публика, это озlobление захватывает самых мудрых государственных людей, и в конце концов происходит совершенно нечаянно разрыв, и вот война готова!

Как настоящий и независимый притом русский человек, верующий в наше право и нашу силу,<sup>3</sup> я буду сочувствовать войне, которая имеет какую-нибудь цель, какой-нибудь смысл. Я не буду сантиментальничать à la Виктор Гюго и, конечно, предпочту всегда честную войну позорным и трусливым уступкам. Но, признаюсь вам, войны с Англией я не понимаю. Не понимаю ни ее цели, ни ее причин, не вижу даже тени того серьезного хотя бы в отдаленном будущем повода, который бы мог столкнуть кита со слонем и вызвать борьбу. Посмотрим, в самом деле.

В чем причина войны? Англия боится за свою Индию и хочет создать себе в Афганистане известные условия безопасности. Мы, с своей стороны, во имя нашего государственного интереса должны найти законную и естественную границу на востоке, обезопасить свою Индию — Среднеазиатские наши владения. Да разве эти

\* Текст публикуется по автографу: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед.хр. 686. Л. 7—10. В примечаниях приводятся варианты редакторской правки по тексту первой публикации: Голос Москвы. 1885. № 67. 8(20) марта. С. 1—2. Приводим лишь важнейшие разночтения, оставляя в стороне изменение порядка слов, замену знаков препинания и т. п.

<sup>1</sup> Не сон ли это?

<sup>2</sup> Далее вставка: Известно, как это бывает.

<sup>3</sup> Как русский человек, верующий в наше право и сознающий нашу силу.



справедливые и законные с обеих сторон требования так уж несовместимы? Разве нужны непременно *позорные уступки*, на которые мы не можем пойти? Разве недостаточно одной искренней доброй воли, чтобы отлично размежеваться в Азии. Пусть Афганистан останется, как и было умно предложено, — буфером между двумя государствами.<sup>4</sup> Русский и Английский резиденты могут спокойно и дружески проживать в столице эмира. К северу наше, к югу английское, посредине нейтральная полоса. Все это так просто и ясно, что драться окончательно не из-за чего.

Другой вопрос в том: что принесет эта война обеим воюющим сторонам? Разберем это беспристрастно, и мы увидим следующее.<sup>5</sup>

Во-первых, Россия. Она без всякого сомнения потеснит сразу же Англичан в Средней Азии, немедленно и без больших потерь займет весь Афганистан, перевалит в случае надобности дальше и возмутит целую Индию, стонущую под английским владычеством.<sup>6</sup> В этом, повторяю, не может быть *никакого сомнения*, ибо мы располагаем такими силами, которых Англия, быть может, и не подозревает и о которых, разумеется, здесь не место распространяться.

Ну, а дальше? Англия, бессильная на суше, нанесет нам серьезный вред кругом на всех морях. Если ей и не удастся разрушить наших приморских городов и крепостей,<sup>7</sup> то она может уничтожить наш военный и торговый флот, отрезать<sup>8</sup> блокадой всю нашу морскую торговлю и отрезать нас от всякого сообщения с Европой иначе, как через западную сухопутную границу, т. е. выдать нас с этой стороны на милость и немилость немцев, так как понятно, что Германия, Австрия и Румыния есть в сущности одна Пруссия.<sup>9</sup>

Вред, могущий быть нанесенным<sup>10</sup> нам, очень велик, но Россия без всякого сомнения останется все той же Россией. Но посмотрим, чем рискует Англия?

А вот чем: во-первых, при первом же движении русских войск за Парапамиз, Индия восстает вся до последнего Раджи и выбрасывает англичан в море.<sup>11</sup> Во-вторых, австралийские и американские колонии Англии, связанные с Метрополией<sup>12</sup> только обращающимися там английскими капиталами, могут легко проделать то же, что и Северо-Американские Штаты сто лет назад. Австралия образует независимую группу, Канада естественно сольется с Соединенными Штатами. Великобритания останется одна, но кто поручится, что, пользуясь внутренними затруднениями, не восстанут ирландцы?

Итак, в результате выйдет следующее: столкновение двух мировых держав, владеющих ныне по крайней мере восточным полушарием безраздельно<sup>13</sup> и вполне заинтересованных в спокойном и прочном владении — ослабит одну из них и умертвит другую. Пользы никакой ни для одной из этих держав, нельзя даже и предполагать, ибо это немыслимо. Россия не выиграет ничего, хотя бы даже она заняла и всю Индию, про Англию нечего и говорить.

Кому же будет польза от этой войны, для кого она нужна, кто пожнет ее плоды?

Смею думать, что единственно и исключительно для Германии.

<sup>4</sup> как и было в свое время умно предложено, — буфером между двумя империями.

<sup>5</sup> Другой вопрос: что принесет эта война обеим воюющим сторонам? Разберем беспристрастно, и увидим следующее.

<sup>6</sup> возмутит всю Индию, стонущую теперь под английским владычеством.

<sup>7</sup> Далее: защитить их есть возможность, —

<sup>8</sup> остановить

<sup>9</sup> представляют собой в сущности одну Пруссию.

<sup>10</sup> который может быть нанесен

<sup>11</sup> Индия восстанет вся до последнего раджи и выбросит англичан в море получше, чем это было в 1857 году. (См. также статью без подписи, возможно принадлежащую Шарапову: Индия // Голос Москвы. 1885. 13(25) марта. С. 1—2. — О. Ф.).

<sup>12</sup> с своею метрополией

<sup>13</sup> почти безраздельно

Вглядитесь в ее мировую роль. Ей тесно рядом с Англией, еще более тесно рядом с Россией. Ей необходимо, она почти доросла до степени третьей мировой державы восточного полушария,<sup>14</sup> но она не может стать таковой. На море ей мешает Англия, на суше Россия.

Англия уступила правда несколько пунктов земного шара Германии,<sup>15</sup> но разве же это колонии? Это сравнительно наименее удобные островки и берега, на которые англичане<sup>16</sup> почти и не лъстились. А большего нынешняя Англия не даст, ибо это было бы равносильно самоотречению. И она в эту минуту достаточно сильна, чтобы не дать.

Россия делала уступки другого рода более существенные. Она допустила Германию мирно завоевать Австрию, согласилась смотреть сквозь пальцы на движение германского элемента на юг, отказалась на время от славян и Константинополя. В экономическом отношении она дает немецкой промышленности прекрасный рынок, выгодно помещает массу немецких капиталов, дает огромный заработок немецким гаваням и железным дорогам.

Но увь! Это только любезности, это даже не уступки;<sup>17</sup> русская политика может измениться, и все, что отдано здесь Германии, может быть взято так же легко обратно. Россия не связана ничем! Мало того, может быть, положен серьезный предел<sup>18</sup> Германизации Привислинского края, юго-западных губерний, могут, наконец, быть сразу прекращены всякие розовые иллюзии в Эсто-Латвийских губерниях.

Как бы ни были дружественны и любезны по внешности отношения двух стран, в глубине этих отношений лежит трагический элемент. Если мы возьмем только одно западное и южное Славянство, то уже и здесь не может быть решения в смысле и Россия и Германия, наоборот, может быть только *или* Россия, *или* Германия. И в Германии это чувствуют<sup>19</sup> лучше, чем у нас.

Война России с Англией сделает для Германии все — мало того, создаст самую Германию, не нынешнюю, а будущую, возведет ее в сан третьей мировой державы, для которой пока еще нет места. На плечах живой России и на трупе мертвой Англии воздвигнется новая сила, гораздо более могучая, чем сама Англия.<sup>20</sup>

Таково, по-видимому,<sup>21</sup> предопределение истории, но, быть может, оно и не безапелляционно! Ведь история все же делается людьми. Ведь и самый ход истории резко изменяли такие гении,<sup>22</sup> как Наполеон I. Ведь и здесь приговор истории возможен<sup>23</sup> лишь тогда, когда мы, т. е. Россия и Англия, возьмемся его исполнить.

Так или иначе, но война Англии с Россией есть выход и спасение<sup>24</sup> для Германии. Она должна устраивать и готовить эту войну, это обязанность ее государственных людей, и как кажется, обязанностью этой они успели<sup>25</sup> проникнуться. Обвинять их<sup>26</sup> было бы несправедливо...<sup>27</sup>

<sup>14</sup> Далее: ей хочется, ей необходимо,

<sup>15</sup> Англия уступила, правда, Германии несколько точек на земном шаре

<sup>16</sup> Далее: раньше

<sup>17</sup> Далее: ибо они не оформлены

<sup>18</sup> Далее: даже

<sup>19</sup> Далее: и понимают

<sup>20</sup> и на раздавленном теле Англии воздвигнется новая сила, гораздо более могучая, чем нынешняя Британия.

<sup>21</sup> может быть

<sup>22</sup> Ведь и самый ход ее резко изменяли иногда такие гиганты

<sup>23</sup> Ведь и здесь этот приговор будет приговором

<sup>24</sup> освобождение

<sup>25</sup> Далее: давно

<sup>26</sup> Далее: за это

<sup>27</sup> В автографе зачеркнуто: Другое дело — давать себя обманывать, не защищать своего интереса

Но также несправедливо было бы обвинять и нас, если, поняв и оценив положение и те опасности, которые оно заключает, мы станем твердо на страже русско-го интереса, в данном случае противоположного немецкому, и если в то же время разъясним<sup>28</sup> положение и перед Англией.

<sup>28</sup> мы разъясним

© С. Н. Доценко (Эстония)

## К ПРОБЛЕМЕ ДЕШИФРОВКИ ОДНОГО АНЕКДОТА ИЗ МЕМУАРНОЙ КНИГИ А. РЕМИЗОВА «КУКХА»

Писатель А. Ремизов имел репутацию шутника, выдумщика, мистификатора. Причем шутил и мистифицировал он как в жизни (в литературном быту),<sup>1</sup> так и в своем мемуарном творчестве.

Если житейские мистификации довольно быстро раскрывались (чему немало способствовал сам Ремизов), то его мистификации в текстах мемуарного характера, увековеченные на бумаге и освященные авторитетом самого жанра воспоминаний (мемуары имеют, так сказать, презумпцию «правдивости», «истинности»), зачастую остаются нераскрытыми. Отчасти это объясняется и вполне объективными причинами: трудно проверить достоверность того или иного факта в силу отсутствия свидетельств возможных участников или очевидцев случившегося.

В ситуации с Ремизовым историк литературы должен быть особенно осторожен, ибо к жанру мемуаров писатель подходил с несколько необычной позицией. Для него мемуары были не просто свидетельством об увиденном и услышанном, а особым литературным жанром, в котором вполне допускался нарочитый вымысел (по выражению самого Ремизова — «легенда»<sup>2</sup>). Чтобы раскрыть сущность человека, Ремизов и создавал подчас «легенду» о нем. Этот подход к объяснению сущности человека он сформулировал в разговоре с Н. Кодрянской: «А моя сущность? Только создавая легенду, сказку, можно объяснить существо человека».<sup>3</sup> Такой легендой для Ремизова и будет, в частности, анекдот. Анекдот становится и важнейшим элементом мемуаров Ремизова, поскольку в анекдоте (как о себе самом, так и о своих современниках) писателю удается соединить правду и вымысел, серьезное и шутейное, «историю» и «легенду». В итоге Ремизов создавал совершенно особый тип мемуаров.<sup>4</sup> Анализ же анекдотов Ремизова позволяет увидеть и понять его от-

<sup>1</sup> См.: Ремизов А. Мерлог / Публ. А. д'Амелия // Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1987. Вып. 3. С. 215—222; Флейшман Л. В кругу ремизовских мистификаций: «Конклав» Саркофагского // Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography: Essays in Honor of Wojciech Zalewski. Ed. L. Fleishmann. Stanford, 1999. С. 145—176; Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001; Кукуй И. Идея против Вещи: О культурном фоне одной мистификации А. Ремизова // Bildschirmtexte zur 5. tagung des jungen forums slavistische literaturwissenschaft in Muenster, September 2002 (<http://www.jfsl.de/publikationen/2004/Kukuj.htm>).

<sup>2</sup> 29 октября 1956 года он записывает в дневнике: «Легендарное крепче исторического, мифы живут века, а история в учебниках» (цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 296).

<sup>3</sup> Там же. С. 89.

<sup>4</sup> См., например, замечание А. Данилевского о мемуарной книге Ремизова «Кукха»: «Игра — прежде всего на сочетании реального и „сочиненного“ — используется писателем для размывания четких граней между действительностью и художественным вымыслом, для вытеснения им действительности и, в конечном итоге, полной подмены реальности — „литературой“» (Данилевский А. Из комментариев к «Кукхе» А. М. Ремизова // Studia Russica Hel-singiensia et Tartuensia. III. Проблемы русской литературы и культуры. Helsinki, 1992. С. 97).

ношение ко многим фактам и явлениям, лицам и событиям, идеям и теориям. И, в конечном счете, понять природу его мемуарной прозы.

С другой стороны, есть и другая проблема мемуарной прозы Ремизова. Многие анекдоты, которые приводит (или придумывает?) Ремизов, кажутся совершенно бессмысленными, абсурдными, нелепыми. Логика здесь может быть проста и объясняться хорошо известным пристрастием писателя ко всякого рода «безобразиям», которые априори — зачастую лишены смысла. Но не все так просто. Есть основания подозревать, что за кажущейся бессмысленностью этих «безобразий» скрывается вполне определенный смысл, скрытый подтекст. В качестве примера такого анекдота (безобразного и бессмысленного, на первый взгляд) рассмотрим один анекдот из мемуарной книги Ремизова «Кукха. Розановы письма»: «Именины Варвары Дмитриевны Розановой.

— Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил».<sup>5</sup>

В книге «Кукха» этот анекдот помещен среди записей, которые якобы составляют дневник Ремизова (гл. «На блокноте»), и датирован 4 декабря 1905 года (день памяти св. Варвары). Достоверность существования этого ремизовского дневника, равно как и достоверность некоторых фактов, описанных в нем, пока невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но вопрос о достоверности случая, описанного в анекдоте, отчасти можно разрешить.

Дело в том, что у этого анекдота Ремизова есть другой вариант, но зафиксированный в другом мемуарном источнике. Это — эпизод из воспоминаний Андрея Белого, в котором опять появляется Вяч. Иванов как объект ремизовского розыгрыша: «А вот он, — сутуленький, маленький, — в том же свисающем с плеча пледике (ему холодно), выбравши жертвой великолепного Вячеслава Иванова, — таскается за ивановской фалдой; куда тот — туда этот; пальцем показывает на фалду: „У Вячеслава Иваныча — нос в табаке... У Вячеслава Иваныча — нос в табаке...” Это тонкий намек на какое-то „толстое” обстоятельство: экивоки, смешочки писателя, взявшего на себя в этом обществе роль Эзопа, — всегда не случайны».<sup>6</sup>

Более того — в мемуарах А. Белого мы встречаем и другой вариант этого анекдота, в том числе и описание того, как на квартире В. Розанова Ремизов действительно перевернул крыло-качалку, в котором сидел Н. Бердяев: «Не забуду воскресников этих; позднее на них пригласулся — впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, уставился, как бык на красное; вдруг, закрывивши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:

— „У Вячеслава Иваныча — нос в табаке!”

И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскокивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, —

<sup>5</sup> Ремизов А. Кукха. Розановы письма // Ремизов А. Собр. соч.: В 10 т. М., 2002. Т. 7: Ахру. С. 56.

<sup>6</sup> Белый А. Между двух революций. М., 1990. С. 64—65. Об эротическом подтексте мотива «нос» у Ремизова см. также: Безродный М. Генезис лейтмотивов у А. М. Ремизова // Русская филология. Тарту, 1977. Вып. V. С. 98—109. (Сб. тр. СНО филол. фак-та); Горный Е. Заметки о поэтике А. М. Ремизова: «Часы» // В честь 70-летия проф. Ю. М. Лотмана: Сб. ст. Тарту, 1992. С. 192—209.

голова; там же, где голова, лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то».<sup>7</sup>

Таким образом, анекдот из «Кукхи» оказывается отчасти достоверным. Правда, пока не представляется возможным проверить истинность рассказа о том, как А. Белый якобы проглотил финик.

Но главное заключается в другом: какой смысл имеет весь этот анекдот? И имеет ли анекдот вообще какой-либо смысл? Для чего Ремизов включил его в свою мемуарную книгу? В этом необходимо разобраться. Прежде всего нужно выяснить, о каком «толстом обстоятельстве» говорит А. Белый. Думается, что разгадку его надо искать в словах: «нос в табаке». Как известно, Вяч. Иванов курил, но табак не нюхал. При чем же тогда «нос в табаке»? Или здесь опять всего лишь ссылка на известную поговорку («Сыт, пьян и нос табаке»)? Представляется, что дело обстоит иначе. А. М. Грачева, комментируя этот фрагмент воспоминаний Белого (как и анекдот из «Кукхи»), резонно предположила, что существует какая-то связь между этими розыгрышами Ремизова и его же эротической повестью «Что есть табак» (1906).<sup>8</sup> Но какое отношение имеет Вяч. Иванов к этой повести Ремизова о «табаке»? Кто и почему стал главным героем ремизовского анекдота в «Кукхе»? На все эти вопросы мы и попытаемся ответить в нашей заметке.

Действительно, в ремизовском идиолекте слово «табак» имело и иное значение, отличное от общеизвестного. Вот письмо В. Розанова Ремизову (датируется 1908 годом, приведено в книге Ремизова «Кукха»): «Ждем Серафиму Павловну и Алексея Михайловича без слонов, без зверей и без мифов, без „табаку” и вина 4 декабря в тихую обитель Б. Казачий д. 4 кв. 12 — вечером — Смиренный иеромонах Василий».<sup>9</sup>

Тут же сам Ремизов поясняет: «„Табак” — это и моя повесть „Что есть табак”. В. В. Розанов любил ее. „Слоны” — это „обладающие сверх божеской меры”».<sup>10</sup>

Иными словами, в своем письме В. Розанов предупреждал о том, чтобы Ремизов на сей раз обошелся без «самых непоказанных разговоров»,<sup>11</sup> т. е. разговоров на эротические темы. Воплощением эротического для В. Розанова была эротическая же повесть Ремизова «Что есть табак». Прийти к нему без «табаку» — значит, чтобы разговоры не касались эротического. А слово «табак» в данном случае (на языке Розанова и Ремизова) было эвфемизмом эротических предметов разговора.

В 1945—1946 годах А. Ремизов написал мемуарный очерк «О происхождении моей книги о табаке»,<sup>12</sup> который вошел (с небольшими изменениями) в его же мемуарную книгу «Петербургский буерак».<sup>13</sup> В этом очерке рассказывается главным образом об эпизоде, который и вдохновил Ремизова на написание апокрифа «Что есть табак», — эпизоде осмотра в 1906 году на квартире художника К. Сомова «статуэтки» (так эвфемистически назван Ремизовым восковой слепок с фаллоса Г. А. Потемкина): «Пенис Потемкина был сделан по воле Екатерины „для назидания».

<sup>7</sup> Белый А. Начало века. М., 1990. С. 479—480.

<sup>8</sup> См.: Переписка В. И. Иванова и А. М. Ремизова / Вступ. статья, примеч. и подгот. писем А. Ремизова — А. Грачевой; подгот. писем Вяч. Иванова — О. Кузнецовой // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 114—115; см. также: Ремизов А. Собр. соч. Т. 7: Ахру. С. 536. Заметим, что еще ранее на связь этого эпизода из воспоминаний А. Белого и эротической повести Ремизова «Что есть табак» указал А. В. Лавров, хотя и без какого-либо развернутого объяснения: «Видимо, подразумевается намек на сюжет, реализованный Ремизовым в фривольной сказке „Что есть табак”» (см.: Белый А. Между двух революций. С. 465 (коммент.)).

<sup>9</sup> Ремизов А. Кукха. Розановы письма. С. 57.

<sup>10</sup> Там же. С. 35.

<sup>11</sup> Там же. С. 34.

<sup>12</sup> Ремизов А. О происхождении моей книги о табаке. Что есть табак. Paris, 1983.

<sup>13</sup> Впервые она была опубликована в Париже в 1981 году под названием «Встречи: Петербургский буерак». Вариант более аутентичный авторскому замыслу см.: Ремизов А. Петербургский буерак // Собр. соч.: В 10 т. Т. 10.

ния обмельчавшему потомству” в точном размере и со всеми отличительными подробностями, с родимым пятном у „ствола расширения”, — восковой розовый слепок и хранился в Эрмитаже. Для публичного обозрения недоступен». <sup>14</sup>

А затем история получила и литературное продолжение: «В то время (т. е. в 1906 году. — С. Д.) я изучал апокрифы и у меня было целое собрание сказаний о происхождении табака. Особенно одно поразило меня — „слово святогорца” — табак выводился от такого вот потемкинского „орудия”. А что если написать мне такую отреченную повесть, а Сомову иллюстрировать по наглядной натуре. „Вот было б дело, — сказал Вас. Вас., — напиши!” К. А. Сомов согласен, он, как образец, возьмет потемкинское». <sup>15</sup>

Повесть Ремизова «Что есть табак» была напечатана в 1908 году с рисунками К. Сомова, и в дальнейшем эротическая (фаллическая) символика табака будет обыгрываться Ремизовым неоднократно.

Но вернемся к анекдоту о Вяч. Иванове, у которого «нос в табаке». Судя по всему, главным героем ремизовского анекдота стал именно Вяч. Иванов. Но почему? Скорее всего потому, что тема Эроса интересовала не только Розанова или Ремизова. Свою концепцию мистического Эроса создал и Вяч. Иванов — она нашла отражение во многих его статьях и поэтических текстах. <sup>16</sup> Каково было отношение Ремизова к концепции Вяч. Иванова? На этот счет у нас нет точных сведений. Но можно не без оснований считать, что Ремизов довольно скептически (более того — иронически) относился ко всем умозрительным концепциям, которые создавались теоретиками-символистами. Представляется, что и анекдот об Иванове, у которого «нос в табаке», является своеобразной полемической репликой в адрес символистских концепций Эроса, а особенно — в адрес их создателей. <sup>17</sup> Тогда абсурдность, бессмысленность анекдота — только кажущаяся. И фразу Ремизова «Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову» (как и другую: «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке...») можно тогда «перевести» примерно таким образом: «Я (Ремизов) утер нос теоретику мистического Эроса (т. е. Вяч. Иванову) моей немистической трактовкой Эроса (и всего эротического) в повести „Что есть табак”».

А нелепая ситуация с Андреем Белым, проглотившим финик, — возможно, скрытый ремизовский намек на эротический же подтекст стихотворения А. Белого

<sup>14</sup> Ремизов А. О происхождении моей книги о табаке. С. 13

<sup>15</sup> Там же. С. 40.

<sup>16</sup> См.: *Цимборска-Лебода М.* 1) Эрос в творчестве Вячеслава Иванова: Этика и онтология любви // Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация. Материалы международного семинара. Tartu, 1997. С. 54—68; 2) Эрос в творчестве Вячеслава Иванова: На пути к философии любви. Томск, М., 2004. О постоянном интересе Вяч. Иванова к теме Эроса свидетельствует и Н. Бердяев: «Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем „сред”» (*Бердяев Н.* «Ивановские среды» // *Иванова Л.* Воспоминания: Книга об отце / Подгот. текста и коммент. Дж. Мальмстада. М., 1992. С. 322). См. также: *Пономарева Г. М.* Концепция Эроса и «среды» Вяч. Иванова // *Литературный процесс и проблемы литературной культуры.* Таллинн, 1988. С. 87—90.

<sup>17</sup> См. также полное иронии (хотя и добродушной) рассуждение Ремизова (в его мемуарной книге «Петербургский буерак») о «всесветных познаниях» Вяч. Иванова: «А Вячеслав Иванович Иванов в Риме отшельник (...) засел за „римские древности” — познания всесветные! ученик Моммзена» (*Ремизов А.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 312). «Римские древности» — намек на магистерскую диссертацию «De societibus vestigalium» (опубликована в 1908 году), написанную Вяч. Ивановым в молодости, во время его учебы в семинаре проф. Берлинского университета Т. Моммзена, специалиста по истории Древнего Рима (см.: *Автобиографическое письмо В. Иванова С. А. Венгеру // Иванова Л.* Воспоминания: Книга об отце. С. 312—313). Ср. также такой отзыв Ремизова о Вяч. Иванове (1940-е?): «Вяч. Ив. Иванов замечательный человек: он все знает» (*Пузан А.* Petersburg Dreams // *Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer.* Ed. by G. Slobin. Columbus (Ohio), 1987. P. 70). При этом надо помнить, что сам Ремизов любил иронизировать по поводу «ученых немцев», склонных к излишнему теоретизированию. Вот, например, его характеристика Андрея Белого (в письме Н. Кодрянской от 23 мая 1956 года): «Андрей Белый запутался в антропософии и трескотне Заратустры. (...) Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы» (*Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. С. 290).

«На горах» (1903), в котором экзотический фрукт «ананас» оказывается эвфемизмом фаллоса, и в целом — эвфемизмом всего, что связано с эротикой.<sup>18</sup>

У самого Ремизова субститутотом «ананаса» (в той же роли) становится «финик», на что очевидно указывает его же эротическая сказка «Султанский финик» (1909). В обоих случаях эротика, облеченная в философско-мистические одеяния (как у Вяч. Иванова и А. Белого), разоблачается Ремизовым на житейско-анекдотическом уровне. Символистская концепция мистического Эроса (в трактовке того же Вяч. Иванова или А. Белого) Ремизову была совершенно чужда. И приведенный анекдот можно рассматривать как пример ремизовской дискредитации ивановской концепции Эроса, иронически-пародийного его осмысления.

Из того ряда — фрагмент воспоминаний Ремизова (в мемуарной книге «Петербургский буерак») о чтении им своей повести «Неуемный бубен» в редакции журнала «Аполлон» (конец 1909 года): «По окончании заметно было оживление, но куда мне разобрать, и только председатель улыбкой показал, что все понимает: И. Ф. Анненский говорил по-латыни, Ф. Фр. Зелинский на языке Софокла, а Вяч. И. Иванов, думаю, на ассирийском Гильгамеша.

Необыкновенное впечатление на Андрея Белого. На него накатило — черта в воздухе сложную геометрическую конструкцию, образ Ивана Семеновича Стратилатова, (...) он вдруг остановился — необыкновенное блаженство разлилось по его лицу: преображенный Стратилатов реял в синих лучах его единственных глаз.

— Да ведь это археологический фалл. — Кротко, но беспрекословно голос Блока. Блок выразился по-гречески.

Андрей Белый, ровно б пойманный, заметался, он готов был выскочить из себя — и только улыбка Блока — „Иван Семенович Стратилатов воплощение археологического фалла“, а он не заметил! и это правда! — привело его в сознание. В Берлине в 1922-м лекция Андрея Белого „О любви“. Антропософская аудитория, исключительно дамы. Слушают, затаив дыхание. Не в воздухе, а на доске мелом воздвигается сложная геометрическая конструкция. Закрутив центральную спираль, Андрей Белый обернулся к аудитории: синь плывет из его глаз, лицо сияет, образ любви за его спиной.

И вдруг, подобно гласу из облака, неожиданно глас из публики:

— А где же фалл? — Кусиков выразился по-русски.

И тут произошло однажды случившееся в Петербурге на вечере в „Аполлоне“: опрученная на доске спираль, выщелкнувшись, ударила в спину и принялась опруживать шею, руки, и остались одни перепуганные глаза — в „Аполлоне“ — в Блока, в Берлине — в Кусикова. А в ушах неуемным бубном по-гречески и по-русски».<sup>19</sup>

В чем пуант этого анекдота? В том, что А. Белый, один из теоретиков символизма, уделивший немало внимания философии Эроса, не смог увидеть совершенно очевидный эротический (т. е. фаллический) смысл образа Стратилатова. А позднее, в 1922 году в Берлине, его философия Эроса («сложная геометрическая конструк-

<sup>18</sup> См. следующий вывод исследователя: «Семиотика ананаса открывает перед нами скрытый эстетически сублимированный эротически-оргийный план стихотворения Андрея Белого. Его носителем оказывается вполне традиционный литературный персонаж — неистово пляшущий на утесе горбун в красном. Взмывающий к небу и источающий „золотые фонтаны огня и хрустала заалевшего росы“ ананас отбрасывает на всю фантастически реальную картину неуловимо сквозящую и двусмысленно мерцающую фаллическую тень. Предложенная здесь интерпретация стихотворения „На горах“ совсем не отменяет его прочтения в духе праздничной теургии космического действия. Планы теургический и эротический не только не исключают друг друга, они взаимосвязаны» (Абашев В. Ананас на русской почве: О стихотворении Андрея Белого «На горах» // Славянские чтения. Даугавпилс, Резекне, 2002. Вып. II. С. 93). А касаясь семантики ананаса в русской культуре в целом, В. Абашев констатирует: «Ананас — эмблема эротизма, нередко выступающая как прямая фаллическая метафора» (Там же. С. 92).

<sup>19</sup> Ремизов А. Петербургский буерак. С. 194—195.

ция») была интерпретирована поэтом А. Б. Кусиковым довольно незамысловато — при помощи нецензурного русского слова, обозначающего «фалл».<sup>20</sup>

Необходимо подчеркнуть, что Эрос в понимании Иванова и Белого — это Эрос исключительно философский, религиозно-мистический, т. е. прежде всего *абстрактный, метафизический*. Эрос же в понимании Ремизова — это Эрос, воспринятый и понятый через призму житейского (народного) сознания, т. е. предельно *конкретный* (и потому отчасти грубый, может быть даже пошлый, с точки зрения «теоретиков» символизма).<sup>21</sup> У Ремизова эротическое предстает нередко в том облике, которое мы видим в похабных русских сказках (не случайно сказка Ремизова «Чудесный урожай» (1912) является просто переделкой русской народной сказки «Посев х..в» из сборника А. Н. Афанасьева «Заветные сказки» ).<sup>22</sup>

Анекдот Ремизова в его мемуарной книге «Кукха» — это своеобразная форма полемики с современными ему теориями Эроса, которые были созданы символистами-теоретиками. Если Вяч. Иванову Ремизов «утер нос» своим... «Табакон», то А. Белого заставил проглотить... «финик», который оказался из того же эротического «семейства», что и скандально знаменитый «ананас» из стихотворения Белого «На горах».

А в чем смысл появления в анекдоте о «табаке» эпизода с Н. Бердяевым: «А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым»? Рискнем предположить, что Ремизов здесь обыгрывает один курьезный и по-своему характерный для символистского круга случай: во время одного диспута по проблемам пола, который проходил на «башне» Вяч. Иванова, Н. Бердяев был председателем и во время диспута лежал... на полу. Об этом сообщает С. Городецкий в письме А. Блоку от 3 июня 1906 года: «Среды еще бывают, неофициально. Одна была бурная. *Председательствовал Бердяев, лежа на полу, потому что говорили о поле* (курсив мой. — С. Д.). Все вопросы нерешенные, у Иванова четыре пола, у Бердяева преодоление смерти не родом (семьей), а замкнутой личностью. Ремизов был за детей. Выразился по-ремизовски. У меня два пола и Третий (бог, сущее, экстаз), создаваемый их слиянием. Никто ничего не узнал, а говорили долго. Вам все это должно показаться далеким, городским, комнатным».<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Реакция А. Белого, от «удивления» проглотившего финик при виде того, как Ремизов перевернул кресло с Н. Бердяевым, может быть понята (в свете поэтики анекдота) как следствие (и подчеркивание) того обстоятельства, что А. Белый, будучи москвичом, появлялся в Петербурге эпизодически и не был в курсе всех скрытых нюансов жизни петербургской символистской литературно-художественной среды. Иначе говоря, Белый играет в анекдоте роль наивного и простодушного гостя, с удивлением и непониманием взвизгивающего на более чем странное поведение Ремизова.

<sup>21</sup> Ср., например, у Ремизова в «Кукхе» упоминание одного неосуществленного замысла — совместно с В. Розановым написать книгу «О любви»: «Вы помните эту нашу затею: собрать и иллюстрировать всю мудрую науку, какую у нас на Руси в старые времена няньки да мамки хорошо знали, да невест перед венцом учили, ну и женихов тоже. Как-то так с годами и забилось, и сами „старейшины“ — ни Сомов, ни Бакст, ни Нувель не вспоминали уж за эти годы. А одному куда мне было! А главное, надо сурьезно. Я понимаю, даже благоговейно. Ей-Богу ж, Василий Васильевич, я не так уж озоровал, как вы думали и часто сердились, и чувствую, что такая книга могла бы быть существеннейшей и необходимой в каждой новобрачной семье» (Ремизов А. Собр. соч. Т. 7: Ахру. С. 69—70). Очевидно, что ремизовско-розановская книга «О любви» была ориентирована скорее на «физику любви» (т. е. народный, практический опыт эротики), а не на «метафизику любви». Отметим также, что упомянутые художники К. Сомов и Л. Бакст имели самое непосредственное отношение к изданию эротических книг Ремизова: К. Сомов иллюстрировал первое издание повести «Что есть табак» (1908), а Л. Бакст — первое издание эротической сказки Ремизова «Царь Додон» (1921).

<sup>22</sup> Разумеется, ремизовские сказки (по понятным причинам) оказались смягчены в языковом отношении: лексика их не содержит нецензурных слов и выражений, как это было в собственно фольклорных версиях «заветных сказок». См. также две статьи М. Козьменко: «Заветные сказки Алексея Ремизова» (Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 75—76) и «Удоноши и фаллофоры Алексея Ремизова» (Эрос. Россия. Серебряный век. М., 1992. С. 175—187).

<sup>23</sup> Блок А. А. Переписка с А. А. и С. М. Городецкими / Вступ. статья и публ. В. П. Енишерлова, коммент. В. П. Енишерлова и Р. Д. Тименчика // Лит. наследство. 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 26. Пользуемся случаем выразить благодарность Г. М. Пономаревой за указание на этот источник.



Тогда смысл ремизовского жеста-намека очевиден: он, Ремизов, перевернул кресло-качалку, в котором сидел Бердяев, и тот опять оказался именно *на полу*. Или *лицом к полу* — так Ремизов каламбурно обыгрывает интерес Н. Бердяева к проблеме Эроса и пола, понимаемой и трактуемой Бердяевым именно в религиозно-философском («теоретическом») ключе, о чем красноречиво говорит само название 6-й главы его книги: «Метафизика пола и любви».<sup>24</sup> Хронологическое несовпадение (анекдот Ремизова датируется 1905 годом, а книга Бердяева — 1906—1907) оказывается не столь существенным: ведь идеи Бердяева по вопросам «метафизики пола и любви» возникли гораздо раньше, на что указывает Е. Обатнина: «Хронотоп ремизовского творчества, в котором мы склонны видеть сложный процесс формирования оригинальной философии Эроса, запечатлел внутренние дискуссии с разными оппонентами. Среди них нельзя не выделить Н. А. Бердяева, дружеские отношения с которым сложились у Ремизова в 1901—1902 годах в Вологде, где оба они отбывали ссылку (...). Тогда в спонтанно образовавшемся кружке молодых ссыльных (...) постоянно обсуждалась тема Эроса».<sup>25</sup>

Отметим еще один характерный штрих: Ремизов присутствовал, как то следует из письма С. Городецкого, на том заседании на «башне», где шел бурный диспут «о поле». И даже сам высказался в ходе диспута. Точка зрения Ремизова, которую Городецкий определяет слишком кратко («Ремизов был за детей»), кажется не совсем ясной. Но ее можно примерно реконструировать, помня об общем ироническом отношении Ремизова к теориям Эроса, развиваемым в окружении Вяч. Иванова. Видимо, Ремизов подразумевал, что главная проблема любви и пола — это рождение детей, т. е. «здорового потомства».<sup>26</sup> И ничего более. Иными словами, мы опять видим скорей традиционный, житейский подход Ремизова к проблеме Эроса — в пику сложным и абстрактным философско-мистическим теориям Эроса у символистов.

Есть еще один персонаж ремизовского анекдота, который присутствует скорей за кулисами. Это — В. В. Розанов, на квартире которого все якобы и произошло с Ивановым, Белым и Бердяевым. Отношение Ремизова к сексуально-эротическим идеям В. В. Розанова также было скорей иронически-пародийным, т. е. подразумевающим их житейски сниженную интерпретацию.<sup>27</sup> Как не раз подчеркивал Реми-

<sup>24</sup> См.: *Бердяев Н. А.* Новое религиозное сознание и общественность / Сост. и коммент. В. В. Сапова. М. 1999. С. 213—249. Доклад «О поле и любви» (в основу которого легла глава «Метафизика пола и любви») Н. Бердяев намеревался прочитать в 1907 году на одной из сред Вяч. Иванова (см.: Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых / Вступ. статья, подготовка писем и примеч. А. Б. Шишкина // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 131—132).

<sup>25</sup> *Обатнина Е.* «Эротический символизм» Алексея Ремизова // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 220. В качестве иллюстрации к обсуждавшимся Ремизовым и Бердяевым темам исследовательница приводит текст шуточного «некролога», написанного Ремизовым 1 апреля 1902 года (по случаю отъезда Бердяева из Вологды): «Как сейчас помню наши долгие беседы о „бездне верха“ и „бездне низа“. / Суппонировать-сублимировать-предципировать-супранатурализм-монизм-иллюзионизм-солипцизм — и вдруг тот параллелизм, где „бездна низа“ / обнажалась и сияла своим телом и смеялась и манила (...) Мир праху твоему! / Ну, а насчет „бездны низа“ ничего не могу сказать» (Там же). Подчеркнутое перечисление (нагромождение) Ремизовым философской терминологии — тоже свидетельство его иронического отношения к бердяевскому философствованию на тему Эроса.

<sup>26</sup> Ср. реплику Ремизова в «Кукхе»: «В. В. размечтался. Ему уже мерещилось: у нас, где-нибудь на Фонтанке, такой институт, где будут собраны „слоны“ со всей России, со всего мира для разведения крепкого и сильного потомства» (*Ремизов А.* Кукха. Розановы письма. С. 62).

<sup>27</sup> См., например, такой случай, описанный З. Шаховской: «Как охотно, но и как ехидно, и зачастую со скатологическими подробностями, А. М. говорил о своих знаменитых современниках, и всегда с усмешечкой: „Вот идет Василий Васильевич (Розанов) в ватер-клозет, а мы за ним гуськом, а он нам о чем-нибудь половом говорит, дверь не закроешь, заслушаться можно! Мы слушаем, а он там бумажкой шелестит, мнет ее“» (*Шаховская З. А.* В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 128—129). В данном случае перед нами — типично ремизовская мистификация (и одновременно провокация), рассчитанная на малоосведомленного человека. Ср.

зов, для Розанова было характерно *благоговейное* отношение к фаллосу. В своей книге о Розанове «Кукха» А. Ремизов описывает, например, возмущение Розанова, когда он, Ремизов, неправильно (т. е. без должного почтения, иначе говоря — «охульно») произнес само русское имя «фаллоса»: «Давай х. (хоботы) рисовать.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич. Не умею.

— Ну, вот еще не умею! А ты попробуй.

(...) Взяли мы по листу бумаги, карандаш — и за рисованье. У меня как будто что-то выходить стало похуже.

— Дай посмотреть! — нетерпеливо сказал В. В. У самого у него ничего не вышло — я заглянул — крючок какой-то да шарики.

— Так х. (хоботишко)! — сказал я, — это не настоящий.

И вдруг — ничего не понимаю — В. В. покраснел —

— Как... как ты смеешь так говорить! Ну, разве это не свинство сиволапое? — и передразнил: х. (хоботишко)! Да разве можно произносить такое имя?

— А как же? — В. В. поднялся и вдохновенно и благоговейно, точно возглас какой, произнес имя первое — причинное и корневое:

— Х. (хобот).

— Повтори.

Я повторил — и пропал.

— Ведь это только русские люди! — горячился В. В., — наше исконное свинство. Все огадить, охаять, оплевать —

И я уже молчком продолжал рисовать. Но не из природы анатомической, а из чувства воображения. Успокоился же В. В. на рисунке:

верно, что-нибудь египетское у меня

вышло — невообразимое.

— Чудесно! — сказал В. В., — это настоящее! И простив мне мое русское произношение — мое невольное охуление *вещей божественных* (курсив мой. — С. Д.), рисунок взял с собой на память». <sup>28</sup>

Розанов, как очевидно, становится для Ремизова олицетворением того пиетета, с которым он относился к фаллосу и которого требовал от окружающих в отношении к «вещам божественным». <sup>29</sup>

типологически сходную выдумку-мистификацию о том, как Ремизов в редакции «Вопросов жизни» якобы закрыл в туалете какого-то батюшку, и тот якобы всю ночь там просидел (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. С. 19—20). Мистификацией приведенный З. Шаховской эпизод кажется и потому, что скатологические и эротические мотивы появляются у Ремизова тогда, когда он говорит о В. В. Розанове, — иными словами, о Розанове надо и рассказывать по-розановски. О пародировании розановских идей в прозе Ремизова см. также в следующих статьях А. Данилевского: «Mutato nomine de te fabula narratur» (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1986. Вып. 735. С. 137—149), «Герой А. М. Ремизова и его прототип» (Там же. 1987. Вып. 748. С. 150—165).

<sup>28</sup> Ремизов А. Кукха. Розановы письма. С. 100—101. Этот эпизод с рисованием «хоботов» был ранее включен Ремизовым в его роман «Плачущая канава» (1914—1918), где автор выведен в образе Баланцева, а Розанов — в образе Будылина (см.: *Обатнина Е.* «Эротический символизм» Алексея Ремизова. С. 199—234); о Розанове как прототипе Будылина см. также: Доценко С. ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ А. М. Ремизова как зеркало русской революции // *Eurogria Orientalis*. 1997. XVI. № 2. С. 305—320. Отметим также несомненный каламбур во фразе: «охуление вещей божественных» (если вспомнить, о какой *божественной вещи* идет речь) — русский глагол «хулить» Ремизов склонен был этимологизировать в эротическом ключе: «Хуль — отозвался Аросев и объяснил значение этого английского слова: „х..бот“ в России запрещен, а Пришвину никак не обойти в рассказе. Пришвин и придумал. И напечатал: „хуль“ — звучит по-английски, а по-нашему и дурак поймет» (Ремизов А. Петербургский буреак. С. 231).

<sup>29</sup> См. в той же «Кукхе» такой эпизод (помеченный 1905 годом): «На Покров был у нас Ф. К. Сологуб, Чулков и В. Е. Ермилов из Москвы, чтец Чехова. Читал. А позже пришел В. В. Розанов.

Круг друзей и знакомых Ремизова, которые задействованы в анекдоте с фиником, табаком и креслом-качалкой, оказывается вовсе не случайным и по-своему примечательным. Вяч. Иванов, А. Белый и Н. Бердяев были в глазах Ремизова мыслителями, в той или иной мере занимавшимися проблемой Эроса, причем выступали как символистские *теоретики* Эроса.

В. Розанов же отличался от вышеуказанных «теоретиков» Эроса прежде всего тем, что проявлял экстраординарный интерес к фаллосам вовсе не мистическим (абстрактным), а вполне *реальным*.<sup>30</sup>

В конечном счете главным теоретиком «мистического Эроса» был для Ремизова именно Вяч. Иванов, и поэтому именно он фигурирует в анекдоте в качестве *главного объекта* ремизовского розыгрыша.<sup>31</sup> А Розанов, Белый и Бердяев — персонажи скорей вспомогательные, введенные в анекдот в качестве дополнительной под-сказки. Анекдот Ремизова можно считать примером скрытого отклика на мистические теории Эроса, которые были характерны для петербургского символистского круга в 1905—1907 годах, а также примером его, А. Ремизова, своеобразной ироничной полемики с этими теориями.<sup>32</sup>

— В минуту совокупления, — сказал В. В., — зверь становится человеком.

— А человек? Ангелом? Или уж — —?

— Человек — Богом» (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. С. 47).

<sup>30</sup> Отметим также, что эротическая сказка Ремизова «Царь Додон» (1909) — сказка об Эросе вовсе не мистическая, в вполне *реальном*. Ремизов и этой своей сказкой пародийно обыгрывает известную формулу Вяч. Иванова *a realibus ad realiora* («от реального к реальному»), о которой он писал в статье «Две стихии в современном реализме» (1908): «Пафос реалистического символизма: чрез Августиново „transcende te ipsum“, к лозунгу: *a realibus ad realiora*. Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного творчества — утвердить, познать, выявить в действительности иную, более действительную действительность. Это — пафос мистического устремления к *Eus realissimum*, эрос божественного» (Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 156). Ведь в сказке Ремизова заглавный герой (царь Додон) озабочен поисками фаллоса не столько «реального» («обычного», «нормального»), сколько «сверхреального» (по размерам) — т. е. именно «реальнейшего».

<sup>31</sup> О другой мистификации Ремизова, героем которой стал Вяч. Иванов, узнаем из письма последнего от 3 ноября 1910 года: «Дорогой Алексей Михайлович, позвольте, — если мы друзья — просить Вас не запутывать мое имя в рассказываемые Вами неблуды; я не желаю быть героем Вашего мифотворчества, хотя бы и невиннейшего, хотя бы и совершенно благонамеренного. По телефону я вчера ни с кем не говорил; а мне передают, что Вы рассказывали о моих телефонных разговорах, содержание которых Вами было также выдуманно, как и самый факт употребления мною телефонной трубки» (Переписка В. И. Иванова от А. М. Ремизова. С. 96). Отметим, что Вяч. Иванов стоит особняком от В. Розанова, А. Белого и Н. Бердяева еще и потому, что он — единственный из перечисленных «теоретиков», который не стал кавалером ремизовского Обезвельопала (см. список членов Обезвельопала: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах С. 336—369).

<sup>32</sup> Ср. также вывод Е. Обатниной: «Синкретический Эрос Ремизова (...) явно расходится с тем жизнетворческим опытом, который запечатлелся в мистериальных и теургических переживаниях русских символистов и близких к ним философов» (*Обатнина Е.* «Эротический символизм» Алексея Ремизова. С. 220).

## «РЕВОЛЮЦИОННОЕ ХРИСТОВСТВО»:

### З. Н. ГИППИУС, Д. В. ФИЛОСОФОВ И Б. В. САВИНКОВ В 1911 ГОДУ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПУБЛИКАЦИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ © Е. И. ГОНЧАРОВОЙ)

Публикуемые ниже письма касаются отношений З. Гиппиус, Д. Философова и одного из участников «Главного» (так Гиппиус называла религиозную деятельность) — террориста Бориса Савинкова. События Кровавого воскресенья «перевернули» Мережковских. Для них теперь русский монарх — не помазанник Божий,

наместник Христа на земле, а антихрист. Тогда во время первой русской революции в их концепцию Новой церкви, которая должна заменить догмы исторической церкви, включается идея «новой религиозной общественности». Так был взят курс на «религиозную революцию». В 1906 году в «семью» Мережковских вошел Д. В. Философов. «Триумvirат», союз исключительно интеллектуальный, и должен был стать ядром Новой церкви. Мережковским нужны были сообщники для создания «новой религиозной общественности», которых они ищут не только в России, но и за границей среди эсеров-бомбистов.<sup>1</sup> «Свои надежды на создание религиозной общественности или религиозной теократии, — пишет Т. Пахмусс, — они возлагали на русскую интеллигенцию, „аристократов мысли“ в платоновском смысле слова. „Аристократы мысли“, по их мнению, были способны пробудить в людях „новое религиозное сознание“».<sup>2</sup> Эти избранные интеллектуалы, люди «первого сорта» (по выражению Философова) и должны быть устроителями будущего Царства Духа. «Мы с вами, — писала Гиппиус Савинкову, — сорта в некотором смысле одного».<sup>3</sup>

Зимой 1906—1907 года «трио» в Париже активно вовлекает в свою орбиту эсеров. В их религиозные представления включается идеология русских террористов, скрывающихся во Франции. Происходит столкновение двух мировоззрений: максималистского и мистически-революционного. Это обстоятельство и определяет суть диалога между «трио» и Савинковым. 14 марта 1911 года Гиппиус записала в дневнике «О Бывшем» (в нем она отмечала историю «Дела»), вспоминая первые встречи с ним: «Мы там поняли душу старой русской революции и полюбили ее. Понялась ее правда и неправда. Я внутренне почувствовала *темную* связь ее со Христом. Возможность просветления и тогда — силы. Среди всех — ближе стали к нам Савинков, член боевой организации, человек с тяжелой биографией. С кровью многих на душе, и Фондаминский — Илюша».<sup>4</sup> Мережковским нужно было объяснить эсерам суть идей «религиозной революции», обратить революционеров-атеистов в «христианских революционеров».<sup>5</sup> Утопия преобразования вселенной, чаяние Царства Божия, так кажется «трио», роднила «подпольную Россию» с их радикально-утопическими идеями. Царство Третьего Завета, или Царство Духа (ведущая идея жизни Мережковских), нужно было активно приближать, разрушая старый режим.<sup>6</sup> «Российский Сен-Жюст» Борис Савинков и был интересен «трио» прежде всего как разрушитель монархии. «Конец Царя, — писал Философов еще в 1906 году, — будет, возможно, искупительной жертвой, увенчанием религиозной революции».<sup>7</sup> Скрытой стороной неохристианства Гиппиус, Мережковского и Философова был их «подспудный радикализм».

К 1911 году русская интеллигенция ощутила острое разочарование в революционном максимализме, которому еще совсем недавно рукоплескала. В отходе интеллигенции от увлеченности террором большую роль сыграло разоблачение в 1908 году Азефа, руководившего Боевой организацией эсеров в самый громкий период

<sup>1</sup> См.: Павлова М. М. «Мученики великого религиозного процесса» // Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Царь и Революция. М., 1999. С. 7—56.

<sup>2</sup> Пахмусс Т. А. Творческий путь Зинаиды Гиппиус // Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 223.

<sup>3</sup> См. письмо Гиппиус к Савинкову от 11 марта 1911 года.

<sup>4</sup> Гиппиус З. Н. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 139 (далее только номер книги и страница).

<sup>5</sup> Об отношениях Мережковских с эсерами в 1908—1909 годах см.: Письма З. Гиппиус к Б. Савинкову: 1908—1909 годы // Русская литература. 2001. № 3. С. 126—161; «Религиозная общественность» и террор. Письма Д. Мережковского и З. Гиппиус к Борису Савинкову (1908—1909) // Там же. 2003. № 4. С. 140—161.

<sup>6</sup> См.: Гайденок П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. Гл. 9: Д. С. Мережковский: апокалипсис «всеокушающей религиозной революции». С. 327—355.

<sup>7</sup> Философов Д. В. Царь-Папа // Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Царь и Революция. С. 102.

террора. «Дело Азефа» было воспринято как удар по идее революции. Это был, как писал В. Розанов, «шах и мат по идее». В то время когда в обществе росло разочарование в революционерах, взгляды «трио» не менялись. 8 сентября 1909 года Философов писал Е. В. Дягилевой, мачехе С. П. Дягилева, посвященной в идеи «трио»: «Вы знаете, Дмитрий Сергеевич до революции писал о грядущем хаме. Эту книгу он даже посвятил мне. Теперь же, когда революция не удалась и когда все в один голос стали говорить о ее хамстве, он несмотря ни на что поддерживает веру в ее святость, т. е. обращает внимание на ее светлую, а не темную сторону. И он свято прав».<sup>8</sup> Радикальная настроенность «трио» в последующие за поражением революции годы выразилась в ежегодных встречах с эсерами за границей. З. Гиппиус, Д. Мережковский несколько раз в году уезжали из Петербурга и непременно за границей встречались с Савинковым. Как правило, с ними был и Д. В. Философов, хотя порой он бунтовал против «гиппиусо-мережковского» быта и уезжал «из часовенки».<sup>9</sup>

24 ноября 1910 года «трио» отправляется во Францию. В Россию они вернутся в начале апреля 1911 года. Вообще поразительно, как много времени Мережковские проводили за границей. Дважды или трижды в год тройца уезжала на курорты Франции или Италии в доступных только обеспеченным людям «wagon-lits» — спальных вагонах иностранного происхождения, где кондукторы приветствовали их как старых знакомых. 3 декабря 1911 года Мариэтта Шагинян, близкая к «Главному», писала Гиппиус: «С вами я буду съезжаться, ну, на месяц, это вполне возможно: вы же в России больше и не живете».<sup>10</sup> Оказавшись в Париже, «трио» сразу же налаживает связи с Савинковым. Гиппиус закончила свой первый политический роман «Чертова кукла» (причем критика будет упрекать ее в незнании революционной среды). Мережковский в это время был поглощен работой над романом «Александр I», вошедшим в трилогию с символическим названием «Царство Зверя». Тема романа — монархия и бунт против нее.<sup>11</sup> В начале января 1911 года «трио» переместилось в Канны. Рядом с ними на вилле в Теуле обосновалась боевая группа Савинкова. Подруга Гиппиус Амалия Фондаминская (кузина теоретика террора М. Гоца)<sup>12</sup> часто бегала в Теуль пешком; «были в теульской вилле раза два и мы с Д(митрием) С(ергеевичем), — вспоминала Гиппиус. — Он сказал мне после, что ему там не понравилось. Да и мне не понравились люди, окружавшие Савинкова. Все, кроме этой нежной, удивительной Марии Прокофьевой, с ее светлым, каким-то „нездешним, лицом”».<sup>13</sup> Все «бомбисты», которых застали Мережковские в Теуле, были им знакомы: Прокофьева, С. Моисеенко, Чернавский (их имена постоянно встречаются в переписке). У них всех за плечами стояли кровавые покушения, тюрьмы, ссылки, каторга... С момента разоблачения Азефа Савинков пытался восстановить честь террора, создавая боевой отряд, который все-таки в начале 1911 года был распущен. Незадолго до встречи с Мережковскими он писал Марии Прокофьевой: «У нас мимоза цветет. В лощинах лежит талый снег. В саду голубые ирисы. Море холодное, но синее и большое. В общем, — что-то странное, какая-то мартобря. Сосна и кактус, ирис и снег. Все равно как у меня в голове, какая-то чепуха — репейник, бурьян, крапива и иногда просиянье ума — хочется кончить со всем однажды и навсегда».<sup>14</sup> Теперь члены боевого отряда Савинкова превратились в «безработных террористов» и жили в Теуле одной семьей, за которой продолжало

<sup>8</sup> ИРЛИ. Ф. 102. Оп. 1. Д. 189.

<sup>9</sup> РНБ. Ф. 481. Д. 94. Л. 25.

<sup>10</sup> Письма М. Шагинян к З. Гиппиус // Новый журнал. 1988. Кн. 171. С. 185. О М. Шагинян см. примеч. 6 к письму 5 и примеч. 10 к письму 12.

<sup>11</sup> Первая часть трилогии «Царство Зверя» — пьеса «Павел I» (1908); вторая часть — «Александр I» (1911 — 1912); третья часть — «14 декабря» (1918).

<sup>12</sup> См. примеч. 2 к письму 2.

<sup>13</sup> Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 194.

<sup>14</sup> ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 528. Л. 51—51 об.

вести наблюдение охранное отделение. Департамент полиции рассматривал Савинкова как лидера террористов и возможного организатора нового террора. По этой причине «трио» постоянно ощущало на себе пристальное внимание филеров. Поэтому письма Савинкову они адресовали на вымышленные имена: «Августу Мальбергу» либо «господину Лежневу».

Вероятно, только теперь, весной 1911 года, Савинкова посвятили в идею Новой церкви. Гиппиус и Философов активно обсуждали с ним написание «манифеста», подчеркивая, что «сущность идеи требует возрастания делания». Гиппиус наставляла своего ученика: «Дел же религиозно-общественных, действительно и сознательно таковых, кажется, еще не было... не было сознательной религиозно-революционной организации и, пожалуй, не мыслилась „христианская революция“ или „революционное христовство“».<sup>15</sup> Гиппиус к этому времени пришла в голову идея закрепить на бумаге главные положения «символа веры». Она обсуждает с Савинковым возможность создания «ордена», соединяющего террор и религию. Опубликованные программные документы (они, записанные Гиппиус, сохранились в архиве Савинкова) освещают суть идей, которыми Мережковские «с мучением насыщали» эсеров в течение четырех лет: «...свята и праведна русская революционная борьба за освобождение. Она была религиозной, хотя не всегда себя такой сознавала. (...) Идею Самодержавия надо „погасить в умах“».<sup>16</sup>

В первых числах апреля 1911 года «трио» вернулось в Россию. 16 апреля на квартире Мережковских состоялось собрание Совета Петербургского Религиозно-философского общества. «Христианская секция» при обществе была задумана как место единения тех, кто стоял на почве «религиозной революции». С. П. Каблуков сделал в дневнике запись: «За чаем Иванов говорил о влюбленности Мережковских в „эс-эров“, которую он охарактеризовал женской и демонической. В. В. Успенский назвал их „головотяпами“ при одобрительном смехе Франка и Струве, на что Д(митрий) С(ергеевич) обиделся. (...) Зина прочла „Терцины“ Савенкова (sic!), жившего в Cannes рядом с Мер(ежковскими), очень недурные и благонамеренные».<sup>17</sup> В августе 1911 года Гиппиус написала стихотворение «Не сказано», адресованное Савинкову. В нем террор освящен именем Христа:

Я знаю, какое сомненье расплавленное  
В тебе горит.  
Законы Господние дерзко пытающему  
Один ответ:  
Черту заповедную преступающему —  
Возврата нет.  
Но вот уж не друг и не раб тебе преданный я —  
Сообщник твой.  
Придя — перешел ты черты заповедные,  
И я с тобой.  
В углу, над лампадою, Око сияющее  
Глядит, грозя.  
Ужель там одно, никогда не прощающее,  
Одно — нельзя?  
Нельзя: ведь душа, неисцельно потерянная,  
Умрет в крови.  
И... надо! твердит глубина неизмеренная  
Моей Любви.  
Пришел ты с отчаяньем — и с упованиями...  
Тебя я ждал.

<sup>15</sup> См. письмо Гиппиус Савинкову от 11 марта 1911 года.

<sup>16</sup> Цит. по: Колеров М. А., Морозов К. Н. Религиозное сознание и революция // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 140.

<sup>17</sup> РНБ. Ф. 322. Д. 14. Л. 158—159.

Мы оба овиты живыми молчаниями,  
И сумрак ал.  
В измене обету, никем не развязанному,  
Предел скорбей.  
И все-таки сделай по слову несказанному:  
Иди. Убей.<sup>18</sup>

К 1911 году для русской интеллигенции наступило время переоценки происшедшего. Так, в политических статьях В. В. Розанова, оппонента Мережковских по вопросам террора, поворот «вправо» был очевиден еще в 1909 году. Его антиреволюционный настрой ярко выразился в статье «Сентиментализм и притворство как двигатель революции».<sup>19</sup> Розанов явно полемизировал со статьей Мережковского «Бес или Бог?», в которой писатель представлял террористов Фрумкину и Бердягина в религиозном ореоле.<sup>20</sup> С. П. Каблукотослал статью Розанова Гиппиус в Гомбург. Та в ответ писала: «Я слишком близко видела святость обратную (и слишком недавно), чтобы серьезно взглянуть на старческий, жульнический „радотаж“<sup>21</sup> Розанова».<sup>22</sup> Розанов отвергал любые попытки оправдания политического убийства. Теперь, в сентябре 1911 года (последнее предлагаемое в публикации письмо написано в это время), Россию потрясло известие об убийстве премьер-министра П. А. Столыпина. Вернувшись из Киева, куда Розанов был направлен в качестве корреспондента газеты «Новое время», он опубликовал крайне резкую статью «Отойди, сатана», направленную против «трио»: «Несчастную и благородную семью Столыпина точно распинают... Изуродовали 10-летнюю девочку — молчание; убили отца и мать — молчание... Почему же о любви даже к врагам политическим ничего не говорил в печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил Философов. (...) Когда случилось несчастье на Аптекарском острове? Что изранение 10-летней девочки сказало ли что-нибудь их сердцу? Ничего. „Не наша кровь пролита, все равно“. „Не наша и не наших“».<sup>23</sup> После взрыва дачи Столыпина на Аптекарском острове Розанов приезжал смотреть убитых.<sup>24</sup> Очевидно, что отношение «трио» к убийству Столыпина было иным. В «Воспоминаниях террориста» Савинков вспоминал, как после взрыва на Аптекарском острове за подготовку покушения на Столыпина взялась Боевая организация эсеров. Эсеры собирались сбросить бомбу с моста на проплывающий внизу катер с министром. Савинков выдвинул план открытого нападения на Столыпина в тот момент, когда тот переходил от Зимнего дворца к Лебяжьей Канавке к катеру.<sup>25</sup> Теперь Розанов обвинил литературу, и прежде всего «трио», в том, что это они довели читающее общество до того, что террорист идет убивать «с чувством глубокого права», как Богров, как все террористы.

Задача данной публикации прояснить смысл деклараций «тройственного союза». Публикуемые письма освещают подоплеку идей «нового религиозного сознания». Из четырнадцати писем десять написаны во Франции, четыре письма — в России. Все письма датируются по русскому календарю.

<sup>18</sup> Стихотворение было впервые опубликовано в альманахе «Сирин» (Сб. 3. СПб., 1914). См.: комментарий А. В. Лаврова к стихотворению «Не сказано» в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 494—495.

<sup>19</sup> Розанов В. В. Сентиментализм и притворство как двигатель революции // Новое время. 1909. 17 июля. № 11977. С. 3—4. См. также: Розанов В. В. Почему Азеф-провокатор не был узан революционером? // Русское слово. 1909. 27 янв. № 21; Розанов В. В. Между Азефом и «Ве-хами» // Новое время. 1909. 20 авг. № 12011. С. 2—3.

<sup>20</sup> Мережковский Д. С. Бес или Бог? // Образование. 1908. № 8. Отд. II. С. 91—96.

<sup>21</sup> От фр. gadotage — вздорная болтовня.

<sup>22</sup> РНБ. Ф. 322. Д. 6. Л. 47.

<sup>23</sup> Розанов В. В. «Отойди, сатана» // Новое время. 1911. 5 окт. № 12775. С. 3.

<sup>24</sup> Розанов В. В. Перед гробом Столыпина // Там же. 1 окт. № 12771. С. 4—5.

<sup>25</sup> Савинков Б. В. Воспоминания террориста // Савинков Б. В. Избранное. Л., 1990. С. 236—238.

Тексты писем печатаются по автографам, хранящимся в личном фонде Б. Савинкова (ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 9; 126; 204). По возможности сохраняем авторскую орфографию и пунктуацию.

## 1

Философов — Савинкову

⟨Начало декабря 1910⟩. Hôtel d'Iena Paris (16 me)<sup>1</sup>  
Дорогой Борис Викторович.

Очень нас огорчило, что Вы нас не застали, но кажется мы в этом не виноваты: Илюша сказал,<sup>2</sup> что вы оба будете около шести; в 5 ½ мы были дома.

Если можете, приходите завтра от 2 ½ до 4 ½. В 8 ч⟨асов⟩ мы обедаем у С⟨офьи⟩ Гр⟨игорьевны⟩.<sup>3</sup> Если Вы можете только вечером, то мы вернемся к 10 ч⟨асам⟩. Всего лучше, если Вы скажете нам по телефону между 1 ½ и 2 ½ или рано утром пошлете petit-bleu<sup>4</sup> с более определенным указанием часа.

Ваш Д. Ф.

Очень бы хотелось с Вами проститься, мы вас не задержим.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Штемпель на конверте. По нему датируется год; месяц — по содержанию. Адресовано: «Monsecur V. Lechneff 15 Bd Suchet. Paris. XVIe».

<sup>2</sup> Илья Исидорович Фондаминский (1879—1942; псевд. Бунаков) — видный эсер. В годы первой русской революции был уполномоченным ЦК. В 1910—1911 годах — представитель Заграничной делегации ЦК партии социалистов-революционеров и координатор в ее взаимодействиях с боевой группой Савинкова. Ему Гиппиус посвятила стихотворение «Верность» (1924). Под влиянием Мережковских пережил поворот от народничества к христианству (см.: Памяти И. И. Фондаминского // Новый журнал. Нью-Йорк, 1948. XVIII. С. 299—316). В дальнейшем в письмах именуется: «Илюша» или «Илья».

<sup>3</sup> Речь идет о Софье Григорьевне Пети (урожд. Балаховская; 1870—1966). С ней Мережковские познакомились в курортном городке St. Jean de Luz, расположенном на юге Франции (знакомство состоялось через З. А. Венгерову, подругу С. Г. Пети). С. Г. Пети родилась в Киеве (ее брат был женат на сестре философа Л. Шестова). Училась в Париже, закончила юридический факультет, став первой в Европе женщиной-адвокатом (до 1900 года женщины не допускались на юридическое поприще). В салоне супругов Пети в Париже на rue Alboni, 6 принимали русских и французских писателей. Там часто бывали Мережковские, Савинков, Фондаминские (см.: *Мережковский Д. С. Письма к супругам Пети* / Публ. Р. Нежинской // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 109—117).

<sup>4</sup> Письмо пневматической почты (в Париже).

<sup>5</sup> 4 декабря 1910 года «трио» уехало из Парижа.

## 2

Гиппиус — Савинкову

Hôtel des Roches Rouges Agay (Var)<sup>1</sup> Le 24.12.⟨19⟩10.

Милый друг.

Как хорошо, что мы на одном берегу и свидимся. Мы оказались не в Валескюре, а здесь, в этой дикой, сияющей пустыне. Еще не можем опомниться от солнца, с 9 часов спим, а я, едва избавившись от парижского ларингита, схватила инфлюэнцу и третий день почти лежу.

Вы взяли слово с А⟨малии⟩ — И⟨льи⟩<sup>2</sup> — приехать сюда, а я взяла на веру, что будут *все* старания приехать. После здешнего Нов⟨ого⟩ года. Что вы думаете?

У вас, верно, «весело» — у нас пустыня фивандская, а отель первого комфорта. Когда вы «отвеселитесь» и найдете денек для экскурсии к отшельникам?<sup>3</sup> От вас в



Агау, пожалуй, около 3-х часов езды — если вы за Монте-Карло. (Кстати, еще не приобрели фортуны?)<sup>4</sup>

От А⟨малии⟩—И⟨льи⟩ вы, вероятно, знаете, что мы в Париже видели Наташу.<sup>5</sup> Но об этом при свидании. Да и обо всем остальном. Привет Е⟨вгении⟩ И⟨вановне⟩.<sup>6</sup> Жду кратко строчки.

Примите наши лучшие тройственные чувства.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге. Агэй (Агау) — курортное место во Франции.

<sup>2</sup> Речь идет о близких друзьях Мережковских супругах Фондаминских (знакомство завязалось в 1905—1906 годах). Амалия Осиповна Фондаминская (урожд. Гавронская Малка Броча Ошеровна; ум. 1935) — подруга З. Гиппиус (ее письма к Гиппиус: РНБ. Ф. 481. Д. 98). В статье «Негасимая свеча» (Памяти Амалии Фондаминской) Гиппиус писала: «Амалия сама была „делом“ Божиим, — так ярко отразилась в ней единственность, особенность человеческой личности. Одна из ее особенностей это — непостижимое слияние, соединение многого, что обычно в человеке не соединено. В ней была прелесть вечно-детского, его веселая, капризная чистота, — и смелая, мужественная воля. А поверх всего, какая-то особая тишина. (...) Для того поневоле сдавленного круга, каким была довоенная революционная эмиграция, существование Амалии, единственной, „особенной“, имело громадное значение. Она вносила как бы волну свежего воздуха» (Последние новости. 1935. № 5230. 22 июня. С. 4). См. также статью Гиппиус «Единственная» (Памяти Амалии Фондаминской. Париж, 1937). В 1911 году Гиппиус посвятила Амалии Фондаминской два стихотворения: «Амалии» (Памяти Амалии Фондаминской. С. 47) и «Протяжная песня» (Русская мысль. 1912. № 5. Отд. I. С. 119, без посвящения). Фондаминские и Гавронские происходили из богатых московских купеческих семейств, оказывавших помощь Боевой организации эсеров из собственных средств.

<sup>3</sup> Мережковский в это время работал над романом «Александр I» (Русская мысль. 1911; 1912). Гиппиус готовила корректуру романа «Чертова кукла» (Русская мысль. 1911). 24 декабря 1910 года Философов сообщал редактору журнала «Русская мысль» П. Б. Струве: «Дмитрий Сергеевич с головой ушел в роман, а Зинаида Николаевна на днях отослала корректуру своего романа в редакцию Русской Мысли» (Дом Плеханова. РНБ. Ф. 753. Оп. 1. Д. 127. Л. 5 об.).

<sup>4</sup> Савинков жил неподалеку от Монте-Карло, в отеле «Радийум». Часто бывал в Монте-Карло, играя в казино. В декабре 1910 года он проиграл все свои деньги.

<sup>5</sup> Возможно, речь идет об эсерке Наталье Сергеевне Климовой (1884—1918) — ближайшей соратнице знаменитого максималиста М. И. Соколова (Медведя), участнице подготовки покушения на Столыпина в Петербурге (1906) на Аптекарском острове. Климова была дочерью члена Государственного совета от партии октябристов, являвшейся опорой Столыпина. В 1911 году Климова являлась членом Боевой группы Савинкова.

<sup>6</sup> Евгения Ивановна Зильберберг (урожд. Сомова, 1884—1940) — гражданская жена Савинкова с 1908 года, эсерка, член Боевой группы Савинкова в 1909—1911 годах. Была сестрой казненного в Петропавловской крепости эсера Л. И. Зильберберга.

### 3

#### Гиппиус — Савинкову

⟨Февраль 1911⟩. Hôtel de l'Estérel. Cannes (a.m.)<sup>1</sup>

Понедельник

Никаких вестей от вас, несмотря на обещание Е⟨вгении⟩ И⟨вановны⟩<sup>2</sup> насчет А⟨малии⟩. Говорят, она нам телефонировала в день своего приезда... Непонятно. Впрочем — «много есть, друг Горацио».<sup>3</sup>

Во всяком случае il nous tarde de<sup>4</sup> получить от вас весть.

Мы здесь в совершенно пустом отеле. — (Route de Frejus).

Тримадеры (или как их, чорт?)<sup>5</sup> прелюбопытно показали нам свою морду.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> Речь идет о жене Савинкова Е. И. Зильберберг.

<sup>3</sup> Реплика Гамлета из одноименной пьесы У. Шекспира.

<sup>4</sup> нам не терпится (фр.).

<sup>5</sup> Вероятно, правильно дромадер (от фр. dromadaire) — верблюд. Скорее всего, так Мережковские условились с Савинковым называть филеров.

## 4

Гиппиус — Савинкову

6. 2 (19)11 Hôtel de l'Estérel. Cannes (a.m.)<sup>1</sup>

Друг,

смотрите же, не забывайте нас. Приезжайте, когда хотите, к завтраку, к обеду, среди дня, — в последнем случае предупредите по телефону, чтобы мы не уехали кататься.

Ам(алия)<sup>2</sup> в последнюю минуту писала вам какое-то письмецо, стоя, в темноте — не успела даже адреса написать, просила меня. Вы получили?

Привет Евгении Ивановне. Ждем вас.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> Речь идет об Амалии Фондаминской.

## 5

Гиппиус — Савинкову

(Начало марта) (19)11 Hôtel d'Iena. Paris XVI me.<sup>1</sup>

Милый друг.

Не думайте, что я вас забыла с известиями. Меня и то совесть мучит. Совсем мы тут заболтались в глупой суете. С одной стороны — спорим все о «возвышенностях», с другой — квартиру нанимаем и голова шла кругом. От раздвоения вышло, конечно, так, что оба дела делаем плохо: и в спорах ничего не достигли, и квартиру наняли скверную: маленькую, неудобную и дорогую. Впрочем, это в сторону, а перехожу к более интересному, только заранее оговариваюсь: да будет мое письмо для вас одного в самом узком смысле, и лучше даже вы его уничтожьте. Впрочем, письмо всегда для одного, ибо другому я написала *иначе*. — Говорила с Амалией в открытую (а потом с Илюшей). Прежде всего: у Ам(алии) отнюдь не было впечатления, что вы тут что-то «не то». Она сказала: «Мне даже обидно, что он мог подумать, что это может повлиять на наши отношения. Точно он не знает, как я его *верно* люблю; да и все это он мне сам же говорил». Хотела даже написать вам об этом. Толковали о Б(орисе) Н(иколаевиче)<sup>2</sup> долго: она согласилась со мною совершенно, что если Илюше тяжело, то все должно итти насмарку, ибо это первое. «Даже если без оснований тяжело, то все равно», настаивала я, и опять она согласилась. Рассказала, что сейчас все идет мирно, что Ил(юша) и Б(орис) Н(иколаевич) в прекрасных отношениях, что Б(орис) Н(иколаевич) *твердо* убежден, что она его не любит, знает, что и не полюбит, и вполне примирился. Еще говорила Амалия, что жить втроем, она видит, нельзя, да и не нужно, и что вообще даже эта мирная жизнь ей не кажется постоянной, что в конце это так или иначе разойдется, что Б(орис) Н(иколаевич) думает ехать в Россию. С другой стороны, Ил(юша) говорил мне следующее: да, была тяжесть, но более всего в том, что его как-то поставили в положение «соперника». Что сейчас пока, действительно, все мирно, что он очень рад, что я тут все знаю, что Ам(алия) отчасти чувствует себя «под контролем». Прибавлю, однако, что Ам(алия) Б(ориса) Н(иколаевича) «не видит».

Вот факты действительности, а теперя прибавлю, для вас, несколько моего освещения. Понимаете ли вы, до какого *предела* сильно в Амалии «женское»? Есть слова, которые для нее совсем бесполезны, жалки перед нею, и вовсе с ней не нужно их говорить. У нее есть высшая женская честность, единственная любовь — к Илье, а это все, что можно бы от нее требовать; я верю, что с Б(орисом) Н(иколаевичем) она от Ил(юши) не уйдет, раз; и что инстинкт любви уберет ее от

доставления Илюше грубой и большой боли — два. А остальное — не в нашей, и ни в чьей власти, откровенно скажу вам, как другу, как человеку: Ам(алия) не может «увидеть» Б(ориса) Н(иколаевича), потому что он имеет нечто, что для нее загрохивает все другое: он ее любит. Для «женского» естества, даже самого чистого и святого, это «качество» всегда единственное и всеисчерпывающее. Вы Б(ориса) Н(иколаевича) любите, конечно, знаете его лучше; но скажу вам, сколько раз я его ни видела, даже раз пыталась с ним говорить наилучшим образом, — ничего не могла открыть; наталкивалась, извините, на какой-то «болванизм». Он ходит и сидит утопленником, а в разговоре отвечает мимо. Наверно, я преувеличиваю, но и не выходя сего за объективное мнение. Для Ам(алии) я даже хотела бы, чтобы это было не так. Т. е. мне хотелось бы, чтобы я могла с ней согласиться насчет ума и тонкости Б(ориса) Н(иколаевича), но пока мои усилия ни к чему не привели. Буду еще глядеть, но бранить его ей не буду; ведь то, главное «качество» в нем есть — бесполезно указывать ей на другие недостатки. Знаете, этой же инстинктивной жаждой быть объектом любви, бессильно-радостным расцветаньем под любовью, я объясняю даже привязку Амалии к Сорке (pardon, но ведь это письмо — документ тайный). Эта неприятная (никому, даже Б(орису) Н(иколаевичу) дама совершенно «аккапарировала»<sup>3</sup> Амалию, которая пассивно принимает ее «любовь», пассивно, однако, не без удовольствия. «Ее никто не любит, — говорит Ам(алия), — а я от нее ничего кроме добра не вижу. И я ее жалею». Любопытно, что между ними никакие разговоры как-то невозможны. Разве насчет портних. С(орк)а все о любви да о ревности твердит, на все лады (Ил(юша) уверяет пресерьезно, что это ее «профессия»), Амалия же насчет этих разговорных «профессиональных» тонкостей не сильна, да и слишком чиста и *цельна*. (Рассказала бы вам про несчастный обед у С(офьи) Г(ригорьевны)<sup>4</sup> с пьяным Бальмонтом,<sup>5</sup> старомодно скандалящим, да не стоит тратить усилий письма).

Вчера днем мы были с Дм(итрием) Вл(адимировичем) на годовщине свадьбы Ам(алии) и Ил(юши), пили чай. Был только Б(орис) Н(иколаевич) (в обыкновенном утопленническом состоянии). Амалия очаровательная, милая девочка, хорошенький, кокетливый зверок (sic!). Потому что, на мой взгляд, она все-таки *бессознательно* кокетничает с Б(орисом) Н(иколаевичем). Если ей это сказать — она непременно обидится, и будет права... а дела это не меняет. Очень интересно наблюдать, во мне просыпается беллетрист, думаю — и вам было бы понятно. Так необходимо и обезоруживающа эта милая нежность женщины, покоящейся в лучах любви (не все ли равно, чьей?). А грубо говоря — будь я таким Б(орисом) Н(иколаевичем), со влюбленностью, я бы с вечной атмосферы такого неуязвленного, инстинктивного и потому непреодолимого кокетства до последних чертиков дошел бы от вожделения. Понятно ли я пишу?

Еще много бы можно тут размазывать и прибавлять, но надеюсь, что вы остальное дополните сами. И так письмо длинно. А надо еще кое-что сказать.

Относительно Мариэтты,<sup>6</sup> всяких дел и, главное, наших с вами последних разговоров. Когда Илье мы их рассказали (он был немного в курсе) — то он попросил два дня на размышление, а затем пришел к нам вечером один. Много и открыто говорил о себе. Всего не передашь, но могу сказать, что вы его хорошо знаете. Относительно «партии» (новой) и «программы» он, по-моему, многое преувеличил и потому многое разрушил. Т. е. он сказал, что если *мы* чувствуем себя «призванными» и «сильными», то мы должны на это идти, а если нет, то нам следует мирно в ту же силу заниматься тоже «пропагандой», т. е. лично говорить с разными Мариэттами и писать фельетоны, а с «вами», парижскими... тоже иногда говорить «по душам», конечно, а иногда «мы с вами — вы к нам», надевать платья и сидеть по «журфиксам». (Мы уже были на журфиксе у Амалии однажды, где масса всяких «полуповешанных», нам неизвестных, да Сталь,<sup>7</sup> да Миролубов<sup>8</sup>). — Конечно, все это не теми словами было сказано, однако суть та же.

Я не очень верю, что бы это «мы к вам» могло выйти. Просто себе — не выйдет — от скуки. Что же касается до «по душам» — то в конце концов и это иссякнет, как ни «приятно поговорить с умными людьми». Надо же смотреть на жизнь трезво. В Илюшиных словах, кроме того, я нахожу некоторое понимание самой сущности наших идей. Т. е.: не только *мы* не считаем себя «призванными» и *никогда* не сочтем, но даже если бы другие выискались и объявили бы себя таковыми — то весьма все было бы подозрительно; этот принцип личного самоутверждения сильно противоречит принципу нашему, по которому «сила в немощи совершается»,<sup>9</sup> и коллектив с таким самодержавным камнем — вещь очень опасная, соблазнительная, дьявольская. *Qu'en dites vous?*<sup>10</sup> Сознание, я утверждаю, не должно затемняться природными склонностями, и я им покоряться не желаю, ни своим — ни чужим.

Довольно, устала, жду благодарности за труд — обстоятельного ответа. Адрес: 11 bis, Avenue Mercedes, Paris 16-e.<sup>11</sup> Разговор с Илюшей не кончен. Сообщу дальнейшее. Поклон и привет Евг(ени) Ив(ановне). Поцелуйте милую Марию Алексеевну.<sup>12</sup> А С(ергей) Н(иколаевич)<sup>13</sup> с вами еще?

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге. Письмо ошибочно датировано Гиппиус «12 м(арта)». Судя по письму от 11 марта, в это время «трио» уже поселилось на 11 bis Avenue Mercedes.

<sup>2</sup> Борис Николаевич Моисеенко (1879?—1918) — близкий друг Савинкова. Вместе с ним отбывал вологодскую ссылку. В 1904 году вступил в Боевую организацию эсеров по рекомендации Савинкова. Вместе с Савинковым и Азефом был одним из ее руководителей. После заключения в Бутырской тюрьме отправился за своей женой, террористкой М. А. Беневской, в Сибирь. Опасаясь репрессий в свой адрес после разоблачения Азефа, бежал из Сибири. С 1910 года оказался за границей. В конце 1910 года Б. Н. Моисеенко сделал предложение А. О. Фондаминской.

<sup>3</sup> От фр. *assaraquer* — захватывать, присваивать.

<sup>4</sup> Речь идет о Софье Григорьевне Пети. О ней см. примеч. 3 к письму 1.

<sup>5</sup> К. Д. Бальмонт в 1906 году эмигрировал во Францию, опасаясь ареста. В 1911 году жил в Париже в районе Пасси на ул. Тур.

<sup>6</sup> Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888—1982) — поэтесса, прозаик, критик. Познакомилась с Мережковскими в Москве в декабре 1908 года. В 1909 году по совету Гиппиус переехала из Москвы в Петербург, примкнув к деятельности Мережковских по созданию Новой церкви. Шагинян вспоминала: «Троице вдруг оказался необходимым некто — стоящий за скобками, за личным совершенством их круга, — четвертый. (...) Некий связной. Тот, кто, стоя близко к кругу, но вне круга, мог бы связать этот круг с народом, как церковь — с мирянами. Я и стала у Мережковских на три зимы этим „четвертым“» (*Шагинян М. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1986. Т. 1: Человек и время: История человеческого становления. С. 338*). С момента отъезда Мережковских за границу осенью 1910 года Шагинян посылала Гиппиус ежедневные письма-«регламентации» — подробный отчет о событиях происходивших в России (см.: *Письма М. Шагинян к З. Гиппиус // Новый журнал. 1988. Кн. 170. С. 248—280; Кн. 171. С. 170—237; Кн. 172—173. С. 395—461*).

<sup>7</sup> Правильно: Стааль Алексей Федорович (1872—1949) — известный адвокат, видный общественный деятель, один из лидеров Крестьянского союза в 1905 году, член его Центрального бюро.

<sup>8</sup> Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939) — публицист. Был одним из учредителей Религиозно-философских собраний. В 1911 году Миролюбов редактировал журнал «Современник». Жил в эмиграции.

<sup>9</sup> Неточная цитата: «сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9).

<sup>10</sup> Что об этом скажете вы? (*фр.*).

<sup>11</sup> В мемуарах Гиппиус писала: «Квартирка скоро была найдена, — в Пасси, в новом доме, не очень приятная, мало удобная для троих, зато очень дешевая: я даже решила, что буду за нее платить сама» (*Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. С. 195*).

<sup>12</sup> Мария Алексеевна Прокофьева (1883—1913) — эсерка. Из купеческой семьи старообрядцев. Участница заговора против царя (1907), невеста известного эсера Е. Созонова. Была приговорена к смертной казни, замененной ссылкой на вечное поселение в Сибирь, откуда бежала за границу. Мережковские познакомились с ней в Париже в 1908 году. В 1909—1911 годах она была членом Боевой группы Савинкова. Переписка М. Прокофьевой с Е. Созоновым с пометами Савинкова хранится в архиве Мережковских (РНБ. Ф. 481. Д. 236; 244). Узнав от Савинкова о смерти Е. Созонова, Философов в письме от 3/16 декабря 1910 года, адресованном А. П. Философовой (с пометой «Письмо это не для всех»), сообщил о Прокофьевой: «Она в свое время бежала с каторги, и свято ждала его. У нее чахотка. (...) Известие о смерти любимого человека, вероятно, убьет и ее» (Там же. Д. 145). Угасающая от туберкулеза Прокофьева перееха-

да жить в семью Савинкова в марте 1911 года. Ей Савинков посвятил роман «То, чего не было» (Заветы. 1912; 1913).

<sup>13</sup> Сергей Николаевич Моисеенко — эсер-террорист, брат далее упоминаемого в письмах эсера Б. Н. Моисеенко. Принимал участие в убийстве петербургского градоначальника В. Ф. фон дер Лауница (1906). Участвовал в покушениях на Николая II, П. А. Столыпина, великого князя Николая Николаевича. Член Боевой группы Савинкова. Жил вместе с семьей Савинкова.

## 6

## Философов — Савинкову

⟨11 марта⟩ ⟨1⟩911 11 bis Avenue Mercedes, Paris XVI<sup>e</sup>

Дорогой друг.

Посылаю Вам след⟨ующие⟩ книги:

- 1) Мережковский. «Не мир, но меч».<sup>2</sup>
- 2) С. Трубецкой. «Учение о логосе».<sup>3</sup>
- 3) Вл. Соловьев — «Отвлеченн⟨ые⟩ начала».<sup>4</sup>
- 4) «Русск⟨ая⟩ Мысль» II.<sup>5</sup>
- 5) Альманах «Шиповник».
- 6) Чулков — рассказы.<sup>6</sup>
- 7) Тимковский — рассказы.<sup>7</sup>

Словом — и легкое, и не легкое чтение. Выбор, конечно, случайный, в зависимости от того, что было под руками.

Ваше письмо с жадностью прочли. Кое-что, касающееся «манифеста», вызывает во мне сомнения.

Во-первых, думается, что «манифест» не имеет такого значения для усвоения наших идей, как Вы предполагаете. Кое-что, и важное, мы все-таки сказали. Записки религ⟨иозно⟩-фил⟨ософского⟩ общества, бесконечные статьи и т. д. уяснили некоторые существенные наши положения.<sup>8</sup> Для *рядового* человека программа, конечно, важна. Но для людей «первого сорта» она почти ничто. Что такое эс-дэкская программа без Маркса, Энгельса, Штоммлера,<sup>9</sup> кантианцев, материалистов etc, etc.

Когда мы будем *вместе*, программа будет очень нужна для дальнейшей *кооперации*. Программа, конечно, не омега, но и не альфа: это пятая или десятая буква алфавита.

Альфа — *вне программы*. Это краеугольный камень, первая основная предпосылка всего. Думается, что для таких людей, как Вы и Илюша, утверждение альфы *важнее всякого манифеста*. Здесь мы можем Вам помогать, но утверждать альфу для *вас* мы не в силах, потому что это личная, и очень интимная вещь. Можно доказывать, что женщина прекрасна, умна, будет хорошая жена, и с приданым, но заставить *влюбиться* в нее невозможно. Наша же альфа вопрос какой-то таинственной влюбленности.

Как бы громко ни был сказан наш манифест, он остается для *вас* только «любопытным» документом, если основная предпосылка его будет вами *не* принята. Я готов согласиться, что нам необходимо сделать сводку наших идей, сделать практические выводы (общественные) из наших предпосылок. Но чтобы эти выводы были действительны, необходимо, чтобы вы с Илюшей их проверили и дополнили, сделать же это вы не сможете, если не признаете альфу. Не думайте, что я утверждаю какой-то заколдованный круг. Совсем нет. Наоборот, я страшно верю в скрытые потенции признания «Альфы», потенции, которые в Вас несомненно есть. Я боюсь, что схождение на манифесте, или расхождение на нем, не будет соответствовать существу дела и задавит «потенции».

Представьте себе, что прочитав манифест, Вы его отвергнете. Что из этого следует? Да ничего! *Ложное* расхождение. Вы отвергаете «вывод» из посылки, от носительно правильности или неправильности которой Вы молчите.

Или обратно. Вы признаете практичность и целесообразность программы. Но тогда, очевидно, Вы эту правильность и практичность признаете только для тех, кто утверждает альфу. Словом все дело в альфе. За детали выводов мы не стоим. Больше того, мы думаем, что без Вашей помощи мы их и сделать не можем. Помочь же Вы нам можете только выяснив свое утвердительное отношение к альфе.

В итоге я лично не придаю такого большого значения программе, и именно для вас, для общественников. Скорее она нужна тем, кто верит в альфу и сияет в этой вере (?), не прикладывая ее к общественности (отчасти *c'est notre cas*).<sup>10</sup>

Оговариваясь, что это мое личное мнение, и тут мы находимся пока что в периоде споров.<sup>11</sup>

У нас довольно благополучно. Зинаида Николаевна (нрзб.) простудилась. Схватила бронхит. Но благодаря дивной погоде постепенно оправляется.

Амалия вернулась. Видели ее и Илюшу. Немецкий профессор осматривал Амалию, и нашел, что ее недуг очень серьезен, (нрзб.) Илюша крайне встревожен.

Илюша просидел у нас вчера целый вечер, и под впечатлением беседы с ним я и написал Вам об «альфе». Мне по крайней мере кажется, что для него лично все дело в альфе.

На днях были на вечере в пользу каторжан. Слушали воспоминания В. Н. Фигнер.<sup>12</sup> Чтение ее произвело на нас столь тягостное впечатление, что мы даже в антракте к ней не подошли. Боялись обидеть ее. Вот подите ж! Герой. 20 лет Шлиссельбурга. Добродетель etc. etc., а не имеет сердца, не волнует мысли. Скорее отталкивает. Впрочем, может быть, это мы, такие окаянные.

Душевный привет Евгении Ивановне, Марии Алексеевне,<sup>13</sup> Сергею Николаевичу<sup>14</sup> и вообще всему Теулю.<sup>15</sup>

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> В сборнике Д. С. Мережковского «Не мир, но меч. К будущей критике христианства» (СПб., 1908) была помещена статья «Революция и религия», ставшая основополагающей в концепции религиозной революции «триумвирата».

<sup>3</sup> Речь идет о книге С. Н. Трубецкого «Учение о логосе в его истории» (1906).

<sup>4</sup> Речь идет о философском сочинении В. С. Соловьева «Критика отвлеченных начал» (см.: Соловьев В. С. Собр. соч. Пб., [1911]. Т. 2).

<sup>5</sup> Во втором номере журнала «Русская мысль» за 1911 год была опубликована II часть романа Гиппиус «Чертова кукла».

<sup>6</sup> Возможно, речь идет о следующих изданиях Г. И. Чулкова: Чулков Г. И. Соч. СПб., [1911]. Т. 1, 2.

<sup>7</sup> Вероятно, речь идет о сборнике: Тимковский Н. И. (Кривичский). Повести и рассказы. М., 1911. Т. 7.

<sup>8</sup> Идеи «новой религиозной общественности» освещались на заседаниях Петербургского Религиозно-философского общества (см.: Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. СПб., 1908. Вып. I—II). Первое заседание, состоявшееся 3 октября 1907 года, было посвящено докладу С. А. Аскольдова «О старом и новом религиозном сознании» (Там же. Вып. I. С. 1—10). 15 октября 1907 года В. В. Розанов прочитал доклад «О нужде и неизбежности нового религиозного сознания» (Там же. С. 29—36). 8 ноября 1907 года был прочитан заочный доклад находившегося за границей Мережковского «О церкви грядущего» (Там же. Вып. II. С. 1—4). Изложению декларируемых «триумвиратом» идей также посвящены: Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. Царь и Революция; Мережковский Д. С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб., 1908; Мережковский Д. С. Бес или Бог?; Философов Д. В. Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам. М., 1912.

<sup>9</sup> Правильно: Штаммлер (Stammler) Рудольф (1856—1938) — немецкий теоретик права. В книге «Хозяйство и право с точки зрения материалистической истории» (1896, рус. пер. 1899) пытался опровергнуть марксизм, отождествляемый им с экономическим детерменизмом.

<sup>10</sup> это наш случай (фр.).

<sup>11</sup> Гиппиус писала: «И на почве „программы“, как мы называли, у нас начались с Димой вечные споры — серьезные несогласия» (Кн. I. С. 146).

<sup>12</sup> Вера Николаевна Фигнер (1852—1942) была членом исполнительного комитета партии «Народная воля», участницей покушений на Александра II в 1880 году в Одессе и в 1881 году в

Петербурге. Провела 20 лет в Шлиссельбургской крепости в одиночном заключении. С ней Мережковские познакомились в парижском салоне С. Г. Пети в 1908 году (в ноябре 1906 года департамент полиции отпустил Фигнер за границу, где она прожила до 1915 года). После разоблачения Азефа отстранилась от партии эсеров и переехала в Швейцарию. В 1910 году основала в Париже Комитет помощи каторжным тюрьмам. Выступала с докладами в Англии, Бельгии, Швейцарии.

<sup>13</sup> О М. А. Прокофьевой см. примеч. 12 к письму 5.

<sup>14</sup> О С. Н. Моисеенко см. примеч. 2 к письму 5.

<sup>15</sup> В письме Р. М. Плехановой (жена Г. В. Плеханова; была лечащим врачом Прокофьевой) от 27 мая 1911 года Савинков, обсуждая место, пригодное для проживания больной М. Прокофьевой, писал: «Наша дача в The'oule (хозяин соглашается ее сдать) одно из немногих мест по побережью, где живут летом (морские купанья, летний курорт). Так как с юга он защищен, то температура сносная» (Дом Плеханова. РНБ. Ф. 1094. Оп. 2. Д. 236. Л. 6).

## 7

## Гиппиус — Савинкову

11 м(арта) <19>11 11 bis Avenue Mercedes, Paris XVI<sup>1</sup>

Дорогой друг, письмо Д(митрия) В(ладимировича), хотя и точное (не везде), требует, однако, дополнений.<sup>2</sup> К тому же оно написано столь скверно, что даже я едва могла его разобрать. Можно ли писать таким почерком! Неточность есть одна: будто бы все это его «личное мнение», а я и Д(митрий) С(ергеевич)<sup>3</sup> что-то думаем другое. Нет, против его главных положений мы менее всего возражали. Вспомните, в последнем разговоре с нами, когда Д(митрий) С(ергеевич) упомянул о необходимых совместных внутренних переживаниях, мы все четверо были согласны. Все говорилось в предположении, что на этой «альфе» мы можем соединиться, так как *воля* ваша в эту сторону направлена. Вопрос вовсе не в том, соединяться ли с нами *помимо* «альфы». Слишком ясно, что этого нельзя. Но вопрос, *как* нам итти к этой альфе. Или вовсе не итти, а просто «ждать благодати». Тут-то и начинается мое «особое мнение». Потому что, скажу вам по правде, я не очень верю в пассивное ожидание, думаю, что *воля* и *дело* важны в каждое мгновение жизни, так как «нет ничтожного мгновенья», — по слову Баратынского.<sup>4</sup>

К вере толкает жизнь; вера же толкает к жизни, — и вот так получается необходимая цепь, — или, если хотите, лестница вверх. Вас, как никак, жизнь очень близко притолкнула к вере, и, пожалуй, теперь вам не хватает лишь одного последнего усилия, чтобы конкретно очутиться на нашей ступеньке. Я не отрицаю «благодати»; но думаю, что если ждать твердых «огненных языков»,<sup>5</sup> то их не дождешься. Ибо не приходят и они «приметным образом».<sup>6</sup>

Сейчас Амалия по телефону сказала, что приехала Евг(ения) Ив(ановна). Надеюсь скоро ее видеть, расспрошу о М(арии) А(лексеевне), о которой много и часто думаю. Мне, опытному в ее болезни человеку, она тогда очень *не* понравилась.<sup>7</sup>

15 марта.

Не окончила в свое время письмо — теперь дописываю его уже после вашего ответа Дм(итрию) Вл(адимировичу). По поводу этого ответа мы, по обычаю, много ссорились, — и, в сущности, напрасно. То, что говорю я и что говорит Д(митрий) В(ладимирович) — это лишь два конца одной и той же палки. Почему мы держимся за разные концы — это просто разность характеров, я думаю. Но дело не в нас, а в вас. И даже дело в деле, — однако хотелось бы, чтобы *вы* уяснили себе до конца и всестороннее положение всех нас.

Я даже не знаю, так ли мы согласны с вами, — я и вы, — как это кажется на словах. Когда вы, например, говорите, что нужен Маркс, из которого вышла программа, то, в сущности, вы склоняетесь к Д(митрию) В(ладимировичу). Он и утверждает, что мы должны стремиться... т. е. даже не стремиться, а просто желать

вести медленную, посильную, литературную пропаганду, продолжать говорить, где случиться и как случиться — «о». Как раньше.<sup>8</sup> Пусть мы будем такими Марксиками (*toute proportion gardee*)<sup>9</sup> — а после придут другие, приспособят и сведут в программу, что нужно. Из ваших слов выходит, что ежели основательно поступать и не уторапливаться, для себя, — то так оно лучше. Естественнее. А если вы стоите за «программу» сейчас, то лишь потому, что вам, во-первых, она интересна, как более легкое и быстрое вникновение в идею, а во-вторых, интересует и *возможное* согласие с нею, значит, и дело ее быстрого воплощения.<sup>10</sup> Вы и не можете так судить, — вы стоите *вне*. Поймите разумом (вполне можете), что с моей позиции дело обстоит иначе. Мне представляется, что эта программа раньше всего остального нужна *для нас*. Если бы вы, хоть на одну секунду, хоть в малой черте, почувствовали, что мы и вы — это «мы», то поняли бы и не одним разумом, как она нужна для нас, для нашего; и... и... скажу вам прямо, тогда мы и не спорили бы ни между собой, ни с вами, тогда мы бы вас и не боялись в этом вопросе. Вы понимаете, в каком смысле я говорю: мы вас боимся? Это очень трудно объяснить, но я постараюсь.

Если бы мы в высокой степени не верили вам и в вас — я бы говорить с вами, внешними, об этом не стала. Но вот — говорю. Десять лет жизни мы отдали на возвращение этого дела, — на действие внутреннее, первое, на делание глухое, внутрикружковое, — вокруг которого уже и завивались все внешние проявления устройства.<sup>11</sup> Чем больше мы *религиозно делали* — тем меньше мы могли говорить «о» религии. Беседовать. Думаю, и во всем так. Если бы мы больше делали в общестственности — то стали бы меньше и не так легко говорить о ней. Сущность же идеи нашей требует *возрастания делания*. Можно двояко уронить идею: продолжать говорить «о», т. е. отказаться от возрастания делания, — это, мне кажется, опасность в уклоне Д(митрия) В(ладимирови)ча сейчас. И вторая опасность урона — бросить эту идею целиком в толпу раньше времени, неосторожно, надрывно, не считаясь с тайной тайного круга. Положить все на *свои* силы, орационалить что-ли иррациональное, увлечься внешней легкостью воплощения, превратить незаметно идею *Новой Церкви* в идею *новой партии*. Вот чего, я думаю, опасается Дм(итрий) Вл(адимирович). Вы это легче поймете, если я вам скажу, что со стороны религиозной на нас лежит большая «реальность», которую надо оправдать, а уронить которую было бы очень страшно. Опасения Дм(итрия) Вл(адимирови)ча мне близки, но столь же ясно я вижу другую опасность, противоположную, и знаю, что остановка, повторения, не оправдание — такой же урон идеи. Я сейчас чувствую себя сжатой с двух сторон, вернее — с двух сторон обрывы и надо найти доску, по которой пройти.

Считаю, что если нет случайностей (а вряд ли они есть), то нас с вами столкнует лицом к лицу — мудро. От нас и от вас зависит, воспользоваться этой мудростью или нет. Страшно ложное расхождение, да, — и я его боюсь даже больше (по отношению вас), чем ложного схождения. Чтобы избежать второго — вам достаточно понять разумом, просто узнать, что мы касаемся, коснулись вещей, неразрывно связанных с нашей идеей, которые «бросить в толпу» слишком рано — мы *боимся*. Где замешалась кровь — вы сами знаете, как нужно быть осторожным.<sup>12</sup> А кровь или Кровь — ведь это, в существе, одно и то же. Говорю не ясно, но надеюсь на ваше чутье: для ясных определений нужны слова в другом порядке.

Определенно, обще, я могу сказать вам следующее: ведь вся наша идея покоится на исчерпывающих двух заповедях; равноценных и составляющих как бы одну, в которой «весь закон и пророки»: заповедь «о Боге» и «о ближнем».<sup>13</sup> Это слишком известно — и слишком неизвестно, нераскрыто. И до сих пор, везде, всегда — разорвана эта единая заповедь. Альфа без омеги или омега без альфы.<sup>14</sup> До такой степени они разорваны и в истории — и в каждой душе человеческой, что иногда ужас берет, и кажется (соблазн!), что их даже и нельзя соединить. А между тем без соединения нет ни настоящей религии, ни настоящей общестственности, и даже нет настоящей *личности*, ибо даже у того, кто религиозен и общественен — у того эти два



качества помещаются в разных углах души, точно в нем две души; в личности нет единства, а что уж за личность без единства. Дел же религиозно-общественных, действительно и сознательно таковых, кажется еще не было; pour processus<sup>15</sup> — можно сказать: не было сознательной религиозно-революционной организации и, пожалуй, не мыслилась «христианская революция» или «революционное христовство». Если бы вы случайно знали ближе историю церквей и сложную метафизику истории религий — вы бы, конечно, легче согласились со мною.

Боюсь, что я уже и так заехала в дебри метафизики; но ведь если *будущему* Ивану и Сидору не придется в этой метафизике разбираться с самого начала, то именно потому, что мы в ней должны разбираться, она должна *быть за* нами, и для Сидоров ощутимая. Как ни верги при этом, а есть и людские «сорта»; пусть не в смысле качества (не хочу оценивать, кто «лучше», «выше»), но хоть в смысле разности; и мы с вами, например, сорта в некотором смысле одного, так что «в кую меру» (sic!) нам что тут понимать потребно, в тую и вам.

Я имею слабость злоупотреблять метафизикой, оттого и забоялась «дебрей», но, в конце концов, метафизические разговоры с вами — вещь столько же полезная была бы, сколько приятная. Это не могло бы обратиться во вред (как у меня с Бердяевым и др.)<sup>16</sup> и, конечно, не осталось бы праздными упражнениями ума. Редко встречается индивидуальность, соединяющая ум с волей. В вас есть превосходные возможности этой гармонии, — возможности; но как оно ценно!

А затем, не договорив ничего, как следовало бы (сознаюсь!), кончаю все-таки письмо. Программа, profession de foi,<sup>17</sup> манифест, — то или другое, или третье — что-нибудь да будет, конечно.<sup>18</sup> Что — в зависимости, какие «мы» будем его творить. Если мы «пребудем» одни, с естественным преобладанием альфы, то может случиться, что явится документ «для бутылки», закупорим и бросим в море, авось умелый выловит. Другое дело, если найдутся... как сказать? Ведь не «товарищи»? Ну, близкие, ближние вроде вас. Тогда можно и самим еще не «закрывать лавочку».

Кстати: вашей старой лавочки я совсем не понимаю.<sup>19</sup> Чернов ушел,<sup>20</sup> Авксентьев ушел,<sup>21</sup> и все друг другом недовольны. Дедушка угнетен,<sup>22</sup> Илюша — «un jouet dans les mains de parti»,<sup>23</sup> по выражению Соркиного мужа. Затхлость, скука, вырождение. Натансоны<sup>24</sup> и проч(ие) с пеной у рта ругают мою Куклу. Вот, говорят, и «Зеленый Конь» появился.<sup>25</sup> Очень остроумно! Да, а что вы скажете насчет второй части? Д(митрий) С(ергеевич) вдруг стал меня теперь защищать, но я уже так защитила себя от его мнения, что и похвалы его меня не трогают. Д(митрий) Вл(адимирович) кричит свое, что «надо уважать было (мне) святыню Натансона, ибо все равно это мертвая святыня». Ну, а я не могу на всем и всех сплошь «поставить крест»; внутренне делю — и буду делить «да» от «нет». До свиданья, до след(ующе)го раза. Не прислать ли еще книжек? С Евг(енией) Ив(ановной) пришло.

Ваша З. Г.

Д(митрий) В(ладимирович) говорит, что Чернов похож на дьякона; и при том весь ластится от благополучия и самодовольства. А вы-то на него надеялись.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> Имеется в виду письмо 6.

<sup>3</sup> Вероятно, Мережковский не принимал активного участия в этих обсуждениях. Он был поглощен работой над романом «Александр I». На следующий день, 12 марта 1911 года, он отослал в «Русскую мысль» В. Я. Брюсову V главу романа. Относительно Философова Гиппиус отметила, что к разработке «манифеста», развязывающего отношение к самодержавию и к революции, он отнесся отрицательно: «...давно уже перестал верить: 1) в Дмитриеву (Мережковского). — Е. Г.) способность к какой-либо реальности, глядя на него, как на риториста, 2) вообще в нашу способность реализовать идеи. (...) И на почве „программы“, как мы называли, у нас начались с Димой (Философовым). — Е. Г.) вечные споры — серьезные несогласия» (Кн. I. С. 146).

<sup>4</sup> Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На посев леса» (1846). У Баратынского: «Нет на земле ничтожного мгновенья».

<sup>5</sup> «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2 : 3).

<sup>6</sup> «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом» (Лук. 17 : 20).

<sup>7</sup> Отчасти поездки Мережковских на заграничные курорты были связаны с периодическим обострением у Гиппиус легочного процесса.

<sup>8</sup> Гиппиус отмечала в дневнике: «Дима все резче стоял против всего: против всякой „программы“, против всяких тяготений к действиям, к выявлению, к близости с революцией и революционерами» (Кн. 1. С. 148).

<sup>9</sup> все пропорции сохранены (фр.).

<sup>10</sup> Гиппиус писала: «За идею „программы“ Борис уцепился. Говорил, что, в самом деле, толком ничего не знает, — да и как, собственно, это узнается? „Полное собрание Мережковско-го, что ли, читать?“» (Кн. 1. С. 147—148).

<sup>11</sup> Речь идет о Новой церкви, мысль о которой возникла у Мережковских в 1899 году. Почти одновременно в 1901 году по инициативе Мережковских в Петербурге были организованы Религиозно-философские собрания. Органом нового направления стал журнал «Новый путь», в котором публиковались протоколы собраний (см.: Записки Петербургских религиозно-философских собраний 1902—1903 гг. СПб., 1906). По версии Гиппиус — это были попытки интеллигенции найти точки соприкосновения с духовенством и церковью. Заседания собраний Мережковские использовали для поиска участников тайных богослужений, которые происходили у них на квартире. Религиозно-философские собрания, запрещенные в апреле 1903 года по распоряжению Синода, возродились в 1907 году с организацией Петербургского Религиозно-философского общества. На заседаниях общества часто дебатировались политические вопросы, инициируемые Мережковскими.

<sup>12</sup> В мемуарной книге Гиппиус вспоминала беседы с Савинковым в Париже в начале их знакомства: «Главная тяжесть была в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью» (Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. С. 162).

<sup>13</sup> «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 35—40).

<sup>14</sup> «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1: 8).

<sup>15</sup> для процесса (фр.).

<sup>16</sup> Николай Александрович Бердяев (1874—1948) поддерживал идеи Мережковских о Новой церкви до 1908 года. Разрыв отношений произошел в Париже, когда философ заявил о возвращении в православие. Бердяев писал: «После сравнительно короткого периода очень интенсивного общения, а с З. Н. Гиппиус и настоящей дружбы, мы большую часть жизни враждовали и в конце концов потеряли возможность встречаться и разговаривать. (...) Мережковские всегда имели тенденции к образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их в литературе. (...) Мережковские всегда претендовали говорить от некоего „мы“ людей, которые с ними близко соприкасались. К этому „мы“ принадлежал и Д. Философов. (...) Это „мы“ они называли тайной трех. Так должна была сложиться новая церковь Св(ятого) Духа. По характеру своему я совсем не подходил к такого рода „мы“. Но я тоже считал себя выразителем „нового религиозного сознания“ и в каком-то смысле остался им и доныне. Атмосфера Мережковских, в силу реакции, очень способствовала моему повороту к Православной церкви» (Бердяев Н. А. Самопознание. М.; Харьков, 1998. С. 389—390). Бердяев полемизировал с идеями Мережковских, смешивающих атеистическую революционность с христианством. В статье «Мережковский о революции» (1908) философ резко развенчивал увлечение писателя революционным максимализмом. В ряде статей Бердяев обвинял русскую интеллигенцию в увлечении революцией (см.: Бердяев Н. А. Духовный кризис русской интеллигенции: Статьи по общественной и религиозной психологии (1907—1909). СПб., 1910).

<sup>17</sup> символ веры (фр.). В дневнике Гиппиус отмечала: «...с осени уже, в Спб. еще, мне стало думать, что надо как-то закрепить наше, составить и написать хоть главные положения нашей profession de foi, что ли, не знаю, как назвать. И чтоб было там и наше отношение к общественности. К данному моменту тоже, к действию, к самодержавию, к революции и т. д.» (Кн. 1. С. 146).

<sup>18</sup> В архиве Савинкова сохранились записанные рукой Гиппиус документы: «Община» и «Союз Земли и Правды». Эти документы являются убедительным свидетельством проповеди «триумвирата»: «Исторический путь к Богочеловечеству, к Царству Божию на земле — есть путь борьбы, восстания и восхождения. Поэтому святы революционные выступления народов, стремящихся к земной свободе. (...) Тем святее и действеннее революционные выступления, чем они сознательнее, т. е. чем определеннее выражено в них религиозное устремление воли.

В частности, свята и праведна русская революционная борьба за освобождение» (цит. по: *Колеров М. А., Морозов К. Н.* Указ. соч. С. 140).

<sup>19</sup> Речь идет о партии эсеров, которая после разоблачения в провокаторстве в 1908 году руководителя Боевой организации Е. Ф. Азефа переживала кризис.

<sup>20</sup> Чернов Виктор Михайлович (псевд. Я. Вечев, Гарденин; 1873—1952) — один из основателей партии эсеров, член ее ЦК. В 1899 году уехал за границу и возглавил заграничную организацию социалистов-революционеров. Был главным теоретиком и идеологом партии эсеров с 1901 года, автором программ партии, редактором центрального органа эсеров «Революционной России». Считая себя ответственным за бегство Азефа, заявил об уходе в отставку. В апреле 1911 года вышел из состава Заграничной делегации партии, но временно согласился исполнять обязанности редактора журнала «Социалист-революционер» (Париж, 1911—1912). В 1911 году был одним из редакторов журнала «Современник».

<sup>21</sup> Авксентьев Николай Дмитриевич (псевд. Жорес; 1878—1943) — эсер. Занимал в партии социалистов-революционеров высокое положение. Являлся самым ярким представителем ее правого крыла. Выступал против продолжения экстремистской тактики партии. Был одним из идейных вдохновителей ликвидаторского течения в партии, открыто заявившего о себе в изданном в Париже журнале «Почин» (1912. № 1). Сотрудники журнала выступали за прекращение террора и за активное участие в деятельности культурно-просветительных организаций.

<sup>22</sup> Речь, вероятно, идет об эсере Михаиле Михайловиче Чернавском (псевд. Дед; 1855—1943). Начальное образование получил в духовном училище и духовной семинарии. Участник «хождения в народ». Был на каторге. Через 24 года, в 1900 году, вернулся в Россию. По доносу Е. Ф. Азефа был арестован. После разоблачения Азефа летом 1909 года вступил в Боевую группу Савинкова (см.: *Чернавский М. М.* В Боевой организации // Каторга и ссылка. 1930. № 8—9. С. 26—65).

<sup>23</sup> игрушка в руках партии (фр.).

<sup>24</sup> Натансон Марк Андреевич (1850—1919) — член ЦК партии эсеров. Был одним из организаторов и главным конспиратором партии «Народная воля». Один из создателей программы и тактики «Земли и воли». Неоднократно был арестован. Разоблачение Азефа настолько потрясло Натансона, что он вышел в отставку в 1909 году. После Февральской революции приехал в Россию со второй «пломбированной» партией русских эмигрантов. Один из лидеров левых эсеров. Активный сторонник сближения левых эсеров с большевиками. В 1919 году выехал за границу для лечения (через него большевики выслали большое количество золота для помещения в швейцарские банки).

<sup>25</sup> Речь идет о романе Гиппиус «Чертова кукла. Жизнеописание в 33-х главах» (Русская мысль. 1911. № 1—3; отд. изд. М., 1911). «Зеленый конь» — намек на повесть Савинкова «Конь бледный» (Русская мысль. 1909. № 1).

## 8

## Гиппиус — Савинкову

(Вторая половина марта 1911) 11 bis Avenue Mercedes, Paris XVI<sup>1</sup>

С объективной радостью вижу, что вы не только хороший беллетрист и поэт, но и критик отличный! Литератор de tous cotes!<sup>2</sup> Я, кажется, в конце концов, буду просить, чтобы вы мне помогали обзоры писать в Русскую Мысль!<sup>3</sup> Ей Богу, я очень серьезно довольна вашей критикой. C'est un certain point de vue.<sup>4</sup> Жду такой же ответительно третьей части, которая вам посылается.<sup>5</sup> Не могу сказать, чтобы я во всем была согласна. Например, в том, что я люблю Юрулю. Я его слишком знаю, знаю, что он везде — и *нигде* — что же тут любить? При этом вы еще не правы, что он живой: таких цельных Юрулей нет, а в каждом из нас его понемножку.<sup>6</sup> Умен ли? В меру своего *бытия*... Я желала, чтобы Михаил<sup>7</sup> ему возразил умнее.

Баратынский (опять!) сказал:

Мы все блаженствуем равно,  
Но все блаженствуем различно...<sup>8</sup>

(Вернее было бы «несчастливы»...). Но это я к тому что

Юрулю все бранят равно,  
Но все бранят его различно...

— а я любопытно купаюсь в разнообразии браней и сильно поучаюсь.<sup>9</sup> Конечно, конечно, я «вас» не *знаю*;<sup>10</sup> и, зная это, я была наивозможно скромна. Чуть касалась, отодвигала старательно на задний план, затираала... Но для вечного Юрули мне надобен был этот фон, современный. За это «чуть касанье» меня тоже ругают, еще как! И пресправедливо. Пусть вам Евг(ения) Ив(ановна) расскажет о Кочаровском.<sup>11</sup> Словом — все «различности» у места и справедливы. Вот только, пожалуй, насчет «Зеленого Коня» — неважно. Но и то пища. Говорят еще, что рассказ о Петрове неверен. Это уж — по вашему адресу.<sup>12</sup> Я тут ручаюсь за точность, и за что купила, за то и продаю. Рассказывать же ему — почему нет? Со стороны мне виднее, что «там» — большая привычка к смертным бедам.

Но спешу перейти на ваши стихи. Положительно, кроме одной строки (6-ой, где некрасиво окончание «собой») и кроме одной рифмы («сын и дым», что не рифма), они *очень* хороши. «Зеркало воспоминаний»<sup>13</sup> — удивительно. Так же хороша след(ующая) строка. И три: «Я не был призван...» и т. д. В первой строке вместо «изображенье» я бы поставила «отображенье». Но, честное слово, вы вполне можете, могли бы, писать стихи *первого* сорта. Вы знаете, *уметь* писать стихи очень важно для беллетриста: уметь заставлять слова ложиться по желанию.

Что касается моего письма — я упорствую: прекрасно можете понять, если захотите. Это своего рода шифровка, условный язык, который невольно вырабатывается от привычки говорить на метафизико-схематические темы. Постараюсь в след(ующий) раз писать проще (что очень для меня полезно), но данное письмо все же вы можете понять.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> со всех сторон (*фр.*)

<sup>3</sup> С ноября 1910 года в журнале «Русская мысль» был введен новый отдел — «В России и за границей. Обзоры и заметки». В нем был организован подотдел — «Литература и искусство», в котором печатались статьи о русской и иностранной литературах. В 1911 году Гиппиус (под псевд. А. Крайний) давала в этот подотдел обзоры современной русской литературы (см.: Литературный дневник // Русская мысль. 1911. № 6. Отд. III. С. 15—20; Литература летом: «Собрания сочинений» // Там же. № 9. Отд. III. С. 23—28; В литературе // Там же. № 11. Отд. III. С. 26—31).

<sup>4</sup> Это такая определенная точка зрения (*фр.*).

<sup>5</sup> Имеется в виду III часть романа Гиппиус «Чертова кукла».

<sup>6</sup> Речь идет о главном герое романа «Чертова кукла» Юруле Двоекурове. В письме к Гиппиус от 3 августа 1911 года Философов сообщал, что портрет Юрули, по мнению знакомых, списан с него (РНБ. Ф. 481. Д. 94. Л. 18—18 об.).

<sup>7</sup> Михаил Ржевский — антипод Юрули Двоекурова из романа «Чертова кукла».

<sup>8</sup> Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «Стансы» ((1825)).

<sup>9</sup> Роман «Чертова кукла» вызвал резкое неприятие критики (см.: *Дий Одинокий* (Туркин Н. В.) // Голос Москвы. 1911. № 35. 13 февр. С. 3; *Буренин В.* Критические очерки // Новое время. 1911. № 12522. 21 янв. С. 4; *Львов-Рогачевский В.* Поворотное время // Современный мир. 1911. Кн. IV. Отд. II. С. 238—257; *Ожигов Ал.* Литературные мотивы // Современное слово. 1911. 25 мая. № 1215. С. 2).

<sup>10</sup> Имеется в виду эсеровская среда.

<sup>11</sup> Кочаровский (Качаровский) Карл Романович (1870 — ?) — экономист. В начале 90-х годов входил в петербургскую группу народолюбцев. Принимал участие в партийной прессе социалистов-революционеров, хотя формально к партии эсеров не принадлежал.

<sup>12</sup> Речь идет о XXII главе романа «Чертова кукла» (беседа революционеров о трагической истории некоего «Пети»). На этот факт позже указал В. М. Чернов в статье «Литературные впечатления» (Современник. 1911. № 5. С. 326). Гиппиус пересказывала обошедшую газеты историю А. Петрова. Александр Александрович Петров (?—1911) — эсер. В 1909 году был арестован по доносу провокатора, в тюрьме дал согласие на сотрудничество с охранным отделением. Сам Петров настаивал на том, что он вступил в связь с охранкой для раскрытия ее планов и разоблачения провокатора. Такая трактовка событий была поддержана эсерами. Вся эта история была известна Савинкову. Петров должен был убить генерала А. В. Герасимова, недавнего руководителя столичной охранки, но попытке выманить генерала в Финляндию, где в покушении должен был принять участие Савинков, сорвались. 9 декабря 1909 года Петров встретился на конспиративной квартире с полковником Карповым, назначенным вместо Герасимова, которого взорвал. «Дело Петрова» вызвало среди эсеров громкий скандал и больно ударило по Савинкову. Эта история широко обсуждалась в прессе (см.: *Петров А. А.* Записки А. А. Петрова (К истории взрыва на Астраханской улице). Париж, 1910).

<sup>13</sup> Речь идет о стихотворении Савинкова «Терцины» («Я вижу дней моих отображенье...», 1911).

## 9

## Философов — Савинкову

23 марта 1911 11 bis Avenue Mercedes, Paris XVI<sup>1</sup>

Дорогой друг.

Посылаю Вам (нрзб.) бандеролью Русск(ую) Мысль III.

В ней — конец *Чортовой Куклы*, и Вы, может быть, прочитав его, решите точно и определенно: любит ли Зин(аида) Ник(олаевна) Юрулю или нет.

Споров вокруг этого романа много. Евгения Ивановна Вам расскажет о мнении Кочеровского,<sup>2</sup> который совсем разволновался.

Мы в большом недоумении что нам делать. Из П(етербур)га получаем грозные телеграммы с требованием не выезжать до получения какого-то таинственного письма, которое все не приходит и не приходит.<sup>3</sup> Думаем, что все-таки уедем на будущей неделе в среду или в пятницу.

Евгению Ивановну мы видели несколько раз. Был у нас и милый дедушка.<sup>4</sup> Настроение у него продолжает быть угнетенным. Трудно, конечно, судить со стороны — ведь Вы и Зин(аиду) Ник(олаев)ну упрекаете, что она *вас* не знает — но *атмосфера* партии мне *не* нравится. Илюша неизменный оптимист. В его оптимизме есть много верного и добродетельного. Но несмотря на все эти соображения, я продолжаю с наглостью утверждать, что если партия, в случае стихийного движения, хочет стоять во главе, а не плыть, как щепка, по взбаламученному морю, то ей надо в *данное время* готовиться не столько организационно, сколько *идейно*. Я утверждаю, что пропаганда старого типа завербовывает в ряды партии молодежь *второго* сорта, умы, так сказать, *провинциальные*, лучшие же силы, с несомненным эсэр(овским) устремлением, но более современным *сознанием* остаются неиспользованными. Все равно как делали бы набор не среди самых здоровых и рослых, а среди малокровной мелкоты.

Вот опять я заговорил о «сортах». Вы против этого. Но такова *реальность*. Весь вопрос в том, *как* поднять уровень партии, как сделать так, чтобы люди типа Илюши и Павла Ивановича,<sup>5</sup> чувствовали себя в ней не одиноко?

La critique est aise'e<sup>6</sup> и т. д. Но так как я не в безнадежности, так как не верю в гибель революции, то и думаю, что духовное возрождение так или иначе произойдет или внутри партии или вне ее.

Привет Вашим.

Душевно преданный Д. Ф.

P. S. Обратили ли внимание на каллиграфию этого письма? З(инаида) Н(иколаевна) так меня ругала за неразборчивый почерк прошлого письма, что на этот раз я постарался.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> О К. Р. Кочаровском см. примеч. 11 к письму 8.

<sup>3</sup> Речь идет о письме сестры З. Н. Гиппиус, Т. Н. Гиппиус, от 14 марта 1911 года, которое, вероятно, не дошло до Мережковских. Т. Н. Гиппиус и М. Шагинян были обеспокоены возвращением «трио» в Россию. 24 марта 1911 года Шагинян писала Гиппиус: «Все это время мы с Татой переживаем громадное за вас трех беспокойство, были минуты такие, что мы... — от недоумения объяснить вам и предупредить — выдумывали китайскую азбуку (см. письмо Таты в белом конверте с тремя марками. До какой иероглифики она дошла, а вы и не моргнули? Неужели ничего не поняли?) (...) Вам ни в коем случае не следует сюда являться ранее „благополучной погоды“» (Письма М. Шагинян к З. Гиппиус // Новый журнал. 1988. Кн. 170. С. 459).

<sup>4</sup> Речь идет об эсере М. Чернавском. См. примеч. 22 к письму 7.

<sup>5</sup> Павел Иванович — конспиративная кличка Савинкова.

<sup>6</sup> Легко критиковать (*фр.*).

Савинков — Гиппиус<sup>1</sup>

28 марта &lt;19&gt;11

Милый друг, приехала Е(вгения) И(вановна) и привезла Ваше письмо. Спасибо на добром слове! Юрулю я дочитал и остаюсь при прежнем мнении: почти единственный, но зато и громадный недостаток романа в том, что Вы взялись за описание среды Вам незнакомой и, б(ыть) м(ожет), психологически слишком чуждой, оттого и не совсем Вам понятной. Затем: Вы отрещиваетесь от любви к Юруле и отрещиваетесь не за страх, а за совесть, а впечатление все-таки такое (ясное, не подлежащее сомнению): любит, любит, любит... Михаил, конечно, глупее его и в этом Вы виноваты: он непременно должен быть умнее Юрули. Последние главы, по-моему, удачнее средних во всех отношениях, кроме 33-ей. Красный Домик<sup>2</sup> хорош, потому что в нем «мы» наименее неверны. Но «троеобратцы», ума не приложу почему, так и не вышли...<sup>3</sup> Pour la bonne bouche:<sup>4</sup> Хваленый раздобыл за ЛЕТО! Вот как! Лошадь добреет за лето и худеет зимой? Должно быть у графини на конюшне лошадей из экономии летом кормят сеном. Позвольте мне, как специалисту, поправить Вас.

У нас гостят Чернов<sup>5</sup> и еще один. Разговор о Юруле. Как видите, я не с Вами, а критикую, если не как Буренин,<sup>6</sup> то как Редька. Читали Вы статью Редьки в Богатстве?<sup>7</sup> Вот осел. А на меня за критику не сердитесь, и надо мной не смейтесь. Если говорить серьезно, мне немного грустно за Юрулю: Вас не поймут, и отчасти Вы сами будете виноваты. А я в Вас очень верю и знаю, что Вы могли бы избежать этого греха.

Если уже Вы нашли, что мой «стишок» не совсем гнусная бездарность, то читайте его в окончательной редакции:

## ТЕРЦИНЫ

Я вижу дней моих изображение.  
 Развернут свиток медленной рукой.  
 И нет душе желанного забвенья...  
 О, бесов памяти мятежный рой!  
 О, милые, безжалостные тени!  
 Смутили вы обещанный покой.  
 Скрипят шаги. Колеблются ступени.  
 Визжат, качаясь ставни за окном.  
 Вся ночь полна бесовских наваждений,  
 И кто-то в дверь стучится костью.  
 Вот зеркало моих воспоминаний,  
 Рожденных ночью, погребенных днем.  
 Решений нет, но нет и колебаний:  
 Жизнь — злобный и докучливый обман,  
 Ложь навсегда утраченных желаний.  
 Я не был призван. Был ли я хоть зван?  
 Не я ли сам в гордыне дерзновенной  
 Замыслил бросить перстень в океан?  
 Я побежден. Я — победитель пленный.  
 Я видел снег заоблачных вершин.  
 Я ныне ниц лежу, как раб презренный.  
 Но на земле единый Господин.  
 Христос — Любовь. Голгофа — искупленье.  
 Мы — ветви. Он — Лоза. Он — Божий Сын.  
 Я верю: грешникам Его прощенье.<sup>8</sup>

Как видите «дым» и «собой» изгнаны, но «изображенье» я оставил. «Отображенье» точнее и красивее, но «изображенье», по-моему, проще. Будьте очень доброй, напишите выиграли ли стихи от изменений? Мне важно это знать, чтобы поверить своему суду.

Обнимаю вас всех троих. Д(митрию) В(ладимирович)у ответу на днях.  
Господи, 3-ью неделю ветер и дождь!

<sup>1</sup> Письмо Савинкова публикуется по черновому автографу.

<sup>2</sup> Речь идет о XXXII главе романа «Чертова кукла», повествующей об убийстве главного героя романа Юрия Двоекурова.

<sup>3</sup> В лице «троебратцев» (профессор Саватов, его племянник Орест, мастеровой Сергей Иванович) Гиппиус явно изобразила единомышленников, хотя в их обрисовке она устранила все, что могло бы дать повод к угадыванию (гл. XXIII «Троебратство»).

<sup>4</sup> На закуску (фр.).

<sup>5</sup> О В. М. Чернове см. примеч. 20 к письму 7.

<sup>6</sup> Речь идет о статье В. П. Буренина по поводу романа «Чертова кукла» (Критические очерки // Новое время. 1911. № 12522. 21 янв. С. 4).

<sup>7</sup> Речь идет о статье А. Е. Редько «Предвидения и наблюдения в беллетристике» (Русское богатство. 1911. № 1—2. Отд. II. С. 92—113). Савинков имеет в виду известного критика и публициста журнала «Русское богатство» Александра Мефодиевича Редько (1866—1933). На самом деле статья, посвященная критике «Чертовой куклы», была написана в соавторстве с женой критика Е. И. Редько. Эта совместная статья была опубликована за подписью «А. Е. Редько».

<sup>8</sup> Беловой автограф стихотворения «Терцины» сохранился в архиве Мережковских (Ф. 481. Д. 237. Л. 1—2).

## 11

### Гиппиус — Савинкову

Март — Апрель (1911) 11 bis, Avenue Mercedes Paris XVI<sup>1</sup>  
Четверг.

Пишу вам, друг, последнее письмо из Парижа: послезавтра мы уезжаем.<sup>2</sup> Вероятно, Евг(ения) Ив(ановна) рассказывала вам, какие беспокойства развела моя сестра, какие телеграммы и письма нам присылала;<sup>3</sup> однако, мы все-таки решили ехать, веруя в ум русских жандармов; должны же они знать, что мы чисты, как голуби, и невинны, как новорожденные, — с их собственной точки зрения притом!

Ясно, значит, что кроме хлопот и стыда от этой *prouesse*<sup>4</sup> они не получают. Если станут спрашивать о вас — с удовольствием прочту им ваши стихи, — то, что я очень хорошо знаю. Ничего остального я, действительно, не знаю, и вы очень правы в вашей литературной критике... но сначала о стихах. Они так выиграли с переменной, что я уже начинаю предъявлять к ним претензии следующие, — строжайшие; не прощаю уже решительно ничего, желаю почти совершенства и указываю уже не на неправильности, а на «известность» некоторых сочетаний слов. Это относится все к той же рифме — «енный». Изменить трудно, потому что будет жаль «победителя пленного», что хорошо; а между тем меня уже решительно не удовлетворяют теперь ни «гордыни дерзновенной», ни «раб презренный». Что вы скажете?

Конечно, следует печатать. Но как можно буквы, точно вы начинающий, а не уже русский литератор?<sup>5</sup> Вам надо приучать глаза публики к своему имени.

Что касается вашей критики моего романа,<sup>6</sup> — то, конечно, вы правы, и единственно, что я могу возразить (вероятно, напишу это в предисловии)<sup>7</sup> — это что неправильна у вас (и у многих) *точка зрения*... Между вами и «многими» та разница, что и при перемене точки зрения ваша критика остается целиком, «многим» же нечего будет вовсе сказать.

Вот в чем дело: я отнюдь не хотела и не притязала написать роман о революции. Это роман не *о революции*, а *о реакции*... Юрүля для меня — концентрирован-

ная метафизическая подоснова всякой реакции, ее вечные первопричины. Для этого мне, хочешь не хочешь, нужен был некий фон революции, хотя бы самый отдаленный, ибо без революции какая же реакция? Притом цветы, вроде Юрули, наиболее ярки во времена революционных заминок, переломов, разветвлений. Михаил вовсе не глуп (я продолжаю утверждать, что, кроме того, что он возразил на речь Юрули, ничего возразить было и нельзя), но Михаил — весь в ломке, в разрушении, он весь, если может *быть*, то весь — в будущем. Для Михаила — нужно еще два романа, Юруля Михаилу в данном виде уже не страшен, но в каком-то следующем образе он еще опять станет на его пути, и придется с ним побороться, и ему и Литте.<sup>8</sup>

Но довольно. Насчет Хваленого — да будет, изменю, скажу «похудел». Насчет вокзала, — не смущаюсь. Не было? Ну, когда-нибудь могло случиться, мало ли чего не было. Внутренно то есть в «вас» — «вокзальность». Мне досадно, что не случилось прочесть вам роман раньше; я ⟨нрзб.⟩, так и рассчитывала, что вы меня убережете в лишних gaffes;<sup>9</sup> кому-кому только не читала, с кем не советовалась, — никто путного слова не сказал; а вас было не достать. Да! Ваш рассказ я воспроизвела *буквально*;<sup>10</sup> и «товарищи» (не мои), упрекая его в неверности, — упрекают вас, — не меня.

Очень скучно уезжать. Все так соединилось, что никаких впереди утешительностей не вижу. С Ил⟨юшей⟩ выдались порядочно, но чувствуется, что для каких-либо осознательных результатов надо выдаться еще вдесятеро столько же. С Б⟨орисом⟩ Н⟨иколаевичем⟩ я лично как-то не столкнулась вовсе.<sup>11</sup> На мой взгляд, если кто на бобах остался, то именно он, и Ам⟨алия⟩ и Ил⟨юша⟩ победили его таким ясным «непротивлением», что его положение, вместо того чтобы быть трагичным, скорее комично, а для «адоратора»<sup>12</sup> это куда хуже. Как-то говорила с Натансоном (т. е. Марком Андреевичем, вечно путаю, Минор он или Натансон).<sup>13</sup> Вообразите, премилый старик, идеалист 60-х годов, что называется...

Ну, кончаю это последнее, более или менее свободное, письмо. После него буду писать вам на Ам⟨алию⟩, пусть она пересылает как удобнее. Не забывайте нас. Бывают минуты, когда мне совершенно ясно, что у нас возможно общее будущее. Горю целую вас и весь Теул.

<sup>1</sup> Штемпель на почтовой бумаге.

<sup>2</sup> Мережковские уехали из Парижа 30 или 31 марта 1911 года.

<sup>3</sup> См. примеч. 3 к письму 9.

<sup>4</sup> доблесть (фр.).

<sup>5</sup> В 1908 году, готовя к публикации повесть Савинкова «Конь бледный», Гиппиус подарила ему свой собственный псевдоним «Ропшин», под которым однажды она опубликовала одну из своих статей (*Н. Ропшин. Тоска по смерти // Свобода и культура. 1906. № 7. С. 476—482*).

<sup>6</sup> См. письмо 10.

<sup>7</sup> В «Предисловии» к отдельному изданию «Чертовой куклы», написанном в апреле 1911 года, Гиппиус разъяснила идею романа: «Моя книга — вовсе не книга *о революции*, но — *о реакции*. Обнажить вечные, глубокие корни реакции, — вечные, хотя эта реакционность, косность, проявляясь во времени, надевает на себя соответственные времени одежды, — такова была моя задача» (*Гиппиус З. Н. Чертова кукла. Жизнеописание в 33-х главах. М., 1911. С. III—IV*).

<sup>8</sup> Литта — героиня романа «Чертова кукла», сестра главного героя Юрия Двоекурова.

<sup>9</sup> промахи (фр.).

<sup>10</sup> См. примеч. 12 к письму 8.

<sup>11</sup> Речь идет о Б. Н. Моисеенко. См. примеч. 2 к письму 5.

<sup>12</sup> От фр. adorateur — поклонник, обожатель.

<sup>13</sup> О М. А. Натансоне см. примеч. 24 к письму 7.



## 12

## Гиппиус — Савинкову

⟨Первая половина мая 1911. Петербург⟩<sup>1</sup>

Для нашего поэта.

Нет сомнения, что вы все совершенствуетесь. Я занимаюсь тем, что показываю стихи ваши всяким присяжным поэтам (присяжнее меня), они говорят мне самые разнообразные вещи, которые я даже в точности запомнить не могу и предлагаю им самим вам написать. Но вещи все похвальные, — более или менее. Не присяжный и не поэт — Д⟨митрий⟩ В⟨ладимирович⟩<sup>2</sup> — упрекает последнее стихотворение в «не вашем» стиле, а другой не поэт В. Г-н, упрекает первое (терцины)<sup>3</sup> в неискренности. Но полагаю, что эти произвольные упреки к стихотворству не относятся. Очень прошу вас: пришлите еще несколько, тогда я напишу вам, что будем мы с ними делать. С литературой вообще «тихо», как-то не хочется связываться с «прессой», уж очень кругом невкусно. Большие мечты у нас о своем журнале: может, что и выйдет. На днях ругались жестоко с троглодитами из Русск⟨ого⟩ Бог⟨атства⟩.<sup>4</sup> Мякотин,<sup>5</sup> однако, уверяет, что «высоко ценит Коня». <sup>6</sup> Вообще же, к удивлению, сколь ни плох «жизнь Парижа» — здесь еще плоше и заскорузлее, и кружок Илюши способен на большую культурность и отзывчивость, нежели соответственный здешний. Натансон — культурнее Анненского,<sup>7</sup> ей Богу, и больше способен понимать (если не принимать).

Наши дела, более внутренние, в странном положении. Вообразите, завели мы «среды» для обсуждения знаменитой «программы». <sup>8</sup> И после одной такой среды изнеможенный Д⟨митрий⟩ В⟨ладимирович⟩ воскликнул: «Да если еще эту программу пописать, — ни одного человека около нас не останется!» Я же не смущаюсь: ну и пусть. Другие будут. Необыкновенно ценно было бы, чтобы вы слышали то, что мы говорим! Многие бы вы поняли лучше многих. Да многое уже более выяснилось. Мне, между прочим, очень нравится идея «ордена» при... И мне еще кажется, что «программа» пустое слово, а необходимо разделение трех: 1) исповедание 2) воззвание 3) орденский статус. Слова могут вам показаться непривычными: переведите, как хотите, от этого ничего не изменится.

Жаль, что не имею времени длиннее писать, — но не будет случая: жена Блока опустит это письмо в Германии.<sup>9</sup>

С Мариэттой все идет чепуха. Пугаются к ее «делам» «страдания молодого Вертера», по выражению Д⟨митрия⟩ В⟨ладимировича⟩, и мое положение, как невольного объекта ее страстей, довольно фальшиво. Но заваренная ею каша еще не расхлебана.<sup>10</sup>

Видели В⟨еру⟩ Г⟨лебов⟩ну,<sup>11</sup> настроение и здоровье ее не из важных. Говорила, между прочим, что вы *больны*. Что такое? Вы ни звука не писали мне ни об этом... да и ни о чем другом. Пишите, не писать — пересаливание. Чепуху насчет неизвестного нам Макарова<sup>12</sup> наплел Переверзев<sup>13</sup> и моя сестра.<sup>14</sup> Да ведь это уж и кончилось. А Макарова отлично знает мой кузен, депутат,<sup>15</sup> с котор⟨ым⟩ Пер⟨еверзев⟩ не рассудил посоветоваться. Словом, чепуха! И скучная. — Очень думаю и огорчаюсь насчет М⟨арии⟩ А⟨лексеевны⟩.<sup>16</sup> Все о ней много думаем. Напомните Е⟨вгении⟩ И⟨вановне⟩ ее обещание насчет портрета М⟨арии⟩ А⟨лексеевны⟩.

Примите нашу неизменную к вам любовь, кланяйтесь всем низко.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Речь идет о Д. В. Философове.

<sup>3</sup> Черновой автограф стихотворения Савинкова «Терцины» см. в письме 10.

<sup>4</sup> Журнал «Русское богатство» (1879—1918) был одним из наиболее влиятельных «толстых» журналов демократической ориентации. Популярность журнала в значительной степе-

ни обеспечивалась его литературным отделом. Журнал подвергался резкой критической оценке «трио». Так, Д. В. Философов писал: «Как и большинство „консерваторов-прогрессистов“, *Русское Богатство* оградило себя непроницаемой таможенной стеной и начисто запретило ввоз всяких „исканий“» (*Философов Д. В. Волна пошлости // Русская мысль. 1911. № 5. Отд. III. С. 18*).

<sup>5</sup> Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист, член редколлегии журнала «Русское богатство».

<sup>6</sup> Речь идет о повести Савинкова «Конь бледный» (*Русская мысль. 1909. № 1*). В основе сюжета — самый громкий террористический акт эпохи — убийство Иваном Каляевым великого князя Сергея Александровича (Савинков руководил этим покушением). Гиппиус считала, что «Конь бледный» вырос из совместных разговоров Мережковских с Савинковым. Повесть действительно была подчинена декларированию определенных тезисов «трио». В 1910 году, уезжая за границу, Гиппиус оставила текст «Коня бледного» для изучения М. Шагинян. 14 января 1911 года она писала Шагинян: «...этого „Коня“, несовершенного, но бесконечно важного бытием своим, — мы родили жеребеночком, холили и кормили чуть не своим мясом, во всяком случае здоровьем» (цит. по: *Шагинян М. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 437*).

<sup>7</sup> Николай Федорович Анненский (1843—1912) — публицист, яркий представитель демократической мысли, брат И. Ф. Анненского. Осуществлял редакцию публицистического раздела журнала «Русское богатство».

<sup>8</sup> См. письма 6 и 7.

<sup>9</sup> Любовь Дмитриевна Блок (1881—1939) уехала из Петербурга в Берлин 17 мая 1911 года.

<sup>10</sup> Иронический намек на роман И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Восторженное поклонение Шагинян Гиппиус («зинопоклонство») вылилось на страницы писем, посылаемых во Францию: «Я лично, Зина, — ваша с головы до ног, у меня душевная ткань с вами одинакова, вся моя душа около вас» (письмо Шагинян от 26 февраля 1911 года цит. по: Письма М. Шагинян к З. Гиппиус // *Новый журнал. 1988. Кн. 172—173. С. 456*). В дневнике Гиппиус писала: «...пылкая и безумная Мариэтта без нас связалась с „голлофцами“» (Кн. 1. С. 148). В 1910—1911 годах Шагинян увлеклась идеей соединения «триумвирата» с сектой «голлофцев». Собиралась отправиться за границу на 2—3 года, для того чтобы «пройти парижский опыт» Мережковских. Шагинян подготовила к печати второй сборник стихотворений Гиппиус (М., 1910). Автор книги «О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус» (СПб., 1912). Но принимая все наставления Гиппиус, Шагинян постепенно стала сопротивляться ее влиянию. В 1911 году она резко раскритиковала роман Гиппиус «Чертова кукла» (*Шагинян М. С. Театр марионеток // Приазовский край. 1911. 23 апр. № 105. С. 2*). Гиппиус в разговоре с С. П. Каблуковым сказала, что вся провинциальная пресса дала ругательные отзывы и «что „лучше“ всех отзыв некоей Мариэтты Шагинян (в «Приазовск. Кр.»), ее сумасшедшей обожательницы» (РНБ. Ф. 322. Д. 14. Л. 202). Шагинян в мемуарах «Человек и Время. История человеческого становления» отмечала, что, когда Мережковские вернулись из-за границы в 1911 году, стало ясно, что они — чужие. Но период общения с «триумвиратом» и их кругом не нашел в этих воспоминаниях объективного отражения.

<sup>11</sup> Речь идет о первой жене Савинкова Вере Глебовне Савинковой (урожд. Успенская, дочь Г. И. Успенского). Рассталась с Савинковым в Париже в 1908 году. Имела от Савинкова двух детей — дочь Татьяну (1900—?) и сына Виктора (1901—?).

<sup>12</sup> В дневнике Гиппиус отметила: «Перед отъездом — тревога. Тата с оказией написала, чтоб мы не возвращались за то, что он был у Бориса» (Кн. 1. С. 149). Речь идет о Макарове Павле Михайловиче (1872—1922), присяжном поверенном. Его имя неоднократно упоминается в дневнике Гиппиус «Синяя книга (1914—1917)». В августе 1917 года Макаров был назначен А. Ф. Керенским комиссаром отряда особого назначения, сопровождавшего царскую семью в Тобольск.

<sup>13</sup> Переверзев Валериан Федорович (1882—1968) — в 1911 году вернулся из ссылки в Нарыме, которую отбывал за участие в революционном движении. В дальнейшем занимался литературной деятельностью (см.: *Переверзев В. Ф. 1) Творчество Достоевского (критический очерк). М., 1912; 2) Творчество Гоголя. М., 1914*).

<sup>14</sup> Речь идет о младшей сестре Татьяне Николаевне Гиппиус (Тата) (1877—1957) — художнице. Она была членом «тройственного союза», включавшего сестру Наталью Николаевну Гиппиус (Ната) (1880—1963), скульптора, и Антона Владимировича Карташева (1875—1960), профессора Духовной Академии.

<sup>15</sup> Речь идет о Василии Александровиче Степанове (1871/1873?—1920). Он был депутатом от партии кадетов в Третьей Государственной думе (от Пермской губернии). По образованию — горный инженер. Был управляющим шахтами в Турьинских рудниках Богословского горного округа, затем директором Богословского горного округа. В 1911 году являлся членом Петербургского Религиозно-философского общества.

<sup>16</sup> Речь идет о М. А. Прокофьевой.

## 13

## Гиппиус — Савинкову

Ст. Веребье, Никол(аевской) ж(елезной) д(ороги)  
Им(ение) Подгорное (Малышево)<sup>1</sup>  
27 Июня (19)11.

Друг мой, я все стою на той же точке зрения: стихи ваши следует напечатать. Но пока я их держу у себя (как и собственные, многие). Не хочу посылать в Русск(ую) М(ысль), т. к. между мной и Брюсовым пробежала черная кошка, я и сама, вероятно, не буду там печататься.<sup>2</sup> Он такой, что если я *теперь* что-ниб(удь) чужое пошлю ему, — непременно нафыркает, назло. Во всяком случае, стихи ваши будут напечатаны там, где не стыдно.<sup>3</sup> А со стихами вообще никогда торопиться не нужно.

Ну вот, а теперь просьба: пишите мне почаще сюда, мне хочется написать вам несколько «отвлеченных» писем, относительно того, о чем мы говорили весной,<sup>4</sup> но хочется так, чтобы вы уже не могли мне ответить «ничего не понимаю». Думаю, что на этот раз мне удастся. Бесконечно длинные и сложные разговоры последнего времени как-то упростили, к удивлению, мои мысли и уяснили некоторые спорные пункты. Хотелось бы, чтобы осенью получил возможность поехать с нами один наш знакомый профессор, и, вероятно, это удастся.<sup>5</sup> Он очень любопытен, бывший бердяевец, но это не важно, а важно, что он обладает многими свойствами, которых у нас нет. Между прочим, он и более ясен, чем мы. И более свободен эмпирически, нет у него нашей болезненной спутанности привычек жизни. Многого, о чем вы писали весной, представляется теперь в несколько ином свете; но хоть вы и «ничего не понимали» — во многом были правы и, пожалуй, «мы с вами правы», а не Дм(итрий) Вл(адимирович).<sup>6</sup> Думаю, с таким новым «постановом (sic!) вопроса» даже Ил(юша) согласился бы, — а ведь с прежним он был не согласен.

Читали ли статью Чернова в Совр(еменнике) о моем романе?<sup>7</sup> Мне ясно одно: при его коренном несогласии и непонимании главного — он не мог понять самостоятельно и того, что прекрасно понял. Не мог — без каких-нибудь устных бесед с более осведомленными людьми и вообще частных внушений и знаний. Qui donc...?<sup>8</sup>

Вы ни слова не написали о М(арии) А(лексеевне). Верно очень ей нехорошо? Пишите ли вы что-нибудь? Я снялась (sic!) второй роман писать, но это надолго, ибо все еще не клеится дело.<sup>9</sup> «Рассея» здесь подлинная: кругом беспробудное пьянство. Вчера на дороге Д(митрия) В(ладимировича) встретил пьяный мужик и в ноги: «Прости!» Тот в ужасе: «Бог простит!» А мужик встал: «То-то! Я мужик, ты барин, а душа то одна!» Tableau.<sup>10</sup> Ну, до свиданья, смотрите, жду вестей.

<sup>1</sup> 4 июня 1911 года Мережковские уехали на дачу, снятую у Малышевых в Новгородской губернии.

<sup>2</sup> Гиппиус собиралась отдать в «Русскую мысль» «Роман-Царевич», над которым начала работать. Получив от В. Я. Брюсова письмо о том, что журнал на 1912 год «завален материалом», Гиппиус была обижена. О конфликте между Гиппиус и Брюсовым Мережковский сообщил в письме к редактору-издателю журнала П. Б. Струве от 23 июля 1911 года: «Письмо Брюсова Зин(аиде) Ник(олаевне) на меня тоже произвело такое впечатление, что он романа и не хочет, да и вообще не слишком дорожит ее сотрудничеством. (...) Она, кажется, и отчеты свои решила прекратить, если не навсегда, то на время, пока опять будет в ней нужда» (Дом Плеханова. РНБ. Ф. 753. Д. 66. Л. 9).

<sup>3</sup> Сборник стихотворений Савинкова был подготовлен Гиппиус уже после его гибели: В. Ропшин [Савинков Б.]. Книга стихов. Париж, 1931. Сборник вышел тиражом 100 экз.

<sup>4</sup> См. письма 6 и 7.

<sup>5</sup> Речь идет об Александре Александровиче Мейере (1875—1939) — философе, переводчике на русский язык сочинений Э. Маха, Р. Штаммлера, древнегреческих философов. Его имя неоднократно упоминается в дневнике «О Бывшем (1899—1914)». Сблизился с Мережковскими в 1910-е годы, хотя, как отмечала Гиппиус, к ним он «подходил» давно. Был участником собраний Петербургского Религиозно-философского общества. Мейер отмечал, что перед Религиозно-философским обществом стояла задача сближения безрелигиозной ин-

теллигенции с «новым религиозным сознанием» (см.: Мейер А. А. Петербургское Религиозно-философское общество // Вопросы философии. 1992. № 7. С. 107—115). Возглавлял секцию Религиозно-философского общества в Обществе народных университетов. Летом 1911 года жил у Мережковских на даче. В дневнике Гиппиус отметила: «С Мейером мы пробовали писать эту несчастную „программу“, — Тата участвовала, Дмитрий приходил послушать, не увлекаясь, был и Дима — протестующий. Написали кратко, кое-как, сами не зная для кого и что это такое — исповедание веры, воззвание или „вообще“» (Кн. 1. С. 150). См.: Мейер А. А. Философские сочинения. Paris, 1982.

<sup>6</sup> Судя по дневнику Гиппиус, Философов отрицательно отнесся к написанию «манifestа», который рассматривался как начало «действия»: «Дима для „нас“ отрицал всякое действие. Да, у нас ничего не было: ни способностей, ни личной святости, ни мужества, ни нужных людей. Но мы должны хотеть, чтобы это все было. Дима же стремился поставить крест на нас и на хотении» (Кн. 1. С. 151).

<sup>7</sup> Речь идет о статье В. М. Чернова «Литературные впечатления» (это был первый его опыт в литературной критике), посвященной роману «Чертова кукла». Чернов писал о богоискательских тенденциях романа, о стремлении автора повернуть революционеров «в сторону познания» религиозного смысла революционной деятельности. Он обвинил Гиппиус в незнании революционной среды: «Как писать о революционерах, как обобщать в типы свои наблюдения над ними, когда и наблюдений-то нет, а есть какие-нибудь случайные встречи с отдельными людьми, да и то больше на каких-нибудь журфиксах, и когда то и дело приходится прибегать за помощью к априорным представлениям о том, „как должно это происходить“, вместо апостериорного знания — „как есть“» (Современник. 1911. № 5. С. 325).

<sup>8</sup> Которые следовательно... (фр.).

<sup>9</sup> Речь идет о «Романе-Царевич», продолжении романа «Чертова кукла», второй части дилогии, посвященной теме религиозной революции. К осени 1911 года Гиппиус собиралась закончить роман. В письме к П. Б. Струве от 14 июня 1911 года Гиппиус сообщила о новом романе: «Герой — Юруля в новых одеждах человека, одержимого более сильной и опасной страстью, нежели страсть к своему мгновенному удовольствию: он одержим жаждой влияния и властвования и притом эту власть он понимает довольно глубоко. Но в конце концов выше своей власти, выше себя для него опять ничего нет. В своей деятельности, в своих планах он как бы совпадает сначала с Михаилом (из «Куклы») — но даже слишком ясно их расхождение. У меня есть прекрасные материалы из истории современных лже-религиозно-революционных русских движений, а так как мне придется данное желанным образом осмыслить (подчеркиваю), то я надеюсь, что все будет цензурно» (Дом Плеханова. РНБ. Ф. 753. Д. 31. Л. 3).

<sup>10</sup> Картина (фр.).

## 14

### Гиппиус — Савинкову

(Сентябрь 1911. Петербург)<sup>1</sup>

Мой добрый друг, Сологубы отправляются играть в Монте-Карло. У него целая система! Мало верю. Впрочем, я вообще стала страдать маловерием; никому и ничему!

Мы вернулись с дачи, хотели ехать в Малороссию для романа Д(митрия) С(ергеевича),<sup>2</sup> но не едем, кажется. Из-за этого и в Москву не попадем, пожалуй; а у меня с Брюсовым дела всякие, не то по примирению, не то по ссоре.<sup>3</sup> Очень хотела бы знать, что вы теперь пишете. И далеко ли продвинулась повесть.<sup>4</sup> В(е)чев все упрекает нас в своих очерках (вот длинно-то пишет!), что мы в Р(усской) М(ысли) пишем.<sup>5</sup> Скажите, пожалуйста, где же нам писать?! Нигде, что ли? Ведь в С(овременник), небось, нас не возьмут, недостаточно культурны!<sup>6</sup> Разве Д(митрия) С(ергеевича), и то потому, что он выгоден.

Где вы теперь и, главное, что М(ария) А(лексеевна)?<sup>7</sup> Часто думаю о ней. Чувствую, что вряд ли ей долго жить...

Мы мечтаем уехать из слякоти здешней в ноябре. Не знаю, как удастся. Слякоть, а уж дреймадеры надоели, просто жисти никакой нет!<sup>8</sup>

Жадно ждем вашей литературы, и узкой, и широкой. Думается, как важно, что вы владеете языком — и притом еще умом и смыслом!

Д(митрий) С(ергеевич) увлекается «Кругом чтения» Толстого и довольно-таки облит елеем. Это не мешает иногда... Это меня от елея мутит.

А читали вы загадочную статью Редьки «Мертвая красота»?<sup>9</sup> Я собираюсь премию объявить тому, кто ее разъяснит.

Привет всяческий.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> В мемуарной книге Гиппиус писала, что к сентябрю 1911 года роман «Александр I» был закончен и Мережковский усиленно готовился к роману «Декабристы». Но, судя по записи от 17 августа 1911 года в дневнике С. П. Каблукова (он гостил на даче у Мережковских), Мережковский в это время продолжал работу над романом «Александр I». Для продолжения работы над этим романом (материалы касались деятельности Южного общества декабристов) Мережковские и собирались в сентябре 1911 года поехать в Киев. С. П. Каблуков записал в дневнике: «Они возвращались в Петербург в начале сентября для поездки в Киев и в вагоне прочли о покушении на Столыпина. Это и заставило их отложить поездку. А тотчас же по приезде заболел Д(митрий) С(ергеевич)» (РНБ. Ф. 322. Д. 16. Л. 112).

<sup>3</sup> «Роман-Царевич» был в 1912 году опубликован в журнале «Русская мысль» (№ 9—12).

<sup>4</sup> Вероятнее всего, речь идет не о повести, а о романе «То, чего не было», над которым в 1911 году начал работать Савинков (Заветы. 1912; 1913; отд. изд. — М., 1914).

<sup>5</sup> Я. Вечев — псевдоним В. М. Чернова в отделе «Дела и дни» журнала «Современник» (в августе 1911 года он покинул журнал). Гиппиус имеет в виду отдел «Литературные впечатления», который вел тоже Чернов, подписывая свои действительно значительные по объему статьи собственным именем.

<sup>6</sup> Первый номер журнала «Современник» (1911—1915) вышел в 1911 году. Новый журнал «Современник», руководимый А. В. Амфитеатровым, ставил перед собой задачу встать на уровень старого «Современника» 60-х годов XIX века. Из всех девизов прежнего журнала провозглашался самый важный принцип — реализм. «Современник» ставил перед собой задачу бороться с мистическими течениями.

<sup>7</sup> Савинков с семьей и М. А. Прокофьевой жили в это время в Теуле, собираясь переехать в Италию, в Сан-Ремо.

<sup>8</sup> См. примеч. 5 к письму 3.

<sup>9</sup> Имеется в виду коллективная статья А. М. и Е. И. Редько «О Чертовой кукле — мертвой красоте» (Русское богатство. 1911. № 7. Отд. II. С. 170. Подпись А. Е. Редько). См. примеч. 7 к письму 10.

© А. Е. Недвига

## КАЗАК КРЮЧКОВ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К ОБРАЗУ ГЕРОЯ РОМАНА М. А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»

Казак Козьма Крючков, реальное историческое лицо, участник первой мировой войны, известен широкой публике главным образом как один из героев романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», причем герой эпизодический. Шолохов не случайно упоминает о Крючкове и его подвиге в первой книге своего романа, отдавая должное той популярности, которую получил этот казак в свое время в самых широких кругах, став поистине народным героем. Любопытен следующий факт из биографии писателя. Исследователь В. Васильев в примечаниях к роману сообщает о том, что, будучи ребенком, Шолохов играл в «Кузьму Крючкова»,<sup>1</sup> представляя себя в виде храброго и ловкого казака. Став писателем, Шолохов заново осмыслил образ героя Крючкова. На страницах романа мы встречаемся с данным персонажем в VII—IX главах третьей части «Тихого Дона», где описывается самое начало войны. Он упоминается среди других казаков 3-го Донского казачьего полка. Сразу же дается портретная характеристика героя, причем довольно непривлекательная: «...Крючков, по прозвищу Верблюд, чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке».<sup>2</sup> Далее раскрываются отдельные стороны его характера: насмешливый, задор-

<sup>1</sup> Шолохов М. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 2001. Т. 1. Кн. 1. С. 364.

<sup>2</sup> Там же. С. 230.

ный нрав казака, его взбалмошность. Крючков, в общем, ничем особо не выделяется среди своих товарищей — он также заглядывается на женщин, любит выпить и т. д.: «Крючков шлепком высадил пробку, налил чашку вровень с выщербленными краями. Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в окна, зиявшие черными провалинами глаз».<sup>3</sup>

Вместе с пятью другими казаками Крючков был назначен в казачий пост на самой границе. Двое из них были отправлены с донесением, а четверо казаков столкнулись с неприятелем в количестве более 20 человек.

В отличие от народной традиции, где герои фольклорных произведений в битвах с врагами проявляют типичные для таких ситуаций черты характера, как то храбрость и бесстрашие, при описании боя с немцами характеристика, которую дает Шолохов казакам, не так однопланова. Они действительно храбры, раз не боялись преследовать немцев, но им свойственно и чувство страха перед смертью. Так, когда одного из казаков, Иванкова, преследовали немцы, у него в мозгу проносилось лишь одно: «Вот! Вот! Догонит! — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня».<sup>4</sup> Страх подстегивал казаков, вытесняя все остальные чувства: «Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию...»<sup>5</sup>

Крючков был окружен восемью драгунами, но отбивался яростно. Он убил несколько человек, был ранен, тем не менее «отличился» не больше остальных. Немцы, потеряв офицера, отступили, казаки вернулись в сотню, а подвиг стал приписываться целиком Крючкову, который был награжден Георгиевским крестом.

Последняя сцена, в которой фигурирует Крючков, показывает, как он «почиет на лаврах» своей славы, окруженный вниманием кавалеров и дам. На этом автор расстается с героем и больше к нему не возвращается.

В изданном в 2001 году собрании сочинений Шолохова имя Козьмы Крюčkова комментируется В. Васильевым: говорится о достоверности произошедшего, приводятся сведения из биографии Крюčkова, дается описание его подвига и осмысливается отношение к подвигу и героизму самого автора. Сообщается также, что Крючков стал одним из популярнейших народных героев, но данный тезис требует особого исследования. Эту проблему частично затрагивал и В. В. Гура в своей книге «Как создавался „Тихий Дон“», я же хочу остановиться на ней более подробно.

Сведения о жизни донского казака довольно скудны. В «Казачьем словаре-справочнике», изданном в США, говорится, что Козьма Фирсович Крючков родился в 1890 году на хуторе Нижне-Калмыковском Усть-Хоперской станицы. После окончания станичной школы он был призван на военную службу в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк.<sup>6</sup> Свидетельства о бое с немецкими уланами (а не драгунами, как в романе Шолохова) разнятся в деталях. Следующая версия представляется наиболее достоверной.

30 июля 1914 года сторожевой дозор из шести человек вместе с Крючковым (бывшим в звании приказного) наткнулся на немецкий разъезд в 27 (по другим данным в 30) человек к западу от Кальварии. Отправив поочередно двух казаков с донесениями, четверо казаков (Василий Астахов, Иван Щегольков, Михаил Иванков и Козьма Крючков) атаковали немцев. Попав в окружение, Крючков вступил в рукопашный бой, отбиваясь винтовкой, шашкой, а после пикой, выхваченной у немецкого улана. Убив 11 немцев, Крючков сам получил 16 ран и 11 — лошадь. За этот подвиг Козьма Крючков «первым из всех рядовых русской армии в 1914 году

<sup>3</sup> Там же. С. 240.

<sup>4</sup> Там же. С. 244.

<sup>5</sup> Там же. С. 245.

<sup>6</sup> Казачий словарь-справочник. Сан-Ансельмо (Калифорния, США), 1968. Т. 2. С. 94.

награжден Георгиевским крестом. К концу войны он заслужил два Георгиевских креста и две медали»,<sup>7</sup> но неизвестно, за какие подвиги. На Дон он возвратился в чине подхорунжего. В гражданской войне Крючков участвовал на стороне белоказачков в рядах 13-го Донского казачьего атамана Назарова полка. За боевые отличия во время борьбы с большевиками произведен в чин хорунжего. Был убит в бою под деревней Лопуховка Саратовской губернии в 1919 году.

В народной памяти казак Крючков остался как герой первой мировой войны и первый Георгиевский кавалер, обладатель Георгиевского креста. Следует сказать, что знак отличия Военного ордена, учрежденный в 1807 году, только с 1913 года получил название «Георгиевский крест». Им награждали солдат и унтер-офицеров за подвиги, причем «награжденные нижние чины армии и флота никогда не рассматривались как кавалеры ордена Св. Георгия; они лишь числились при ордене, хотя после 1913 г. и было принято называть их Георгиевскими кавалерами».<sup>8</sup>

Главным фактором, объясняющим популярность имени Крюčkова в широких массах простого народа, является поощрение этого процесса «сверху». Недаром разнообразные печатные издания, посвященные подвигу Крюčkова, выходят в самом начале войны. Правительству необходимо было запустить пропагандистскую машину, создать образ первого героя войны, чтобы сформировать положительное отношение к войне в народе, поднять престижность боевых наград, показать в образе Крюčkова пример для подражания. Поэтому значимость его поступка и сама его личность раздуваются до огромных размеров.

С помощью печатных органов стимулируется интерес в народе к личности Крюčkова, в первую очередь с помощью газет, таких как «Донские областные ведомости», «Раннее утро», «Новое время» или «Правительственный вестник», способных за короткое время донести нужную информацию до широких кругов общественности в силу своей оперативности. Они знакомят с героем, информируют читателей о его стычке с немцами, неизменно называя произошедшее подвигом, а также фиксируют факт награждения героя Георгиевским крестом. В одной из газет было опубликовано собственноручное письмо Крюčkова, написанное на родину, где он сообщает об этом событии. Письмо получило широкую огласку и неоднократно перепечатывалось.

Образ Крюčkова был запечатлен и в литературных произведениях, причем письменные источники знают только один его подвиг в самом начале войны, что, впрочем, не помешало им возвести Крюčkова в ранг общенационального героя. Нам известно 20 брошюр, посвященных Крюčkкову. Они были изданы главным образом в 1914 году и благодаря своей дешевизне расходились массовыми тиражами. Приведем названия книжек, рассмотренных нами:

Герой-казак Козьма Крючков [рассказы] / Изд. И. А. Морозова. М.: Тип. А. А. Стрельцова, 1914. 24 с.

Герой-казак Крючков. Новые военные песни / Изд. А. С. Балашова. М.: Тип. Ф. И. Филатова, 1914. XVI с.

«Герой Крючков» и другие песни войны. М.: Тип. С. А. Алянчикова, 1914. XVI с.

Геройский подвиг Донского казака Кузьмы Фирсовича Крюčkова. М.: Тип. А. Д. Плещеева, 1914. 16 с.

То же. М.: Тип. П. В. Бельцова.

Геройский подвиг казака Кузьмы Крюčkова. М.: Тип. С. А. Алянчикова, 1914. 16 с.

Геройский подвиг казака Кузьмы Крюčkова и геройский подвиг русского крестьянина. М.: Тип. П. В. Бельцова, 1914. 8 с.: ил.

<sup>7</sup> Там же. С. 95.

<sup>8</sup> Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963. С. 117.

*Дэг.* Подвиг казака Крючкова: поэма. Пг.: Изд. Д. М. Гутзаца, 1914. 12 с.

*Каменский Н.* Герой Крючков. М.: Типолит. В. Рихтер, 1914. 23 с.

Неустршимое геройство наших казаков на войне. Геройский подвиг казака Козьмы Крючкова. М.: Тип. А. А. Стрельцова, 1914. 24 с.

Неустршимый герой донской казак Кузьма Крючков и его славные победы над врагами, как он один убил одиннадцать немцев. М.: Тип. П. В. Бельцова, 1914. 16 с.

*Новиков А. А.* Козьма Крючков. Геройский подвиг казака Войска Донского в войну с немцами 1914 г. Рассказ подполковника в отставке Александра Новикова. М.: Тип. акц. о-ва «Моск. Изд-во», 1914. 12 с.

Песни Великой всемирной отечественной войны 1914 г. первого георгиевского кавалера, казака Козьмы Крючкова, отважного и неустршимого героя, который в бою убил 11 пруссаков и сам получил 16 ран, остался жив и вновь пошел в бой. М.: Лит. М. Н. Шарапова, 1914. 14 с.

Славный герой-казак доблестный сын вольного Дона Кузьма Крючков, уложивший один в славном бою насмерть одиннадцать врагов-немцев. М.: Тип. П. В. Бельцова, 1914. 16 с.

Славный молодец донской казак Кузьма Крючков (первый георгиевский кавалер в русско-немецкую войну)/Изд. И. Т. Губанова. Киев: Тип. акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914. 32 с.

Славянофил. Сказание о великой войне. Граматка Козьмы Фирсовича (донско-го казака Крючкова). Посвящается славным сынам Тихого Дона. Пг.: «Евг. тиле. преemn.», 1914. 12 с.

То же. Кольвань: Тип. Ш. Шауфер. 10 с.

Храбрейшие герои. Казак Кузьма Крючков и другие казаки и их геройские подвиги. М.: Тип. «Просвещение», 1914. 16 с.

Храбрейший герой Великой Отечественной войны, первый георгиевский кавалер, славный казак Тихого Дона Кузьма Крючков и 12-ти летний мальчик герой георгиевский кавалер Андрюша Мироненко. М.: Тип. П. В. Бельцова, 1914. 16 с.

*Шухмин Х.* Донской казак Кузьма Крючков и его славный подвиг. Рассказ из русско-германской войны Христофора Шухмина. М.: Тип. М. Н. Шарапова, 1914. 14 с.

То же. М.: Тип. Филатова, 1914.

Война и жизнь. Вып. II. Казаки. Пг.: Тип. И. Львова, 1915. 34 с.

Герой-казак Крючков. Новые военные песни / Изд. А. С. Балашова. М.: Тип. Г. В. Васильева, 1915. 16 с.<sup>9</sup>

В одной из брошюр утверждается, что имя Крючкова известно даже за границей, что в Париже восхищаются русскими героями, знают их по именам, а казак Крючков «вырос в глазах восторженных французов в легендарную фигуру настоящего русского богатыря».<sup>10</sup>

Большинство таких книжечек по 12—16 страниц в тонкой обложке содержат в себе фрагменты из не связанных между собой газетных статей, в которых упомина-

<sup>9</sup> Следует отметить, что помимо названных изданий выпускались и сборники рассказов о казаках, содержавшие в том числе информацию о Крючкове и его подвиге. Эти сборники включают сведения, взятые большей частью из периодической печати, и по стилю соответствуют вышеперечисленным книжкам. Имеются в виду следующие издания (на указанных страницах приводятся сведения о Крючкове): *Давыдов В. Д.* Славное казачество во вторую отечественную войну. Новочеркасск: Донская епархиальная тип., 1915. С. 39—44; Что писали о казаках в войну 1914—15 гг./ Собр. И. Курмояров. Пг.: Тип. т-ва «Грамотность», 1915. С. 27—34; Кузьма Крючков // Наши казаки в великой борьбе народов. Сборник рассказов участников войны и корреспондентов различных периодических изданий / Собр. И. Тонконогов. М.: Тип. акц. о-ва «Московское издательство», 1917. Т. 1. С. 106—108. Выпуск «ались и отдельные листы, посвященные Крючкову: Бесстрашный подвиг русского казака. Одесса: Тип. «Коммерсант», 1914. 1 с.; Геройский подвиг казака Кузьмы Крючкова. Киев: Тип. Л. П. Кринского, 1914. 1 с.

<sup>10</sup> Геройский подвиг казака Кузьмы Крючкова. М.: Тип. С. А. Алянчикова, 1914. С. 10.



ется Крючков. В них главное место отведено рассказу о подвиге Крючкова, делавшем его широкоизвестным, хотя, по-видимому, он не являлся чем-то уникальным в ряду других героических поступков казаков. Публикуются сведения и о самом Крючкове исходя из свидетельств его товарищей, причем, естественно, они сообщают то, что от них ожидают услышать, и приписывают ему все качества, которыми должен, по народным понятиям, обладать настоящий герой: смелость, храбрость, готовность прийти на выручку товарищу и т. д., т. е. выделяются типические черты.

Идеализации подвергается и семья Крючкова, сообщается, что «среди своих хуторян вся семья Крючковых пользуется заслуженной репутацией домовитых и религиозных людей».<sup>11</sup>

В ряде книжек содержание выходит на новый уровень, появляется художественное начало, и чем свободнее становится форма, в которой описываются Крючков и его подвиг, тем больше его образ домысливается, пропускается через художественное сознание и обрастает все новыми чертами, которые характерны для героя в его ситуации.

Газетные статьи в книжках превращаются в художественные рассказы, издаваемые большей частью анонимно. Художественный образ казака Крючкова практически не содержит индивидуальных черт, подчиняясь традиции. Перед нами предстает идеализированный образ храброго удалца, которому нет равных. Его образ сравним с былинным богатырем, его называют «новым» богатырем.

Иногда в книжке публикуется всего один рассказ, цельный и связный (например, рассказ Николая Каменского «Герой Крючков» или рассказ подполковника в отставке Александра Новикова «Козьма Крючков. Геройский подвиг казака Войска Донского в войну с немцами 1914 г.»). Чаще книжка включает несколько рассказов. Например, в книжке «Славный герой-казак доблестный сын вольного Дона Кузьма Крючков, уложивший один в славном бою насмерть одиннадцать врагов-немцев» публикуются рассказ лично самого славного героя Кузьмы Крючкова об отважном бое с немцами (с. 5—8), рассказ пленного немца о казаках (с. 9—13), а также стихотворение, посвященное доблестному герою Кузьме Крючкову (с. 14—16), т. е. появляются и поэтические произведения. Крючкову посвящаются стихи, песни и даже поэмы. Подвиг его приукрашивается:

Здесь перед вами наш герой  
Дозор немецкий уложил,  
Козьма Крючков казак Донской  
И сам ран двадцать получил.<sup>12</sup>

Количество его ранений, количество убитых немцев в произведениях все время варьируется: иногда, чтобы вызвать большее впечатление от его подвига, иногда для рифмы в поэтических текстах. Числам, как и образу героя в целом, придается фольклорный характер, поэтому, видимо, появляется цифра 12 как число убитых немцев или цифра 30 как общее количество врагов.

Таким образом, на основе брошюр с газетными статьями о Крючкове возникают художественные произведения. Эти произведения создавались профессионалами, но по духу своему, по массовости изданий их можно охарактеризовать как «околонародные». К ним примыкает составленный Симаковым сборник песен, который включает песню «Герой Крючков»:

Ай да ловко! Это дело!  
Немцам здорово влетело!

<sup>11</sup> Неустрашимый герой донской казак Кузьма Крючков и его славные победы над врагами, как он один убил одиннадцать немцев. М., 1914. С. 8.

<sup>12</sup> Дэг. Подвиг казака Крючкова. Пг., 1914. С. 9.

Вся Германия в конфузе  
От геройской битвы Кузи.<sup>13</sup>

Книжечки повлияли на создание целого ряда лубочных картинок, посвященных подвигу казака Крючкова. Эти картинки, пользовавшиеся огромным спросом среди народа, издавались в разных городах России: в Москве (в первую очередь, в издательстве И. Д. Сытина), Киеве, Одессе, Вильне, Риге и некоторых других городах. Современники сообщают о популярности картинок о герое в народе: «Изображение Крючкова красуется в каморках под лестницами, на крышках окованных железом сундуков. Везде он колет и рубит, окруженный трупами, и в смятении бегут от него австрийцы».<sup>14</sup>

В поле нашего зрения были 24 картинки, хранящиеся в коллекции Отдела эстампов Российской Национальной библиотеки. Приведем список полностью:

1-й герой. М.: Фабрика плакатов А. Ф. Постнова, 1914. Инв. № 24301.

Бой Крючкова. М.: Типолит. В. Рихтер, [1914]. Инв. № 24310.

Великая европейская война. Геройский подвиг казака Козьмы Крючкова. М.: Лит. т./д. «А. П. Коркин, А. В. Бейдеман и К°», [1914]. Инв. № 24287.

Великая европейская война. Геройский подвиг казака Крючкова. Киев: Лит. т./д. «А. П. Коркин, А. В. Бейдеман и К°», 1914. Инв. № 27862.

Война России с немцами. Геройский подвиг казака Козьмы Крючкова. Пг.: Типолит. т./д. «А. В. Крылов и К°», [1914]. Инв. № 24274.

Герой казак Козьма Крючков. М.: Т/д. «Генегар и К°», [1914]. Инв. № 24302.

Герой казак Крючков. Рига: Типолит. Э. Левина, [1914]. Инв. № 24273.

Геройская борьба казака Козьмы Крючкова с 11 немцами. Одесса: Книгоизд-во М. С. Козмана, 1914 (Лит. Ф. Шауэр и В. Смрковский). Инв. № 24272.

Геройский подвиг Донского казака Козьмы Крючкова. Киев: Хромолит. акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914. Инв. № 24263.

Геройский подвиг Донского казака Козьмы Крючкова. М.: Т-во типолит. И. М. Машистова, 1914. Инв. № 24313.

Геройский подвиг Донского казака Кузьмы Крючкова во время схватки с немецкими кавалеристами. М.: Хромолит. И. А. Морозова, [1914]. Инв. № 24275.

Геройский подвиг казака Козьмы Крючкова. Казань: Типолит. т/д. «В. Еремеев, А. Шашабрин», [1914]. Инв. № 24261.

Геройский подвиг казака Кузьмы Крючкова. Киев: Хромолит. «Прогресс», 1914. Инв. № 24303.

Геройский подвиг казака Кузьмы Крючкова. М.: Лит. Иванова, [1914]. Инв. № 24262.

Геройский подвиг четырех казаков. Одесса: Типолит. Г. Х. Мукомель, [1914]. Инв. № 24278.

Лихой набег казаков на немецкий гусарский полк. Казань: Типолит. т/д. «В. Еремеев, А. Шашабрин», [1914]. Инв. № 24294. См. также: Лихой набег казаков на немецкий гусарский полк/Перемена позиции русской артиллерии во время боя. Казань: Типолит. т/д. «В. Еремеев, А. Шашабрин», [1914]. Инв. № 24323.

Наши герои казаки. М.: Лит. т-ва И. Д. Сытина, 1914. Инв. № 24264.

Первый георгиевский кавалер Кузьма Крючков. М.: Лит. С. М. Мухарского, [1914]. Инв. № 24265.

Первый георгиевский кавалер-герой Козьма Крючков. М.: Лит. С. М. Мухарского, [1914]. Инв. № 24266.

Подвиг донского казака Кузьмы Крючкова. Одесса: Лит. А. Соколовского, 1914. Инв. № 24271.

<sup>13</sup> Новейший военный песенник «Прапорщик». Пг., 1916. С. 92.

<sup>14</sup> Слава донского казака Крючкова // Герои донцы 2-й Отечественной войны. Ростов-на-Дону: Тип. «Печатное дело», 1914. С. 15.

Подвиг казака Козьмы Крючкова. Вильна: Лит. Х. И. Ласкова, [1914]. Инв. № 24306.

Подвиг казака Крючкова. Гродно: Типолит. т-ва «С. Лапин с С-ми», [1914]. Инв. № 24314.

Подвиг первого георгиевского кавалера казака Козьмы Крючкова/Подвиги русского казачества. Первая кровь за родину. М.: Типолит. Е. Ф. Челнокова, [1914]. Инв. № 24305.

Храбрый наш казак Крючков... М.: Фабрика плакатов А. Ф. Постнова, 1914. Инв. № 24339.<sup>15</sup>

Известно, что в Москве также хранится 25 лубков на эту тематику.<sup>16</sup>

На лубках Крючков изображается лихим казаком, с фуражкой набекрень, обычно в пылу борьбы, окруженный немцами и яростно отбивающий их атаки пашкой или пикой. Часто в углу картинка помещается портрет Крючкова. Такой тип лубка, содержащий в себе помимо основного изображения портрет героя, был довольно распространенным. Как отмечает Вера Славенсон, изображая военный подвиг, «лубочник обнаруживает тенденцию выявить детально лицо своего героя и, не стесняясь художественными требованиями гармонии и цельности рисунка, тут же, в углу картинка, помещает его портрет».<sup>17</sup> Лицо Крючкова более индивидуализировано и выразительно по сравнению с весьма схематичным изображением лиц немцев, оно выражает решимость и смелость героя. На лицах немцев в основном присутствует одинаковое выражение страха и ужаса перед казацкой отвагой. Часть немцев уже пала от руки Крючкова, остальные тщетно пытаются убить его. На одной из картинок мы видим окончание боя, когда все немцы повержены, а Крючков закалывает последнего из них. На другой Крючков дан в многократном увеличении по сравнению с немцами, которых он насадил на свою пику. Этот сатирический лубок представляет врагов в виде маленьких человечков в смешных, нелепых позах.

Тексты для картинок берутся если не из газет, то из названных брошюр. Здесь, так же как и в брошюрах, проявляется и поэтическое начало. Так, на одной из картинок автор текста представил геройство Крючкова поэтически и, помня о том, что Крючкова сравнивали с богатырями, стилизовал сюжет под былину:

Ой не спеть ли нам былинушку  
Про лихого казака,  
Про Крючкова исполинушку  
Удалого рубака.

Сын Донского молодечества,  
Сын воинственных дружин,  
Он за счастье отечества  
На врага пошел один.〈...〉<sup>18</sup>

Как и богатырь, Козьма Крючков главным для себя считает служение Родине и царю. Отмечаются его решительность в поступках, командирские способности, а также ловкость и удалство.

<sup>15</sup> Непосредственно к данным картинкам примыкает, на наш взгляд, лубок под названием «Наши герои казаки» (М.: Лит. т-ва И. Д. Сытина, 1914. Инв. № 152758). Хотя в тексте имя Крючкова не упоминается, сама картинка непосредственно апеллирует к его образу, так как на ней изображается казак на коне. Казак отбивается от окруживших его врагов, т. е. композиция изображения в точности соответствует лубочным картинкам, посвященным непосредственно Козьме Крючкову.

<sup>16</sup> См.: Русский военный лубок [каталог]. Из коллекции Отдела редких книг. Гос. Публичная историческая б-ка России / Сост. И. В. Лебедева. М., 1994. Ч. 1.

<sup>17</sup> Славенсон В. Война и лубок // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 103.

<sup>18</sup> Подвиг казака Крючкова. Гродно. 1914.

Пропагандистская машина сказала и на устной традиции. Благодаря внедрению в народ книжек и лубочных картинок образ казака Крючкова вошел в народное сознание и нашел место и в частушке:

Вы послушайте, ребята,  
Немцы глупы, как телята,  
А казак Крючков провор —  
Десять разом заколол!<sup>19</sup>

В массовых печатных изданиях (брошюрах, лубочных картинках) и в фольклорных произведениях образ бесстрашного казака Козьмы Крючкова, таким образом, вписывается в общетрадиционный контекст. Его образ становится символом смелости русского солдата, поэтому он предельно обобщается:

Казаки наши лихие  
Все лихой народ,  
Посмотрите, как Крючковы  
Лупят ловко их.<sup>20</sup>

Массовая литература и лубок периода первой мировой войны ничего не сообщают о дальнейшей судьбе героя, однако интерес к нему в печати не исчезает. Образ казака Крючкова находит свое продолжение несколько позже в белоэмигрантской литературе, которую он интересует прежде всего как участник гражданской войны, принявший сторону белых. В рассказе, опубликованном в 1926 году в эмигрантском журнале «Казачий путь» и републикованном Г. Рычневым в 1991 году в журнале «Молодая гвардия», мы находим сведения о деятельности Крючкова после первой мировой войны и о его гибели.<sup>21</sup> Казак, скрывшийся за инициалами А. Л. и знавший Крючкова лично, сообщает, что герой «с честью выполнял щекотливые поручения — собирать малодушных — и многих увлек за Маныч, чтобы потом снова ринуться в бой за казачью волю».<sup>22</sup>

Этот рассказ имеет прямую связь с литературными произведениями о Крючкове, опубликованными в период первой мировой войны. Здесь также дается образ храброго казака, с той только разницей, что теперь он представляет угрозу не для немцев, а для красных: «Узнаю от красных, что комиссары пугали Крючковым и предупреждали ночью не спать».<sup>23</sup>

В рассказе Крючков является вдохновителем казаков, население его помнит и встречает радушно, однополчане его уважают и беспрекословно подчиняются, т. е. литература русской эмиграции дает традиционно высокую оценку этому образу. Крючков «остался верен своим степным традициям: со скромностью не расстался, ничем не запятнав своего благородного подвига»,<sup>24</sup> ему не вскружила голову слава, он продолжил борьбу с врагами своей родины: сначала с немцами, потом с большевиками. Для эмиграции было важно, что такой известный в свое время герой принял их сторону в гражданской войне.

Образ, созданный Шолоховым в романе «Тихий Дон», разительно отличается от принятого в фольклорных и литературных произведениях изображения героя. Даже описание внешности героя дается по-разному у Шолохова и в названных бро-

<sup>19</sup> Симаков В. И. Частушки про войну, немцев, австрийцев, Вильгельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. Пг., 1917. С. 14.

<sup>20</sup> Герой Кузьма Крючков // Песни Великой всемирной отечественной войны 1914 г. первого георгиевского кавалера, казака Козьмы Крючкова, отважного и неустрашимого героя, который в бою убил 11 пруссаков и сам получил 16 ран, остался жив и вновь пошел в бой. М., 1914. С. 6.

<sup>21</sup> Фирсыч / Подгот. Г. Рычнев // Молодая гвардия. 1991. № 11. С. 114—117.

<sup>22</sup> Там же. С. 116.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Там же. С. 115.

шюрах. Если в рассказах анонимных авторов он изображается как красивый молодой человек, могучий, как богатырь, «широкий в плечах, сухощавый, огромного роста, темный шатен»,<sup>25</sup> то у Шолохова, как было сказано выше, это «чуть рябоватый, сутулый казак». Шолохов отвергает всякую идеализацию героя, выставляя его в невыгодном свете.

Отношение к герою писателя крайне саркастическое: «Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию, рассказывая о своем „подвиге“»,<sup>26</sup> при этом изрядно привирая. Дамы же одаривали его восхищенными взглядами. Это противоречит рассказам казаков о дальнейшей судьбе Козьмы Крючкова. Один из казаков, знавший Крючкова лично, сообщает, что «Крючков служил в штабе дивизии короткий промежуток времени, после чего по собственной инициативе вернулся в полк и закончил войну в качестве взводного урядника».<sup>27</sup>

Снижение образа казака в «Тихом Доне» связано с изначально иной, чем в массовой литературе, позицией Шолохова в трактовке геройства Крючкова. Шолохов не воспринимает свершившееся как подвиг: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в обьявшем их живом ужасе натыкались, спшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разьехались, нравственно искалеченные. Это назвали подвигом».<sup>28</sup>

Известно, что Шолохов встречался с Иванковым, непосредственным участником боя, выслушал его, но ничего не записал. Видимо, это событие не отвечало понятиям писателя о подвиге и геройстве. Тупое, бессмысленное убийство людей, совершенное опьяневшим от боя и крови казаком, остается для Шолохова всего лишь убийством. Как отмечает В. В. Гура, в понимании героизма и подвига Шолохов идет от Льва Толстого, что сказалось в «изображении безумия войны, враждебности ее человеческому естеству, в срывании героических масок с нее».<sup>29</sup> О влиянии Толстого на автора «Тихого Дона» пишет и американский славист Г. С. Ермолаев: «В духе Толстого Шолохов лишает войну ее показной героики и разоблачает ее бессмысленность и аморальность».<sup>30</sup> Такое восприятие войны приводит к сознательному снижению образа Козьмы Крючкова, что отражает позицию автора в этом вопросе.

Снижение образа казака связано не только с «толстовской позицией» Шолохова, но и с тем, что Крючков примкнул к белому движению.

Отношение писателя к подвигу Крючкова переносится на личность самого казака. Это уже не абстрактный воин, а конкретный человек со своими недостатками, его образ предельно снижен по сравнению с образом, рисуемым в массовой литературе и лубке.

Таким образом, личность Крючкова получает две совершенно разные трактовки, исходящие из оценки его подвига. В литературе создаются два образа: идеализированный и более приземленный. Каким же был подлинный Козьма Фирсович Крючков, казак из станицы Усть-Хоперской, мы, потомки, вероятно, так никогда и не узнаем.

<sup>25</sup> Геройский подвиг казака Кузьмы Крючкова. Киев, 1914. С. 1.

<sup>26</sup> Шолохов М. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. Кн. 1. С. 246.

<sup>27</sup> Ермолаев Г. Михаил Шолохов и его творчество. СПб., 2000. С. 268. Воспоминания о Крючкове были напечатаны в эмигрантском журнале «Родимый край» (1956. № 56).

<sup>28</sup> Шолохов М. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. Кн. 1. С. 246.

<sup>29</sup> Гура В. В. Как создавался «Тихий Дон». М., 1980. С. 297.

<sup>30</sup> Ермолаев Г. Указ. соч. С. 121.

## К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОМОРФНОСТИ НАРРАТОРА В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»

Язык — первое, что обращает на себя внимание при чтении произведений А. Платонова. Открыв наугад любую страницу, например, романа «Чевенгур» (да, собственно, любого из произведений Платонова), можно обнаружить все те «необычности» и «непривычности» платоновского языка, о которых написано много и будет написано еще немало. Если попытаться выделить курсивом все языковые «корявости», то пришлось бы весь текст «Чевенгура» переписать курсивом. Более того, на этом языке едва ли можно вообще говорить. На этом языке можно разве что бредить, как например, во сне или в состоянии горячки. Приведем пример, когда Копенкин машет саблей в воздухе, чтобы «путать» радиоволны и помешать таким образом радиосвязи между «белыми буржуями»: «Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привыкшую руку не сводило в суставе плеча.

— Достаточно, — отменял Копенкин. — Теперь у них смутно получилось.

После победы Копенкин удовлетворился; он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом. Замолчавший лесной сторож дал Копенкину и Дванову по ломтю хорошего хлеба и сел в отдалении. На вкус хлеба Копенкин не обратил внимания, — он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближайшему направлению, не отдаваясь своему телу».<sup>1</sup>

Что это за конструкции — «начал сечь вредный воздух», «пока его привыкшую руку не сводило в суставе плеча»? Носитель языка знает, что «начать сечь» можно, например, врага, если таковое действие предполагается фабулой того или иного произведения. Воздух же можно «рассекать» саблей, и в этом случае без «начал», как то и принято в поэтическом языке. Конструкция «вредный воздух» — нарушение сочетаемости слов, хотя из контекста нам понятно, что имеется в виду «эфир, наполненный радиосигналами, с помощью которых вражеские отряды сообщаются друг с другом», отсюда и враждебное отношение Копенкина к «вредному воздуху» как к врагу, которого он «начал сечь». Недоумение вызывает и словосочетание «привыкшую руку». Здесь явно ощущается неполнота конструкции, т. е. недостает предлога «к» и существительного в дательном падеже. Контекст подсказывает нам «полноценную» конструкцию — «привыкшую к маханию саблей руку». Хотя предложенная конструкция выглядит довольно неуклюже, но, согласно контексту, дело обстоит именно так. Глагол «сводило» (в значении «согнуть, стянуть, скорчить», как например, при судороге или боли) требует формы совершенного вида, прошедшего времени («пока его (...) руку не *свело*»), если следовать правилам синтаксиса. Даже такое, на первый взгляд «невинное», словосочетание, как «сустав плеча», также задерживает наше читательское внимание. Мы знаем, что можно сказать «сустав ноги», «суставы пальцев», но сказать «сустав плеча» — неверно, и для этого совсем не обязательно владеть медицинскими терминами. Вместо «сустав плеча» существует устоявшееся словосочетание «плечевой сустав». Да и «руку свести в плечевом суставе» не может. «Свести» может «плечевой сустав», без «руки», — конструкция «свело руку в плечевом суставе», как то понятно из контекста в нашем примере, перегружена. В таком случае принято использовать конструкцию «свело плечевой сустав» или «свело плечо».

Как видим, чтобы хоть как-то разобраться в «неправильностях» платоновского языка, даже этот небольшой по объему пассаж требует отдельного исследования, что выходит за рамки настоящей статьи. И тогда мы должны либо согласиться с

<sup>1</sup> Платонов А. Чевенгур. М., 1988. С. 128. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием страницы.

тем, что Платонов не владел основами грамматики русского языка; либо предположить, что автор отдал перо и бумагу кому-то другому. Первое утверждение отвергается автоматически, так как мы не можем допустить, что Платонов мог писать свои произведения, не владея правилами грамматики. Остается второе — принять постулат о присутствии в тексте романа *Другого*, который ведет повествование и тем самым создает историю по своему образу и подобию.

Итак, чтобы понять язык Платонова, необходимо актуализировать проблему повествующей инстанции, и таким образом поставить вопрос, *кто* говорит на этом языке, и исследовать его на примере каждого отдельно взятого произведения. Как справедливо заметил М. Михеев, «чтобы как-то ориентироваться в его (А. Платонова. — Л. III.) текстах, необходимо уяснить для себя некоторые предпосылки, на которых этот диковинный мир построен».<sup>2</sup> Большинство исследователей творчества Платонова подходят к анализу языка писателя с намерением показать, *как, каким образом* происходят те или иные языковые метаморфозы, т. е. пытаются ответить на вопрос, *что* происходит с платоновским языком, тогда как вопрос, *почему* это происходит, часто остается за пределами их внимания. Ответить на вопрос, *почему* с платоновским языком происходит то, что происходит, можно лишь в случае исследования повествующей инстанции. Отсутствие в платоноведении системного анализа повествующей инстанции и явилось побудительным мотивом настоящей статьи.

Существующее в современной нарратологии положение о том, что нарратор присутствует в каждом повествовательном произведении, послужило отправной точкой моих рассуждений.<sup>3</sup> При этом необходимо учесть существенное различие между автором произведения и нарратором. Если автор изображает сам акт повествования, т. е. является изображающей инстанцией, то нарратор выполняет повествовательную функцию, он повествует историю, т. е. является повествующей инстанцией. Таким образом, нарратор предстает перед читателем как субъект изображаемого мира, а не как некая абстрактная функция, а именно: он антропоморфен, обладает способностью мыслить и выражать себя в языке.<sup>4</sup> Исходя из вышесказанного, попытаюсь эксплицировать, выявить присутствие нарратора в тексте романа «Чевенгур».

Начало романа («Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов»), если снять фактор порядка слов, не что иное, как стилизация сказочного зачина.<sup>5</sup> Сказка же, как известно, есть монологический рассказ, который ведется от третьего лица.<sup>6</sup> Необходимо отметить, что стилистическим признаком сказочного зачина (как и всякого описания в сказке) являются глаголы несовершенного вида прошедшего времени.<sup>7</sup> В нашем случае использование формы глагола несовершенного вида настоящего времени понадобилось нарратору, очевидно, для того, чтобы показать, что он вводит нас в события, имеющие место в настоящее по отношению к нему, нарратору, время. Тем самым нарратор как бы хочет подчеркнуть, что он был сви-

<sup>2</sup> Михеев М. В мир Платонова через его язык. М., 2003. С. 22.

<sup>3</sup> В «терминологической» дискуссии с русскими литературоведами В. Шмид убедительно доказывает, что термины «повествователь» и «рассказчик», обозначающие два противоположных типа повествующей инстанции — «объективный» и «субъективный» соответственно, — не отражают всего спектра находящихся между ними переходных повествовательных типов. Поэтому я, вслед за Шмидом, в дальнейшем буду пользоваться индифферентным по отношению к оппозиции «объективный»/ «субъективный» термином «нарратор». См.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 63—66.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Один из распространенных сказочных зачинов начинается с обстоятельства места и глагола *жить/быть*. Например: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был...». О сказке как о стилистическом приеме у Платонова см.: Толстая-Сегал Е. О связи низших уровней текста с высшими (проза Андрея Платонова) // Slavica Hierosolymitana (Jerusalem). 1978. Vol. 2. P. 169—212; Михеев М. Указ. соч.

<sup>6</sup> См.: Аникин В. Русская народная сказка. М., 1984.

<sup>7</sup> Там же. С. 142.

детелем того, о чем пойдет речь в дальнейшем. Другими словами, зачин в романе есть направленный к читателю демаркационный (индициальный, индексальный) знак, сигнализирующий о начале повествования и обозначающий, что дальше следует изложение истории. Это своего рода симптом, с помощью которого нарратор выражает (и тем самым выявляет) себя.

Так уже в начале романа задан определенный тип нарратора, а именно: повествование ведется от третьего лица; какая-либо самопрезентация нарратора полностью отсутствует. И действительно, на протяжении всего текста романа мы не встретим ни малейшего намека на экспликацию нарратора, как например в «Мастере и Маргарите» Булгакова, когда нарратор единственный раз, вольно или невольно, выдает свое присутствие возгласом: «За мной, читатель!». В нашем случае можно сказать, что мы имеем дело с *имплицитным* типом нарратора. Не обнаруживает он себя и в плане повествуемой истории, *диегесисе*, т. е. он не повествует о себе как об объекте повествования, объектом его повествования являются лишь другие персонажи. Таким образом, его роль ограничена планом повествования, *экзегесисом*. Исходя из вышесказанного, мы можем заключить следующее: с точки зрения участия в одном из двух планов изображаемого мира (плана повествуемой истории — *диегесиса* и плана повествования — *экзегесиса*), наш нарратор находится в *экзегесисе*, т. е. относится к *недиегетическому* типу.<sup>8</sup>

Итак, мы выяснили, что нарратор в романе «Чевенгур» относится к *имплицитному* и *недиегетическому* типу. Но, даже определив тип нарратора, мы все же не ответили на поставленный в начале статьи вопрос, *почему* с платоновским языком происходят определенные «странности». Продолжим поиск. При чтении романа обращает на себя внимание, кроме языковых «странностей», тот факт, что герои неминуемо много спят.<sup>9</sup> Возникает естественный вопрос: почему так происходит? Желанию спать способствует целый ряд факторов. Самым первым в этом ряду, и наиболее естественным, является наступление ночи. Интересно отметить, что нарратор по ходу повествования постоянно, можно сказать, даже настойчиво, извещает нас о том, в какое время суток происходит то или иное действие. Частотность сменяемости времени суток в пространстве романа так высока, что это не может не навести на мысль о его, нарратора, некоей скрытой интенции.<sup>10</sup> Прочитаем выбранные наугад несколько страниц текста подряд: «После того, как Соня ушла, Дванов из боязни лег спать до утра, чтобы увидеть новый день и не забыть ночи» (с. 92); «Ночью поднялся ветер и остудил весь город» (с. 92); «Закончив чертеж, Шумилин лег на диван и сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имевшей необходимых вещей, и смиренно заснул» (с. 93); «Утром Шумилин догадался...» (с. 93); «Вечером Дванов получил бумагу: немедленно явиться к предгубисполкома, чтобы побеседовать о намечающемся самозарождении социализма среди масс. Дванов встал и пошел на отвыкших ногах» (с. 94); «...уже смеркалось, ...» (с. 95); «— Соня, — сказал он утром на другой день. — Я ухожу, до свидания!» (с. 96); «...в один вечер он не имел ночлега и нашел его только в теплом бурьяне на высоте водораздела» (с. 97); «На заре он (Дванов. — Л. Ш.) проснулся от тяжести другого тела и вынул револьвер» (с. 97).

Как видим, всего лишь на протяжении шести страниц текста время суток меняется трижды, т. е. интенсивность смены суточного времени довольно высока. Следовательно, герои спят, потому что наступает ночь, и неважно, где она их застанет: в степи ли, в будке железнодорожника, в доме лесничего, в одной из деревень или просто на улице города Чевенгура. Кроме того, если мы сравним, даже чисто

<sup>8</sup> Ср.: Шмид В. Указ. соч.

<sup>9</sup> См. также: Кантор К. М. «Без истины стыдно жить» // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 18.

<sup>10</sup> На частую смену времени суток у Платонова обратила внимание также М. А. Дмитриевская. Ср.: Дмитриевская М. А. Язык и мирозерцание А. Платонова. М., 1999. С. 59.



визуально, «плотность» дневного и ночного времени суток (на примере тех же страниц, что цитировались выше), то увидим, что описание событий, происходящих в ночное или вечернее время, занимает по сравнению с дневным значительно большее пространство текста. Плотность вечернего времени суток в романе настолько велика, что по объему может занимать несколько страниц текста, прежде чем повествование перейдет в «дневной» ракурс. Примером тому может служить эпизод, когда Дванов, возвратясь из командировки по степным районам губернии, идет к Шумилину, а затем они уже вместе идут на партсобрание (с. 181). После партсобрания Дванов и Гопнер знакомятся с учредителем чевенгурского коммунизма — Чепурным. Дванов пишет записку оставшемуся в одном из сел Копенкину и идет вместе с Гопнером домой (с. 192). Чепурный остается ночевать на постоялом дворе (с. 193). Все действие длится в интервале между вечером уходящего и началом нового дня: «Вечером Дванов пошел к Шумилину; рядом с ним многие шагали к возлюбленным» (с. 181); «Утром постоялый двор набился телегами крестьян, приехавших на базар» (с. 193).

Высокую плотность ночного времени можно наблюдать и в «чевенгурском» плане романа, когда в интервале между вечером и утром чевенгурские коммунисты заняты тем, что собираются в «кирпичном доме» для обсуждения вопроса о благоустройстве города Чевенгура к прибытию ожидавшегося пролетариата (с. 270), а также пишут по этому случаю приветственный лозунг (с. 271). Затем они принимают решение охранять Чевенгур от возможного врага: идут в степь (с. 272), где им встречается катящийся металлический бак (с. 274), внутри которого пел человеческий голос (с. 276), и сбрасывают его с обрыва (с. 277). К утру они еще успевают помыть восемнадцать домов (с. 278). Как видим, нарратору понадобилось восемь страниц текста, чтобы описать происходящее в ночное время суток.

В романе имеются, конечно, и «дневные» эпизоды. Но и здесь повествуемое не переживается нами как происходящее в течение «полноценного» светового дня: «Над пустынной бесприютностью степи всходило вчерашнее утомленное солнце, и свет его был пуст, словно над чужой забвенной страной, где нет никого, кроме брошенных людей на кургане...» (с. 284). Чувство какой-то тяжести, угнетенности, одиночества от наступающего дня усиливается еще и воспоминанием Чепурного: «„Где я видел все это таким же?“ — вспомнил Чепурный. Тогда тоже, когда видел Чепурный в первый раз, поднималось солнце во сне тумана, дул ветер сквозь степь и на черном уничтожаемом стихиями кургане лежали равнодушные несуществующие люди...» (с. 284—285). Словно неохотно, с трудом, встает солнце. Такое впечатление, что не солнце, а луна освещает новый день. А ведь именно солнце было признано в Чевенгуре тружеником и светилом коммунизма, тогда как луна — светилом одиноких и бродяг. Небезынтересным представляется также тот факт, что Захар Павлович, чтобы оплачивать свое проживание у церковного сторожа, «звонил ночью часы», т. е. звонил в церковный колокол ночью. Как известно, в колокол звонят к заутрене, к обедне, к вечерне, по многим другим причинам. Но ночью в колокол не звонят, разве что в случае пожара. Следовательно, нарратор намеренно пытается обратить наше внимание на темное время суток.

Итак, вчитываясь в текст романа, мы убедились, что действие в романе в большей своей части происходит в темное, сумеречное, будь то ночь, вечер или день, время суток. Такое время — самое благоприятное для того, чтобы видеть сны, предаваться грезам или бредить. Описания сновидений героев, картин, виденных ими в мечтах, в воспоминаниях или в бреду, занимают довольно значительное место в романе и могли бы составить отдельную тему для исследования. Я коснусь лишь некоторых моментов, связанных с описанием состояния сна, а точнее, одного из них, который представляет для меня безусловный интерес. «Дванов закрыл глаза, чтобы отмежеваться от всякого зрелища и бессмысленно пережить дорогу до того, что он потерял или забыл увидеть на прежнем пути.

Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в поступках, ни в страдании, он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба — это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.

Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым не был.

Он существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое имелось налицо, но чего-то малого и главного недоставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяет — так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.

Это евнух души человека. Вот чему он был свидетелем» (с. 114—115).

Еще пример: «Дванов почувствовал тягость своего будущего сна, когда и сам он всех забудет; его разум вытеснится теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным грустным наблюдателем.

Старая вера называла это изгнанное слабое сознание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего на холм из душевной тьмы живущего человека» (с. 125).

И, наконец, еще один пример: «И опять ехали двое людей на конях, и солнце всходило над скудостью страны.

Дванов опустил голову, его сознание уменьшилось от однообразного движения по ровному месту. И то, что Дванов ощущал сейчас как свое сердце, было постоянно содрогающейся плотинкой от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотинкой всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства — вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотинкой, охлаждающейся от своей скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питающего, но и тормозящего его сознание, и мог быть счастливым» (с. 161).

Все три пассажа понадобились для того, чтобы показать, что нарратор неспроста, и при этом на небольшом отрезке текста, трижды обращается к образу некоего внутреннего наблюдателя, надзирателя, сторожа. Более того, образ реального сторожа (в фиктивном мире романа, разумеется) возникает довольно часто. Это может быть церковный сторож, пожарный охранник на крыше горсовета губернского города, сторожащий чевенгурский коммунизм Кирей, а также лесной сторож-надзиратель. Лесной сторож, например, встречается Дванову и Копенкину дважды: «До самого вечера шагала вперед Пролетарская Сила, а вечером Дванов и Копенкин стали на ночлег у лесного сторожа на границе леса и степи» (с. 127); «Копенкин показал на недалекую полосу леса, лежавшего на просторной земле черной тишиной и уютом. (...) Лесной надзиратель, хранивший леса (...)» (с. 138—139). Возникает ощущение, что нарратор, что называется, педалирует на слове сторож, намеренно пытается обратить наше читательское внимание на образ сторожа, предстающий также в ипостаси «швейцара», «ангела-хранителя», «евнуха души», и тем самым как бы «подсказать» нам, что в этом образе скрывается определенный смысл, его, нарратора, тайный замысел. Интересно также, что образ внутреннего сторожа-наблюдателя возникает лишь в «зоне» Александра Дванова. И здесь невольно напра-

шивается мысль, что этот внутренний наблюдатель и есть повествующая инстанция в романе, и находится она внутри сознания Александра Дванова, а «маленький зритель», «сторож», «швейцар», «мертвый брат», «ангел-хранитель», «евнух души» есть ее, повествующей инстанции, метафорический образ. Но возникает он перед читателем лишь в моменты болезненного бреда Дванова, как например после крушения поезда, или после ранения, когда он отлеживается у Феклы Степановны, или же когда он с Копенкиным в сонном забытии едет на лошади по степи. Тем самым как бы дается подсказка, что повествующую инстанцию можно обнаружить, когда герой спит, а вернее, когда его, героя, сознание находится в состоянии забытья, т. е. в бессознательном состоянии. Тогда можно сказать, что весь роман есть сон Александра Дванова, рассказанный им же, Двановым, в состоянии сна. Я подчеркиваю, не пересказанный в состоянии бодрствования, как мы это обычно делаем, или как это сделал, например, герой Достоевского в «Сне смешного человека», а рассказанный им в бессознательном состоянии. Нам всем хорошо известно, что как только мы после пробуждения пытаемся пересказать сон, у нас вместо сильных впечатлений, пережитых во сне, получается блеклый рассказ. Это еще одно доказательство того, что сон не поддается пересказыванию нашим обычным языком. И здесь становятся понятны «неудобоваримые» платоновские словосочетания, конструкции фраз, предложений. Во всяком случае, понятна их природа, их происхождение — они суть явления бессознательного. И здесь мы можем сделать следующий вывод: нарратор в романе «Чевенгур» присутствует то в акте повествования, то в повествуемом мире, т. е. относится к *диегетическому* типу, правда, в своей крайней форме — он не обнаруживает себя ни в диегезисе, ни в экзегезисе.<sup>11</sup> В повествуемом мире нарратор, или повествуемое Я, представлен как «евнух души», тогда как в акте повествования нарратор, или повествующее Я, обнаруживает себя во всех тех «странностях» платоновского стиля, о которых много писалось и говорилось исследователями.<sup>12</sup>

В платоноведении на «евнуха души» обратил внимание В. А. Подорога и охарактеризовал его как особую точку видения у Платонова, которая, согласно исследователю, является формирующим моментом платоновского стиля и определяет нашу читательскую позицию.<sup>13</sup> М. Михеев первый высказался, хотя и вскользь, о «евнухе души» как о повествующей инстанции, называя его, правда, то повествователем, то рассказчиком.<sup>14</sup> И все же вновь и вновь возникает вопрос: кто он, этот «евнух души», «ангел-хранитель», «сторож», «швейцар» и «надзиратель», в какой степени он антропоморфен? Для удобства возвращусь к уже цитированному выше тексту: «Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в поступках, ни в страдании — он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба — это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом

<sup>11</sup> Вспомним, что мы пришли к выводу о *недиегетичности* нарратора в начале анализа.

<sup>12</sup> Несмотря на то что повествование в романе ведется от третьего лица, я, используя понятия повествуемого и повествующего Я, принимаю точку зрения Шмида, который считает, что грамматическая форма не должна влиять на типологию нарратора и что повествование, даже если грамматическое лицо выражено не эксплицитно, ведется от первого лица. См.: Шмид В. Указ. соч. С. 83.

<sup>13</sup> Ср.: Подорога В. А. Евнух души (позиция чтения и мир Платонова) // Вопросы философии. 1989. № 3.

<sup>14</sup> Ср.: Михеев М. Указ. соч.

доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события» (с. 114—115).

Приведу еще один пример: «...по отношению к сновидению существуют предельные случаи, когда оно не в состоянии уже исполнять своей функции — охрану сна и, как это бывает при страшных сновидениях, берет на себя другую функцию — своевременно прервать сон. Сновидение поступает при этом подобно добросовестному сторожу, который сначала исполняет свою обязанность, устраняя всякий шум, могущий разбудить граждан; когда же причина шума представляется ему важной и сам он не в силах справиться с нею, тогда он видит свою обязанность в том, чтобы самому разбудить граждан».<sup>15</sup>

Уже беглое сравнение этих двух пассажиров наводит на мысль, что Платонов не мог не быть знаком с психоанализом, в частности с теорией сновидения Фрейда. Н. В. Корниенко была права, когда сказала, что Платонову приписывают больше, чем он мог прочитать за всю свою жизнь. Но Фрейд все же не мог пройти мимо внимания Платонова. У самого Платонова нет записей о его знакомстве с теорией Фрейда (все мы, как известно, склонны прятать самое сокровенное в нас как можно глубже), но имеется свидетельство Ю. Нагибина, присутствовавшего при частных разговорах Платонова и Рыкачева, обсуждавших, среди многих других, тему «Фрейд и его учение». Не зная о свидетельстве Нагибина, М. Геллер первый в платоноведении обратил внимание на возможность знакомства Платонова с теорией психоанализа.<sup>16</sup> Я согласна с Нагибиным в том, что в романе «Чевенгур» буквально «вычитываются» положения из теории психоанализа Фрейда.<sup>17</sup> Так, например, в сцене крушения поезда, когда Дванов в самый миг крушения, понимая, что он может погибнуть, вспоминает свою мать: «Близко бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротой. Земля была недостижима и уходила как живая; Дванов вспомнил детское видение и детское чувство: мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных, опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами» (с. 86).

Здесь имеет место аллюзия на статью Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», в которой ученый, наблюдая игру ребенка, собственного внука, описал, как в игре ребенок компенсирует страх перед уходом матери из дома.

Вот еще пример: «— Я стою и гляжу, — сообщил старик, что видел. — Занятье у вас слабое, а людям вы говорите важно, будто сидите на бугре, а прочие — в логу. Сюда бы посадить людей болящих — переживать свои дожитки, которые уж по памяти живут: у вас же *сторожевое* (курсив мой. — Л. Ш.), легкое дело. А вы люди еще твердые — вам бы надо потрудней жить...» (с. 298).

Эти слова принадлежат одному из чевенгурских «прочих» — Якову Титычу и сказаны им в момент торжественного заседания чевенгурского ревкома по случаю прибытия «прочих» пролетариев в город Чевенгур. В рассуждениях Якова Титыча «вычитываются» мысли Фрейда о структуре сознательного, изложенные им в статье «Я и Оно», хотя и в очень «расподобленном» виде.<sup>18</sup> Из слов Якова Титыча становится понятно, что, говоря о легкости «сторожевого» дела чевенгурских коммунистов, он намекает на низкий, находящийся на уровне бессознательного, уровень развития их сознания. Другими словами, Яков Титыч имеет в виду, что они, коммунисты, прикрываясь важными речами, не понимают действительности происходящего, они фактически находятся «в логу», внизу, в бессознательном состоянии, а не «на бугре», на вершине понимания, в состоянии сознания. Я предполагаю (во

<sup>15</sup> Фрейд З. О сновидении // Фрейд З. Избранное. М., 1990. С. 122.

<sup>16</sup> См.: Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Paris, 1982.

<sup>17</sup> Нагибин Ю. Еще о Платонове // Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии / Сост., подг. текстов и примеч. Н. В. Корниенко, Е. Д. Шубиной. М., 1994. С. 75.

<sup>18</sup> О расподоблении цитируемого чужого текста у Платонова см. также: Толстая-Сегал Е. Указ. соч.

всяком случае, это просматривается в тексте романа «Чевенгур»), что Платонов по какой-то причине читал, скорее всего, отдельные статьи Фрейда, а не его фундаментальный труд «Толкование сновидений», написанный и изданный в 1890 году и переведенный на русский язык в 1913 году (по-видимому, потому, что в статьях основные положения психоанализа изложены более доступным для понимания языком, с учетом популяризации его среди широкого читателя).

В платоноведении влияние Фрейда на Платонова словно намеренно замалчивается. И это при том, что многие исследователи отмечают разительную перемену в стиле писателя, начиная с московского периода жизни, т. е. с 1926 года — времени, когда страсти вокруг учения Фрейда еще волновали русскую интеллигенцию. Более того, я считаю, что влияние психоанализа на Платонова как на художника требует отдельного исследования. Теперь уже хорошо известно, что психоанализ Фрейда имел огромную популярность в России 10—30-х годов прошлого столетия, вплоть до его официального запрета.<sup>19</sup> Большой интерес к теории психоанализа в советской России отмечает Воронский.<sup>20</sup> Проблема *Я и Другого*, занимавшая Бахтина в течение всей его жизни, также уходит своими корнями в теорию психоанализа. К теории Фрейда можно относиться по-разному, но анализ структуры человеческого сознания и, в частности, открытие предсознательного имеют несомненную ценность. Именно структура, конструкция нашего мыслительного механизма и его функционирование представляют для меня интерес в моем анализе нарратора, в отличие, например, от исследований Э. Наймана, рассматривающего платоновские тексты как некий психотип.<sup>21</sup>

Итак, вчитываясь в текст «Чевенгура», нетрудно заметить, что платоновский «ангел-хранитель», «мертвый брат человека», «евнух души» есть не что иное, как метафора фрейдовского *предсознательного*. Я не буду подробно останавливаться на теории сновидения Фрейда, которая изложена в его «Толковании сновидений». Замечу лишь вкратце, что в состоянии бодрствования предсознательное выполняет функцию цензора между бессознательным и сознательным, т. е. производит строгий отбор мыслей, поступающих из бессознательного в сознательное. При этом осознание поступающих из бессознательного мыслей происходит благодаря ассоциациям со словесными воспоминаниями, которые сознательное получает из предсознательного. В состоянии же сна цензурирующая деятельность предсознательного ослабевает, и тогда мысли из подсознательного в виде образов могут передвигаться в сферу сознательного более свободно. Все «картинки», которые мы видим во сне, и есть наши мысли из сферы бессознательного, которые проникли в область сознательного благодаря ослаблению контроля со стороны предсознательного. То есть, пока мы спим, предсознательное не в состоянии полностью контролировать «качество» потока мыслей из бессознательного в сознательное.<sup>22</sup> Можно сказать, что в романе «Чевенгур» мы наблюдаем своего рода прорыв мысли из подсознательного в сознательное, наглядное «преображение» ее в слове. «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове. Можно было бы поэтому говорить о становлении (единстве бытия и небытия) мысли в слове».<sup>23</sup> Своеобразное художественное преломление этой мысли Л. С. Выготского можно найти в тексте романа: «Старик (Яков Титыч. — Л. Ш.) сначала помолчал — во всяком прочем сначала происходила не мысль, а некоторое давление темной теплоты, а затем она кое-как выговаривалась, охлаждаясь от истечения» (с. 298).

<sup>19</sup> Ср., например: Эткинд А. 1) Эрос невозможного. СПб., 1991; 2) Содом и психея. М., 1996.

<sup>20</sup> Воронский А. К. Фрейдизм и искусство // Воронский А. К. Искусство видеть мир: Портреты. Статьи / Вступ. статья Г. Белой. М., 1987. С. 486.

<sup>21</sup> См., например: Naiman Eric. Andrej Platonov and the Inadmissibility of Desire // Russian Literature. 1988. Vol. XXIII.

<sup>22</sup> Именно поэтому платоновский «швейцар» лишен права голоса — герой пребывает в состоянии сна или забвения.

<sup>23</sup> Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч. М., 1982. Т. 2. С. 305.

Все вышесказанное подводит нас к выводу о том, что Платонов изобрел, сконструировал тип нарратора, говорящего на языке подсознательного. И здесь будет вполне уместно вместо декартовского «Я мыслю» подставить фрейдовское «Оно говорит». Другими словами, повествующая инстанция в романе «Чевенгур» есть не кто иной, а вернее, не что иное, как предсознательное в сознании Александра Дванова, говорящее на языке бессознательного. И тут-то становится понятным, с точки зрения антропоморфности, источник всеведения и вездесущности нарратора, его богopodobность.<sup>24</sup> Более того, я допускаю, что этот же тип нарратора (говорящее предсознательное в сознании одного из героев) имеет место и в других произведениях Платонова, во всяком случае, в его центральных произведениях второй половины 20-х—первой половины 30-х годов.

<sup>24</sup> Дискутируя с платоноведами по поводу сказовости, А. П. Цветков также отмечает богopodobность говорящей инстанции и тем самым опровергает сказ как форму ведения повествования у Платонова. Ср.: *Цветков А. П. Язык А. П. Платонова. Michigan, 1982.*

## ИЗ ПИСЕМ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

(ПУБЛИКАЦИЯ © Е. В. ПАСТЕРНАК)

### 1. Борис Пастернак и Вольф Эрлих

Случайное знакомство Пастернака с молодым поэтом Вольфом Исидоровичем Эрлихом (1902—1944) имело для него глубокое, почти мистическое значение.

Это имя стало попадаться ему на глаза, когда Пастернак, по просьбе Цветаевой, собирал материалы, связанные с самоубийством Есенина. Она хотела написать поэму о Есенине, «род реквиема, наверное, или лирической трагедии», — объяснял Пастернак Г. Ф. Устинову, к которому 24 января 1926 года обратился за сведениями. «Напишите мне достоверности о смерти Есенина, — сообщал Пастернак в письме к нему слова Цветаевой. — Внутреннюю линию — всю знаю, каждый жест, — до последнего. И все возгласы, вслух и внутри. Все знаю, кроме достоверности. Поэма не должна быть в воздухе».<sup>1</sup>

Пастернак отправил Цветаевой вырезки из газет, но жаловался Устинову, что сам мало мог быть ей полезен: «Мы были с Есениным далеки. Он меня не любил и этого не скрывал, Вы это знаете. Много важного и едва ли не важнейшее можете сообщить Вы и Ваша жена, свидетели последних его дней и его последние собеседники (...) Вы о нем писали». В конце письма Пастернак просил: «Никому не говорите о том, что с таким запросом обращался к Вам я. У меня на то свои причины, они сложны не по моей воле, я их не стыжусь, но распространяться о них было бы утомительно, да и не к чему».<sup>2</sup>

Душевная сложность отношений Пастернака и Есенина объяснялась распространенным представлением об их соперничестве в поэтическом первенстве. Именно это имел в виду Пастернак, когда писал в «Охранной грамоте» (отрывок не вошел в окончательный текст): «...Из современников один Маяковский знал, что я не измышляю, утверждая, что скорое признание совершенно не нужно мне. Именно в этом пункте не верил мне Есенин. Он вообще отрицал меня, и для его антипатий имелось много врожденных оснований. Я всегда признавал и даже уважал их естественную силу (...) И я не об антипатии, которую я принимал, как принимаю до

<sup>1</sup> Boris Pasternak: Letter to G. F. Ustinov / Publ. by Rimgaila Salys // *Irish Slavonic Studies*. 1989. № 12/13. Spring/Autumn. P. 42.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 43.

крайности неудачную, совершенно мне ненужную и чуждую по духу частность моего рожденья, но о том, что когда в беседе я говорил то, что думал, Есенин считал это с моей стороны кокетством. И вот только тот апломб, с которым он рассуждал всего увереннее в те минуты, когда давал мне наиболее яркие доказательства своего незнания, и взрывал меня».<sup>3</sup>

Запросы о Есенине Пастернак посылал также П. Н. Лукницкому, который для этого опрашивал М. А. Фромана, М. М. Шкапскую, В. И. Эрлиха и др. Ему было известно также, что при составлении акта о смерти Есенина давали свои подписи Вс. А. Рождественский, Фроман, Эрлих и П. Н. Медведев.

Таким образом, имя Вольфа Эрлиха было для Пастернака неразрывно связано с Есениным. Вероятно, эта тема была основной и во время их первой встречи.

Эта встреча произвела на Пастернака необычайно сильное впечатление.

В конце сентября 1927 года он на неделю ездил в Ленинград и по возвращении писал родителям: «Одна вещь случилась в Ленинграде, никому с виду не заметная и не поддающаяся описанию. Она имеет величайшее и решающее значение для меня. Для меня, то есть, еще уже: — для моего сердца закончилась и разрешилась моя давняя тяжба с Есениным, навязанная мне им самим при жизни. Может быть, я предвосхищаю событие, и оно еще разрастется и подтвердится, но кажется мне, что это уже исчерпано и сейчас через того самого мальчика (молодого поэта), которому Е(сенин) кровью написал стихи перед смертью.<sup>4</sup> Я видел его и говорил с ним».<sup>5</sup>

Через несколько дней, 3 октября 1927 года, Пастернак подробно описал эту встречу Марине Цветаевой: «Когда я был в Питере, то мало где бывал и с кем видался. Ник. Тихонов затащил меня к себе. Он славный и настоящий, и очень мне мил. (...) Умный, существенный человек, хороший друг, без наигранной романтики. Очень просто и хорошо, не по-плебейски (тут начинаются мании с эстрады) управляется с именем и успехом. (...) Там читали, людей было очень немного. Собрались поздно, в одиннадцатом часу. Читал в течение часа отрывки большой прозы поэт Конст. Вагинов, молодое дарование, с которым там очень носятся. (...) Потом читали стихи, и пристали ко мне, прочесть хотя бы известные им вещи, потому что „чтение мое не записано в граммофон, его нельзя завести, и они меня никогда не слышали“. Я прочел III-ю часть Шмидта. Среди присутствовавших оказался тот самый мальчик, которому Есенин кровью написал свое известное „До свиданья, друг мой, до свиданья“. Действие, которое это чтение на него произвело, ни он ни я не могли, конечно, оценить иначе, чем в том духе, что глухая тяжба покойного со мной разрешилась наконец, в эти несколько ночных и напряженнейших минут. Бесследно растворено, и становится преданьем то, что однажды довело меня до озверенья. Был шестой час утра, я возвращался с этим молодым полпредом того света на извозчике с Петербургской стороны. Перед самым нашим носом развели мост, и пришлось стоять, пока проходили баржи, в широкой и неопишуемой тишине забывшейся невской панорамы. В ее предрассветной сдержанности, в ее широковерстном отступлении к самому крайнему берегу мыслимости и вообразимости было все, что когда-либо давали людям русская тонкость и загадочность. Я принадлежал ей вместе с тобой, с этим спящим берегом хотелось спать рядом, мне и сейчас не хочется и трудно говорить о нем, разбивать же эту далеко ушедшую, вытянувшуюся тень на отдельные дома и тени меня ничто не заставит. Но тут были и Пушкин и Блок и все, кого бы ты, родства ради, в этот час ни пожелала».<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 785—786.

<sup>4</sup> Стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» впервые было опубликовано в статье Г. Ф. Устинова «Сергей Есенин и его смерть» (Красная газета. 1925. 29 дек.).

<sup>5</sup> Письмо от 30 сентября 1927 года. Цит. по: Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. М., 2004. С. 355—356.

<sup>6</sup> «Души начинают видеть». Марина Цветаева. Борис Пастернак. 1922—1936. М., 2004 (в печати).

В ответ Цветаева писала 7 октября 1927 года: «Борис, выпила всю твою петербургскую ночь, вобрала и не захлебнулась. Всю Неву, всё небо над ней, все баржи с грузом (...) Рада за тебя и Есенина. Помирились».<sup>7</sup>

В этот знаменательный для Пастернака день он надписал Вольфу Эрлиху свой недавно вышедший сборник «Две книги. Стихи» (М.; Л.: Государственное издательство, 1927):

Милому  
Вольфу Эрлиху  
с искренней  
растроганностью  
Б. Пастернак

27/IX/27<sup>8</sup>

В конце 1929 года Эрлих послал Пастернаку свою поэму «Софья Перовская» (Л., 1929) и только что вышедшие воспоминания о Есенине «Право на песнь» (Л., 1930). Пастернак писал о них Николаю Тихонову 5 декабря 1929 года: «Получил от Эрлиха обе книжки. Напрасно он стыдится „Перовской“. За вычетом двух-трех действительных штампов, где он *рассуждает* о штампе, а не *жертвует собой* ради него, все в ней — настоящая поэзия. Она вообще без самопожертвованья немислима. Я жертвовал собой и во имя прозрений и во имя традиции. Первое делалось, когда любилось легко и когда пристрастия дифференцировались. Когда одни любили одно, а другие — другое. Когда же настало такое положение, когда все будто бы любят одно, а на самом деле ничего не любят, я полюбил традицию, чтобы не вовсе распротиться с этим чувством. Меня не может не трогать Перовская. Я сам все эти годы жертвую собой для штампа. Я знаю, что и это поэзия, мне это близко. Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься. Писать ему не буду. Не хочется размазывать в виде трактата и в упор человеку то, что тут сказалось коротко и гладко. Передай, что захочешь, и мою благодарность».<sup>9</sup>

Воспоминания Эрлиха о Есенине подверглись резкой критике в рецензии Г. Белова, появившейся в мае 1930 года в журнале «На литературном посту» (№ 9). Он назвал книгу Эрлиха анекдотической по своей основе, тривиальной и поверхностной. В словах Пастернака об этой книге отразилось не только понимание мира, который создал молодой поэт в труднейшем жанре воспоминаний о погибшем друге, но и то освобождающее и чарующее впечатление, которое произвели на него встреча с Эрлихом и его рассказ об отношениях с Есениным.

Близкое знакомство Эрлиха с Тихоновым, с которым они вместе совершили в 1928 году путешествие по Армении, объясняло причину косвенной передачи благодарности Эрлиху за присылку книг, а в связи с поэмой «Софья Перовская» возник существенный разговор о жанре поэмы вообще, и в частности «Спекторского», последние главы которого были только что окончены. Эта тема, сформулированная в письме к Тихонову, вероятно, была затронута в несохранившемся письме Эрлиха Пастернаку и кратко упоминается в его ответе.

Разговор идет о сознательной переориентации «Спекторского» на традицию, на «штамп», по терминологии Пастернака, и его отказе от раннего периода поэзии, строившегося на «прозрениях». Необходимость этого поворота Пастернак объясняет коренными изменениями, происшедшими в обществе, когда искренний интерес к поэзии в ее разнообразии сменился безразличием и единообразием штампа.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> McVay G. Pasternak and other poets: unpublished texts // Journal of Russian Studies. 1984. № 47. P. 30.

<sup>9</sup> Пастернак Б. Собр. соч. Т. 5. С. 289.



В этом случае приносимая поэтом жертва традиции остается единственно возможным выражением огня его любви, умирания и воскресения. Здесь сформулирована позиция, которая легла в основу нового периода в творчестве Пастернака, ознаменованного вскоре книгой «Второе рождение» (1930—1932).

Судя по сохранившейся записи Л. Я. Гинзбург, Тихонов не понимал и не одобрял новой позиции Пастернака и «с удовольствием передавал отзыв Маяковского (...) Спрашивает Маяковского, как ему „Спекторский“. Маяковский плечами передернул: „«Спекторский»? Пятистопным ямбом писать... За что боролись?..” и Тихонов добавляет: „В самом деле, за что боролись? «Спекторский» похож на поэмы Фета. Не стихи, а именно поэмы”<sup>10</sup>. При чем надо иметь в виду, что об ориентированности поэтической формы «Спекторского» на поэму Фета «Сон» Тихонов узнал от самого Пастернака.

Публикуемое ниже письмо Пастернака Эрлиху хранится в Рукописном отделе Пушкинского дома (ИРЛИ. Ф. 697 (Архив В. И. Эрлиха). Ед. хр. 42).

Письмо явилось ответом на телеграфный перевод гонорара за включенный в журнал при «Красной газете» материал. Пастернак горячо отозвался на этот неожиданный «рождественский» подарок, так как находился в то время в тяжелом материальном положении: он оказался перед необходимостью вернуть полученный год тому назад аванс за поэму «Спекторский», которую «Ленгиз» собирался выпустить отдельной книгой. Представленный в декабре 1929 года полный текст не удовлетворил издательство, которое потребовало переделок, выявляющих ее «идеологическую направленность». Пастернак решительно отказался от этого, и договор был расторгнут. Вместо ожидаемых выплат он оказался должен крупную сумму, погашение которой растянулось на два года.

Пастернака растрогала заботливая осведомленность Эрлиха об этих обстоятельствах. Информация была предоставлена ему Тихоновым, которому в цитированном выше письме от 5 декабря 1929 года Пастернак намекал на «идеологические» претензии к «Спекторскому» в «Ленгизе».

Благодарность Эрлиху за публикацию немедленно переходит в письме Пастернака в протекцию другому писателю, уроженцу Симбирска Николаю Николаевичу Ильину (1886—1944), выступавшему под псевдонимом Н. Нилли. С Пастернаком он начал общаться в 1920-е годы. Еще в 1915 году пробовал дружить с Есениным, сблизился с Николаем Клюевым, который был одно время членом Симбирского отделения крестьянских поэтов. В 1917 году Ильин организовал в Симбирске Дом народного творчества, выпускал журнал «Самородок», печатался в «Записках Передвижного театра». В семнадцатом выпуске «Записок...» (январь 1919 года) он писал: «Литература всегда скрывала от нас творца, человека, окутывала его какой-то тайной. Письма писателей — это выход писателей из творческих условностей, из творческой тайны на простор жизни и людей». В 1922 году издал в Симбирске книгу стихов «Глаза, обращенные к солнцу».

Сохранилось три письма Пастернака к Н. Н. Ильину 1930—1931 годов. Первое из них (конец января 1930 года) свидетельствует о том, что Ильин просил походатайствовать о нем перед Эрлихом. «Эрлиху написал давно, вскоре после Вашего отъезда, — общал Пастернак, — и как раз в том духе, как было уговорено»<sup>11</sup>.

Публикуемое далее письмо расширяет наши представления об интересе к Пастернаку со стороны поэтов младшего поколения и о его собственном доброжелательном отношении к представителям самых разных направлений в литературе, желании понять их взгляды и стремления и, может быть, поддержать своим авторитетом.

(9. I. 1930 Москва)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Гинзбург Л. О новом и старом. Л., 1982. С. 355.

<sup>11</sup> РГАЛИ. Ф. 1892. Оп. 1. Ед. хр. 5.

<sup>12</sup> Датируется по штемпелю на конверте.

Дорогой мой Вольф!

Вы и не знаете, как выручили меня, а еще выражаете боязнь, не поступили ли бесцеремонно! Разумеется я сразу ничего понять не мог, по данным телегр(афного) перевода; и вдруг меня осенило, что при тесной собранности литературного Ленинграда, это кто-нибудь из молодых, и — поэт, которому нелепая безвыходность моего положения должна быть известна по посещениям Ленгиза. Я стал перебирать возможных кандидатов на эту рождественско-новогоднюю, — (по Дик(к)енсу), вакансию. И зимнюю сказочность комбинации я уже постиг и разгадал (т. е. я целиком *предвосхитил все Ваше письмо*<sup>13</sup>), когда бывший у меня в это время В. Каверин, без всякой связи с происшедшим, — п(отому) ч(то) я не сразу объяснил ему, зачем отлучался в кухню, — рассказал о новом журнале, предполагаемом к выпуску при «Кр(асной) Газете», и о Вас, как его лит(ературном) редакторе. Таким образом, единственно достойный кандидат был утвержден и найден.

И в Вашем письме меня всего более тронуло его построчное соответствие ходу моей догадки. Я его прочел так, точно в нем дано не объяснение дел, а моего озарения. И мне в первую минуту хотелось ответить Вам, что Вы не ошиблись, что так все и было, и просто удивительно, как Вы догадались и сумели все это описать *из другого города!* Ах как это хорошо, и сколько во всем этом знаменательного *для Вас!*

Вот Вы о Перовской. А Спекторский? Но не следует унывать.

Матерьяльная стесненность моя не кончилась. Хуже всего то, что мне придется выжимать из сделанного еще больше, чем до сих пор. Вероятно я не дам продолж(енья) «Охр(анной) Грамоты» в Звезду<sup>14</sup> (это не для передачи; когда нужно будет, я сам о том напишу). Просить у них больше, чем давали — недопустимо; я этого себе не могу позволить, п(отому) ч(то) кругом у них блистательные прозаики и обращаться почти что к ним самим с просьбой, чтобы они себя обделяли в мою пользу — было бы нелепейшей претензией. А все это безо всякой неловкости дадут мне здесь.

Итак, Вам Н(иколай) С(еменович) передал о безразличии того, в какую сторону направлено самопожертвование поэта<sup>15</sup> Косвенным путем это было легко сказать, не размусоливая. Вы можете быть счастливы и гордиться тем, что Ваш случай наводит именно на эти мысли о поэзии, а не на десяток других, более поверхностных, поводом для которых служит множество нынешних стихов, и часто не плохих. Потому что важно и это, т. е. то, какому уровню суждения подсуден художник, в каком именно этаже приходится разбирать его дело. И тут уже удача или неудача, виновность или невинность становятся видоизменениями судьбы, не более того. Ваши слова о Перовской находятся со всем этим в согласьи, Вы это понимаете.

Был у меня Ваш земляк Нилли.<sup>16</sup> Пора бы ему в люди. Нельзя ли ему в этом помочь? По-моему он — заслуживает. Собирается послать Вам воспоминания о зиме 21—22 г(ода), проведенной в Ленинграде, с портретами, — как говорит он, виднейших серапионовцев и других. Этой его тетради не видал. В первой, виденной, много хорошего. Подоплека у него чудеснейшая, и странно, что он до сих пор так и не видал от нее прока.

Ответить Вам следовало совсем по-другому, но так всегда бывает, когда отвечаешь не вовремя. Привет всем.

Ваш Б. П.

Не найду В(ашего) адреса; посылаю по Тихоновскому.

<sup>13</sup> Здесь и далее в настоящей публикации слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Пастернаком.

<sup>14</sup> Первая часть «Охранной грамоты» незадолго до того была опубликована в журнале «Звезда» (1929. № 8), вторая и третья были отданы в «Красную новь» (1931. № 4, 5—6).

<sup>15</sup> Эта тема была сформулирована в письме к Н. С. Тихонову от 5 декабря 1929 года. См. об этом во вступительной заметке.

<sup>16</sup> Имеется в виду Н. Н. Ильин. См. о нем во вступительной заметке.

Кроме этого письма, сохранилась фотография Пастернака со следующей дарственной надписью Эрлиху на обороте:

*Вольфу Эрлиху.*

(«Там разводили облака  
Вторую ночи половину...»

Н. Тихонов  
Когда разводят мост)

В память душевной пуганицы,  
которой он послужил внезапно  
воплощенным и отныне дорогим  
разрешеньем.

Б. Пастернак<sup>17</sup>

## 2. Борис Пастернак и Самуил Алянский

Деятельность Самуила Мироновича Алянского (1891—1974) в первую очередь связана с созданием издательства «Алконост» (1918—1923), в котором выходили книги Александра Блока, Анны Ахматовой, Андрея Белого. В 1922 году он выпустил сборник «Серапионовы братья». В журнале «Записки мечтателей», выходившем в «Алконосте», печатались стихи русских символистов, литературная критика и пр. Главной заслугой Алянского было издание послереволюционных произведений Блока и посмертного собрания его сочинений. Последний, шестой номер «Записок мечтателей» был целиком посвящен памяти Блока, который был душой издательства «Алконост» и для которого оно было создано. В конце жизни Алянский выпустил книгу «Встречи с Александром Блоком» (1969), писавшуюся им на протяжении многих лет.

При деятельном участии Алянского в 1929 году было организовано «Издательство писателей в Ленинграде», где под его непосредственным руководством публиковались книги К. А. Федина, А. Н. Толстого, О. Д. Форш, Н. С. Тихонова и др. Алянский пользовался славой делового человека, прекрасно знал полиграфическую сторону издательского дела. Поэтому книги «Издательства писателей в Ленинграде» отличались высоким качеством оформления и иллюстрирования.

В годы пребывания Алянского на посту заведующего были задуманы четыре издания книг Бориса Пастернака: «Охранная грамота» (1931), «Девятьсот пятый год» (1932), собрание сочинений, первый том которого вышел под названием «Стихотворения в одном томе» (1933), и «Повесть» (1934).

Алянский пробыл заведующим редакцией до 1932 года и успел издать только первую из названных книг, но все последующие публиковались по составленному им плану и в соответствии со старыми договоренностями. Преемником Алянского на этом посту был Григорий Эммануилович Сорокин. В его архиве сохранились публикуемые ниже пять писем Пастернака к Алянскому как инициатору названных изданий, относящиеся к 1931—1932 годам (ИРЛИ. Ф. 519 (Архив Г. Э. Сорокина). Ед. хр. 412). В письмах к Сорокину Пастернак обсуждает заявленные Алянским издательские намерения, осуществленные позже или неосуществленные вовсе, такие, как иллюстрированное издание «Повести» и собрание сочинений. В предисловии к публикации писем Пастернака к Сорокину А. В. Лавров привел обзор писем к Алянскому с широким их цитированием.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> ИРЛИ. Ф. 697. Ед. хр. 42.

<sup>18</sup> См.: Пастернак Б. Л. Письма к Г. Э. Сорокину / Публ. А. В. Лаврова, Е. В. Пастернак и Е. В. Пастернака // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 199—201.

Председателем правления «Издательства писателей в Ленинграде» был выбран К. А. Федин, с которым у Пастернака к этому времени завязались дружеские отношения. В члены правления входили М. Л. Слонимский и И. А. Груздев, который с начала 1920-х годов, будучи редактором альманаха «Ковш», а потом журнала «Звезда», печатал по главам «Спекторского» и «Девятьсот пятый год». Именно через него первоначально Пастернак вел свои объяснения с издательством по поводу пересылки рукописи «Охранной грамоты», которую Алянский предложил ему выпустить отдельной книгой.

«Дорогой Илья Александрович! — писал Пастернак Груздеву 3 марта 1931 года. — „Охранная Грамота“ сейчас вся в переписке, на днях получу ее отреммингтованной и перешлю Вам. Евг. Ив.<sup>19</sup> выразил готовность отвезти ее, но не знаю, поспеет ли к дню его отъезда машинистка. Я не умею исчислять листов по рукописи, но думаю, что в вещи не меньше 5-ти п. л., а может быть, и все шесть. — Условий „Кн(игоиздательс)тва“ не знаю. Выясните их, пожалуйста, и сообщите мне по адресу Бориса Андреевича».<sup>20</sup>

Пастернак в это время жил у Б. А. Пильняка на Ямском Поле. Замятин, с которым тогда у него завязались теплые дружеские отношения, уехал, не дождавшись перепечатки рукописи, и она была выслана только 21 марта. Посылка сопровождалась подробными объяснениями, обращенными к Груздеву: «По прочитке известите, пожалуйста, о получении. Красным карандашом перечеркнуты места, вызвавшие опасенья ответственной редакции „Красной Нови“. Это следы внутренней товарищеской цензуры, более стеснительной, чем общая, ибо — любовной и взаимно-обязывающей. Думаю, что страницы о монархии, например, вполне восстановимы. Разрешенье о выпуске вещи отдельным изданием сегодня испрашиваю в ГИХЛ'е. Когда получу, протелеграфирую Вам. Если не ограничат тиража, выпускайте в 10 000-х. Обязательно выговорите аванс при подписании в размере четверти суммы. Нуждаюсь в деньгах по некоторым причинам больше, чем обычно, и с большей срочностью. Куда и кому перевести, сообщу, когда выяснятся предварительные частности, как — разрешенье ГИХЛ'а, Ваши издательские предположенья и пр. Может быть, частью аванса придется задолженность в „Звезде“, может быть — из денег следующего срока».<sup>21</sup>

Пастернак считает нужным предупредить издательство о сделанных в журнальной публикации сокращениях (Красная новь. 1931. № 4, 5, 6). Выкинутые «товарищеской цензурой» места не удалось восстановить и в ленинградском издании. Кроме «страниц о монархии» в третьей части, были выпущены также рассуждения из второй части о Венецианской республике и ее «босса di leone» на лестнице цензоров, в которой «загадочно» исчезали неугодные власти лица, и несколько более мелких.

О разрешении на издание «Охранной грамоты» отдельной книгой, которое нужно испросить у ГИХЛ'а, Пастернак напоминал и в следующем письме Груздеву от 25 марта, когда оно уже было получено. Речь идет о готовившемся в ГИХЛ'е сборнике прозы Пастернака, куда должна была войти и «Охранная грамота». Сборник под названием «Воздушные пути» вышел в свет только в 1933 году и без «Охранной грамоты».

Упомянутая в письме Груздеву задолженность в «Звезде», которую Пастернак надеялся покрыть за счет аванса из «Издательства писателей в Ленинграде», образовалась потому, что «Ленгиз» расторг договор на издание «Спекторского», не получившего одобрения редакции из-за идеологического несоответствия ее требованиям.

<sup>19</sup> Имеется в виду Е. И. Замятин, который входил в число учредителей «Издательства писателей в Ленинграде».

<sup>20</sup> Пастернак Б. Письма к И. А. Груздеву / Публ., вступит. статья и прим. Е. В. Пастернак // Звезда. 1994. № 9. С. 105.

<sup>21</sup> Там же.

Договор на «Охранную грамоту» Пастернак получил 9 апреля. Его огорчал только маленький тираж в 6200 экземпляров. «Не почтите нескромностью, — но думаю, что разошлись бы и все десять», — писал он Груздеву 5 апреля.<sup>22</sup>

Расположение «Издательства писателей в Ленинграде» подтолкнуло Пастернака к следующему шагу в их отношениях. И одновременно с перепиской по поводу «Охранной грамоты» приезжавший в Москву в начале мая 1931 года Алянский затеял с Пастернаком разговор об издании собрания его сочинений. Дело в том, что в «Издательство писателей в Ленинграде» поступило предложение Горького напечатать серию избранных поэтов, от Державина до Блока и Пастернака. Это были первые планы создания серии «Библиотека поэта». Входящая в число учредителей издательства Е. М. Тагер вызвалась передать Алянскому конкретные уточнения этого плана и заявление Пастернака.

«Дорогой Илья Александрович! — писал Пастернак Груздеву 16 мая 1931 года. — Здесь Ел. Мих. Тагер. Я передал ей заявленье на имя Издательства с предложеньем собранья сочинений. Я надеялся попасть в Ленинград нынешней весной и тогда точнее сговориться, и потому затягивал сдачу заявленья. Не знаю, как сложатся у меня обстоятельства. Если другой причины или придирки для поездки не будет, я верно не поеду».<sup>23</sup>

Теперь деловая переписка ведется непосредственно с заведующим издательством Алянским, но задержка ответа от него вновь толкает Пастернака к Груздеву: «25. VI. 31. Дорогой Илья Александрович! Вот и снова беспокою Вас по деловому поводу. Писал Алянскому, чтобы избавить Вас от беспокойств, но от С. М. ни ответа ни привета. Это тем более удивительно, что в личной беседе с ним я предупредил его в конце мая о вероятно-неизбежном у меня осложнении к середине июня и заручился его обещаньем, что к этому сроку все будет выяснено и улажено без моего напоминанья. Вот к чему сводится просьба моя: мне хотелось бы, чтобы мне ответили, в каком отношении должны измениться мои расчеты. Все это очень досадно. Меня зовут на Кавказ, и поездка откладывается из-за неизвестности и, связанным с этим ожиданьем, отсутствием денег. (...) Как чудно было бы, если бы издательство помогло мне и ускорило мою поездку».<sup>24</sup>

По сохранившимся письмам Пастернака Алянскому отчетливо прослеживается внимательное отношение издателя к автору и к взятым на себя обязательствам, и хотя их содержание касается гонорарных выплат, правки корректур, времени выхода книг и других обстоятельств издания, сквозь деловой тон пробивается становящийся все более дружественным характер завязавшихся отношений.

Упоминавшееся выше расторжение договора с «Ленгизом» на публикацию «Спекторского», цензурованное издание которого вышло через год в Москве, было существенным сигналом ужесточившейся идеологической политики. За этим последовали сокращения в «Охранной грамоте», которая тем не менее была встречена резкой критикой писательской общественности и осуждена как «попытка буржуазного реставраторства в искусстве»,<sup>25</sup> что стало причиной исключения ее из сборника «Воздушные пути». Одновременно Пастернак был извещен о запрещении Культпропом ЦК издания его собрания сочинений, предложенного Алянским. Уже набранный том «Издательству писателей в Ленинграде» все же удалось отстоять и опубликовать как «Стихотворения в одном томе».

Нигде нет никаких указаний на причины ухода Алянского в 1932 году с места заведующего «Издательством писателей в Ленинграде» на роль редактора в «Молодой гвардии». Мог ли С. В. Белов, опубликовавший в 1979 году книгу «Мастер книги. Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского», объяснять этот уход влиянием

<sup>22</sup> Там же. С. 106.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Там же. С. 107.

<sup>25</sup> Литературная газета. 1931. 18 дек.

критической кампании, поднявшейся после выхода в свет «Охранной грамоты»? В перечне книг, объявленных апологетикой буржуазного искусства, находились также выпущенные этим издательством «Сумасшедший корабль» О. Форш и «Художник неизвестен» В. Каверина. Представляется вполне вероятным, что «Издательство писателей в Ленинграде» вынуждено было из чувства самосохранения пожертвовать Алянским, или, что то же самое, Алянский ушел, желая снять со своего издательства опасные обвинения.

Узнав от бывшего в Берлине А. В. Луначарского о готовящемся собрании сочинений своего сына, Л. О. Пастернак писал ему 11 января 1933 года: «Между прочим: по их словам — предпринимается издание в пяти томах (!) собрания твоих сочинений. (...) Я этому искренне посмеялся: „Какие пять томов?! удивился я, — у него ведь несколько всего необъемистых книжек, мне известных!“»<sup>26</sup>

Борис Пастернак с грустью отвечал отцу 5 марта 1933 года: «Рано радовались вы собранью моему: его запретили. Кроме того, запретили на днях второе издание „Охранной грамоты“, посвященной памяти Рильке. Хотя все эти неприятности ничтожны по сравнению с тем, как тут люди живут, я все же напишу Горькому, как ни тяжело мне и это».<sup>27</sup>

Самым тяжелым было то, что расторжение договора на издание собрания сочинений обрывало работу над романом, который Пастернак так и не смог окончить. Это было продолжение «Повести», напечатанной в 1929 году.

«И большим, уже сказавшимся для меня, счастьем было то, что начал я далекую эту затею в нетронутый еще иллюзии того, что собранье будет выпускаться, — писал Пастернак Горькому 4 марта 1933 года, — оно меня на этот срок или хотя бы на полсрока обеспечивало. Алексей Максимович, нельзя ли будет сделать для меня исключенья, из тех, что ли соображений, что разномного собранья у меня еще не было, что (формально) первое оно у меня? Говорю — формально, потому что арифметически, оно конечно собирается частью из уже ранее выпущенного частью из переиздаваемого. Однако ряду товарищей, то же обстоятельство не помешало выходить собраниями — я не знаю, кому точно, но напр. Асееву и Жарову — кажется мне, но м. б. я ошибаюсь. Да и не в том дело».<sup>28</sup>

Времена переменились, и Горький, выдвинувший в 1931 году кандидатуру Пастернака в список предлагаемых собраний, теперь оставил его просьбу без ответа.

Последним этапом отношений Пастернака с «Издательством писателей в Ленинграде» было задуманное еще Алянским издание «Повести», текст которой Пастернак выслал только в мае 1933 года, потеряв надежду на ее скорое продолжение. «...Нужна ли Вам „Повесть“? — спрашивал он Сорокина 17 мая 1933 года. — Теперь я могу ее выслать. Вышло ли что-ниб(удь) с Фаворским или он отказался?»<sup>29</sup>

«Повесть» была издана в 1934 году с иллюстрациями В. Конашевича.

Письма к Алянскому относятся к очень напряженному периоду жизни Пастернака, времени его горячей влюбленности в Зинаиду Николаевну Нейгауз, поездки с ней в Грузию, возвращения из-за границы его первой жены с сыном, необходимости крупных заработков для поддержания одновременно двух семей, резкой критики, встретившей издание «Охранной грамоты» и пр. Еще в 1929 году в связи с коллективизацией в деревне были введены карточки на продукты, рост цен и возрастающий в стране голод не давали Пастернаку возможности покрывать текущие расходы предусмотренными по договору с Алянским регулярными ежемесячными выплатами. Письма Пастернака содержат тревожные признаки жизненных трудностей тех лет.

<sup>26</sup> Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. С. 569.

<sup>27</sup> Там же. С. 572.

<sup>28</sup> Борис Пастернак в переписке с Максимом Горьким / Публ. Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45. № 3. С. 282.

<sup>29</sup> Пастернак Б. Л. Письма к Г. Э. Сорокину. С. 218.

## 1

12. VIII. (19)31

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Т(ак) к(ак) все три письма: открытка, заказное с договором<sup>30</sup> и спешное с гранками<sup>31</sup> пришли сюда одновременно, то не удивитесь, если и мое спешное отправление пропутешествует дней восемь-десять.

Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все исправленья были сделаны аккуратно и попутно не повлекли новых опечаток.

Обложку дайте, пожалуйста, простую, строгую, одноцветную, без иллюстративных украшений, смещений или изломов.<sup>32</sup> — Сколько авт(орских) листов оказалось в книге?<sup>33</sup>

Договор подписал. Не знаю, местная ли это особенность Кавказа или это волна вдруг усилившегося всеобщего вздорожанья, действие которой я наблюдаю тут на юге, но тут совершенно фантазмагорическая дороговизна, не менее чем вдесятеро против весны обесценивающая мои заработочные ресурсы. Если такой скачок случился и у нас на севере, я должен буду по возвращеньи в Москву подумать об изменении своих тарифов, что сделают верно и все, т(ак) что я в одиночестве не останусь. Хотя, если бы это наблюдалось повсеместно, Вы такой катастрофический рост цен учли бы в договоре и сами, — (я уверен), — я предпочел бы договора на следующие томы подписать через месяц-полтора, по возвращеньи в Москву, где мне все было бы виднее.

Деньги (300 р(ублей)) за «Охр(анную) Гр(амоту)» получил, благодарю Вас. Обещанные 400 (рублей) (по договору за 1-й том) прошу выслать при первой возможности, — я в них нуждаюсь.

Благодарю Вас за все и крепко жму руку.

Уважающий Вас

Б. Пастернак

12. VIII. (19)31

Тифлис

Коджоры, гост(иница) Курорт, комн(ата) 8.

## 2

7. IX. (19)31 (Тифлис)

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

На днях уезжаем из Коджор к морю,<sup>34</sup> адреса еще не знаю, и до его сообщенья ничего мне сюда не отправляйте, когда же переберемся, и адрес установится, телеграфное сообщенье его будет в то же время просьбой об очередном переводе. Крепко жму Вашу руку. Всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

<sup>30</sup> Договор на первый том был подписан 2 августа 1931 года, согласно ему была представлена рукопись объемом 3000 стихотворных строк.

<sup>31</sup> Имеется в виду корректура «Охранной грамоты».

<sup>32</sup> Обложка была выполнена художником М. Кирнарским. Она делилась на две половины: черную и синюю; прямой простой шрифт: по верхнему краю — имя автора, по нижнему — название.

<sup>33</sup> После цензурных сокращений в книге осталось всего четыре печатных листа.

<sup>34</sup> С середины сентября по середину октября Пастернак пробыл в Кобулетах.

## 3

(22. 10. 31 Москва)<sup>35</sup>

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Вчера я вернулся в Москву. Спешу принести Вам искреннейшую благодарность за быстроту и аккуратность летних сношений издательства со мной, особенно оцененную мною в дороге. Большое спасибо. Вы меня очень бы обязали, если бы сообщили мне, в каком положении все наши дела: 1) состоянье наших расчетов по сей день, 2) скоро ли выйдет «Охр(анная) Гр(амота)», 3) как задумано собранье (вплоть до внешних мелочей — как-то: план, формат, характер обложки и пр. и пр.). Вообще, напишите все, что знаете из касающегося меня и того, что Вам может показаться уже мне известным, т(ак) к(ак) при продолжающейся глухости моего режима менее всего о себе знаю я сам. Кроме того, я только что с вокзала. Если будет нетрудно, переведите также и взнос за октябрь. С нетерпеньем жду письма от Вас. Крепко жму Вашу руку. Еще раз большое спасибо Вам и товарищам!

Ваш Б. П.<sup>36</sup>

## 4

(29. 10. 31 Москва)<sup>37</sup>

Глубокоуважаемый Самуил Миронович!

Я Вам написал открытку так недавно, что удивляться отсутствию ответа еще слишком рано, и скорее наоборот, в надежде предупредить его и успеть задать Вам несколько новых вопросов, пишу Вам эти несколько слов. Главное. — Не думаете ли Вы побывать в Москве, и если да, то когда именно? Мне надо было бы с Вами о многом посоветоваться. Так, напр(имер), «Спекторский», как говорят, разошелся в 6-ти тысячах в течение 1½ месяцев, и мне советуют его переиздать. Я не знаю, совместимо ли это с полным собраньем? В «Гихле» бумаги нет, и верно, можно было бы их склонить отступить от их дополнительных прав.<sup>38</sup> Второе издание можно было бы предложить Вашему Изд(атель)ству или Федерации или Моск(овскому) Т(оварищест)ву. Можно ли все это сделать без вреда для собранья и как это поставить. Как-то надо бы этими и рядом аналогичных возможностей воспользоваться. На одни периодические выплаты Вашего издательства в их настоящем размере мне не просуществовать. И пр. и пр. Напишите же мне.

Ваш Б. П.

400 р(ублей) получил, спасибо.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Открытое письмо. Датируется по почтовому штемпелю.

<sup>36</sup> Письмо впервые опубликовано в преамбуле к переписке Пастернака с Г. Э. Сорокиным (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. С. 200).

<sup>37</sup> Открытое письмо. Датируется по почтовому штемпелю.

<sup>38</sup> «Спекторский» был издан в ГИХЛ'е за полтора месяца до этого, и Пастернак интересовался, не противоречит ли переиздание договору на полное собрание сочинений, и если нет, то можно ли, в случае уступки ГИХЛ'ом своих прав, передать его кому-нибудь другому, например, тому же «Издательству писателей в Ленинграде».

<sup>39</sup> Приписка сделана сбоку красными чернилами. Ср. письмо I в настоящей публикации, где речь идет об этих 400 рублях.



## 5

16. II. &lt;19&gt;32 &lt;Москва&gt;

Дорогой Самуил Миронович!

Если Ваш ответ не в пути уже, ответьте мне, пожалуйста, по адр(есу) Москва Гоголевский бульв(ар) д. 8 кв. 52.<sup>40</sup> Сюда же переведите, пожалуйста, и январские деньги, замедленье их дает себя чувствовать. Если «Поверх барьеров» еще не набрано, то выкиньте из книжки, с которой будут набирать, страницы 89—96, т. е. 4 стихотворенья: обе баллады, Смерть поэта и Ирпень. Все это я хочу перенести в новую книгу, куда это просится (и естественно войдет) по времени написания, содержанию и пр. и пр.<sup>41</sup> Порадуйте меня чем-нибудь, напишите. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Относительно переноса стихов — решенье твердое и очень нужное.

<sup>40</sup> Адрес переменялся из-за приезда в Москву первой жены Пастернака с сыном. Освобождая для нее комнаты на Волхонке, где он жил с Зинаидой Николаевной Нейгауз, Пастернак переехал на квартиру своего брата.

<sup>41</sup> Во втором издании книги «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (М., 1931) названные здесь четыре стихотворения 1930 года составляли открывавший ее цикл «После Ирпеня». Пастернак просит в новом издании включить их в последний раздел тома под названием «Волны» (соответствующий книге «Второе рождение», составленной из стихов 1930—1932 годов).

© О. И. Глазунова

## МОТИВЫ ОЛЕДЕНЕНИЯ И КОНЦА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО 80-х ГОДОВ

(О СТИХОТВОРЕНИИ «ЭКЛОГА 4-Я (ЗИМНЯЯ)»)

До «Эклоги 4-й (зимней)» (1980)<sup>1</sup> эклог под номерами у Бродского не было, поэтому естественно предположить, что название стихотворения отсылает нас к знаменитой 4-й эклоге из «Буколик» Вергилия. Эпиграф к стихотворению тоже взят из Вергилия: «Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнава ныне времен зачинается строй величавый».

Надо отметить, что в стихотворении Бродского мысль римского поэта приобретает иной смысл: у Вергилия с «последним кругом» связывается пророчество о наступлении золотого века на земле, в «Эклоге 4-й (зимней)» значение этого образа имеет зловеющий оттенок, символизируя оледенение всех чувств, конец жизненного пути и переход к смерти.

Но в ощущении близящегося конца для Бродского нет ничего трагического, его голос звучит размеренно и бесстрастно, и лишь в воспоминаниях тональность поэтической речи меняется, эмоции выходят на первый план, однако в контексте стихотворения обращения поэта к прошлому не имеют ничего общего ни с темой оледенения, ни с темой смерти.

Немаловажным при анализе стихотворения представляется тот факт, что «Эклога 4-я (зимняя)» посвящена Дереку Уолкотту, которого Бродский считал лучшим

<sup>1</sup> В работе В. Шерра (США) «„Эклога 4-я (зимняя)“ (1977), „Эклога 5-я (летняя)“ (1981)» (в кн.: Как работает стихотворение Бродского / Под ред. Л. Лосева, В. Полухиной. М.: НЛЮ, 2002) стихотворение Бродского датировано 1977 годом.

и самым близким для себя англоязычным поэтом.<sup>2</sup> Интонационный строй стихотворения, нагромождения метафорических образов, создающих настроение, но приглушающих смысл, внезапные переходы от одной темы к другой, которые автор и не пытается объяснить с логической точки зрения, в большей степени соответствуют англо-американским, чем русским поэтическим традициям.

«Главное качество английской речи или английской литературы, — отмечал Бродский, — не *statement*, то есть не утверждение, а *understatement* — отстранение, даже отчуждение в некотором роде. Это взгляд на явление со стороны».

Подобный подход, скрытый, по мнению поэта, в самом строе английского языка, приводит к потрясающим результатам, «по крайней мере, для русской литературы, настроенной на сантименты, на создание эмоционального или музыкального эффекта. Ты вдруг слышишь голос, звучащий абсолютно нейтрально. И благодаря этой нейтральности возникает ощущение объективности того, что говорится».<sup>3</sup> Хотя, наверное, только особенностями английского языка выбор поэтом формы повествования объяснить нельзя: как отметил Бродский в «Письме Горацию» (1995), «отстранение есть исход многих сильных привязанностей».

Не только интонационный строй, но и проблематика стихотворения Бродского соотносятся с творчеством Уолкотта. В интервью Свену Биркертсу (Нью-Йорк, 1979) Бродский говорит о том, какое впечатление произвела на него книга поэта «Другая жизнь»: «Дерека (Уолкотта) я в первый раз увидел на похоронах Лоуэлла. Лоуэлл успел мне о нем рассказать и дал почитать его стихи. Стихи мне понравились, я подумал: „Вот еще один неплохой английский поэт“. Вскоре после этого издатель Дерек подарил мне его новый сборник — „Другая жизнь“. И тут я испытал настоящее потрясение. Я понял, что передо мной крупнейшая фигура, поэт масштаба — ну, скажем, Мильтона [*Смеется.*]. (...) Он тоже пишет стихотворные драмы и обладает той же могучей силой духа. Он не устает меня поражать. Критики пытаются сделать из него чисто колониального автора, привязать его творчество к Вест-Индии — по-моему, это преступление. Он на голову выше всех».<sup>4</sup>

Дерек Уолкотт родился и провел детство на острове Сент-Люсия — бывшей колонии Британской империи, — входящем в состав Малых Антильских островов. В «Другой жизни» поэт рассказывает о том далеком времени, которое на всю жизнь осталось для него самым ярким и дорогим воспоминанием, продолжающим жить в его сердце как «светлая / пелена другой жизни, / пейзаж, застывший в янтарном камне, как редкостный / отблеск прошлого».<sup>5</sup>

Проблематика стихотворения Уолкотта заключается не в том, что поэт воспринимает настоящее через призму прошлого, а в том, что вне этого прошлого для него не существует настоящего. Вся жизнь поэта превращается в непрерывный поток воспоминаний, которые со временем не ослабевают и не утрачивают своего значения, потому что только в них реальная жизнь обретает для него свой истинный смысл: «Я всю жизнь трудился в поте лица, чтобы восполнить потерю. / Вне этого видения лживый, равнодушный / мир вновь возвращается к своей работе, / и за этим квадратом вырезанного из прошлого голубого неба / иная жизнь — реальная, но не имеющая значения, — вновь обретает силу. / Пусть рана зарастает сама. / Окно закрыто. / Веки покоятся во мраке. / Ничего уже не будет после этого, ниче-

<sup>2</sup> Поэты с имперских окраин (интервью с И. Бродским П. Вайля) // Панорама. 1992. 28 окт. См. также: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. С. 595.

<sup>3</sup> Европейский воздух над Россией (интервью с И. Бродским Анни Эпельбуан) // Странник. 1991. № 1. Цит. по: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 142—143.

<sup>4</sup> Искусство поэзии (интервью И. Бродского С. Биркертсу) // Paris Review. 1987. № 83. Цит. по: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 90.

<sup>5</sup> *Walcott D. Another Life*. London, Jonathan Cape, 1973. P. 3 («The clear / glaze of another life, / a landscape locked in amber, the rare / gleam»).

го, / за исключением картины из прошлого, которая живет в закрытых, утративших интерес к чему бы то ни было другому глазах».<sup>6</sup>

В «Другой жизни» встречаются поэтические образы, которые войдут в поэзию Бродского: образ «ребенка без истории, без груза прошлого» («a child without history, without knowledge of its pre-world»); «заката, истекающего кровью, как вена, перерезанная на запястье» («the sunset bleeds like a cut wrist»); «скота, выгружающегося на берег» («cattle breaking, disembark»); «собачьей жизни» («dog's life»).

Эпиграфом к «Эклоге 4-й (зимней)» Бродского могли бы послужить строчки из «Другой жизни» Уолкотта, которые отражают судьбу и суть творчества обоих поэтов в эмиграции: «Человек живет половину жизни, другая половина — воспоминания».<sup>7</sup>

Философское восприятие жизни как боли от потерь и невозможности обрести покой в настоящем находит продолжение в другом произведении Уолкотта, «Омерос».<sup>8</sup> Проблематика книги и образ «загадочного ментора, на ком / Остался и теперь ярлык фашиста, / Хоть все, что он писал, дышало чистой / Любовью к древней и к родной культуре...»,<sup>9</sup> отсылают читателей к работе Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни».

В статье немецкого философа говорится об отношении человека к своей жизни. По мнению Ницше, животное живет «неисторически», и каждое мгновение его жизни «умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда», человек же, в отличие от животного, обладает памятью, которая, с одной стороны, делает его жизнь осмысленной и значимой, а с другой — превращает ее в пытку, отнимая даже редкие мгновения безмятежного счастья. Тяжесть прошлого «или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отречься от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего».<sup>10</sup>

В этой ситуации, чтобы избежать гибели, у нас есть только один выход — научиться забывать прошлое, ибо «жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немислимо жить без возможности забвения вообще».

Вместе с тем отсутствие воспоминаний превращает человека в животное, поэтому единственное спасение для него — отсекай только ненужные воспоминания, те из них, которые не ускоряют, а замедляют его развитие. «Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлежит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика *пластическая сила* человека, народа или культуры; я разумею силу своеобразно расти из себя самого, претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы».<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Ibid. P. 58 («I have toiled all my life for this failure. / Beyond this frame, deceptive, indifferent, / nature returns to its work, / behind the square of blue you have cut from that sky, / another life, real, indifferent, resumes. / Let the hole heal itself. / The window is shut. / The eyelids cool in the shade. / Nothing will show after this, nothing / except the frame which you carry in your sealed, surrendering eyes»).

<sup>7</sup> Ibid. P. 101 («Man lives half of life, / the second half is memory»).

<sup>8</sup> Walcott D. Omeros. NY: Farrar Straus Giroux, 1990.

<sup>9</sup> Уолкотт Д. Раны и корни. (Из книги «Омерос») / Новый мир. 1995. № 5. (Перевод с английского А. Шарипова).

<sup>10</sup> Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 162.

<sup>11</sup> Там же. С. 162—163.

Но не все обладают способностью забывать, «излечивать раны», «пускать прочные корни» на чужой почве. Есть люди, которые не хотят отказываться от прошлого, предпочитая гибель забвению. Для них, как для Филоктета — героя эпоса Уолкотта «Омерос», воспоминания превращаются в незаживающую рану, в источник невыносимых страданий. Однако, разъедаая тело, они согревают душу и со временем становятся источником радости и гордости за то, что им «нет исцеления».

«Эклога 4-я (зимняя)» — это размышления поэта о жизни и смерти, о прошлом, настоящем и будущем, это своеобразное подведение итогов, потому что все самое главное, что должно было произойти в его жизни, — произошло, и уже ничего, кроме воспоминаний, не будет иметь значения в будущем.

Элемент отчуждения, свойственный американской поэзии вообще и поэзии Уолкотта в частности, определяет тематику стихотворения Бродского. В состоянии отчуждения, которое во многом связано с наступлением зрелости, с мудростью и отсутствием страстей, для Бродского скрываются мотив «оледенения», оледенения чувств, желаний, и мотивы «зимы» и «ночи», являющиеся предвестниками «грядущей смерти» и «вечной тьмы».

По образному строению и проблематике «Эклогу 4-ю (зимнюю)» можно причислить к стихотворениям трагических метаморфоз, потому что изменения, которые происходят с поэтом, наводят на грустные размышления: реальные вещи превращаются в суррогаты, в иллюзии, в жалкие компромиссы, которые, возможно, помогают поддерживать необходимое для творчества душевное равновесие, но не могут заменить жизнь во всем ее многообразии. «Голодные, которых нетрудно принять за сытых»; «снег», который становится единственно доступной «формой света»; образ «чужих саней» как метафорическое выражение скрипа «пера»; «застывшее „буги-вуги“» вместо привычного «во-саду-ли»; «сильный мороз» как предвестник смерти («суть откровенье телу / о его грядущей температуре»); вздох вместо поцелуя («пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую»); «ветер» как «вариант колыбели»; «время года» как вариант «судьбы»; «лампа», заменяющая «светило», и т. д. — это та реальность, в которой существует поэт, его психологическое «зазеркалье».

В том состоянии, в котором пребывает поэт, Время теряет свое значение, трансформируясь из времени жизни в вечный «холод», в «мясо немой Вселенной», в недоступную пониманию человека субстанцию, которая существует независимо от него — «в чистом, то есть / без примеси вашей жизни, виде».

Смерть (слияние «грядущего с прошлым») воспринимается поэтом как нечто естественное, потому что теоретически она уже наступила, слияние состоялось — жизнь давно превратилась для него в воспоминания. И в этих условиях реальная смерть явится лишь физическим завершением того, что уже произошло на сознательном уровне. А раз так, то нет смысла испытывать страх перед своим уходом или стремиться продлить свое существование. Ср. в стихотворении «Муха» (1985): «Страх суть таблица / зависимостей между личной / беспомощностью тел и лишней / секундой. Выражаясь сухо, / я, докотуха, / пожертвовать своей согласен».

«Эклога 4-я (зимняя)» начинается с описания сумерек, которые соответствуют «летаргическому» состоянию, в котором ощущает себя поэт:

Зимой смеркается сразу после обеда.  
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.  
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.  
Сухая, сгущенная форма света —  
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,  
на бессонницу, на доступность глазу  
в темноте. Роза и незабудка  
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым  
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами  
оставляют следы. Ночь входит в город, будто

в детскую: застает ребенка под одеялом;  
и перо скрипит, как чужие сани.

В наступающих сумерках зимнего дня «голодных нетрудно принять за сытых», потому что в послеобеденное время естественно предположить, что все вокруг пообедало и пребывает в состоянии сытости. Оптический обман усиливает иллюзорность происходящего, а неспешное течение жизни, вызывающее зевоту, и вялый энтузиазм, с которым воспринимается внешний мир, способствуют атрофированию всех чувств.

Лишь снег как «сгущенная форма света», иного, чем свет дня, «обрекает ольшаник, его засыпав, / на бессонницу, на доступность глазу / в темноте». Возможно, не только засыпанный снегом ольшаник, но и другие вещи, на которых обычно внимание не задерживается, в темноте зимнего вечера приобретают очертания, становятся доступными зрению.

Образ «ребенка под одеялом», которым заканчивается первая часть, будет возникать на протяжении всего стихотворения как противопоставление оледенению «взрослой» жизни поэта. Стихотворение строится на контрасте между чувствами автора в настоящем и детским непосредственно-красочным восприятием окружающей действительности, при котором мостовая напоминает «сахарную карамель», рост цен на морковь объясняется ее неизбежностью в «профиле снежной бабы», буква «Г» сравнивается не с традиционным для взрослого сознания «ходом конем», а с более близким детскому воображению «прыжком лягушки».

Не случайно образ ребенка, лишеного груза прошлого, непосредственно воспринимающего то, что происходит вокруг, дается в первой части стихотворения параллельно с описанием пера поэта, которое «скрипит, как чужие сани». На отстраненный скрип пера в «Эклоге 4-й (зимней)» не раз обращали внимание исследователи творчества Бродского. Андрей Ранчин пишет о том, что «сравнение скрипящего пера с *чужими санями* в эклоге Бродского выражает устойчивый для его творчества мотив — отчужденность поэта от подписанных его именем стихотворений, подлинное авторство которых принадлежит языку».<sup>12</sup>

Мысль о подлинном авторстве языка и о поэте как о «средстве» («инструменте», «проводнике», «слуге») языка много раз звучала в интервью, которые давал в эмиграции Бродский. Однако зависимость творчества от традиций не означает, что произведение доминирует над личностью автора. Язык, каким бы диктатом он ни обладал, остается формой, в которую поэт облекает свои мысли и чувства.

Если на последнем этапе язык определяет творческий процесс, заставляя пишущего находиться в рамках заложенных в нем закономерностей, то содержание, которое кодируется с его помощью, обусловлено исключительно личностью автора, его представлениями о мире и о себе, его замыслами, которые ни один язык, по мнению Бродского, не способен выразить во всей полноте: «В конечном счете поэзия сама по себе — перевод; или, говоря иначе, поэзия — одна из сторон души, выраженная языком. Поэзия — не столько форма искусства, сколько искусство — форма, к которой часто прибегает поэзия. В сущности, поэзия — это внятное выражение восприятия, перевод этого восприятия на язык во всей его полноте — язык в конечном счете есть наилучший из доступных инструментов. Но, несмотря на всю ценность этого инструмента в расширении и углублении восприятия — он открывает порой нечто большее, чем первоначально замышлялось, что в самых счастливых случаях сливается с восприятием, — каждый более или менее опытный поэт знает, как много из-за этого остается невысказанным или искажается. Это наводит на мысль, что поэзия каким-то образом также чужда или сопротивляется языку, будь это итальянский, английский или суахили, и что человеческая душа вследствие ее

<sup>12</sup> Ранчин А. Еще раз о Бродском и Ходасевиче // НЛО. 1998. № 32. С. 85.

синтезирующей природы бесконечно превосходит любой язык, которым нам придется пользоваться (в этом смысле положение флективных языков несколько предпочтительнее). По крайней мере, если бы у души был собственный язык, расстояние между ним и языком поэзии было бы приблизительно таким же, как расстояние между языком поэзии и разговорным итальянским» («В тени Данте», 1977).

Язык — это то, что позволяет раскрыть, выявить, четче обозначить процессы, происходящие в душе поэта, поэтому его роль особенно усиливается на последней стадии доведения стихотворения до совершенства: «Когда доделываю, углубляю... это самые лучшие часы. Ты часто и не подозревал, что там внутри таится, а язык это выявил и подарил тебе. Такая вот неожиданная награда».<sup>13</sup>

Метафорическое представление пера — символа творчества писателя — в виде «чужих саней», безусловно, указывает на отстраненность, но не в языке или не только в нем тут дело. Отстраненность соответствует представлениям поэта о своем собственном существовании.

Жизнь утратила целостность, превратившись в набор не связанных друг с другом событий, в которых поэт по инерции продолжает участвовать, но это участие лишено для него какого бы то ни было смысла и поэтому сводится к наблюдению за движениями своего тела. Отсюда обилие в стихотворении предложений с неодушевленными субъектами, которые поэт использует в рассказе о самом себе: «звон загоняет в берлогу простую фразу»; «роза и незабудка / в разговорах всплывают все реже»; «жизнь моя затянулась»; «слух различает»; «глаз зимою скорее закатывается, чем плачет»; «взгляд отстает от жеста»; «слюна, как полтина, обжигает язык»; «пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую»; «упрямое, как ослица» тело, которое не позволяет грядущему слиться с прошлым; «голое тело», которое «требует идеала (...) в тряпичной гуще», «кириллица, грешным делом, / разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, / знает больше, чем та сивилла» и т. д.

То, что происходит с автором, происходит само по себе, как будто в третьем лице, без его сознательного участия. Наблюдая за собой на расстоянии, сделав «шаг в сторону от собственного тела», поэт воспринимает себя как зритель — сторонний наблюдатель. Отстраненная форма описания создает эффект объективности повествования и позволяет автору сохранять спокойствие, избегая эмоций, неизбежных при разговоре о своей жизни.

Личные конструкции с местоимением первого лица единственного числа используются поэтом исключительно при описании прошлого, как например в двенадцатой части стихотворения: «Зима! Я люблю твою горечь клюквы», «Я пою синеву сугроба / в сумерках», «меня согревают», или при отрицании: «Я не способен к жизни в других широтах». Лишь в воспоминаниях или при выражении неприятия проявляется «я» поэта, свидетельствуя о том, что выраженные в этом случае действия, чувства, настроения соответствуют воле автора.

Отрицательные конструкции в системе поэтических координат Бродского связаны с выражением мироощущения ребенка. В качестве одной из особенностей творчества Мандельштама Бродский отмечает непосредственно-детское восприятие поэтом действительности, которое в стихотворениях часто передается с помощью предложений с отрицательными частицами «не» и «нет»: «Не хочется заниматься статистикой, скажу наугад: в девяноста случаях из ста лиризм стихотворений Мандельштама обязан введению автором в стихотворную ткань материала, связанного с детским мироощущением, будь то образ или — чаще — интонация. Это начинается с „таким единым и таким моим“ и кончается с „я рожден в ночь с второго на третье“. (...) Примером этого мироощущения является интонация отрицания (эхо, если угодно, детского, внешне капризного, но по своей интенсивности превосходя-

<sup>13</sup> Искусство поэзии (интервью И. Бродского С. Биркертсу). С. 96.

щего любое выражение приятия — «не хочу!»), и перечислять стихотворения О. М., начинающиеся с этой ноты, с антитезы, с „не” и с „нет”, нет нужды» («С миром державным я был лишь ребячески связан...», 1991).

Если в начале «Эклоги 4-й (зимней)» образ ребенка возникает как противопоставление автору, то постепенно, начиная со второй части стихотворения, детское восприятие проникает в рассказ поэта о самом себе. Сначала в виде выпадающей из контекста ремарки о щеке, которая «пунцовеет, как редиска», затем в виде воспоминаний об отдельных предметах из прошлого: о зарослях краснотала (ивового кустарника), особенно распространенного в сестрорецких<sup>14</sup> дюнах, о снежной бабе. Чтобы удержать душевное равновесие, вспоминая о прошлом, поэту приходится себя сдерживать, чтобы «ограниченный бровью / взгляд на холодный предмет, на кусок металла, / лютей самого металла» не пришлось «с кровью / отгдирать от предмета».

Происходящую внутри него борьбу Бродский сопоставляет с чувствами Бога, который «озирал свой труд в день восьмой и после», наблюдая со стороны за тем, что происходило в Раю с его детищем — человеком, после того как змий заставил его вкусить от запретного плода. Усилия поэта отрешиться от ностальгической зависимости от прошлого подействовали: третья строфа заканчивается лишенными романтизма воспоминаниями о щелях, которые зимой приходилось затыкать кусками пакли, о бесплодных мечтах об общей пользе и примиряющими в силу своей неизбежности мыслями о том, что с наступлением нового года «вещи становятся старше на год».

Но если в воспоминаниях выбор предметов подчиняется воле автора, то отношение его к действительности, его мировосприятие не поддается контролю, и четвертая часть стихотворения начинается с неожиданного сопоставления заснеженной мостовой с «сахарной карамелью», занимающей детское воображение:

В стужу панель подобна сахарной карамели.  
 Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.  
 Реже снятся дома, где уже не примут.  
 Жизнь моя затянулась. По крайней мере,  
 точных примет с лихвой хватило бы на вторую  
 жизнь. Из одних примет можно составить климат  
 либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,  
 с девственной белизной за пеленою кружев,  
 — мир, не слыхавший о лондонах и парижках,  
 мир, где рассеянный свет — генератор будней,  
 где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,  
 что и тут кто-то прошел на лыжах.

Для Бродского жизнь человека может быть представлена в виде набора отдельных мгновений, которые память запечатлевает в сознании, — «проявляет пленку. Отснятую твоими глазами почти сорок лет назад» («Полторы комнаты», 1985). Мгновения, которые остались в памяти поэта, столь различны, что он делит их на две части — две жизни. Рассуждения Бродского о второй жизни естественно рассмотреть в контексте общепринятого выражения «прожить вторую жизнь».

Из текста стихотворения становится ясно, какой половине поэт отдает предпочтение, потому что описываемый им «климат либо пейзаж» этой второй, лучшей для него жизни можно соотнести с Архангельской областью, где поэт отбывал ссылку («мир, не слыхавший о лондонах и парижках»), или, в крайнем случае, с пригородами Ленинграда. Словосочетание «генератор будней» в духе советских передовиц и рассказ о прогулках на лыжах только подтверждают это предположение.

К оставшейся в далеком прошлом жизни поэт возвращается в своих снах, которые среди всеобщего оледенения окружающей действительности обжигают его

<sup>14</sup> Сестрорецк — пригород Петербурга.

мозг, «как пальчик / шалуна из русского стихотворенья» — романа Пушкина «Евгений Онегин».

Ночь — время сновидений — является границей, за пределами которой образы прошлого обретают силу. Об этом писал Бродский в «Литовском ноктюрне», та же тема звучит в шестой части «Эклоги 4-й (зимней)». Говоря о своем теле как о единственном препятствии, отделяющем его от «вечного сна», от смерти, Бродский сравнивает его с пограничником, который стоит, «держась приклада, / грядущему не позволяя слиться / с прошлым».

Зимняя ночь — самое продолжительное и потому наиболее подходящее для снов время: «сны в холодную пору длинней, подробней». Да и всеобщее оцепенение, которое в холодную пору охватывает все живое, само по себе напоминает сон. Зимой исчезает ощущение времени: путаются дни недели («вторник он же суббота»), теряется представление о времени суток («Днем легко ошибиться: / свет уже выключили или еще не включили?»), утрачивается значение периодичность событий («газеты могут печататься раз в неделю»). Время двоятся — «глядится в зеркало», как певичка, которая не может вспомнить, какую партию она в данный момент исполняет. Граница между реальной жизнью и воспоминаниями стирается, и человек перестает различать, где он находится.

Военная терминология, которую использует Бродский в восьмой и девятой частях стихотворения («не обнажая сабли», «населенье сдается», «слетает с неба / на парашюте», «пятая колонна», «патриот», «белофинны в маскхалатах»), лишает рассказ о победоносном продвижении холода какого бы то ни было романтизма. То, что хорошо для городов, которые «стоят как пророки его (холода. — О. Г.) триумфа», и для ангелов, которым «холод приносит пользу», позволяя незримо, как «белофинны в маскхалатах», скользить по льду, для поэта связано с творческим кризисом — с «небом под стать известке» и «звездами как разбитый термометр»:

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.

Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды как разбитый термометр: каждый квадратный метр ночи ими усеян, как при салюте.

Днем, когда небо под стать известке, сам Казимир<sup>15</sup> бы их не заметил, белых на белом. Вот почему незримы ангелы. Холод приносит пользу ихнему воинству: их, крылатых, мы обнаружили бы, возри мы вправду горé, где они как по льду скользят белофиннами в маскхалатах.

Союзникам холода в стихотворении противостоит ворона, которая «кричит картавым голосом патриота», протестуя против зимнего наступления. Образ черной вороны на белом снегу можно воспринимать в контексте символических значений цвета у Бродского:

1) белого — «чем белее, тем бесчеловечней», «мрамор белокур, / как наизнанку вывернутый уголь», «Голубой саксонский лес / Снега битого фарфор. / Мир бесцветен, мир белес, / точно извести раствор», «замусоленные ничьей рукой углы / белого, как пустая бумага, дня», «С сильной матовой белизной / в мыслях — суть отраженьем писчей / гладкой бумаги»;

2) черного — «Если что-то чернеет, то только буквы. / Как следы уцелевшего чудом зайца», «Я не воздвиг уходящей к тучам / каменной вещи для их остраст-

<sup>15</sup> Казимир Малевич. Словосочетание «белых на белом» связано с картиной Малевича «Белый квадрат на белом фоне» (1918, Нью-Йорк, Музей современного искусства).



ки. / О своем — и о любим — грядущем / я узнал у буквы, у черной краски», «Нет ничего постоянной, чем черный цвет; / так возникают буквы».

Черный цвет в поэзии Бродского — цвет чернил и букв, которые знают, «как чернеть на белом, / покуда белое есть, и после», — противостоит пустоте и безжизненности белого цвета, как ворона, которая «не принимает снега», противостоит наступлению холода в восьмой части стихотворения или как «теплое тело» противостоит смерти в шестой части.

Тема противопоставлений в онтологическом философском смысле занимает в структуре стихотворения особое место. «Эклога 4-я (зимняя)» строится на оппозициях: «жизнь — смерть», «прошлое — настоящее», «взрослый — ребенок» и т. д. Лирический герой стихотворения, сознание которого пульсирует между полярными категориями, неизбежно испытывает состояние раздвоенности, неопределенности, неуверенности, определяющее его отношение к окружающему миру.

На уровне языка состояние героя передается с помощью сравнительных конструкций. Сравнительная степень прилагательных и наречий указывает на процесс, на изменение признака в количественном отношении, что позволяет автору избегать точных обозначений в рассказе о себе и о том, что его окружает. Ср.: «роза и незабудка / в разговорах всплывают все реже», «реже снятся дома, где уже не примут», «чаще к вздоху, чем к поцелую», «глаз зимою скорее закатывается, чем плачет», «чем больше лютует пурга над кровлей, / тем жарче требует идеала / голое тело в тряпичной гуще», «чем позднее, тем меньше ругти», «чем больше времени, тем холоднее», «место / играет все большую роль, чем время», «знает больше, чем та сивилла».

В тексте стихотворения встречается множество отрицательных конструкций: «треугольник больше не пылкая теорема», «даль не поёт сиреной», «выдох / не гарантирует вдоха, уход — возврата». Обращение к тому, чего нет, позволяет поэту уклониться от разговора о том, что есть или должно быть в окружающей его действительности.

Но далеко не все отрицательные конструкции в тексте связаны с выражением неопределенного значения. Десятая часть «Эклоги 4-й (зимней)» начинается с утверждения отрицанием: «Я не способен к жизни в других широтах» — т. е. способен жить только на широте Севера.

Торжественно-приподнятый тон первой строфы десятой части звучит как диссонанс в контексте предыдущих размеренно звучащих частей стихотворения. Неожиданный всплеск эмоций на фоне оледенения затянувшейся жизни находит объяснение в следующих за данной строфой предложениях: «Север — честная вещь. Ибо одно и то же / он твердит вам всю жизнь — / шепотом, в полный голос / в затянувшейся жизни — разными голосами».

Несущему смерть космическому холоду в стихотворении Бродского противостоит холод «честного» Севера. Однако не с Севером в настоящее время ассоциируется у поэта место его пребывания, а с полюсом («Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи, / напоминая забравшемуся на полюс / о любви, о стоянии под часами»), который в его представлении, как и космос, не совместим с жизнью: «На обоих полюсах — лютый холод и существование исключено» («Об одном стихотворении», 1981).

Прославление холода в десятой части стихотворения перерастает в настоящий гимн зиме в двенадцатой части:

Зима! Я люблю твою горечь клюквы  
к чаю, блюда с дольками мандарина,  
твой миндаль с арахисом, граммов двести.  
Ты раскрываешь цыплячи клювы  
именами «Ольга» или «Марина»,  
приносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба  
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —  
точно «чижика» где подбирает рука Господня.  
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого  
города, мерзнувшего у моря,  
меня согревают еще сегодня.

Воспоминания о детстве наполнены искренней радостью и теплотой. От апатии и сонливости не остается и следа, и речь поэта начинает звучать в полный голос. Самые обычные предметы, связанные у ребенка с зимой, описываются с такой любовью и на таком эмоциональном подъеме, что их присутствие читатель ощущает почти на физическом уровне: сладковатая горечь, которая остается во рту от клюквенного варенья; оранжевые дольки мандарина на белом блюде, доступные только зимой и поэтому приковывающие к себе внимание детей; терпкий вкус миндаля и арахиса — редкого лакомства в послевоенные годы; тепло домашнего очага.

Звуковые, вкусовые и зрительные ассоциации, которые поэт хранит в своей памяти, переданы настолько ярко, что кажутся реальной окружающей его действительности. Уныло-монотонные интонации сменяются уверенностью и силой, а самые простые вещи из прошлого обретают особый смысл — становятся достойными воспевания.

В книге Евгения Рейна приводится комментарий Бродского относительно последних трех строк двенадцатой части стихотворения: «На странице 122 в двенадцатой строфе „Эклоги 4-й (зимней)“ отмечены три стиха: *И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого / города, мерзнувшего у моря, / меня согревают еще сегодня.* На поля выведена стрелка и написано — „Бодлер“. Этого я истолковать никак не могу, возможно, кто-нибудь, лучше меня знающий поэзию Шарля Бодлера, поймет, что здесь имел в виду Бродский».<sup>16</sup>

Мне тоже не удалось найти ничего подобного у Бодлера. А вот петербуржцы, детство которых, как и у Бродского, прошло во дворах-колодцах послевоенного города, хорошо помнят сложенные в виде лабиринтов высокие поленицы дров, в дебрях которых любила играть детвора.

Возможно, и не было никакой связи с Бодлером, а эта ремарка понадобилась Бродскому для того, чтобы направить читателя по ложному следу — избежать сочувствия. Кто знает, все может быть, но после смерти поэта и наше сочувствие, и его опасения уже не имеют значения.

Заключительный раздел, объединяющий две последние части, начинается с обобщенно-философского рассуждения, которое в контексте стихотворения может рассматриваться как вывод: «В определенном возрасте время года / совпадает с судьбой».

Представление жизни человека в виде времен года традиционно: после весенне-го пробуждения юности наступает пора зрелости, сменяющаяся осенней промозглотью и зимним холодом старости. Однако для Бродского «зима» наступила слишком рано, так рано, что ее трудно связать с возрастом.

Оледенение, которое внутри себя ощущает поэт, совпадает с зимним холодом внешнего мира, и в этом соответствии среди всеобщего хаоса настоящего он видит возможность обретения равновесия: «в такие дни вы чувствуете: вы правы».

И уже не имеет значения, какой оказалась судьба, «не важно, что вам чего-то не досталось» в жизни, потому что сходство времени года с течением жизни приравнивает вас к остальным людям, лишая статуса трагической исключительности. Наконец все входит в обычную колею, и даже «рядовой фенолог» может справиться с описанием «быта и нравов».

<sup>16</sup> Рейн Е. Б. Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы. СПб: Лимбус-Пресс, 1997. С. 197.

Спокойствие, обретенное с таким трудом, при всей его иллюзорности способно вызвать оптимизм у поэта. В стихотворении «Муха» (1985) Бродский, сравнивая свое состояние с оцепенением еле ползающего насекомого, обращается к нему со словами ободрения, призывает его к сопротивлению:

Не умирай! сопротивляйся, ползай!  
 Существовать неинтересно с пользой.  
 Тем паче для себя: казенной.  
 Честней без оной  
 смущать календари и числа  
 присутствием, лишенным смысла,  
 доказывая посторонним,  
 что жизнь — синоним  
 небытия и нарушенья правил.

Но одно дело советовать и совсем другое — следовать советам: немногим удается «смущать календари и числа / присутствием, лишенным смысла» и чувствовать себя при этом удовлетворительно. Замечание поэта о «слоне, которая, как полтина, обжигает язык» в разговоре о смерти, как раз указывает на то, что для Бродского такой вариант неприемлем.

Светлые моменты, которые остались в жизни поэта, связаны с воспоминаниями о том времени, когда «можно надеть рейтузы; / прикрутить к ботинку железный полоз» и отправиться на реку. Возможность в любую минуту вернуться в далекий мир прошлого скрашивает ледяное однообразие действительности.

Голос Музы, за отсутствием у поэта традиционных лирических или гражданских настроений, начинает звучать «как сдержанный, частный голос», более подходящий для беспристрастного перечисления того, что происходит с человеком в реальности. А если нет эмоций, то нет необходимости и в присутствии небесных светил — их может заменить обычная настольная лампа.

Эклога у Бродского из пастушеской идиллии превращается в монолог стойка, так как шаткое равновесие, которое положено в ее основу, трудно назвать идиллическим. Это рассказ человека о своей смерти, написанный перед смертью. Отсутствие в повествовании паники или страха свидетельствует о восприятии поэтом своего конца как некоей логической закономерности: все самое дорогое связано с воспоминаниями и уже ничто не удерживает его в этой жизни. Единственное, что ему остается, — предаться философским размышлениям, ибо философия — это наука, которая учит человека не только жить, но и умирать, сохраняя присутствие духа в любых условиях. Так римский философ Сенека, перерезав по приказу императора себе вены, призвал писцов, чтобы на смертном одре описать последние мгновения своей жизни.<sup>17</sup>

Возможно, в стоическом отношении к тому, что происходит вокруг, Бродский видел удел поэта. В эссе, посвященном творчеству Роберта Фроста, он писал: «Позиция стойка в равной мере подходит как верующим, так и агностикам; при занятии поэзией она практически неизбежна» («О скорби и разуме», 1994).

Через год после «Эклоги 4-й (зимней)» Бродский пишет «Эклогу 5-ю (летнюю)», которая уже полностью посвящена прошлому. Настоящее если и присутствует в этом стихотворении, то в виде отдельных замечаний, которые лишь усиливают противопоставление, выявляя причины обращения поэта к воспоминаниям.

«Эклога 5-я (летняя)» в большей степени соответствует жанру пастушьей песни, так как прошлое предстает в ней исключительно в идиллическом ракурсе. Воспоминания о лете, о дачном сезоне, о купании в реке «вроде Оредежи или Сейма»,<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Обстоятельства, сопровождающие смерть Сенеки, описываются в книге XV «Анналов» Корнелия Тацита.

<sup>18</sup> Оредеж — река в Ленинградской области; Сейм — левый приток Десны.

о разговорах «про ядовитость грибов», о пережитых волнениях подростка, связанных со сдачей экзаменов, заканчиваются настоящим гимном летнему отдыху:

Слава нормальной температуре! —  
 На десять градусов ниже тела.  
 Слава всему, до чего есть дело.  
 Всему, что вам еще не надоело!  
 Рубашке болтающейся, подсохнув,  
 Панаме, выглядящей как подсолнух,  
 Вальсу издалека «На сопках».

Приподнятое настроение автора при обращении к прошлому не нарушают ни воспоминания о духоте летнего дня («душный июль»), ни «жужжанье мухи, / увязшей в липучке», потому что это жужжанье воспринимается не как «голос муки, / но попытка автопортрета в звуке „ж”». Ближе к ночи звуки сменяются шелестом листвы за окном, в котором слышится откровение природы, шепот душ, «живших до нас на земле»:

звуки смолкают. И глухо — глуше,  
 чем это воспринимают уши —  
 листва, бесчисленная, как души  
 живших до нас на земле, лопочет  
 нечто на диалекте почек,  
 как языками, чей рваный почерк  
 — кляксы, клинопись лунных пятен —  
 ни тебе, ни стене невятен.  
 И долго среди бугров и вмятин  
 матраса вертисься, расплетая,  
 где иероглиф, где запятая;  
 и снаружи шумит густая,  
 еще не желтая, мощь Китая.

«Эклога 5-я» и «Эклога 4-я» посвящены полярным временам года, с которыми автор соотносит определенные этапы своей жизни. Присутствующее в летней эклоге замечание о выступлениях по радио руководителей страны («сталин или хрущев последних / тонущих в треске цикад известий») позволяет определить время описываемых событий: это период до 1964 года, т. е. до ссылки Бродского в Архангельскую область.

Между окончаниями зимней и летней эклог усматривается параллель: 4-я и 5-я эклоги завершаются размышлениями автора о поэзии. Шепот лопочущей листвы, таинственный почерк теней в лунном свете, которые подросток пытается постичь, «расплетая» «иероглифы» в темноте летней ночи, к моменту написания «Эклоги 4-й (зимней)» остались лишь в воспоминаниях; в реальной жизни их заменили разбредаящиеся «грешным делом» «вкривь и вкось» буквы, смысл которых уже не занимает воображение автора.

«Мощь Китая», о которой говорит поэт в последней строке «Эклоги 5-й (летней)», с одной стороны, соотносится с обилием листвы за окном (ср. со стихотворением Бродского 1965 года «Стансы»: «Весь день брожу я в пожелтевшей роще / и нахожу предел китайской мощи / не в белизне, что поджидает осень, / а в сень ступив вечнозеленых сосен»), а с другой — с темой Востока, неизбежно связанного в сознании поэта с Россией (ср. со стихотворением 1989 года: «На западе глядят на Восток в кулак, / видят забор, барак, / в котором царит оживление»).

Окружающий поэта мир прошлого, который Запад воспринимал как существование за «забором», а Бродский как нормальную жизнь с нехитрыми радостями и дорогими сердцу мелочами, в «зимнем» периоде его жизненного пути сменили белые листы бумаги с безучастно чернеющими на них буквами.

Только обращение к воспоминаниям обеспечивало заряд, необходимый для творчества, создавая в сознании поэта полюс, противоположный холодной пустоте настоящего. Конечно, в действительности прошлое было далеко от тех идиллических картин, которые рисовало воображение поэта, и надо сказать, что Бродский, как никто другой, отдавал себе в этом отчет, иронизируя время от времени над «буколическими» наклонностями своей поэзии: «Розовый истукан / здесь я себе поставил. / В двух шагах — океан / место воды без правил» («Ария», 1987).

За шутливо-безобидным представлением своих воспоминаний в виде «розового истукана» скрывается горькая насмешка. Достаточно вспомнить, что реакция Пастернака на рассказ Ахматовой о том, что ее стихотворение «Я к розам хочу...» подошло для газеты «Правда», — «Ну, вы бы еще захотели, чтобы „Правда“ вышла с оборочками», — послужила причиной обиды настолько сильной, что больше Ахматова и Пастернак не виделись.<sup>19</sup>

Но, видимо, у Бродского «в двух шагах» от океана, в котором не было устраивающих его правил, не нашлось другого выхода, как начать «свою игру» — создать мир, который не имеет ничего общего с реальностью. Однако несмотря на все положительные эмоции, связанные у поэта с воспоминаниями, обращение к прошлому было далеко от идиллии, так как неизбежно сопровождалось горькими размышлениями о другом «варианте судьбы», об упущенных им возможностях.

<sup>19</sup> Иванов Вяч. Вс. Беседы с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 481.

© Г. В. Стадников

## РУССКИЙ АРГУМЕНТ К ГЕТЕВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ «МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

17 января 1827 года Гете записал в дневнике: «Диктовал... о мировой литературе». Так впервые терминологически обозначилась идея, над которой уже многие годы раздумывал писатель, — идея о гуманистическом союзе разнонациональных литератур, о формирующей взаимообогащающей общности, в рамках которой отдельная литература, сохраняя собственное своеобразие, раскроется в типологическом родстве с другими, о мировой литературе как единстве в многообразии, как движении словесной культуры разных народов к все более крепнущим общечеловеческим началам, нравственному и эстетическому согласию.

Идея мировой литературы уже много лет до известной записи в дневнике фактически доказывалась Гете примерами разнопланового характера, и особенно обстоятельно разработанными вопросами о западно-восточном синтезе.

Определяя замысел «Западно-восточного дивана», книги этапного значения, во многих отношениях родственной «Фаусту», Гете писал: «Мое намерение состоит в том, чтобы радостно связать Запад и Восток, прошлое с современным, персидское с немецким и постигнуть их нравы и образ мышления в их взаимосвязанности, понять одно с помощью другого».<sup>1</sup>

И сама работа над «Западно-восточным диваном» обнаружила во всей полноте постоянное устремление Гете к универсализму, к поиску единства высших общезначимых основ каждой литературы мира. При всем неповторимом своеобразии культур разных народов Восток, как замечал Гете, должен быть общепонятен Запа-

<sup>1</sup> Цит. по: Кассель Л. М. Гете и «Западно-восточный диван». М., 1973. С. 29.

ду «как в вещах нравственных, так и эстетических».<sup>2</sup> Культура Востока не только входила в художественную жизнь Запада, поражая своей экзотичностью («Восточные поэмы» Байрона, сказочный цикл Гауфа «Караван», «Восточные стихотворения» Гюго), но и раскрывалась в своей близости к европейскому. Это был важнейший аргумент в пользу идеи о мировой литературе. Но эта же идея может быть подтверждена и творчеством самого Гете, в котором проявилась тенденция взаимообогащающего синтеза двух поэтик — классической и романтической. Убедительным примером этого была его композиция «Елена», о которой он писал в письме Карлу Икену 7 сентября 1827 года: «Я никогда не сомневался в том, что читатели тотчас же не постигнут главный смысл dello представления. Пришло время, чтобы, наконец, завершился примирением страстный спор между классиками и романтиками».<sup>3</sup> При этом следует полагать, что Гете было небезынтересно получить подтверждение этого своего суждения взглядом со стороны, словом «другого голоса». И такое подтверждение явилось из России. В марте 1828 года в Веймар из Москвы пришло послание — перевод на немецкий язык статьи С. П. Шевырева «Отрывок из междудействия к Фаусту. Елена. Сочинение Гете».<sup>4</sup> Напечатанная незадолго до этого в «Московском вестнике» статья стала довольно оперативным откликом на поэтическую композицию «Елена», опубликованную в вышедшем весной 1827 года четвертом томе последнего прижизненного собрания сочинений Гете.

Автор статьи, ведущий критик журнала «Московский вестник» Шевырев, примыкал к любомудрам, эстетическая программа которых опиралась на немецкую философию, и в первую очередь натурфилософию Шеллинга. Рассматривая поэзию как главное из искусств, любомудры полагали, что она питается вечно обновляющейся природой — этим неисчерпаемым кладом поэтических образов. Но искусство для Гете, как писал впоследствии Шевырев, «образует мир высший, нежели природа, оно имеет свою самобытную истину и цель».<sup>5</sup> Поэзия — интуитивное постижение мира, но она способствует и его понятийному осмыслению. Разделяя жизнь и искусство, Шевырев требовал от литературы высокой меры обобщенности и идеальности. Именно в этом ключе он прочел «Елену». Гете был представлен Шевыревым поэтом свободного божественного вдохновения, искусство которого не имеет заданной цели. Это поэзия, где прекрасное есть «вместе истина и благо». Шевырев писал: «Творение Гете — это поэтический, чудесный сон прихотливого, ветреного и самолюбивого воображения».<sup>6</sup> Предав полному забвению постулаты рационалистической критики, Шевырев стремился передать свою личную, глубокую сопричастность созданию Гете, от отдельного перейти к общему, раскрыв в «Елене» неповторимый художественный мир ее творца. Не случайно свой отзыв Шевырев подкрепил поэтическим проникновением в текст Гете, переведя на русский язык отрывок из «Елены». В «Елене», по мнению Шевырева, Гете показал переход действия из древнего в настоящее и изобразил это, с одной стороны, средствами поэтики классической, в форме эпического действия, «где всякое чувство выражено как будто не тотчас, а когда оно прошло, не в настоящем, а в прошедшем», а с другой стороны, во второй части, — в стиле романтической поэтики, где действие «беспокойно и быстро, как сам язык, и всякое чувство выражено в настоящем, в самую минуту своего появления».<sup>7</sup> Но это различие видимо лишь при условии детального анализа — само же творение Гете, взятое в целом, являет собой органическое единство. Не случайно Шевырев считал «Елену» не фрагментом, а целостной, закончен-

<sup>2</sup> Гете И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 140.

<sup>3</sup> Goethes Briefe in drei Banden. Berlin und Weimar, 1984. Bd. 3. S. 254.

<sup>4</sup> Московский вестник. 1827. № 21. Ч. 6. С. 79—93.

<sup>5</sup> Шевырев С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 290.

<sup>6</sup> Московский вестник. 1827. № 21. Ч. 6. С. 80.

<sup>7</sup> Там же. С. 93.

ной композицией.<sup>8</sup> И рождена она была на основе художественного взаимодополнения «первой классической половины текста и романтической — второй».

Этот поэтический опыт, по мнению Шевырева, не был случайным в творческой биографии Гете. Примером тому — трагедия «Возвращение Пандоры» и сцена из «Фауста» «Вальпургиева ночь». Указав на две эти композиции, Шевырев не развернул свою аргументацию, и поэтому необходимо пояснить, что оставшаяся незавершенной драма, с названием по первоначальному замыслу «Песнь о возвращении Пандоры», должна была убедить читателей в том, что красота не навсегда покинула мир. Недаром Пандора у Гете — это не прелестная женщина, приносящая людям соблазн и несчастье, как в античной мифологии, а символ Красоты и Добра. Так в классических одеждах аллегорической пьесы органично воплотилось романтическое томление по идеалу, по красоте, тождественной истине, мировому закону, конечной сути всех вещей. И в «Вальпургиевой ночи» Гете, оставаясь классиком, протянул руку романтикам. Преступая все строгие эстетические установления, соединив в одно невероятное и натуральное, лирику и эротику, сатиру и юмор, Гете выстроил законченную поэтическую композицию. Изобразив фантастический дьявольский мир, он, в отличие от поздних романтиков, не остановился на ноте трагической неопостижимости и несправимости этого мира, а рационально преодолел ужасное, inferнальное. В свете этого нужно заметить, что Шевыреву были близки гетевская философия жизни, понимание характера общественного прогресса. Шевырев не был апологетом существующего порядка вещей, но был и решительным противником каких-либо насильственных перемен. Мудрость Гете — жить, медленно поспешая, творчески созидая новое, — была созвучна тому, что писал Шевырев М. Погодину в конце 20-х годов: «Наш путь — не путь крови, а путь труда, терпения, труд Христов».<sup>9</sup>

Несколько позже, в своем труде «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов», Шевырев обосновал идею поэтического универсализма Гете: «Поэты всего мира, всех веков и стран, участвовали через Германию в воспитании Гете, и поэтому и галерею его произведений, вещающих славу и гордость его отечества, представляет Пантеон всемирной поэзии... На произведениях Гете можно изучать всемирную историю».<sup>10</sup> Вновь вернувшись к «Елене» как к частному примеру, Шевырев заметил, что ее содержание «совместило в себе поэзию древнюю и новую», т. е. классическую и романтическую. «Елена» — «это живой Янус, слитый из древней греческой женщины и новоевропейской».<sup>11</sup>

Отзыву из России Гете придавал особое значение. 1 мая 1828 года он записал в дневнике: «Письмо из России, к обеду Ример и Эккерман. Остались после обеда. Обсуждалось послание из Москвы».<sup>12</sup> В это же время Гете получил еще два отклика на «Елену» — от профессора Сорбонны Жан-Жака Ампера и философа Т. Карлейля. Их статьи были напечатаны соответственно в парижском и эдинбургском журналах.

12 марта Гете записывает в дневнике: «К обеду д-р Эккерман, обсуждали прием „Елены“ в Париже и Москве»; 14 марта: «Вновь просмотрел и обдумал статьи об „Елене“»; 15 марта: «Обдумывал прием „Елены“ в Германии, Париже и Москве».<sup>13</sup> Спустя два месяца в письме к Ф. Цельтеру Гете рассматривает полученные отзывы о «Елене» как убедительные аргументы в пользу концепции мировой литературы: «Я замечаю, что получившая от меня вызов мировая литература устремляется на

<sup>8</sup> Интересно отметить, что в 1836 году, когда уже была опубликована вторая часть «Фауста», Шевырев продолжал ссылаться на «Елену» как на отдельное произведение. См.: Шевырев С. П. Указ. соч. С. 289.

<sup>9</sup> Цит. по: Очерки истории русской театральной критики. Л., 1975. С. 161.

<sup>10</sup> Шевырев С. П. Указ. соч. С. 288, 290.

<sup>11</sup> Там же. С. 289.

<sup>12</sup> Goethes Samtliche Werke. Berlin, 1929. Bd. 40. S. 145.

<sup>13</sup> Ibid. S. 149.

меня, желая утопить как чародея... мне стало теперь известно, как принимают „Елену” в Эдинбурге, Париже и Москве. Очень поучительно познакомиться с тремя различными образами мышления: шотландец стремится проникнуть в произведение, француз понять его, русский усвоить». <sup>14</sup> Это свое суждение Гете посчитал нужным обнародовать в том же 1828 году на страницах журнала «Об искусстве и древности», поместив небольшую заметку «„Елена” в Эдинбурге, Париже и Москве». <sup>15</sup> Спустя год, беседуя с Эккерманом о «Фаусте», Гете так трактовал вторую часть своей трагедии: «Уже в ранее написанных актах классическое все явственнее слышится наравне с романтическим, дабы мы, как на пологий холм, могли подняться к „Елене”, где обе поэтические формы выступают еще отчетливее и одновременно как бы друг друга уравнивают». <sup>16</sup> Как видим, Гете не противопоставлял классическое и романтическое, напротив, они дополняли друг друга, ибо в отдельности в каждом есть определенная неполнота. Литература развивается, вбирая и отрицая предшествующее; новое — это и преодоление старого, и надстройка над ним.

Послание из России Гете не оставил без ответа. 1 мая 1828 года он отправил своему русскому корреспонденту письмо, которое вскоре после получения в Москве появилось на страницах «Московского вестника». <sup>17</sup> Как писал Гете, из России он получил подтверждение того, что «цель, к которой он шел долгие годы и казавшаяся столь далекой, уже достигнута, что смелое желание исполнилось... Творение немца было не только понято на отдаленном Востоке, но и вызвало чувство столь же нежное, столь глубокое». <sup>18</sup> Так суждение русского критика об интегрирующем процессе в современной художественной жизни, о синтезе классического и романтического явилось еще одним аргументом в пользу концепции мировой литературы.

Письмо Гете, адресованное русскому корреспонденту, было замечено в литературных кругах, став одним из примечательных явлений всевозрастающих межлитературных контактов. 1 июля 1828 года А. Пушкин писал М. Погодину: «Честь и слава милому нашему Шевыреву. Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего германского патриарха». <sup>19</sup> Несколько позже, в рецензии на альманах М. Максимовича «Денница», Пушкин повторил свой отзыв, особо отметив, что публикация Шевырева «заслужила одобрительное внимание великого Гете». <sup>20</sup> Впоследствии М. Погодин писал: «Самое блистательное торжество имел Шевырев, написав разбор второй части „Фауста” Гете, тогда только что вышедшей. Сам германский патриарх отдал справедливость Шевыреву, благодарил его и написал к нему письмо». <sup>21</sup>

Остается сказать, кто же был тем русским корреспондентом Гете, благодаря которому состоялся этот знаменательный эпизод русско-немецких литературных связей. <sup>22</sup>

Русский немец Николай Васильевич Борхард (1801—1857) был преподавателем первого московского кадетского корпуса, затем служил инспектором Николаевского Института благородных девиц. Существует версия, что незадолго до своего послания Гете он издал в Риге книгу «Прославление Гете в России — в прославлении».

<sup>14</sup> Ibid. S. 47—48.

<sup>15</sup> Ibid. S. 261.

<sup>16</sup> Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1981. С. 337.

<sup>17</sup> Московский вестник. 1828. № 11. Ч. 9. С. 79—93.

<sup>18</sup> Гете И. В. Собр. соч.: В 13 т. М., 1948. Т. 13. Ч. 2. С. 508.

<sup>19</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 193.

<sup>20</sup> Там же. Т. 7. С. 76.

<sup>21</sup> Погодин М. Воспоминания о Степане Петровиче Шевыреве. СПб., 1809. С. 15.

<sup>22</sup> В трудах литературоведов, которые упоминали об этом эпизоде русско-немецких связей, корреспондент Гете именуется как «некий Борхард» (см.: Дурьлин С. Русские писатели у Гете в Веймаре // Лит. наследство. 1932. Т. 4—6. С. 457; Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 133; Каллаш В. Русские отношения Гете // Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко. М., 1902. С. 178—184). Кратко о личности Борхарда сказано в кн.: Reissner E. Deutschland und die Russische Literatur. 1800—1848. Berlin, 1970. S. 39, 47, 48.



нии России».<sup>23</sup> В немецкой газете «Estona», выходившей в Ревеле, Борхард публиковал заметки о русской литературе. Гете ничего не было известно о Борхарде. Но он посчитал своим долгом сказать очень теплые слова о русском корреспонденте. В связи с этим к письму Гете, опубликованному в «Московском вестнике», Борхард сделал небольшое пояснение. Похвалу великого Гете Борхард не посмел принять на себя, он отнес ее к русской литературе в целом. Свою же роль он видел «в счастье быть лишь посредником в деле сближения русской и немецкой словесности».

Но, назвавшись посредником, Борхард косвенно подтвердил концепцию Гете о мировой литературе, ибо во всеулыбляющемся процессе художественно-гуманистического сближения разных культур роль посредника приобретала важное, а в каком-то отношении даже определяющее значение.

---

<sup>23</sup> Автору данной статьи это издание разыскать не удалось.

## НОВОЕ ИЗДАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ ЛЕТОПИСИ ПО СПИСКУ П. П. ДУБРОВСКОГО\*

Выход в свет каждого нового тома ПСРЛ — значительное событие в русской археологии. При этом неважно, включает ли том ранее не публиковавшиеся летописные произведения или в нем помещены тексты, уже печатавшиеся, и даже в той же серии, но неполно или неточно. Последнее десятилетие добавило в состав ПСРЛ тома обоих типов: впервые опубликована Новгородская Карамзинская летопись (СПб., 2002) и переизданы Летописец Переслава Суздальского (М., 1995, ранее напечатанный отдельным изданием), Густынская (СПб., 2003), Софийские 1-я (М., 2000) и 2-я летописи (М., 2001). Новый том воспроизводит текст памятника, известного в историографии под наименованием Новгородской IV летописи по списку П. П. Дубровского.

Уже при первом взгляде на титульный лист книги, на котором из названия памятника исключено уточнение «четвертая», можно заметить, что археолог порывает с давней традицией именования объекта своего труда, тем самым отражая собственное о нем мнение. О. Л. Новикова не рассматривает текст, читающийся в списке П. П. Дубровского, как одну из редакций Новгородской Четвертой летописи, видя в нем самостоятельный памятник северо-западного летописания XVI века, и это можно считать одним из достоинств нового издания, отчасти распутывающего ситуацию, возникшую в связи с допущенными некогда неточностями в определении происхождения летописного произведения.

Публикатор не воспользовался заманчивой возможностью еще более отойти от традиционного именования памятника, оставив в его названии указание на случайный факт принадлежности рукописи в прошлом хранителю Дело манускриптов П. П. Дубровскому. В процессе работы было установлено, что рукопись обязана своим появлением на свет трудам писцов московского Чудова монастыря (с. 4—5), и это обстоятельство позволяло присвоить списку иное имя, например «Чу-

довский». Однако это могло породить путаницу в головах читателей, и отказ от переименования списка — сознательный или не вполне — можно также расценивать как достоинство новой работы.

Отношение к издаваемой летописи как самостоятельному и уникальному произведению древней историографии привело археолога к отказу от привлечения так называемой Архивской летописи по рукописи РГАДА, МГАМИД № 20 для подведения различий к основному тексту. Это же стало причиной публикации полного текста памятника, тогда как в предшествующем его издании напечатана лишь часть, отличающаяся по содержанию от текста «Новгородской IV летописи». Таким образом, рассматриваемый том впервые дает возможность ознакомиться с содержанием списка Дубровского полностью и «в чистом виде».

Книга открывается Предисловием, содержащим подробное описание манускрипта и изложение принципов передачи его текста. Нельзя не отметить как положительную сторону Предисловия следование его автором традициям серии ПСРЛ. Уделив большое внимание описанию рукописи, О. Л. Новикова не поддалась соблазну высказать собственные суждения о происхождении читающегося в ней текста и предложить текстологическое обоснование своего мнения. Исходя из того, что первейшей задачей публикатора является донесение до пользователя текста памятника в адаптированном для него виде, что реконструкции истории этого текста в определенной степени субъективны и потому часто подвергаются корректировке, такую приверженность традициям можно только приветствовать. Как показывает практика, публикации летописных текстов используются примерно в течение ста лет, тогда как мнения о происхождении, источниках и авторстве подлинных летописей изменяются гораздо быстрее, иногда даже в трудах одного и того же исследователя. По этой причине представляется нецелесообразным совмещать в Предисловии описательную и аналитическую стороны.

Археолог не просто, как это обычно делается, отметил наличие филиграней на бумаге рукописи, указав соответствующие им изображения в специальных альбомах, но и

\* Полн. собр. русских летописей. Т. 43. Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского / Подг. О. Л. Новикова, В. И. Легких, И. В. Федорова. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

приложил к изданию полномасштабное воспроизведение их внешнего вида, полученное с использованием современных технических средств. Так том ПСРЛ превратился в ценное пособие по изучению синхронных списку Дубровского рукописей.

Применение техники также позволило впервые прочитать стертую скрепу на л. 16—19, указывающую на принадлежность рукописи Чудову монастырю, что в дальнейшем окажет существенную помощь в исследовании исторической книжности рубежа XVI—XVII веков.

Умелое использование технической оснащённости РНБ — одного из крупнейших хранилищ древних манускриптов — должно рассматривать как еще одно несомненное достоинство нового издания.

Благодаря включению в издание четырех цветных иллюстраций, его пользователю предоставлена возможность судить не только о содержании, но и о внешнем виде рукописи — обеих крышках переплета и двух страницах с летописным текстом. В Предисловии утверждается, что текст написан одним почерком, но обращение к иллюстрациям вызывает сомнение в справедливости такого заключения. Чужой и собственный опыт убеждает нас, что один и тот же писец мог в разных частях подготавливаемой им рукописи писать совершенно по-разному, отчего исследователь, оказавшись в его руках отдельные листы манускрипта, вполне мог бы прийти к выводу о работе над ними разных людей. Возможно, именно так обстоит дело и в рассматриваемом случае, однако археограф тогда напрасно поспешил на число иллюстраций. Их большее количество могло бы лучше представить процесс изменения почерка на протяжении длительной работы. И если ситуация такова, то следовало бы говорить не об одном почерке, а о двух, принадлежащих одной руке (не считаем возможным говорить о вариантах почерка, предпочитая формулу «отличный — значит другой»).

К сожалению, в Предисловии не нашлось места потетрадному описанию рукописи, которое могло бы послужить серьезным подспорьем при изучении ее содержания, раскрытого в том же Предисловии с исчерпывающей полнотой.

Публикуемая летопись не единственный памятник в рукописи из библиотеки Чудова монастыря XVII века. Кроме нее, в сложившемся таким образом сборнике читается целый ряд других текстов, в том числе и столь известные, как Сказание о князьях Владимирских или Жожение игумена Даниила. Все они, что весьма отраднo, полностью напечатаны соратниками О. Л. Новиковой — В. И. Легких и И. В. Федоровой — в приложениях к летописи. Тем самым в руки читателя попадает не просто летопись, некогда и негде написанная, а все содержание рукописи, что особенно важно для изучения сборника, не являющегося конволютом. История

летописной археографии знает немного подобных примеров, хотя, возможно, это и должно стать общим правилом. По меньшей мере, требование изучения литературных памятников в контексте сопровождающего их «конвоя» и в данном случае кажется справедливым. Составители рассматриваемого тома открыли пути для исследования рукописи в целом как памятника рубежа XVI—XVII веков в контексте московской книжности того времени.

Последний вопрос, которого хотелось бы здесь коснуться, это принципы передачи на печати древнего рукописного текста. Это является давно обсуждаемой в среде специалистов проблемой, которую О. Л. Новиковой и ее сотрудникам удалось, на наш взгляд, успешно решить. Археографы отказались от часто провозглашаемого стремления буквального воспроизведения всех особенностей текста, т. е. с сохранением не употребляемых ныне литер, без раскрытия титл и восполнения недостающих знаков, обозначающих обязательные смягчения при выносных буквах. В то же время публикаторы при раскрытии титл обозначили специальными средствами вносимые в строку знаки, что для памятников древней традиции представляется крайне нужным. Это выгодно отличает новое издание от некоторых других публикаций в составе серии ПСРЛ, в частности и столь важной для реконструкции истории летописания XV века Новгородской Карамзинской летописи.

К большому сожалению, не удалось избежать некоторого количества неточностей при воспроизведении текста на печати. Предложив читателю образцы письма рукописи, составители тома тем самым предоставили нам возможность отчасти проверить качество собственной работы. Пользуясь этим обстоятельством, сравниваем написание переписчика летописи и воспроизведение археографа по л. 86 и 443.

На первом из них в 11-й строке читается «Ярослав же», напечатанное как «Ярослав же». Читающееся в той же строке «совены» правильно передано как «с[л]овены», но никакого замечания по поводу восполняемой буквы нет, и лишь случайное — помещенные соответствующей фотографии — открывает читателю тайну ее появления.

В напечатанном под 6524 годом тексте находим, что потерпевший поражение от Ярослава Святополк «побеже в Ляхи», тогда как в 3-й строке л. 86 значится «побеже в Чахсы в Ляхи». Совершенно очевидно, что переписчик попросту не понял написания «в Чахы і в Ляхи» своего оригинала, но добросовестно воспроизвел знаки так, как ему показалось правильным. Археограф не последовал его примеру и опустил непонятное чтение без всяких оговорок, а оговорка необходима. Во-первых, в сопоставимых текстах списков Новгородской IV и Софийской I летописей находится только «в Ляхи», что свидетельст-

вует о дополнении в протографе списка Дубровского. Во-вторых, в статье 6527 года о том же Святополке сказано, что после очередного поражения от Ярослава, на сей раз — на р. Альта, он «прибеже в пустыню, межю Чахи и Ляхи». Не говорит ли излишнее «в Чахи i» протографа о допущенной его автором «ошибке воспроизведения», когда память среагировала на похожее выражение и заставила его переименовать?

Неточности сопровождают и воспроизведение текста л. 443: вместо «с б(о)жиею» (5 стк.) напечатано «съ б(о)жиею», вместо «вседивную» (12 стк.) — «вседневную», вместо «а вседивную» (15 стк.) — «а вседневную», а вместо «корыс(т)ного» (15 стк.) — «корысного».

Неотступное следование единожды избранным правилам воспроизведения текста, как всякое жесткое правило, должно иметь свои исключения для неординарных случаев. Так, на том же л. 443 в статье 7044 года сказано: «Того же лета у святои Пятницы на Торговой стороне начали служить вседневную службу, при благоверномъ великомъ князе Иване Васильевиче всея Руси, при архиепископе Великого Новагорода и Пскова владыце Макарии, а преже быша немного летъ не вседневная, а вседневную замысли рядовичи Великого ряду корыстного, гости московские и новгородские того ряду; и попа другого поставили, и ругу обещалися давати по 3 рубли на всякъ год, а в то время бысть священникъ КЛГВФГВГАГБД» (с. 238). Совершенно неоспоримо, что в данном случае имеем дело с зашифрованным именем священника, которое необходимо представить в

его первоизданном виде. Достаточно задаться вопросом о причине сокрытия имени, чтобы прийти к выводу, что священник вполне мог быть автором рассматриваемого текста, как и всего протографа списка Дубровского в целом. Однако в рукописи читается не Ф, а U, и это может существовать иным образом повлиять на процесс дешифровки. Более того, последняя Г в рукописи — выносная, что никак не отмечено публикатором, и потому все зашифрованное место может выглядеть как КЛГВ Θ ГВГАБГД. Предоставим любителям головоломок заняться раскрытием тайны возможного авторства летописи XVI века и пожелаем, что археограф не взялся за решение этой задачи сам.

Увидевший свет том снабжен именным и географическим указателями, качество исполнения которых окажется возможным оценить в процессе их использования. Однако несколько странным выглядит то, что указатели относятся лишь к тексту летописи, но не охватывают приложений к ней. Видимо, это обстоятельство существенным образом затруднит работу читателей.

Завершая обозрение работы О. Л. Новиковой, В. И. Легких и И. В. Федоровой, можно заключить, что, благодаря ей, летописная археография пополнилась крайне ценным изданием, выполненным на должном научном уровне. Некоторые отмеченные недостатки не отменяют общего хорошего впечатления и вряд ли окажутся существенными помехами при использовании нового тома в работе исследователей над самыми различными темами, для которых список Дубровского может явиться источником необходимых сведений.

© Ф. П. Федоров

## НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПО ПОВОДУ КОММЕНТАРИЯ К «МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ»\*

Не будучи специалистом по творчеству Булгакова, лет десять назад я перестал следить за «булгаковедческими» исследованиями, которые в большинстве своем раздражали поразительной «умышленностью»; разумеется, работы некоторых ученых не читать было нельзя. Но мысль о возникшей исчерпанности, может быть, усталости булгаковедения меня не покидала: мне казалось, что ученым нужна передышка, тот спокойный пересмотр сделанного, который обязателен перед новым броском.

\* Белобровцева Ирина, Кульюс Светлана. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Опыт комментария. Таллин, 2004. 359 с.

«Мастер и Маргарита» — роман удивительной текстовой магии, и эта магия не исчезает с годами, что бы ни писали недоброжелатели и... доброжелатели. Время от времени я перечитываю его, и с тем же катарсическим потрясением, как почти сорок лет назад читал «малиновые» книжки «Москвы», которые бережно храню из признательности: при всем их чудовищном несовершенстве, ими был явлен Роман.

Комментарий И. Белобровцевой и С. Кульюс, только что изданный в Таллине, замечателен безусловно корректным отношением к роману, эрудицией и предельной точностью мысли. В предисловии «От авторов» сказано: научный комментарий «призван, обобщив находки и опыт предшествующих

щих исследователей творчества писателя, ответить, по возможности, на возникающие у внимательного читателя вопросы. Вместе с тем он предполагает открытость, незавершенность текста. Даже при самой тщательной работе всегда остается место для коррекций и дополнений...» Концепция Комментария, здесь провозглашенная, осуществлена в полной мере. Комментарий И. Белобровцевой и С. Кульяс — это одновременно итог и приглашение к новым исследованиям. Чрезвычайно симпатичны все эти «кажется», «как будто», «не вполне ясно» и т. д. Это те «булгаковедческие» зияния, которые и волнуют, и продуцируют мысль читателя, энергию филолога. В «сослагательности» авторов и чувство достоинства, и свидетельство научного «класса». Из этого же ряда и подзаголовков книги. При едва ли не исчерпывающей полноте материала, авторы определяют книгу не как «комментарий», а как «опыт комментария»; и действительно, классические произведения, такие как «Мастер и Маргарита», никогда не будут исчерпаны познанием, как бы к такой исчерпанности ни стремились Фаусты.

Существенно и другое: читая Комментарий, поражаешься его семантической и композиционной целостности. Казалось бы, функция комментаторов — функция ведомых, обреченных на то, чтобы идти «по живому следу» романа, «за пядью пядь». Но И. Белобровцева и С. Кульяс не только ведомые, но и ведущие: Комментарий не стихия, а система; комментируя, авторы строят концепцию. Ирина Белобровцева и Светлана Кульяс — выпускницы Тартуского университета. Это сказывается и в точности мысли, и в избрании образца, каковым объявлен Комментарий Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину». «Вслед за ним (Ю. М. Лотманом. — Ф. Ф.) авторы сочили нужным ввести главы, сопутствующие постраничным пояснениям и посвященные истории создания и публикации романа, его поэтике и тем историко-культурным кодам, которые участвуют в конструировании текста и генерировании дополнительных семантических полей...»

Комментарий И. Белобровцевой и С. Кульяс — текст чрезвычайной информационной объемности. Что я имею в виду?

Во-первых, непрерывное обращение авторов к истории создания романа, ко всем восьми редакциям, благодаря чему возникает историко-«геологическая» вертикаль, позволяющая осмыслить логику и механизм творческого процесса писателя. Но существует контекст не только романских редакций, но и других произведений Булгакова, начиная с первых, о которых говорится хотя и немного, но афористически точно и уместно. Авторы демонстрируют длительный процесс созревания, формирования романа в сознании писателя.

И здесь возникает одна из самых драматических проблем булгаковского наследия, не такая драматическая, как сожженный

второй том «Мертвых душ» (если он был написан), но не менее болезненная; это текстологическая проблема. Как известно, Булгаков не успел завершить правку, в результате чего в романе множество неувязок, «нестыкков», отмеченных в Комментарии. Далее: «Многослойная правка (выполненная булгаковской рукой в машинописной редакции 1938 г. и записанная под его диктовку во время болезни) была известна только Е. С. Булгаковой. Только она в своей редакторской работе располагала всеми материалами. К моменту выхода в свет издания 1973 г. одной из двух тетрадей с предсмертной правкой в распоряжении редактора не было». Тем самым последняя редакция является деформированной, поскольку не представляет в полной мере тот текст, который был завершен. Наконец, и это мне кажется наиболее драматическим, вмешательство в текст Е. С. Булгаковой (что проявилось в нарушении ею авторской воли в финале романа) привело к серьезным деформациям смысла и структуры, о чем авторы пишут на с. 318. Чужая воля продолжает править злосчастным романом, завершить который Булгаков стремился изо всех сил, о завершении которого молил Бога. Если рукописи и не горят, то иногда их правят в угоду власти или собственной прихоти.

Текстологическая проблема, видимо, является одной из главных проблем, которые не позволяют приступить к Академическому собранию сочинений Булгакова, потребность в котором не вызывает сомнения. Более того, это святой долг как ученых, так и издателей, наконец, России.

Во-вторых, и это связано с «во-первых», авторы выстраивают обширное источниковедческое поле, литературное, научное, религиозное, мифологическое, философское и т. д. Это не только Библия и Талмуд, не только античные историки, не только Авеста (хотя, следуя своему принципу, авторы свидетельствуют, что восточный пласт — это еще terra incognita булгаковедения), не только огромная сфера классической западной и русской литературы, из которой исследователями особенно выделены Сервантес, Гете и Гоголь, наконец, не только литература текущая (Пильняк, Леонов и многие другие). Это масонская и алхимическая литература. И значительный корпус разнообразной научной и очерковой литературы, посвященной истории и географии древнего Ближнего Востока. В первой части Комментария в специальной главе анализируется булгаковская тетрадь «Материалы к роману», и становится очевидным, из какого фантастического, совершенно непредсказуемого «сора», как говорила Ахматова, складываются описания, образы, конфликты, концепции писателя, «налево беру и направо».

Исключительное значение имеет, естественно, корпус текстов, посвященных возникновению христианства — «Жизнь Иисуса»

Ренана, «Жизнь Иисуса» Штрауса, «Жизнь Иисуса Христа» Фаррара и др. Позитивизм (и в особенности Эрнест Ренан) создал мощную традицию десакрализации библейских, прежде всего новозаветных текстов, превратив историю жизни Иисуса в нечто вроде «жизни замечательных людей». Совершенно очевидно, что, создавая образ Иешуа, Булгаков следует этой культурной традиции, хотя и выводит Иешуа из зоны контакта с советским атеистическим шабашем. Но, в отличие от авторов Комментария, я не стал бы настаивать, что «основная интенция Булгакова — отход от Священного писания, создание апокрифа» (с. 146), что Иешуа «автономен» (с. 315) и т. д. (Только в финале вскользь указывается на сакральность Иешуа и тем самым на возможность идентификации Иешуа и Иисуса.) При всей совершенно очевидной десакрализации, вся система происходящих в Ершалаиме событий процеживается на евангельскую историю, и ни на какую другую. Булгаков, как и Ренан (обобщенно говоря), создает тот образ христианского первочеловека, который стал предметом христианской сакрализации, человека беспредельно смиренного, но наделенного могучей силой духа.

В-третьих, существует сугубо исторический пласт, те булгаковские контакты с современностью, которые явились первичными импульсами порождения текста. Это и политические деятели эпохи во главе со Сталиным, и вся та общая советско-московская ситуация, начиная с тотальной слежки и доносительства и кончая многочисленными бытовыми реалиями писательской и всеобщей жизни, типа квартирного вопроса и т. п. Московская историческая жизнь 1930-х годов изображена Булгаковым столь безоглядно, что делало публичную жизнь романа абсолютно невозможной; он был нацелен на некое постсоветское культурно-политическое пространство. И если он был опубликован значительно раньше «перестройки», то это одно из странных последствий «оттепельного» синдрома, предполагавшее, с одной стороны, абсолютность господства атеистической доктрины, с другой же стороны, фельетонное истолкование «московской» части.

В-четвертых, невероятный по своему объему научный материал, возникший за 40 лет (почти), благодаря которому роман погружается в фантазмагорическое рецепционно-герменевтическое пространство. И в этом плане судьба романа, история полемик, отрицаний и гимнословий, оказалась не менее драматической, чем его создание, чем путь рукописи к печатному тексту. (В научной библиографии мне не хватило только одного: старой новомировской статьи В. Я. Лакшина, в которой настолько ярко было написано о лунном пространстве в романе, что я до сих пор этот фрагмент помню едва ли не слово в слово. После Лакшина было написано много — и более обширно, и более глубоко,

но Лакшин был первым, сказавшим о лунном феномене романа.) Кстати говоря, о луне говорится на протяжении всего Комментария, и говорится прекрасно, тем не менее практически вне литературного контекста, который включает не только Пильняка с его «Повести непогащенной луны», но и Добычина, писателя совсем иного типа. И эта актуализация и мифологизация луны, вторая в русской культуре (первая — это романтизм), нуждается в глубоком и универсальном осмыслении, несомненно включающем в качестве важнейшего сегмента и лунный текст «Мастера и Маргариты».

На этом я прекращаю разговор о пространстве Комментария, это едва ли не безграничное пространство и в полной мере его можно представить, пересказав — по известному изречению Л. Толстого по поводу содержания «Анны Карениной» — весь Комментарий.

Но для меня очевидно одно: Комментарий, созданный И. Белобровцевой и С. Кулюс — важнейший рубеж в истории постижения булгаковского романа, *тот универсальный итог, который провоцирует новое видение*. И в этом его несомненное научное и культурное значение.

Тем не менее мне хотелось бы высказать несколько соображений.

Одним из важнейших литературных оснований «Мастера и Маргариты» является «Фауст», о чем свидетельствует эпитаф; эпитаф не только вводит в роман драму Гете, но и указывает на Воюнда как одного из главных персонажей, связует Мефистофеля и Воюнда. Вопрос о главных персонажах — вопрос серьезный. Название ставит Мастера и Маргариту в центр созданного писателем мира, но это человеческо-исторический центр, во многих отношениях носящий нормативный характер. На Воюнда указывает эпитаф, и вся фабула романа продиктована Воюндом, хотя в «библейском» тексте доминируют Иешуа и Понтий Пилат. Но Иешуа изъят из современной сферы, поскольку современность, соотносимая с Иешуа, *требуется* Воюнда, ибо Иешуа смиренен, как Мастер, хотя — в отличие от Мастера — не сломлен.

В этой связи мне представляются не совсем точными размышления авторов о гетевском Мефистофеле, особенно в начале Комментария: «...антагонист Бога, Мефистофель, делает добро „невольно“: своими ухищрениями и кознями он поощряет Фауста к преодолению земных соблазнов» (с. 102). И далее: «Меняется само семантическое наполнение реплики Мефистофеля, приведенной в эпитафе: она утрачивает лукавство, присущее ей в устах героя Гете, и обретает прямой смысл». Ни о лукавстве, ни о чем подобном речи не идет у Гете. Все дело в том, что, интерпретируя эту абсолютно точную, соответствующую всему строю «Фауста» реплику, авторы исключают из анализа

то, что является первично важным, — «Пролог на небе» (впрочем, на с. 201, а потом на с. 301, в самом конце Комментария, он вспоминается, но уже не «работает»). «Пролог на небе» — это ключ к «Фаусту» и во многих отношениях ключ к «Мастеру и Маргарите», к образу Воланда прежде всего. Кто же такой Мефистофель в «Прологе» и драме? Мефистофель является в драму как дух отрицания, утверждающий несовершенство созданного Богом мира и человека, со всеми приметами скептического ёрничества. В процессе разговора Господь и Мефистофель заключают пари на Фауста: Господь уверен в торжестве Фауста («он вырвется из тупика»), Мефистофель уверен в обратном («ползая в помете, / Жрать будет прах от башмака»). Разговор заканчивается взаимными реверансами.

#### Господь:

Таким, как ты, я никогда не враг.  
Из духов отрицанья ты всех мене  
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.  
Из лени человек впадает в спячку,  
Ступай, расшевели его застой...

#### Мефистофель:

Как речь его спокойна и мягка!  
Мы ладим, отношений с ним не портя.  
Прекрасная черта у старика  
Так человечно думать и о черте.

Мефистофель — это инструмент творения человека и мира. Мефистофель, в сущности, есть *ино* Бога. Господом творится человек (Фауст) посредством Мефистофеля. Господом творится мир, будущее (V акт) тоже посредством Мефистофеля. «Фауст» — это драма творения, и как драма — альтернативная Книге Бытия. Сотворив мир, Бог восклицает в Ветхом Завете: «И это хорошо!» У Гете механизм творения является отрицание. Но как бы там ни было, Мефистофель от начала и до конца таит в себе *божественное* начало, при всем том зле, которое он совершает. И очень важна пространственная семантика: Мефистофель — дух отрицания — беседует с Богом *на небе* (на с. 201 оговорка: «Пролог о небесах»). Мефистофель не тот дьявол, сатана, демон, который низвержен с небес в самую бездну ада, как у Данте, а собеседник, партнер, исполнитель божественного замысла, для него всегда открыто небо.

В гетевскую картину мира входят бури, взрывы, катастрофы. Но они не разрушают, а создают гармонию. Хаос входит в космос как строительный материал. Одно из откровенных сочинений для Гете — «Теодицея» Лейбница. «Что касается несчастий, которые постигают хороших людей, то можно сказать с уверенностью, что в конечном счете посредством их достигается еще большее благо; и это справедливо не только в телеологическом, но и в физическом смысле. Брошенное

в землю зерно страдает, прежде чем произвести плод. И можно утверждать, что бедствия, тягостные временно, в конечном счете благодетельны, поскольку они суть кратчайшие пути к совершенству...» И если рассматривать «Фауста» сквозь призму теодицеи, то и здесь Мефистофель — основное звено, ибо счастье невозможно без несчастия, добро без зла, красота без безобразия и т. д.

И Гете время от времени возвращает читателя к «Прологу на небе»; читатель, которому рассказывается о весьма дьявольских акциях Мефистофеля, должен помнить, что Мефистофель есть «Ein Teil von jener Kraft, / Die stets das Böse will / Un stets das Gute schafft» (Часть той силы, Которая всегда желает зла И всегда создает добро). Во всяком случае между Богом и Мефистофелем ведется диалог, они в вечных диалогических отношениях. И вознесение Фауста в финале драмы предопределено Мефистофелем. Можно сказать, Господь выиграл пари, но можно сказать и иначе: в Мефистофеле творчество возобладало над отрицанием, т. е. возобладал Бог.

В драме Гете Фауст переводит Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...». В Комментарие многократно говорится о Евангелии как откровенной точке булгаковских построений, булгаковского «перевода». В этом плане автор, Булгаков, с одной стороны, и Мастер, автор «текста в тексте», с другой стороны, заключают в себе Фауста, постигающего истину. Кстати говоря, знаменитое изречение «рукописи не горят», утверждающее бессмертие слова, в основе своей имеет Евангелическую Божественную коннотацию: Слово-Творение неуничтожимо.

Но монолог Фауста имеет и более конкретный смысл. Фауст первоначально предстает как переводчик-«буквалист»: «В начале было Слово...» Но «В начале было Слово...» предполагает одномоментный акт творения. В конце же Фауст в качестве безусловной истины утверждает: «В начале было Дело...» — и тем самым Фауст далеко уходит от Евангелия, ибо дело — процессуально, и драма Гете излагает именно Дело творения, которое невозможно без Мефистофеля, в отличие от Слова творения.

Мефистофель, творящий дело Господне на земле, в человеческом мире, естественно, травестирован, являет себя в низовых обликах весьма широкого диапазона.

Травестирован и Воланд, но тем не менее Воланд выведен Булгаковым из сферы бурлескного «комикования», которое существенно в Мефистофеле. Фигурально говоря, Воланд всегда на небе, даже тогда, когда он в «грязной ночной сорочке» и в «стоптанных ночных туфлях»; он — в московской квартире, но он — и в «пятом» измерении. В отличие от Мефистофеля, Воланд величествен, что бы о нем ни писал М. Петровский. Поэтому Булгаков, идущий от «Фауста», называет

своего героя не Мефистофелем, а Воландом, он, *Воланд*, другой, поэтому Булгакову необходимы были оперные контексты, и прежде всего апелляция к Мефистофелю—Шалашину.

«Фауст», положенный в основание романа, в романе перевернут. Основные персонажи пары «Фауста» Господь—Мефистофель и Фауст—Маргарита соответствуют персонажам парам Иешуа—Воланд и Мастер—Маргарита, но семантически они противопоставлены, тем более что Бог Отец заменен Иешуа, а функция Мефистофеля разделена на Воланда и его команду. Пожалуй, только «ученик» не подвергнут семантической трансформации: Вагнер сохраняет в Иване Бездомном как свою «ученическую» ограниченность, так и свой вектор эволюции. Маргарита (Гретхен) Гете (любовь, смирение, чистота и гибель), распознав в Мефистофеле нечистую силу, противится какому бы то ни было с ним контакту. Маргарита Булгакова (любовь и энергия дела) в своих акциях подобна Воландовой команде, в сущности, становится ее участницей. Фауст в Комментарий на с. 108 определен неточно как «дерзновенный мечтатель». Во-первых, Фауст не «мечтатель», а практик, будь то сфера науки или сфера дела. Во-вторых, с «дерзновенностью» тоже не все в порядке. Он дерзновен в своих претензиях на абсолютное знание, но это Фауст *до* начала драмы; дерзновен он и в своих финальных пророчествах, которые действительно позволяют его назвать «мечтателем». Фауст — это мучительный поиск истины и в этом плане постоянное противоречие и неудовлетворенность. В начале драмы он переживает острый кризис мировоззрения: рационалист, декартовец, он верит в возможность постижения абсолютной истины и тем самым в свою «богоравность», но практика ученого-естественника убеждает его в несостоятельности претензий, оказывается, он не «богоравный», а «дурак», что воспринято им как катастрофа. Мефистофель вступает в контакт с Фаустом глубокого кризиса, но тем не менее не лишенным творческого начала.

Мастер, создающий роман, подобен Фаусту «*до действия*», его творческой и познавательной дерзновенности, но если Фауст, покинув сферу науки, уходит в сферу жизни, то Мастер из обрушившихся на него «передряг» выходит сломленным. Согласно Гете, Фауст, который в земной жизни не знал удовлетворения, блаженства, достоин высшего небесного круга. Согласно Булгакову, Мастер заслужил инобытийный покой, т. е. то, чего был лишен в земной жизни.

Финал романа демонстрирует высшее «надмирное» торжество Иешуа и Воланда, хотя сфера Воланда — бездна, а сфера Иешуа — небо, свет, и общение ведется посредством Левия Матвея. И когда Иешуа *просит* Воланда «наградить» Мастера покоем, то не только в силу их манихейского равенства, а по

той же причине, по которой бьющего его Марка Крысобоя называет «добрым человеком». Это не «вежливость», но это и не свидетельство равенства, это свидетельство *высшей власти*, власти добра, смирения и терпимости.

Функция Воланда и К° не может рассматриваться как функция зла. Воланд и К° — это дьявол с сподвижниками, выполняющие в Москве, в мире обязанность вершителей правосудия, которую никто кроме них выполнить не может. Иешуа ее не может выполнить из-за своих онтологических качеств. Воланд и К° карают историческое зло, карают смертью, смехом и страхом. В отличие от авторов Комментария я не стал бы утверждать безусловность московского апокалипсиса; «Эпилог» помимо многих смыслов имеет и еще один смысл: «прошло несколько лет» — и Москва продолжает жить своей жизнью. Но одно несомненно — Булгаков показал возможность, тенденцию апокалипсиса. Кстати говоря, отличие Воланда от Мефистофеля заключается еще в одном: будучи движущей силой прогресса, Мефистофель творит зло истинное — на его совести не только гибель Маргариты, но и совершенное по его приказу убийство Филемона и Бавкиды. Гете признает неизбежность зла во имя будущего добра. Булгаков отрицает зло как способ построения идеального будущего, отрицает принцип, столь важный для его эпохи: «лес рубят — щепки летят». Поэтому инструмент насилия Воландом используется ограничительно.

Затянувшийся разговор о гетевской структуре Господь—Мефистофель показался мне необходимым по той простой причине, что при всех отличиях и «перевернутостях» булгаковского романа, при всех коррекциях Гете, он сохранил то главное, что было у Гете: демиургическое начало «нечистой силы», более того, облагородил и возвеличил ее именно благодаря ее неотделимости от демиурга.

В контексте сказанного все проекции булгаковских персонажей на конкретных исторических лиц, столь популярные лет 10—15 назад, выглядят достаточно примитивными (например, отмеченная в Комментарий проекция Мастера на Горького, или проекция Воланда на Сталина), не соответствующими уровню мысли Булгакова.

О Комментарий можно говорить долго, он держит в плену: ставишь точку, закрываешь черно-красную, апокалиптическую оболочку с Воландовым треугольником — и через некоторое время открываешь ее снова. И в этом великая функция Комментария; И. Белобровцева и С. Кульяс создали замечательного провокатора мысли.

В заключение не могу не сказать, что мне в Комментарий не хватало Гофмана; гофмановское присутствие в «Мастере и Маргарите» не столь велико, как присутствие Гете, но первостепенно. Авторы справедливо пишут о «коллагном» принципе булгаковского



миростроения. Но демонстрируя «коллажи», почти всегда опускают гофмановский сегмент. Например, подробно и виртуозно анализируя многообразный комплекс источников, положенных в основу построения образа Мастера (учтена даже литера «М» как знак метро в качестве одного из возможных импульсов для литеры «М» на шапочке Мастера), И. Белобровцева и С. Кульюс не упоминают в ряду первоисточников романтическую, в частности гофмановскую, любовь к мастерам средневекового города, к виртуозам-ремесленникам, художникам своего дела, к тем, для кого искусство — «святое ремесло», как сказала Каролина Павлова, к Гансам Саксам. Одни только названия новелл Гофмана свидетельствуют, насколько значимым для него был феномен мастера: «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья», «Мастер Иоганн Вахт», «Мастер Блоха».

Что же касается структуры *учитель — ученик*, замечательно рассмотренной авторами, то она — магистральная структура всего гофмановского творчества, начиная с первой новеллы — «Кавалера Глюка».

И т. д., и т. д.

Кстати говоря, насколько мне известно, у Гофмана нет новеллы «Саламандра», о саламандре речь идет в «Золотом горшке», тут же названном (с. 271). Новелла «Саламандра» есть у В. Ф. Одоевского. Главный и заме-

чательный гофмановский кот — Кот Мурр, несмотря на все свои недостатки, в чертовщине не был замечен, как об этом сказано на с. 165, хотя дьявол и разгуливает по гофмановским книгам.

Соображение вдогонку: я не рискнул бы назвать «Иуду Искариота» богоборческим произведением; «иудоправдание» у Леонида Андреева органически связано с «иисусоутверждением».

Я благодарен И. Белобровцевой и С. Кульюс за доставленную мне радость со-мыслия, со-творчества.

Открытая структура Комментария необыкновенно плодотворна. В 2001 году И. Белобровцева и С. Кульюс издали тоненький, 55-страничный «Краткий комментарий» «Мастера и Маргариты». В 2004 году появился 359-страничный «Опыт комментария». Мне хочется верить, что через несколько лет появится «Комментарий». Книга И. Белобровцевой и С. Кульюс не первый комментарий, роман Булгакова провоцирует комментаторскую мысль. Но Комментарий И. Белобровцевой и С. Кульюс мне кажется наиболее взвешенным, наиболее адекватным булгаковскому роману.

Во всяком случае роман Булгакова без книги Белобровцевой и Кульюс сейчас не представляем.

© А. И. Рубашкин

## ВОСПОМИНАНИЯ О ВИКТОРЕ КОНЕЦКОМ\*

Исследователи литературы знают, сколь важны для них воспоминания о писателях, особенно собранные, когда еще не ушли современники не только поздних лет художника, но и начала творческого пути. Это хорошо поняла вдова В. В. Конецкого Татьяна Акулова, инициатор и составитель издания «Дорогой наш капитан. Книга о Викторе Концеком» (М., 2004). Прошло два с небольшим года после кончины писателя — и книга вышла в свет. Подзаголовок позволяет вести разговор и о творчестве В. Конецкого. Но в основном это воспоминания.

Больше шестидесяти авторов откликнулись на приглашение составителя. У них была внутренняя потребность высказаться. И у профессиональных литераторов, и у друзей по жизни и морской службе, однокашников (А. Спиридонов, В. Кузнецов, В. Тимашев, Г. Крылов, Н. Загускин, И. Краско). По своему опыту составителя воспоминаний о Федоре Абрамове (М., 2000) знаю, сколь не просто готовить материалы «бывалых» лю-

дей. Тут важно, с одной стороны, сохранить стиль подлинников, с другой — исправить возможные стилистические и иные погрешности. В данном случае эта работа удалась — в книге возникает образ писателя в его молодые годы — курсантские и начала литературного труда.

Прозаики, поэты, критики, спутники зрелых лет совместно создают коллективный портрет писателя, сохраняя свой пристрастный взгляд на сложный характер. Среди заметок и очерков отмечу написанное А. Житинским, И. Золотуским, И. Кузьмичевым, И. Кудровой, Е. Кацевой, М. Глинкой, Ю. Рытхэу, Л. Либединской, В. Поповым... Называю из литературного круга самых запомнившихся. Мы все знали требовательность Виктора Викторовича к себе и к другим, знали его верность морским традициям.

И есть еще один голос — составителя, жены писателя. Голос негромкий, иногда сбивающийся с взятого тона, но искренний, открытый, любящий. Оказывается, колючий, острый, нервный капитан, знавший флотскую дисциплину, мог быть отзывчивым, нежным до сентиментальности.

\* Дорогой наш капитан. Книга о Викторе Концеком. М.: Текст, 2004. 365 с.

Вся жизнь В. Конечного проходит перед читателем книги. Дом на канале Круштейна (теперь Адмиралтейском, со свежей мемориальной доской Виктора Викторoviча), напротив Новой Голландии, мать и брат, блокада. Затем училище и морская служба. И — как ее следствие — писательство. Об этом сказано больше всего. Мемуаристы (в основном) осмотрительны. Помнят, что Виктор Викторovich не любил амишонства. Они все выступают в разных жанрах — есть краткие заметки, даже стихи, а есть и эссе, и выразительные художественные очерки.

Очерк Игоря Золотуского «Акварель с маками» не только указывает на причастность В. Конечного к живописи, но и подчеркивает художественную натуру писателя-морьяка, которого друг-критик называет «одним из последних романтиков этого города». И. Золотуский пишет: «Он был разборчив в дружбе, и поддыхать к нему на кривой козе было невозможно. Его не могли обмануть ни писательские клятвы в любви, ни игра в своего в доску простого парня. У него было безошибочное чутье на подлинность» (с. 91). Эти рассуждения подкреплены материалом. Точно говорится о противоречиях в самой личности писателя-блокадника, который «кроме Высшего военно-морского училища прошел полный курс улицы и двора».

Более строго, сдержанно написана статья критика Игоря Кузьмичева (редактора многих книг писателя в издательстве «Советский писатель»). Тут уместны не только воспоминания о почти полувековом знакомстве и сотрудничестве с Виктором Викторovichем, но и замечания о «налете книжности» и «туманного романтизма» у молодого писателя, от которых он отошел. В этой статье сказано и об отношении В. Конечного с матерью Любовью Дмитриевной, спасшей двух своих сыновей в блокаду, и о родном брате, будучи писателем Олеге Викторoviче Вазунове, и о сложных чувствах Виктора Викторoviча к покинувшему семью отцу. Редактор книг «Камни под водой», «Завтрашние заботы», «Соленый лед» сказал кратко о том, что иные «воспоминатели» лишь пересказывают. Хотя статья названа «Дом на канале», И. Кузьмичев вместе со своим героем далеко уходит от Новой Голландии. «Мальчишкой он (Конечный. — А. Р.) не пропал в блокаду, не свихнулся в курсантской казарме. Он сумел найти себе место на флоте и раз за разом уходил в море, когда, на взгляд со стороны, в том не было необходимости, — заставлял себя уходить, преодолевая застарелые недуги и бесконечные административные каверзы» (с. 9).

В статье критика-сподвижника подкупает нежелание подчеркивать реальные многолетние отношения с писателем, вместе с которым столько прожито и пережито, начиная с литобъединения при «Советском писателе» (середина пятидесятых!) до прощания в начале апреля 2002 года...

Авторы воспоминаний не щадят себя, говоря о своем герое, они понимают: Конечного не выпрямишь, не поставишь в ранжир, у него свои счеты со временем. Значит и себя, вспоминающего, нельзя приукрасить. Поводом, толчком к написанию очерка Александра Житинского стало получение им рекомендации на вступление в Союз писателей. Но через эту историю, на фоне ее, возникают и портрет Виктора Викторoviча, и самохарактеристика автора очерка «Рекомендация». «Я подумал, что мне чертовски сложно будет овладеть методом В. В. Трудно, но можно написать о себе и признаться в собственной слабости, малодушии и даже подлости. Но печатно назвать подлецом другого человека — да что там называть! Не в ругани дело! — раздеть его на людях, показать его глупость, чванство, мелкую душонку, как делает это В. В. с иными из своих героев, — нет, на это я не способен. Увы!» (с. 186). Этот тон «подсказан» В. Конечным.

Душевно, искренне написала о своем ровеснике Ирма Кудрова в заметках «Название не придумывается — так написал бы Конечный». Пожалуй, нигде больше столь открыто не сказано о трудности отношений с этим вроде бы суровым человеком, желавшим быть понятым. В известном смысле есть у Кудровой и «перекличка» с Житинским. «Год от году, — пишет И. Кудрова, — в книгах Конечного нарастала и нарастала беспощадная к себе открытость, он не рисовался ею, наоборот — будто нарочно подставлялся обличителям своими героями и их признаниями, способными всякого из них лишить ореола несгибаемого борца. Но борцами наши читатели были давно сыты. И книги Конечного расходились замечательно — в те времена, когда еще их возможно было купить» (с. 81—82).

Важными для понимания характера писателя, да и времени (вторая половина шестидесятых), представляются свидетельства И. Кудровой, не одного В. Конечного касающиеся: «Не помню наших бесед на политические темы (...) Зато помню, с каким зубным скрежетом он составлял письмо предстоящему писательскому съезду, вынужденное Солженицыным. Письмо получилось прекрасное, но Виктор считал, что тогдашнее обращение А. И. к писателям с предложением слать письма съезду было беспардонным; он вынуждал к поступкам, которые могли не представлять другим в тот момент верными, а отказаться было невозможно — это означало прослыть трусом. Думаю, Виктор был прав» (с. 83).

По своему ощущению помню, что в таком же положении тогда оказался и Федор Абрамов.

В ряде воспоминаний (В. Попова, Г. Николаева) говорится о независимых поступках В. Конечного — таких как публичное выступление против засилья цензуры, критика государственной политики на Крайнем Се-

вере. Однако авторы сборника видят в Концеце человека своего времени, которому приходилось идти на компромиссы с той же цензурой, требованиями издательства. Он хотел печататься, и он не мыслил себя без моря. За несколько недель до очередного рейса В. Конецкий начинал избегать всякой публичности, которая могла отразиться на его планах. Он ощущал пристальное внимание к себе всяческого начальства, которое не решалось лишить его заслуженного делегирования на писательские съезды, надеясь, что этот ленинградский делегат их не подведет, но, на всякий случай, никогда не представлял ему слова с высокой трибуны в Москве. В чем-то уступая, В. Конецкий добивался главного: сохранял суверенность своего слова.

Представляется, что в этой книге воспоминания женские (И. Кудровой, Н. Ивановой, Н. Снетковой, Л. Кузьминой) дают почувствовать теплоту, отзывчивость ее героя. Заметки «Дорогой мой капитан» Е. Кацевой, переводчицы и редакторского работника, фактически давшие название всей книге, характеризуют отношение В. Конецкого к старшей по возрасту и младшей по званию старшине-морячке военных лет. Живой голос Виктора Конецкого доносится до нас из октября 1982 года: «Дорогая морячка! Вы до меня не дозвонились, т. к. я бороздил суровые арктические просторы. „Эссей“, который готовлю для Вас, почти спекся...» (с. 141). И тут же столь характерное «противоречие» — «деньги есть» и «жить невозможно».

Валентин Курбатов сохранил для нас устные высказывания, несколько сюжетов, о которых справедливо говорится: «Я выбираю только то, где порезче выразилось время или характер самого Конецкого» (с. 204). Завершает сборник (если не считать стихотворения Г. Горбовского «Виктору Конецкому») отклик Андрея Битова на уход друга: «Такого, как Конецкий, больше не будет. В нем штурман ревновал писателя, а писатель штурмана (...). Он был строг к качеству текста, как капитан должен быть строг к чистоте на судне» (с. 362). Жесткие, точные, каменные слова.

К сожалению, не обошлось в книге и без банальностей вроде «чистого воздуха истины» или утверждения, что нам помогли выжить только два голоса — В. Конецкого и В. Высоцкого (с. 350). Если бы автор (Дм. Каралис) сказал «мне» — другое дело. А нам, поколению военных мальчишек, помогал не только Конецкий, будто бы в одиночку державший «флаг над нашим общим кораблем», но и Б. Окуджава, Ю. Казаков, Ю. Трифонов, Ю. Домбровский. А ведь были еще Ф. Абрамов и В. Шукшин. Когда читаю, что Конецкий своими книгами «спас престиж русской литературы в годы безвременья», то хочу спросить: «А Солженицын?»...

Книга вышла вовремя, когда еще не остыло живое чувство и свежа память. Сразу по выходе она стала значительным фактом литературной и общественной жизни. Без нее не обойтись исследователям литературы, и она важна для современного читателя.

© А. С. Янушкевич

## ФЕНОМЕН ПЕТЕРА ТИРГЕНА: К 65-ЛЕТИЮ НЕМЕЦКОГО СЛАВИСТА

Известный немецкий филолог, профессор и многолетний заведующий кафедрой славистики Вамбергского университета Петер Ханс Тирген в общении с русскими коллегами любит называть себя просто Петр Иванович. В этой самоидентификации, разумеется, есть элемент свойственной Петеру Тиргену иронии, но одновременно это и вербально выраженный знак причастности к той культуре, которая для немецкого ученого уже давно стала больше чем делом жизни. Немецкий славист Петер Ханс Тирген и его русский двойник Петр Иванович — неразделимое единство двух культур и двух национальных традиций мышления, рефлексии, филологического знания.

Первое серьезное исследование немецкого ученого было посвящено эпической по-

эме М. М. Хераскова «Россияда».<sup>1</sup> Опубликованная в Бонне в 1970 году, эта диссертация Петра Тиргена поражала не только своим объемом, основательностью, прекрасным знанием источников, но и методологией. Все восемь глав этого труда — поступательное постижение на первый взгляд странной и архаичной поэмы Хераскова как закономерного и естественного этапа русского художественного сознания и национального мышления вообще. Исследователь вписывает произведение в русскую (от Кантемира до Майкова) и мировую традицию (античную, итальянскую, нового времени — Мильтон, Вольтер), но не

<sup>1</sup> *Thiergen Peter. Studien zu M. M. Cheraskovs Versepos «Rossiada»: Materialien und Beobachtungen. Bonn, 1970. 364 S.*

для того, чтобы придать ему более значительный статус, а для того, чтобы выявить своеобразие русского эпоса. Шестая и седьмая главы книги — «Наблюдения над композицией», «„Россияда“ и сентиментализм» — осмысление поэтики «Россияды» как характерного и репрезентативного явления русского художественного сознания. Синтез классицистического и сентименталистского мышления, элементы рококо (раздел «Чувствительность и рококо»), выявленные автором в процессе анализа композиции, мотивов и образов, позволили говорить о значении херасковского эпоса для последующей эпохи литературного развития вплоть до «Руслана и Людмилы» Пушкина.

Странный, казалось бы, выбор объекта исследования (ведь даже в отечественном литературоведении «Россияда» почти не удостоивалась специального изучения, да и нередко вызвала ироническое отношение) закономерен для Петра Тиргена как ученого. Русский XVIII век привлек его своей, так сказать, первозданностью, свежестью духовного и национального самосознания, когда еще многие понятия только формировались. И позднее, обращаясь к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева,<sup>2</sup> к поэме Ломоносова «Петр Великий»,<sup>3</sup> к реценции и функционированию мотива «триумф Венеры»<sup>4</sup> в русской литературе XVIII века, Тирген осмысляет русский XVIII век как феномен духовного развития нации, эстетических поисков и философского самоопределения.

Диапазон исследовательских интересов немецкого слависта широк: здесь и размышления о поэтике пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных»,<sup>5</sup> и осмысление гоголевской «Шинели» как «теологического нарратива» в соотношении с Нагорной проповедью,<sup>6</sup> и анализ чеховских рассказов «Толстый и тонкий», «Княгиня»,<sup>7</sup> и рассмотрение поэтической мотивологии К. Бальмонта.<sup>8</sup>

Цель нашего разговора о Петере Тиргене не обзор его трудов. Подробные сведения об этом можно отыскать на специальном сай-

те Бамбергского университета.<sup>9</sup> И хотя список трудов выразителен и сам по себе (в нем — отражение пристрастий ученого, веки его творческого пути, интенсивность поисков), все-таки личность исследователя выражается прежде всего в пафосе его творчества, в той «осердеченной идее», которая питает его научный поиск.

Во всех трудах исследователя есть свой нерв и сквозная идея. Начиная с размышлений о «Россияде» Тиргена волнует феномен русской духовности, и шире — славянского духа, и еще шире — феноменология человеческого духа вообще.

Одна из программных его работ носит характерное заглавие: «„Homo sum“ — „Europaeus sum“ — „Slavus sum“: Zu einer Kulturkontroverse zwischen Aufklärung, Eurozentrismus und Slavophilie in Russland und der Westslavia».<sup>10</sup> Знаменитый афоризм Теренция «Homo sum: humani nihil a me alienum puto» («Я человек: и ничто человеческое мне не чуждо») автор рассматривает как историко-культурное понятие, обретающее в России и Восточной Европе в разные исторические периоды и в различные культурные эпохи (просветительство, европоцентризм, славянофильство) свое идеологическое наполнение и философское звучание. Определенное сужение объема понятия — следствие обостренных споров и национально-освободительного движения в славянском мире. И вместе с тем, по мнению ученого, тоска по общечеловеческому, по общегуманистическим ценностям, идущая от Карамзина к Грановскому, Станкевичу, Белинскому, то, что Тургенев называл «идеализмом в лучшем смысле слова», всегда питала русскую мысль и определяла ее «всечеловеческую отзывчивость».

Статья Петра Тиргена вряд ли укладывается в разряд чисто филологических. В ней ставятся глубинные экзистенциальные проблемы. И в этом смысле она тесно связана с философской рефлексией. Но одновременно она о судьбах европейского гуманизма и проблемах национально-исторического самоопределения. И очевидно вырисовывается ее историософское и культурологическое содержание. Огромный материал античной, западноевропейской, русской и восточнославянской мысли, рассмотренный сквозь призму одного афоризма, обретает масштаб своеобразного духовного феномена.

История понятий как историко-культурных феноменов, образно выраженных в литературе, — вот главный объект филологических изысканий Петра Тиргена. В программном докладе на Международной конференции в Бамберге 19—22 октября 2001 года,

<sup>2</sup> Zeitschrift für Slavische Philologie. 1973. Bd. 37. S. 101—116.

<sup>3</sup> Ibid. 1975. Bd. 38. S. 120—127.

<sup>4</sup> Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. München, 1973. S. 484—496.

<sup>5</sup> Die russische Lyrik. Herausgegeben von Bodo Zelinsky... Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 86—92, 421—423.

<sup>6</sup> Gattungen in den slavischen Literaturen: Festschrift für Alfred Rammelmeyer... Köln; Wien, 1988. S. 393—412.

<sup>7</sup> См.: Hamburger Beiträge für Russischlehrer 27 (1982). S. 175—190; Festschrift für H. Bräuer zum 65. Geburtstag... Köln; Wien, 1986. S. 585—608.

<sup>8</sup> Byzantine Studies / Etudes Byzantines 8, 11—12 (1981, 1984—1985). S. 387—394.

<sup>9</sup> Schriftenverzeichnis Prof. Thiergen // [www.uni-bamberg.de / split / slavistik / data / schrift. htm](http://www.uni-bamberg.de / split / slavistik / data / schrift. htm).

<sup>10</sup> Zeitschrift für Slavische Philologie. 1998. Bd. 57. S. 50—80.

посвященной специально истории русских понятий нового времени,<sup>11</sup> он, организатор этого симпозиума, определил методологию своих исследований как феноменологическую и рецептивную.

Эти методологические подходы немецкого слависта вызывают в памяти «Феноменологию духа» Гегеля, появившуюся около 200 лет тому назад, в 1807 году. Именно Гегель впервые заговорил о феноменах сознания в их историческом развитии. В «Предисловии» к своему труду Гегель определяет суть «познания в понятиях»: «Наука должна организоваться только собственной жизнью понятия; в ней определенность, которая по схеме внешне наклеивается на наличное бытие, есть сама себя движущая душа наполненного содержания».<sup>12</sup> Это положение философа намечает нравственный потенциал его феноменологии. Антропологический смысл понятий становится очевидным.

В исследовательском лексиконе Тиргена — судьба самых разных понятий. Он писал о философии пилигримства у Тургенева в связи с этим же мотивом у Шиллера. Понятия «дендизма» и «дилетантизма» он исследовал в поэзии К. Бальмонта. Образы «мыслящего тростника», «равнодушной природы» в русском культурном сознании, историсофский смысл идеологемы «aufrechte Gang», ключевые слова «сила», «ломать» и «загадка» в романе Тургенева «Отцы и дети», «халат Обломова» как знаковое явление, судьба афоризма «homo sum», соотношение «агона» и «агонии» в русском сознании нового времени и даже рефлексия о сближении футбола и театра<sup>13</sup> — этот спектр понятий, образов, мотивов, топосов далеко не исчерпывает научные поиски бамбергского профессора, но дает представление о его «феноменологии духа».

Петер Тирген осмысляет гегелевскую феноменологию в пространстве культурного и эстетического опыта человечества, прежде всего в соотношении немецкой и русской традиции мышления. Он пытается постигнуть преломление понятий в языке, образах, эстетическом сознании. И в этом постижении понятий-феноменов границы между философским, культурологическим и филологическим дискурсами не стираются, а обретают необходимую подвижность и гибкость. Жизнь и судьба понятия в литературном сознании — таково главное направление научных изысканий Петра Тиргена.

Показательной в этом отношении является классическая работа исследователя, посвященная судьбе понятия «нигилизм». Появившись в журнале «Die Welt der Slaven»

(1993. Т. 38/2), она почти сразу же была переведена на русский язык и опубликована в журнале «Русская литература» (1993. № 1). Один из блистательных знатоков немецкой культуры, известный литературовед А. В. Михайлов, приступая к разговору об истории нигилизма, справедливо говорил о «замечательной статье П. Тиргена, посвященной проблеме нигилизма в романе И. С. Тургенева „Отцы и дети“, статье, которая далеко выходит за рамки означенной в заглавии проблематики и весьма своевременно ставит некоторые необходимые акценты в изучении слова и феномена „нигилизма“».<sup>14</sup>

И эти слова не просто дань уважения и признания заслуг предшественника. А. В. Михайлов акцентировал в исследовании немецкого коллеги прежде всего масштаб мысли и актуальность подходов к изучению «ключевых слов культуры».

Статья П. Тиргена значительно расширила круг источников тургеневского понятия «нигилизм», обратив внимание на немецкие дебаты 1840—1850-х годов вокруг сочинений «вульгарных материалистов», и в особенности книги Людвига Бюхнера «Сила и материя». Немецкий ученый убедительно показывает, что и споры вокруг Молодой Германии, и повесть Карла Гудцова 1853 года «Нигилисты» были известны автору «Отцов и детей» и способствовали в его сознании «идентификации или, по крайней мере, соотнесению вульгарного материализма и нигилизма», что после тургеневского романа и «стало на повестку дня русской критики».<sup>15</sup> Вывод исследователя о том, что «тургеневское понятие нигилизма не является в первую очередь революционно-политическим, но обладает также философско-теоретическим импульсом» и что это «отвечает стремлению Тургенева не быть политическим писателем, но тем не менее отражать „жизненную реальность своего времени“»,<sup>16</sup> представляется обоснованным и перспективным для осмысления места тургеневского романа не только в русском, но и в европейском культурном пространстве.

Как и в других своих работах, Тирген рассматривает «нигилизм» как духовный феномен, как понятие, претерпевшее существенные изменения в процессе своего функционирования. «Новое в романе „Отцы и дети“, — резюмирует исследователь, — более заключается в том, что материалисты сами называют себя „нигилистами“ и воспринимают эту самохарактеристику как похвальное и почетное звание».<sup>17</sup> А. В. Михайлов, характеризуя это размышление немецкого коллеги

<sup>11</sup> Ibid. 2002. Bd. 47. S. 104—105.

<sup>12</sup> Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая: Феноменология духа / Перевод Г. Шпета. СПб., 1999. С. 28.

<sup>13</sup> Schriftenverzeichnis Prof. Thiergen (раздел «Aufsätze»; № 12, 17, 27, 53, 68, 58, 62).

<sup>14</sup> Михайлов А. В. Из истории «нигилизма» // Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С. 537.

<sup>15</sup> Русская литература. 1993. № 1. С. 45.

<sup>16</sup> Там же. С. 46—47.

<sup>17</sup> Там же. С. 45.

как существенный вклад в историю понятия «нигилизм», подчеркивает, во многом опираясь на выводы своего предшественника, что «настоящее достижение Тургенева — в беспрецедентном *новоположении* слова „нигилизм“»,<sup>18</sup>

Своеобразным постскриптумом к истории русского нигилизма стала появившаяся уже в следующем году статья «Жан-Поль как источник раннего русского понятия „нигилизм“» («Jean Paul als Quelle des frühen russischen Nihilismus-Begriffs»),<sup>19</sup> где автор углублял представление о генезисе этого явления. Обратившись к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, П. Тирген показал значение словосочетания «поэтический нигилизм» и его роль в эстетических штудиях Жуковского, Надеждина, Шевырева. В-первых, этот выявленный источник позволил отнести размышления о нигилизме в России к более раннему периоду развития эстетической мысли. Во-вторых, исследователь еще раз акцентировал масштаб понятия «нигилизм» именно как духовного феномена, отразившегося и проявившегося в культурном сознании от конца 1810-х до 1860-х годов. Наконец, обращение к «Речи мертвого Христа с вершины мироздания о том, что Бога нет» из романа Жан-Поля «Зибенкез» позволило обозначить перспективы философии нигилизма для последующего литературного развития и ее смыкание с религиозными проблемами.

Любопытно, что одновременно с П. Тиргеном к этим же источникам нигилизма из Жан-Поля обратился А. В. Михайлов. Оба исследователя были единодушны в мнении о том, что история понятия «нигилизм» в XIX веке до Тургенева является наглядным примером немецко-русских взаимосвязей и взаимовлияния и что «Жан-Поль странным образом подготовил и центральные понятия „нигилизма“».<sup>20</sup>

Наверное, не случайно в центре научных интересов Петра Тиргена оказались два русских романиста — Тургенев и Гончаров. Именно их поиски, по мнению исследователя, означали перелом в общественном сознании России и корреспондировали с атмосферой споров в немецком обществе постромантической эпохи, в частности с движением Молодая Германия. «Ключевые слова культуры» бурной эпохи 1840—1860-х годов получили в романах Тургенева и Гончарова не только свое образное выражение, но и вторую жизнь. Пилигримство Рудина, земледельческие проекты Лаврецкого, нигилизм

Базарова, романтические иллюзии и шлафрок Обломова — все эти образы-понятия русской романистики осмысляются Тиргеном как феномены духовной культуры своего времени сквозь призму философской и эстетической мысли Германии.

Такой взгляд рождает особую объемность исследуемых явлений и вместе с тем углубляет представление о философском потенциале русской романистики 1840—1860-х годов. Петер Тирген, не подвергая сомнению уникальность художественных открытий Тургенева и Гончарова, сумел раскрыть их органическую связь с философской культурой своего времени, в частности с немецкой.

Логическим продолжением и развитием этого направления исследований немецкого слависта стали его труды, посвященные рецензии немецкой мысли в России. Уже первая работа, выполненная в этом научном русле, — монография «Вильгельм Генрих Риль в России»,<sup>21</sup> появившаяся еще в 1978 году и, к сожалению, до сих пор почти не известная у нас, была знаковой для методологических поисков П. Тиргена. По существу исследователь открыл немецкого писателя, публициста и историка Вильгельма Генриха Рилья (1823—1897) для истории русского общественного сознания. Автор увидел в личности и трудах этого малоизвестного представителя немецкой мысли репрезентативную фигуру. Публицистика Рилья активизировала размышление русского общества о природе и характере славянского мира, о его соотношении с европейским менталитетом.

Сочинения В. Г. Рилья, прежде всего книга «Естественная история народа как основа немецкой социальной политики», включавшая размышления о природе гражданского общества, о семейной жизни, о народных обычаях и нравах, актуализировали идеи народознания в России, что было важно для пореформенной эпохи, остро ставило проблему консерватизма как специфической, по мнению автора, черты русского, и шире — славянского характера. Не случайно от Ивана Аксакова, который, как убедительно доказал П. Тирген, лично был знаком с Рилем, до Льва Толстого, который в 1860 году, читая сочинения Рилья, размышлял о «народной из народа литературе» и природе консерватизма, идеи Рилья с интересом воспринимались русской мыслью. Показательно в этом отношении суждение А. В. Дружинина о гончаровском «Обломове» в связи с воззрениями Рилья. «Германский писатель Риль, — писал он в статье 1859 года, — сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет доб-

<sup>18</sup> Михайлов А. В. Указ. соч. С. 610.

<sup>19</sup> Res Slavica: Festschrift für Hans Rothe zum 65. Geburtstag... Paderborn, 1994. S. 295—317. Ср.: Тирген Петер. Заметки о раннем русском понятии «нигилизм» // Россия—Запад—Восток: встречные течения. К 100-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. СПб., 1996. С. 396—402.

<sup>20</sup> Михайлов А. В. Указ. соч. С. 558.

<sup>21</sup> Thiergen Peter. Wilhelm Heinrich Riehl in Russland (1856—1886): Studien zur russischen Publizistik und Geistesgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Giessen, 1978. 331 S.

рых и не способных на зло чудаков вроде Обломова!»<sup>22</sup>

История русских понятий как объект научных изысканий немецкого слависта органично соединила философию и культуру, общественную мысль и литературу. Загадка этого синтеза интересует П. Тиргена и определяет эвристическое пространство его серьезных и увлекательных опытов. Что, казалось бы, малоизвестный Генрих Риль (даже, кстати, никак не зафиксированный в девятомой «Краткой литературной энциклопедии») России, русской литературе?! Исследование П. Тиргена о судьбе Рилиа в русской публицистике и духовной истории второй половины XIX века доказывает значение идей немецкого народознания и немецких социально-философских и общественно-исторических теорий для русского культурного сознания и убеждает в том, сколь значим был диалог двух культур и сколь еще недостаточно глубоко мы осмыслили этапы этого диалога, нередко ограничиваясь штампами восприятия и обоймой привычных имен.

Столь же естественным был постоянный интерес П. Тиргена к судьбе Артура Шопенгауэра в России. Многочисленные заметки исследователя о русской рецепции Шопенгауэра, рецензии на русские и немецкие исследования о нем подготовили основу для фундаментального труда «Шопенгауэр в России», работа над которым завершается.

Шопенгауэр привлекает внимание П. Тиргена как выразитель определенной феноменологии духа, которая оказалась близка русскому художественному и общественному сознанию. «Ключевые слова культуры» соединили на первый взгляд несоединимое — философию «böser Wille» Шопенгауэра и мир страстей героев повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». И такие странные сближения закономерны в исследовательском пространстве немецкого слависта.

Феноменологические изыскания П. Тиргена расширяют мир философской рефлексии

русской литературы, и шире — культуры. Гердер, Кант, Шиллер, Гете, Жан-Поль, Гегель, Шопенгауэр, Бюхнер, Гейне, Риль и Блох через «ключевые слова культуры» обнаруживают на страницах книг и статей П. Тиргена духовное родство с русскими писателями и деятелями культуры. И в этом мире духовного братства и феноменологии духа рождаются художественные открытия мирового масштаба. Синтез эстетической и философской мысли, проявивший себя в системе художественных мотивов и образов, определил мировое значение русской литературы. Этот пафос всей творческой деятельности Петера Тиргена имеет больше чем научное значение — он обретает общегуманистический смысл, способствующий взаимному сближению национальных культур.

Человек строгой внутренней дисциплины и ответственности, редкой доброжелательности и толерантности, профессор Петер Тирген превратил Бамбергский университет в один из славистических центров. Талантливые ученики и сотрудники П. Тиргена — не только помощники во всех организационных вопросах, но и носители идей своего учителя.

Особого разговора заслуживает издательская деятельность ученого. Серии «Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik» и «Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte», активным участником которых он является, имеют устойчивую репутацию серьезных славистических изданий и во многом отражают уровень современной филологической мысли. Сотрудничество в этих изданиях славистов различных стран — свидетельство их неиссякаемого интереса к русской культуре.

«Феноменология духа» Гегеля, напомним, впервые была опубликована в Бамберге (Bamberg und Würzburg bei J. A. Göbhardt, 1807), где ее автор поселился и жил в 1807—1808 годах. Гегелевское творение — не только фундаментальное философское сочинение. Оно — торжество человеческого духа, «претворение самосознания в действительность» и призыв к «нравственному действию».

Вся научная деятельность и жизненная позиция Петера Тиргена — продолжение и развитие этих духовных начал.

<sup>22</sup> Дружинин А. В. «Обломов». Роман И. А. Гончарова. Два тома. СПб., 1859 // Дружинин А. В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С. 458. Впервые: Библиотека для чтения. 1859. № 12. Отд. IV. С. 1—25.

## XXVIII МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

26 апреля 2004 года в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН состоялись традиционные Чтения, посвященные памяти Владимира Ивановича Малышева. На протяжении уже 28 лет организаторами Чтений являются сотрудники основанного Владимиром Ивановичем Древлекранилища Пушкинского Дома и их коллеги из Отдела древнерусской литературы. В 2004 году Чтения были приурочены к 100-летию со дня рождения известного медиевиста — ученого и педагога — Игоря Петровича Еремина (1904—1963). Закономерность посвящения этих Малышевских чтений памяти И. П. Еремина подчеркнул в своем вступительном слове их главный организатор и председатель утреннего заседания В. П. Бударагин, отметив, что В. И. Малышев и И. П. Еремин были сотрудниками Отдела древнерусской литературы. В. П. Бударагин рассказал о том, как он, будучи студентом ЛГУ, слушал курс И. П. Еремина по древнерусской литературе и был очарован как личностью педагога, так и его предметом. Он также обратил внимание собравшихся, среди которых было немало учеников И. П. Еремина, на то особое ощущение близости ушедшего учителя, которое создает присутствие в зале его дочери В. И. Ереминой.

Заданный В. П. Бударагиным высокий тон Чтений был поддержан в целом ряде докладов, посвященных оценке места И. П. Еремина в отечественной медиевистике. Первый из них «И. П. Еремин в Пушкинском Доме» был прочитан М. В. Рождественской (Санкт-Петербург). Выбор темы докладчица объяснила тем, что именно Пушкинский Дом был местом становления И. П. Еремина как ученого — здесь он учился в аспирантуре, участвовал в научной жизни Отдела древнерусской литературы с первых дней его создания в начале 1930-х годов и до самой своей смерти. Даже связав свою жизнь с Ленинградским университетом, Игорь Петрович оставался научным сотрудником Пушкинского Дома и принимал активное участие в его работе. Прежде всего это относится к созданию десятитомной академической Истории русской литературы, где ему принадлежат главы и разделы по истории оригинальной и переводной литературы XI—XVIII веков. Большая часть научных интересов И. П. Еремина — историка и теоретика древнерусской литературы — была так или иначе связана с жизнью Отдела древнерусской литературы, поэтому его научный путь отразил историю

изучения древнерусской литературы в ИРЛИ. В заключение М. В. Рождественская заметила, что, являясь собой редкое сочетание блестящего ученого и блистательного педагога, Игорь Петрович в какой-то мере был обязан этим своей многолетней ученой деятельностью в Пушкинском Доме.

Оценка теоретических трудов И. П. Еремина по проблеме жанра в древнерусской литературе была дана в докладе Е. К. Ромодановской (Новосибирск) «Значение работ И. П. Еремина для изучения жанровой системы литературы Древней Руси». Проанализировав статьи И. П. Еремина о жанре «Слова о полку Игореве» и о раннем летописании, докладчица показала их актуальность в свете современных споров о существовании средневековых жанров.

С жанровой проблематикой, отраженной в работах И. П. Еремина, были связаны также выступления Н. С. Демковой и Л. В. Соколовой. В своем докладе «Летописная агиографическая повесть о смерти князя как модель средневекового повествования» Н. С. Демкова (Санкт-Петербург) вновь обратилась к проблеме предложенного И. П. Ереминым выделения летописной агиографической повести в самостоятельный жанр.<sup>1</sup> Несмотря на то что в работах ряда исследователей высказывались сомнения в закономерности такого выделения, по мнению докладчицы, выявленный И. П. Ереминым жанр летописной агиографической «повести» о смерти князя реально существовал. Важным аргументом в пользу позиции И. П. Еремина служит, по словам Н. С. Демковой, укорененность характерного для такой «повести» типа повествования в практике древнерусских книжников. Их представления о «повести» как определенном жанре исторического повествования проявились не только в создании ряда сходных по композиции, стилистическим средствам и функции «повестей» внутри древнейших летописей, но и в создании внелетописных произведений, ориентированных на форму летописной агиографической «повести» о смерти князя. Это положение было проиллю-

<sup>1</sup> Доклад явился продолжением и развитием идей, высказанных исследовательницей ранее (см.: Демкова Н. С. Летописная агиографическая «повесть» о смерти князя как жанровая модель средневекового повествования // Чтения по истории и культуре древней и новой России. Ярославль, 1998. С. 53—57).



стрировано в докладе на материале двух средневековых памятников: «Повести о разорении Рязани Батыем» и «Писания о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского».

Доклад Л. В. Соколовой (Санкт-Петербург) «К вопросу о жанре „Слова о полку Игореве“» был посвящен анализу дискуссии, вызванной в 50-е годы XX века гипотезой И. П. Еремина о жанре «Слова о полку Игореве»: охарактеризовал некоторые особенности памятника, И. П. Еремин отнес его к жанру ораторской прозы. Оппонентом И. П. Еремина выступил А. А. Назаревский, который, основываясь на представлении о недостаточной жанровой дифференцированности отдельных литературных жанров в Киевской Руси, опроверг ряд положений в гипотезе И. П. Еремина и обозначил «Слово о полку Игореве» как произведение многожанровое. Дискуссия была продолжена ответом И. П. Еремина и новой статьей А. А. Назаревского. Л. В. Соколова отметила не только высокий научный, но и высокий этический уровень полемики. Подводя итоги дискуссии, исследовательница дала свою оценку позиций обоих ее участников. Подчеркнув важное значение наблюдений И. П. Еремина над композиционными и стилистическими особенностями памятника, Л. В. Соколова, однако, не согласилась с данными И. П. Ереминым определением «Слова о полку Игореве» как памятника ораторской прозы, но при этом приняла точку зрения ученого по ряду вопросов теоретического и методологического характера.

От жанровой проблематики участники Чтений перешли к источниковедческим докладам. Первым из них был доклад Н. В. Понырko (Санкт-Петербург) «Кирилл Туровский как гимнограф (гимнографические сочинения туровского епископа и Келейная псалтырь)». Обращение в рамках Чтений, посвященных И. П. Еремину, к творчеству Кирилла Туровского не случайно, так как Игорь Петрович изучал и издавал произведения этого автора. В докладе был дан разбор состава древнейших списков Келейных псалтырей, содержащих между кафизмами покаянные тропари и молитвы, совпадающие в ряде случаев с некоторыми тропарями из покаянных канонов Кирилла Туровского и с отдельными молитвами из его цикла. Опираясь на текстологический анализ, докладчица попыталась обосновать тезис о первичности молитвенного цикла и покаянных канонов Кирилла. В своей аргументации Н. В. Понырko полемизировала с мнением английской исследовательницы М. Макроберти о том, что тропари покаянных канонов и отдельные молитвы были заимствованы Кириллом Туровским из какого-то неизвестного нам обширного источника, из которого брали тексты составители списков Келейных псалтырей. По мнению Н. В. Понырko, напротив, молитвы Кирилла Туровского и тропари из его покаянных канонов заимствовались с разной степенью полноты составителями разных вариантов Келейных псалты-

рей, использовавших также в качестве своих источников Октоих и Постную Триодь.

Совместный доклад А. А. Пичхадзе (Москва), В. А. Ромодановской (Санкт-Петербург) и Е. К. Ромодановской (Новосибирск) «Жития княгини Ольги, Варяжских мучеников и князя Владимира в составе Синайского палимпсеста (РНБ. Q.п.1.63)» был зачитан В. А. Ромодановской. Проанализировав языковые особенности названной рукописи, датированной XIII веком, исследователи пришли к выводу, что она является среднеболгарским списком с древнерусского протографа, которым мог быть древнерусский Пролог. Несмотря на то что рукопись давно известна в науке, содержащиеся в ней тексты не исследовались в комплексе и даже не всегда привлекались к изучению рукописной традиции каждого из житий в отдельности. Между тем рукопись РНБ. Q.п.1.63 доказывает раннее происхождение всех трех памятников, позволяя датировать их создание временем не позднее XIII века, которым датируется список, а с учетом того, что это, по мнению исследователей, болгарский список с русской рукописи, датировку житий можно отнести и к более раннему времени. Все три текста не соответствуют типичным житиям, а скорее являются «историческими справками», сообщающими краткие сведения о святых. В составе Синайского палимпсеста они попадают в контекст учительной и апокрифической литературы, а не проложных житий, и представляют собой целенаправленную подборку сказаний о самых первых русских святых. В докладе было высказано предположение о том, что такая подборка отражает следы того «Сказания о распространении христианства на Руси», которое условно было выделено Д. С. Лихачевым в составе Древнейшего летописного свода.

Завершилось утреннее заседание воспоминаниями Б. Ф. Егорова о И. П. Ереmine.

Вечернее заседание открыл доклад А. А. Алексеева (Санкт-Петербург) «Заметки о новгородской цере». Исследователь поделился своими наблюдениями над недавно обнаруженными в Новгороде воцненными дощечками XI века. Анализируя сохранившиеся на цере тексты 76 и 72 псалмов, опубликованные Л. В. Яныным и А. А. Зализняком, А. А. Алексеев, в частности, отметил деление псалмов на стихи, до сих пор известное только в Синайской псалтыри (в других рукописях тексты делились только на полустушия). Характерные для рассматриваемых текстов амплификации и повторы лексически и синтаксически сходного материала, по мнению докладчика, могут объясняться тем, что доски предназначались для развития навыков письма.

Остальные доклады вечернего заседания были связаны с материалами Древлекранилица Пушкинского Дома, которым многие годы руководил Владимир Иванович Малышев и которое теперь носит его имя.

Доклад Н. Э. Ивковой (Санкт-Петербург) «Миниатюрист: читатель или интерпре-

татор?» затронул проблему читательского восприятия текста древнерусским миниатюристом. Изложенные в докладе наблюдения были сделаны на материале лицевого житийного сборника XVII века из собрания Древлехранилища Пушкинского Дома (собр. Ф. А. Каликина. № 35) и сопровождался демонстрацией иллюстративного материала. Особое внимание было уделено миниатюрам, иллюстрирующим повествование о чудесах святого и, по мнению докладчицы, предоставляющим художнику возможность той или иной интерпретации. В результате анализа материала исследовательница пришла к выводу, что, пытаясь наиболее точно перевести текст в изображение, иллюстратор выступает в качестве «читателя», но он становится «интерпретатором», когда при помощи изобразительных средств расставляет определенные смысловые акценты, делает назидательные обобщения, подводя другого читателя к нравственным выводам.

Доклад Н. В. Савельевой (Санкт-Петербург) «Об авторе Повести о Черногорском монастыре» был посвящен атрибуции памятника, повествующего о двух Богородичных иконах, прославившихся чудотворениями в Черногорском (впоследствии Красногорском) монастыре на Пинеге. На основании анализа сходных записей о написании «Повести о Черногорском монастыре» (в рукописи ГИМ, Увар. 544) и «Сказания об иконе Святой Троицы на Мезени в селе Лампожня», данные которых подтверждаются документальными источниками, исследовательнице удалось установить имя автора обоих памятников — Ивана Богдановича Щепоткина, купца из известного пинежского рода. По мнению Н. В. Савельевой, именно участием купцов Щепоткиных могут быть объяснены многие реалии почитания иконы Богородицы Грузинской в Москве в церкви Святой Троицы в Никитниках у Варваринских ворот. Хорошо образованный, знавший литературу своего времени и обладавший прекрасным книжным языком, Иван Щепоткин создал в 1645 году первую редакцию памятника, а после 1655 года дополнил ее новыми, в том числе московскими чудесами. В последние годы жизни (до 1661/62 года) Иван Щепоткин служил дьяком Печатного приказа и имел определенные контакты со справщиками, что позволило докладчице высказать предположение о создании им также проложной редакции текста специально для издания Пролога 1659—1660 годов. Таким образом, как показала исследовательница, литературная история почитания иконы Богородицы Грузинской, вопреки традиционным представлениям, развивалась вне монастыря и была непосредственно связана с деятельностью пинежских купцов Щепоткиных.

В. И. Щипин (Москва) сделал доклад на тему «Жизнь и труды старца Симоона Северодвинского». Значительная часть творческого наследия видного северодвинского старообрядца-филипповца конца XIX—начала

XX века Симоона Гаврилова (в миру Ивана Гавриловича Квашнина) хранится в российских архивах, в том числе в Древлехранилище Пушкинского Дома. Исследователь подробно познакомил слушателей с жизненным и творческим путем книжника, восстановленным на основании архивных и литературных материалов, и дал оценку неординарной личности Симоона и его наследию. По мнению докладчика, судьба Симоона Гаврилова представляет собой яркий пример подвижнического труда, направленного на сохранение исторической памяти старообрядчества, принципиального и бескомпромиссного отстаивания своих убеждений. Его творчество привлекает и сегодня не только собранными им уникальными свидетельствами по истории старообрядческих согласий, но и такими неординарными проявлениями внутренней духовной жизни, как дневниковые записи, пейзажные зарисовки, наблюдения за жизнью окружающих его людей.

Тема доклада В. П. Бударagina (Санкт-Петербург) «Новые поступления в Древлехранилище Пушкинского Дома» является традиционной для Мальшевских чтений. Заведующий Древлехранилищем рассказал о рукописных и старопечатных книгах, поступивших в Древлехранилище в 2003 году. Это, в частности, старообрядческие поминники XX века, привезенные сотрудниками Пушкинского Дома из Пскова, рукописный сборник XIX века поморского письма (дар С. Д. Филатова), две рукописи XIX и XX веков, доставленные из Литвы (дар члена Высшего Совета Литовской старообрядческой церкви Арсения Иосифовича Никитина); два сборника XIX века старообрядческого происхождения из Вологодских пределов (дар В. И. Щипина). Кратко охарактеризовав каждую из новых рукописей, В. П. Бударагин отметил, что хотя поступления минувшего года невелики, однако в археографии и источниковедении лишних штрихов не бывает. В заключение он напомнил, что в декабре 2003 года скончался Евгений Демьянович Мальцев, незаурядный художник и близкий друг Владимира Ивановича Мальшева. Перед самой кончиной Евгений Демьянович завещал свое собрание книг кирилловской печати и коллекцию икон Древлехранилищу Пушкинского Дома. Отдав дань памяти дарителю, В. П. Бударагин пригласил участников Чтений познакомиться с коллекцией икон Е. Д. Мальцева в Древлехранилище.

Итоги XXVIII Мальшевских чтений подвел председатель вечернего заседания Г. В. Маркелов. Отметив высокий уровень прослушанных в рамках Чтений докладов и поблагодарив всех участников заседания, Г. В. Маркелов сообщил собравшимся, что память о Владимире Ивановиче Мальшеве сохраняется не только в научном сообществе, но и на родине ученого в городе Наровчатове, где его именем названа одна из улиц.

## ПЕРВЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ФИЛОСОФОВЫХ

5—7 августа 2004 года в Пскове и пос. Бежаницы состоялись Философовские чтения «Культурное наследие Философовых. От пушкинских времен до „Мира искусства“», организованные Государственным комитетом по культуре Псковской области, Псковским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, возглавляемым О. К. Волоцковой, и Администрацией Бежаницкого района Псковской области. Гостеприимная Псковская земля приняла гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Старой Ладогги, а также Канады и Голландии. Научная работа конференции заняла два дня, а на третий день гостям была предложена культурная программа с экскурсиями по Пскову, в Псково-Печерский монастырь и старинную крепость Изборск.

Род Философовых, прежде всего в лице А. П. Философовой, зачинательницы женского движения в России, и Д. В. Философова, человека Серебряного века, занимает видное место в русской культуре, а псковичи, и особенно бежанчане, жители районного центра Бежаницы, по праву считают Философовых своими земляками. Именно здесь, недалеко, по современным меркам, от благословенного Михайловского, до революции находились имени Богдановское и Усадище, принадлежавшие Философовым.

Первый день конференции проходил в Пскове и был посвящен в основном Дмитрию Владимировичу Философову. Джон Стюарт Дюррант, профессор университета г. Сент-Джонс (Канада), известный исследователь творческого наследия этого представителя «Мира искусства», предложил вниманию слушателей доклад «Д. В. Философов и его роль в культурной жизни России и Европы». Канадскому исследователю удалось выявить в эмигрантских изданиях, выходивших в Польше в 1920—1930-е годы, десятки литературных эссе Д. В. Философова, практически почти полностью неизвестных русским ученым. Осмысление места этих статей в творческой и житейской биографии самого Д. В. Философова и в культурной жизни русской эмиграции в целом является ближайшей задачей ученых, занимающихся Русским Зарубежьем.

Удачным дополнением к докладу Д. С. Дюрранта явилось сообщение Т. Д. Исмагуловой (Петербург) «Жители Варшавского „Домика в Коломне“». Предметом ее рассмотрения стало литературное объединение «Домик в Коломне», созданное Д. В. Философовым, Л. Н. Гомолицким, Е. М. Вебер-Хирьяковой, Р. Венетом, С. Степеловским и Ю. Чапским в Варшаве. Исследовательницей был предложен изящный анализ этиологии наименования этого литературного объединения.

Одним из центров внимания конференции стали непростые житейские взаимоотношения Д. В. Философова с разными участниками культурной среды эпохи Серебряного века. А. Н. Николюкин (Москва) в своем докладе сосредоточился на психологически сложных отношениях Дмитрия Философова и Зинаиды Гиппиус, двух из участников знаменитого триумвирата Мережковский—Гиппиус—Философов, отягощенного к тому же фигурой Сергея Дягилева. Материалом для блестящего анализа послужили дневники З. Гиппиус. Е. А. Виноградова (Москва) построила свое сообщение на мемуарах «мирискусника» В. Ф. Нувеля, написанных им в 1934 году для готовившейся книги о С. П. Дягилеве Арнольда Хакселя. Имя Д. В. Философова неоднократно встречается на страницах мемуаров в разных контекстах, освещающих его биографию. Откровенное восхищение Д. В. Философовым у В. Ф. Нувеля, как отметила исследовательница, сочетается с его довольно жесткой психологической характеристикой.

Л. Д. Шехурина (Петербург) в своем докладе «Д. В. Философов в художественной критике журнала „Мир искусства“» сосредоточилась на начальной точке обширной деятельности критика. Докладчица остановилась на формировании под влиянием А. Н. Бенуа художественных интересов Д. В. Философова, а также на полемике этих двух «мирискусников» по поводу В. М. Васнецова: неприятие его творчества А. Н. Бенуа и глубокий интерес Д. В. Философова, видевшего народно-религиозные начала в картинах художника. Расхождение позиций Д. В. Философова, с одной стороны, и А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря и М. В. Добужинского — с другой, по отношению к работам предшественников «Мира искусства» во многом способствовало распаду журнала. В продолжение темы «Мир искусства» Серж Стоммеле, коллекционер из Голландии, рассказал о недавно организованной им выставке иллюстрированных изданий русских художников, оказавшихся в 1920-е годы, после революции, на Западе.

Три доклада были посвящены месту Д. В. Философова в литературной среде. Доклад Е. Р. Обатниной (Петербург) «Несостоявшийся кавалер Обезволлпала: к истории взаимоотношений А. М. Ремизова и Д. В. Философова» был построен на архивном (эпистолярия из Российской национальной библиотеки и Центра русской культуры в Амхерст-колледже (США)) и литературном материале. В ходе анализа личных и творческих отношений этих двух представителей Серебряного века автор сообщения дает гипотетический ответ на вопрос, почему Д. В. Философов — литературный наставник А. М. Ре-

мизова, его надежная опора во многих житейских трудностях — так и не был удостоен известных «обезьяньих» наград: концептуальный смысл понятия «свобода», по мнению докладчицы, значимый для А. М. Ремизова не только в границах игры, но прежде всего в реальной жизни, вступал в противоречие с определенными религиозно-этическими установками Д. В. Filosofova.

В докладе Л. И. Шишкиной (Петербург) «Л. Андреев в оценке Д. Filosofova» было подчеркнуто, что уже в 1910-е годы взгляды Д. В. Filosofova отнюдь не замыкались исключительно на эстетическом векторе. Его оценка творчества Л. Н. Андреева, и особенно «Рассказа о семи повешенных», обусловлена общественной позицией критика, пытавшегося осмыслить религиозное начало в русской революции. Е. П. Яковлева (Петербург) рассмотрела письма 1910-х годов Д. В. Filosofova к А. В. Руманову, давнт-петербургскому представителю московской газеты «Русское слово». Эпистолярный материал позволяет понять многочисленные конкретные детали литературно-критической деятельности Д. В. Filosofova в дореволюционный период.

Доклад А. К. Попова (Москва) «Некоторые аспекты деятельности Религиозно-философского общества», прочитанный А. А. Соболевской, был сосредоточен на анализе деструктивных по своей сути попыток интеллигенции обновить религиозные начала русской жизни, что ярко проявилось в деятельности знаменитых Религиозно-философских собраний. Рассмотрение разрушительной составляющей, имевшей место во взглядах интеллигенции и ведшей Россию к 1917 году, было представлено также в сообщении самой А. А. Соболевской (Москва) «Филосоfoвы в революции».

В конце первого дня работы конференции прозвучали два доклада, темы которых выходят за рамки литературно-художественной и общественной деятельности Д. В. Filosofova. Т. Г. Иванова (Петербург) в своем сообщении «Старший сын, старший брат» осветила биографию Владимира Владимировича Filosofova (1857—1929), первенца В. Д. и А. П. Filosofovov, государственника, честно служившего России, долгое время пребывавшего на посту Смоленского вице-губернатора, позднее бывшего предводителем псковского дворянства и много сделавшего для устройства приюта для престарелых писателей и их вдов в Михайловском. Т. Г. Filosofova (Москва), принадлежащая к одной из боковых ветвей этого замечательного рода, представила генеалогическое древо Filosofovov и остановилась на характеристике некоторых его представителей.

Второй день работы Филосоfovских чтений проходил в Бежаницах. По приезде в поселок участники конференции отправились в сохранившуюся часовню, служащую усыпальницей для Дмитрия Александровича

Филосоfova (1861—1907), двоюродного брата Д. В. Filosofova, министра промышленности и торговли. Здесь священником местной церкви, отцом Борисом, была отслужена панихида по Владимиру Дмитриевичу Filosofovu (1820—1894), который скончался 5 августа. К сожалению, второй часовни, где были похоронены сам Владимир Дмитриевич и его жена Анна Павловна, в настоящее время уже нет. Администрация Бежаницкого района на стенах сохранившейся часовни установила памятные доски в честь Filosofovov.

После панихиды состоялось научное заседание, открытое приветственным словом заместителя Главы Бежаницкого района Т. И. Беляевой, много сделавшей для организации конференции. В сообщениях была продолжена тема Filosofovov в русской истории. Л. Я. Костючук (Псков) в своем докладе представил интересный лингвистический этюд о произносительных нормах фамилии Filosofovov (Филосоfoвы или Филосоfoвы), окончательно разрешив эту проблему.

В. Ф. Игнатенко (Старая Ладога) в докладе «Филосоfoвы в Новолодожском уезде» по материалам писцовых книг показал, что Филосоfoвы получили земли в Обонежской пятине Новгородской земли в середине XVI века. В XVIII веке в Новолодожском уезде у них были имения Загвоздье и Белье кресты, а во второй половине столетия один из Филосоfovov, Николай, стал владельцем имения Богдановское в Бежаницкой волости. Он-то и был родоначальником той ветви Filosofovov, которые в XIX—начале XX века явились гордостью русской культуры.

Сотрудник Псковского музея-заповедника Р. Н. Антипова рассказала о художественной коллекции, собранной Дмитрием Николаевичем Filosofovovым (1789—1862) в Богдановском в начале XIX века. Детский портрет В. Д. Filosofova «Мальчик с игрушками», атрибутированный исследовательницей как работа крепостного художника Василия Тимофеева (Зерцалова), стал, наряду с поздним фотопортретом Д. В. Filosofova, предоставленным Д. С. Дюррантом, своеобразной эмблемой конференции, изображенной на ее программе. Кстати, этот портрет, как и две картины с интерьерами богдановского дома, участники Чтений могли видеть в экспозиции Псковской картинной галереи. Другие художественные полотна, некогда находившиеся в Богдановском, в том числе и портрет кисти А. Г. Венецианова Марии Матвеевны Рокотовой-Филосоfoвой, жены Д. Н. Filosofova, ныне находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, Донецком музее и др.

В. А. Гущина (Москва) в своем докладе «Анна Павловна Филосоfova: психология, судьба» попыталась нарисовать психологический облик женщины середины XIX века, из светской красавицы превратившейся в обще-

ственную деятельницу. С интересом было заслушано сообщение Л. Г. Войко (Петербург) «Петербургские адреса Философовых», проиллюстрированное фотографиями домов, связанных с представителями этого славного рода. Материал своей фотоколлекции докладчица передала в Народный Бежаницкий музей.

Несколько докладов было сделано представителями бежаницкой интеллигенции. В. В. Булдакова прочитала доклад на тему «А. П. Философова и Бежаницы», сосредоточившись на общественной деятельности «доброй барыни», как ее называли крестьяне, устроившей в Бежаницах школу, медпункт, чайную, библиотеку. Выпускница 2004 года Бежаницкой школы Е. А. Андреева сделала сообщение «Вклад А. П. Философовой в женское движение в России». Е. А. Яковлева по материалам книги А. В. Тырковой «Анна Павловна Философова и ее время» представила очерк личности В. Д. Философова, высоко нравственного человека, военного прокурора, мужа А. П. Философовой.

В конце дня участникам конференции была предложена экскурсия по бывшим усадьбам, принадлежавшим некогда Философовым. К сожалению, барский дом в Богдановском не сохранился. Но хозяйственные постройки усадьбы до сих пор впечатляют своей основательностью. Поэтические настроения навевают знаменитый парк, в котором находится пруд, вырытый в форме буквы «ф». Двадцать лет тому назад он, заросший и зацветший, был вычищен местными энтузиастами.

Дом (или замок, как его иногда называли) в Усадицах, имени Д. А. Философова, находится в очень неплохом состоянии. До последнего времени в нем была школа, а недавно принято решение о передаче дома Псковскому музею-заповеднику для создания Бежаницкого музея Философовых. К началу конференции бежанчане издали небольшой альбом «„Усадьбы старые таинственной Руси“: старинные русские усадьбы Бежаницкого района и их владельцы» (редакционная группа: Г. А. Мирюкова, Н. И. Степанова, Н. Д. Александрова, Е. В. Яковлева, И. Е. Логинов. Псков, 2004), в котором, помимо усадеб Философовых, читатель найдет краткие справки об имениях Бардово (фон Мейеры), Горы (Львовы), Добрывичи (Чихачевы), Измалково (Ковалевские), Покровское (Скородумовы), Цевло (Креницыны) и др.

При подъезде к Бежаницам участники конференции могли видеть на полях, вдоль дороги, многочисленных аистов. Биологи уверяют, что гнездование этих птиц есть признак экологического благополучия края. На богдановском пруду живет пара лебедей, которые, доверяясь заботе людей, не улетают отсюда даже зимой. И аисты, и лебеди в народном сознании являются символами Дома, без которого невозможно представить обустройство нашей страны. Хочется верить, что Бежаницкий музей будет создан и на культурной карте Псковщины появится новая точка, притягивающая к себе тех, кому дорога Россия.

© Т. Г. Иванова

## К 110-ЛЕТИЮ М. М. ЗОЩЕНКО

16—17 июня 2004 года в Пушкинском Доме состоялась научная конференция «Творчество М. М. Зощенко: проблемы изучения, интерпретации и научного издания», посвященная 110-летию со дня рождения писателя.

Конференция открылась вступительным «Словом о Зощенко» зам. директора ИРЛИ, зав. Отделом новейшей литературы, доктора филол. наук В. П. Муромского. Он отметил, что судьба уготовила Зощенко особую роль в истории нашей литературы. Своим творчеством писатель совместил, на первый взгляд, несовместимое — революцию, разрушительную по своей сути стихию, и юмор. Он показал смешные стороны быта и нравов, казалось бы, далеко не смешного исторического времени. Он заставил людей смеяться тогда, когда они переживали сильнейшее социальное потрясение, когда им было вроде бы совсем не до смеха.

Несомненная заслуга Зощенко, по словам В. П. Муромского, в том, что он распознал отнюдь не очевидную и даже крамольную для его времени истину: никакие революции не смогут насильственно, в одночасье изменить внутреннюю природу человека, его психологию, хотя и претендуют на это. В молодые годы Зощенко еще надеялся на подобную способность революции, что отражалось на тональности его произведений — веселой и оптимистичной. Но чем дальше, тем больше он убеждался в прочности и неизменности человеческой натуры, точнее, мецанской (по тогдашней терминологии) ее разновидности, способной к мимикрии, но в основе своей незыблемой даже в условиях экстремальных исторических обстоятельств. И это наполняло произведения писателя особым качеством, которое один из его рецензентов-современников определил как «веселая жуть». Имея в виду именно эту, своеобразно звучащую тра-

гикомическую ноту творчества Зощенко, Г. Адамович сопоставлял его одновременно с Чаплином и Кафкой.

Живя в эпоху бурных революционных событий, Зощенко верил (а порой и заставлял себя верить) в их благотворные последствия. Но наряду с этим, по природе своего таланта, он не мог не видеть противоречий между желаемым и сущим, между провозглашенными идеалами и средствами их достижения, между расхожими лозунгами эпохи и реальным положением вещей. Противоречия эти подпитывали его иронию и нередко усиливали ее до такой степени, что она воспринималась официальной критикой как издевка над действительностью.

Самая большая беда, которую испытал Зощенко на своем литературном пути, — это, по выражению В. П. Муромского, несовпадение собственного творчества и его интерпретации. В этом смысле он не был одинок, с такой же проблемой сталкивались М. Булгаков, А. Платонов и другие писатели. Но у Зощенко расхождение между авторским текстом и его трактовкой в критике приобрело характер устойчивый и драматический, превратилось со временем в трагедию непонимания, завершившуюся в конечном счете его официальным отлучением от литературы, искажением его истинного облика в угоду известным партийным догмам и принципам литературной политики. Не случайно О. Мандельштам, словно прозревая будущую расправу с сатириком, еще в начале 1930-х годов сказал, что «Зощенко мы втоптали в грязь». Постоянные опасения писателя, что его не так поймут, и связанные с этим прямые обращения к читателю, попутные уточнения и разъяснения по поводу собственных текстов (своего рода автоинтерпретация) могли возникнуть у Зощенко из-за хронического дефицита понимания, который сопровождал его в советской печати на протяжении всей жизни.

Но и сегодня, по прошествии многих лет, мы не можем с уверенностью сказать, что разобрались во всех сложностях его на вид простых и бесхитростных произведений, познали тайну его оригинального таланта. В этой связи В. П. Муромский остановился на некоторых моментах творческой эволюции писателя, не получивших пока убедительного объяснения в зощенковедении. Особого внимания, подчеркнул В. П. Муромский, заслуживает вопрос о публикации зощенковского наследия. За последние годы Отдел новейшей литературы ИРЛИ выполнил большую работу по научному освоению пушкинодомского архива Зощенко. Итоги этой работы отражены в трех выпусках серийного издания «Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии» (СПб.: Наука, 1997—2002). Эти три книги вобрали в себя значительную часть архива писателя и вызвали несомненный интерес российских и зарубежных читателей. По сути дела, это новая серия архив-

ных публикаций из наследия Зощенко после известных изданий Ю. В. Томашевского. Выход ее является хорошим заделом, позволяющим приступить к осуществлению давно назревшей задачи — изданию научного собрания сочинений М. М. Зощенко. Перед Отделом новейшей литературы сегодня стоит серьезная текстологическая проблема — предварительно разработать концепцию и структуру такого издания.

А. И. Павловский (Санкт-Петербург) в докладе «Советский писатель Михаил Зощенко» выдвинул тезис о правомерности причисления М. Зощенко к писателям советским не только потому, что он жил и творил, как и его современники, в советскую эпоху, но и потому, что он разделил идеологию своей страны, своего государства. Докладчик напомнил об основных вехах биографии писателя — его участии в гражданской войне на стороне революционного народа, о его эстетических взглядах периода Серапионова братства, о близости, но и расхождении с так называемыми «пролетарскими писателями». Его обращение к трагедии (трагикомизму) «маленького» («простого советского») человека было продиктовано гуманистическими устремлениями, свойственными новой эпохе, соответствовать требованиям времени. Отказавшись от сатиры, он старается выполнить социальный заказ и пишет по совету М. Горького «Голубую книгу», а затем участвует в создании книги о Беломорканале. Именно движение в русле советской литературы вызвало к жизни его биографические очерки, до сих пор малооцененные. Зощенко пристально вглядывался в социальные процессы, подключая к своим занятиям сведения из специальных отраслей науки — медицины, психологии, биологии. Сам девиз эпохи «вырастить нового человека» был ему чрезвычайно близок. «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца» были своего рода экспериментом, поставленным на самом себе. Чтобы изгнать из себя, а затем из других все болезненное, мешающее здоровому взгляду на мир, он под влиянием учений И. П. Павлова и З. Фрейда погружается в область подсознательного, что было, конечно, утопично и вызвало подозрение партийных и литературных руководителей в отходе от марксизма-ленинизма. Расхождение это, начавшееся в 1930-е годы, со временем все увеличивалось, пока наконец не выразилось в Постановлении ЦК 1946 года. Трагедия писателя, осознающего себя советским, была в его глубоком гуманизме, что составлял основу его творчества.

В своем докладе «Герой М. М. Зощенко как человек „культурного промежутка“: между подпольем и канцелярией» Н. Г. Полтавцева (Москва) остановилась на проблеме специфики авторского стилизованного отношения к своим героям 1920—1930-х годов. Выдвигая гипотезу о том, что сам тип героя был предопределен ситуацией «культурного про-

межутка» — смены больших культурно-исторических парадигм, всегда вызывающей психологический стресс, докладчица обрисовала несколько видов культурно-антропологических реакций на это, предположив, что главный герой Зоценко этих лет — не новый «советский» человек, а все тот же «ветхий Адам», мимикрирующий для своего спасения при помощи новой лексики и фразеологии и одновременно сохранивший все амбиции «человека из подполья» Достоевского. Его новое место и среда обитания — комната в коммунальной квартире.

В русле этой же гипотезы об адаптации в условиях экстремальной ситуации была по-новому рассмотрена и проблема авторского стиля: «сказ», «маска автора», «рассказчик-повествователь» были проанализированы с позиций писательской стратегии «образцовый автор—образцовый читатель», предложенной Умберто Эко и позволившей иначе взглянуть на эти стилевые проблемы. Результатом исследования человеческой природы в условиях нового, революционного времени для Зоценко стал неутешительный итог: природа человека и в конечном счете его психология, несмотря на внешнюю мимикрию, не изменились, что доказывало объединение старых рассказов 1920-х годов в 1930-е в «Голубой книге» с отчетливо выраженными «антропологическими составляющими» — деньги, любовь, коварство и т. д.

Доклад Л. В. Лукьяновой (Санкт-Петербург) «Толпа в художественном мире М. М. Зоценко (на материале рассказов 1920—1930-х годов)» посвящен проблеме собирательного образа в рассказах Зоценко той поры. В кругозоре рассказчика присутствие «народа» важнее изображаемого предметного мира. «Присутствие» большого количества людей, массы, народа — примета многих произведений ранней советской литературы. Учитывая особенности литературного процесса того времени и предшествующей эпохи (в частности, изображение толпы у А. П. Чехова), в докладе обращается внимание на специфику изображения народа у Зоценко. В ряду обозначений некой массы народа частыми являются слова «публика» и «толпа», которые, опираясь на результаты языкового анализа, можно рассматривать как симптоматичные. В архиве писателя (Ф. 501. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 27) имеющиеся выписки говорят о постоянном и пристальном внимании Зоценко к этой проблеме. В частности, выписки из труда французского социолога Г. Лебона (рус. пер.: *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб., 1896). Обращаясь к рассказам Зоценко 1920—1930-х годов, Л. В. Лукьянова выявляет параллели между художественной трактовкой психологии толпы у Зоценко и ее научной интерпретацией. Главная идея Лебона (в толпе образуется «коллективная душа, имеющая (...) временной характер, но представляющая очень определенные чер-

ты», как то: преобладание бессознательного, импульсивность и изменчивость, преувеличенная чувствительность, ощущение могущественности и силу многочисленности и др.) находит отражение и в художественном мире Зоценко. Рассказы 1920—1930-х годов передают мировидение Зоценко, безусловно включающее и стихийные массовые группы, характерный атрибут этого мира, его состояния. Художественному мироощущению писателя была близка позиция Лебона, провозгласившего наступающую эпоху «Эрой масс», существующей «по законам духовного единства толпы». И если Лебон видел в этом деградацию, упадок цивилизации, то для Зоценко это была объективная данность, представляющая психолого-художественный интерес.

В. Ю. Вьюгин (Санкт-Петербург) в докладе «Писатель и его тень: конспект по эстетической эволюции М. М. Зоценко» попытался проанализировать этапы становления поэтики писателя, а также установить некоторые негативные ориентиры, отталкиваясь от которых Зоценко выбирал стратегии своего письма. Докладчик использовал подход, названный им «теорией иносказания». По мысли В. Ю. Вьюгина, «иносказание» как некий эстетический примитив содержит в себе два семантических плана. С одной стороны, оно отражает стремление искусства к новым формам и близко «остранению». С другой — содержит понятие «символизации» в самом широком смысле. Интеграл двух значений — сказанное по-другому и сказанное о другом — позволяет описывать как эволюцию художественных направлений, так и динамику, которой подчиняется стиль конкретных авторов. Любой сдвиг в эстетике происходит по закону «остранения», однако наиболее важные, структурные изменения происходят в отношении к роли символического в искусстве. Периоды, когда его ценность в глазах художников растет или падает, сменяют друг друга, причем в крайних своих проявлениях абсолютизация значения символа, равно как и пренебрежение им выводят текст из разряда эстетических. Предложенный абстрактно-теоретический взгляд находит опору в истории литературы. После того как символизм в XX веке актуализировал иносказательную сторону искусства, обрести творческую индивидуальность можно было либо отказываясь от иносказания (в значении «символизации»), либо развивая и гиперболизируя принципы самой символистской поэтики. Футуризм и авангард, следуя за символизмом, далеко перешагнули пределы, им обозначенные. Зоценко пошел по другому пути. Рассказчик Зоценко обязан своим явлением и успехом решительному отказу от символистских влияний. «Сказ» Зоценко оказался, по сути, продолжением традиций миметического искусства, причем в такой степени интенсивности, которая подвела писателя к самой границе эстетики. Зоценко-автор раство-

ряет свой голос в речи героя-рассказчика — это даже не «суррогат» жизни, но совершенная мимикрия, почти слияние с действительностью. Публикация «Писем к писателю» в 1929 году, встававших в один ряд с беллетристикой, оказалась закономерным воплощением стремления к пределу реализма и по данной причине наглядной демонстрацией тезиса об «умирании искусства». «Перед восходом солнца» и «Возвращенная молодость» — сочинения по своему замыслу также выходящие за рамки искусства. Такого рода эстетическая маргинальность становится определяющей чертой стиля М. Зощенко, своеобразного «нового натурализма».

В основу выступления В. В. Перхина (Санкт-Петербург) были положены письма М. М. Зощенко к председателю Всесоюзного Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко от 12 ноября 1944 года и 24 октября 1945 года. Рассмотрев их в связи с другими архивными материалами и ранее введенными в научный оборот документами литературной истории 1940—1946 годов, докладчик пришел к следующим выводам: 1. В основе сближения автора пьес «Парусиновый портфель» и «Очень приятно» с «министром культуры» лежали взаимная приязнь и сходство взглядов на «национальную картину мира». 2. М. Б. Храпченко помогал продвижению пьес Зощенко к зрителю, невзирая на мнение Управления пропаганды и агитации и негативные оценки литературной и партийной прессы, оказывал государственную поддержку в работе драматурга даже в ситуации относительного политического недоверия. 3. Имея возможность и решимость не считаться с некоторыми инстанциями, претендовавшими на осуществление культурного руководства, Храпченко не мог противостоять верховной политической власти, решавшей, какие ценности надо поощрять. Как только Зощенко вошел в противоречие с лидерами политической иерархии, председатель Комитета стал беспомощен. Более того, покровитель Зощенко-драматурга сам оказался под подозрением. 4. Храпченко, возможно, был единственным представителем государства, который сочувственно отнесся к Зощенко и не претендовал на вмешательство в его художественную деятельность. Зощенко это ценил и, как следует из его писем, понимал, что признание он может получить и от государства, которое поддерживает его взгляд на мир.

«Ориентирам совершенствования» был посвящен доклад О. П. Черепановой (Москва) «Претворение принципов античной эстетики в повестях М. Зощенко „Возвращенная молодость“ и „Голубая книга“». В комментариях к «Возвращенной молодости» Зощенко восхваляется силой духа философов стоиков и римлян, а космос, который у древних является воплощением совершенного порядка и красоты, в книге предстает как в высшей степени увлекательный и сказочный материал

для научного постижения будущего миропорядка. Центральные идеи античной эстетики получили особую заостренность в творчестве писателя 1930-х годов. М. Зощенко в обоснование темы возвращенной молодости и умения распоряжаться «драгоценными дарами» жизни считает, что они первостепенно необходимы, — «как вода, как еда и как солнце». Субъективизм эллинизма, впрочем, не отменял объективистскую установку эпохи, поскольку внимание к внутренним качествам личности было вызвано внешними социально-экономическими причинами. Также и автор «Возвращенной молодости» демонстрирует взаимообусловленность и сочетаемость темы политики и внутренней жизни человека, «ибо социальное переустройство общества ведет к новым, здоровым формам жизни». Поэтому внимание писателя к имманентной сущности человека, способам ее переустройства было продиктовано стремлением быть полезным, т. е. участвовать в практике жизнетворчества. Весь комплекс качеств, слитых в личности прекрасного человека, которыми должен обладать современник, приводит к отражению в «Возвращенной молодости», «Голубой книге» и «Перед восходом солнца» калокагатии — идеала физического и нравственного совершенства, родившегося в эпоху античности. Прекрасного человека Зощенко видит в древнегреческом философе Сенеке, который перед лицом смерти утешает друзей и жену, поэтому писателю столь важно, каким образом человек может достичь совершенства, при этом человек должен уделять внимание как тренировке тела, так и воспитанию души и чувств. Так, герой новеллы «Мелкий случай из личной жизни» («Голубая книга»), желая вернуть молодость, напрасно думает, что ему «не хватает гимнастических упражнениях, висения на кольцах, прыжков». Лишь когда герой решает трудиться и приносить людям пользу, он находит и личное счастье. Однако и ущербность физической стороны при всей внутренней интеллигентности неприемлема для Зощенко. Серж из повести «Перед восходом солнца» провозглашает: «Дух, а не тело — вот в чем наша забота, наша красота». А между тем автор видит лишь его «безжизненные» руки, болтающиеся, «как плети», «чахлое его тело», «чахоточную грудь». Со стремлением представить человека как сильную, мужественную личность, гармонично развитую физически и духовно, в книгах М. Зощенко «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца» связан один из принципов античной эстетики — принцип антиципаций, или предвосхищения будущего. Этот принцип раскрывается в оптимистическом освоении грядущего, когда автор «фантазирует» о будущей жизни на Земле или, показывая «громадные перемены» в жизни и характерах людей, заканчивает «Голубую книгу» «с чувством сердечной радости, с большой надеждой и с пожеланием всего хорошего».



Изображение прекрасного человека в повестях Зощенко сообщает этим трем книгам «назидательную» направленность, реализация которой задействует воспитательные возможности формы. Характерно, что в комментариях к «Возвращенной молодости» М. Зощенко отходит от привычного для его читателя «сказа» и демонстрирует иной образец языка, благозвучие слова и стройность фразы, которые оформляют сложнейший научный материал. Автор о серьезном и сложном говорит «своим» языком, равно далеким как от «бездущного» литературного, так и «коверканной» речи улицы. Стиль получает воспитательное значение, приобретает лингвомоделирующую функцию. Если в рассказах «мещанский сказ» выражал опустошенность внутреннего мира советского обывателя, то стремление открыть для людей новые идеалы бытия и ориентиры развития потребовало и формирования соответствующей формы. Эта проблема стояла и в античности. Благозвучное, строгое действенное слово, легшее в основу учения И. П. Павлова о речи как второй сигнальной системе, господствовало у софистов. Софисты признавали слово единственным инструментом, воздействующим на «ритм души», предпочитая, правда, споры и теоретизирование, что, по мнению Зощенко, не может привести к нужному эффекту: так, «Возвращенная молодость» пишется им «не для того, чтобы пофилософствовать», а для того, чтобы принести пользу стране. Однако М. Зощенко завоевывает обыденное сознание не через научение, а в первую очередь через *приятие* своих книг аудиторией. Писатель стремится выстроить эффективный и искренний диалог с читателем, перед которым не стоит задача подниматься до уровня образованности автора, — напротив, писатель снисходит до уровня собеседника, делая литературу «доступной», чтобы затем вместе с читателем подниматься до вопросов связи личности с мирозданием и законов человеческой жизнедеятельности. В центре внимания Зощенко — волевой и мужественный человек, способный преодолеть свои невзгоды, вернуть здоровье и молодость, отсюда обращение в «Возвращенной молодости» к биографиям великих людей, несущих черты античности. Эту задачу — развенчать ореол страдания, поставленную перед ним М. Горьким, писатель и разрабатывал в своих книгах. В целом повести Зощенко отразили диалектическое взаимодействие двух концепций художественного сознания первой трети XX века — символистской (категория Прекрасного, идеи Парнасского искусства, философия Вл. Соловьева) и позитивистской (искусство должно начинаться из самой жизни, ее конкретики), что дает возможность писателю быть деятельным участником творчества жизни.

В. С. Федоровым (Санкт-Петербург) был прочитан доклад «Михаил Зощенко и Андрей Платонов: проблемы интерпре-

тации». Судьба Зощенко, по мнению докладчика, оказалась схожей с судьбой А. Платонова: оба писателя подверглись нападкам не только со стороны партийных функционеров, но и своих же собратьев-писателей. Показательна известная оценка М. Горького, сочувствовавшего в этом отношении Платонову, равно как и неприятие обществом главной книги М. Зощенко «Перед восходом солнца». Говоря о разнообразных причинах такого восприятия творчества Зощенко и Платонова, В. С. Федоров отметил, что в качестве основной из них являлась психологическая интровертированность и мировоззренческий герметизм обоих писателей. К сожалению, сказал докладчик в конце своего выступления, судьбы писателей-интровертов везде и во все времена были похожими. Такие художники всегда являлись изгоями общества, того объективного большинства, которое, по словам Иванова-Разумника, не понимало и не принимало «никого» даже тогда, когда оно было уникально-своеобразно, ярко и талантливо, ибо специфика интимной реальности на сегодняшний день такова, что она не может быть адекватно выражена в теоретических понятиях дискурсивного знания, оставаясь принципиально необъективизируемой.

В докладе М. Д. Эльзона «Обезьяний процесс — 46» сделана попытка еще раз вернуться к «технологии» Постановления ЦК. М. Д. Эльзон впервые проанализировал периоду тех лет и обнаружил, что вокруг известного доклада А. А. Жданова находится целый ряд взаимоперекрывающихся орбит как политической, так и вызванной борьбой честолюбий направленности. «В декабре 1944 года, — напомнил М. Д. Эльзон, — решением Ленинградской писательской организации произошли кардинальные изменения в редколлегиях журналов „Звезда“ и „Ленинград“. Поскольку особого интереса к „Звезде“ читатели не проявляли, было решено, что Илья Авраменко, Вс. Вишневский, А. Решетов и ответственный секретарь Ант. Голубева с работой не справились (Н. С. Тихонов уже возглавлял Правление СП СССР и жил в Москве). После этого руководить журналом стали: Висс. Саянов (отв. редактор) и члены редколлегии И. Груздев (своего рода символ преемственной связи с фактическим основателем журнала — М. Горьким), А. Прокофьев, историк литературы В. Орлов, историк В. Мавродин». Первый номер журнала, подготовленный новой редакцией, получил высокую оценку критики (*Дымшиц* А. Новый номер журнала „Звезда“ // Ленинградская правда. 1945. 24 февр.). «Что же произошло в течение почти полутора лет успешной работы новой редакцией „Звезды“? Почему пострадала Ахматова? За что фактически уничтожили Зощенко? Наконец, не хотел ли любимец И. В. Сталина А. А. Фадеев занять престижное место Н. С. Тихонова?», — поставил проблему М. Д. Эльзон.

Ответом на первый вопрос, по мнению М. Д. Эльзона, может быть то, что власти сохранили память о Гумилеве, четвертьвековая дата со дня гибели которого символически пришлась ко дням «Постановления». Докладчик привел ряд фактов, обнаруженных им в комплектах «Звезды» за 1945—1946 годы и подшивках «Ленинградской правды» за то же время. Например, М. Д. Эльзоном отмечено, что в Постановлении осуждена публикация рассказа Ал. Штейна «Лебединое озеро» во втором номере «Звезды» за 1945 год. А в первом номере появилась статья поэта С. Спасского (он также фигурирует в Постановлении, но из-за стихов) «Письма о поэзии. Письмо первое». Поскольку оно оказалось *последним* — несомненно попытка реанимировать Гумилева намеком на его «Письма о русской поэзии» была кем-то пресечена. Не потому ли забыли о замужестве Ахматовой в самую тяжелую блокадную зиму, ее выступление на большом поэтическом вечере в Колонном зале Дома Союзов 3 апреля 1946 года? Кстати, по должности вечер открыл Н. С. Тихонов. Отвечая на второй и третий вопрос, М. Д. Эльзон выдвинул гипотезу, что Зоценко пострадал из-за своей общественной деятельности. Так, во время предвыборной кампании в конце января 1946 года он настоятельно убеждал своих читателей единодушно отдать свои голоса Н. С. Тихонову (среди кандидатов в Верховный Совет СССР от Ленинграда были также А. А. Жданов, А. А. Кузнецов, П. С. Попков). Это отразилось на первых полосах «Ленинградской правды» начиная с 24 января. Депутатами стали также ленинградские идеологи И. Ф. Капустин и Я. Ф. Широков, на которых А. А. Жданов и в Постановлении и в докладе возложил ответственность за антисоветские публикации «Звезды» и «Ленинграда» (словно за ними не стояли А. А. Кузнецов и П. С. Попков). 14 мая «Ленинградская правда» поместила статью Е. Н. Купряновой «Тусклый „Костер“», посвященную ленинградскому детскому журналу. В статье почти нет имен, но сказано, что лучшие материалы — рассказы Зоценко — были опубликованы до войны, что теперь журнал перебивается перепечатками стихов М. Комиссаровой, Вл. Лифшица (оба поэта фигурируют в Постановлении и докладе). «Оргвыводы не последовали, — заметил М. Д. Эльзон, — статья оказалась вне поля зрения историков, не отразившись в соответствующих библиографических указателях». В это время на книжных прилавках были три сборника Зоценко: книжка «Рассказов» в Библиотечке «Огонька» (позже вызвавшая бурную реакцию властей), «Избранные произведения: 1923—1945» и «Фельетоны. Рассказы. Повести», где можно было прочесть затерявшийся в «Мурзилке» (1945. № 12) великолепный пасквиль. В 1923 году «Литературный еженедельник» (№ 39) напечатал «Слоновое приключение». Спустя двадцать

два года читатель-злопыхатель узнавал себя и действительность в «Приключениях обезьяны». Злополучный рассказ (осужденный Вс. Вишневским в газете «Культура и жизнь» за 10 августа 1946 года) следовал в журнале за двумя стихотворениями К. Чуковского (в это время переживавшего неприязни из-за своего «Бибигона») и предшествовал «Рыбе-одеялу» К. Золотовского, «Башенному стрижу» Вит. Бианки, «Игрушкам» С. Погореловского. Таким образом Зоценко был обречен в силу нового похода на *детскую литературу* (которую не добились во времена Н. К. Крупской), именно поэтому ему инкриминировали публикацию в «Звезде», а не пьесу «Очень приятно» (Ленинград. 1946. № 1—2). По мнению М. Д. Эльзона, рассказ «Приключения обезьяны», перепечатанный в «Звезде» В. Саяновым, представлял последнему возможность «стать главным писателем как минимум в масштабах Ленинграда, а еще лучше — СССР. К тому же с Зоценко личные отношения были скорее враждебные, чем дружеские. А для желаемого надо было сделать одно — сместить Н. С. Тихонова „принципом домино“». «Похоже, — сказал в заключение М. Д. Эльзон, — что история „Обезьяньего процесса“ 1946 года таит в себе еще немало „белых пятен“ и требует, следовательно, дальнейшего исследования и осмысления».

О восприятии творчества Зоценко критиками русского зарубежья был прочитан доклад С. И. Кормилова (Москва). Среди эмигрантов в 20—30-е годы Зоценко был довольно популярен, о чем свидетельствует полуподражание-полупараодия Вал. Горянского «Рассказы господина Тощенко» (1931). Правда, отвергавшая всю советскую литературу З. Н. Гиппиус, признав Зоценко талантливым, тем не менее включила его в число писателей, потерявших «чувство красоты» («О молодых и средних», 1924). Д. П. Святополк-Мирский в своей англоязычной книге «Contemporary Russian Literature» (1926) посвятил ему пол-абзаца: это орнаменталист (сказ, идущий от Лескова), «великолепный пародист», сочиняющий, однако, «простые анекдоты». Но К. В. Мочульский («О юморе Зоценки», 1927) назвал его талантливейшим из современных юмористов, происходящим от Гоголя («отстранение» реальности, простодушный рассказчик, естественно воплотившийся в мещанина новой Советской России). По Мочульскому, однако, Зоценко «зубоскалист», и есть что-то низменное в «общедоступном хихиканье и самодовольном самооплевывании» (в этом принципиальное отличие Зоценко от Гоголя). В. Ф. Ходасевич в большой, по эмигрантским меркам, статье «Уважаемые Граждане» (1927) дал глубокий анализ типа, представляемого зоценковским героем, подчеркнув роль мелкого криминала и его «идейного» самоутверждения, отметил, что писатель не мог быть вполне свободен, а в рецензии на «Восковую персону» Ю. Н. Ты-

нянова (1931) отдал предпочтение сказу Зоценко и его героя-рассказчика тонко определил как «отчасти придурковатого, отчасти носящего маску придурковатости». М. Л. Слоним посвятил Зоценко один из 13 своих «Портретов советских писателей» (1933). Он заявил, что кроме Ильфа и Петрова «в России существует только один „веселый“ писатель — М. Зоценко, да и тот с уклоном в меланхолию или обличение». В отличие от Мочульского Слоним считает, что ранние (лучшие) его произведения «удачно соединяют комизм характеров и положений с трагическими переживаниями и странными событиями... Впоследствии гоголевская струя несколько иссякла в творчестве Зоценко, и он перешел к короткому образному анекдоту „из современной жизни“» (словом «анекдот» пользовались и Святополк-Мирский, и Мочульский, и Адамович). «Герой Зоценко — мешанин в коммунизме, почтенный потомок мешанина во дворянстве». Но писатель «разменивает себя по мелочам... он все реже и реже возвращается к темам, в которых наряду с показом бытовых нелепц или социальных безобразий звучал бы глубокий человеческий мотив». Он был способен на большее. Как и Мочульский, Слоним говорит, что по прочтении рассказы Зоценко сразу забываются.

Часто, хотя и коротко, писал о Зоценко Г. В. Адамович, обычно упоминая его среди «Серапионовых братьев» или каких-то других писателей. Есть у Адамовича и рецензия 1926 года на повесть «О чем пел соловей» и статья «Мих. Зоценко» (1929). Критик считал Зоценку писателем выше «средней руки», менее талантливым и значительным, чем А. Белый, но более «жизненным». Его персонажи — «темные советские головы, смущенные великими потрясениями и бедствиями... и не имеющие сил что бы то ни было понять. Единственная, неизменная тема Зоценко...». Адамович предпочитает Зоценку Б. Пильняку, В. Катаеву, Н. Никитину, А. Аверченко. В 1932 году критик его вспоминает в связи с тем, что «литература отстаивает себя, свои права и свою свободу» («О положении советской литературы»), а в 1933-м уже говорит: «Зоценко „почитывают“, но не придают ему большого значения, Зоценко любят, но с оттенком какого-то пренебрежения...» (статья «Шолохов»). В 1939 году («Шинель») Адамович по третьестепенным произведениям А. Платонова сумел оценить его масштаб и поставил его выше Олеси, Федина, Зоценко, Бабеля.

Интерес эмигрантов к творчеству Зоценко со временем явно угасал.

О. Ю. Шилина (Санкт-Петербург) выступила с докладом «М. Зоценко и В. Высоцкий: традиции оптимистической сатиры». Необходимо оговориться, отметила О. Ю. Шилина, что «оптимистическая» сатира не есть «положительная», понимаемая официальной критикой как основное требо-

вание совмещать в сатирическом произведении критику недостатков с апологией достижений. Сам Зоценко считал эту формулу «рыхлой» и «непонятной». Однако в выступлении «О комическом в произведениях Чехова» (1944) он достаточно убедительно обосновал необходимость существования положительного начала в литературе и признал сатиру, лишенную его, «неполной». По Зоценко, оптимистическая сатира — это прежде всего жизнеутверждающая сатира. Одним из ярких продолжателей традиции гуманного смеха в русской литературе стал В. Высоцкий, широко использовавший опыт М. Зоценко. «Высоцкий, — напомнила О. Ю. Шилина, — продолжил эту линию комического сказа, идущую от Гоголя и Лескова, возрожденную Зоценко в конце 20-х гг.». Зоценко и Высоцкого роднит форма бытовой новеллы, где сюжетная ситуация выхвачена из повседневности, а также герои — «простые люди» в обыкновенных обстоятельствах и, наконец, авторское отношение к ним — без унижения и оскорбления, но с состраданием. Персонажи сатирических произведений Зоценко и Высоцкого не обязательно отрицательные типы, часто это просто неудачники, недалекие и необремененные культурой люди, нередко это сплетники, завистники, тем не менее спектр авторского отношения к ним не выходит за рамки снисходительной иронии и сожаления. Подобно Зоценко, В. Высоцкий избегал лицемерно-схематических ярлыков, высмеивая обывательские черты как следствие уродливой социальной действительности, но не самого человека. Зоценко и Высоцкий являются продолжателями традиции гуманного смеха, восходящей к древнерусской и соединяющей черты обеих сторон смехового мира Древней Руси — скоморошества и юродства. Их цель — увеселять и учить одновременно. Подобную сатиру отличает особая направленность — не столько против чего-либо, сколько во имя гуманности и справедливости.

В докладе Е. И. Колесниковой (Санкт-Петербург) «Рассказ М. Зоценко „Испытание“: историко-литературный контекст» предпринята попытка анализа мотива возвращения с войны и различных психологических аспектов, с ним связанных, в рассказе М. Зоценко, а также других произведениях, прежде всего в рассказах А. Толстого «Русский характер» и А. Платонова «Возвращение». В основе этого мотива — ситуация выбора главного героя между собой прежним и собой якобы изменившимся. Написанный в начале 1940 года, этот рассказ, казалось бы, не несет той эпичности, какой наполнена эта тема после Великой Отечественной войны, однако испытание, которое готовит герой своей семье, не менее суровое. Так же, как и герой А. Толстого, он сообщает жене о своем мнимом увечье и ждет, как это будет воспринято. Актуализация этого мотива заставляет предположить, что в данном случае война,

как это часто делается в фольклоре, используется как художественный знак, как символическая категория беды, что в контексте эпохи 30-х годов понимается еще и как массовые репрессии. Этика выживания ставила границы допустимой сделки с совестью, и советские люди это хорошо понимали, но для этого важно было быть уверенным в реакции окружающих, особенно самых близких людей. Придание изменению явных черт видимого увечья подчеркивало ассоциативные соотношения с уродством внутренним. По теории Фрейда, психологическая жизнь имеет каузальную память о внешней среде. Т. е. с ее помощью можно объяснить, что репрессии порождали особый психологический комплекс, связанный с ощущением собственной униженности, страха, стыда за неизбежные сделки с совестью. По наблюдениям психологов, подобный набор состояний как раз провоцирует садомазохистские проявления в поведении героев, предлагающих своим близким подобные испытания. Преодолению страха посвящена книга «Перед восходом солнца», которая создавалась в годы войны и главный пафос которой — в защиту человека против озверения, и значит, против страха. «Устрашенные трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой». В 1943 году А. Платоновым был написан первый вариант рассказа «Возвращение» под заглавием «Страх солдата (Петруша)», в основе которого — мотив страха перед изменившимся под гнетом обстоятельств ребенком. Так обнажается глубинная психологическая укorenенность мотива испытания в факторе страха.

Исторический и литературный контексты этих произведений позволяют говорить о них не просто как о военных рассказах с типичной военной тематикой, но и о включенности в их сложную психологическую проблематику целого пласта русской литературы, которая пыталась доступными ей средствами исследовать глубинные явления народного характера в необычных социально-исторических обстоятельствах.

С докладом «Еще раз о языке Зощенко» выступил А. Д. Семкин (Санкт-Петербург). Обаяние произведений Зощенко, по мнению докладчика, не столько в сюжете, ситуации, но прежде всего — в языке писателя. Новая действительность создала новый язык для нового человека. Об особенностях этого языка, о речевой авторской маске Зощенко много сказано, но следует вернуться к идеологической первооснове — не *как это делается*, а *зачем и почему*. Чтобы понять нового человека, нужно вспомнить, что представляет собой старый, или, как говорили во времена Зощенко, старорежимный. Именно поэтому одна из важнейших тем Зощенко — интеллигенция и ее неспособность вписаться в новую жизнь. Важно отметить: перед нами не попытка найти место интеллигенту в этой действительности, но яростно прокламируемая

неприязнь к нему со стороны «людей-массы», проявляющаяся на лексическом уровне. Естественна и обратная ненависть — к «грядущему хаму». Проблема в том, чтобы понять, на чьей стороне Зощенко, искренне поверивший в наступление новой эпохи. По мнению А. Д. Семкина, творчество писателя представляет собой попытку борьбы не столько с непонятым и чуждым — сколько с системой взглядов, истолкованием жизни. Борьбы с помощью осмеяния этого понимания жизни, которое происходит через осмеяние этого языка. Мотивация упрощенного взгляда на мир и осмеяния сложности не естественная, а надуманная, головная. Перед нами не выплеск естественной эмоции, но имитация. Предельно искренняя, без «фиги в кармане» (достаточно вспомнить позднейшие письма Зощенко или «Партизанские рассказы», где маска восторжествует, по-другому он уже не мог) — но имитация. По-настоящему феномен Зощенко в том, что, искренне стремясь стать созвучным времени, отказаться от сложности в пользу простоты, он сделать этого до конца не смог. Безрадостная гогалевская интонация, «невидимые миру слезы» — результат трагической раздвоенности писателя.

«Эпистолярное наследие М. Зощенко. Изучение. Поиски» — тема выступления В. Н. Запелова (Санкт-Петербург), отметившего, что без изучения писем, дающих возможность на документальной основе судить о событиях личной и творческой биографии писателя, невозможен выпуск научного издания собрания сочинений. Как известно, отметил В. Н. Запелов, эпистолярная часть в творческом наследии М. М. Зощенко оказалась распыленной. В РГАЛИ хранится большой массив писем Зощенко (например, к писателям: А. Фадееву, Ю. Олеше, А. Афиногенову, Е. Шварцу, Л. Никулину, Е. Зозуле, В. Катаеву, Ю. Либединскому, В. Шершеневичу, М. Козакову, М. Шкапской, М. Козыреву, а также и к другим корреспондентам). Некоторые письма никогда не публиковались. В ЦГАЛИ (Санкт-Петербург) находятся письма Зощенко В. Стеничу, М. Слонимскому (1924—1956 годов). В саратовском литературно-мемориальном музее К. А. Федина хранится 17 писем Зощенко. Если письма Зощенко, находящиеся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, введены в научный оборот (имеется в виду издание трех сборников «М. Зощенко. Материалы к творческой биографии») и отразили «ближнее» окружение писателя, то его переписка с издательствами, редакциями журналов и театрами остается невыявленной. По-видимому, большая часть писем Зощенко была безвозвратно утрачена в годы Великой Отечественной войны. Ныне трудно определить круг не только эпизодических, но даже постоянных корреспондентов писателя. В ряде случаев имеющиеся свидетельства позволяют прямо или косвенно установить возможное местонахождение писем по фактам их публикации в пе-

риодике (письма Зоценко Л. Чаловой, относящиеся ко времени его работы над книгой «Перед восходом солнца»; письма Е. Журбиной, Л. Ленчу и его жене Л. Островской).

Эпистолярные материалы Зоценко, находящиеся на хранении в государственных архивохранилищах, далеко не всегда упорядочены и остаются недоступными исследователям. Наиболее сложный момент поиска — выявление писем у частных держателей. Учитывая все это, докладчик отметил, что сейчас пока рано ставить задачу издания полного свода писем Зоценко. Между тем необходимо с максимально возможной полнотой представить в корпус научного собрания сочинений писателя те его письма, которые имеют несомненное историко-литературное и биографическое значение. При определении состава и объема эпистолярного тома необходимо учесть и коллективные письма, подписанные Зоценко (например, 2 письма 1937 и 1940 годов в защиту В. Стенича), поздравления, соболезнования, имеющие форму писем.

В заключение В. Н. Запелалов сказал, что есть все основания считать, что выявленные на сегодняшний день эпистолярные материалы М. М. Зоценко (опубликованные и неопубликованные) могли бы составить в общей сложности солидный том.

О фондах Музея М. М. Зоценко в Санкт-Петербурге рассказала заместитель директора музея Н. Е. Арефьева. Музей М. Зоценко существует уже двенадцать лет. Он расположен в знаменитом «писательском доме» на канале Грибоедова, 9, где писатель прожил более 20 лет и где прошли его последние годы жизни. Малая площадь музея, отсутствие помещения для фондов долгое время были препятствием для серьезной научной работы. Сейчас ситуация несколько изменилась. Интересна история формирования фондов музея. Мемориальный кабинет был приобретен у наследников писателя в 1990 году. Часть документов передал Ю. В. Томашевский. Именно эти материалы дали возможность создать первую экспозицию и легли в основу фондов музея. Немало удивительных документов было обнаружено среди мусора, оставленного в квартире, а также на разграбленной даче в Сестрорецке. Некоторые документы, предметы и рукописи покупались у коллекционеров. Кроме того, часть архива Ю. В. Томашевского была передана музею после смерти исследователя. На сегодняшний день фонды музея располагают рукописными и машинописными автографами таких произведений, как «Перед восходом солнца», рассказов «Разложение», «Двугривенный», «Тайна счастливого» и других; личными документами (пропуска, пенсионная книжка, медицинские документы); разного рода заявлениями, например о восстановлении в ССП от 22 апреля 1953 года; письмами, записными книжками и дневниковыми записями. Библиотека М. М. Зоценко является

интереснейшей частью фондов. Насчитывающая 1700 единиц, она ожидает своего научного изучения. Более 200 единиц составляют книги с автографами. Несколько десятков книг относятся к разделу «Литературоведение, критика, очерки творчества». Среди авторов Чукковский, Воронский, Шкловский, Эйхенбаум, Вяч. Полонский. Немало биографий, жизнеописаний великих людей. Все они полны пометами, записями на полях и даже на обложках. В заключение своего выступления Н. Е. Арефьева подчеркнула важность объединения усилий сотрудников Музея и Пушкинского Дома по изучению этих материалов при подготовке научного собрания сочинений М. М. Зоценко.

«Новый, советский человек»: взгляд М. М. Зоценко» — доклад Е. О. Дряхлова (Луга) по-своему лег в контекст размышлений о героях М. Зоценко. По мнению выступающего, писатель не был сторонником коренного перевоспитания человека. Об этом он говорит в рассказе «Новый человек» (1923) и повести «Сирень цветет» (1930), где автор выступает за улучшение государственной системы, а не за переделку человека. Тем не менее восприятие массой этой идеи приняло своеобразные формы. В рассказе «Новые времена» (1938) Зоценко прямо говорит об этом. Е. О. Дряхлов привел характерную цитату из этого произведения: «Вот сейчас формируются новые люди, новые отношения, новый быт. А некоторые не понимают еще — что это такое значит. Некоторые думают: если они не воруют, так они уже новые люди. А другие оклеят свою комнату новыми обоями — тоже их заполняет гордость, что они могут теперь называться представителями нового социалистического быта». По мнению выступающего, «новые» или, по словам писателя, «неописуемые люди» были собраны в книге «Письма к писателю». «Новым человеком» был и сам автор, но в ином понимании, а именно — в повести «Перед восходом солнца» новый человек равен здоровому человеку. Поэтому можно говорить о правомерности существования понятия «новый человек» применительно к героям прозы Зоценко, учитывая при этом его многозначность.

В докладе В. А. Прокофьева (Санкт-Петербург) «Образ читателя. Письма к М. М. Зоценко» было отмечено, что читательская почта в архиве писателя, составляющая многие сотни писем, является уникальным случаем такой обратной связи — читатель, писатель. И это отмечал сам Зоценко в предисловии к «Письмам к писателю» (1929): «Я писал для своих читателей, которых я знаю». Докладчик отметил, что этот первый опыт художественного обобщения читательской почты имеет свою психологическую традицию в русской литературе (Гоголь, Чехов). Стремление человека заявить о себе (с выгодой для себя или, что чаще, бескорыстно) звучит и в «Ревизоре» (просьба Бобчинского Хлестакову), и в «Письме ученому соседу», «Жа-

лобной книге». Ликвидация неграмотности, проведенная большевиками, легла в русло этой психологической особенности как нельзя лучше (см., например: *Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг. М., 1998*). В. А. Прокофьев привел ряд примеров опубликованной в прессе 20—30-х годов корреспонденции рабселькоров, лексико-интонационный характер которой мало чем отличается от языка героев и читателей Зоценко. Однако ставить уверенно знак равенства между отношением Зоценко к своим корреспондентам и героям нельзя. В отличие от А. Платонова, с кем Зоценко так часто сравнивают, сочувствия к своим героям, «уважаемым гражданам» у него нет. Писатель видел опасность разрастания духовной «неоплазмы» и показал ее проявления в языке и поступках героев. Именно этому было уделено его художественное и гражданское внимание. Может быть, поэтому городской пейзаж у Зоценко почти отсутствует, равно как и мало внимания уделено интерьеру места действия (читатель легко мог «дорисовать» его в своем воображении).

Докладчик отметил, что резкое стилевое и психологическое различие в читательской почте Зоценко проходит через Великую Отечественную войну, после которой (здесь

надо учитывать и Постановление 1946 года) объем корреспонденции к писателю заметно сократился.

Выступивший в конце конференции В. П. Муромский обратил внимание ее участников на то, что научному восприятию творчества Зоценко мешают некоторые установившиеся в литературе о нем стереотипы. Это касается, в частности, отношения к послевоенному, более чем десятилетнему периоду его деятельности. Вместо серьезного исследования произведений писателя этих лет современному читателю активно внушается расхожая мысль о том, что после 1946 года Зоценко «кончился как писатель». Тем самым одним махом зачеркивается весь последний период его творчества. Важно отличать подлинную науку о Зоценко от неких (под видом защиты писателя от деспотической власти) спекуляций на его имени, возвращающих нас к тому политизированному литературоведению, от которого мы пытаемся уйти.

По окончании конференции для ее участников была организована экскурсия во вновь открывшийся после длительного ремонта Государственный литературно-мемориальный музей М. М. Зоценко.

© В. А. Прокофьев

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Среди многих работ о Лермонтове, появившихся в юбилейном 2004 году, странное впечатление производит книга А. А. Герасименко «Невольник чести» (М., Пятигорск: Три Л, 2004).

Дело не в тех нелепостях о дуэли Лермонтова, которые кажутся автору новым словом в биографии поэта. Вопреки всем документам и воспоминаниям современников, Герасименко считает, что дуэли с Мартыновым вообще не было. Мартынов просто застрелил ехавшего верхом Лермонтова, встретив его с глазу на глаз на дороге близ Пятигорска, а «заговорщики» (А. А. Столыпин, М. П. Глебов, А. И. Васильчиков, С. В. Трубецкой) зачем-то стали рассказывать, что происходила дуэль, отдавая себе отчет в том, что их как участников ждет суд.

Потрясают в книге Герасименко написанные в недопустимо развязном тоне главы об исследователях Лермонтова.

Глава о П. Е. Щеголеве, известном пушкиноведе, историке и писателе, названа «Дядя, проглотивший автобус». Пьяница, обжора, клептоман, мартиновед — такими определениями наделен в книге этот ученый. «Молва донесла до меня, — пишет Герасименко, который часто ссылается на дошедшие до него слухи, — что М. со Щ. перегрыз-

лись из-за книги „Лермонтов. Воспоминания. Письма. Дневники“, выпущенной питерским (sic!) издательством „Прибой“ в 1929 году. На ее титуле был один автор: Щ., который в предисловии указал: „Моим помощником в работе над книгой был М., — он принимал участие в отборе и распределении материала“» (С. 172). Вполне понятно, что молодой тогда М. «сбесился» и стал «поливать помоями» своего учителя Щ. (Там же). Герасименко всюду трусливо называет тех, о ком пишет, инициалами, хотя помещает их портреты и сведения об их работах. Книгу, вышедшую в 1929 году, он, видимо, в руках не держал. Она называлась «Книга о Лермонтове», и хотя, по мнению Герасименко, была «суха, как валенок летом», в 1999 году была переиздана издательством «Аграф». Что же касается так красноречиво описанной сорсы — это абсолютный вымысел. Мануйлов и Щеголев продолжали совместную работу и после выхода книги, и Виктор Андроникович никогда ни одного недоброежелательного слова о Щеголеве не сказал.

Обвинение же Мануйлова и Щеголева в том, что в книге, которую они «сляпали», сохранились погрешности, идущие от биографии Висковатого, и не учтены книги С. Н. Дурьлина (1944) и Н. Л. Бродского (1945), не стоит комментировать.

Глава об известном лермонтовце и замечательном человеке В. А. Мануйлове развязно названа в книге Герасименко «Редька — хвостиком кверху». Мануйлов отнесен к тем, кто «успешно развивал клеветнические измышления» о Лермонтове. «Особенного успеха, — пишет автор, — достиг в этом черном деле, живя на извлекаемые из имени поэта деньги „редька хвостиком кверху“, видимо, большой любитель рыбной ловли в мутной воде» (С. 176). Это про Виктора Андрониковича, альтруиста, бессребреника, всю жизнь посвятившего изучению Лермонтова, щедро раздававшего темы и идеи своим ученикам, проявившего мужество и самоотверженность при сохранении Пушкинского Дома во время блокады Ленинграда. Инкриминируется Мануйлову следующее: он получил запись рассказа одного тарханского крестьянина о том, что якобы подлинным отцом поэта был крепостной. Публиковать этот более чем сомнительный материал Мануйлов не собирался, что могут подтвердить многие его ученики. После его смерти этот материал был опубликован В. А. Захаровым. Стоило

это делать или нет — вопрос спорный, но, конечно, решать его следует не в таком тоне. Обвинение Мануйлова в том, что «он несколько десятилетий в своем письменном столе хранил чудовищный пасквиль на поэта и его мать и мечтал дожидаться удобного случая, — обнаружить, с серьезной миной отъявленного мошенника, выдав за правду!» (С. 175). Это чистая ложь.

Очерк о Викторе Андрониковиче кончается совершенно непристойно: «Что касается „редьки“, то говорят, что еще не очень старым человеком он впал в маразм, и его смерть была ужасна. Это в назидание нынешним клеветникам: ведайте, что творите, не то...» (С. 177).

Книга Герасименко называется «Невольник чести». К Лермонтову это относится в полной мере, а вот Герасименко о своей чести стоило бы задуматься.

© *Е. Л. Белькин*, *Л. В. Герашко*,  
*О. В. Миллер*, *Л. Н. Назарова*,  
*С. А. Фомичев*, *И. О. Фояков*,  
*И. С. Чистова*

## ПАМЯТИ А. И. ПАВЛОВСКОГО

26 декабря 2004 года ушел из жизни Алексей Ильич Павловский. Выдающийся ученый. Талантливый критик и литератор. Ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Нет необходимости перечислять многочисленные труды А. И. Павловского (их список включает более трехсот наименований). Его блистательные монографии о советской философской поэзии, о творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Берггольц и других поэтах XX века уже живут собственной жизнью. Их читают, их изучают, с ними работают. Нет необходимости описывать и его жизненный путь, ибо после окончания филологического факультета и аспирантуры Педагогического института им. А. И. Герцена в 1953 году он проработал почти всю свою жизнь (с 1955 года) в одном отделе Пушкинского Дома, являясь постоянным членом Специализированного Ученого Совета и активным членом редколлегии журнала «Русская литература».

Хотелось бы сказать о внутреннем богатстве личности Алексея Ильича, о том, что делало его оригинальным филологом, продолжавшим лучшие традиции академической науки.

Алексей Ильич был настоящим петербургским интеллигентом — благородным, доброжелательным, умеющим создать вокруг себя творческую атмосферу, согретую

теплом личной заинтересованности. Пережив подростком все лишения и муки блокады, Алексей Ильич ценил простые человеческие чувства — внимание, доброту, помощь, поддержку. Он и сам их оказывал с невероятной отзывчивостью, и так же просто с благодарностью их принимал.

Алексей Ильич был внимателен к деталям самого частного свойства, как в научном творчестве, так и в жизни. Но ему был свойствен и полет мысли к метафизическим высотам человеческого духа. Его рационализм при этом не был высокомерным, его иррациональность — всепоглощающей.

Алексей Ильич подмечал и в жизни, и в литературе странные совпадения (фактов, имен, знаков, предчувствий, снов и т. д.), любил размышлять об этих загадочных приметах Божественного присутствия. Свободная игра ума, интуиция, соединенная с природным тактом и точностью, — неперменные свойства его научных сочинений. Он умел и любил работать со словом, обращаясь с ним и как художник-творец, и как ученый-аналитик.

Во все времена Алексей Ильич оставался самим собой, не поддаваясь тлетворным веяниям времени, и писал только о том, что ему было близко и интересно. И в этом смысле он был счастливым человеком.

В одной из последних статей А. И. Павловский сказал: «Смысл жизни человека на-

столько велик и одновременно скрыт от наших несовершенных глаз, что он попросту не всегда может открыться на протяжении слишком краткого человеческого индивидуального существования». Это бесспорно. И все-таки как много может увидеть и сделать за крат-

кий срок один человек. Как много тепла и любви передать другим.

Он ушел... И все-таки он рядом — умный, великодушный, понимающий...

*Коллеги*



Технический редактор *В. В. Шиханова*  
Корректоры *О. И. Буркова, Ю. Б. Григорьева, Н. И. Журавлева* и *З. Ю. Иванова*  
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 26.01.05.  
Формат 70 × 100  $\frac{1}{16}$ . Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23.4.  
Уч.-изд. л. 29.4. Тираж 1102 экз. Тип. зак. № 543. С 17

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1  
[rusliter@mail.ru](mailto:rusliter@mail.ru)

Первая Академическая типография «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12